7
1962

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖОН КВИРК — Победители без лавров . . 5
ПИТЕР АБРАХАМС — Во власти ночи (Окончание) 92
ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ — По поводу одной машины (Окончание) 144

СТИХИ

ЯННИС РИЦОС — Вечер. Воспоминание. Древний театр. Пророчество 3
ИШТВАН ШИМОН — Зеркальный мир . . 87
РОЖДЕН Я В ЕГИПТЕ (Стихи поэтов ОАР) . 191

КРИТИКА

В. ДНЕПРОВ — Злой человек и добрый человек (Из опыта современного западного романа) 195

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ПЕТЕР ВЕЙС — Заметки о документальном театре 212
ЛИЛИАМ ХИМЕНЕС Положение писателя в обществе 216

7

ИЮЛЬ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

ПУБЛИЦИСТИКА

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА

А. ДАВИДСОН — Трансваальская листовка . 220

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ГЕОРГИЙ КУБЛИЦКИЙ — Репортаж из «спального города» 228

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

ЛЕВ ГИНЗБУРГ — Информация, ставшая прокламацией 250

Н. ЕВГЕНЬЕВ — Народная, классическая, социалистическая 253

АГЕЙ ГАТОВ — Сдержанный комментарий к красноречивому молчанию 255

НАШИ ГОСТИ

М. ТКАЧЕВ — Литература в траншеях (То Хоай в «Иностранной литературе») . . 258

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Опульский — Октябрь в сердцах болгар. ◇ Евгений Солонович — Из поэтического наследия Джакомо Леопарди . 261

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Б. Песис — В поисках осознанного времени. ◇ Т. Мотылева — Писатели о Горьком 265

ЖУРНАЛ «СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» — ЮБИЛЯР 272

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 273

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 274

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: картина чехословацкого художника КАРЕЛА ХАБА «Пражский пейзаж»

ЯННИС РИЦОС

Вечер

Во рту у него пересохло
так, что слюны не хватит,
чтоб даже наклеить марку
к открытке, которую завтра ты посылаешь маме.
И пыль прилипает не только
к нашим глазам и ладоням —
она въедается в память.

Мы поднимались в гору и спускались с нее, шатаясь,—
не просто тяжелый камень, мы смерть за спиной таскали
под окрики и побои безжалостных конвоиров.
Мы в этих каменоломнях подсчитывать научились
камень, который носим,
жизни и смерти наши.
И знаешь, мы попривыкли — уменьшилась боль и жажда,
уменьшилась тяжесть камня
и лишь не идет на убыль решимость и воля наша.

Под черной лопатой ночи
друзья мои отдыхают,
стиснув до боли зубы, сунув кулак под голову,
как будто это подушка.

Воспоминание

Отец возвратился поздно. Он даже забыл почему-то сказать
по обыкновенью приветливо: «Добрый вечер!»
С детишками мать возилась. Они о чем-то галдели, не обратив
вниманья
на то, что он не сказал им привычное «Добрый вечер!» А у него
за спиною
связаны были руки.
И он говорил в это время с осенним дождем, шумевшим
над убранными полями, над хижиной дровосека.
Стоял он возле окошка, никем из них не замечен,
когда грозовая вспышка лицо его осветила,
и вдруг на одно мгновенье на лбу его я увидел крест от оконной рамы.

Может быть, я в тот вечер впервые познал разлуку.
И долго еще хранила креста того отпечаток
высвеченная грозою стена моего молчанья.

Древний театр

В полдень он очутился в самом центре арены древнегреческого театра,
молодой и красивый парень,
он не смог удержаться и вскрикнул (но кричал он не от восторга,
ибо восторга не чувствовал, а если бы даже чувствовал, его бы не
обнаружил),
просто он громко вскрикнул, потому что был очень молод или просто
хотел испробовать акустику древней сцены. И тогда
со склонов отвесных ему ответило эхо —
то торжественное эхо древнегреческого театра, то ни с чем
не сравнимое эхо,
что полно еще и сегодня вечной музыкой дифирамбов. И на зов его
обернулись
два орла, не одно столетье восседавших на пропилеях.

Пророчество

Он докурил сигарету и допил на донышке кофе. Больше здесь
нечего делать.
Новую взяв сигарету, он чашку вверх дном опрокинул
с тем, чтоб, взглянув на рисунок, судьбы угадать предсказанье.
Так он увидел два склона крутых и отвесных и мост между ними,
строгий, немного изогнутый мост, по которому двигались люди:
шли два охотника с ружьями, мчались велосипедисты, и женщина
в шляпке
вела небольшую собачку. Все проходили по мосту, и только строитель,
сам этот мост возводивший,
лишен был возможности этой ввиду того, что одною своею опорой
мост упирался не в скалы, в плечо его мост упирался. Как же тогда
получилось,
что, стоя на месте, под непосильною тяжестью плечи сгибая,
все-таки смог разглядеть он особенно ясно всех, кто шагал или ехал
по новому мосту?!

Перевод МИХ. МАТУСОВСКОГО

ДЖОН КВИРК

Победители без лавров

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с английского К. ЧУГУНОВА

КНИГА ПЕРВАЯ

Двадцать второго ноября 1963 года с борта самолета американских военно-воздушных сил номер один, приземлившегося на далласском аэродроме, сошли президент Джон Фицджеральд Кеннеди и Жаклин Бувье Кеннеди. Жаклин преподнесли цветы. Лица обоих светились радостью, и при взгляде на них у всякого создавалось ощущение безмятежного семейного счастья. Возможно, как это иногда бывает в супружеской жизни, чувство, соединившее их, вдруг снова вернулось во всей своей свежести, а возможно, какой-то инстинкт побуждал их спешить, и пока еще оставалось время, они бессознательно стремились взять друг от друга то лучшее, что в них было.

В небе, синем после утреннего дождя, ярко светило солнце. Президент и его спутники сочли это добрым предзнаменованием. Поездка в Даллас преследовала политические цели: имелось в виду продемонстрировать техасцам, что либерально настроенный президент-католик хотя и пытался вооруженной силой навязывать южанам решения федерального правительства, однако был вовсе не голодранцем-северянином, защитником черномазых,— нет, а волевым, сердечным, обаятельным, энергичным и принципиальным человеком, который симпатизировал техасцам и готов был сделать многое, лишь бы добиться их расположения.

Президент пожал руку губернатору Конноли и другим представителям местной власти и направился к черному президентскому «континенталю», в котором ему предстояло торжественно проехать по деловой части Далласа. Многие люди в толпе встречающих тянули к нему руки. И Кеннеди не удержался. Он начал пожимать эти руки и приветливо улыбался. Агенты его охраны засуетились, пытаясь отгородить президента от толпы, но он невозмутимо обходил их. Он чувствовал себя великолепно, чувствовал, что может все, и был готов обнять весь мир.

Жить Джону Кеннеди оставалось недолго.

В ту самую минуту, когда Джон Кеннеди прибыл в Даллас, Джеймс Ли Паркер поднимался в флагманский самолет автомобильной корпорации «Нейшнл моторс» в детройтском аэропорту. Он в последний раз взглянул вверх на серые облака, до самого горизонта затянувшие мичиганское небо: да, погода неважная. В этот день, 22 ноября, безоблачное солнечное небо Далласа устроило бы Джима Паркера куда больше. На сильном волевом лице Паркера не было улыбки, но в душе у него все пело. Он чувствовал, что может все, и был готов обнять весь мир.

Жить Джеймсу Паркеру оставалось недолго.

Паркер направился в конец самолета и сел через проход от Карла Пирсона, президента и председателя совета директоров «Нейшнл моторс». Пирсон оторвался от «Детройт ньюс», и Паркер спросил:

— С нами летит еще кто-нибудь?

— Нет. Остальные отправятся на самолете Олбрайта. Это даже лучше. Можно будет спокойно поговорить.

— Прекрасно,— сказал Паркер.

Пирсон показал на газету.

— Тут написано, что от сегодняшнего заседания совета директоров ждут важных решений. Как вы думаете, кто им мог это сказать?

— Я, наверно. А они не переврали моей фамилии?

— Фамилий они не называют. Но они знают. Мы об этом позаботились. Отделу связи с прессой положено заранее информировать ведущих репортеров. Тогда они успевают написать статьи еще до пресс-конференции, и статьи получаются лучше. Джим, вы приготовили речь по поводу своего вступления в должность?

— Ваша секретарша снабдила меня вашей. Она сказала, что вы получили ее от Уоррена Корта.

Пирсон хмыкнул. Он поглядел на светящуюся табличку «не курить» и с вызовом раскурил толстую сигару. Подошел стюард, проверяя, как пристегнуты ремни, взглянул на сигару и тотчас отвел глаза.

Ожили и загудели газотурбинные двигатели. Старший пилот «Нейшнл моторс» вывел машину на взлетную дорожку, почти сразу оторвался от земли, сделал вираж вправо, чтобы не задеть крылом бензохранилище, на высоте тысячи футов развернулся, снова пролетел над аэродромом и, поднявшись на тринадцать тысяч футов, взял курс на Нью-Йорк.

— Извините за глупый вопрос, Карл,— сказал Паркер.— Но я в самом деле должен произносить речь при вступлении в должность?

Пирсон улыбнулся:

— Как-то странно, что приходится задавать такой вопрос.

— Вам, возможно, это кажется странным, а мне нет.

— Видите ли, я вынужден был спросить о том же Уоррена Корта. Я ведь до тех пор ни разу не присутствовал на заседании совета, когда избирался новый президент. Возможно, это и вас — как меня тогда — научит смирению. Оказывается, мы далеко не все знаем. А ведь на пустяке можно сломать шею.

— Каков же все-таки ответ на мой вопрос?

— Речи не нужно. Скажите две-три общие фразы о том, что вы понимаете, какая это честь и ответственность, и рассчитываете на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Скажите, что вы будете во всех вопросах полагаться на помощь совета. И так далее. А речи не нужно.

Некоторое время они молчали. Потом Паркер спросил:

— Когда вы думаете вернуться, Карл?

— Завтра рано утром.

— Отлично. Вы не смогли бы высадить меня в Ист-Лэнсинге?

— Завтра этот самолет будет вашим. И распоряжаться будете вы.

— У меня есть два билета. Сборная штата играет на Розовый кубок.

— Это меня не интересует, Джим. Старея, я все больше хочу играть сам, а не быть зрителем. Я вам говорил, что разработал новый удар?

— Какой? Предпоследний новый или самый новый?

— Видите ли,— продолжал Пирсон с серьезным видом.— Прежде я верил, что Грэхем прав, утверждая, будто человек моего возраста должен работать только руками, но это не так. Теперь я поворачиваюсь всем корпусом, и мяч летит на двести пятьдесят ярдов. Я уже двадцать лет не бил так далеко.

Паркер улыбнулся, но не позволил себе усомниться вслух.

— Попробуйте как-нибудь сами, Джим. Отводите плечо подальше назад. Как в твисте.

— До сих пор, Карл, я верил, что вы способны научиться всему, чему захотите. Но не твисту! Не твисту!

— Только он начал у меня получаться, как дочки сообщили мне, что после твиста из моды уже успели выйти «птица» и «хали-гали». А что они танцуют теперь, я даже не знаю.

— Ну, что бы там ни было, а отплясывают они лихо. Вы играете в воскресенье?

— Да. Не забудьте захватить побольше денег.

— Если будет не слишком холодно, я приду. А если вы обещаете пустить в ход свой новый удар, я пришлю за вами такси.

Карл Пирсон внимательно посмотрел на своего преемника.

— Я замечаю легкую перемену,— сказал он.

— В чем?

— В вашем поведении со мной. Прежде вы никогда не позволяли себе надо мной подшучивать.

— Что вы, Карл! — с чувством сказал Паркер.— Вы же знаете, как я к вам отношусь!

— Я ведь не обиделся. Это вполне естественно. Иначе и быть не может. Когда человек берет, наконец, в свои руки бразды правления, он сразу чувствует себя независимым.— Пирсон закурил новую сигару и, выпустив клуб сизого дыма, прибавил: — А я бросил курить. В моем возрасте это, говорят, необходимо.— Он не сумел скрыть

легкую грусть.— Да, да, это вполне естественно... В каком году мы с вами познакомились, Джим?

— В тысяча девятьсот тридцать четвертом. Помните «паккард Паркера»?

— Вы действительно собрали эту машину сами, Джим?

— До последнего винтика. Вот этими руками.

— Это произвело на меня впечатление. Но я не был уверен, что вам никто не помогал.

— Эта машина помогла мне получить у вас место,— сказал Паркер.— Раньше я вам этого не говорил, Карл, так скажу теперь: я благодарен вам и за то место и за это.

— Не стоит благодарности. Я деловой человек. Вы были лучшим кандидатом, а потому — единственным. Только и всего.

— Я просто хотел, чтобы вы знали.— Паркер откинулся на спинку кресла и продолжал: — «Паккард Паркера»! Каким желторотым юнцом я был! — Он обвел рукою директорский салон и добавил: — Немалый путь от Суит-Уотера.

— И не только от Суит-Уотера, а и от Фон-дю-Лака,— сказал Пирсон.

Оба магната американской промышленности задумались и умолкли.

Потом Паркер сказал, следуя ходу своих мыслей:

— А ракета — это чертовски здорово. Пожалуй, «Нейшнл моторс» займется у меня ракетами, чтобы я мог на них полетать.

— Строить ракеты вы, возможно, будете, но летать на них — вряд ли.

— Что, слишком стар? Джон Гленн моложе меня всего на десять лет. Я еще слетаю на Луну, прежде чем выйти в тираж.

— Ну, нет! Теперь вам уже не летать. Сами увидите, Джим. Вам придется заплатить за этот пост цену, может быть, бóльшую, чем вы рассчитывали. Вы теперь слишком значительная особа, чтобы самому совершать что-нибудь значительное.

Джим улыбнулся:

— Это я изменю. Уж это я изменю.

— Я не сомневаюсь, что вы многое измените из того, что сделал я.— В голосе Пирсона вдруг послышалось раздражение.— Но вот это вам не удастся! Все, дружище! Вам больше не водить самолета и не гонять машину по шоссе. Теперь ты стар и слишком важен, папаша Уильям.

Наступило долгое молчание. Наконец Паркер сказал:

— Черт побери, Карл, вы отлично знаете, что я сам буду решать, что надо делать. И также отлично знаете, что я не стану менять того, что вами удачно сделано.

После нового долгого молчания Пирсон сказал:

— Не обращайте на меня внимания, Джим. Не то у меня климакс, не то я начинаю понимать, что все уже в прошлом. Это была нелегкая неделя — и все-таки я не сумел примириться с мыслью об отставке. Сорок один год... И вот конец.— И, не дав Паркеру вставить хоть слово, продолжал: — Но что поделаешь? Надо уступать дорогу молодым. Когда человеку шестьдесят, он уже не способен создавать что-либо новое. Улучшать старое — да. Но новые идеи уже не рождаются. По-моему, предел надо установить на шестидесяти — и убираться с дороги, а не тянуть четыре последних склеротических года.

Паркер с улыбкой сказал:

— Что-то я не заметил особой дряхлости ни у Пирсона, ни у Олбрайта, ни у Уильямса, когда вы накинулись на меня, как драчуны на школьном дворе.

— Из-за завода «Эмбасси»? Вы были не правы, Джим.

— Может быть. А может быть, и нет. Во всяком случае, что касается возраста, то дело обстоит как раз наоборот. Дети теперь растут быстрее, люди живут дольше и работают дольше — причем работают лучше, чем раньше.

Пирсон покачал головой.

— Живем мы дольше, но работаем не лучше. Сами увидите. В шестьдесят лет человек способен только ворошить старое. Но с «Эмбасси» вы все-таки были не правы.

— Может быть, да, а может, и нет,— повторил, улыбаясь, Паркер.— В совете вы все еще стоите выше, чем я, так что, может быть, я был не прав.

Уходящий от дел президент компании и председатель совета директоров улыбнулся.

— Не втирайте мне очки, теперь это уже ни к чему. Вы свое получили.

Он наклонился вперед, повернул кресло впереди сиденьем к себе и положил на него ноги.

— Давайте лучше поговорим о том, кто унаследует ваш нынешний пост. Кажется, на этот счет мы с вами договорились?

— Боюсь, что нет, Карл.

Пирсон поглядел на него.

— Так это не Бэд Фолк?

— Нет.

— Вы думаете, Клири лучше? Я не согласен.

— Это и не Клири, и не Тони Кэмпбелл, а Дэвид Бэттл.

Пирсон снял ноги с кресла и всем телом повернулся к своему преемнику.

— Вы шутите, Джим?

— Разумеется, нет.

— Значит, я очень кстати завел этот разговор. Недели через две вам надо будет объявить о новых назначениях, так что поговорим сейчас.

— Я слушаю вас. Карл.

— Джим, пост вице-президента, возглавляющего службу производства, должен занимать человек, который впоследствии способен будет заменить вас. Но сейчас важно даже не это, а повседневное руководство автозаводами. Здесь требуется самый сильный работник. Выбирая такого человека, нельзя исходить только из личных симпатий.

— Судя по вашим словам, вы все еще думаете, что мое отношение к Дэви основывается исключительно на личной дружбе?

— Джим, я считаю, что вы взяли его по старой дружбе, хотя он оказался лучше, чем я ожидал.

Джим перебил его:

— Вернее будет сказать, что он гораздо лучше, чем вы до сих пор считаете.

— Но руководителем службы производства должен быть действительно лучший работник! Я вас не понимаю, Джим. Это на вас не похоже. Фолк больше всех подготовлен и пригоден для этого поста. Он работал на всех нужных участках — как вы, как я. Дэви очень приятный человек, не спорю, но он футболист.

— Он автомобилестроитель.

— Нет, он футболист. И, если хотите знать мое мнение, карьерист. Ведь он женился только ради карьеры. У вас к нему слабость, Джим, я не могу допустить, чтобы вы сделали такую ошибку. Дружба мешает вам взглянуть на дело трезво.

Джим Паркер упрямо сжал губы.

— Карл, я лучше вас знаю, чего стоит каждый из вице-президентов. Я рос на работе вместе с ними со всеми и знаю, кто на что способен. Я был уверен, что вы встанете на дыбы из-за Бэттла, но я знаю, что делаю. Бэттл займет мое место.

— Если вы хотите дать ему больше денег, валяйте. Прибавьте тысяч двадцать пять. Придумайте ему какой-нибудь новый титул. Но я не допущу, чтобы вы поставили на ключевую должность не того, кого нужно.

Джим Паркер перегнулся к нему.

— Мое место займет Дэвид Бэттл.

— Ну, что же, сэр, решать будет совет, а не мы.

— Это угроза, Карл? Вы намерены дать мне бой?

Карл Пирсон тоже сжал губы. Он выпустил в потолок три густых клуба дыма, а потом сказал примирительно:

— Давайте определим сначала, в чем мы сходимся, а потом уже будем выяснять разногласия. Поговорим о том, что нужно, чтобы человек мог занять у нас ведущее положение. Что, по-вашему, для этого требуется?

— Протекция. Это первое,— ответил Джим.

— Вы шутите?

— Сам не знаю. Ну, хорошо, пусть сначала идет честолюбие. И не просто желание успеха, а уверенность в победе.

Пирсон задумчиво кивнул.

— Ну, а дальше — протекция,— продолжал, улыбаясь, Джим.

Пирсон сказал:

— Кто-то распознает в вас задатки, необходимые для успеха, и помогает вам, потому что так повелевает ему долг, деловой инстинкт и интересы собственной выгоды — вот что такое протекция. Когда тянешь кого-нибудь вверх, он помогает тебе продвигаться вперед — даже быстрее, чем ты ему. Честолюбие и уверенность в успехе — да, у нас у всех это есть, я согласен. Но не думаю, что это главное. Отмечу еще одно любопытное обстоятельство, которое нас объединяет: мы все выросли в маленьких городках. Вам это никогда не приходило в голову? Плейнвью, штат Техас. Или Ричмонд, штат Индиана. Или Фон-дю-Лак, штат Висконсин. Или Суит-Уотер, штат Западная Виргиния. Потом поступаешь в колледж, заражаешься автомобильным зудом и едешь в Детройт, чтобы заткнуть за пояс кичливых горожан. Вот он — лейтмотив: провинциальная жажда успеха, провинциальная сметка, провинциальная самоуверенность.

— А ум? — спросил Паркер.

— В нашей корпорации найдется десять тысяч человек, достаточно умных, чтобы возглавить ее. Половина из них умнее нас с вами. Возьмите, к примеру, Дэвида. И он, и ряд других людей на производстве знают из книг такие вещи, о которых мы с вами даже и не слышали. Нет, ум тоже еще не самое важное. Ума должно быть ровно столько, сколько требуется, как у Бэда Фолка. Но самое главное — то, что в конечном счете составляет разницу между мужчиной и мальчишкой: выносливость и упорство. Прочие не выдерживают, хотя они умны и честолюбивы. Они не видят смысла в том, чтобы работать по шестнадцать часов в сутки, они считают, что это не жизнь. Они хотят домой. Они не желают работать две смены подряд, а потом идти выступать перед бойскаутами, перед членами объединенного фонда и заседать на совещаниях оптовиков, торгующих автомобилями. Это им не под силу. Им просто не хватает для этого беличьего колеса ни физических, ни умственных сил. А мы с вами даже и не считаем это беличьим колесом. Утром мы встаем как ни в чем не бывало и го-

товы еще девять тысяч дней подряд крутиться в этом колесе. На это требуется физическая энергия. И преданность делу. И целеустремленность. Мы идем работать в корпорацию прямо со школьной скамьи, она полностью, без остатка поглощает нас, и это — на всю жизнь. Вы согласны?

— Да, Карл.

— Так о ком мы говорили? О Бэде Фолке.

— Да. Мы говорили о вас, обо мне, о Бэде и о Дэвиде Бэттле. Вы только что нарисовали портрет Дэвида,— улыбнулся Джим.— Он отвечает всем требованиям. Единственно, в чем вы можете упрекнуть его,— это в том, что он слишком умен.

— Ну, хорошо, хорошо,— сказал Пирсон, и в его голосе снова послышалось раздражение.— Предположим, что это так, хотя это и не так. В нем нет всего этого в нужной степени, но примем вашу точку зрения. И все равно Бэд Фолк и тогда побьет его. К тому же Фолк, как и мы с вами, прошел весь путь с самых низов. Он подготовлен. Что же касается вашего приятеля, то можно назвать десять-двенадцать человек, которые подготовлены лучше, чем он.

Джим Паркер сказал сухо:

— Карл, вы, кажется, думаете, что еще можете помешать мне вступить в должность. Но уже поздно. Совет сегодня проголосует за меня, даже если вы вдруг измените свое мнение. Теперь уже не вы руководите, а я. Когда вы возглавляли корпорацию, то подбирали своих людей, и я благодарен вам за то, что оказался в их числе. Это я уже говорил вам. Теперь я комплектую свою команду. Дэвид Бэттл будет вице-президентом — руководителем службы производства. При первой же возможности я добьюсь его назначения первым вице-президентом, а его место займет Бэд. В таком порядке они и сменят меня. Намерены вы дать мне бой или предоставите мне свободу действий?

Карл Пирсон грыз сигару.

— Не знаю, Джим. Я еще не решил.

В два часа семнадцать минут по официальному восточному времени в салон вбежал бледный стюард и крикнул:

— Сэр, покушение на президента Кеннеди! По-видимому, он уже скончался!

— О, господи! — прошептал Пирсон.

Но Джим Паркер не слышал стюарда. В два часа семнадцать минут свинцовая рука сдавила его сердце, и он съежился в безмолвной агонии, полный ужаса. Потом он потерял сознание. Стюард приложил к его рту кислородную маску.

Самолет приземлился в Питтсбурге, где уже ждали врачи. Но они ничем не могли помочь человеку с посиневшим лицом. Не могли помочь уроженцу городка Суит-Уотер, штат Западная Виргиния, обладавшему честолюбием, жаждой успеха и умом. Не могли помочь человеку, у которого были и преданность делу, и протекция. Не могли помочь человеку, обладавшему выносливостью и упорством.

Умер президент Соединенных Штатов, и умер будущий президент «Нейшнл моторс», покровитель Дэвида Бэттла.

■

При иных обстоятельствах смерть Джеймса Паркера заняла бы всю первую страницу газет автомобильного города. Теперь ей была отведена лишь одна колонка с левой стороны. Первые абзацы гласили:

«Вслед за трагедией, постигшей весь народ, произошла еще одна, лишившая Детройт выдающегося гражданина. Сегодня днем Джеймс Ли Паркер, вице-президент «Нейшнл моторс», скончался от сердечного приступа через несколько минут после убийства президента Джона Кеннеди. Деловые круги Детройта поразил двойной удар.

В момент смерти пятидесятидвухлетний Джеймс Паркер возглавлял всю производственную деятельность гигантской корпорации. Он был членом совета директоров, финансового комитета, комитета по координации, административного комитета и комитета по выработке политики. По слухам, он должен был сменить на посту президента уходящего в отставку Карла Пирсона. Он скончался в самолете компании, когда летел в Нью-Йорк, на специальное заседание совета и пресс-конференцию, на которой предполагалось официально объявить о его назначении. Он умер на пороге величайшего успеха, который должен был увенчать жизнь этого человека, пользовавшегося большим уважением и расположением как коллег, так и конкурентов...»

Бен Кауэлл, редактор автомобильного отдела газеты «Леджер», полюбовался своей статьей на первой странице — случай не такой уж частый. Он снова пробежал ее с приятным сознанием хорошо сделанного дела. Потом он перечитал некролог на второй странице — некролог, заготовленный задолго до смерти Джеймса Паркера и хранившийся в архиве. Он начинался словами: «Джеймс Ли Паркер родился 12 июня 1911 года в городе Суит-Уотер, штат Западная Виргиния...»

Редактор отдела городских новостей, проходя мимо Кауэлла, подмигнул, а потом вдруг остановился и подошел к его столу.

— Если бы они умирали каждый месяц! Вот это была бы жизнь! — сказал Кауэлл.

— Но не президенты Соединенных Штатов,— ответил редактор отдела городских новостей.

— Не надо об этом,— сказал Кауэлл.— Как вспомнишь, так не по себе становится.

— Я думал, что вы, бешеные, будете довольны. Вы когда-нибудь видели подобный бедлам?

— Нет. Просто не верится. Что-то невероятное. Интересно, так ли было, когда убили Мак-Кинли и Линкольна? Ну что тут можно сказать? И сделать? Нет, я не хочу об этом говорить. Ограничусь Джимом Паркером. Дать о нем что-нибудь еще или подождать, пока не будет кончено с Кеннеди?

— Мы продолжаем давать спортивную страницу. И комиксы. И вообще газеты не закрылись. А статью вы написали хорошую.

— Правда, неплохо?

— Но вы допустили одну оплошность — не указали возможного преемника. А ведь: король умер, да здравствует король!

— Черт! — негромко выругался Кауэлл.

— Впрочем, это к лучшему. Вам будет о чем написать завтра. Мне нравится, как вы ввели сюда Кеннеди. Теперь можно развить эту мысль. Кеннеди сменил Джонсон; но кто сменит Паркера? Кто?

— Откуда я знаю? Да и «Нейшнл моторс» не знает. Кроме Паркера, они и не имели никого в виду. Он уже многие годы считался единственным кандидатом.

— Нет, у них кто-нибудь да есть. Они никогда не полагаются на волю случая. По-моему, список возможных преемников у них не короче, чем список возможных преемников президента США.

Кауэлл покачал головой.

— Нет, им придется строить все на пустом месте. Я в этом уверен.

— В таком случае возьмем на себя роль делателя королей. Мы решим за них. Кто наиболее вероятные кандидаты?

— Трудно сказать. Все зависит от того, решат ли они избрать пока временного президента. Почему бы нам че заняться похоронами вместе? Мы обсудим возможные варианты и сделаем выбор.

— Идет. А к понедельнику, я думаю, уже можно будет выбраться из этого дома печали.

■

Они шествовали по улицам столицы в торжественном порядке, как язычники, хоронящие великого вождя,— цивилизованные люди находили какое-то утешение, успокоение и искупление в пышном ритуале, в приглушенном рокоте барабанов и скрипе кожи, в раззолоченных мундирах скорбящих королей, принцев и послов, в барабанном бое, стонах труб и погребальных песнопениях, в диком, хватающем за душу визге волынок Черной стражи, в чеканном шаге ирландских гвардейцев, в блеске оружия и взлетающих к козырькам рук в перчатках, отдающих честь главнокомандующему, в гарцующем, танцующем, пугливом вороном коне без всадника, настолько же полном жизни, насколько недвижим и безжизнен был этот еще недавно кипевший энергией такой молодой человек.

Вереница «кадиллаков», «империалов», «эмбасси» и «континенталей» двигалась по Лонг-Лейк-роуд к кирке, провожая «в последний путь» сильного человека, который чуть было не стал великим вождем. Репортер автомобильного отдела и редактор отдела городских новостей газеты «Леджер» поджидали их, заняв удобную наблюдательную позицию. Торжественность минуты оставляла их равнодушными.

— Как, по-вашему, котируется кирка? — спросил редактор городских новостей.

— С точки зрения престижа? Наравне с церковью Христа в Крэнбруке.

— Хотите держать пари, что Джеймс Паркер, когда приехал в Детройт, не был пресвитерианином?

— Когда он приехал из Суит-Уотера? Нет, такого пари я держать не хочу! — Кауэлл показал рукой на машину, которая первой въехала на стоянку, и продолжал:— Дана Олбрайт. Если совет решит избрать временного президента, то им станет кто-нибудь из вице-президентов — скорее всего Олбрайт. Впрочем, так думаю я. Большинство назовет Мэриона Уильямса, потому что он ведает финансами. В промышленности это самое важное. Налоги, пенсии, профсоюзы — все, что имеет отношение к правительству...

— Мне нравится этот ваш берчистский подход к вещам,— заметил редактор городских новостей.— По-вашему, КПП* — орудие правительства Соединенных Штатов?

— А по-вашему, это не элементы одного и того же либерального движения? Разве цели у профсоюзов и федерального правительства разные?

---

* Конгресс производственных профсоюзов.

— Вы рассуждаете, как бешеный,— редактор улыбнулся, потом лицо его стало серьезным.— Вы берчист, Бен?

— А вы коммунист?

— Идите к черту!

— Без этого вы не забрались бы так высоко в нашей красной газетенке.

— Мы не красные, старина. Наша газета занимает промежуточную позицию.

— Занимала тридцать лет назад. А до этого она была желтой. Теперь же вам хватит одного пальца, чтобы пересчитать тех, кто стоит правее центра: с меня счет начнется и мной закончится.

— Боюсь, мы начнем ссориться. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь более приятном. Например, о том, что вот Кеннеди застрелили. Или о Дана Олбрайте.

Они посмотрели на Олбрайта, который подходил к дверям церкви на полшага впереди своей жены.

— Он даже выглядит как экзекутор.

— Уильямс как будто имеет все права, но у него ничего не выйдет. Карл Пирсон не доверяет кабинетным работникам. Олбрайт — практик. Если решат назначить временного президента, им будет Олбрайт.

— С его экзекуторской репутацией? Вы думаете, Бобби Кеннеди * выберут президентом США? А Олбрайт, прямо скажем, не любимец публики.

— Об этом уж пусть заботится их отдел по связи с прессой. Дайте мне побольше места, и я из Профьюмо ** сделаю Альберта Швейцера. Вы, розовые, сделали же Хрущева в глазах американцев популярней губернатора Уоллеса. За неделю публике будет внушено, что Олбрайт под суровой внешностью прячет редкую сердечность и обаяние.

— Сдаюсь,— сказал редактор весело, но не без сарказма и добавил решительно: — Ну, ладно, берем Олбрайта. Объявим его наиболее вероятным кандидатом и посмотрим, поддастся ли совет нашему нажиму.

Кауэлл широко улыбнулся.

— Возможно, и поддастся. Конечно, они взбесились бы, приди им это в голову, и все-таки можно попробовать.

— Какие еще варианты?

— Что, если они предпочтут избрать постоянного президента? В этом случае кандидатов куча. Пять, шесть, а то и семь.

— Многовато. Давайте сократим. Наметим двух, согласно законам хорошей журналистики. Как насчет Клири? Весьма вероятный кандидат. И у вас в воскресном номере идет о нем очерк.

Кауэлл покачал головой и показал на толпу, идущую к церкви.

— Вон Клири. Он мне не нравится. Заставил меня ждать, когда я пришел взять у него интервью. Точно он автомобильный господь бог. Я вам кое-что скажу. В моем очерке он и его газотурбинный двигатель вовсе не выглядят так внушительно, как он, возможно, полагает. По-моему, он коммунист. Нет, мы начнем с Бэда Фолка и Тони Кэмпбелла.

Кауэлл указал на прибывшие «кадиллаки» и выходящих из них людей.

— Публика из «Дженерал моторс». Джек Гордон, Бэд Гудмен, Гоуд, Коул. Вон Бэнки Кнудсен с женой входит в церковь вместе с Расселами. А это Крайслер и Таунсенд, Андерсон, Брайт. Что-то Форда не видно.

— Ну, у нас шишек набирается не меньше, чем на похоронах Кеннеди. Фолк и Кэмпбелл молоды. Пожалуй, слишком молоды, а?

— Для Фолка это будет большой скачок. Прямо из директоров управления. Но поговаривали, что его назначат на место Паркера, и таким образом он стал бы следующим на очереди.

— Он берчист?

— Подобно большинству консерваторов и в отличие от либералов я не ставлю свои решения в зависимость от принадлежности человека к той или иной политической группе, коль скоро его политические взгляды совпадают с моими. Я ставлю на Тони Кэмпбелла. Вот он идет.

Они посмотрели, как красавец Энтони Кэмпбелл и его обаятельнейшая жена с сосредоточенно-серьезным видом входят в церковь.

Кауэлл сказал:

— Собственно говоря, я ставлю на Уэнди Кэмпбелл! По сравнению с ней мадам Нью выглядит толстухой вроде Лиз Тэйлор. Тони и Уэнди расшевелят «Нейшнл моторс», как Джек и Джекки *** расшевелили всю страну. Надеюсь, нашего Тони не пристрелят, когда он будет вылезать из чужой постели...

— А это не сплетни?

— Трудно сказать. А вообще-то, как бы вы вели себя на его месте, имея такую внешность и такие деньги?

— Скончался бы еще в раннем детстве. Я человек невезучий.

---

* Роберт Кеннеди — брат покойного президента.

** Бывший военный министр Англии. Вынужден был в 1963 году подать в отставку, будучи замешан в скандальной истории, связанной с посещением домов свиданий.

*** Сокращенные имена Джона Фицджеральда и Жаклин Кеннеди.

— Начнем кампанию в поддержку Тони и Уэнди. Во всяком случае, приятная перемена после всех этих кальвинистов. Когда предприятие разрастается до таких масштабов, оно становится слишком безликим. В Нью-Йорке один таксист рассказывал мне, что в «Нейшнл моторс» есть зал, где стоят огромные картотеки, и какой-то парень — Карл Пирсон, что ли,— и еще Эйвери Уинстон расхаживают там с указками и, чуть им что-нибудь не понравится в какой-нибудь карточке, приказывают: «А ну-ка увольте его». Я считаю, что «Нейшнл моторс» управляют коммунисты и бюрократы. Там нужна Уэнди. Итак, берем Фолка и Кэмпбелла, и еще у меня на примете есть один кандидат. Больше из спортивного интереса. Он понесет гроб.

Они вылезли из машины и подошли поближе к подъехавшему катафалку. Вдова и дети покойного твердой одеревенелой походкой входили в церковь. Те, кто должен был нести гроб, приготовились.

Репортер автомобильного отдела сказал:

— Очень любопытный подбор. Так просто в этот список не попадешь.

— Я узнал президентов автомобильных корпораций. А кто остальные?

— Трое — первые вице-президенты, двое — просто вице-президенты, а вот этот — бельмо на глазу, шлюха на званом вечере. Этот седой, с румяным лицом — Кинг Смит. Мелкая сошка, агент по продаже автомобилей. Карман у него, может быть, и набит, но все равно — мелкая сошка. Член загородного клуба Блумфилд-Хиллз, но попал он туда, должно быть, с заднего крыльца. Я не знал, что он был таким приятелем Джима Паркера, чтобы нести гроб. Вот про Дэвида Бэттла я знал.

— Я так и думал, что это он. Он совсем не стареет. Верно?

— Я говорил о нем. Беру его в число фаворитов. С Дэвидом Бэттлом мы далеко уедем.

— Думаете, вас примут всерьез?

— Плевать! Зато всем будет интересно. Как по-вашему, кто самый популярный человек в Детройте?

— Дэвид Бэттл. Для наших ровесников. До него были Куган Большая Медведица, Джо Луис и Чарли Герингер. А теперь — Эл Кэлайн, Джо Шмидт и Горди Хау. На днях я разговаривал с одной девчонкой, которая не знает, кто такой был Гэр Вуд.

— Ну, о Дэви и теперь будут читать с удовольствием. Бэттл Малая Медведица вырывается вперед с «катлессом» под мышкой, обходит Форда, сшибает «Дженерал моторс» — первоклассный материал! Но он может и нас надуть. Вдруг он окажется темной лошадкой?

— Бросьте шутить. Дурачьте читателей, как хотите, но со мной этот номер не пройдет. Бэттл, конечно, привлек бы внимание публики, но только «Нейшнл моторс» думает не о внимании публики, а о том, чтобы нажить несколько лишних миллиардов долларов.

— Но он чертовски умен.

— По сравнению с другими футболистами?

— По сравнению с кем угодно. И у него есть свои козыри. Все-таки он женат на дочери Уоррена Корта. А главное, он был приятелем Джима Паркера. Ведь они оба из Суит-Уотера.

— Дело ваше. Пишите обо всех четырех: Дана Олбрайт, Бэд Фолк, Тони Кэмпбелл, Дэви Бэттл — звучит неплохо.

— На первой полосе завтра?

Редактор городских новостей помедлил с ответом, а входя в церковь, сказал:

— Подождем до следующей недели. Материалы о Кеннеди все-таки важнее.— Он слегка улыбнулся.— Да и приличнее подождать. А политически Дэвид Бэттл вас устраивает?

— Черт его знает, какие могут быть политические взгляды у футболиста!

■

Комиссия по кандидатурам совета директоров «Нейшнл моторс» в основном согласилась с доводами в пользу Бэда Фолка. На первом заседании Карл Пирсон, председательствовавший на заседании, сказал деловито и благодушно:

— Раньше мне казалось, что следовало бы еще раз подумать о кандидатуре мистера Клири. Теперь я вижу, что это ни к чему, поскольку большинство высказывается за мистера Фолка и мистера Кэмпбелла. Через месяц, перед заседанием совета, мы соберемся опять. Прошу каждого прийти к какому-то решению, чтобы мы могли представить совету твердые рекомендации. Мистер Уинстон, у вас есть замечания?

Старик Эйвери Уинстон, душа «Нейшнл моторс», в течение пятидесяти лет успехов и потрясений никогда не упускал случая воспользоваться своими привилегиями, и особенно — привилегией высказать собственное мнение. Он поднялся и сказал:

— Мне нравится, что руководство перейдет к молодым людям, вроде названных здесь. Полагаю, что наша корпорация достигла поворотного момента своей истории. Мы сталкиваемся с новыми условиями. Точнее говоря, мы сталкиваемся с настоятельной необходимостью решать проблемы, которые с каждым годом приобретают все более угрожающий характер. Думаю, это потребует от наших младших коллег напряжения всех сил. Мы рады, что среди нас имеются молодые люди недюжинных способностей вроде мистера Фолка и мистера Кэмпбелла, готовые принять на себя ру-

ководство. То, что мы могли так легко отказаться от столь солидной кандидатуры, как мистер Клири, неожиданно явилось яркой демонстрацией нашей силы.

— Какие именно новые условия вы имеете в виду? — спросил Пирсон.

По лицу старика пробежала почти неуловимая усмешка.

— Карл, раз вам приходится задавать мне этот вопрос, я должен буду хорошенько выбранить ваше поколение.

— Полагаю, у меня нет оснований краснеть за сделанное мною,— сухо ответил Пирсон.— Пока я был президентом, наши акционеры получали самые высокие дивиденды за всю историю корпорации. Я бы сказал, что сейчас ее положение устойчиво, как никогда.

— Неужели, Карл? Пожалуй, бухгалтеры-ревизоры согласятся с вами. Но вопрос не в том, насколько устойчиво наше положение, а в том, насколько устойчиво все, на что оно опирается. Вопрос не в наших взаимоотношениях с акционерами, а в наших взаимоотношениях со всей страной.

— Не могу согласиться и с тем, что я пренебрегал корпоративной ответственностью,— продолжал Пирсон.

— Карл, вы, конечно, понимаете, что это просто беспристрастная оценка положения. Да, вы были верны своему долгу перед акционерами в том смысле, что зарабатывали для них деньги. Но чего будут стоить ваши прошлые заслуги, если правительство Соединенных Штатов разнесет нас теперь вдребезги? Господа, на новых руководителей корпорации ложится величайшая ответственность. «Нейшнл моторс» должна быть сохранена в целости. Такие серьезные молодые люди, как мистер Фолк и мистер Кэмпбелл, способны взять на себя эту задачу. Я думаю, что мы можем помочь им добиться успеха. Мне хотелось бы услышать предварительное мнение. Мэрион, кто из двух главных претендентов, по-вашему, больше всего удовлетворяет именно этому требованию?

Мэрион Уильямс, вице-президент, одно время сам рассчитывавший на пост президента, откинулся на спинку кресла.

— Мистер Уинстон, мое предварительное мнение: для выполнения поставленной задачи больше всего подходит Тони Кэмпбелл. У него нет такой подготовки, как у Бэда, но он всю жизнь связан с корпорацией. Думаю, что его наружность тоже имеет далеко не маловажное значение. Он во всех отношениях просто создан для того, чтобы внушать доверие широкой публике. Он положительно является идеальным олицетворением молодого, энергичного президента корпорации, и я думаю, что одно это перевешивает чашу весов в его пользу в свете тех серьезнейших соображений, которые высказал мистер Уинстон.

— Конечно, у нас не конкурс красоты, но ваша предпосылка логически обоснована,— с довольным видом сказал Уинстон.— Что вы скажете, Карл?

— В данный момент из них двоих я предпочту Бэда Фолка. У него солидная подготовка, без которой обойтись невозможно. Опыт же Кэмпбелла ограничен слишком узкой областью.— Пирсон улыбнулся.— Я, естественно, отдаю предпочтение опыту инженера.

Мэрион Уильямс, финансист, заметил сухо:

— Это что-то новое и неожиданное.

— Мистер Данкуорт, мы еще не слышали вашего мнения,— сказал Карл.

Старик Данкуорт, обладатель самого крупного пакета акций корпорации, поднял голову, словно очнувшись от дремоты. Глядя в потолок, он сказал:

— Того, кто вам нужен, вы еще не нашли. Слушая вас, я понял, что ни тот, ни другой не годится. Мистер Уинстон, я хотел бы несколько уточнить вашу предпосылку.

— Ну, в этом нет ничего нового и неожиданного, — ровным голосом сказал Эйвери Уинстон.

Старик Данкуорт поглядел на стену малого зала заседаний совета. Там висел написанный маслом портрет Эйвери Уинстона, а рядом — портрет Роджера Кэмпбелла работы того же художника. Указав на портреты двух первых президентов корпорации, он продолжал:

— В том-то и дело. Последнее время мы не слышали и не видели тут ничего оригинального и поразительного. Все те же старые мысли, а мы всякий раз настораживаемся, словно нам и вправду предлагают нечто совершенно новое. В чем же состоит наша новейшая идея? В том, что надо ладить с правительством? Не допустить, чтобы оно нас уничтожило?

Данкуорт снова указал на портреты.

— Господа, в недалеком будущем я попытаюсь высказать кое-какие мысли о корпоративной ответственности, не похожие на общепринятую здесь точку зрения. Множество людей предъявляет нам требования просто потому, что мы — гигантская корпорация. И мы выполняем их требования, ибо это наш долг, наше предназначение. Но должен сказать, что в другом отношении мы забыли о своей ответственности. Наши руководители в последнее время были заняты акционерами, с одной стороны, и общественным мнением — с другой, и мы забыли, что наше истинное назначение не в соблюдении этой повседневной деловой этики. а в том, чтобы вести за собой общество и страну.

Он в третий раз показал на портреты.

— Эти двое, сознательно или нет, вели за собой страну. Они созидали. Они не щадили конкурентов. И не пресмыкались перед правительством. Говоря о мистере Фолке и мистере Кэмпбелле, вы подчеркиваете их солидность и консервативность. Вам не нужны потрясатели основ. А я считаю, что такой потрясатель основ нам необходим. Боюсь, что ни тот и ни другой из этих двух положительных молодых людей, которых вы предлагаете, не удовлетворит тем требованиям, которые будут предъявлены к нему как к руководителю в период, отделяющий нас от тысяча девятьсот семьдесят пятого года.

Эйвери Уинстон подождал и, лишь убедившись, что самый крупный акционер кончил, сказал с нескрываемым раздражением:

— После этого нравоучительного монолога не отложить ли нам дальнейшие обсуждения до заседания совета?

Дана Олбрайт стоял в углу зала, прислонившись к стене. Инстинкт пещерного человека. Так он был защищен от нападения сзади. Он вглядывался в лица членов совета, которые здоровались с членами комиссии по кандидатурам, а в лица самих членов комиссии, ища какого-нибудь признака, который помог бы ему сориентироваться. Карл Пирсон как-то особенно приветлив с Бэдом Фолком. Это могло значить многое.

Фолк почувствовал на своей спине холодный взгляд Олбрайта и обернулся. Олбрайт улыбнулся и подмигнул. Он мог улыбаться спокойно. Он кое-что знал о Фолке. Знал то, что Фолк хотел бы утаить от всех. Иные решили бы, что экзекутору в начале заезда стало известно о скрытом пороке соперничающей лошадки лишь по счастливой случайности. Но Дана Олбрайт не признавал счастливых случайностей. Уязвимые места противника надо уметь отыскивать самому.

Бэд Фолк улыбнулся в ответ. Он был спокоен. Его уверенность все возрастала по мере того, как в бессонные ночи он взвешивал свои шансы. Иначе быть не может. Они рассмотрят кандидатуру Тони Кэмпбелла, но выберут все-таки его, Бэда Фолка.

Олбрайт посмотрел на Клири. Вице-президент, возглавлявший инженерно-конструкторское управление, преувеличенно оживленно разговаривал с Мэрионом Уильямсом. Инженеры, влюбленные в свою профессию, так себя не ведут. Стало быть, и он заразился президентской лихорадкой. Олбрайт снова усмехнулся. Клири нажимает на пружины. Но Клири не избрали бы, даже если бы Фолк и Кэмпбелл не котировались совсем. Впрочем, на всякий случай...

Клири почувствовал на себе взгляд Олбрайта и подошел к нему.

— Насколько я понимаю, сегодня мы будем избирать Тони Кэмпбелла в состав совета. Вы думаете, за этим что-нибудь кроется?

Дана Олбрайт сказал:

— Не исключено.— И улыбнулся.

Это встревожит Клири. Но его, Олбрайта, Тони Кэмпбелл не тревожит. Уж кто-кто, а Тони Кэмпбелл у него в руках. Семнадцатилетняя девочка! Улыбка сошла с лица Олбрайта. Совесть экзекутора восставала против этого. Как-то нехорошо пускать в ход подобное оружие. Семнадцатилетняя девочка? Можно ли прибегать к такому средству даже в крайнем случае? Он снова улыбнулся, потешаясь над всеми теми, кто столько лет удивлялся, почему Тони Кэмпбелл не заведет себе десятка два любовниц, как завели бы они, будь у них внешность Тони Кэмпбелла и его акции в «Нейшнл моторс». Это очень смешно. Ведь Тони все время только этим и занимался — прямо у них под носом. И опять улыбка исчезла. Он спросил себя: «Хватит ли у меня духа зайти так далеко?»

— Чему вы улыбаетесь? — спросил Карл Пирсон.

— Так, своим мыслям,— ответил Олбрайт тихим, приятным голосом.

— Мы сегодня выбираем Тони Кэмпбелла в состав совета. Я полагаю, вы согласны?

— Конечно.

— Бэттл пришел с вами?

— Да. Он хорошо подготовлен. Испытайте его.

— Не понимаю. Что вы хотите сказать?

— Порасспрашивайте его о самых разных вещах.

— Зачем?

— Он может вас удивить.

— У нас сегодня нет времени для сюрпризов.

Дана Олбрайт прислонился к панели из красного дерева. Улыбаясь уголком рта, широким для его узкого сурового лица, он спокойно смотрел на человека, ставшего президентом вместо него, Дана Олбрайта. Карл Пирсон и представления не имеет о том, какие его ждут сюрпризы. Они даже не поймут, откуда обрушится удар. Через два месяца президентом «Нейшнл моторс» будет Дана Олбрайт. Вот кто будет президентом. А его главной опорой? Его первым вице-президентом будет Дэвид Бэттл. Иначе быть не может, особенно после того, как уберут Фолка. Из всех сюрпризов Бэттл явится для них наибольшим. Олбрайт убежден, что они не знают о Дэвиде Бэттле того, что знает он.

Дэвид Бэттл. Молния на футбольном поле Суит-Уотера. Дэвид Бэттл. А удастся ли удержать его в руках? Это дело надо провести энергично, но и весьма осторожно. Иначе они могут остановиться на Дэвиде. Да и он способен закусить удила. Вот этого про Дэвида Бэттла они не знают. Они не знают его неукротимого честолюбия. Для них он остается футболистом. Дэвид Бэттл давно уже не тот, а они этого не видят. Не вырвется ли он вперед, если Дана Олбрайт укажет ему способ? Улыбка вновь и надолго раздвинула его губы. Какую узду надеть на Дэвида Бэттла? Где ее найти? Келли Брэнд? Нет, этого мало. У многих есть свои Келли Брэнд. Даже у Эйвери Уинстона была Келли Брэнд. Где искать темное пятно в жизни любимого героя болельщиков американского футбола? В Суит-Уотере? Если сам Дэвид Бэттл безупречен, не порыться ли в архивах его семьи? Конечно, он католик. Пока это серьезное препятствие, особенно в глазах консерваторов в совете. В случае необходимости Дана Олбрайт сам выступит против Дэви. Ну, а еще что? Профсоюзный деятель? Подзаборник? Конокрад? Что было там, в Суит-Уотере? Да, надо поинтересоваться, не теряя времени. Суит-Уотер, штат Западная Виргиния. Что это за городок? Такой же, как Блу-Рок, штат Огайо, из которого происходит сам Дана Олбрайт? В чем их секрет, этих американских провинциальных городков? И в чем секрет Суит-Уотера, из которого вышли такие люди, как Джеймс Паркер и Дэвид Бэттл?

КНИГА ВТОРАЯ

Казимир Данковский, дед Дэвида Бэттла по отцу, эмигрировал в Америку в 1881 году потому, что его родители были бедные крестьяне, а отец второй жены оказался невыносимо образованным. С первого же дня, как Данковский начал добывать уголь на шахте «Ред-Флэш» в Суит-Уотере, штат Западная Виргиния, в его неторопливом славянском воображении все время жила мечта о новом побеге. Но этого пришлось ждать очень долго.

Тридцать лет он стоял на коленях в глубоких забоях и вгрызался кайлом в жирные угольные пласты. Ни большой заработок, ни уважение, которым он пользовался, как хороший работник,— ничто не могло заглушить мечту о бегстве из этих темных, душных, страшных туннелей в холмах Суит-Уотера. Казимир тысячу раз повторял жене Стелле: «Вот накопим денег и поедем дальше. Поедем в Акрон».

Двенадцатого июня 1911 года случилось то, что случиться не могло. Уголь в Западной Виргинии — сырой, и рудничный газ в тамошних шахтах не образуется. Но в этот невероятный день забойщик в боковом штреке наткнулся на сухой пласт и вскрыл карман с метаном. От карбидной лампы на его каске газ моментально вспыхнул. Все, кто был в это время в штреке, задохнулись даже раньше, чем их завалило. По всем штрекам прокатился страшный грохот. Земля содрогнулась. Крепежные стойки ломались, треща, как ружейные выстрелы. Шахтеры в панике бросились из забоев к шахтному стволу, до которого была целая миля.

Десять человек погибли, не успев даже вздохнуть, и были погребены под обвалом. Еще двоих прижало к полу крепежными балками; они отчаянно кричали, а сверху на них сыпался уголь, но вскоре рот и ноздри им забило угольной пылью, и они смолкли. Казимир бросился на груду угля и сломанных стояков и яростно заработал кайлом. Он попробовал вытащить своего откатчика за ноги, но ничего не смог сделать. Только через полчаса он откопал его и, наклонив голову, направил свет лампы на черное лицо. Он снова принялся копать. Через три часа Казимир сел, прислонившись к стене, и погасил лампу, чтобы сберечь кислород. Со славянским стоицизмом он скрестил руки на груди и уснул. Это было в среду.

В пятницу измученная спасательная команда во главе с Калебом Паркером и Уолтером Данковским, расчищая путь и ставя подпорки, обнаружила первый труп. В течение следующих шести часов были найдены остальные одиннадцать погибших. Изуродованные тела сначала вытащили на мулах в штольню, а там погрузили на вагонетки и повезли к выходу из шахты, где уже двое суток терпеливо ждали их семьи. Теперь уже никто не плакал. И каждая семья брела за повозкой, в которой труп мужа или отца везли к конторе управляющего для официального опознания. Оттуда осиротевшие семьи, полные тревоги за свое будущее, поплелись в домишки компании, где они жили.

Спасатели пробились к Казимиру. Он сидел, прислонясь к стене и почесывая мощную грудь. Спасатели хрипло прокричали «ура», так что по туннелю прокатилось эхо, и Раймонд Фоли у входа крикнул наружу, что Данковский жив. Его жена и сыновья приняли весть о его спасении с той же выдержкой, с какой мирились с его гибелью. Только Пит, младший, присоединил свой голос к крикам толпы, когда Казимир появился наконец на поверхности земли и, щуря от яркого света глаза, неуклюже влез в повозку.

Молодой Винсент Карстайрс, владелец шахт, протянул Казимиру бутылку виски. Казимир отхлебнул большой глоток, вытер рот тыльной стороной ладони, потом отхлебнул еще. Винсент произнес едва слышно:

— Слава богу, хоть одного из вас спасли.

■

Казимир созвал всех своих восьмерых сыновей и, не тратя пишних слов, сказал:

— Теперь ваша очередь. Вы семеро будете теперь давать мне по десять долларов в месяц. А ты, Пит, пойдешь завтра на шахту. Десять долларов можешь оставить себе, тридцать будешь платить за комнату и стол.

Сыновья растерянно смотрели на отца. Гридцатилетний Уолтер спросил:

— Что с вами, папа?

Казимир считал всякие объяснения излишними, но, учитывая особые обстоятельства, вынужден был повторить:

— Теперь ваша очередь.

Они продолжали смотреть на него с недоумением, и он раздраженно добавил:

— Я вас кормил. Я вас вырастил. С меня хватит. Теперь ваша очередь.

В комнате стало вдруг нечем дышать, точно после взрыва в шахте. Потом Уолтер сказал:

— Значит, вы сами на шахту больше не пойдете? — А когда отец не ответил, он продолжал: — Папа, если вы плохо себя чувствуете после взрыва, так и скажите. Тогда другое дело.

— Разве я похож на больного? — сердито спросил Казимир.— И вообще, не все ли вам равно?

Уолтер отложил трубку, достал сигарету с цубехом * и медленно закурил. Братья с надеждой следили за ним. Уолтер собрался с духом и сказал:

— Вы говорите, папа, что на шахту больше не пойдете, и хотите, чтобы мы вас содержали. Но ведь вам только пятьдесят три года.

— Это еще что? — спросил Казимир.

— Пятьдесят три года — ведь не старость, папа.

Казимир решительно махнул рукой, показывая, что возражения излишни.

— Как я сказал, так и будет.

Уолтер не сдавался.

— Это из-за взрыва, папа? Но ведь он не повторится. Раз не погибли, значит, вам суждено жить.

Отец ткнул в старшего сына толстым пальцем и спросил:

— Ты думаешь, Казимир Данковский струсил?

— Что вы, папа,— быстро ответил Уолтер и взглянул на мать. Братья тоже перевели глаза на Стеллу.

— Что вы смотрите на маму? — спросил отец.— При чем тут она?

— Папа, десять долларов в месяц — большие деньги,— сказал Уолтер.— Мы ведь зарабатываем меньше вас. И все задолжали в лавке.

Седьмой сын, отец годовалой дочери, двадцатилетний Джордж, чья жена была опять беременна, пробормотал:

— Папа, десять долларов в месяц...

— Десять долларов из шестидесяти не так уж много,— возразил Казимир.— Я-то вас ско́лько кормил!

Питер умоляюще посмотрел на мать. Он был оглушен. Одним махом отец разрушил мечту, которую он так долго лелеял. В кухне наступило гнетущее молчание, но он не смел заговорить с отцом, решение которого по старому обычаю считалось окончательным.

— Мама...— с трудом произнес он и умолк.

Стелла Данковская сказала мужу:

— Отец, послушай сначала насчет технологического института Карнеги. Поговорим сначала о Пите, а потом об остальных детях.

— Я не хочу ничего слушать об этом институте.

— Папа, мистер Карстайрс говорил обо мне с человеком из этого института,— быстро сказал Питер.— Он друг мистера Карстайрса. Он обещал мне стипендию.

— Я не хочу ничего слушать об этом.

— А вы все же послушайте, папа,—вмешался Уолтер.— Ему дадут бесплатное образование и будут еще немного приплачивать за то, что он играет в футбол. Все говорят, что Пит может стать лучшим футболистом в стране.

Казимир сказал громко, махнув рукой:

— Хватит футбола. Хватит институтов. Я все про это знаю. Поиграл два года в школе второй ступени — и хватит. И учения с тебя хватит. Кто в нашей семье еще учился в школе второй ступени?

Стелла сказала мягко:

— Папа, остальных мы не могли послать учиться. А Питера послали, и он хорошо учится...

— Вы бы посмотрели, как он играет, папа,— сказал Уолтер.— В Суит-Уотере все ходят на матчи. А Пит играет лучше всех, папа. Его команда еще ни разу не проигрывала, возьмите это в соображение. В будущем году обязательно сходи́те посмотреть.

---

* Измельченная недозревшая ягода тропического растения из семейства перцовых. Употребляется в сигаретах, как лекарство от простуды.

— Питер учится очень прилежно, папа,— сказала Стелла.— Вот какой у нас хороший, сильный сын. Один из наших детей может выйти в люди. Зачем лишать его этой возможности?

— Это еще что? — взревел Казимир.

— Если вы окончательно решили бросить работу, папа,— сказал Уолтер,— мы, остальные, будем давать вам деньги. А может, вы еще передумаете и поработаете немного, пока мы не станем как следует на ноги. Но Пит может поступить в институт. Мистер Карстайрс для того и открыл здесь школу второй ступени, чтобы кто-то мог выбраться из Суит-Уотера. И у Пита для этого шансов больше, чем у всех.— Уолтер чувствовал, что его уговоры не действуют на отца. Смяв сигарету, он тихо добавил: — Папа, в нашей семье только один человек окончил среднюю школу. Не следует вымещать на Пите, что сами вы не учились.

Удар попал в цель. Казимир взорвался.

— А какой толк от того, что мама начиталась книг? Работает, как и все остальные! — Потом он попытался говорить спокойнее: — Питер, ты проучился два года в средней школе — больше, чем твои братья. И это хорошо. Может, мистер Карстайрс даст тебе работу в конторе или в лавке. А теперь тебе пришло время быть взрослым. Футбол, школа — это все для ребятишек. Пора и тебе стать мужчиной, как твой отец и твои братья.— Не удержавшись, он опять почти выкрикнул: — А образование — так это все для женщин.

Пит Данковский стиснул кулаки. Пересилив страх, он шагнул вперед и решительно сказал:

— А я все равно поступлю в Карнеги!

Казимир размахнулся и дал сыну звонкую пощечину. Наступила мертвая тишина. На щеке Питера остались белые следы пальцев, потом они побагровели. Пит в ярости занес кулак, но одну роковую секунду поколебался. Рука отца снова хлестнула его по лицу, на этот раз сильнее, оглушив его физически и сломив только-только нарождавшуюся решимость. Ярость угасла. Им овладела тоска. Руки бессильно опустились. Уолтер шагнул было вперед, но Стелла схватила его за локоть, и он остановился.

— Утром пойдешь на шахту,— сказал Казимир.

Питер молчал.

— Ты утром пойдешь на шахту. Понял?

— Да, папа.

Казимир обвел свирепым взглядом насупленные лица сыновей.

— Кто еще хочет перечить отцу?

— Не вздумайте меня тронуть,— сдержанно предупредил Уолтер.— Теперь уже не вы самый сильный, а я.

В новом порыве злобы Казимир занес руку для удара. Старший сын спокойно ждал. Казимир посмотрел в лицо самого сильного из своих сыновей. Он опустил руку и сказал:

— Отца надо уважать. Каждый из вас будет давать по десять долларов в месяц. Сыновья должны уважать отца.

— Уважение к отцу превыше всего,— тихо сказала Стелла.

Ненависть угасла, вернулась впитанная с молоком матери покорность родительской власти. Один за другим силачи сыновья повторяли:

— Хорошо, папа.

Вот так Казимир Данковский в пятьдесят три года переместился в кресло-качалку на парадном крыльце дома. Июньским вечером 1911 года Казимир упрямо обрек себя на безделье, которому суждено было длиться тридцать лет — до 1941 года, когда он умер в Детройте от рака желудка, а Питер Данковский, в будущем отец Дэвида Бэттла, ступил на путь, который привел его к гибели.

■

Где-то далеко в горах раздался паровозный гудок, протяжный, хриплый вой одинокого зверя; он медленно скатывался по горным склонам в лощины, где постепенно замирал, словно проваливался в преисподнюю, превращаясь в жуткую погребальную мелодию — у-у-у-у-у! И Эллен Фоли съежилась и сказала робко:

— Пит, не надо, мы не должны, Пит...

А его рука под юбкой неуклюже гладила ее ногу.

— Мы не должны! Пит, пожалуйста, не надо, Пит, пожалуйста!

Пит резко отдернул руку.

Чувствуя, что он обиделся, Эллен позвала:

— Пит...

Он молчал.

— Это паровозный гудок, Пит. Мне от него всегда делается не по себе. Мама говорит, что это мертвая собака воет, разыскивает своего мертвого хозяина.

Пит приподнялся, сел и поглядел в темноту.

— Это же гудел паровоз.

— А мама говорит, что это воет мертвая собака. Знаешь, что она говорит мне? Смертный грех! И я ничего не могу с собой поделать. Я все слышу: смертный грех, смертный грех... И кто-то нас оплакивает и кричит нам через долину.

— Силы небесные! Мертвые собаки, смертные грехи — того и гляди, на нас привидения набросятся. Ведь ты эти гудки по сто раз на дню слышишь. Да и что такое Суит-Уотер? Тюрьма с паровозными гудками — и все. Гудок как гудок, ни про какой смертный грех он не говорит. Он говорит: беги из этой тюрьмы, парень. Садись в поезд и беги в Акрон. Только и есть веселого в Суит-Уотере что гудки!

— Пит, не сиди так далеко. Ляг рядом и поцелуй меня, я боюсь.

— Мертвая собака! — ворчал Пит.— Тьфу!

— Он и на тебя тоску нагнал. Я же чувствую.

Пит разозлился:

— И чего ты ломаешься?

Эллен Фоли откликнулась не сразу:

— Как это — чего?

— Это же все пустяки.

— Смертный грех не пустяк.—Она притянула его к себе и поцеловала в щеку.— Пит, ты теперь разговариваешь, как все эти местные.

— Потому что хочу с тобой спать?

— Я же сказала только, что ты разговариваешь, как они. Слова такие же. И голос. Странно как-то. Грустно, что ты разговариваешь, как все эти местные. Мы же с тобой принадлежим к истинной церкви. И мы культурнее их. Уж наверное, у Данковских и у Фоли книг больше, чем у всех Паркеров, вместе взятых. И конечно, больше, чем у Кэлпепперов. Но ты все равно стараешься походить на них. И только потому, что они приехали сюда раньше нас. Это странно и как-то грустно.

— А ты хочешь, чтобы я разговаривал, как мой папаша полак *? Или моя мамаша полуеврейка?

— Твоя мама — полуеврейка? Это правда? — Пит молчал.— Не говори об этом никому. В Суит-Уотере достаточно и того, что ты католик.— Он увидел, как ее зубы блеснули в улыбке.— Знаешь, я думала, отца Ханнегана сегодня удар хватит. Лучшего комика, чем Стэббс, во всем графстве Паркер нет.

— Ну, в следующий раз он дважды подумает, прежде чем острить!

— Ты что, дрался с ним, Пит?

— Дрался? Вытер им угольную пыль, только и всего.

— Но он же шутил. Он ничего дурного не думал. И ты признайся: смешно ведь?

— Ничего, теперь он остережется шутить со мной. А ты-то чего за него заступаешься? Не понимаю! Тебе смешно, что он отпускает шуточки во время мессы, богохульствует, а вот когда дело доходит до самого обычного, житейского — ты из себя святую корчишь!

— Пит! Не надо об этом. Мне не по себе становится. Это же смертный грех.

— Будь на моем месте сейчас Уилбер Паркер, так ты небось не ломалась бы. Если я плох для тебя, скажи прямо.

— Не говори так, Пит! И чего ты злишься? Не надо! Ты сам виноват, что работаешь в шахте. И незачем срывать злость на других.

— Я виноват?

— Ты же взрослый человек! Если тебе действительно хочется учиться, так учись! Отец не сможет тебе помешать вернуться в школу, не сможет!

Отворачиваясь от правды ее слов, он сказал:

— Если я тебе плох, можешь крутить с Уилбером Паркером. Не зря он постоянно околачивается возле вашего дома.

Ей было приятно, что он ревнует, но она продолжала:

— Просто уйди с шахты и поступи в колледж, а Казимиру скажешь, что будешь учиться — и все!

— Так-так!

— Нет, я серьезно. На твоем месте я бы не позволила собой командовать.

— Ладно, я полак. А полаками всегда командуют. Вот в чем разница между нами и Паркерами. Когда англичане едут куда-нибудь — ну, там в Африку, Индию или в Суит-Уотер,— они и там ведут себя по-своему, а не как местные жители. И других заставляют жить на свой лад. И это им сходит с рук. А вот мы, хэнки **, мики ***, полаки, знаем, что мы граждане второго сорта. И, наверное, есть такое врожденное чувство, и с этим ничего не поделаешь. Так есть, и так будет. Никто этого не изменит. А ты знаешь, что в Суит-Уотере был сегодня негр?

— И что он делал?

— Шел по путям. Не знаю куда.

— А с ним что-нибудь сделали?

— Я бросил в него кусок угля.

Помолчав, Эллен сказала:

— Это ты напрасно. Он ведь никого не трогал?

---

* Презрительная кличка эмигранта-поляка.
** Презрительная кличка эмигрантов из Югославии и Венгрии.
*** Презрительная кличка эмигрантов из Ирландии.

— Нет, просто шел по путям. В чистой рабочей одежде, с мешочком через плечо. Идет себе, наклонив голову, и ни на кого не смотрит. И когда в него начали бросать камнями, я тоже схватил кусок угля и угодил ему прямо между лопаток. Но он даже не вскрикнул. Даже рукой не потрогал ушибленное место. Шел и шел себе. А ведь больно, наверно, было. — Пит помолчал.— Потом я даже пожалел, что бросил в него углем. Да ведь все кидали, а мы со Стэббсом только-только кончили драться — он сказал, что берет свою шутку назад, и мы не знали, о чем говорить дальше. А тут как раз появился черномазый, ну я и бросил ему в спину кусок угля. А он продолжал идти, только голову поднял высоко и смотрел прямо перед собой, а все вопили ему вслед: «Черная морда!» Наверно, он сюда теперь долго не заявится!

Эллен хотела что-то сказать, но тут снова — и на этот раз ближе — загудел паровоз. Эллен обернулась на звук.

— Это же поезд,— сказал Пит.

— Такая в нем тоска! Когда я была маленькой, меня от этих гудков била дрожь и хотелось, чтобы кто-нибудь еще проснулся.

— Да хватит тебе... Ничего, придет и мое время. Не все же мне быть полаком.

— Да? А как же ты перестанешь быть полаком?

— Перестану, и все!

— Разве леопард может стереть со своей шкуры пятна? Так и ты не можешь. Можешь пойти в технологический, можешь стать футболистом сборной Америки и важной персоной, а все равно останешься Питом Данковским.

— А тебя твоя участь устраивает?

— Меня вполне устраивает, что я красивая.

— Что правда, то правда.

— Мне нравится, когда парни у вокзала свистят мне вслед, а я как будто злюсь — только ведь их не проведешь! И они прекрасно меня понимают.

— Еще бы тебе это не нравилось!

— «Еще бы, еще бы»! А ты знаешь, что мало кто живет так хорошо, как мы здесь? И нигде больше родители не любят так своих детей. Можно неделю ходить по Суит-Уотеру и не увидеть ни одного хмурого лица. У нас никто не злится. Даже когда дерутся.

— Тогда почему же все хотят уехать отсюда?

— Не знаю. Наверное, это не всерьез. Говорят, что хотят уехать, потому что все так говорят. А подумают серьезно и понимают, что от добра добра не ищут.

— Ко мне это не относится.

— Перестань злиться и ворчать, Пит. Прежде с тобой всегда было весело.

— Какой уж есть! Не нравлюсь — возьми себе Уилбера.

— Может, и возьму. Если будешь все время киснуть. Ты говорил отцу насчет стипендии?

— Мы все говорили. Да что толку! Как в стенку горох.

— Нет, ты должен настоять на своем! Уговори его посмотреть, как ты играешь. А когда он увидит, сколько народу приходит на стадион из-за тебя, то сразу передумает.

— Пусть теперь приходит в шахту! Наверно, я смогу рубить угля побольше папаши! Уж я его побью! И время мое придет. Черт возьми, я все-таки выберусь отсюда когда-нибудь!

— А меня возьмешь с собой, Пит?

— Я думал, тебе и здесь хорошо.

— Может, без тебя и не будет хорошо.

— Ну, так докажи.

Она не ответила, и оба задумались. Потом Пит спросил:

— А как у Винсента дома?

— Как у нас. Только комнаты больше. И картины на стенах страшнее. И платят мне там за то, что дома я делаю даром.

— Он с тобой хорошо обходится?

— Он со всеми хорошо обходится. Ты же знаешь.

— А, может, с тобой по-особенному?

Эллен улыбнулась, радуясь, что он ревнует.

— Только когда его жена уезжает в Нью-Йорк, Питтсбург или еще куда-нибудь.

— Верно! Так и люди говорят.

— Что говорят люди? — настороженно спросила Эллен.

— Сама знаешь.

— Нет, не знаю.

— Зачем тебе вообще там работать? Ты могла бы совсем не работать.

— Мне нравится, что у меня есть деньги. Я их коплю,— Эллен улыбнулась и прижалась к нему.— Не все же ирландцы моты. Я тоже умею скряжничать не хуже Данковских.— Она прикоснулась губами к его щеке.— Открыть тебе тайну? Хочешь знать, зачем я работаю? Чтобы накопить денег. Чтобы, когда тебя примут в колледж, и я могла бы уехать.

— Ну, теперь можешь об этом забыть,— угрюмо сказал он.— А только все знают, что жена у Винсента как ледышка. И с свадебной ночи у них ничего не было.

Да и тогда еще неизвестно, было ли. Ну, люди и думают, что он промышляет на стороне. Меня-то ты отшиваешь, а вот как насчет того, кто может дать тебе денег на колледж?

Эллен молча поднялась и пошла вниз по склону. Пит вскочил и, догнав, взял ее за руку, но она вырвалась и ускорила шаг.

— Да не злись ты, Эллен.

— Этого я тебе никогда не прощу, Пит. Никогда.— На глазах у нее были слезы.

— Я ведь только спросил,— пробормотал Пит.— Мы же с тобой гуляем, а все ребята удивляются, зачем это ты работаешь, когда отец и братья столько получают, и дом у вас свой, и ни в чем ты не нуждаешься. Стэббс говорит, что ему все ясно: Винсент выгонит свою супружницу, а ты останешься. И ничего менять не придется. Все пройдет незаметно, потому что ты уже там, будешь на ночь оставаться, только и всего. Так чего ты злишься, если я спрашиваю? Гуляешь со мной, а позволять — ничего не позволяешь.

Эллен остановилась, потом вдруг опустилась на землю и закрыла лицо руками.

— Я не так хотел выразиться,— неловко оправдывался Пит.— Я не то имел в виду.

— Когда Стэббс тебе это сказал, ты с ним подрался?

— Нет. Но не думай, что мне это понравилось.

— А когда он над тобой пошутил, ты его избил. Это, конечно, важнее?

— Так это же другое дело. Меня он высмеял при людях.

— А обо мне говорил не при людях?

— Ну, были ребята из нашей команды. Знаешь, как это бывает. Соберутся и треплются. Если каждого в Западной Виргинии бить за то, что он говорит про женщин, руки отобьешь.

Эллен неожиданно громко рассмеялась, и Пит испугался, не зная, к чему это приведет, но она сказала:

— Счастье, что нас, ирландцев, выручает чувство юмора. Если подумать, так и вправду смешно. Ну, слушай, мистер Питер Данковский: Винсент Карстайрс меня и пальцем не тронул. А ведь мог бы попробовать, с такой-то женой! Но он человек, каких нет ни в Польше, ни в Ирландии, ни в Суит-Уотере, и если ты не перестанешь злиться и приставать ко мне, я уеду в Пенсильванию и найду там себе другого, кого-нибудь вроде него.— Эллен притянула его к себе.— А мистеру Стэббсу скажи, что я работаю у мистера Карстайрса для того, чтобы тоже поехать в колледж, когда моего кавалера примут в Карнеги. Будь ты чуточку поумнее, понял бы, как я к тебе отношусь.

■

Когда Эллен Фоли венчалась с Питом Данковским, она была на четвертом месяце беременности. Ровно столько времени понадобилось, чтобы убедить Пита жениться: даже когда Эллен начала уже заметно полнеть, ему потребовалось подтверждение доктора Блэка.

— Она беременна, Пит,— сказал доктор.— Поверь моему слову.

— Всего от одного раза?

— Достаточно и одного раза. Сотый ли, первый ли — все равно. Она ждет ребенка.

— Но откуда я знаю, что он мой? — угрюмо спросил Пит.— Вы же знаете, как говорят: стоит девушке только начать, тут оно и пойдет.

— Ну, это уж ваше с Эллен дело,— ответил доктор Блэк ледяным тоном.— Лучше тебе с ней об этом не говорить. И я выслушивать подобные вещи тоже не желаю.

— Да я так. Просто я как-то не думал о женитьбе.

— Кто о ней думает! А по-моему, тебе чертовски повезло. На пятьдесят миль вокруг любой мужчина даст себе вырвать шестой зуб, только бы заполучить Эллен Фоли, а тебе она даром достается.

— И вы тоже?

— То есть как?

— Вы тоже хотите ее заполучить? Если вы так уж печетесь об ее чести и добром имени, так возьмите ее сами,— Пит ухмыльнулся.— Экономка вам позволит?

Доктор Блэк с трудом сдержался, но сказал резко:

— Мне больше не о чем с тобой говорить. Вон из моего дома.

Но Питер не мог уйти. Он беспомощно барахтался в болоте, в которое они с Эллен попали по собственной вине. Ему нужен был совет — совет врача. С трудом находя нужные слова, он попробовал извиниться.

— Я не то хотел сказать. Я думал пошутить, но, наверно, не подумал как следует.

— Пора уже научиться думать как следует. И привести свою жизнь в порядок. Я давно за тобой наблюдаю. Ты мне, как всем, казался героем. А на поверку выходит — ты шкодливый трус.

— Это еще почему?

— У тебя были все возможности, а ты отказался от них, струсил, не дал отпора отцу. А теперь юлишь, стараешься придумать, как бы свалить с себя ответственность.

Только самый последний скот может марать такую женщину, как Эллен Фоли. На это способен лишь отпетый подлец.

Питер Данковский сдержанно сказал:

— Возьмите эти слова обратно, не то будет плохо.

— Не только не возьму обратно, а и еще раз повторю. Ты дерьмо и подлец. Ты недостоин этой девушки. Лучше бы ее братья пристрелили тебя. Но она хочет быть твоей женой. Вот чего она, бедная дурочка, хочет. А ты говоришь о ней, как об уличной девке. Запомни: если ты не загладишь своей вины перед ней, я сам помогу ее братьям пристрелить тебя. Ты понял?

Пит смотрел на доктора с удивлением.

Доктор Блэк смягчился и сказал:

— Ты заслужил это, Пит. Сполна. Конечно, ты сейчас немного не в себе, я понимаю. Только в ближайшие дни попробуй доказать, что ты все-таки не тупица полак.

— Я, конечно, сам на это напросился. Но все-таки выражайтесь поосторожнее. Я не люблю, когда меня называют полаком.

— Я могу тебя так называть. И объясню почему. Хотя сам не понимаю, на кой черт ты мне сдался! — Доктор Блэк взвесил возможные последствия своей откровенности, потом решительно сказал: — В Элбоу меня знали, как сына Стива Ковальского, в Питте звали Джо Ковальским. И только теперь я стал Джо Блэком.

— Не может быть! Джо Ковальский? Нападающий?

— Да. Только теперь меня зовут Джо Блэк.

— Вы меня разыгрываете.

— Нет.

— Вот так так! — Пит присвистнул.

Доктор Блэк сардонически улыбался. Собственно, это даже не была улыбка.

— Хотя ты этого и не стоишь, но Джо Ковальский даст тебе один совет. Слушай меня, и слушай внимательно. Ты воображаешь, что ты здесь бог знает кто. Великий герой! Так вот: я всегда болел за тебя, как и все в Суит-Уотере, а может быть, и больше других, потому что я помню, каким сам был в Элбоу пятнадцать лет назад. Ты знаешь, кто рекомендовал тебя в институт Карнеги? Не только Винсент. Джо Ковальский тоже постарался для еще одного дурака полака, еще одного нападающего. А ты меня подвел. Здорово подвел. И Винсента тоже.

— А как вы играли? — перебил Пит.— Не хуже меня?

Доктор Блэк смерил его взглядом.

— Не хуже тебя? Ты пока играл в школьной команде против школьных команд и был самым сильным мальчишкой на поле. Оценить футболиста можно только, когда он играет с мужчинами.

— Представитель технологического сказал, что я мог бы играть в чемпионате страны.

— Не думаю, чтобы тебя на это хватило. Ты же трус.

Пит ухмыльнулся.

— Я все понял! Вы нарочно меня доводите, чтобы я взбесился и доказал, что это не так?

— А ты намерен доказать, что это не так?

— Выбирайте, чего вы хотите: чтобы я женился или чтобы я играл в футбол?

— И то, и другое. Одно другому не мешает.

— Слишком поздно! Папа не велит.— Пит развел руками.

— Но ты же бьешь по Эллен. Ты знаешь, для чего она работает?

— Знаю. Но это ерунда. Особенно теперь.

— Слушай, ты наградил ее ребенком и разбил ей жизнь. А она умоляла меня сделать ей аборт, чтобы не подводить тебя.

— Ну, и почему вы отказались?

— А вот почему. Пусть я сменил имя и не хожу с вами на мессы — без этого я не мог бы стать доктором в Суит-Уотере,— но мои руки не сделают ни одного аборта. Так что ей остается либо выйти за тебя замуж, либо стать матерью незаконнорожденного ребенка. И она сделала свой выбор, да сжалится над ней бог. Ради нее, Пит, постарайся стать чем-то!

— Скажите, а как можно переменить фамилию? Куда обращаться?

Доктор Блэк холодно усмехнулся.

— Я попал в точку? Я сменил ее в суде нашего округа. Но смена фамилии не привела к тем переменам, которых я ждал. Если тебя это соблазняет, то прежде хорошенько подумай. Послушай совета человека, который все испытал на опыте.

— А чем вам это повредило?

— Чем! Преуспевающий доктор Блэк — кто он и что он?

— Нет, я это непременно сделаю! Изменю фамилию и уеду в Акрон.

— Можешь стать Ковальским. Есть вакансия.

— Вы Блэк, я буду Уайтом. Или Грином *. Черт побери! — Пит засмеялся.— Просто удивительно, как я вдруг изменил к вам отношение, доктор Ковальский.

Лицо Блэка посуровело.

---

* Блэк по-английски означает — черный, уайт — белый, а грин — зеленый.

— Человек всегда должен оставаться человеком. Пит, ты обязан сделать что-то для себя и для нее!

— Я о другом сейчас думаю. Вам ведь теперь дружить со мной придется. Весь город с ума сошел бы, узнай они, что вы никакой не Блэк, а Джо Ковальский!

Блэк указал пальцем на дверь.

— Вон!

— Не бойтесь, я никому не скажу.

— Это я знаю.

— А почему?

— Потому что в городе это известно только двум людям. Казимиру и мне. Мы с ним обменялись тайнами.

— Значит, папа сообщил вам о том, что мама наполовину еврейка? Это же вранье! Он говорит так ей назло, потому что она образованнее его.

— Так будешь молчать по другой причине. Я ведь могу рассказать всем, какой ты шкодливый трус. Как бы это не заставило их переменить о тебе мнение!

— Это все глупости. И мне плевать.

— Да? Ну, так я назову тебе третью причину. Если ты хоть пикнешь, я тебя пинками прогоню через весь город и швырну в Канаву. А не веришь — можем хоть сейчас попробовать.

Пит Данковский побелел. Его охватило смятение. Он знал, что ему ничто не грозит. Знал, что Блэк дразнит его, надеясь, что он примет вызов. Так почему же он стоит столбом? Ведь это так легко — достаточно сказать одно слово. Он же не трус! Нет! Так почему же он не докажет этого?

Доктор Ковальский сказал:

— Ты сегодня же попросишь Эллен Фоли стать твоей женой. И мы оба будем хранить тайну друг друга.

■

Паровозный гудок прорезал тишину ночи в то самое время, когда Эллен Фоли давала жизнь Теодору Данковскому. Это было в марте 1912 года. Роды принимали обе бабушки, потому что доктора Блэка вызвали в Мэрдер-Крик, где он мог только бессильно смотреть, как умирающий от туберкулеза легких Генри Форси кашляет и захлебывается кровью.

Роды были тяжелые. Ребенок шел спинкой вперед, и пуповина обмоталась вокруг его шеи. Он сразу посинел. Кэтрин Фоли в отчаянии поспешила его окрестить:

— Во имя отца и сына и святого духа нарекаю тебя Теодором. Аминь!

Ее начала бить дрожь, и толку от нее не было никакого. Но Стелла Данковская перерезала пуповину столовым ножом, сдернула ее с тонкой шейки и, подняв младенца за ножки, принялась шлепать его по заду и спинке. Прошла томительная минута, младенец вдруг вздохнул впервые в жизни, и его тельце медленно порозовело.

Потом приехал на своей вороной лошади доктор Блэк и сказал, что новорожденный будет жить.

— Хорошо, что бабушки оказались здесь. В следующий раз зовите меня заранее. Я не люблю провожать умирающих; я люблю встречать рождающихся.— Блэк закрыл чемоданчик.— Человек умер, и человек родился.— Он улыбнулся.— Этот мальчик поторопился явиться на свет! — Но, взглянув на хмурые лица бабушек, он перестал улыбаться и прибавил неловко: — Во всяком случае, я рад, что вы были тут. Дело могло кончиться плохо.

Кэтрин, перебирая четки, сказала:

— Господь и святое крещение совершили чудо. Надо отслужить благодарственный молебен.

— При чем тут чудо,— заметил Пит.— Его спасло то, что перерезали пуповину. Вы могли бы крестить его весь день напролет, а он так и не вздохнул бы!

Не обращая на зятя внимания, Кэтрин повторила:

— Надо заказать молебен.

Ночью раздался паровозный гудок, и Эллен сказала мужу:

— Он вот так же тоскливо ревел, когда родился наш сын,— совсем как тогда, когда мы совершили смертный грех. Он умрет.

Пит весь похолодел. Эллен повторила:

— Он умрет, я это чувствую. Бог покарает нас.

Пит окончательно проснулся и сразу почувствовал огромное облегчение. Он засмеялся визгливо, почти истерически.

— Тьфу! И напугала же ты меня! Разве можно так будить? Я думал, с ним что-то случилось! А он молодец. Десять фунтов Пита Данковского.

— То, как он родился, Пит, было знамением. Я знаю, бог не судил ему жить. На этот раз его спасли, но в следующий раз бог все равно нас покарает.

Теодору Данковскому исполнилось семь месяцев. Стояла золотая осень, и однажды вечером приехал на своей вороной лошади доктор Блэк. Он сказал стари-

кам, что хочет поговорить наедине с молодыми, и, взяв Эллен за руку, вышел с ней на заднее крыльцо, где Пит сидел в лохани. Он смотрел, как утки взбираются по крутой тропе, и лениво плескал черной от угольной пыли водой на волосатую грудь. Взглянув на озабоченное лицо Блэка, он с беспокойством спросил:

— Что случилось?

Блэк молча предложил Питу сигарету, а когда Пит указал на свои мокрые руки, он сунул сигарету ему в рот и зажег спичку. Пит пробормотал затягиваясь:

— Что случилось?

Эллен села на стул с прямой спинкой и, сложив руки на округлившемся животе, приготовилась слушать Блэка.

Блэк молча расхаживал по крыльцу, не зная, с чего начать. Молодые Данковские ждали, следя за ним взглядом. Наконец он сошел с крыльца и посмотрел на них снизу вверх.

— Пит, Эллен, мне трудно об этом говорить, но еще труднее вам будет меня выслушать.

Эллен спросила:

— Он скоро умрет?

Блэк отвел взгляд.

— Он не умрет. Но с ним не все ладно, Пит. Я позвонил врачу в Уилинге. Он консультант, специалист. И он подтвердил мой диагноз.

— Туберкулез? — со страхом спросил Пит.

— Нет, не туберкулез. И не тиф, и не дифтерия. Он не умрет. Но, может быть, это хуже смерти. Скажу вам прямо: он ненормально развивается. Что-то с ним неладно.

— Что неладно? — крикнул Пит.— Как так неладно?

— Иначе и быть не могло. Я же предупреждала тебя,— пробормотала Эллен.

— Он не умрет,— раздраженно повторил Блэк.— Забудь о своих предчувствиях. Они тут ни при чем.

— Черт возьми, скажите же, наконец, что случилось? — сказал Пит.

Блэк глубоко вздохнул.

— Я же сказал: он ненормально развивается. Ваш сын останется недоразвитым.

Пит взболтал воду, обдумывая услышанное. Потом с вызовом объявил:

— А по-моему, нормально. Как все дети. Вы бы лучше еще раз его осмотрели, прежде чем говорить такие вещи. Специалист еще нашелся, по телефону консультирует! А сам и ребенка-то не видал.

— Твой мальчик останется недоразвитым, Пит. Ничего тут не поделаешь. Он ненормальный. Его глаза, реакция — все говорит о том, что он не развивается.

— Господи, да ему всего семь месяцев! Чего вы от него хотите? Чтоб он встал и бегал?

— Сам понимаешь, мне меньше всего хочется сообщать молодым родителям такие новости об их первенце. Выслушайте меня внимательно и постарайтесь понять: ваш мальчик начнет ходить не раньше, чем в три-четыре года. Говорить начнет не раньше семи. И так будет во всем, положение не улучшится.

Пит встал и начал вытираться. Он сказал настойчиво и зло:

— Если с ним что-то неладно, вылечите его, только и всего.

— Бывают случаи, когда врач не в состоянии помочь.

— Знаю я вашего брата. Если кто вылечивается, вы говорите, что это благодаря вам. Если же продолжает болеть, вы заявляете, что бывают случаи, когда врач бессилен. К черту эти штучки! Вы и этот специалист в Уилинге говорите, что мой сын ненормальный. Так вылечите его!

Блэк потушил сигарету, достал из кармана вельветовой куртки трубку и медленно закурил. Потом он сказал:

— В такую минуту, Пит, тебе можно многое простить. Но не перегибай палки. Я ваш доктор. У меня есть знания и профессиональный опыт, и я много работаю ради вас. Подумай об этом. Я имею право на уважение. Но вы должны уважать и самих себя. Вы оба были достаточно взрослыми, чтобы пожениться и родить этого ребенка. Теперь вы узнали, что он ненормален. Медицина не может объяснить, почему это так. Человек в таких случаях бессилен. Вы не должны закрывать глаза на реальность и тешить себя несбыточными надеждами. Чем скорее вы признаете этот факт, тем скорее сможете что-то предпринять. В этом нельзя винить бога, врачей или вас самих. В этом никто не виноват.

Пит молча оделся. Застегнул чистую рубашку, зашнуровал ботинки, потом спокойно спросил:

— Так что же делать?

— Вот это — другой разговор. Недавно открылся приют для таких детей, отдайте его туда. Там за ним будет хороший уход. Если хотите, я подам заявление.

Эллен возразила.

— Каков бы он ни был — он наш, и заботиться о нем должны мы.

— Эллен Фоли, ты решила быть мученицей до конца! — Но тон Блэка тут же смягчился.— Нет, я беру свои слова назад. Это естественный материнский порыв. А теперь послушай меня. Ты ждешь второго ребенка. Их у тебя будет много — с таким-

то ирландским сложением и таким мужем. Вот почему ты сейчас обязана решить, что отдашь свои заботы тем детям, которым они нужны, и забудешь того, кому помочь не можешь. Отдай его в приют, где он будет счастлив, насколько это возможно, среди подобных себе.

Глаза на скорбном лице Эллен были сухи.

— Доктор Блэк, мать не перестает любить ребенка, даже если он урод. Наоборот, она любит его еще больше, потому что он больше нуждается в любви.

— Мы отправим его в приют, где ему будет лучше,— вмешался Пит.

Эллен посмотрела на мужа.

— О ком ты заботишься? О ребенке или о себе?

— Ты слышала, что сказал доктор. Конечно, о ребенке.

— Я спрошу отца Ханнигана. Пусть он решит, должны ли мы нести кару за наш грех.

Вопреки ожиданиям доктора Блэка отец Ханниган объявил, что несчастного ребенка нельзя отрывать от родного дома и любящей матери.

Но Пит Данковский решил иначе. Он пошел на вокзал и позвонил в приют. Ему ответили:

— Мы пока не можем брать детей в таком возрасте. Мы примем ваше заявление, а вы обратитесь к нам снова, когда ему исполнится три года.

Вернувшись домой, Пит подошел к сыну. Бессмысленный взгляд упрекал и жег его. Пит пробормотал:

— Ты мне не нужен. И я от тебя избавлюсь.

Он терпел эту занозу, пока не родилась дочь Кэтлин. И терпел еще год, но горечь и злоба в нем росли. Лицо сына-идиота маячило перед его глазами даже в кромешной тьме шахты. А дома он видел это лицо во всей его чудовищной реальности и мрачнел еще больше.

За неделю до рождения третьего ребенка Пит напился в притоне Билли Грина в Шони и злобно бормотал в стакан с виски:

— Мочи мне с тобой нет. Убью я тебя!

Стив Дворак спросил с любопытством:

— О чем это ты?

— Не твое собачье дело.

Пит отправился в Фрогсберг и явился в приют.

— Вы сказали, что возьмете ребенка, когда ему исполнится три года,— заявил он директору.— Ну, так берите его.

Директор вежливо объяснил, что приют слишком мал и не может вместить всех желающих: тысячи несчастных детей ожидают приема. Не хватает сестер, врачей, коек, Теодор Данковский стоит на очереди, но надо еще подождать, пока не будет увеличено число мест.

Пит возмутился:

— Я записался больше двух лет назад. Сколько людей вы пропустили без очереди? К кому я должен обратиться, чтобы попасть к вам?

Директор молча пожал плечами.

— Кто к вам пролез по знакомству? Как им это удается?

— Не знаю, о каком знакомстве вы говорите,— сказал директор без тени улыбки на лице.— У нас существует приемная комиссия. Вы состоите на очереди. Больше ничего я вам, Данковский, сообщить не могу. Когда освободится место для вашего мальчика, мы известим вас.

— У вас тут есть полаки?

— Не понимаю.

— Нет, понимаете, черт побери! Католики у вас тут есть?

— Еще раз говорю: когда будет место, мы известим вас. По почте.

Пит молчал до тех пор, пока Эллен не разрешилась второй дочкой, а когда она очнулась от наркоза, спросил небрежно:

— Какое женское имя лучше всего подходит к фамилии Бэттл?

Эллен с недоумением посмотрела на него.

— Ты глядишь на Питера Бэттла, Эллен Бэттл.

Эллен ничего не поняла, но доктор Блэк понял.

— Ты это сделал Пит?

— Да. В Фрогсбергском суде.

— И зря!

— А почему зря, доктор Ковальский?

— Потому, что ты потом пожалеешь, как я. Главное, что мы оба предали свой народ. А ведь могли бы многое сделать, оставаясь полаками. Например, заставить здешних людей переменить мнение о поляках. В том-то и беда, что как раз лучшие представители малых народов слишком часто становятся отступниками.

— Что бы вы ни говорили, доктор Ковальский, меня это не трогает.

— Может, кто-нибудь все же объяснит, в чем дело? — вяло, сонно спросила Эллен.

— Пит переменил фамилию.

— На Бэттла? Зачем?

— А что плохого в этой фамилии?

— В Данковском тоже нет ничего плохого. Я согласна с доктором. Не следует стыдиться, что ты тот, кто есть.

— Кто я есть! Послушала бы ты, как ты это сказала! А ведь лучше быть полаком, чем нищим ирландцем!

— Сейчас не время ссориться,— вмешался доктор Блэк.

— Я ведь не для себя старался, а для ребенка,— сказал Пит.— Думал, у нас будет мальчик. И когда он стал бы футболистом, эта фамилия ему больше бы подошла. И репортерам легче запомнить Бэттла.

— Бедный самоотверженный Пит Бэттл! — сказал доктор.— Вечно печется о других, а не о себе.

— Я вас, кажется, не спрашивал, доктор Ковальский.

■

Пит Бэттл с одинаковым хладнокровием переносил и насмешки своих товарищей-шахтеров и отцовский гнев. Теперь у него была цель и мнение других уже не имело значения. Он видел себя уже не Питом Данковским из Суит-Уотера, а Питом Бэттлом из Акрона, штат Огайо. Правда, не совсем еще из Акрона: туда он уедет, как только скопит триста долларов. Триста долларов.

Скопив двенадцать долларов, он поехал на пароме на другой берег Канавы, чтобы отпраздновать это событие в кабаке Билли Грина, который теперь уже открыто торговал спиртными напитками, несмотря на существовавший в Западной Виргинии сухой закон. После этого празднования из двенадцати долларов у него осталось всего три, так как он три раза угощал незнакомую компанию, которая сразу же признала его Питом Бэттлом.

Триста долларов — большие деньги. Как их накопить, если ты получаешь всего сто в месяц? Все же он решил попробовать. К октябрю 1917 года в сейфе Винсента Карстайрса хранилось сто двенадцать его долларов, и Пит впал в угрюмое отчаяние. Двенадцатого октября он поставил свое кайло и сказал Уэсли Кэлпепперу:

— А не смотаться ли нам к Билли Грину?

— Да нет, мне домой надо. Жена вот-вот родит.

— И моя тоже.

— Так как же мы можем поехать в Шони? Нам надо быть дома, хоть толку там от нас и чуть.

— Ну, ладно! А выпить у тебя есть?

— Две бутылки самогону. Могу уступить тебе одну за пятьдесят центов.

— Купонами?

Кэлпеппер пожал плечами.

— Можно и купонами. Это даже лучше. Наличные-то я спускаю, как матрос.

Когда они входили в дом Кэлпеппера, до них донесся крик Энн Кэлпеппер, готовой вот-вот разрешиться на руки матери. Уэсли бросился к двери спальни и спросил с тревогой:

— А где доктор Блэк?

Из-за двери послышался голос тещи:

— Уехал в Мэрдер-Крик. Там люди мрут от гриппа, как мухи.

— Кто у него там — родственники?

— Должно быть.

— Чем вам помочь, мамаша?

— Ничем. Главное, не мешайся. Теперь уже скоро. Таких легких родов у нее еще не было.

Энн криво улыбнулась.

— Спасибо, мама, что сказала, а то я не заметила.

— Там мрут, как мухи, а в Суит-Уотере родятся, как мухи,— сказала ее мать.

— А кто еще рожает?

— Эллен Данковская и Нора Фоли.

Уэсли повернулся и крикнул Питу:

— Беги-ка ты домой, Пит. У Эллен начались схватки.

— А где самогон?

— В кухонном шкафчике. Возьми сам. Мне некогда с тобой разговаривать. Жена вот-вот родит.

Пит разыскал бутылку, откупорил и отхлебнул большой глоток. Потом заткнул бутылку пробкой, вышел на улицу и медленно побрел к своему дому.

На крыльце сидел в качалке Казимир. Он сказал:

— У Эллен схватки, Питер.

— Вот как? — безучастно спросил Пит.

— Что это у тебя? Самогон?

Пит не ответил, но отец протянул руку, и он нехотя отдал ему бутылку. Он с тревогой следил, какими большими глотками пьет Казимир, и, не выдержав, потянулся к бутылке.

— А доктор Блэк уехал к больным,— сказал Казимир.
— Он всегда где-то шляется, когда нужен.
На крыльцо вышла передохнуть Стелла Данковская и мягко возразила:
— Время смерти легче предсказать, чем время родов. Доктор Блэк знает, когда в Мэрдере и в Сэттле умирают.
— Как она там?
— Тяжело. Кажется, опять идет спинкой.
— Так чего же ты ушла от нее, мама? — сердито спросил Пит.
— Немножко передохнуть. С ней миссис Фоли.
— Да, конечно! Осеняет крестом все углы.
Пит поднялся наверх и заглянул к жене. Она улыбнулась ему. Он спросил:
— Ну, как ты? Ничего?
— Все хорошо, Пит.
Мать вытерла пот у нее со лба.
— Помочь чем-нибудь?
— Ничего не надо, Пит,— ответила Эллен.— Только уйди куда-нибудь. Может, я вдруг закричу, а я не хочу, чтобы ты слышал, как я кричу.

Пит прошел через переднюю в спальню, где лежал его сын-идиот. Его лицо было таким же бессмысленным во сне, как и когда он бодрствовал. Пит поднял руку, точно отталкивая это страшное лицо, потом, запрокинув голову, жадно отпил из бутылки. Ему стало не по себе. Кто его знает, из чего гнали это зелье? Пит заткнул бутылку и стал смотреть на сына. Его с новой силой охватила безотчетная злоба. Он опять поднял руку — на этот раз словно собираясь ударить. Ему было бесконечно жаль себя. За что? Почему столько несчастий свалилось на человека, который заслуживал лучшей доли?

В колледж он не попал. Как ни старался учиться, как ни старался играть в футбол, а в колледж все равно не попал. А ведь он играл бы в первенстве страны, так все говорили! Все, кроме этого сукина сына Джо Ковальского-Блэка. Что он такого сделал? За что его лишили такой возможности? Ничего. Абсолютно ничего. Взяли и лишили безо всякой причины. Об институте нечего теперь и мечтать. Только и осталось что уголь в волосах, в бровях и под ногтями. Теперь хоть сто лет скоблись, все равно не отмоешься, уголь проник в самую душу. Всюду черный, как сажа, уголь, за которым ползаешь на карачках, вытаскивая его из черной утробы земли. И все для того, чтобы бесплодная жена Винсента Карстайрса могла ездить в Европу. Нет тут никакой справедливости. За два года накопленс только сто двенадцать долларов, и мечта уехать отсюда так и останется мечтой. Живешь в доме, платишь деньги, будто квартирант, а в придачу с тобой обходятся, как с послушным сыном. Две дочери вместо двух молодцов-сыновей и еще этот вот идиот. Словно молчаливый упрек: «Это ты виноват, что я такой, Питер Данковский-Бэттл!» Его и в приют не берут, потому что за кого-то там похлопотали; а на что им сдались иностранцы-католики? И это чудовище так с ним навсегда и останется, воплощая крах незадавшейся жизни. Ну, хватит, хватит! Думано это уже передумано. И хватит.

Пит не был уверен, что у него достанет духа сделать это, но когда он взял в руки подушку, все оказалось просто. Он повернул мальчика на бок, оглянулся на дверь и, убедившись, что она закрыта, одним решительным движением придавил головку подушкой. Чтобы не видеть дергающегося тельца и ручонок, слабо хватающихся за подушку, Пит закрыл глаза и долго не открывал их даже после того, как ребенок затих. Потом приподнял подушку и поглядел. Его первенец был мертв. Пит положил подушку так, словно мальчик сам, нечаянно, опрокинул ее себе на лицо. Потом вышел из спальни и встал в дверях комнаты роженицы, чтобы бабушки его видели.

Он удивлялся своему спокойствию. Ведь он только что совершил убийство. Убил собственного сына, убил хладнокровно. Но он сказал себе: «Я спокоен, потому что это не было убийством. Я просто помог мальчику»... И отогнал от себя мысль, что помог он не сыну, а только себе.

На свет появился еще один ребенок.
— Замечательный мальчик, Питер,— сказала Стелла.— Замечательный, красивый мальчик.

Когда бабушки отлучились на время из комнаты, Эллен усадила мужа рядом с собой.

— Знаешь, что? Мне почему-то жалко, что у нас родился сын. Ведь до сих пор ты заменял мне сына!

Она притянула его голову к себе на грудь и погладила волосы, потом щеку, а ему стало душно и противно от избытка материнской любви, переполнявшей ее. Если бы она только знала! А Эллен говорила:

— Помнишь, я как-то давным-давно сказала, что в Суит-Уотере есть то, чего не встретишь в других городах. Мне кажется, на свете нет места счастливей. Но если ты все-таки захочешь уехать в Акрон, я согласна. Все равно у меня будет то, чего нет больше ни у кого.

— О чем это ты?

— О том, что я могу вот так прижать твою голову к себе. И могу это только я одна во всем мире. Я счастлива с тобой.

Пит молчал. Эллен почувствовала что-то неладное.

— Может, это не так? — спросила она.

— Что?

— То, что только я могу тебя так обнять.

— Ну, что ты болтаешь глупости!

Пит сказал это слишком поспешно. Он вспомнил, что Этель Паркер обнимала его точно так же в те недели, когда жену полагалось беречь. Он с угрюмой усмешкой подумал, что Этель притянет его к себе вот так же еще сегодня вечером. Они выпьют самогона и предадутся любви украдкой, как звери среди холмов, и к радости удовлетворенного желания прибавится радость сознания, что дочь зазнайки Калеба Паркера — распутница, шлюха.

Стелла первая обнаружила, что ребенок мертв. Доктор Блэк объявил, что причина смерти — несчастная случайность.

— Бедняжка не сумел сбросить с себя подушку.— Блэк пристально посмотрел на Пита, и тот отвел глаза.— По-видимому, бог смилостивился над ним!

— Это же лучше для него, разве нет? — спросил Пит.

— Для многих лучше,— ответил Блэк, и Пит решил, что доктор догадался о его преступлении.

Эллен сказала:

— Я говорила, что он умрет, а мне никто не верил. Не зря паровоз загудел сегодня, как раз перед рождением второго мальчика. Далеко-далеко. Я даже подумала, что мне показалось. Я испугалась за второго. Но гудок оплакивал первого!

В Суит-Уотере только Эллен Фоли-Данковская-Бэттл плакала потому, что Теодор Данковский-Бэттл был мертв. А новорожденного назвали Дэвидом. Дэвидом Бэттлом.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Джим Паркер сидел на качелях, подвешенных на ржавых цепях к потолку веранды, которая тянулась вдоль всего фасада паркеровского дома и даже огибала угол. Двоюродные братья Джо Фоли и Дэвид Бэттл (им обоим было по пятнадцать лет) примостились на перилах над склоном, под которым зеленела тинистая канава. Паркер был рад, что ребята пришли навестить его на другой день после его возвращения из Моргантауна. Он не заподозрил в их визите ничего корыстного, самодовольно полагая, что их привело к нему желание послушать его мудрые речи. Они же рассчитывали покататься в его зеленом «франклине», который стоял на крутом склоне у ворот, грозя вот-вот съехать вниз.

Джеймс Паркер, стопроцентный американец и противник профсоюзов, с особым удовольствием готов был обратить в свою веру сына дьявола. Дэвид Бэттл родился, обремененный смертным грехом юнионизма, и Джеймс Паркер надеялся очистить его и наставить на путь истинный. Он восседал на качелях, самоуверенный, немножко снисходительный, намереваясь извлечь все из счастливой возможности смутить сына Пита Бэттла...

Джиму довольно было трех минут, чтобы направить разговор в нужное ему русло. А затем он добрых десять минут произносил вступительный монолог, полный праведности, обличений и уверенности в своей правоте. Войдя в раж, он слез с качелей, приблизился к перилам и драматически указал вниз на дома у реки на плоской равнине. Его голос был Гласом, гремевшим над Эдемом.

— Дэви, они принесли Суит-Уотеру разорение! А не социальную справедливость! Посмотри хорошенько. Когда-то эти дома красили каждые три года. А теперь? Ты знаешь, сколько времени уже не красили эти дома? Двенадцать лет. А знаешь, сколько времени существует в Суит-Уотере профсоюз? Двенадцать лет. Погляди хорошенько, Дэви!

Джим попятился и указал грозным перстом на безмолвное надшахтное строение — грязную громаду, черневшую на фоне реки и неба.

— Прежде в будние дни там никогда не было тихо. Вот, Дэви, что принес сюда профсоюз.

Затем он указал на дом Карстайрса, где теперь жил новый владелец, Гарольд Скотт, прибывший из Уилинга.

— Плохо, что ты не знал Винсента, Дэви. Ты еще мал был и не помнишь, каким был Суит-Уотер при Винсенте и моем отце. Я скажу тебе, в чем разница. Этот город был суровым, но не подлым, как сейчас. Шахтеры тогда любили говорить, что Акрон— врата в рай, но просто так — лишь бы языки почесать. Шахтеры толпами уходили из Коулберга, Чельяна и Логана, а вот из Суит-Уотера никто не уходил, потому что все любили свой город. В том-то и разница! И я объясню тебе, в чем было дело. Винсент ведь не просто владел шахтой, он был ее частью. И Паркеры, Данковские, Двораки, Фоли, Кэлпепперы тоже были ее частью, а вот теперь шахта стала врагом шахтеров. И все из-за профсоюза. Профсоюз погубил город.

Дэвид Бэттл, сдерживая улыбку, сказал:

— Видите ли, Джим, если говорить о том, что дома давно не красят, так Чарльз Карстайрс был сквалыга и мистер Скотт не лучше. Что до подлости, так компания относится к профсоюзу ничуть не лучше, чем профсоюз к компании. Если угля стали добывать меньше, так это из-за депрессии и из-за заправил Уолл-стрита. Главное, нельзя винить профсоюз в переходе на открытую добычу. Что делать, если уголь найден в новом месте.

Джим Паркер поднял руку, как Иегова.

— Пути господни неисповедимы. Но я знаю, что этот город пошел путем неправедным и расплачивается за это. По-твоему, простое совпадение? Не думаю.

— До чего же вы любите красиво выражаться, Джим! — вспылил Фоли.— Поговорить бы вам об этом с отцом Ханниганом! Он рад наложить на человека епитимью даже и без повода, а тут целый город расплачивается за свои грехи!

Джим нахмурился. Его ревностное, бескорыстное, щедрое служение правде не оценили. Он проповедовал и не нуждался в выражении согласия, не говоря уже о возражениях. Он не мог бы сказать, что обидело его больше: тихое вежливое сопротивление Дэвида Бэттла или кощунственное легкомыслие неукротимого Джо Фоли.

— На вашем месте я бы серьезнее отнесся к тому, что я сейчас говорю. Вам еще долго придется пробыть в этом городе, и вы должны решить, американцы вы или большевики.

Вдруг Джо Фоли откинулся назад и исчез за перилами.

— Осторожней! — испуганно крикнул Джим.

Но, сделав сальто, Джо стал на ноги, снова взобрался на веранду и, усмехаясь, сказал:

— От этих ваших разговоров про большевиков, Джим, у меня душа ушла в пятки!

Дэвид даже не моргнул. Он давно привык к выходкам Джо. Невозмутимо и как будто без обиды он спросил:

— Джим, по-вашему, мой папа большевик?

— Да. Большевик. Это большевистский профсоюз, и те, кто в нем,— большевики.

— Папа? И Джон Луис?

— Большевики. Они думают, как большевики, говорят, как большевики, значит они и есть большевики. OED *.

— Но они же говорят, как члены профсоюза!

— А скажи, какая тут разница? Не скажешь! Потому что никакой разницы нет. Дэви, открой глаза. Почитай Маркса, а потом вспомни, что говорит Пит. И увидишь, что это то же самое; тогда ты поймешь, что профсоюзы в нашей стране до последнего слова разделяют большевистскую философию мести.

Наступило молчание. Джим решил, что победа осталась за ним.

Так оно и было. На Дэвида его слова произвели впечатление. Он, собственно, не знал, кто такой Маркс, но слова Джима произвели на него впечатление. И он сказал искренне:

— Может, Джим, вы и правы. Я до сих пор слышал только одних, это верно. А может, тут и никто не прав — ни вы, и ни они, а правда где-то посередине. Может, так. А раз я слушаю папу, значит, должен выслушать и вас.

Джим с досадой подумал: «Туда же! В пятнадцать лет решил учить меня терпимости!» Но он стерпел и улыбнулся. Дэвид Бэттл оказался достойным противником — тем приятнее будет победа. И какое открытое, умное у него лицо! Недаром в Суит-Уотере его все любят. Что же, Джим сумеет о нем позаботиться. Он все сделает для Дэвида Бэттла. Он будет его лучшим другом.

Джо Фоли встал на перилах и предложил:

— Попробуй вот так, Дэви.

Он прыгнул вниз головой, перевернулся в воздухе и стал на ноги, слегка согнув колени и раскинув руки. Дэвид прыгнул, тяжело ударился о землю и проехался на спине. Ему было больно, но он быстро вскочил и подошел к Джо. Оба с вожделением посмотрели на автомобиль, который Джим Паркер собрал в Моргантауне из старых частей.

Джим заметил этот взгляд. И широко улыбнулся. Это материальное доказательство его успеха — лучший довод. Он сказал:

— Только капиталисты ездят на паркеровском «франклине» с воздушным охлаждением. Садитесь, прокачу до Чельяна и обратно.

Братья с воплями кинулись к машине.

И только по дороге в Чельян Джим услышал, что на этой неделе управляющим шахтами «Ред-Флэш» стал Уолтер Данковский, старший сын Казимира Данковского. Джим был поражен. Ему пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не выдать волнения. Данковский — управляющий? Там, где всегда правили Паркеры,— Данковский? Немыслимо! Сотни вопросов вертелись у него на языке, но он сдержался. Он не хотел унижаться перед этими пятнадцатилетними чужаками.

Джо Фоли сказал язвительно:

---

* Quod erat demonstrandum *(лат.)* — что и требовалось доказать.

— Теперь вам придется из дома управляющего выехать. Уолтер там поставит своего святого Иосифа!

— Моя мать будет жить в этом доме до смерти,— объявил Джим ледяным тоном.— Так было условлено, когда ей назначали пенсию.

— Значит, Уолтеру надо про это забыть,— сказал Джо.— Твою мамашу ему не пережить, дотяни он хоть до двухсот лет.

Младший из Паркеров не слышал его. Он погрузился в горькие раздумья. Его самоуверенность была поколеблена, он ничего не понимал. Как это могло случиться? О чем думал всемогущий Иегова, допуская такое кощунство над Суит-Уотером Калеба Паркера, Дэвиса Паркера, Уилбера Паркера, Джеймса Ли Паркера и всех Паркеров, которые были до них и принесли веру, добропорядочность, стабильность, закон и американизм в этот дикий край?

Но Джеймс Ли Паркер был бойцом, который всегда оставался на высоте. Когда он приехал в Моргантаун, однокурсники спрашивали его, не в вигваме ли он жил в этом своем графстве Паркер, но через четыре года он стал лучшим студентом колледжа, и его уже никто не расспрашивал про графство Паркер. Значит, Суит-Уотер погиб? Продал душу, пропитанную угольной пылью, всяким иммигрантам и профсоюзной тирании? Пусть так! Будущее Джима Паркера не здесь, оно в Детройте. В Детройте его опять будут спрашивать, носят ли девушки в графстве Паркер башмаки. Но потом Детройт станет графством Паркер. Джим возьмет с собой Дэвида Бэттла, это умный и честный парень, только его воспитать надо. Пусть помогает строить новый паркеровский Суит-Уотер.

■

Джо Фоли? Джим Паркер сбросил Джо Фоли со счетов, как глупого шута. Это было ошибкой. Простота Джо Фоли на поверку оказывалась не простой простотой.

Вечером двоюродные братья откатили «франклин» с Чарльстонского шоссе на дорогу, которая вела к паркеровскому дому. Джим Паркер сказал из-за руля:

— Оставим ее здесь. Утром я достану бензина на «Ред-Флэш».

— А я уж было решил, что ты хочешь, чтобы мы толкали ее до самого Хантингтона,— заметил Джо Фоли.

Братья побежали вверх по склону. Джим шел за ними, стараясь сдержать одышку. Джо Фоли, не зная, куда девать избыток энергии, схватил камень и кинул его вниз. Камень перелетел через Чарльстонское шоссе, через железнодорожные пути и упал почти у самой Канавы.

— Никогда бы не поверил, если б сам не увидел,— удивился Джим.

— Он и футбольный мяч бросает так же далеко,— заметил Дэвид.

— Ну, туда-то я и коровью лепешку доброшу! — сказал Джо Фоли. Он нагнулся, сорвал травинку и, зажав стебелек зубами, помахивал кисточкой.— А ты можешь метнуть коровью лепешку, как диск?

— Он будет полузащитником в нашей команде,— объяснил Дэвид.— И будет играть все четыре года.

— А в колледже будет играть лучше Рыжего Грейнджа и Джима Торпа, вместе взятых,— заметил Джим.

— Конечно,— подтвердил Дэвид.

— Пожалуй, так,— небрежно согласился Джо.

— Ваша команда, конечно, будет самой лучшей?

— Вот-вот.

— Полегче на поворотах, Джо. Самая первая команда играла отлично. После нее было уже совсем не то.

— У них теперь будет тренер. Профессионал,— сказал Дэвид.

— Тренер — хорошо, но я говорю о составе. Игроки тогда были один другого сильнее. Первые три встречи они играли даже без формы. Надели только еще по свитеру. И побили всех. Должен признать, Дэви, что твой отец был первоклассным игроком. Так, как он, в городе больше никто не играл.

— Верно,— убежденно сказал Дэвид.

Джо Фоли презрительно фыркнул.

Джим повернулся к нему.

— А мне казалось, что ты на своего дядю молишься?

— Было дело, да прошло.

— Они с папой в ссоре. Не обращай внимания,— объяснил Дэвид.

— Собственно, я хотел сказать, что ты вроде придерживаешься тех же взглядов, что Дэви и Пит,— продолжал Джим.— Разве не так?

— В смысле: плюю я на профсоюз или нет? Нет, не плюю. Но одно дело профсоюз, а другое — этот горлодер, который воображает, будто я от него все скушаю. А меня от него тошнит! — Он улыбнулся.— Только и остается, что глотать, а то прямо к горлу подступает! — Внезапно в его голосе послышалась ярость.— А Дэви все жрет и не поперхнется. Развесит уши — тошно смотреть. Дурак. Не видит, что старик плюет на него и всегда плевать будет. Ну и дурак!

Дэвид молчал.

— Моя мать говорит, что отец почти с тобой не разговаривает. Это верно? — спросил у него Джим.

— Ты не все знаешь, Джим,— сказал Джо.— Дэви будет футболистом. Запомни мои слова: он будет футболистом, да еще каким!

Джим скептически оглядел небольшую фигуру Дэвида Бэттла. Угадав его мысль, Джо сказал:

— Вот и Горлодер то же думает. Подумаешь, Дэви ростом не вышел! Но я-то его знаю: это такой крепыш, что сквозь кирпичную стену пробьется, если я или Эллен его попросим.

— Ты или Эллен?

— Да, я или Эллен.

— Что же, дело ясное! Эллен и ее племянник хотят, чтобы Дэви стал футболистом. Будем надеяться, что характером ты в нее, Дэви, как и лицом.

— Вот и Горлодер кричит, что из свиного уха шелкового кошелька не сошьешь. А Эллен говорит, что, хотя Дэви не больше свиного уха, упорства у него на целого кабана хватит, и он будет футболистом.

— Наверно, она выразилась поизящнее.

Джо улыбнулся, но глаза его стали серьезными.

— Да, уж она всегда изящна,— сказал он и вдруг добавил зло:— Но если он еще хоть раз скажет, что Дэви не его сын, а Винсента...

— Заткнись, Джо, слышишь? — резко оборвал его Дэвид.

Джим насторожился.

— Что ж, Дэви, Суит-Уотер — маленький город. И когда человек начинает трепаться, как Пит, об этом все узнают. Значит, это его последнее открытие, что Дэви — сын Винсента? — Спохватившись, Джим добавил:— Ты, конечно, прав, Дэви. Это не наше дело, и мы с Джо должны извиниться перед тобой. Но пойми одно. Никто в этом городе не подумает об Эллен плохо, это точно. А ты, Джо, запомни одно: тот, кто хочет стать звездой футбола, должен быть примером во всем, а не заниматься сплетнями.

■

Боб Куинн отозвал своих игроков к боковой линии. На нем была обычная форма: бумажный свитер, бейсбольная кепка, бейсбольные штаны, футбольные бутсы и шерстяные носки. На шее у него висел свисток. Джо Фоли, подошедший первым, процедил сквозь зубы:

— Играем в последний раз, и теперь я могу сказать, что все эти четыре года вы делали промашки.

Куинн смотрел прямо перед собой, но Джо знал, что он слушает его, не пропуская ни слова.

— Рокне * носил свисток только на тренировках.

Рука Куинна взлетела к свистку, потом он неторопливо опустил ее.

— Собственно, на вас все не так, Кнут. С чего вы взяли, что так надо одеваться? В дни матчей Рокне носил обыкновенный деловой костюм. Целых четыре года вы копировали не ту фотографию.

Куинн, задыхаясь от злости, повернулся к Джо, схватил его за фуфайку и притянул к себе.

— Ты стараешься бегать, как Рыжий Грейндж, а я стараюсь тренировать, как Кнут Рокне,— прошипел он.

Джо усмехнулся.

— Авось мое у меня выходит не хуже, чем ваше у вас.

Куинн выпустил его фуфайку. Он недоумевал. Опять Джо язвит? Говорил он как будто серьезно. Но все-таки, наверно, язвит, и скоро станет ясно, в чем тут дело.

Рев публики заметно усилился. Болельщики Суит-Уотера не выдержали невыносимого ожидания. Болельщики «Воинов», явившиеся из Шони, взревели в ответ, как морской прибой.

Куинн взял себя в руки. Он тренер-профессионал. Он не должен отвлекаться от дела. Подражая по привычке голосу Рокне, он сказал:

— Ребята, наступил последний этап. Семь суббот подряд вы выходили на футбольное поле и показывали, что такое паркеровцы. Но вы еще выполнили свою задачу не до конца. На трибунах — ваши отцы и матери. Они верят в вас, верят в паркеровскую команду. Они рассчитывают на победу. Они рассчитывают на вас. Неужели вы их подведете? Неужели допустите, чтобы паркеровцам записали поражение? Между вами и победой стоит команда Шони. Неужели вы допустите, чтобы Суит-Уотер проиграл? Ребята, в этих краях не знают, что такое поражение. Идите на поле и атакуйте, атакуйте, атакуйте! Идите и побеждайте, побеждайте, побеждайте!

Он ждал ответного дружного выкрика. Но игроки продолжали стоять кружком, сжимая потные ладони. В центре поля ждали судьи.

— Так побьем же их, паркеровцы! — заключил Куинн растерянно.

Джо Фоли сказал:

---

* Кнут Рокне — знаменитый тренер.

— Дэви, ты, наверно, знаешь, что мы выбрали тебя капитаном потому, что ты больше молчишь. Но теперь скажи что-нибудь!

Все игроки, пригнувшись, смотрели на Дэвида Бэттла. Он был готов к этому. Он отчаянно искал вдохновенные слова. Ведь он же их капитан! Весь год он был хорошим капитаном. Но какими словами вдохновить их? Его горло и губы пересохли, и он молчал.

Джо Фоли улыбнулся и обнял двоюродного брата за плечи.

— Дэви, ты когда молчишь, то говоришь получше многих.— И он продолжал резким хрипловатым голосом, более похожим на голос Рокне, чем у самого Куинна.— Ребята, постоим за тренера!

Игроки заухмылялись и испустили дружный вопль. А Дэвид вдруг упал на колени, перекрестился и сказал:

— Иисус, Мария и Иосиф, храните нас в этот час развлечений.

В кружке наступила мертвая тишина, только на трибунах рев становился все сильнее. Дэвид перекрестился еще раз. Его примеру последовали Данковские, Гарри Галлахер, Дворак и Джо Фоли. Остальные стояли и ждали.

Поднявшись с колен, Дэвид сказал:

— В этой команде у меня три двоюродных брата. Если они подведут, я с ними поговорю. Ни один из членов нашей команды еще не знал поражений, а команда Шони уже бывала бита. В этом разница. Пошли.

И юноши — сыновья шахтеров и железнодорожников, жителей сломленного депрессией, разоренного, обветшалого, голодного Суит-Уотера,— дружно рявкнув, побежали на поле.

В последнюю секунду Джо Фоли задержался и, обернувшись к тренеру не знающей поражения команды, процедил:

— Мы выигрываем для тренера, Кнут!

Куинн не улыбнулся. Про себя он подумал: «Играй, ирландский ублюдок. Победи для меня. Победи в последний раз. Победи и катись к черту!»

В тот день команда Шони была настроена по-боевому. С первого же броска, право на который принес Дэвиду жребий, паркеровцы оказались в обороне. Уайт Кэлпеппер, левый крайний, схватил мяч, но тут же был сбит с ног, и «Воины» прорвались, никем не остановленные, до самой четырехъярдовой черты, где мяч, в четвертый раз брошенный понизу, выскользнул из рук защитника. Куинн судорожно вздохнул. Момент был голевой. Паркеровцы не подстраховались на случай броска защитнику, и опасность гола была реальной.

Теперь мячом снова завладели паркеровцы. Но они никак не могли вырваться из своей половины поля. Нападающие Шони продолжали рваться вперед, мешая противнику организовать атаку. Лишь один раз команде Суит-Уотера удалось немного продвинуться, но потом она снова вынуждена была перейти к обороне.

Пит Бэттл, стоявший у боковой линии, был вне себя от злости.

— Да атакуйте же вы, трусы! — кричал он. Но его голос тонул в реве болельщиков из Шони.

Так продолжалось все время. В течение первого тайма команда Шони то и дело прорывалась к воротам паркеровцев.

В перерыве Куинн вошел в раздевалку. Игроки ждали, что он будет ругать или подбадривать их, и приготовились не обращать внимания ни на то, ни на другое. Но он не сказал ничего, и игроки уставились на свои бутсы.

А вот Пит Бэттл не выдержал:

— Эх вы, ублюдки, разве это футбол?

Джо Фоли выпрямился и с досадой ударил кулаком по ладони. Дэвид предостерегающе тронул его за локоть. Джо немного успокоился и сказал Куинну:

— Уж наверно, такой умник, как вы, разобрался, в чем тут дело!

— А в том, что вы не атакуете, боитесь играть. Они переигрывают вас, вот в чем дело.

Джо повернулся к тренеру.

— Они знают нашу тактику. Изучили каждое наше движение. Четыре года мы били их и все другие команды одними и теми же приемами, а теперь они их знают заранее!

Куинн отвернулся. Он не намерен был говорить.

— Эти приемы дадут результат, если подкрепить их силой! — сказал Пит.

Джо вновь терпеливо обратился к тренеру:

— Мистер Куинн, если говорить о технике и наигранных комбинациях, то мы подготовлены лучше некуда. Но рано или поздно этого становится мало. Так произошло и сейчас. Команда Шони всякий раз встречает нас чем-то новеньким. Нашу игру они знают наперед и зажимают нас прежде, чем техника и сыгранность успевают сказаться. Пора и нам устроить им сюрприз.

Куинн молчал.

Команда ждала.

Куинн взглянул на часы, потом встал и сказал:

— Ну, ладно. Пошли, девушки.

Он ожидал услышать протестующие возгласы. Это был мастерский ход. С его помощью Рокне сумел взбодрить команду Принстона, и, уж конечно, такие слова заставят играть этих провинциальных школьников с их невероятным самолюбием.

Команда молчала.

Потом Джо Фоли пробормотал:

— О господи!

Дэвид Бэттл встал и, стуча шипами бутс, пошел к выходу. Он обернулся, посмотрел Куинну прямо в глаза и сказал:

— Мы играем уже четыре года. Первое время нас нужно было драть, чтоб мы выигрывали. Теперь этого не требуется. Мы выиграем этот матч. Команда Шони с нами не справится. Мы просто просим разрешения разыграть кое-какие новые комбинации.

Куинн ответил холодно:

— Идите на поле и играйте, как я вас учил. Никаких волшебных комбинаций не существует. Разыгрывайте старые как следует, и они будут отвечать так, как отвечали все эти четыре года.

— Пошли, ребята. Мы выиграем,— сказал Дэвид.

Когда они вышли на поле, команда Шони уже ждала, и ее болельщики встретили опоздавших возмущенным ревом. Судья, подбодренный криками, отодвинул паркеровцев на пятнадцать штрафных ярдов. Когда они выстроились, защитник «Воинов» крикнул:

— А мы уже решили, что вы совсем не выйдете. Ну-ка, отберите!

Левый полузащитник Шони совсем было прорвался к воротам. В последний момент Дэвид Бэттл схватил его за щиколотку, а подоспевший Джо Фоли для верности навалился сверху. Но прорывы на половину Шони никак не удавались. Один раз Джо Фоли проскочил на двадцать пять ярдов вперед, но потом был сбит двумя игроками Шони. Это был их единственный прорыв за первую половину второго тайма. Затем команды поменялись местами, и паркеровцы расстроенно направились к тридцатипятиярдовой линии.

В душе Дэвида Бэттла шла мучительная борьба. Как мог Дэвид Бэттл пойти наперекор законной власти? Он почитал даже своего отца. Но он не мог допустить и мысли о поражении.

— Играем по-своему. Схема Уорнера. Давайте! — тихо скомандовал он.

Уайт Кэлпеппер и Антон Дворак, стоявшие рядом с ним, радостно хлопнули его по спине, а остальные издали восторженный вопль. Они мгновенно построились буквой «Т». Боб Куинн возмущенно бросился к боковой линии, собираясь протестовать. Защитники Шони растерянно выпрямились, не понимая, что происходит.

— Ап! — крикнул Джо и принял мяч. Но тут же отбросил его наискось Уитни Кэлпепперу. Миновав растерявшегося защитника, Уитни побежал сначала по прямой, а потом зигзагами, стараясь избежать встречи с бежавшим ему наперерез полузащитником. Набежал Дэвид Бэттл и ударом плеча вывел полузащитника из игры. Уитни же в это время, легко оторвавшись от второго полузащитника, пересек линию ворот.

Зрители были ошеломлены. Затем с трибуны Суит-Уотера раздался истерический рев. «Ты видел?», «Ты видел?» — вопили болельщики.

Болельщики Шони молчали. Они были поражены и растерянны. Тренер Шони что-то крикнул судье, но тот, сделав знак руками, объявил:

— Все правильно.

Джо Фоли поставил мяч перед Дэвидом для свободного удара по воротам. Это принесло команде дополнительное очко.

Боб Куинн все еще стоял у боковой линии и молчал.

Паркеровцы вновь построились буквой «Т».

— Ап-раз! — крикнул Джо. Нападающие Шони ринулись вперед.— Ап-два! — Джо принял мяч, делая вид, что повторяет прежний косой пас, а сам, не выпуская мяча, бросился вперед, обогнув своих защитников, проскочил сквозь растянувшуюся линию игроков Шони и беспрепятственно пробежал за линию ворот.

Болельщики Суит-Уотера неистово кричали, а трибуны Шони хранили мертвое молчание — никто не верил своим глазам. Когда паркеровцы получили право еще на одно дополнительное очко, Майк Фони, луженая глотка, завопил:

— Куинн, радость моя, да как же ты это придумал!

Дополнительное очко было выиграно. Пит Бэттл бегал взад и вперед вдоль боковой линии и кричал:

— Давай! Давай!

Куинн вернулся к скамье запасных, сел и стал смотреть, как его команда выигрывает в его честь.

Джо сделал обманный пас. Уайт Кэлпеппер продолжал бежать, отвлекая на себя правых защитников, и Дэвид беспрепятственно вырвался вперед, ожидая мяча. Но мяч был брошен слишком сильно. Дэвид прыгнул, кончики его пальцев коснулись мяча. Голова его ударилась о стойку ворот одновременно с мячом, который отлетел назад. Судья замахал руками, показывая, что очка не было, а Дэвид лежал без сознания на порыжелом ноябрьском дерне.

Зрители захлебнулись воплем, потом на трибунах поднялся глухой ропот, похожий на шум далекого прибоя. Игроки обеих команд столпились возле павшего героя.

На поле уже спешил доктор Блэк. «Даже противники и те — не противники Дэвиду Бэттлу,— думал он.— Господи, только бы не серьезная травма!» Он повернул Дэвида на спину. Ноги юноши судорожно задергались. Прошло еще двадцать томительных секунд, и он отвернул голову от пузырька с нашатырем. Потом попытался встать, но Блэк ему не позволил. Потом голова у него перестала кружиться, он вскочил, сделал несколько шагов под вопли всех трибун, пробежался, несколько раз подпрыгнул и направился к своей команде.

Куинн повернулся к Бернарду Данковскому и подал было ему знак идти на поле, но остановился в нерешительности. Надо ли заменять Бэттла? Ведь встреча еще не окончена и в оставшиеся пять минут может случиться всякое. Если он почему-то оказывает такое магическое действие на команду, стоит ли его удалять?

Пит Бэттл растерянно спросил:

— Ты что, заменить его хочешь?

Куинн закрыл глаза. Если бы он умел жалеть, он, конечно, пожалел бы Дэвида. Если бы он умел любить своих игроков, он любил бы Дэвида Бэттла. Этот парень способен пробиться сквозь кирпичную стену или стойку ворот. Если б он умел уважать в футболисте человека, то, конечно, он уважал бы Дэвида Бэттла, загадку, сфинкса, перед которым противники перестают быть противниками, а друзья преклоняются и рвутся ему на помощь,— Дэвида Бэттла, Дэвида Бэттла, юношу, бессознательно обретшего то, что тренер Куинн потерял, стараясь воспитывать команды победителей. Пожалеет ли он капитана своей команды? Этот капитан нарушил его приказ и применил тактику, о которой он ничего не знал! Так к черту! Тренеру следует жалеть не его, а собственную карьеру. Пусть все одиннадцать лучших игроков остаются на поле. Куинн открыл глаза, сардонически улыбнулся и спросил Пита:

— С чего ты взял, что я хотел его заменить?

Паркеровцы приготовились было возобновить игру, но Джо Фоли потребовал минутного перерыва. Он взял Дэвида под локоть и повел к боковой линии. Куинн поспешил туда же. Он спросил без всякого выражения:

— Он хочет уйти с поля? На своих ногах?

— С ним же ничего не случилось,— зло сказал Пит.— Что ты надумал?

— Сначала всегда кажется, что с нами ничего не случилось, вы же знаете,— спокойно ответил Джо и повернулся к тренеру.— Да, он держится на ногах, Кнут. А вы не подумали, что, случись с ним сейчас что-нибудь, и вы заработаете себе препаршивую репутацию?

— Спасибо за заботу, Фоли,— насмешливо сказал Куинн.

— Может, я забочусь о вас больше, чем вы думаете,— ответил Джо, не меняя тона.— Вы хороший тренер. Может быть, даже самый лучший. Только вам надо усвоить несколько простых истин.

Куинна вдруг охватило вялое безразличие.

— Ладно, Дэви, посиди,— сказал он и сделал знак Берни Данковскому.

На трибунах Суит-Уотера возбужденно вопили и размахивали руками болельщики. Боб Куинн пробормотал:

— Что ж, я своего добился. Добился! За четыре года ни одного поражения.

— Что значит «я добился»? — сказал Пит Бэттл.— Сегодня Шони посыпались из-за моей системы.

Куинн посмотрел на него с яростью.

— Ты лживый, никчемный ублюдок, Данковский. И я не лучше. Этот последний матч выиграл не ты и не я. Его выиграли Дэвид Бэттл и Джо Фоли. Но если они будут молчать, то эту заслугу я припишу себе, можешь быть уверен. И не я заставил Дэви уйти с поля. И, уж, конечно, не ты. Эх, противно все!

Когда раздался финальный свисток и болельщики Суит-Уотера высыпали на поле, а жители Шони безмолвно расходились с трибун, Куинн продолжал стоять, ожидая, что команда бросится к нему и торжественно унесет с поля на своих плечах. Ведь благодаря ему этот богом забытый городишко побеждал четыре года подряд. Мог ли человек сделать больше для шайки иммиграшек? Но теперь он уйдет от них. Теперь «Нотр Дам» не может не взять его. Не может не понять, что именно он должен стать их главным тренером. И Суит-Уотер не может не признать его своим героем и избавителем.

Но команда подняла на плечи не Куинна, а Дэвида Бэттла, и с ликующими криками понесла сквозь шумную толпу.

На поле стояла кучка угрюмых болельщиков из Шони. Когда торжествующие победители проходили мимо, кто-то из болельщиков не выдержал и подставил Уитни Кэлпепперу ножку, вместе с ним полетел на землю и Дэвид, но быстро вскочил и спокойно направился к раздевалке.

— Струсил? — спросил его болельщик из Шони.

Дэвид молча посмотрел на него.

Джо Фоли снял шлем и взмахнул им, примериваясь.

— Напрашиваетесь на неприятность, мистер?

— У тебя кишка тонка, Бэттл,— сказал болельщик.

— А вот это вам уже не пройдет, мистер,— сказал Джо.

— Он пьян, Джо. Пошли.

Вмешался еще один болельщик из Шони:

— Брось, Куп!

Они не были злы на Дэвида Бэттла. Как могли даже болельщики из Шони злиться на Дэвида Бэттла?

Но пьяный ринулся на Дэвида. Путь ему преградил Джо Фоли. Он свалил пьяного с ног, прижал спиной к земле, придавил руки коленями и бил по лицу до тех пор, пока тот не перестал сопротивляться. Остальные члены команды окружили Дэвида Бэттла кольцом. Если кто-нибудь из Шони захотел бы добраться до Дэвида Бэттла, ему пришлось бы прежде иметь дело с Уитни Кэлпеппером, Берчи Данковским, Джоном Холлом, Антоном Двораком — со всей командой. Да и толпа болельщиков Суит-Уотера с угрожающим видом стояла неподалеку. Джо Фоли спросил:

— Кому еще хочется попробовать?

Чужаки молча помогли своему избитому приятелю встать и увели его с поля.

— У тебя все в порядке, Дэви? — спросил Джо.

Дэвид еле заметно кивнул. В порядке. Только совсем не в порядке. Зачем Джо вмешался? Почему не дал ему самому постоять за себя? Дэвид Бэттл испытывал горькое разочарование, но оно никак не отразилось на его лице, и команда с веселыми криками направилась к раздевалке. Пит Бэттл задержался на поле с ликующими болельщиками. Тренер Роберт Эммет Куинн плелся позади. И из глубины своего одиночества думал: «В Саут-Бенде все будет иначе. Они еще услышат обо мне. Еще пожалеют!»

И, думая о Дэвиде Бэттле, завидуя ему, он даже не заметил, как болельщики Суит-Уотера в восторге бросились к нему, принялись хлопать по плечу, как одного из величайших героев-победителей.

КНИГА ПЯТАЯ

Кондуктор потрогал Дэвида за плечо:

— Саут-Бенд, сынок.

Ветер бросал в окна вагона зеленовато-желтые струи дождя. Дэвид прижался лбом к стеклу, но ничего не увидел.

Кондуктор хрипло прошептал:

— Все правильно, сынок. Саут-Бенд.

Из-под груды картонных коробок, шляп, дешевых чемоданов на багажной полке Дэвид извлек черный отцовский чемодан из искусственной кожи. Еще не совсем проснувшись, он прошел по проходу между рядами кресел, в которых дремали, кто развалясь, а кто скрючившись, пассажиры, следовавшие до Чикаго. Какая-то женщина, которая лежала, прижавшись щекой к спинке кресла, посмотрела на него широко открытыми невидящими глазами, какой-то мужчина лениво подмигнул ему и снова закрыл глаза.

— Всего хорошего, сынок,— сказал кондуктор.

Кроме Дэвида, в Саут-Бенде никто не сходил. Он в нерешительности постоял на ступеньке, подставив руку под струи воды, стекавшие с крыши перрона. Потом поднял воротник и прыгнул — и все-таки его костюм успел намокнуть. Не зная, куда идти, он остановился посреди перрона.

У багажного вагона грузчики в зеленых плащах и зюйдвестках разгружали почту. Под навесом тускло светились голые лампочки. Порывистый ветер надувал плащи грузчиков и трепал поля их зюйдвесток. Дэвид, нагибаясь навстречу ветру, пошел было к ним, но они, не глядя на него, покатили тележки в багажное отделение.

Дэвид пошел назад к своему вагону посоветоваться с добрым кондуктором, но дверь вагона была закрыта, лесенка поднята. Тут он увидел подземный переход и бросился туда. На наклонном полу за двустворчатой дверью он поскользнулся, мокрые подошвы разъехались в разные стороны, а когда он взмахнул руками, стараясь удержать равновесие, вещи рассыпались по сырому бетону. Давид торопливо подобрал их и засунул обратно, радуясь, что его никто не видел. Затем он оказался в высоком, выложенном желтым кафелем туннеле, соединявшем перрон с вокзалом. Из туннеля он вышел в пустой зал ожидания, удивляясь громкому стуку своих каблуков. Дэвид оглядел стены зала, похожего на нью-йоркский вокзал «Грэнд-Сентрал» в уменьшенном масштабе, обернулся и увидел мраморные часы с медными стрелками.

— Ого! — вслух произнес он.

В единственном окошке кассы, которое еще было открыто, он обнаружил за медной решеткой кассира. Дэвид обрадовался. Кассир был очень похож на Майка Фоли, кассира в Суит-Уотере. Такой же зеленый козырек на лбу и браслеты-пружинки, придерживающие рукава. Дэвид с надеждой направился к кассиру. Его чемодан задел подставку с пепельницей, и она, звеня, покатилась по мраморному полу. Поднять ее Дэвиду удалось только со второй попытки. Кассир молча наблюдал за его неуклю-

жими усилиями. Когда Дэвид подошел к окошку, кассир поднял руку и опустил темно-зеленую шторку.

Дэвид в растерянности остановился. Потом, решившись, громко сказал:

— Извините, сэр.

Прошло немало времени, прежде чем шторка поднялась и за решеткой показалось недовольное лицо кассира.

— Я опоздал на свой поезд и поэтому приехал ночью,— сказал Дэвид.

Наступило молчание.

— И что же? — спросил, наконец, кассир.

— Я должен был бы позвонить, но час уже поздний.

Кассир принялся опять заполнять карандашом оранжевые карточки.

— И что же? — повторил он.

— Где можно переночевать, а утром позвонить?

— У нас есть гостиницы,— ответил кассир, не поднимая головы.

— Понятно, сэр.

Кассир поглядел на Дэвида.

— Вызовите такси и поезжайте в «Оливер».

— Я бы пешком дошел, если это недалеко. Не скажете, есть здесь общежития АХМ?*

Кассир положил карандаш и оперся подбородком на сцепленные руки.

— Да ты же насквозь промокнешь.

— Это ничего, сэр.

— Тут целая миля. Если у тебя нет денег, спи на скамейке. Выбирай любую.

— Хорошо, сэр. Пожалуй, я так и сделаю, если вы не возражаете.

— Да ты откуда? Первый раз в городе, что ли?

— Нет, сэр. Я бывал в Чарльстоне.

— Ты не из Суит-Уотера ли, штат Виргиния?

— Да, сэр.

— Ты Джо Фоли?

— Нет, сэр, я Дэвид Бэттл.

— Но ведь из Суит-Уотера ждали Джо Фоли. Его тут спрашивали несколько часов тому назад.

— Поезд задержался.

— Ты футболист? — спросил кассир.

— Да, сэр.

Кассир все так же ворчливо продолжал:

— Что же ты не сказал, что ты футболист. На лбу у тебя не написано. Это Саут-Бенд. Если ты футболист, так говори прямо.

— Да, сэр.

— Позвони тренеру Ригану. Он предупредил меня на случай, если кто приедет из Суит-Уотера.

Кассир передал Дэвиду записку вместе с пятицентовой монетой, которую вынул из собственного кармана.

— А ничего, что так поздно?

— Звони, ничего. Потом возвращайся ко мне, подождешь его здесь. У меня есть горячий кофе.

— Хорошо, сэр.

Дэвид вошел в будку и набрал номер. После четвертого гудка в трубке послышался сонный женский голос:

— Алло!

— Простите, сударыня, тренер Риган дома?

— А который час?

— Четыре часа утра, сударыня. Извините.

— Мистер Риган болен. У него грипп. Его нельзя будить.

— Понимаю, сударыня. Извините.

— А кто говорит?

— Дэвид Бэттл.

— Из Суит-Уотера?

— Да.

— Погодите, я сейчас скажу ему.

— Не беспокойте его, сударыня, я позвоню завтра,— сказал Дэвид, но трубка молчала.

Затем хриплый мужской голос спросил:

— Где вы?

— На вокзале, мистер Риган. Извините, что беспокою вас так поздно, но кассир сказал, чтобы я звонил все равно.

— Ждите меня там. Я сейчас приеду.

— Мистер Риган, я здесь один, Джо Фоли нет...— начал было Дэвид, но, услышав короткие гудки, повесил трубку.

---

* Ассоциация христианской молодежи.

Кассир сказал:

— Ты мало похож на футболиста. Надо было сразу сказать, кто ты. Я уже собирался уходить.

— Да, сэр.

— Но играешь-то ты, наверно, неплохо. Мы тут слышали про вашу команду.

— Это все Джо Фоли, сэр.

— Правда, в «Четырех всадниках» народ тоже был малорослый. Каждый весил не больше ста шестидесяти. А ты тянешь столько?

— Да, сэр. Несколько больше.

— Но выглядели они позлей тебя. Молодцы ребята. Вряд ли еще когда-нибудь будет такая команда. Хочешь кофе?

— Да, сэр, очень.

— Будь как дома. На эту ночь Риган отвезет тебя к себе. Он всегда так делает, когда приезжают стоящие парни.

Открылась дверь, и из дождя появился тренер Риган в пальто, надетом прямо на пижаму. С полей его шляпы капала вода. Протягивая Дэвиду руку, он хрипло спросил:

— Ты Бэттл?

— Да, сэр.

— А где Фоли? В уборной?

— Я хотел объяснить вам, сэр, но вы уже повесили трубку. Джо нет. Он не приедет.

Риган уставился на Дэвида.

— Почему? — просипел он простуженным голосом.

— Он умер, сэр. Несчастный случай.

Риган вдруг почувствовал тошноту и головокружение. Он присел на скамью.

— У меня, кажется, воспаление легких.

— Да, сэр.

— Тебе, может быть, кажется, что я сказал глупость, но я не знаю, что еще сказать. Ум за разум заходит. Ведь всегда же есть выход. Когда что-то идет не так, нужно сосредоточиться и подумать, как исправить положение. Вот этим и занята сейчас моя голова. Я все думаю, как выйти из затруднения и заставить Джо Фоли появиться здесь.

Риган натужно закашлял, прижав руку к груди. Из его горла вылетали звуки, напоминающие свист паровоза.

— Вот кашель! Легче прочистить горло стальной щеткой.

Риган смотрел на Дэвида опухшими, слезящимися глазами.

— Знаешь, кто едва не занял мое место?

— Да, сэр. Тренер Куинн.

— Он. У меня вот воспаление легких, но я встаю с постели и в проливной дождь мчусь в четыре часа утра встречать Джо Фоли. А ты говоришь, что он умер.

Дэвид смущенно молчал.

— Так что же мы будем делать?

— Я не понял. Что вы сказали, сэр?

— Я говорю, что будем делать? — громче просипел Риган.

— Мистер Риган, я приехал играть в команде «Нотр Дам». И я останусь, если вы сочтете меня пригодным.

Риган вытер распухший нос тыльной стороной ладони.

— Может, тут освещение виновато, но что-то ты мало похож на футболиста.

— Мистер Риган, я приехал сюда играть. Если вы берете назад свое приглашение из-за того, что Джо не приехал, так и скажите.

Риган встал, запахнул пальто на груди и угрюмо сказал:

— Уговор есть уговор, Бэттл.

Дэвид пошел за ним к стоявшему у подъезда «студебеккеру». Они сразу вымокли до нитки. Мотор долго не заводился. Когда они, наконец, тронулись, машина закачалась от порывов ветра. Дождь хлестал по ветровому стеклу с такой силой, что щетки не помогали. Мостовая превратилась в реку. Риган вынул платок и стал протирать стекло изнутри.

— Надо же! Схватить воспаление легких в июне,— сказал он и умолк.

Они подъехали к стадиону «Нотр Дам». Риган затормозил, не заглушая мотора, протянул Дэвиду ключ и только тогда заговорил снова.

— Вон та дверь. Там есть койки и шкафчики. Выбирай любые. Кроме тебя там никого не будет. Утром кто-нибудь придет и скажет тебе, куда идти завтракать. Поговорим потом, когда я поправлюсь.

Риган подождал, пока Дэвид отопрет дверь раздевалки, и уехал. Машина сразу исчезла за стеной дождя.

Дэвид закрыл за собой дверь. В помещении горела одна лампочка. Он долго шарил по комнате, натыкаясь на разные предметы, пока не нащупал койки. Потом снял с себя одежду и повесил ее в шкафчике. Нашел душевую, открыл кран и постоял минут десять под горячими струями. Потом достал из чемодана сухие трусы, надел их, лег на койку, положил руки под голову и стал смотреть в потолок. Кассир сказал:

«На эту ночь он отвезет тебя к себе. Он всегда так делает, когда приезжают стоящие парни».

Обидеться? Но на каком основании? Ведь он не стоящий парень. Стоящим парнем был Джо Фоли. Дэвид Бэттл не похож на футболиста, и они тут ни при чем. Что же! Он начал играть в футбол через труп Роберта Эммета Куинна. А теперь он будет играть через труп Джо Ригана. Он будет играть за «Нотр Дам». Вот здесь, в этой раздевалке он наденет ярко-зеленую фуфайку. На этом самом месте. Отсюда, стуча шипами бутс, пойдет со всей командой на поле. Отсюда. Размокший дерн на поле будет ярко-зеленым в солнечную октябрьскую субботу, когда трибуны будут бешено, во всю глотку орать, как римляне в Колизее, требуя победы, победы, победы! И будут подбадривать Дэвида Бэттла. Начнут студенты в углу, а потом рев, разрастаясь, перекатится к центральным трибунам и пронесется над полем: «Дэвид Бэттл! Давай! Давай!» Дэвид был полон жаркой решимости. Да, трибуны будут выкрикивать в голубое небо над ярко-зеленым полем его имя. Да! Он клянется. Он сделает для «Норт Дам» то, что сделал бы Джо Фоли, и они узнают его, эти сумасшедшие крикуны, они узнают его, узнают.

Это была его первая ночь вдали от дома, и он чувствовал себя очень одиноким.

Но они узнают его! Он был капитаном команды Суит-Уотера. И он станет капитаном не знающей поражений Зеленой команды. Зеленое-зеленое поле, яркие футболки, глухие стуки рук, плеч, шлемов,— он вырвался, обманул, ринулся вперед, защитники растянулись на земле, а шум толпы растет, слагается в языческий гимн, посвященный ему, а на трибунах — чертиками из коробки — вожаки болельщиков, открытые, вопящие рты студенток колледжа Святой Марии, открытые рты выпускников, открытые рты священников, кулаки, поднятые в честь решающих очков в субботу на зеленом-зеленом дерне, и победа, замечательная победа! «Марш победы»; музыканты, точно пьяные павлины, восторженно обходят стадион в его честь, а его имя рвется с зеленого-зеленого дерна в голубизну, рвется к золотому куполу небосвода, рвется в яростные, влюбленные сердца: «Дэвид Бэттл! Дэвид Бэттл!» Они узнают его. Узнают в Чикаго, узнают в Нью-Йорке, и в Бостоне, и в Филадельфии, и в Детройте, и в Балтиморе, где католики будут торжествовать победу, и священники в Саут-Бенде будут гордиться им на вечерах с коктейлями, устроенными по случаю победы, и члены опекунского совета будут в восторге, и Пит Бэттл будет гордиться, да-да, и Пит Бэттл будет, наконец, гордиться своим сыном, гордиться своим сыном, гордиться своим сыном...

Дэвид глядел в потолок. Его вдруг охватила тоска по матери. Мысль о ней сдавила ему горло и наполнила слезами глаза. Ему так сейчас не хватало ее. В поезде он радовался, что ее нет рядом. Радовался, что рядом нет Джо Фоли. Такое облегчение после медленного удушья! Теперь он мог дышать свободно. Они теперь уже не с ним, их нет рядом, нет на нем, в нем, он освободился от них и может дышать.

И он тосковал по ним.

Неужели Джо Фоли погиб? Неужели это и вправду случилось? Действительно ли Джо Фоли смяло и искромсало паровозными колесами у него на глазах? Неужели это правда? Неужели он погиб? Как это возможно? Нет, это неправда. Это не было правдой, когда случилось. И это неправда сейчас. Просто хорошо, что он один, без Джо Фоли. На этот раз один. В раздевалке стадиона «Нотр Дам», где кругом на сто тысяч миль ни единой живой души, Дэвид Бэттл тосковал по Джо Фоли, по матери и жаждал их любви, их защиты, зная, что они дали бы ему с радостью и то и другое, если бы могли. Господи, не дай мне ответить неблагодарностью на их любовь!

Думать обо всем этом было невыносимо.

Он принялся думать о Сьюзен Карстайрс. Сьюзен поступит в колледж Святой Марии, чтобы быть ближе к нему,— в этом он уверен. Не надо, Сьюзен! К чему это приведет? Что будет, если на берегу реки Сент-Джозефа, как тогда на берегу Бьюла-Крик, голос греха снова заговорит в них обоих? Дэвид вспомнил, как под тяжестью его тела дрогнули ее ноги, как раздвинулись колени... Что, если это повторится, и они не остановятся, и снимут с себя одежду, и на этом не остановятся? Это грех, это грех, не надо об этом думать!

Он вспомнил Суони Вуд. Было у Джо что-нибудь с ней? Да или нет? Дэвид вспомнил Суони Вуд, вспомнил ее походку, выражение счастья на ее лице, ее глаза, простодушно смотрящие на него, плавное покачивание ее бедер, что-то ему говорящих. Эти бедра говорили с ним. Они пели ему, звали, обволакивали жаркой, чудесной, страшной тайной, говорили с ним, пели ему, требовали, чтобы он был с ней, как со Сьюзен,— и не остановился, не остановился. Он думал о Суони Вуд. Думал о ней. Думал о ней. В раздевалке под знаменитым стадионом «Нотр Дам», отгороженный от мира, утонувшего в дожде и одиночестве, когда ветер уносил Суит-Уотер все дальше, дальше, когда вокруг на сто тысяч миль не было никого, он думал о Суони Вуд и предавался смертному греху.

Потом он схватил подушку, прижал ее к лицу и громко сказал:

— «Нотр Дам»! — Потом неистово воскликнул: — Господи, я раскаиваюсь, что оскорбил тебя...

■

Джон Кобб промчался на своем «чудовище» с гигантскими колесами по солончаковой трассе Бонневилли со скоростью 368 миль в час. Об этом кричали спортивные страницы детройтских газет. И о Бобби Риггсе, Теде Шредере и Джо Ханте. Герингер, Гринберг, Руди Йорк и «Детройтские тигры» занимали на этих страницах почетное место, как и предстоящий бой между Бобсм Пастором и Коричневым Бомбардировщиком. Все это были важнейшие спортивные события для Детройта. А вот «Детройтские львы», тренировавшиеся в Крэнбруке, попадали куда-то на вторую или третью полосу, ибо в 1939 году профессиональный футбол был еще второстепенным видом спорта.

Однако Дэвид Бэттл, который явился в Крэнбрук прямо из Чикаго после матча «звезд» любительского футбола, все-таки попал на первую страницу газеты «Детройт леджер». Хотя заметку эту оттеснили два столбца под огромной шапкой обращения Рузвельта к Гитлеру, Польше и Европе, оказавшимся на грани войны, все-таки она была помещена на первой полосе. Дэвид Бэттл был такой же крупной фигурой в спортивном мире, как Джо Луис и молодой Джо Ди Маджо.

Уэллмен, главный тренер, проводил Дэвида в столовую. За ним шли помощники тренера и два новых игрока — Тэрнер и Карчер. Они еле-еле брели — накануне «Гиганты» на Солдатском стадионе задали им хорошую трепку. Сорок силачей в рубашках апаш подняли головы от своих тарелок. Байт, ветеран команды, уже четыре года игравший в защите, встал из-за стола и направился к Дэвиду, церемонно раскланиваясь и разбрасывая перед ним воображаемые лепестки цветов.

— Слава! Слава! — загудел он.— Король Хайсмен * прибыл!

Ветераны встали, подняли руки и, склоняясь в восточном поклоне, выкликнули:

— Слава! Слава!

Новички, пробывшие в лагере всего три недели, смущенно ухмылялись и радовались тому, что появилась новая мишень для насмешек.

Уинкворт, крайний нападающий, приехавший из Джорджии больше года назад, схватил свободный стул и подвинул его Дэвиду.

— Ваш трон, ваше величество!

Дэвид стоял весь красный.

— Это твое место, Бэттл,— сказал тренер.

Тренеры отошли от Тэрнера и Карчера и сели за стол совета рядом с Куганом Большой Медведицей.

Тэрнер и Карчер, не дожидаясь приглашения, бросились к свободным стульям. Дэвид продолжал стоять в нерешительности.

— Вот же твой трон, Хайсмен,— сказал Уинкворт.

Дэвид торопливо сел. Байт взобрался на стул и потребовал внимания.

— Господа, наступил незабываемый момент. Вы и внукам своим будете рассказывать о том дне, когда завтракали за одним столом с величайшим человеком. Представляю вам Дэвида Бэттла.

— Кто он такой? — громко спросил Уинкворт.

— Представляю вам мистера «Нотр Дам»!

Команда прокричала «ура».

— Представляю вам мистера «Все-все-всеамериканская сборная»!

— Кто он? — опять завопил Уинкворт.

— Представляю вам мистера героя «Звезд» — звезду первой величины!

Команда завопила.

— Представляю вам мистера не-единожды-а-дважды Хайсмена!

Вновь грянули дружные вопли. Половина команды опять вскочила и отвесила Дэвиду восточный поклон.

— Речь! — потребовал Уинкворт.

Байт поднял руки над головой и прогнусавил:

— Просим папского благословения! Ваше святейшество, благословите нас!

Дэвид побагровел. Он сидел не шевелясь.

Белкрэнк, защитник из Южной Калифорнии, заорал:

— Вырезки из газет! У кого есть вырезки из газет про него?

— Мистер Хайсмен, вы, конечно, привезли с собой газетные вырезки? — осведомился Байт.

Дэвид окаменел, чувствуя себя бесконечно несчастным.

— Наш герой еще и скромен! — продолжал Байт.— Ну, что же, к счастью, я сам принес газету.— Байт швырнул на стол первую страницу «Детройт леджер».— А теперь, Хайсмен, брось стесняться и расскажи нам все. Ты же среди друзей.

Дэвид увидел заголовок: «Львы» приветствуют Дэвида Бэттла».

— Читай, Хайсмен.

Дэвид смотрел прямо перед собой, испытывая невыразимые мучения.

Куган Большая Медведица, центральный полузащитник, спокойно сказал со своего места:

— Встань и читай.

---

* Знаменитый футболист, в память о котором был учрежден специальный приз.

Дэвид посмотрел на знаменитость. Уэллмен из-за спины Кугана чуть-чуть дернул головой. Это был приказ, дружеский приказ не упираться.

Дэвид встал. Он взял газету и тихо прочел:

«Дэвид Бэттл, всеми признанный игрок сборной Америки...»

— Громче, Хайсмен! — закричал Байт.— В Бирмингеме тоже слушают!

Дэвид стал читать громче.

— «..дважды завоевывавший заветный приз Хайсмена... выдающийся футболист университетской команды, единственная надежда «Звезд» против «Гигантов», капитан «Нотр Дам», завоевавший больше призов, чем кто-либо за всю историю футбола, сегодня прибывает в тренировочный лагерь «Детройтских львов» в Крэнбруке. Сообщают, что со времени прихода Рыжего Грейнджа в команду «Чикагских медведей» еще ни один новичок не получал столько...»

Дэвид в мучительном смущении умолк.

— Но ведь это еще не конец! — сказал Байт.

Дэвид отложил газету.

Белкрэнк заявил:

— Я хочу послушать про то, что без тебя нам чемпионами не стать... Мистер Хайсмен, а это правда, что без вас нам чемпионами не стать?

Дэвид сел и принялся быстро работать вилкой, не замечая, что он ест...

— Ты меня разочаровал, Хайсмен,— сказал Байт.— Ты на банкетах, когда получал призы, тоже скромничал? Ну, конечно, скромничал. И, конечно, говорил, что все заслуги принадлежат и твоей мамочке, и школьному тренеру, и фабрике набрюшников, и божественному провидению. Скажешь, не так? Жалко, что я не слышал этой речи!

Дэвид глотал не жуя.

Байт повернулся к команде.

— По-моему, вы его не цените, как надо. Знаете ли вы, что сделал этот футболист? Знаете?

— А что он сделал? — спросил Уинкворт.

— Нет, правда! Он дважды завоевал приз Хайсмена! Вы только подумайте!

— Этот самый коротышка? Дважды завоевал приз Хайсмена?

— Да, сэр, этот самый коротышка. И от этого самого коротышки зависят результаты нашего сезона.

Дэвид положил вилку на стол. Губы его были плотно сжаты.

— Тихо! — скомандовал Байт.— Король Хайсмен хочет говорить.

Тренер Уэллмен тщетно пытался перехватить взгляд Дэвида. Дэвид отодвинул стул. И вдруг Билли Тэрнер, блокировщик из сборной «Звезд», полетел на пол. Он вскочил, смущенно улыбаясь, и сказал:

— Здорово, ребята!

Но игроки едва удостоили Тэрнера взглядом.

Дэвид открыл было рот, однако Тэрнер прервал его.

— Раз уж я стою, то позвольте представиться, как положено. Я Билли Тэрнер из Арканзаса. И хочу сказать вам, что я тут огляделся и вижу, что ребята вы симпатичные.

В столовой вдруг стало совсем тихо.

— Кто это дернул тебя за цепочку? — холодно спросил Байт.

— Дернул за цепочку? А я-то и не понял. У нас в Арканзасе за цепочки еще не дергают. Живем по старой моде. В наших уборных не цепочки, а ручки. А здорово сказано. Возьму себе на вооружение.

Бэрлингейм, полузащитник, игравший в команде уже шесть лет, процедил сквозь зубы:

— Сядь, зелень.

Билли Тэрнер улыбнулся еще шире.

— Дайте и нам поговорить. Не все же Дэви трепаться!

— Сядь, зелень.

Тэрнер продолжал улыбаться, но голос его стал другим.

— Сяду, когда кончу говорить.

Байт подошел к Тэрнеру и приставил палец к его груди.

— А ну, проваливай! И так уж наговорил достаточно. Да кто ты такой?

Тэрнер посмотрел в лицо дюжего блокировщика, место которого ему предстояло занять, и ответил:

— Я парнишка из деревни и люблю баловаться. Вот я и подумал, может, вы, городские, и про меня вспомните. На черта вам сдался этот коротышка полузащитник.

Байт опять ткнул его пальцем в грудь, но Тэрнер продолжал:

— У «Кабанов» меня прозвали Брехуном. Уж если начну говорить, меня так просто не остановишь. А еще меня звали Прямоносым. Вот посмотрите. Нос у меня прямой. Я единственный футболист на юго-востоке с целой переносицей. А почему? А потому, что я не ждал, когда меня ударят, а бил сам. Я люблю хорошую, добрую шутку и честную игру.

— Ну, довольно, Тэрнер,— сказал великий Куган.

— Не совсем, мистер Куган,— покачал головой Тэрнер.— По-моему, вам всем интересно выслушать сообщение из Чикаго. Мы выбрали Дэви Бэттла капитаном после

первых же дней. Это замечательный футболист. И чертовски хороший парень, можете мне поверить.

Тренер Уэллмен не знал, как поступить. Вмешаться? А что он скажет? Нет, лучше не вмешиваться.

Тэрнер обвел взглядом столовую и неторопливо опустился на стул. Дэвид думал: «Зачем? Зачем тебе понадобилось вмешиваться, Билли? Ради бога, дайте мне возможность самому драться за себя!»

Наступило зловещее молчание. Куган Большая Медведица встал. Развернул толстую сигару. Закурил и выпустил в потолок облако дыма. Поглядел на Дэвида, потом на Тэрнера, сказал:

— Зеленое трепло.

С этими словами он вышел из столовой, продолжая дымить сигарой.

Дик Кин, помощник тренера, шепнул Уэллмену:

— Черт! Только скандала нам и не хватало!

Уэллмен шепнул Холмквисту, второму тренеру:

— Постарайся, чтобы они задали сегодня на поле жару этому трепачу Тэрнеру.— Потом он встал и объявил: — На занятия! Нападающие с Холмквистом в комнате номер сто один. Защитники и крайние — с Кином в комнате номер сто два. Выход на поле в три. В полной форме.

■

Дэвид по привычке сел в заднем ряду.

— Сядь-ка лучше здесь, Бэттл! — сказал Кин.

Дэвид встал, пошел вперед и сел на свободное место рядом с Куганом. Тот смерил его холодным взглядом, но ничего не сказал.

Кин вручил Дэвиду тетрадь в черном переплете.

— Вот твой молитвенник, Бэттл. Он тебе понадобится больше, чем тот, который ты читаешь в часовне. Сколько комбинаций было у вас в Саут-Бенде?

— Сорок. Основных — около пятнадцати.

— А в этом молитвеннике их сто пятьдесят. Придется тебе попотеть. Три ближайших вечера сиди над этой книгой как проклятый. И смотри не потеряй. За утерю— штраф триста долларов. Есть вопросы?

Дэвид покачал головой. Вопросов у него не было. Сто пятьдесят комбинаций! Как можно за три вечера изучить сто пятьдесят комбинаций?

— Есть вопросы? — повторил Кин и подождал ответа.

Дэвид сказал:

— Вопросы будут, когда я узнаю немного больше.

— Тебе знакома общая схема наших атак?

Дэвид кивнул.

— Ну, и что ты о ней знаешь?

— Атака по системе Уэллмена. Гибкость линии. Пробежки и пасы в сторону усиленного крыла. Развернутые построения. Игра широким фронтом, более широким, чем в последние годы было принято профессиональными лигами.

— Давай дальше. И подробнее.

Дэвид не знал, розыгрыш ли это или настоящая проверка. Он был готов и к тому и к другому. Лицо его было ясным и сосредоточенным. Пять минут он излагал суть системы тренера Уэллмена.

Кин задумчиво смотрел на Дэвида.

— И что же ты думаешь об этой системе? Будет от нее толк?

— Должен быть. Она подходит к составу команды.

— Уэллмен сказал тебе, кем ты будешь играть?

— Когда мы разговаривали в Саут-Бенде, он сказал, что попробует меня на месте полусреднего.

Бэрлингейм, ветеран, крякнул. Дэвид знал, что именно он думает: «Попробует, черт побери! Ты ведь уже занял мое место. Не станут же они держать знаменитость на скамье запасных, даже если я играю лучше тебя!»

— Ну, ладно, хватит с нас детского сада,— пробурчал Куган.— Давайте ближе к делу.

Кин покорно подчинился «звезде». Повернувшись к доске, он стал чертить круги, косые кресты и изогнутые стрелы. Он объяснял способы задержки мяча. Дэвид слушал с напряженным вниманием. Эти приемы он знает. В «Нотр Дам» их тоже применяли. Совсем просто. Нет, не совсем просто. Разница есть. Еле уловимые отклонения. И новые слова. Бóльшая отточенность. Нет, это не «Нотр Дам». Это профессиональный футбол. Деловое предприятие. Здесь собраны самые лучшие игроки. Самые сильные, самые быстрые, самые лучшие защитники. Самые умные защитники. На доске появлялись все новые изогнутые линии, обозначавшие все новые приемы. У Дэвида голова пошла кругом. Он слушал, напрягая все силы, но не мог ничего понять. Сто пятьдесят комбинаций. Как можно за три вечера выучить сто пятьдесят тонких комбинаций?

— На сегодня все,— сказал Кин.— Половина упражнений по пасовке, половина по защите. Наденьте все как положено. Игра в полную силу. В три часа.

Двенадцать ветеранов встали и по двое, по трое вышли из комнаты, весело и непринужденно переговариваясь. Девять новичков молча плелись сзади. Им не о чем было говорить друг с другом. Дэвид Бэттл вышел последним.

В коридоре ждал Куган Большая Медведица. Он согнул палец. Дэвид подошел и почтительно остановился.

Куган сказал хрипло:

— Запомни одно, Хайсмен: в этой команде только один хозяин — я. В этой команде только одна звезда — я. Понял?

Дэвид молча смотрел на него.

— Ты понял, Хайсмен?

Дэвид продолжал смотреть на него.

Ясные синие глаза и красивое серьезное лицо почему-то смутили знаменитую «звезду».

— Так хорошенько запомни это, Хайсмен,— сказал Куган и указал большим пальцем в сторону двери.

Дэвид пошел дальше. Он все еще не мог собраться с мыслями. Куган подождал, пока в коридор не вышел Кин.

— Дик, мне надо тебя кое о чем спросить.

— А?

— Правда, что Хайсмену дают десять тысяч долларов?

Кин растерянно молчал.

— Ты знаешь, Дик, сколько я получаю?

— Более или менее. Точно не знаю.

— Но ты знаешь, что мне платят куда меньше десяти косых?

— Да,— смущенно ответил Кин.— По-моему, в нашей лиге вообще никто столько не получает.

— Кроме Хайсмена?

— Не знаю, Куган. Лучше спроси Уэллмена. Это он заключал с ним контракт.

— Сколько дали Бэттлу?

Кин растерянно ответил:

— Не знаю, Куган. Слышал только, что с Бэттлом договориться было нелегко. Со стороны посмотришь, он вроде покладистый, а на деле получается, что нет. Он вроде сказал, что кто-то предлагает ему прекрасное место. Ну, и сыграл на этом.

— Ему установили специальную надбавку? Значит, ему дали-таки десять тысяч?

Кин потихоньку отступал.

— Не знаю, Куган,— ответил он.— Ты лучше Уэллмена спроси. Или управляющего.

Куган Большая Медведица пошел к выходу. Он злился на себя. Такая жадность к деньгам и зависть не к лицу лучшему футболисту страны.

■

Тренер Уэллмен дал свисток.

— Начинаем, Куган. Выводи их от своей тридцатиярдовой. Вчерашним запасным— в защиту.

Дэвид Бэттл и Бэрлингейм посмотрели на главного тренера.

Уэллмен сказал со злорадным любопытством:

— Основному составу — в нападение.

Два полусредних на мгновение заколебались, а потом оба выбежали на поле.

Кин сказал Уэллмену:

— А Хайсмен ведет себя уверенно, ничего не скажешь.

— Сейчас Куган поубавит ему уверенности! — ответил тот.

Нападающих оказалось двенадцать вместо одиннадцати, но Куган словно не заметил этого. Он назвал игроков по номерам — Дэвида в их числе не было. В заключение он прохрипел:

— Бэрлингейм, придержишь крайнего перед началом комбинации.

Одиннадцать игроков стали на свои места. Дэвид остался там, где стоял. Он смотрел, как Куган принял пас из центра, сделал обманный рывок в сторону усиленного крыла и бросил мяч Бэрлингейму, бежавшему в противоположную сторону. Тренер Холмквист, судья, дал свисток. Игроки атакующей команды выстроились, по-прежнему не обращая на Дэвида никакого внимания. Дэвид не спеша побежал за пределы поля, стараясь по возможности казаться равнодушным.

Началась новая комбинация. Куган сделал тот же обманный рывок, но на этот раз Бэрлингейм, принимавший пас, бежал не спереди, а сзади. Блокирующие преградили путь защитникам обороняющейся команды, дав Бэрлингейму — одному из лучших «стариков» — возможность пробежать с мячом не менее тридцати ядров. Лишь после этого кому-то из новичков удалось сбить его с ног.

Продолжая наблюдать за игрой, Уэллмен наклонился к Дэвиду и сказал:

— Отлично бегает. Первоклассный футболист.— Тренер внимательно поглядел на Дэвида. Дэвид смотрел на поле.— Подписывая с тобой контракт, я говорил, что мы берем тебя полузащитником. Теперь, когда ты знаешь, что за футболист Бэрлингейм, ты поймешь, как ты должен себя показать.— И, помолчав немного, добавил:— Я не

особенно люблю вмешиваться во взаимоотношения игроков. Это мужская игра. Мужчины сами о себе заботятся. Возможно, вначале они тебе что-нибудь устроят, чтобы спустить пары, но ты не лезь в бутылку, и все обойдется.

Дэвид резко ответил:

— Я могу сам за себя постоять.

Кин отвел главного тренера в сторону.

— Давайте пошлем на поле Трепача. Если сейчас его от них уберечь, дальше будет хуже.

— Тэрнер! — крикнул Уэллмен.— В защиту правым.

Тэрнер надел шлем и выбежал на поле. Уэллмен скомандовал:

— Бэттл! В защиту правым полусредним!

Дэвид быстро побежал за своим товарищем.

— Они сделают из него фарш! — сказал Кин.

— Из Бэттла или из Тэрнера?

— Из обоих, но главным образом из Тэрнера. И чего он распустил язык!

— Не будь так уверен,— сказал Уэллмен.— Я видел его в «Звездах». Он умеет дать сдачи.

Заметив Тэрнера, Куган пробурчал:

— Ага, Трепач явился.

Атакующая команда выстроилась.

— Привет, Трепач,— сказал Байт.

— Не Трепач, а Брехун. Запомни! И еще Прямоносый.

Мяч оказался в руках у Кугана, который лениво побежал в сторону своего правого крайнего, наблюдая за борьбой на левой стороне поля. Локоть Байта метнулся к лицу Тэрнера. Билли успел подставить руку и парировал удар. Тут на него обрушились все игроки атакующей команды, а игроки защиты с любопытством наблюдали за происходящим. Один из подбежавших ударил Билли сбоку и дал ему подножку. Уинкворт, крайний нападающий, налетел на него, высоко вскинув руки, и опрокинул на спину. Байт прицелился локтем в его солнечное сплетение, и Билли охнул. Все поднялись на ноги. Никто не произнес ни слова. Атакующая команда встала в кружок. Куган Большая Медведица все еще лежал на земле, сбитый с ног Дэвидом Бэттлом. Потом поднялся и, бормоча ругательства, пошел к своим.

— Повторим,— сказал он.

Они построились. И повторили. На этот раз, когда они встали, Билли Тэрнер со всего размаху так ударил Уинкворта локтем в нижнюю челюсть, что Уинкворт упал на четвереньки, мотая головой. Билли нагнулся и дружески похлопал его по плечу.

— Прости, приятель, я не заметил, что ты здесь стоял.

Уинкворт медленно поплелся к боковой линии, осторожно вертя головой.

В другом конце стоял Дэвид Бэттл, по его лицу струилась кровь, Куган валялся на земле, не в силах перевести дух. Холмквист подбежал к Кугану, нагнулся над ним, но через секунду крикнул с облегчением:

— Ничего страшного. Сейчас он встанет.

— Ты видел, что случилось? — спросил Уэллмен у Кина.— Я в это время наблюдал за Тэрнером.

— Бэттл опять вышел на Кугана, а тот повернулся, влепил ему мяч прямо в лицо и сшиб с ног. А этот сукин сын Бэттл вскочил, прямо-таки взвился в воздух и врезал Кугану ногами в грудь.

— Вот черт! — сказал Уэллмен.

Билли Тэрнер с самым искренним сочувствием подбежал к своему другу. Дэвид досадливо отвернулся, вытирая кровь рукавом. Только тогда Холмквист подошел к Дэвиду, несмотря на его сопротивление, осмотрел окровавленное лицо и тут же отправил его за боковую линию.

— Перебит? — спросил Уэллмен, ощупывая лицо Дэвида.

Дэвид молчал.

— Ну, конечно. И здорово распух.— Повернувшись к помощнику, он распорядился:— Приведи-ка его в порядок, Кин, убери Тэрнера с поля. Поставь вместо него Карчера. А вместо Кугана — Ханка.

Куган остановился перед главным тренером, тяжело дыша. Убедившись, что никто из игроков не слышит, Уэллмен сказал:

— Куган, на сегодня хватит. Это футбол, а не уличная драка.

Лицо Кугана побагровело. Сдерживая злость, он ответил:

— Вот что, Уэллмен. Я руководил этой командой задолго до того, как ты пришел сюда, и буду руководить после того, как ты уйдешь. Ты, конечно, тренер и готовишь нас к матчам. Но на поле хозяин я. Вот так.

— У этой команды только один хозяин — я,— холодно ответил Уэллмен, но в голосе его не было уверенности.

Куган сделал два глубоких вдоха, чтобы успокоиться, и уже более дружелюбно сказал:

— Не лезь в бутылку. А Тэрнер хорошо действует на ребят. Сегодня они в первый раз что-то показали.

— Да, игрок он лихой,— ответил Уэллмен. Ему не хотелось ссориться со своим центральным защитником.

— Ты занимайся тактикой, а команду предоставь мне,— Куган отошел, но вдруг вернулся и добавил: — И Бэттла предоставь мне.— И пошел в душевую.

Дэвид Бэттл и Куган вытирались, стоя рядом. Нос у Дэвида был вправлен и заклеен пластырем. Но он сильно распух, а в ноздрях запеклась кровь.

Куган сказал в пространство:

— Ну, как, Хайсмен, получил свое?

Дэвид перестал вытираться.

— Погоди, это еще цветочки,— сказал Куган.

— Погляди на свою грудь,— ответил Дэвид, показывая на синие отпечатки шипов от бутс.— В следующий раз получишь это в лицо.

Он шагнул вперед.

— Кроме нас сейчас здесь никого нет. Так вот: я приехал сюда играть в футбол. Если тебе это не нравится, так и скажи.

Куган изумленно посмотрел на Дэвида.

— Ты хочешь драться со мной?

— Только скажи. Здесь и сейчас. Или в любое время. Но я приехал сюда играть в футбол.

— Ну, хорошо, Хайсмен. Подковать меня, когда все возились с Тэрнером,— это, по-твоему, футбол? Героическая игра? Тебе надо еще многому поучиться, Хайсмен. И учись быстро, иначе как бы не получил под зад коленкой, Хайсмен там или не Хайсмен. Понял?

— Боишься, Куган?

Куган побагровел.

— Тебя?

— Ты сказал, что в этой команде есть только одна «звезда». Боишься проверить, кто именно?

Куган судорожно сжал кулаки. Ярость его неуравновешенной натуры искала выхода. Дэвид приготовился к драке.

Лицо Кугана приняло более нормальный цвет. Он сказал:

— Ну, ладно, пусть так. Ты свое получишь, Бэттл.

Он неторопливо отошел к своему шкафчику и стал одеваться.

На поле Кин спросил:

— Что ты собираешься предпринять?

Уэллмен ответил зло:

— А что, по-твоему, я должен предпринять? Выгнать их из команды? Тэрнер слишком хорош, чтобы отказаться от него. К началу матчей он войдет в основной состав. Выгнать Бэттла? Мистера Хайсмена? Хозяева нам глотку перервут.

— А дело плохо. Здорово плохо. И каша уже заварилась.

— Ничего, Куган все уладит.

— Я тебе одно скажу: с Куганом что-то творится.

— Ну, о чем он думает, никто не знает. И во всяком случае, не я.

— А я на этот раз знаю. У него на мистера Хайсмена зуб. Из-за денег. Если он узнает точно, что Бэттлу платят больше, чем ему, будет буря.

— Ну, если ему никто не скажет, он ничего не узнает,— ответил Уэллмен.

■

Пятнадцать тысяч сто семь любителей футбола пришли на стадион Детройтского университета, чтобы посмотреть, как «Детройтские львы» будут играть по новой системе нового тренера. Они пришли посмотреть на Билли Тэрнера, неукротимого арканзасца. Они пришли посмотреть на старого мастера футбола Кугана Большую Медведицу, вечного капитана команды, вечного героя. Но в основном пятнадцать тысяч сто семь любителей футбола, побив все рекорды, собрались на внутрикомандный матч, завершающий тренировочный сезон, потому что они хотели посмотреть на мистера Хайсмена, героя американского футбола номер один.

Формально команда была разделена на ветеранов и новеньких. На самом деле игра шла между основным составом и запасными, так как Дэвид Бэттл и Билли Тэрнер оказались в команде ветеранов.

Бэттл и Куган стояли на линии ворот, ожидая мяча. Он пролетел точно между ними. Они оба кинулись к мячу. Куган намеревался взять его потому, что так было заведено у «Детройтских львов». Но Дэвид Бэттл перехватил у него мяч потому, что так было заведено в «Нотр Дам». Он побежал по полю, свернул к боковой линии, обвел медлительного защитника, свалил крайнего и достиг сорокаярдовой линии, где был остановлен и сбит с ног. Он подскочил, как резиновый мячик, встал на ноги и побежал в кружок.

Куган был вне себя от ярости. Когда Дэвид подбегал к кружку, он вышел ему навстречу и прохрипел:

— Мяч был мой, Хайсмен.

Это услышали трое игроков. Белкрэнк сказал соседу:

— Понял? Учти.

Как они и ожидали, Куган распорядился, чтобы один из полузащитников оттянулся к центру линии нападения. Приняв мяч, он отпасовал Дэвиду, повернувшему назад. Ветераны расступились, игроки противника ринулись в прорыв и, никем не сдержанные, обрушились всей своей пятисотфунтовой массой на мистера Хайсмена. Дэвид свернулся в клубок и расслабился. Судья свистнул. Дэвид вскочил на ноги и побежал в кружок.

Уэллмен перевел дух.

— Выносли в, черт! — заметил Кин.— И хитер.

И тут Уэллмен выдал свою тревогу. Он сказал мрачно:

— Ему понадобится его выносливость. Впереди сезон. Длинный сезон. Человеку такого роста нужна выносливость.

Когда команда собралась в кружок, Куган выругал Белкрэнка:

— Кто тебе сказал, идиот, что ты умеешь играть в футбол?

Белкрэнк удивился. Разве Куган не хотел, чтобы они открыли Хайсмена? Разве не хотел проучить этого самонадеянного типа?

— Та же комбинация,— сказал Куган.— Если вы, бабы, не можете остановить запасных, что с вами будет, когда начнется сезон?

На этот раз они остановили противника. Дэвид с мячом свернул в сторону и прорвался к двенадцатиярдовой линии. Только там его остановил Бэрлингейм.

Кин пробормотал едва слышно:

— Силен! Силен!

■

Всю вторую мировую войну Дэвид Бэттл играл в футбол. Но получилось это против его воли.

Дэвид и Билли Тэрнер отправились на призывной пункт и встали в очередь добровольцев, желавших поступить во флот. Кто-то из стоявших рядом узнал их, и через несколько минут их уже провели в кабинет дежурного офицера. Тот был в восторге от столь ценного приобретения и не скрывал этого. Усадив друзей поудобнее, он весело отправился звонить начальству. Через полчаса он объявил:

— Мистер Бэттл, мистер Тэрнер, мы подыскали для вас превосходное назначение.

— Куда же? — спросил Билли.

— На Великие Озера. Там вы будете хорошо устроены. Явиться можете через два-три месяца.

— Мы пришли не за отсрочкой,— сказал Дэвид.— Почему нас нельзя отправить туда сразу?

— Подожди, дай человеку досказать,— вмешался Билли.

— Передумал, Билли?

— Просто я еще не знаю, что скажет моя жена.

— Какая еще жена?

— Разве я тебе не говорил, что я женат? У меня есть жена и двое ребят, Дэви.

— А где они сейчас? — недоверчиво спросил Дэвид.

— В Литтл-Роке, у ее матери. Где же им еще жить, пока глава семейства шляется по стране, играя в футбол?

— Значит, вы женаты, мистер Тэрнер? — спросил офицер.

— Хотите посмотреть фотографию моей женушки?

— Нет, этого не требуется. Если вы, господа, заполните вот эти анкеты, мы начнем вас оформлять.

— Извините, сэр, а что мы будем делать на Великих Озерах? — спросил Дэвид.— Во избежание недоразумения я хотел бы предупредить, что мы пришли сюда узнать, должны ли мы сначала пройти офицерскую подготовку или нас аттестуют сразу. Мы оба имеем дипломы. Годны ли мы?

— Об этом не беспокойтесь, все будет улажено. Вас вызовут повесткой.

Билли Тэрнер спросил:

— Дэви, а тебе не кажется, что от нас просто хотят избавиться?

— Положитесь на меня, господа,— сказал офицер.— Я обещаю, что мы устроим вас так, как не смогли бы устроить ни армия, ни морская пехота.

Вскоре их вызвали в учебный лагерь. Однако если они и проходили какое-то обучение, то совершенно этого не заметили. Их зачислили по спортивному ведомству. Окружили всяческими удобствами. Офицеры всех чинов держались с ними почтительно. Они же ничего не понимали. Никто ничего им точно не мог объяснить. Но после нескольких томительных недель в лагере появился Дюбуа из «Кардиналов», Хенкл из «Гигантов», профессионалы из других лиг, игроки из университетских и из уличных команд, а с ними пришло и объяснение. Так началась карьера Дэвида Бэттла во флоте, согласно указаниям начальства. Он явился к Полу Брауну и был назначен левым полузащитником футбольной команды Великих Озер.

В начале следующего сезона Дэвид и Билли, два старшины, два инструктора физической подготовки, получили назначение в летное училище св. Марии в Калифор-

нии, команда которого была укомплектована профессионалами и била все армейские команды, попадавшиеся ей под руку.

Официально Дэвид, Билли и прочие игроки руководили физической подготовкой кадетов. Официально Дэвид Бэттл был инструктором по гимнастике и бегу с препятствиями. Но во время сезона он видел кадетов только на трибунах. Впрочем, и между сезонами командование училища не могло подыскать занятия для двадцати пяти инструкторов физической подготовки.

Прямоносому Билли Тэрнеру такая служба была по душе. Ему нравился Сан-Франциско и девушки, бредившие войной. Нет, вторая мировая война ему положительно нравилась. И он не мог понять Дэвида Бэттла.

— Что ты все переживаешь, Дэви? Мы же не виноваты, что мы здесь, а не на фронте.

Но Дэвид не успокаивался. Он чувствовал себя несчастным. Он просил начальство зачислить его в летное училище кадетом. Писал официальные рапорты, рассчитывая на свою славу. Он соглашался отправиться на фронт даже старшиной, даже на авианосце, даже на мусорной барже.

Его начальник сказал:

— Бэттл, попробуйте понять наше положение. Вы вносите ценнейший вклад в военные усилия. Для поддержания боевого духа на флоте нет ничего лучше футбольной команды.

— Есть же другие игроки!

— Но вы незаменимы. Это сильнейшая команда за всю историю футбола, однако без Дэвида Бэттла она потеряет половину своей притягательной силы.

В августе 1945 года Дэвид получил чин капитан-лейтенанта. Но не успел он надеть новые знаки различия, как война кончилась, а с ней и мечты о воинской славе. Победу Дэвид мрачно праздновал в «Персидском заливе». И в «Персидском заливе» он познакомился с Келли Брэнд.

Дэвид сидел у стойки с Билли — своим опекуном. Он крутил соломинку в безобидном коктейле, думая о том, не напиться ли как следует, и не слушал болтовню приятеля.

Вдруг Билли спросил:

— У тебя отпускная до утра?

— Отвяжись, Билли. У меня не то настроение,— резко сказал Дэвид.

— А может, сорвешься с цепи и поблудишь со мной за компанию? Такая возможность больше не повторится. Все девочки в городе просто взбесились. Их тут сотни тысяч, и каждая хочет переспать с национальным героем. Ну как, Дэви?

— Отвяжись.

— Дэви, я никогда над тобой не смеялся. Ты сам знаешь. Когда тебя все изводили, я тебя не трогал. А вот теперь поговорим! Либо ты перестанешь быть маменькиным сыночком — сейчас же, сегодня, либо так им и помрешь!

Дэвид покраснел.

— Если это и так, тебе-то какое дело?

— А вот какое: мне до чертиков надоело заступаться за тебя.

— Заступаться за меня? Ты что, стыдишься меня, потому что я не изображаю из себя жеребца? Если так, значит, и ты такой, как все.

— Вот что, милый мой! Не задирайся! Ты же не папа римский, чтобы судить меня и всех прочих.

Дэвид сжал зубы, но сдержался и ответил:

— Ладно, этот упрек я принимаю. Я не то хотел сказать.

— А сказал как раз то. Ты все больше и больше заделываешься таким святым, что прямо тошно. Из тех, что любят, чтобы другие люди чувствовали себя последней мразью. Я еще помню дни, когда ребята считали тебя чистым мальчиком и восхищались тобой. Но это время прошло. Теперь на тебя смотрят, как на святошу-проповедника. Дэви, когда ты на поле, любой футболист на тебя молится. Но вот когда ты уходишь с поля — тра-ля-ля!

Дэвид спросил:

— Чего ты от меня хочешь? Чтобы я напился? Чтобы я выкрикивал грязные слова? Чтобы я подцепил себя девочку?

— Что-то нехорошо у меня на душе, Дэви,— сказал Билли Тэрнер.—Такое чувство, что у нас с тобой все кончено. Не может ведь человек выслушать от другого такое и не изменить к нему отношения. Верно?

— Верно, Билли.

— Я сделал это, зная, что делаю. Вот ты и остался без сторожевого пса. Теперь мы не друзья, а просто приятели. А может, тебе и этого не надо?

Дэвид молчал. Ему было очень грустно.

— Ну, почему ты не озлился?

— Не умею. Ты же сам сказал, что я не человек.

— Жаль. Дэви, вон она!

— Кто?

— Девушка, в которую я влюблюсь. Господи, ты только посмотри, какая у нее походка! Я влюблен, Дэви, я влюблен!

Билли пересел на соседний табурет. Келли Брэнд села на освободившееся место, достала сигарету и стала шарить в сумочке в поисках спичек, хотя спички лежали перед ней на стойке.

Билли чиркнул спичкой. И опоздал. Дэвид уже протянул ей зажженную спичку. Билли сказал:

— Господи, и проворны же эти полузащитники!

Келли Брэнд улыбнулась Дэвиду.

— Благодарю вас, мистер Дэвид Бэттл.

Дэвид давно привык к тому, что его узнают. Он сказал:

— Пожалуйста, мисс.

— Выпьете с нами, мэм? — спросил Билли.

Она опять улыбнулась чудесной улыбкой:

— С удовольствием.

— Техас? — спросил Билли.

— Да. Хьюстон. Вернее, ферма неподалеку от Хьюстона. Ни ранчо, ни нефтяных скважин. Просто ферма. Меня зовут Келли Брэнд — этим и исчерпывается моя биография.

— А меня зовут Билли Тэрнер Прямой Нос. Я единственный профессиональный футболист с неповрежденной носовой перегородкой, и вы согласитесь, что я красивей, чем положено профессионалу. Ну, а моего молчаливого товарища вы знаете.

— Вы замечательно страхуете, мистер Тэрнер. Многие говорят, что лучше всех.

— Вы любите футбол, Келли? Мне нравятся девушки-болельщицы.

Келли отпила из стакана, который поставили перед ней. Ее глаза блестели.

— Как поживают ваши детишки, Прямой Нос?

— О, господи!

— Я же читаю все футбольные журналы, как некоторые девушки читают «Экран».

— В таком случае вы должны знать, что я достаточно давно женат, чтобы быть хорошим ухажером.

— Я знаю, что вы самый лучший блокирующий и самый красивый футболист. И я знаю, что вы воздаете мне по заслугам, мистер Тэрнер.

Билли растерялся.

— Сегодня день победы,— сказал он невпопад.

Она погладила его руку, лежавшую на стойке.

— Так угощайте, мистер Тэрнер.

Билли приободрился.

— Я в вас влюблен, Келли! На всю жизнь. С той самой минуты, когда увидел вас в этом зале.

Она улыбнулась, и он совсем растаял.

— А тут я вас опередила. В дверях я поглядела на стойку и спросила у швейцара, правда ли, что вон тот человек — Дэвид Бэттл, футболист. А потом спросила: «А кто этот красавец рядом с ним?» Но швейцар вас не знал, мистер Тэрнер, и я подошла, чтобы убедиться, что это вы и есть.

— Боже, как я влюблен! — сказал Билли. Он склонил голову набок и закрыл глаза.

— Да, мужчины меня любят,— серьезно сказала Келли.

Дэвид спросил:

— Вы живете в Сан-Франциско, мисс Брэнд?

— Нет. Если бы я сказала вам правду, вы бы не поверили. Я приехала специально посмотреть игру команды летного училища.

— Из самого Хьюстона? — спросил Билли.

— Что еще делать, когда делать нечего?

Билли пожал ее пальцы.

— Ну, хватит о футболе. Главное, что приехали вы именно в тот город, в какой нужно, и встретились именно с теми, с кем нужно, чтобы хорошо отпраздновать этот день.— Билли повернулся к бармену.— Еще по стаканчику.

— А спортивные журналы здорово врут: они пишут, что вы не пьете,— сказала Келли, обращаясь к Дэвиду.

— Вранье! — сказал Билли.

Келли нагнулась и заглянула Дэвиду в лицо.

— А у вас нос тоже прямой? У вас нет никаких повреждений, мистер Бэттл?

Дэви всеми силами старался сохранить невозмутимость под этим пристальным взглядом.

— У него одно преимущество передо мной,— сказал Билли.— У него свои передние зубы, а у меня покупные. Ну, а что до носа, то ему со мной не тягаться.

Келли нагнулась еще больше и уставилась на нос Дэвида.

— В Техасе мы такие носы называем прямыми.

— А вы видите, что он чуть свернут на бок? Это ему Куган Большая Медведица вмазал мяч прямо в хобот. А шишечку на переносице видите? Это его защитник остановил коленкой на линии ворот. Когда он поднялся, нос у него повернулся поперек лица. Такого безобразного полузащитника мне до этого еще не приходилось видеть.

— Но он, конечно, продолжал играть?

— Само собой. Пока его не затошнило от крови, которой он наглотался.

— А вы ведь, кажется, рассчитались с защитником? Я читала, как «Львы» стоят за Дэвида.

— В тот раз с защитником рассчитался Уинкворт.

— И получил свое на пятнадцати ярдах, когда у меня заболело всерьез,— сказал Дэвид.

— Видите, Келли, он и говорить может! Обычно-то ему необходим переводчик. А вернее, чтец мыслей на расстоянии.

— Я хочу кое в чем вам признаться, Дэвид Бэттл. Вы мой кумир. Когда «Нотр Дам» играла против «Южных методистов», я болела за «Нотр Дам». Папа готов был шкуру с меня спустить.

— Разве вы не ирландка? Ведь Келли — ирландское имя!

Она улыбнулась, и он чуть было не улыбнулся в ответ.

— Папа назвал меня Келли в честь человека, который спас его, а сам погиб. После этой нашей стычки из-за «Нотр Дам» он вдруг понял, какую свинью подложил себе. Нынче католики в Техасе далеко не так популярны, как баптисты.

— А вы очень хорошенькая,— вырвалось у Дэвида.

Кэлли лукаво посмотрела на него.

— Когда вы прерываете молчание, то говорите, как техасец.

— Если бы все техасцы были похожи на вас, я бы держался о Техасе другого мнения.

— По правде говоря, мне всегда казалось, что жизнь на ферме превратила меня в настоящего мальчишку и нравиться мужчинам я не могу.

Дэвид наконец улыбнулся.

— Нет, вы настоящая девушка. И другим до вас далеко, хотя они на ферме и не жили.

— Черт возьми, Малая Медведица ударилась в высокие материи! — воскликнул Билли.— Это все вы, Келли.

Келли улыбнулась — нежно, лукаво.

— Вы мне оба очень нравитесь. Правда. Когда я вас увидела, мистер Бэттл, я не поверила своим глазам. Можно мне отпраздновать победу вместе с вами?

— У вас есть тут приятели, Келли? — спросил Билли.

— В Сан-Франциско я знаю двух людей: Дэвида Бэттла и Прямоносого Билли Тэрнера. Судя по всему, я приехала сюда посмотреть игру лучшей футбольной команды страны и, судя по всему, отыскала место, где у меня совсем нет знакомых.

— Стало быть, вместо нас мог бы оказаться кто угодно,— сказал Билли.— Ну, я так и думал.

Она пристально посмотрела на Билли.

— А у меня такое чувство, что это будет самый хороший вечер за много вечеров.

Билли встал и сказал, слегка улыбаясь:

— Вот что, Дэви, займи столик на четверых, а я поищу кого-нибудь еще, кто захочет отпраздновать с нами победу.

— Не разыгрывай из себя распорядителя танцев, Билли,— предостерегающе сказал Дэвид.

— Ты думаешь, я не знаю, когда меня отшивает девушка? — с внезапной злостью спросил Билли.— Не я тебе делаю одолжение, а она.— Билли отвернулся, допил свой стакан и отошел, медленно обводя глазами зал.

Келли Брэнд взяла Дэвида под руку и повела к свободному столику. Он не противился. Она сказала:

— Я рада, что у меня хватило духу подсесть к вам!

■

Мартелли, новый управляющий клуба, взволнованно спросил:

— Где ты пропадал, Дэви? Мы жмем на все педали, чтобы вытащить тебя из армии раньше всех, а тебе нужно две недели, чтобы добраться до Детройта из Сан-Франциско.

— Я служил на флоте.

— В армии, на флоте — все равно. Где ты был?

— Ездил по стране,— улыбнулся Дэвид.

— Ну, ладно. Ты, наверно, знаешь, что теперь главный тренер у нас Боб Куинн.

— Да. Он хороший тренер.

— Для тебя это, наверно, похоже на возвращение в родной город. Куинн сделает нам хорошую команду. Мы рассчитываем на это. Он умеет учить побеждать.

— В Детройте он проиграл несколько матчей.

— Зато выиграл больше, чем надеялся.

— Он хороший тренер. Не любит новшеств.

— Ты чем-то недоволен? Не надо. Мистер Уэйкмен велел ему играть по системе «Т». Растянутые фланги. Это твоя система.

— Это хорошо. Мне бы не хотелось играть там, где я не могу хорошо себя показать.

Мартелли поднял брови. Это еще что?

— Я приготовил контракт, Дэви. Подписывай и отправляйся в Канаду! Ребята уже тренируются.

— У меня есть кое-какие соображения по поводу контракта, мистер Мартелли.

— Например? — настороженно спросил Мартелли.

— Мне нужно двадцать пять тысяч в год, и контракт сразу на два года.

— Об этом не может быть и речи.

— Как хотите.

— Что это значит?

— Я давно играю в футбол, мистер Мартелли, и он перестал быть для меня развлечением. Война отняла у меня добрых пять лет. И нужно наверстывать.

Мартелли изобразил на лице дружескую улыбку.

— Во-первых, Дэви, мы ни с кем не заключаем контрактов сразу на два года. Ни с игроками, ни с тренерами, ни со мной. Об этом не может быть и речи.

— Как хотите. Таково мое условие.

— А двадцать пять тысяч — это на пять тысяч больше, чем будет получать Коннор.

— О Конноре я читал. А что случилось с Куганом? Я не думал, что он собирается бросать футбол.

— Разные были причины. Он надеялся, что мы назначим его главным тренером, но мы не согласились. Тогда он ушел. Это и к лучшему. Он уже больше не центральный защитник.

— Коннор неплох. Я играл против него в команде Великих Озер. Он тогда играл за «Нотр Дам». Если вы хотите, чтобы он получал столько же, сколько я, то дайте и ему двадцать пять тысяч.

— Ты же знаешь, что высшую ставку получает центральный защитник. Тебе мы думали положить восемнадцать тысяч. Зайди сегодня после обеда. Я приготовлю контракт. Может быть, пару тысяч прибавим, но это предел. А двухгодичный контракт заключить не можем — не то все потребуют того же.

— Это уж ваша забота,— сказал Дэвид вставая.— Мой телефон: Мидуэст 4-9876. Позвоните, когда примете решение. Только не слишком тяните.

— Дэви, если ты опоздаешь на тренировки, то котироваться будешь гораздо ниже, чем сейчас.

— Ах, вот как! Это угроза? Но и я могу ответить тем же. Есть другие команды.

— А твоя подписка? Она еще не утратила силы,— холодно сказал Мартелли.— За другую команду ты не можешь играть.

— А если я перейду в другую лигу? — с наивным видом спросил Дэви.

Мартелли прищурился.

— Скажу вам прямо,— продолжал Дэвид.— Разговоры о создании новой Американской лиги — это не просто разговоры. Меня уже прощупывали три канадские команды. По-моему, раз Куган ушел, я вам нужен не меньше, чем канадским клубам. Если я вам не нужен, только скажите, и я что-нибудь придумаю.

Мартелли снял трубку и набрал номер.

— Картер, у меня Дэвид Бэттл.

— Отлично,— донесся из трубки голос Картера Уэйкмена.

— Ему не нравятся наши условия.

— Чего он хочет?

— Двадцать пять тысяч и контракт на два года. Намекает, что ему это предложили канадцы.

Уэйкмен присвистнул, потом распорядился:

— Дай ему трубку.

— Здравствуйте, мистер Уэйкмен,— сказал Дэвид.

— Я буду рад с тобой повидаться. У тебя найдется время поужинать со мной?

— Да. Но можно мне кое-кого с собой привести?

— Кого, твоего адвоката?

Дэвид улыбнулся.

— Нет, девушку, с которой у меня сегодня свидание.

— Прекрасно. Но ты не возражаешь, если мы немного поговорим и о делах?

— Нет, если это футбольные дела. Ведь Мартелли сказал вам о моих условиях.

— Мы это обсудим. Не будь слишком несговорчивым, Дэвид. Этот паршивый клуб и так уже стоил мне больших денег. И конца расходам пока не предвидится. Для меня это не дело, а развлечение. Ну, а развлекаться можно, пока хватает денег.

— Я понимаю, сэр. Только для меня это дело, а не развлечение.

— Мы это обсудим. Может быть, я что-нибудь придумаю.

— Так мы придем.

— В семь. Мартелли скажет тебе адрес.

■

Картер Уэйкмен закурил сигару и, попыхивая, заговорил:

— Значит, тебе нравится мой дом. Я тебе о нем расскажу. Я вырос в детройтском Вест-Сайде. По сравнению с нами, Корктаун был аристократическим районом.

И я изголодался. Не в смысле еды, нет,— Уэйкмен обвел рукой огромную гостиную. — И решил, что со временем буду жить в Гросс-Пойнте, в одном из особняков у озера. А вот живу в Блумфилд-Хиллзе. Это классом похуже, но у меня не было выбора. Мечте об особняке у озера пришел конец. Об этом позаботились социалисты. Так что я удовольствовался этим домом в двадцать комнат. Хороший дом. И мне в нем хорошо. Сначала я боялся, что буду чувствовать себя выскочкой,— ничего подобного. Во всяком случае, я не чувствую, что отличаюсь от других скороспелок, которые живут тут. И я состою в лучших клубах. И зимой вожу Мардж туда, куда ей хочется. Мой завод штампует в год продукции на несколько миллионов. И я принят в лучшем обществе. И я хозяин «Детройтских львов». И все это очень помогает избавиться от чувства голода, которое терзало меня в Вест-Сайде.

Уэйкмен положил ногу на ногу и ткнул сигарой в Дэвида.

— Это история с моралью, Дэви. Чтобы добиться этого, надо строить свои планы заранее. Удача с неба не падает. И ничего само собой не случается. Конечно, без удачи не обойтись, но надо заранее к ней готовиться. А теперь расскажи мне о своих планах, Дэви.

Этот вопрос застал Дэвида врасплох. Он ответил не сразу.

— У меня такое чувство, что я был стрекозой, а не муравьем.

— Это обычная беда футболистов. А ведь вам ничего не стоит использовать свою славу как мостик для перехода в деловой мир. Профессиональный футболист будущего станет наполовину дельцом. Сколько лет ты намерен еще играть?

— Стоит ли отвечать на этот вопрос?

— Стоит.

— Скорее всего, те два года, которые будут предусмотрены контрактом.

— Жаль. При желании ты мог бы играть еще пять-шесть лет.

— Как профессионал? Не думаю. Полузащитники так долго не держатся.

— У тебя бывали травмы, Дэви? Серьезные?

— Нет. В колледже на втором году я пропустил два матча — растянул связки, когда падал. И вообще я получал травмы, только когда играл в защите. В нападении — ни разу.

— У нас тебе не придется играть и так и эдак. Наша лига внедряет специализацию.

— Это хорошо. Мне нравится играть в обороне, но это очень изматывает. Нельзя все время быть на поле. От игрока будет больше пользы, если он отдохнет на скамье.

— Стало быть, ты можешь играть еще несколько лет.

— Нет, я уже решил. Я хочу бросить еще на вершине успеха. И заняться чем-нибудь другим, пока осталось время.

— Еще кофе, Келли? — предложила Мардж.

— Да, пожалуйста, сударыня.

— А вам, Дэвид?

— Нет, спасибо, мэм,— ответил Дэвид, прикрывая чашку ладонью.

— Сигару, Дэви? — спросил Уэйкмен.— Я забыл предложить тебе сразу.

— Нет, благодарю, сэр.

— Прекрасно! Хранишь свой образ.

Дэвид нахмурился.

— Нет, сэр.

Уэйкмен ничего не заметил и сказал:

— Я все-таки соблазню тебя, Дэви. Я тебя подкуплю.

— Чем же, мистер Уэйкмен?

— К этому я и веду. Начинай строить свое будущее сейчас, не дожидаясь, когда бросишь играть. В каких отошениях ты был с Куганом?

— В приличных. А что?

— Я хочу ввести тебя в ситуацию. Я знаю, что Куган имел на тебя зуб. Но важно, как, собственно, обстояли дела между вами.

— Он не любил ни с кем делить славу. Но это не мешало ему играть. Пожалуй, ни у кого не было такой воли к победе, как у него. Коннор тоже хорош, но я жалею, что Куган ушел.

— Ты слышал, что он ушел из-за того, что мы не согласились взять его главным тренером?

— Да, мне говорили.

— Я считал его прекрасным вожаком на футбольном поле. Но он слишком нетерпелив, чтобы руководить игрой с тренерской скамьи. В нем до сих пор живет мальчишеский задор, а это качество полезно на поле, но не на тренерской скамье.

Дэвид улыбнулся.

— Трудно представить себе Кугана мальчишкой. Он словно всегда был ветераном-профессионалом.

Мардж Уэйкмен сказала:

— Мне нравится Куган. После Дэвида Бэттла он мой самый любимый игрок.

— И мой тоже,— сказала Келли.— После Дэвида Бэттла.

Уэйкмен сказал:

— Он не собирался уходить, но потом понял, что ему не остается ничего другого. Не думаю, чтобы он смог приспособиться к игре по системе «Т», а если бы мы сделали его полузащитником и назначили бы центральным другого, дело кончилось бы кровопролитием.

— Да, вы правы,— ответил Дэвид.

— А делец из Кугана выйдет прекрасный. Я в этом уверен. Ему нелегко будет изменить свой стиль, и все же я в этом уверен.

— Вы знаете, чем он думает заняться?

— Знаю. Он будет служить у меня. Тренером я не хотел его брать, а вот на заводе он мне очень пригодится.

— Не думал, что он останется в Детройте,— сказал Дэвид.— Я полагал, что он вернется в Санта-Барбару. Или станет без конца путешествовать по свету.

— У него нет на это денег.

— У его жены есть.

Уэйкмен покачал головой.

— У него нет жены. Разошлись.

— Я не знал этого. Как странно: ждала его, ждала и вдруг развелась.

— Не она с ним развелась, а он с ней. За нарушение супружеской верности. Не более и не менее!

Дэвид засмеялся.

— Он развелся с ней из-за ее неверности?

— Никто не знает, как он это устроил. И непонятно зачем. Ну да в таких делах смысла не жди. У него в Бирмингеме есть любовница. Наверно, она его и накрутила.

— Тоже разведенная?

— Не думаю. Ты, очевидно, говоришь о другой. А эта совсем молоденькая. Ей лет девятнадцать.

— Здесь замешаны деньги?

— Нет. Хотя, казалось бы, так оно и должно быть. Куган серьезно заинтересован в заработке. Ты знаешь Кинга Смита?

— Видел... Приятель Кугана. Коммивояжер.

— Представитель предпринимателей.

— А что это такое? — поинтересовалась Келли.

— Агент по продаже изделий нескольких компаний. Он предлагает свои услуги компаниям, у которых нет собственной службы сбыта.

— Это выгодно? — бесхитростно спросила Келли.

— Смотря для кого. Ведущие агенты иногда зарабатывают не меньше тех, кто производит товар. Это дело может оказаться очень выгодным, если подобрать солидную клиентуру.

— По-моему, тебе это подходит, Дэвид,— сказала Келли.

— Картер, зачем ты дразнишь Дэвида? — сказала Мардж Уэйкмен.

— Нарочно. Я же сказал Дэви, что хочу его подкупить. Дэви, а ты знаешь, что Куган — партнер Кинга Смита?

— Нет. Я слышал, что перед войной он помогал Смиту с рекламой. Например, ходил в ресторан со Смитом и его клиентами и разговаривал с ними о футболе, и прочее в том же роде.

— Ну, теперь они официальные партнеры. Благодаря мне. Я предоставил Кугану и Смиту право рекламировать «Металлические изделия Уэйкмена». При условии, что они станут партнерами. Хочешь знать, насколько выгодна эта сделка?

— Да, сэр.

— Возможно, тебе неизвестно, что мы главным образом выпускаем части различных бытовых машин. Свою продукцию мы сбываем заводам стиральных машин, холодильников и так далее. Это приносит нам около семи миллионов в год. Меня не очень интересовало автомобильное дело, но все же я за него взялся, и не зря. Сбыт автомобильных частей я и поручил Кугану. В прошлом году мы их выпустили на миллион долларов. Пять процентов комиссионных составили пятьдесят тысяч.

— Неплохо,— сказал Дэвид.

— Я хотел помочь Кугану, но рассчитал, что и мне это будет выгодно. И дело пошло. В этом году они сбудут продукции почти на два миллиона. Со второго миллиона и выше я плачу им по три процента. Они получат восемьдесят тысяч, и я тоже в накладе не останусь. И это только начало. Вот увидишь, через несколько лет оборот достигнет восьми-десяти миллионов в год. Они молодцы. Кинг Смит толковый человек. И им потребуются помощники, Дэви. Догадываешься, о чем речь?

Дэвид молчал, выжидая.

— Я хочу, чтобы они взяли тебя в дело. А как, по-вашему, по-техасски, Келли? Мне техасцы нравятся. Ты думаешь, тебе удастся поладить с Куганом?

Дэвид сказал угрюмо:

— Когда так много ставится на карту, Малой Медведице придется ладить с Большой Медведицей.

Уэйкмен улыбнулся.

— Я не говорю, что тебя сразу возьмут партнером. Просто встанешь на первую ступеньку. А быть тебе партнером или нет, решится позднее — между тобой, Куганом

и Смитом. Но начать ты можешь уже сейчас. Даже во время футбольного сезона можешь обедать с полезными людьми, как ты сейчас сам сказал. А после сезона будешь работать полное время. Тебе это подходит?

— Да, сэр. Сколько, по-вашему, они будут платить?

— Тысяч десять,— с улыбкой ответил Уэйкмен.

— Прилично.

— Дэви, мне нужно, чтобы ты играл в футбол. Этот клуб стоит мне немалых денег. И в ближайшие несколько лет мне будет важен каждый зритель. Ты мой главный козырь. Можешь дать мне слово, что поиграешь еще хотя бы четыре года?

Дэвид ответил быстро и решительно.

— Нет, сэр, не могу. Я решил бросить, пока я еще на вершине успеха. Обещаю играть два года, не больше.

Наступило длительное молчание.

— Ну, а как с контрактом? — спросил наконец Уэйкмен.

— По-моему, я не прошу слишком много.

Уэйкмен нахмурился. Потом сердито сказал:

— Когда я рискую потерять больше ста тысяч, стоит ли жалеть семь паршивых тысчонок на Дэвида Бэттла?

— И контракт на два года?

— Ладно, ладно, согласен. Только не проговорись никому в команде, иначе мы погибли.

— А ваше предложение остается в силе?

Картер Уэйкмен пристально посмотрел на Дэвида Бэттла, потом улыбнулся и глубоко вздохнул.

— Если ты так же будешь драться за мои интересы, как дерешься за свои, то мы все разбогатеем...

— Завтра же я буду в тренировочном лагере.

■

Это был настоящий детективный роман. Начался он с несчастий Трента Джонса — несчастий вполне заслуженных.

Отец Трента завершил свою блистательную карьеру в автомобильной промышленности на посту вице-президента — руководителя инженерно-конструкторского управления «Нейшнл моторс». Более уважаемого человека в Детройте и в Блумфилд-Хиллзе не было. Он работал только с лучшими людьми, состоял только в лучших клубах и вырастил омерзительного сына.

В управлении кузовов «Нейшнл моторс», куда его водворил отец в качестве новоиспеченного «координатора по тканям и расцветкам», Трент Джонс-младший набрался сведений о мягкой обивке. А о взятках и подкупах он узнал из сплетен, которыми полнилась гигантская корпорация, причем эти приобретенные из вторых рук знания были далеко не точны.

Трент считал себя птицей высокого полета и не желал идти обычным долгим путем. Он жадно слушал рассказы об огромных барышах, которые агенты-посредники, вроде Кинга Смита или Джеймса Блейна, получают от заказов на мягкую обивку, и взял на заметку бытовавшие в инженерно-конструкторском управлении слухи о том, что эти нечистые на руку люди не скупятся на взятки, чтобы сбыть свой товар. Это понравилось молодому Тренту. Он решил, что тут он скоро взберется на самую вершину. Подвернись только возможность, а провести темную махинацию он сумеет получше других. Он ушел из «Нейшнл моторс» и, пользуясь именем отца, явился к Блейну с твердым намерением выдрать немалый кусок из золотой шкуры этого второго по размаху, нахрапистости и упорству агента-посредника в Детройте.

Ковры поставляла компания «Белмонт-Миллз», фабрики которой находились в Белмонт-Хиллзе, штат Пенсильвания. Это была лакомая приманка. Блейн получал от компании более ста тысяч долларов комиссионных в год. Блейн назначил молодого Трента агентом по разным поручениям. Пенять он мог только на себя. Требовались соображения особого порядка для того, чтобы взять на службу молодого человека со столь дурной репутацией. А сделал это Блейн для того, чтоб через сына заполучить отца.

Трент энергично взялся за дело. Он был усерден, способен, деловит и обаятелен. Он часто ездил в Пенсильванию на фабрики и сумел понравиться нужным людям в компании «Белмонт». Если бы у него хватило терпения, его заветный план мог бы осуществиться.

Меньше чем через полгода Чарльз Белмонт, президент компании «Белмонт-Миллз» позвонил Джиму Блейну и сказал:

— Ваш мальчик Джонс сейчас явился ко мне в кабинет и сообщил, что вы полеживаете, а он за вас работает. Он гарантирует, что его отец предоставит мне больше заказов, чем когда-либо раньше, и предлагает себя в посредники за половину прежних комиссионных.

Когда Трент Джонс, нимало не смущенный, явился к своему нанимателю, Блейн холодно сказал:

— Вы уволены. Даю вам десять минут на сборы. Убирайтесь вон.

Потом Блейн, возмущенный до глубины души, сообщил другим промышленникам о том, какую шутку пытался сыграть с ним этот сукин сын. Но он напрасно старался. Ни у кого в Детройте подобное жульничество не вызвало ничего, кроме легкого любопытства. Среди дельцов встречаются мошенники? Ну и что?

Ничуть не сожалея о случившемся, Трент Джонс обратился к отцу за материальным утешением. Вскоре появилась «Компания Трента Джонса. Посредничество и техническая консультация». Отец подыскивал сыну клиентов. Пока Трент Джонс-старший служил в корпорации, друзья и коллеги прощали ему пособничество сыну. Благодаря стараниям отца Трент-младший процветал. Но после ухода отца в отставку дела агентства пошли скверно. Волки набросились на него со всех сторон. Трент потерял выгодные технические заказы. Он потерял доходную модельную мастерскую. Его затравили, он был на грани отчаяния. У него остался только штамповочный завод «Букай», и все-таки Блейн не переставал его преследовать.

Блейн сказал Куинсу, агенту Крайслера:

— «Букай» сбывает в Лонг-Бич и Ньюарк всякий хлам. А Джонс заверил их, что на дальних сборочных заводах все будет шито-крыто.

— Откуда у тебя эти сведения? — мягко спросил Куинс.

— Из первых рук. Просто я знаю. Мы уже сообщили «Букаю», что Джонс втягивает их в неприятности.

— Весьма дружеская услуга. А я слышал, что ты все еще сводишь с ним счеты.

— Да, свожу, и ты это прекрасно знаешь, черт побери. Если смогу, я его вышвырну из нашего дела.

— Джонс говорит, что ты сбываешь брак.

— Джонс врет. Он отпетый лгун,— проворчал Блейн, готовясь загнать мяч в четвертую лунку. Беседа происходила на лужайке загородного клуба Орчард-Лейк, одного из трех гольф-клубов, членом которых он состоял. Примериваясь для удара, он сказал:— Ты когда-нибудь видел, чтобы Джонс смотрел тебе прямо в глаза? Он даже ходит боком. Всякий раз, когда я его вижу, у меня появляется ощущение, что он думает всучить мне фальшивый бриллиант. Ему нельзя доверять ни на йоту.

Он резко размахнулся, крякнул и послал мяч на двести тридцать ярдов за дорогу. Шагая к месту падения мяча, Блейн говорил:

— Он мразь и подонок. Никто этому сукину сыну не поверит.

Куинс ответил:

— Раз так, значит, он уцелеет. У него, по-видимому, есть все необходимые данные для этого вашего дела.

— Я бы отнесся к этому серьезнее, Арн.

— Почему? — сухо спросил Куинс.— Я покупаю только у солидных фирм. И не люблю, когда человек чернит конкурента.

— А вот почему. Этот Джонс пустил слух, будто я перекупаю твою клиентуру. Если не веришь, могу предъявить свидетелей.

Они загнали мячи в четвертую лунку и медленно пошли дальше мимо седьмой и шестой лунок к пятой. Ни впереди них, ни позади в этот будний день никого не было. У лунки Куинс сказал:

— Я сейчас отдыхаю.

— Как знаешь. Мое дело сказать.

— Я, правда, подумал, не прервать ли отдых, чтобы позвонить в бюро технического контроля? Пусть проверят в Лонг-Биче и Ньюарке.

— Прекрасно. И мне не нужны заказы. Мне нужен Джонс. Заказы передай Кингу Смиту или Джо Блэкуэллу.

— Это уж мое дело, кому, когда, где и зачем передавать заказы,— резко ответил Куинс.

Но Джим Блейн был доволен. Ему удалось выбить Трента Джонса из еще одного опорного пункта. «Букай» не станет больше терпеть его штучек.

■

Трент Джонс подозревал, что пользуется скверной репутацией, но не был в этом уверен. Все эти годы он был вхож в лучшее общество, как сын видного человека, занимающего высокий пост в «Нейшнл моторс». Он был сначала младшим, а потом и старшим членом загородного клуба в Блумфилд-Хиллзе задолго до того, как Джеймс Блейн и Кинг Смит хотя бы попытались вступить в него. Он вырос вместе с другими младшими членами этого клуба, и те, естественно, считали его человеком своего круга. Его жена — дочь одного из старших вице-президентов детройтского национального банка, член Молодежной лиги. Она нравится всем, чье мнение что-то значит. Она своя в обществе. И он свой. Да, свой, и никто не может отрицать это. Свой по происхождению, свой по положению, свой по браку, свой в силу неспособности молодежи этого круга замечать недостатки и достоинства тех, кого они знали всю жизнь. И это сознание, что он свой, служило ему главной опорой, когда люди не его круга вдруг обнаруживали его подлинное лицо.

Он был цепок — этого тоже никто не мог отрицать. Он умел прокладывать себе дорогу в джунглях. Ну, ладно, прежде ему помогал отец, но теперь-то не помога-

ет. Он попробовал один раз пойти напролом и потерпел неудачу. Отныне он будет действовать по-другому. Ему нужны заказы, и он их получит. Теперь он будет умнее. Лобовая атака на фабрики Белмонта не удалась. Значит, надо действовать изнутри. Если хочешь отобрать у Кинга Смита фабрики Уэйкросса, надо вступить с кем-то в сделку и обещать этому человеку долю в добыче.

Итак, фирма Уэйкросса. Кому же предложить долю: управляющему производственным отделом или управляющему отделом сбыта? За несколько тысяч долларов кто-нибудь да согласится взглянуть на дело с твоей точки зрения. Но если наскочить не на того, кто тебе нужен, можно снова сесть в лужу и даже попасть под суд за дачу взятки. По какому признаку определяют человека, с которым можно сговориться? Кого он знает в фирме Уэйкросса или у Кинга Смита? В этом-то весь вопрос. Вспомнил, есть такой человек: Билл Робинсон, доверенный агент Кинга Смита. Так появилось второе звено детективной истории.

Билл Робинсон сказал:

— Я проработал у Кинга Смита меньше двух лет, если вас это интересует.

— А вы ушли бы, если бы вам предложили хорошие деньги?

Опершись локтями на стойку бара «Лиса и гончие», Билл ответил деловым тоном:

— У каждого человека есть своя цена. И деньги должны быть очень хорошие. Большая Медведица и Кинг платят мне прилично.

Битый час Трент Джонс поил Билла Робинсона мартини и слушал, как тот хвастает своими хозяевами, своими связями с заказчиками Уэйкмена и своим блестящим будущим.

Потом Трент сказал:

— Это все знают. И весь город знает, что работаете там вы один.

Биллу это польстило.

— Я взял на себя все, кроме закупок. Закупки — единственное, чем я не занимался.

— Вам и это было бы нетрудно.

— Конечно. Всех покупателей я уже знаю.

— Жаль только, что вы не получаете за эту работу того, что следует.

— Это что — предложение? Не темните. Если цена хорошая, я готов вас выслушать. Но репутация прыгуна меня не устраивает.

— За семь лет вы переменили шесть мест и вдруг спохватились? Ну-ну, я пошутил. Я расширяю дело, Билл. Я молод, как и вы. Мне потребуется компаньон. Погодите пару недель. Думаю, у меня будет, о чем с вами поговорить.

Придя домой, Робинсон рассказал жене, что Джонс хочет сделать его своим компаньоном, и представил дело так, словно ему это было уже предложено.

Она спросила:

— А сколько это даст?

— Тысяч пятьдесят на двоих, а может, и больше, когда развернемся.

— Но ты же говорил, что Трент Джонс дрянь?

— Ну, Кингу он не нравится. Но ведь Кинг — приятель Джима Блейна. Лично я ничего плохого про Трента не знаю.

— Во всяком случае, Билл, выслушай, что он тебе предложит.

В четверг Робинсон ушел с работы на полдня раньше и отправился в Блумфилд-Хиллз играть с Джонсом в гольф.

— Что, Кинг собирается внести за вас вступительный взнос в загородный клуб? — спросил Джонс.

— Он сказал, что мы об этом поговорим в конце года.

— Такому игроку, как вы, давно пора играть тут. И вообще я считаю, что нам, агентам-посредникам, это необходимо в интересах дела.

— Давайте уточним. Что, собственно, вы мне предлагали в прошлый раз?

— У меня нашлось бы для вас занятие.

— На каких правах?

— На правах компаньона, если вы докажете, что стоите того.

— Это само собой. Не отдадите же вы даром половину дохода.

— От вас потребуется особая лепта, Билл. Ну, скажем, клиент.

Билл Робинсон не сразу догадался, куда клонит Джонс, но, разобравшись, понял, что ничего другого он и не ждал.

— Вы хотите, чтобы я принес с собой Уэйкмена, так?

— Нет, Уэйкросса. Мягкая обивка — моя специальность. Если сумеете, — мы с вами компаньоны.

— Но как я могу это устроить, черт побери? Я не имею к Уэйкроссу никакого касательства. А если полезу туда, то Большая Медведица и Кинг сделают из меня котлету. Кроме того, я многим обязан Кингу.

— Черта с два вы ему обязаны. Он сосет из вас кровь, и вы это знаете.

— Ну, ладно. Допустим, я найду способ — так почему бы мне не забрать все в свои руки? Почему именно я должен вносить такую лепту?

— Не вы один — мы оба. Мой план требует совместных усилий.

— Я что-то не расположен обсуждать это сейчас.

— Этого и не требуется. Нам обоим еще многое нужно обдумать. Вам приходилось бывать в Блумфилде в субботние вечера?

— Я вообще здесь по вечерам не бывал. И в гольф здесь играю впервые.

— В эту субботу тут будет бал, давайте встретимся. Мне хочется познакомить вас и Кору кое с кем из молодых членов клуба.

Это был столь явный подкуп, что Билл лишь с трудом притворился, что ничего не понял. Однако он принял приглашение и отменил назначенную на субботу встречу со знакомыми.

Кора Робинсон спросила мужа:

— Если ты станешь компаньоном Трента, тебя примут в этот клуб?

— Нет. Но он поможет мне вступить в один из клубов — либо в Оклэнд-Хиллзе, либо в Плам-Холлоу, либо в Бирмингеме.

— Хорошо бы в Бирмингеме. Я могла бы бывать там днем с детьми.

— Кора, все это не так просто.

— Что же здесь сложного?

— Я думаю не о трудностях, а о том, насколько это порядочно.

— Но это же деловая конкуренция! — возразила жена. — Ведь у вас всегда так: своя собака своих и кусает. Закона ты не нарушишь. Ну, а клиентов кто-то у кого-то отбивает каждый день.

— Да, конечно.

— Ты должен сначала думать о семье, а потом уже о Кинге Смите. По-твоему, он о тебе подумает, если ты окажешься у него на дороге? Как бы не так. У них одно на уме: Куган только пьет, Кинг ведет красивую жизнь, а ты работаешь за них. Разве не так?

И тут Билл Робинсон почувствовал, что его совесть умолкла раз и навсегда. С этой минуты его поступками, когда они с Трентом Джонсом начнут дурачить Кинга Смита, будет руководить только рассудок. Он был благодарен жене за то, что она придала ему силы, и одновременно ненавидел ее за то, что она заставила его поддаться алчности.

Билл Робинсон сказал Тренту:

— Если мы и договоримся, то Уэйкросса перетянуть к себе все равно не сможем. У Кинга тут позиция слишком крепкая. Он начал на пустом месте, а довел оборот до десяти миллионов долларов. И потом — в фирме Уэйкросса я никого не знаю. Я уже просил, чтоб мне дали возможность поработать в области мягкой обивки и накопить опыт, но Куган сказал, что хватит с меня и Уэйкмена. Так что придется нам браться за Уэйкмена. Это единственная возможность.

— Я полагаюсь на ваше мнение, — сказал Трент, смотря то на правое плечо Билла, то на левое, но только не в глаза. — А от Уэйкмена будет толк? Введите меня в курс дела.

— Денег мы получим достаточно, даже если снизим комиссионные. И условия — лучше не придумаешь. Главный завод находится в Грин-Арборе. Профсоюза там нет. Красильный цех и контора Картера Уэйкмена — здесь, в Детройте. Что вас еще интересует?

— Люди. Вы с ними в хороших отношениях?

— Да. Но и Кинг тоже.

— Хорошо. Начнем с того, что намекнем служащим Уэйкмена, будто дела с заказами пошли хуже.

— Но они идут прекрасно. В том-то и беда. С заказами все обстоит великолепно.

— Разве? А мне кажется, Кинг и Куган мало ими занимаются. У меня такое впечатление, что только вы один там и вкалываете. Куган шляется по бабам, а Кинг занят только Уэйкроссом, которым очень дорожит. Кроме того, до Уэйкмена могут дойти слухи о каких-нибудь там разногласиях. И можно кое-что подпортить с заказами, но так, чтобы это не выплыло. И без нажима — чтобы не повредить столь ценной клиентуре.

— Нет, Куган все-таки работает. Правда, не постоянно, зато хорошо. Да и Кинг систематически все проверяет.

— Вам что, не ясно, о чем идет речь? — раздраженно спросил Трент.

— Нет, ясно. Я только хочу показать, как это трудно. И потом — если мы проведем Кугана и Смита, надо ведь будет еще провести Дэви Бэттла.

— А он здесь при чем? — удивленно спросил Трент.

— Он тоже работает с Уэйкменом. У меня Крайслер и «Дженерал моторс», а у него — Форд и «Нейшнл моторс».

— И он действительно работает?

— Как проклятый. И у него прекрасные отношения с Картером Уэйкменом. Вот вы мне и скажите, как заставить владельца «Детройтских львов» взять свои заказы у Кугана и Бэттла и передать их нам...

Трент попыхивал сигарой, перекатывая ее во рту.

— Я всегда считал, что человеку достаточно совладать со своими нервами, и он может украсть что угодно. Это просто. Трудность в том, что вещь, которую ты хочешь украсть, сама тебе в руки не полезет... Вы правы,— решил Трент.— Уэйкмен нам не под силу. Возвращаемся к Уэйкроссу. Давайте подумаем, что тут можно сделать.

Они обсудили все возможные варианты, но ни к какому определенному решению не пришли. Билл Робинсон вернулся к Кингу Смиту, решив работать как можно лучше. Трент Джонс вернулся в свою контору, где его ждало письмо от «Букая», сообщавшее, что контракт с ним разорван. Все, казалось, зашло в тупик.

Но тут произошло два события.

Во-первых, Уэйкмен взял в управляющие автомобильным отделом Стаба Кука, бывшего заместителя главного инженера управления кузовов «Нейшнл моторс». Трент Джонс когда-то работал с Куком, обменивался с ним новостями и делился обидами.

Это было третье звено в цепи.

Во-вторых, на следующий день Картера Уэйкмена с тяжелым кровоизлиянием в мозг увезли в больницу Святого Иосифа. Через неделю стало известно, что он сможет заниматься делами лишь через полгода, да и то это сомнительно. Главное препятствие было устранено. Четвертое звено в цепи позволило детективному роману достичь кульминации.

■

Синдикат детройтских дельцов купил «Детройтских львов» у Картера Уэйкмена. Новый управляющий сказал:

— Дэви, мы готовы во всем пойти вам навстречу, лишь бы вы продолжали играть. Чего вы хотите?

— Я уже дал себе слово и бросаю футбол.

— Хотите тридцать тысяч?

Дэвид молчал.

— Вы привыкли к деньгам, Дэви. Нелегко вам придется, когда вы начнете жить на заработки агента.

— Куган платит мне пятнадцать тысяч плюс премиальные. Мне этого хватит.

— Не делайте глупости. Кто вам мешает присоединить сюда еще и наши тридцать тысяч?

— В этом году мне пришлось уступить требованиям прессы и целиком посвятить себя профессиональному футболу. Теперь же я буду заниматься только бизнесом.

Дэвид отправился прямо на квартиру, которую снимал для Келли Брэнд.

— Детка, перед тобой бывший футболист. Я не знал, удастся ли мне это, но дело сделано.

Дэвид растянулся на диване, положив под голову руку.

— Келли Брэнд!

— Будем ужинать дома или пойдем куда-нибудь?

— Я хочу поговорить с тобой. Теперь я человек респектабельный на все сто процентов.

— И чудесно.

— Как, по-твоему, я достаточно респектабелен, чтобы сделать тебя честной женщиной?

— Нет.

Дэвид приподнялся и сел на диване.

— Келли!

— Что, Дэвид?

— Я настроен жениться.

— Жаль, что я не могу тебе помочь.

— Я найду себе другую.

— Да?

— Нет.

— Очень хорошо.— Она села рядом с ним. Он снова лег и привлек ее к себе. Она сказала ему на ухо:— А так тебе не нравится, Дэвид?

— Нет. Теперь оплачивать три квартиры мне не по карману. Если ты не разрешишь мне перебраться к тебе, я вынужден буду поселиться у мамы.

— В таком случае требуй прибавки. Я не хочу замуж. Такая связь меня вполне устраивает, ничего другого я не хочу.

— Это глупо.

— Не обижайся, Дэвид.— Келли поцеловала его в щеку.

— Ладно, не буду,— пробурчал он.— Но предупреждаю: если я встречу девушку такую, как ты, и она согласится выйти за меня замуж, ты останешься с носом.

— Такой девушки нет.

— Да, такой нет.

Дэвид сказал Кингу Смиту:

— Теперь, когда я перешел на полный рабочий день, не поговорить ли нам об окладе?

— Что ты предпочитаешь: то, что мы тебе платим сейчас, или то, чего ты заслуживаешь? — спросил Кинг.

— То, что вы мне платите. Спасибо и на этом,— ответил Дэвид.

Билл Робинсон сказал Тренту Джонсу:

— Есть кое-что обнадеживающее. Стаб Кук уже зол на Кинга. Он бесится из-за того, что Кинг относится к нему не так, как к Каллигену, бывшему управляющему.— Билл ухмыльнулся.— Впрочем, я Кинга не виню. Стаб зануда и плохой работник. Недаром он не выдвинулся в корпорации. Если мы перехватим эту клиентуру, нужно будет прежде всего убрать Кука, пока он не разорил фирму.

— Значит, он будет рад подложить Кингу свинью?

— Да. И к тому же его злит, что Куган и Кинг загребают такие деньги, а он сидит на одном жалованье. Завтра он приезжает из Грин-Арбора. Он намерен закрыть детройтскую контору Уэйкмена, чтобы сократить расходы.

— Надо действовать осторожно,— сказал Трент.— Если мы его раззадорим, он может не остановиться на полпути и решит обойтись вообще без посредников.

— Здесь-то нам и пригодится Дэви.

— Почему именно Дэви?

— Стаб на него молится. Мы должны заполучить Дэви.

— Жаль! Ведь тогда прибыль придется делить на троих. Что ж, надо, так надо. Во всяком случае, вначале.

Билл Робинсон сказал:

— Трент, я хочу, чтобы мы с вами подписали контракт. Ясный и точный. Без всяких недомолвок.

— Но это же будет улика!

— Как ни печально, но мне нужен контракт.

— Ладно, Билл. Будь по-вашему.

Билл Робинсон пришел к Кингу Смиту и спросил:

— Можно с вами поговорить?

— О чем, Билл?

— О деньгах.

— Но ведь вы получаете немало. Или, по-вашему, недостаточно, Билл? — медленно сказал Кинг.

— Я не говорю, что это несправедливо, но все же чертовски трудно перебиваться от получки до получки.

— Как же вы жили раньше, когда получали вдвое меньше?

— Тогда у нас были деньги, которые Коре оставила мать. Теперь они кончились.

— Билл, каждые полгода вы получаете прибавку. У вас здесь хорошие перспективы, и работаете вы хорошо. Вот когда вы вложите в это дело столько сил, сколько мы с Куганом, можно будет и поговорить. А пока не будьте таким нетерпеливым.

— От Уэйкмена каждый месяц поступают чеки на колоссальные суммы.

Кинг закурил, чтобы подавить нарастающее раздражение, и сказал:

— Мне нечего скрывать от вас, Билл. Не помню, чтобы я показывал вам эти чеки, но не в них дело. Если хотите, можете просмотреть наши книги с самого начала и точно узнать, сколько мы заработали на заказах Уэйкмена. Это вас удивит. Расходов у нас было куда больше, чем вы предполагаете. Почему бы вам не посчитать самому? По крайней мере, картина станет яснее.

— Я буду с вами откровенен, Кинг. Я бы промолчал, но я обязан заботиться о своих и ваших интересах. Дэви не стоит того, что получает.

— Почему вы это решили?

— Клиенты говорят мне то, чего вам не скажут. Большинство из них совсем не интересует, какой он был футболист и спортивный герой. Вы могли бы тут немало сэкономить. Да и нам, остальным, больше досталось бы.

Кинг встревожился. Неужели это правда? Вполне возможно. Дэвид Бэттл, конечно, обаятелен, но, видимо, бесполезен. Нет! Книг решительно замотал головой.

— Судя по книгам, дело у него идет хорошо. Кроме того, у меня с ним соглашение на два года, а соглашения надо выполнять. По-моему, вы преуменьшаете его достижения и преувеличиваете свои.

Билл Робинсон и бровью не повел. Он научился спокойно выслушивать подобные замечания. Это был уже не наивный клерк из агентства Джо Блэквелла, а умелый интриган, сеятель недовольства, опытный заговорщик. Он страховал себя от всяких случайностей. Как бы дело ни обернулось, Билл Робинсон был твердо намерен остаться в выигрыше.

А Кингу хотелось, чтобы его молодой, энергичный агент был доволен.

— Вот что, Билл. Я поговорю с Куганом, и, может быть, он согласится дать вам машину. Вас это устроит? Все-таки лишняя сотня в месяц, не облагаемая налогом.

— Конечно, очень устроит,— ответил Билл Робинсон.— Спасибо, Кинг. И не думайте, будто я не ценю это место. Работа здесь многому меня научила.

В свой кабинет Робинсон возвращался, не чувствуя под собой ног от радости. Предпринятая им операция осуществлялась как нельзя лучше.

Когда Робинсон сказал Кингу, что готов взять на себя Стаба Кука, тот обрадовался.

— Поведите его в ресторан. Развлеките, если это возможно. Денег не жалейте.

Но Билл Робинсон пригласил Стаба к себе пообедать в семейном кругу. Его жена и дети окружили дядю Стаба самой нежной заботой.

На кухне Кора Робинсон сказала мужу:

— Господи, какой он нудный!

Билл встревожился.

— Не забывай, что заказы, которые мы через него получим, будут совсем не нудными! — сказал он.

— Не беспокойся! — раздраженно сказала Кора.— Я тебя не подведу. Слава богу, он хоть не из тех, кто имеет привычку хлопать по одному месту.

Билл шлепнул жену по заду.

— Укладывай детей, а я пойду накачаю старину Стаба виски. Потом приходи посмеяться над его остротами.

Улучив благоприятный момент, Билл сказал:

— Работать с Уэйкменом одно удовольствие, Стаб. Мне очень повезло, что именно я занимаюсь им.

— Я что-то не понял, Билл.

Билл сделал удивленное лицо.

— Я думал, вы знаете. Я не собирался выдавать секретов фирмы.

— Что я знаю?

— Что заказами Уэйкмена занимаюсь я. Куган и Кинг поручили их мне.

— А сами они разве ими не занимаются?

Билл поспешил объяснить с подчеркнутой лояльностью:

— Ну, они поддерживают связи на уровне вице-президентов. Размещением заказов и всей будничной работой занят я. А их дело — гольф, футбол и прочие развлечения, способствующие контактам.

— Так,— холодно сказал Стаб Кук.— А потом какой-нибудь сукин сын в конторе снимает трубку и отдает распоряжения автомобильному отделу. Ну, что ж, мы всегда ставили таких на место.

— Я на вашей стороне. Я люблю честную работу. Иногда мне кажется, что Кинг слишком уж занят крупными воротилами. У нас с ним, наверно, разные взгляды на принципы коммерции.— Билл усмехнулся.— И они неплохо устроились. Хотелось бы мне играть в гольф столько, сколько они.

— И часто они играют?

Билл ответил с почтительной скромностью:

— Видите ли, я не слежу за тем, что делают мои хозяева. Они члены клубов и в Блумфилд-Хиллзе и в Орчард-Лейке. Полагаю, раза четыре в неделю они там бывают. Иногда случается что-нибудь срочное, а их неизвестно где искать.

— А они играют со служащими или с заправилами?

— Должно быть, с заправилами. Им нравится играть в Блумфилде, а туда простого клиента не пригласишь. Потому что рядом с большими шишками простой смертный чувствует себя неуютно. Да и насколько я знаю, гостей в Блумфилде не очень-то жалуют. Там не полагается разговаривать о делах. Если агент-посредник в поисках клиентов станет там играть, он только время потратит впустую. Сам я подумываю вступить в Оклэнд-Хиллз — там я мог бы как следует принимать важных людей. Впрочем, так я считаю... Ах, да! Совсем забыл! Кинг просил меня передать вам его извинения. Он не мог встретиться с вами сегодня. У него важное совещание.

— С кем?

— Думаю, с Вандерховеном; это вице-президент у Форда по перспективному планированию.

— А какое он имеет отношение к заказам Уэйкмена?

— В общем-то никакого. Но ведь заранее не угадаешь: вдруг он когда-нибудь пригодится — так, во всяком случае, считает Кинг. Потому-то у него и не хватает времени на общение с простыми людьми, вроде нас с вами.

— А смогу я увидеться с ним в этот приезд? Найдется у него для меня время?

— Не знаю, Стаб. Он поручил мне занять вас. Когда отделом заведовал Каллиген, все было иначе. Для него-то Кинг обычно находил время. Наверно, он теперь более занят.

— Возможно,— ответил Стаб.

— Кинг знает, что на уэйкменовские заказы он может твердо рассчитывать. Даже когда сам Уэйкмен болен. Кстати, как он? Скоро вернется к делам?

— Может быть, и совсем не вернется. А пока всем ведаю я.

— По-моему, Кинг вообразил, что раз Уэйкмен болен, то теперь он здесь самый главный.

Кинг Смит был дома, так как и не думал встречаться с Вандерховеном. Он сидел и размышлял о своем утреннем разговоре с Биллом Робинсоном.

— Ты не знаешь, Билл Робинсон на меня не обижен? — спросил он жену.

— За что?

— Сам не понимаю. Но он ведет себя как-то странно. Словно я чем-то его задел.

— После того, как ты столько для него сделал? Выбрось это из головы. Наверно, он чем-то озабочен. Билл хороший парень, и он благодарен тебе.

— Сколько раз я видел, как людей оставляли в дураках. Но пойди догадайся, когда в дураках хотят оставить тебя!

— Билл не такой. Я сразу вижу фальшивых людей. А если он не заискивает, это еще не значит, что он плохо к тебе относится.

На следующее утро Билл позвонил Кингу домой и сказал:

— Сегодня я возьму Стаба на себя. Свожу его к Форду посмотреть конвейер. Это надолго займет его.

— Может быть, пообедаем все вместе?

— Если хотите. Только вряд ли Стаб это оценит. Вы ведь его знаете. Лучше займитесь чем-нибудь полезным, а я уж с ним справлюсь.

— Я говорил с Куганом про машину,— сообщил Кинг.— Он сказал: пусть выберет, что ему понравится. Не зарываясь, конечно.

— Вот это здорово, Кинг! Большое спасибо.

— Ладно, ладно, Билл. Мы с Куганом ценим вашу работу, так что это только начало.

Стабу Куку Билл сказал:

— Я предложил Кингу пообедать сегодня всем вместе, но он сказал, что занят. Хотите повидаться с ним вечером? Я уверен, что он согласится, если вам это очень нужно.

— Не стоит утруждать его.

— Ну, ладно. В следующий раз, Стаб, когда приедете в город, останавливайтесь у меня. Мои ребятишки прямо с ума посходили. Все утро у них только и разговора было что о дяде Стабе.

Стаб Кук просиял. Билл Робинсон дружески ему улыбнулся и подумал: «Простофиля! Деревенщина! Всему верит!»

Робинсон попросил разрешения поехать на завод, чтобы выяснить некоторые производственные вопросы. Кинг Смит согласился и добавил:

— Возьмите с собой Кору. Ей не помешает отдохнуть денька два.

— Еще бы! Но вы имеете в виду — за счет фирмы?

— Конечно. Для дела это полезно. А со Стабом вы вроде бы поладили?

— Ну, я умею говорить на его языке.

— Мне только кажется, что он немного обижен. Пожалуй, в следующий его приезд мне следует уделить ему больше внимания.

— Да ничего подобного, Кинг! Он знает, что у вас с ним мало общего. Он сказал, что чувствует себя лучше в домашней обстановке, среди детей. Я беру его на себя. И вот еще что, Кинг: Стаб и некоторые другие на заводе не очень высокого мнения о Дэви. Они считают, что он не стоит того, что вы ему платите.

Кинг рассердился.

— Об этом позвольте уж судить мне. Я думал над тем, что вы говорили в прошлый раз. Вы его действительно недооцениваете. Видно, мне самому надо поговорить с Куком.

Билл улыбнулся.

— В этом нет нужды, я ему уже все объяснил. Скажите, Кинг, могу я принять участие в предстоящих переговорах?

Кинг откинулся на спинку кресла.

— А почему нет? По-моему, чем больше вы вникаете в дело, тем лучше.

— А вы не боитесь, что я хорошо себя проявлю? — с улыбкой спросил Билл.

— Нам же больше чести. Ведь это мы вас нашли, верно?

— Да,— серьезно ответил Билл.— И я позабочусь, чтобы вся честь досталась вам.

— Это ни к чему. Почести придут сами собой.

— Ну, я просто хотел, чтобы вы знали, как я благодарен вам за все, что вы для меня сделали.

■

Дик Харберт, инженер управления кузовов «Нейшнл моторс», вполне годился для участия в этом заговоре. Во-первых, он хорошо знал Трента Джонса и тем не менее не испытывал к нему антипатии; во-вторых, он был корыстолюбив.

— Дик, я хочу тебе кое-что сообщить,— сказал Трент.— Но если ты разболтаешь, я тебя убью.

— По-моему, ты меня знаешь, Трент.

— Возможно, я отберу заказы Уэйкмена у Кугана и Смита.

Харберт присвистнул.

— Но это не наверняка. Я еще только веду подготовку.
— Кинг об этом знает?
— Нет, конечно.
— А Дэви Бэттл?
— И он не знает. Какого ты мнения о Бэттле?
— Хороший парень. Старается.
— Когда заказы будут переданы, мы, вероятно, возьмем его к себе.
— Ловко придумано. У него большие связи в нашей корпорации. Джим Паркер чуть ли не опекает его. Кто еще участвует в этом деле?
— Билл Робинсон. Дэви — третий, но нам нужен еще четвертый. Человек, знакомый с производством.
— Это вопрос?
— Интересуешься?
— Да.
— Неплохое будет дельце.
— Идет.
— Ладно. Будем держать тебя в курсе. Нам может понадобиться одна услуга. Ты ведь знаком со Стабом Куком? Он теперь возглавляет автомобильный отдел фирмы Уэйкмена.
— Стаба я знаю. У меня с ним неплохие отношения.
— Он приедет сюда навести кое-какие справки. Возможно, ему нужно будет доказать кое-что другому представителю своей фирмы, чтобы заручиться его поддержкой. Ну, например, что Смит и Куган не слишком котируются в управлении кузовов «Нейшнл моторс».
— В этом случае я выложу всю правду,— с самым невинным видом сказал Дик Харберт.— Это нам очень поможет.

Кинг Смит сел напротив Стаба Кука в конторе в Грин-Арборе. Стаб отрывисто сказал:
— Кинг, я буду говорить без обиняков: мы отказываемся от ваших услуг. Неустойка, разумеется, будет вам выплачена.
Кинг Смит был ошеломлен. Его мозг лихорадочно работал в поисках объяснений и выхода, но лицо оставалось спокойным.
— Надеюсь, вы объясните, что все это значит,— сказал он.
Кук отвел глаза.
— Прежде всего, Кинг, мы хотим заверить вас, что наше решение продиктовано чисто деловыми соображениями. Лично против вас или против Кугана мы ничего, конечно, не имеем. Мы питали и питаем к вам глубочайшее уважение. Но к нам поступили кое-какие сведения. Мы эти сведения проверили и в итоге приняли такое решение.
— Что же это за сведения?
— Нам сообщили, что вы не уделяете нашей фирме должного внимания.
— Не уделяем внимания вашей фирме?
— Да. Что вы слишком много времени посвящаете гольфу и другим подобным занятиям и слишком мало нашим делам.
— Откуда у вас такие сведения?
— От вашего служащего Билла.
У Кинга потемнело в глазах.
— Вам это сказал Билл Робинсон? Но почему? Это неправда.
— Поверьте, мы учитывали, что он, возможно, сам рассчитывает стать нашим посредником. Лично я не очень высокого мнения о человеке, который способен устроить такую штуку своему хозяину. Но это к делу не относится. Он сообщил нам, что происходит, и мы проверили. Ваши клиенты все это подтвердили.
— Кто именно?
Кук неуверенно сказал:
— Мы получили подтверждение.
Не мог же он сказать, что подтверждение исходило от одного-единственного рядового инженера!
— Они подтвердили,— продолжал Кук,—что вы слишком много времени тратите на верхушку, слишком полагаетесь на управление закупок и восстановили против себя большинство сотрудников. Нам это невыгодно.
Кинг закурил. Рука его немного дрожала.
— Любопытно. Итак, сведения, которыми вы располагаете, поступили от моего служащего и от каких-то неведомых осведомителей из автомобильных компаний.

Ему удалось овладеть собой. Нельзя давать волю нервам. Все еще можно поправить, и, кто знает, вдруг ему придется работать с этим человеком.
— Стаб, прежде всего разрешите напомнить вам, что мы неплохо для вас поработали. Мне кажется, вам следовало бы это учесть. То, что вы намерены сделать, может очень повредить моей карьере. Я не заслужил этого. Прошу вас повременить с окончательным решением, пока вы не проверите вашу информацию.

— Кинг, вы знали, что это случится. У вас в запасе было несколько недель. Если бы вы располагали фактами, доказывающими вашу правоту, вы бы ими воспользовались.

— Откуда я мог знать?

— Это же ваш человек, Кинг. Вы не могли не догадаться. Вы должны были это знать.

— Повторяю: это полная неожиданность для меня и для Кугана. Он тоже ничего не подозревал. Впрочем, нет. Куган тревожился. Он чувствовал, что дело нечисто. Вот что, Стаб, это какое-то страшное недоразумение. Мне бы хотелось точно узнать, что именно сказал вам Билл и другие ваши осведомители.

Стаб Кук избегал смотреть Кингу в глаза.

— Это бесполезно. Решение уже принято.

— А я не признаю этого решения,— вспылил Кинг.— Чем слушать тех, кто рассчитывает на этом нажиться, поезжайте лучше в Детройт и поговорите с теми, кого я назову и кто действительно знает обстановку. Это вы обязаны для меня сделать.

Наступило долгое молчание. Наконец Стаб сказал:

— Решение принято.

Кинг встал.

— Да кем вы себя вообразили, черт побери? Во-первых, у вас нет ни малейшего права контролировать, как я провожу время. Я не ваш служащий. Моей фирме была поручена определенная работа. Мы ее выполняли. И добились большего, чем можно было ожидать. И вам нет никакого дела до того, как и где провожу время я, как и где проводят его Куган, Бэттл, Робинсон или еще кто-нибудь, пока мы выполняем то, что обязались. Во-вторых, вы нас не нанимали и не можете с нами порывать. Решать будет Картер Уэйкмен.

— Картер Уэйкмен не в состоянии решать, Кинг. За автомобильный отдел сейчас отвечаю я. У меня есть полномочия, полученные от правления. Так что советую вам не предпринимать никаких шагов.

— Так я вас и послушал, черт побери! И запомните: если вы передадите эти заказы Биллу Робинсону, я не успокоюсь до тех пор, пока не поквитаюсь с вами.

— Вот об этом можете не тревожиться. Он от вас уходит в другую фирму.

— А Дэвид Бэттл? Он как?

— Предполагается, что он по-прежнему будет заниматься этими заказами у того, к кому они перейдут.

— От кого исходит это предположение?

— От нашего нового посредника. Это одно из условий.

— Кого же вы берете вместо меня?

— Трента Джонса. Мы уже подписали с ним контракт.

Кинг Смит онемел от изумления.

■

Куган Большая Медведица был лишен щепетильности. Он подкупил швейцара здания, в котором находилась контора Трента Джонса, и пятнадцать минут рылся в бумагах этого последнего, пока не нашел то, чего искал,— копии соглашения между Биллом Робинсоном и Трентом Джонсом. Соглашение было подписано несколько недель назад. Робинсон и Джонс соглашались представлять фирму Уэйкмена на равных началах и делить между собой чистую прибыль, выражавшуюся в сумме, которая останется от комиссионных после вычета расходов и доли Дэвида Бэттла, еще подлежащей определению.

Куган сел в кресло Трента Джонса и за счет Трента Джонса позвонил Кингу Смиту.

— Кинг, оно передо мной. Прямо у меня перед глазами. Все было подготовлено заранее. При участии Робинсона и Бэттла. Я возьму контракт к нам в контору снять фотокопию.

Билл Робинсон, торжествующий и возбужденный, налил вина Тренту Джонсу, жене Джонса, своей жене Коре, Келли Брэнд и Дэвиду Бэттлу, а затем, повернувшись к ним, поднял свой бокал.

— Такой случай требует тоста,— сказал он.— За наше сотрудничество!

Все, кроме Келли Брэнд, подняли бокалы. Дэвид Бэттл только пригубил, но пить не стал. Он поставил бокал на стол и сказал:

— Не знаю, удобно ли сейчас вести деловые разговоры, но, по-моему, нам надо поговорить.

— Конечно, удобно, Дэви,— сказал Трент Джонс.— Мы же все трое тут.

— Вернее, вы двое. А я об этом ничего не знаю. Возможно, вы думали, что я в курсе, но это не так. Вот я и пришел разобраться.

— Ты наш полноправный компаньон, Дэви,— сказал Трент.— Только и всего.

— Но я еще служу у Кинга.

— Разве он тебе ничего не сказал? — спросил Билл.

— А что он должен был сказать?
— Он намерен вышвырнуть тебя — и быстро!
— А почему, собственно?
— Он считает, что он потерял эти заказы не без твоего участия.
— У него нет никаких оснований так считать. Он знает меня.
— Поверь, с Куганом и Смитом у тебя все кончено. Даже если ты уговоришь их оставить тебя, все равно хода тебе не будет. Судьба связала тебя с нами.
— Можно воспользоваться твоим телефоном?
— Конечно, Дэвид,— ответил Билл.
Дэвид набрал номер домашнего телефона Кинга Смита.
— Кинг? Это Дэвид. Один вопрос: я еще служу у вас?
— Вы уволены,— сказал Кинг Смит.
Сдерживая себя, Дэвид спросил:
— За что же?
Кинг Смит повесил трубку.
— Я действительно уволен,— сообщил Дэвид, вернувшись в гостиную.
Робинсон перевел дух. Но тут вмешалась Келли Брэнд:
— Мне кажется, Дэвид, нам надо поехать к Кингу и поговорить с ним.
— Какой смысл? Он бросил трубку.
— Не обижайся, Дэвид. Его можно понять.
— Я же тебе говорил,— сказал Робинсон.— Придется тебе остаться с нами.
— Вы чего-то не договариваете. Для работы с этими заказами вполне хватит двоих. Может быть, вы объясните?
— Я скажу ему, Билл,— заявил Трент.— Ты прав, Дэвид. Мы сделали одну вещь, на которую, пожалуй, не имели права. Передавая нам заказы, Стаб сказал, что хочет, чтобы ты продолжал ими заниматься. И мы обещали уговорить тебя. Таким образом мы у тебя в руках.— Трент дружески улыбнулся.— Потому-то мы и предлагаем тебе стать нашим компаньоном.
— Стаб думает, что я соглашусь?
— Да.
— А если я откажусь?
— Нам придется смириться с этим. Контракт у нас уже в кармане. Это контракт между фирмами — без упоминания фамилий. Фамилии стоят только в особом частном соглашении. Так что в нашем распоряжении во всяком случае есть год.
— А сколько это может принести?
— В первый год мы будем получать половину комиссионных Кинга и, конечно, возьмем на себя выполнение уже размещенных заказов. Если нам удастся сократить издержки, то в первый год выйдет что-нибудь около двадцати тысяч на каждого. А через год мы начнем получать комиссионные полностью — две трети того, что имел Кинг. Убежден, что за вычетом всех расходов нам останется верных тридцать тысяч на брата.
— Недурно,— сказал Дэвид.
— Это только на заказах Уэйкмена. В дальнейшем мы будем работать и для других фирм. Как видишь, Дэви, дело налаживается. Твое участие очень помогло бы привлечь солидную клиентуру.
— Я подумаю,— сказал Дэвид.
— Что тут раздумывать? — воскликнул Билл.— У нас подобралась прекрасная команда. Мы горы свернем!
— Я хотела бы кое в чем разобраться, Билл,— заявила Келли Брэнд.
— А именно, Келли?
— Билл, вы способствовали тому, что Кинг потерял эти заказы?
У Билла Робинсона пересохло во рту.
— Я не имею к этому никакого отношения,— сказал он.— Все решил Кук.
— Совсем никакого отношения?
— Я только ответил на несколько вопросов. Ответил честно. Вот и все.
— На какие вопросы, Билл?
— Касавшиеся заказов Уэйкмена. Келли, я тут ни при чем. Кинг настроил против себя Стаба Кука. Кинг и Куган сами потеряли этого клиента. А уж раз они его потеряли, мы были бы последними дураками, если бы упустили такой случай. Если мы с Дэви откажемся, Трент найдет других.
— А вы заранее знали, что это случится?— продолжала Келли.
— Догадывался. Но точно не знал.
— А вы сказали Кингу о своих догадках?
Билл ничего не ответил.
— Вы сказали Кингу, что, по вашему мнению, он может потерять клиента? — повторила свой вопрос Келли.
— Это что— допрос, Келли?— осведомился Билл.
— Мне кажется, Дэвиду надо кое-что обдумать. Вы говорите, что Кинг потерял клиента сам, а вы тут ни при чем — я хотела бы, чтобы все было совершенно ясно. И вы говорите, что не знали о намерении Трента Джонса взять вас в компаньоны?
— Кинг держал меня в черном теле,— вскипел Билл.— Это всем известно.

— Верно,— подтвердил Трент.— Билл с Дэви работали, а Куган и Смит только пенки снимали.

Билл спохватился.

— Я не имею никакого отношения к тому, что они потеряли клиента. Могу повторить это еще раз. Все сделали они сами и Стаб Кук.

— А вы вели себя лояльно по отношению к Кингу? — спросила Келли.

Билл не ответил.

— Я вот что имею в виду,— продолжала Келли,— вам с Дэвидом платили за то, что вы делали. Поэтому сказать, что вас держали в черном теле, нельзя, не так ли? Кинг Смит платил вам хорошее жалованье. Вы оба брали его деньги и должны были выполнять свою работу. Разве Кинг платил мало? Ведь нет же! И разве он мало сделал для вас?

— Я ничего не имею против Кинга,— сказал Билл.— Он отличный малый, и я всегда останусь о нем самого лучшего мнения. И не думаю, чтобы он был на меня в претензии. Для этого у него нет никаких оснований.

— Потому что вы были лояльны по отношению к нему, так?

— Вот именно! И работал добросовестно и защищал его, когда его ругали.

— Келли,— вмешался Дэвид.— По-моему, пора прекратить этот разговор.

— Я еще не кончила,— сказала Келли.— Но сейчас кончу. Билл, вы продолжаете утверждать, что всю эту махинацию устроили не вы. Возможно, вам удастся убедить в этом очень многих. Но меня вы не убедите.— Келли встала, она вдруг заговорила с сильным техасским акцентом: — Мне кажется, сэр, вы вообще лишены лояльности. Ладно, допустим даже, что сами вы против Кинга не интриговали, но ответьте мне на один вопрос: могли вы предотвратить то, что случилось?

Билл растерянно молчал.

— Раз уж вы такой лояльный, неужели вы не могли отстоять интересы человека, который столько сделал для вас? Если бы в разговоре со Стабом Куком вы по-настоящему боролись за Кугана и Смита, разве они потеряли бы клиента? Могли вы этому помешать?

Наступила тишина. Билл Робинсон побледнел. Как бы он ни оправдывался, как бы ни старался доказать, что решение фирмы Уэйкмена от него не зависело — ответить на этот вопрос ему было нечего, и правды было не скрыть. Ни для Келли, ни для самого себя он не мог придумать благовидной причины, объяснявшей, почему он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь человеку, который помог ему.

Признав это, он должен был раз и навсегда признать страшную правду, на которую упорно пытался закрыть глаза, прячась за рассуждениями, продиктованными мыслью о самосохранении. Он лжец. Он лгал всем окружающим, а потом, чтобы сохранить самоуважение, лгал себе. Но теперь ни оправдать, ни обмануть себя он уже не сможет. Да, это была продуманная интрига, с самого начала и до конца. Он заключил союз с темной личностью, чтобы ограбить человека, который помог ему в трудный час, и хотя до конца жизни он может лгать друзьям и посторонним людям, себе лгать он уже не в состоянии: он всегда будет знать, что́ он такое. И, глядя в суровые, исполненные презрения глаза Келли Брэнд, он думал:

«Не жалей Кинга Смита. Он потерял всего лишь клиента. Пожалей меня. Я потерял уважение к себе. Как бы я ни старался это забыть, я буду снова и снова, миллионы раз вспоминать это и не спать по ночам. Совершив эту гнусность, я потерял честь».

— Сэр, вы омерзительны,— сказала Келли Брэнд.

Она встала и пошла к двери.

Дэвид Бэттл тоже встал.

— Я должен извиниться за нее. Не понимаю, почему она так вспылила.

Трент Джонс сохранял полную невозмутимость.

— Пустяки, Дэви. Ты сумеешь ее уговорить. Разумеется, наше предложение остается в силе.

— Завтра не позже двенадцати я дам окончательный ответ,— сказал Дэвид.

— Ты вела себя недопустимо,— сказал Дэвид.

Келли молчала. Она нервно курила. Дэвид задним ходом вывел машину на улицу.

— Мне пришлось извиниться. Ты была груба.

— Дэвид, неужели ты не видишь, что это за люди?

— Келли, ты ведь ничего не знаешь о том, что произошло. Билл же прямо тебе сказал, что он не имел к этому никакого отношения.

— Неужели ты этому веришь, Дэвид? Не может быть!

— У меня нет никаких оснований не верить.

— Значит, ты решил работать с ними?

— Разве ты забыла, что меня уволили?

— Кинг просто был раздражен. Его нельзя винить. Он, наверно, думает, что ты участвовал в этом сговоре. Поедем к нему сейчас. Хорошо?

— Он свое слово сказал. Теперь моя очередь. Но это будет не то, на что рассчитывают Джонс и Робинсон. Как сегодня выяснилось, они у меня в руках, поскольку обещали Куку, что я по-прежнему буду на него работать.

— И ты намерен взять их за горло?
— Кто-то же должен быть хозяином.
— Дэвид, на это ты не способен.
— Успокойся и выслушай меня. Ты сама всегда советовала мне думать прежде всего о своих интересах. Вот я и думаю. И хочу получить свое. А чего ты хочешь? Чтобы я поблагодарил Кинга за то, что он уволил меня, заподозрив в подвохе?
— Дэвид, что с тобой случилось?
— Ну, хватит. Ты была непростительно груба с Биллом Робинсоном. Завтра же позвони и извинись перед ним и Корой. Надеюсь, они решат, что у тебя была истерика.

Он остановил машину у ее подъезда и уже собрался выйти, чтобы открыть ей дверцу, но Келли сказала:
— Подожди, Дэвид.
— Поговорим у тебя.
— Ты ко мне не пойдешь.
— Вот как?
— Не поступай так, Дэвид. Ты себе этого никогда не простишь. Да, ты обижен, но из-за этого нельзя закрывать глаза на правду и не видеть, кто такие Трент Джонс и Билл Робинсон. Иначе ты сам окажешься ничуть не лучше. Правда рано или поздно выйдет наружу, и ты возненавидишь себя на всю жизнь. Давай поженимся, Дэвид, уедем куда-нибудь и начнем жизнь заново.

Он был взбешен.
— Я не женюсь на тебе, если ты ставишь мне условия. Не много ли ты на себя берешь? Ты что же, вздумала читать мне мораль?

Келли взялась за ручку дверцы. Дэвид сказал:
— Иди, иди. Я позвоню утром, когда ты опомнишься и поймешь, в какое дурацкое положение себя поставила. Я просто не желаю слушать нравоучения. Во всяком случае не от тебя.

Глядя прямо перед собой, Келли спросила:
— Потому что ты подобрал меня в баре? Потому что я отдалась тебе в первый же вечер? Потому что я содержанка? Вот поэтому я не имею права сказать тебе, что ты теряешь честь?
— Это говоришь ты, а не я, Келли.
— Дэвид, если ты так переменился из-за меня, то мне очень грустно.
— Ты несколько преувеличиваешь свое влияние. Я позвоню утром.
— Прощай, Дэвид.
— Не говори глупостей.

Она вышла из машины и, не оглянувшись, скрылась в парадном.

Дэвид приступил к работе в фирме «Бэттл, Джонс и Робинсон». На третий день он обедал с Диком Харбертом. Харберт сказал:
— Ну, я готов!
— К чему, Дик?
— Разве они тебе ничего не говорили? Они обещали мне место у вас.
— Я этого не знал.
— Ну, а они обещали.

Дэвид рассказал об этом разговоре Тренту. Трент тут же позвонил Харберту и сказал:
— Дик, как только все наладится и устроится.

Дик Харберт начал понимать, что его просто обвели вокруг пальца, но не захотел посмотреть правде в глаза и стал ждать земли обетованной. Он отдал себя во власть мошенникам, и жаловаться было некому.
— Что же ты обещал ему? — спросил Дэвид у своего компаньона.

Трент невозмутимо ответил:
— Что мы возьмем его к себе, если будет вакансия. Видимо, он не так меня понял.
— А что он для нас сделал?
— Что сделал? Ничего.
— Он сказал мне, что Стаб Кук и Герман Уорс спрашивали у него, как работает Кинг. Что он им ответил?
— Откуда мне знать, Дэви? Спроси Стаба. Да не волнуйся, все в полном порядке!

Дома Дэвида ждал Билли Тэрнер.
— Как ты сюда попал?
— Ты бы сначала дверь запирал, а потом спрашивал, дружок.
— Тоже верно. Как там ребята?
— Прекрасно, хотя с тобой было бы лучше. Может, вернешься?
— Нет. Я теперь деловой человек.
— Слыхал. Ну, и как ты себя чувствуешь в этой теплой компании?

— Что ты имеешь в виду?
— Сам знаешь, дружок.
— Билли, давным-давно мы решили, что будем просто приятелями, верно?
— Верно. Только нелегко это, когда ставишь человека так высоко, как я тебя.
— Не лезь ты не в свое дело.
— Можешь уделить мне три минуты своего драгоценного времени?
— Чего ты хочешь?
— Как я понимаю, ты не возражал, когда эти подонки увели чужого клиента, а может, убедил себя, будто они этого не делали. Должен сказать, что и эта фирма, то есть Уэйкмен, тоже хороша. Куда она годится, если готова перерезать человеку глотку, чтобы сэкономить пару паршивых долларов. Это не фирма, а грязная лавочка. Она смердит. И неужели ты, Дэви, способен быть посредником фирмы, которая смердит?

Дэвид криво усмехнулся.

— Что-то не узнаю тебя, Билли Тэрнер. Или это не ты заключаешь пари на исход футбольных матчей? Слишком много я получаю советов от людей, которые не очень-то годятся в советчики.

— Ну что ж, я Билли Тэрнер, а ты — Дэвид Бэттл. То есть был Дэвидом Бэттлом. А теперь, видно, то, что хорошо для Билли Тэрнера, сойдет и для Дэвида Бэттла? Жаль, если так. У меня от этого стало бы чертовски скверно на душе, Дэви. Если ты из-за меня так переменился, то мне очень грустно.
— Это я уже слышал. Значит, ты с ней разговаривал?
— Да.
— Она тебе позвонила? Захотела похныкать?
— Да, она мне позвонила. Знаешь, что я сделал, Дэви? Я спросил ее, не пойдет ли она за меня. Честное слово. Я сказал ей, что люблю свою жену, но ее люблю больше. И раз у нее с тобой все кончено, то я и прошу ее выйти за меня.

Дэвид молчал. Он знал, что́ сейчас скажет ему Билли Тэрнер.

— Она к тебе больше не вернется, Дэви. Ты потерял свою техасскую девушку.

Дэвид молча повернулся, выбежал из дома и сел в машину. Он подъехал к дому Келли и отпер дверь своим ключом. Он быстро прошел прямо в спальню — их спальню. Шкафы и комод были пусты. Он лег на их огромную двуспальную кровать и уставился в потолок. Взял лежавший на постели футбольный мяч, подаренный ему после героической игры за «Детройтских львов», и стал его подбрасывать. Он думал о Келли Брэнд. Он вспоминал ее походку — пританцовывающую, как у маленькой девочки, которая идет, разбрасывая цветы. Он вспоминал ее чудесную улыбку, каштановые волосы, которые она отбрасывала с лица, когда поворачивала голову. Он вспоминал ее живые глаза и живой ум, который значил для него так много. Он вспоминал, какой она становилась нежной, когда он обнимал ее, как вспыхивала в ней страсть, и она обнимала его еще крепче. Он думал о ней. Думал о ней. Он снова лежал в раздевалке «Нотр Дам», глядя в потолок, а дождь и одиночество отгораживали его от всего мира, и ветер уносил Суит-Уотер все дальше и дальше, и на сто тысяч миль вокруг не было никого. Он думал о Келли Брэнд и вздрогнул всем телом, услышав воющий, стонущий паровозный гудок Суит-Уотера. Где ты, Келли? Я люблю тебя, люблю тебя, где ты?

Он сел на кровати и крикнул, словно Келли была рядом:

— Убирайся к черту! Убирайся к черту!

В квартире, где Дэвид теперь жил с матерью, зазвонил телефон. Голос Билли Тэрнера произнес:

— Дэви, я видел Большую Медведицу.
— Мне не о чем с тобой говорить, Билли.
— Я пьян, Дэви. Но могу еще приехать и избить тебя до полусмерти, если ты не станешь меня слушать,— и ты будешь слушать. Я видел Большую Медведицу. И я сказал: «Слушай, Куган. Я, конечно, из деревни, но я учил юриспруденцию и даже писал научную работу — так, по-моему, ты можешь засадить Робинсона в тюрьму за преступный сговор.
— Какой сговор? — спросил Дэвид.
— Вот что, Дэвид, если ты это захочешь узнать, то узнаешь. Да ты уже знаешь, а скоро и поймешь, что знаешь.
— Мне нужны факты.
— Кора Робинсон говорила одной своей приятельнице, что ее муж давно помогает Тренту Джонсу.
— Ай да факт! Сказать все можно.
— Таких фактов у них много. И еще у них есть контракт.
— Ни о каких контрактах я ничего не знаю.
— Неужели, Дэви? А в нем значится твоя фамилия.
— Если и так, меня это не касается. Моя подпись на нем есть?
— Дэви, я бы советовал тебе повидаться с Куганом и Смитом и внести в это дело ясность.

— А что намерен предпринять Куган?

— Хочет подать на этого Иуду Робинсона в суд, чтобы тот лет двадцать помнил. Они уже и адвоката нашли. Он говорит, что Робинсону крышка. Работая у них, он находился в преступном против них сговоре и помогал их конкурентам. У Кугана и Смита есть все доказательства. Но Кугану еще надо уломать Кинга. А Кинг говорит, что толку тут не будет никакого — просто они сделают из Робинсона мученика — и все.

— Не думаю, что им так уж легко будет выиграть процесс. Но я поговорю с Кингом. Спасибо, Билли.

— Не торопись благодарить, дружок. Похоже, что ты тоже можешь угодить в тюрьму. Я просто даю тебе возможность привести свои дела в порядок. А пока, дружок, должен тебе сказать, что ты смердишь. И Келли Брэнд так же думает. Смердишь, братец.

Дэвид швырнул трубку. Он был страшно бледен, его била дрожь.

Полчаса спустя он позвонил Тренту Джонсу.

— Я переехал на другую квартиру, Трент. Запиши новый телефон: Мидуэст 4-7631.

— Хорошо, Дэви.

— Но я не из-за этого тебе звоню. Я тут обдумал кое-что. Как, по-твоему, Стаб Кук и Уорс согласятся теперь со всем, что бы я ни затеял?

Трент встревожился, но его голос остался спокойным.

— Мы предложили тебе выгодные условия, Дэви. Что ты задумал?

— Как ты полагаешь, мы с тобой вдвоем справимся с этими заказами?

— Ты наверняка не поверишь, но я сам собирался говорить с тобой на эту тему,— возбужденно сказал Трент Джонс.— Можно ли доверять человеку, который однажды уже предал своего нанимателя? Он же снова это сделает, верно?

— Верно. Значит, утром поговорим.

— Очень хорошо, Дэви. Утром пораньше.

Эллен Бэттл спросила:

— Дэвид, подать тебе ужин?

— Нет, спасибо, мама. Мне надо еще кое-кому позвонить.

— Только не работай допоздна. Если тебе будет что-нибудь нужно, скажи.

Дэвид позвонил Биллу Робинсону.

— Билл, я тут обдумал кое-что и решил спросить тебя прямо: как, по-твоему, мы с тобой справимся с заказами Уэйкмена. Я имею в виду — мы одни?

— Раньше мы с ними справлялись одни.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно. Мы с тобой можем сами договориться со Стабом. Джонс нам ни к чему.

— Я так и думал. Знаешь что, Билл?

— Что?

— Мы смердим. Все трое.

Дэвид долго сидел, не сводя глаз с телефона.

— Может, все-таки поужинаешь, Дэвид?

Дэвид снова снял трубку и набрал номер Кугана. К телефону подошла горничная:

— Кто спрашивает мистера Кугана?

— Мистер Бэттл.

Горничная вернулась и сказала:

— Мистера Кугана нет дома.

Дэвид набрал номер Кинга Смита и сказал горничной, снявшей трубку:

— Скажите мистеру Смиту, что звонит мистер Бэттл.

— Мистер и миссис Смит в гостях у мистера Кугана, мистер Бэттл.

— Благодарю вас,— сказал Дэвид.

Он достал из холодильника бутылку кока-колы и отпил из горлышка. Потом вернулся к телефону и набрал домашний номер Джима Паркера. Он сказал:

— Джим, круг замкнулся. Мне нужна работа, которую ты обещал мне в свое время в Суит-Уотере.

КНИГА ШЕСТАЯ

Одинокие женщины, посещавшие детройтские бары, делились на две категории. Во-первых, проститутки. Какой-нибудь зачинатель моды говорит: «Ронджо» — вот это бар!» — и профессионалки уже сидят там на табуретках у стойки, ожидая появления клиентов, которые опрометью кидаются опробовать новинку, точно туристы, толпящиеся у одного борта. Две-три недели в моде бары «Мерривезер» и «Рыжая лисица», а потом кто-нибудь говорит: «Городские сплетни» — вот это бар!»— и туристы бросаются к противоположному борту.

Ко второй категории относились скучающие домашние хозяйки, молоденькие секретарши и бесполые алкоголички. Домашние хозяйки заходили в бар еще днем, часам к пяти их становилось больше, но в основном они приходили под вечер, садились у стойки, вперемешку с проститутками и улыбались, рассчитывая выпить на дармовщину,— у них у всех были бездонные желудки, и алкоголь в любых количествах не производил на них никакого действия. Секретарши приходили после работы. Их методы и побудительные мотивы были точно такими же, как у домашних хозяек. Они приходили выманить у мужчин выпивку, изображали доступность, а потом, уезжали домой с подругой и без провожатых. Обманутые кавалеры утешались мыслью: «Еще десять минут, и она была бы у меня на крючке». В действительности же, с самого начала и до конца у них не было ни малейших шансов. Такое любительское соперничество вполне устраивало профессионалок. Их час наступал позднее, когда мужчины, обжегшись и убедившись на собственном горьком опыте, что в Детройте они совсем одиноки, достаточно нагружались, чтобы купить себе утешение. Дэвид Бэттл познакомился с Сараджин Корт в таком баре. Ему хотелось выпить в одиночестве. Справа от него сидели две девушки. Он не обращал на них внимания, и они на него как будто тоже не обращали внимания. После первой рюмки бармен многозначительно посмотрел на Дэвида и легонько кивнул в сторону его соседок. Дэвид поглядел, не увидел ничего интересного и взял вторую рюмку.

— Сараджин, вы знаете Дэвида Бэттла? — спросил бармен у одной из девушек.— Ну, Малую Медведицу.

— Он футболист, верно, Джо? — спросила та.

— Лучший в мире! — ответил бармен и, обращаясь к Дэвиду, добавил: — Лучше вас никого никогда не было, Дэви.

— Налейте им,— сказал Дэвид.

В полночь девушки уехали в одном такси — подруга подвезла Сараджин до ее машины. Но Дэвид поехал за ними. Сараджин сказала Дэвиду:

— Пожалуйста, не надо. Я сегодня много выпила.

Он ответил:

— Ваша надзирательница уехала, и вы можете делать все, что хотите.

— Я хочу вернуться домой — и одна. Встретимся как-нибудь в другой раз.

— Чтобы вы опять разыгрывали доступность, а потом уехали домой одна? Нет, надо заставить вас заплатить по счету.

— Дэвид, пожалуйста, не будьте таким! Я редко бываю в барах — только с Джозефиной, когда ей хочется проветриться, а пойти одна она не рискует.

— Потому-то бармен вас и знает? А он знает, что вы дочь Уоррена Корта?

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Ну, пожалуйста, Дэвид! Конечно, мне не следовало ездить туда. Отпустите меня домой.

— А зачем вы это делаете?

— Ну подурачиться хотелось. Интересно было. Ну, пожалуйста!

— А вы понимаете, что хуже этого нет ничего? Шлюхи там не скрывают своего ремесла. А вы лжете. Вы притворяетесь. А потом натягиваете мужчинам нос.

— Так им и надо!

— Это говорит ваша подруга Джозефина? Мужчина заслуживает всего, что бы ни сделала с ним женщина? А вы чего заслуживаете? По-вашему, вам все позволено, и мужчина должен быть счастлив, что ему разрешается поить вас весь вечер за сладкие слова и возможность подержать вас за руку? Я вам скажу, чего вы заслуживаете — попасться вот так, как вы сейчас попались.

— Дэвид, вы тоже пьяны. Идите в свою машину. Мы с вами потом встретимся, честное слово!

— А вы понимаете, что на улице нет ни души? Приятельницы вашей давно след простыл, и мы тут совсем одни. И когда я буду вас насиловать, мне никто не помешает. Вы думали, что все это кончится так?

Она в ужасе пробормотала:

— Дэвид, не надо! Я сообщу в полицию. Я не шучу!

— А что дочь президента «Нейшнл моторс» сообщит полиции? Что она попалась, когда приставала в баре к незнакомым мужчинам?

— У меня же нет денег. Папа не дает. Я должна сама зарабатывать. Вы ничего не понимаете!

— А вы действительно ненавидите мужчин? Как эти замужние женщины, которые в барах сводят счеты со всеми мужчинами? Как Джозефина, которая ненавидит мужчин потому, что этому научила ее мать, или потому, что кто-то причинил ей боль. И вы тоже? Неужели вы такая же ужасная женщина, как они?

— Они совсем не ужасные. Во всяком случае, не все. А что им делать? Им хочется чего-то интересного, не похожего на обычное, но они вовсе не хотят никому причинять вред. Дэвид, я почти совсем протрезвела. Честное слово. Если вы не уйдете, для вас это плохо кончится.

Но он сжал ее лицо в ладонях и стал целовать долго и нежно, и наконец она перестала сопротивляться, обняла его за шею и прижалась к нему всем телом. Потом

он увез ее в мотель и ласкал так, как ласкал бы Келли Брэнд. Когда они, наконец, вернулись к ее машине, было уже почти три часа утра.

— Спокойной ночи, Дэвид,— явно нервничая, сказала она.

Он ответил без выражения:

— Спокойной ночи, Сараджин.

— Мы еще увидимся?

— Конечно.

— Прости, Дэвид, но я жалею, что это случилось.

— Но ведь это случилось не в первый раз.

После долгого молчания Сараджин сказала:

— Да. Но вот так это случилось в первый раз. Прощай, Дэвид.

Он ответил без улыбки:

— Мы еще увидимся. Нас соединяет «Нейшнл моторс». И мы не можем вот так разойтись.

— Ты свяжешься с некрасивой девушкой только потому, что она дочь президента компании?

Дэвид крепко сжал ее руку.

— Спокойной ночи. Увидимся завтра. Пообедаем вместе, хорошо?

— Хорошо, Дэвид. Когда заедешь за мной, входи прямо в дом — я познакомлю тебя с моими родителями. Ты знаешь, где я живу?

— Да.

— Я так и думала. Как мне сказать, где мы познакомились? В баре?

— Почему бы нет? Обычно там и знакомятся. Но лучше сказать, что мы встретились у общих друзей. Спокойной ночи, Сараджин.

Связь Дэвида с Сараджин длилась четыре года. Потом он сделал ей предложение, потому что это казалось разумным. Он думал, что Эллен Фоли-Бэттл не будет возражать против такого брака, но ошибся. Эллен сказала:

— Она же пьет!

— Да, пьет.

— И ты пьешь. Дэвид, ты должен бросить пить.

— Я уже бросил. Несколько месяцев тому назад.

— Но она не бросила. Она пьяница и блудница.

— Я женюсь на ней. Тогда она больше не будет пить и автоматически перестанет быть блудницей. Это должно быть тебе приятно.

Но Эллен Бэттл уехала в Суит-Уотер и вернулась только после того, как Дэвид предложил ей жить у них.

■

В 1958 году Дэвид Бэттл стал в «Нейшнл моторс» вице-президентом по закупкам. В 1960 году он получил более широкие полномочия вместе с новым неопределенным титулом — теперь он назывался вице-президентом по административным вопросам. Кое-кто острил: «Трудись, не жалея сил и времени, потом женись на дочери президента, и ты далеко пойдешь». А другие добавляли: «А когда тесть уйдет в отставку, заведи себе друга-земляка, ведающего производством».

Роль Дэвида Бэттла в руководстве корпорацией была известна очень немногим. О ней знали сам Джим Паркер, Бэд Фолк, подчинявшийся непосредственно Джиму Паркеру, а потому находившийся в постоянном соприкосновении с Бэттлом, и Дана Олбрайт — первый вице-президент-координатор, которому был формально подчинен Джим Паркер. В числе тех, кто не знал о ней, были президент корпорации Карл Пирсон и вице-президент по сбыту Тони Кэмпбелл.

За два дня до убийства президента Кеннеди Тони Кэмпбелл и Дэвид Бэттл сели в самолет «Американ эйрлайнз», летевший в Лос-Анжелес.

Тони был в отличном настроении. Через шесть часов он уже будет блаженствовать в объятиях Сью Кросс. Четыре часа полета в Лос-Анжелес, полтора часа, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок в гостинице «Беверли-Хиллз», десять минут, чтобы добраться до ее дома, и двадцать минут, чтобы уложить ее в постель. Но столько и не потребуется. Первый раз, в позапрошлом году, на это ушла вся ночь. Уступила она, когда он уже готов был послать ее к черту и вписать в свой список еще одну неудачу. Но с каждой новой встречей времени на уговоры уходило все меньше. Она будет ему очень рада. После некоторого колебания она подставит ему щеку, но он сожмет ее лицо в ладонях, поцелует в губы, и она скоро сдастся, потому что однажды сломленное сопротивление нетрудно сломить снова.

Сью Кросс была влюблена в Тони Кэмпбелла. И она ему нравилась — нравились ее бойкость и остроумие, стройная, как у манекенщицы, фигура. Нравилось, как она вздрагивает от его прикосновения и как в ней внезапно вспыхивает страсть. Сью Кросс доставляла ему много радости. И часы, которые он проводил с ней, были бы истинно идиллическими, если бы только она на это время забывала о своем сыне. Но она постоянно говорила о нем и даже собиралась привезти его от своих родителей, чтобы показать Тони. Ему это совсем не улыбалось. Почему бы тогда уж не познакомиться и с ее бывшим мужем? Какое отношение имеет ее четырехлетний сын к их связи?

У него самого есть четырехлетний сын, и шестилетний сын, и двухлетняя дочка — но при чем тут они?

Сью Кросс. Он проведет у нее час, а потом они поедут ужинать, и она вдосталь утопит свою тоску в утешительном мартини. Когда они вернутся к ней, она с жадностью набросится на него и все-таки не заполнит пустоты своего одиночества. И будет во сне обнимать его, чтобы чувствовать, что он рядом. Утром Сью уедет на киностудию, где числится секретаршей, хотя в действительности является содержанкой продюсера. Тони поспит еще часа три один, а потом, бодрый и отдохнувший, отправится на совещание с управляющим лос-анжелесской конторой и другими служащими корпорации на Тихоокеанском побережье.

Он будет наслаждаться их почтительностью. Ведь их дальнейшее продвижение по службе зависит от мнения вице-президента по сбыту. Они наперебой будут докладывать ему, насколько превысили свою квартальную норму, и получат в ответ его ласковую улыбку и слова дружеского поощрения. Интересно, как повел бы себя управляющий местной конторой, если бы узнал, что его не считают достойным дальнейшего повышения? Сразу же перестал бы заискивать? Вероятно, нет. Слишком велика сила привычки.

Они будут думать, что он слушает их с неослабевающим вниманием, а он их слушать не будет. Зачем? Все это он знает наизусть. Дела «Нейшнл моторс» в отличном состоянии, объем продажи растет, растут и прибыли, и правительство уже начинает думать о том, какие принять меры против растущего влияния «Нейшнл моторс» и «Дженерал моторс». А ему предстоит весь день прятать скуку за своей ласковой, дружеской улыбкой.

Вечером он позвонит Конни и скажет: «Я все-таки освободился», и она обрадуется, что он не забыл ее, хотя их связь длится уже четыре года. И, наверно, захочет, чтобы они ужинали у нее. Это его вполне устраивает. При его состоянии ее нежная заботливость будет как раз то, что нужно. Одной только Конни он позволяет тереть себе спину и укладывать спать. Конни уже не первой молодости — ей тридцать восемь. Она чем-то напоминает ему жену, хотя и не так красива, обаятельна и умна, как Уэнди. Пожалуй, главное их сходство — в изменчивости темперамента. В любви обе то спокойны, почти холодны, то необычайно страстны. Конни разотрет ему спину, убаюкает его, потом, полежав возле него какое-то время, вдруг сама же разбудит и опять потребует ласк, а он, обнимая ее, будет думать об Уэнди. Да, эти два дня в Лос-Анжелесе обещают быть приятными. Только вот — что он там будет делать с Дэвидом Бэттлом?

Стюардесса улыбнулась ему и спросила:

— Вы застегнули ремень, сэр?

Тони окинул ее оценивающим взглядом. Она отошла. Когда она вновь показалась в проходе, он посмотрел на ее игриво покачивающиеся бедра.

— Недурна, а? —сказал Дэвид.

Первой инстинктивной реакцией Тони было раздражение. Потом он улыбнулся своей великолепной автоматической улыбкой и спросил:

— Давно ли вы научились угадывать мысли?

Самолет вырулил на взлетную дорожку. Женский голос в репродукторе пояснял: «...необходимость в кислородном приборе вряд ли возникнет, но инструкция требует...» Тони мысленно продолжил вместе со стюардессой: «...прижмите маску ко рту и носу и спокойно дышите...» В репродукторах послышалось громкое пыхтение. Стюардессы засуетились. Девушка с красивыми бедрами, проходя мимо Тони, остановилась и сказала:

— Он свихнулся. Просто свихнулся.

— Пилот?

— Знаете, что он отмочил вчера? Мы шли на высоте тридцати тысяч футов, а он объявил, что вокруг летает множество реактивных истребителей и потому он советует дамам задергивать занавеску на окне уборной. Совсем свихнулся! Мне надо идти. Я подойду к вам после взлета.

Тони Кэмпбелл решил, что Конни в этот раз его не увидит. Он обернулся к Дэвиду и с досадой заметил, что тот улыбается, несомненно обо всем догадавшись.

Он спросил почти грубо:

— Как Сараджин?

— Прекрасно. А Уэнди?

— Как нельзя лучше.

«Прекрасно,— повторил про себя Тони.— У Сараджин все прекрасно. То-то она мертвецки напивается при первом удобном случае. У нее все обстоит прекрасно. То-то она всегда жалуется Уэнди и вообще каждому встречному. Прекрасно — как бы не так!»

Вслух же он сказал:

— Кажется, в субботу мы у вас?

— Вечер в честь Джима. Празднуем его избрание.

— И немножко в мою честь. На том же заседании меня изберут в совет директоров.

— Я знаю,— сказал Дэвид.

Тони смотрел прямо перед собой. Откуда Бэттл знает об этом? Следовательно, вице-президент — руководитель службы производства — информирует вице-президента по административным вопросам о том, что происходит в совете? Вполне возможно. Тони повернул голову и внимательно посмотрел на профиль Дэвида. Какого черта вице-президент по административным вопросам вдруг отправился в Лос-Анжелес? Следить за ним по поручению Джима? Какова, собственно, роль Бэттла?

А Дэвид сказал:

— Тогда же изберут и меня. Я думал, вы знаете,— из вежливости добавил он.

Тони едва не вздрогнул от неожиданности.

— Разумеется, знаю,— солгал он.— Значит, нас обоих надо поздравить.

Самолет с ревом пронесся по взлетной дорожке и круто стал набирать высоту.

Помолчав, Тони сказал:

— Надо полагать, вы с Джимом хорошо знали друг друга в Суит-Уотере, как всегда бывает в маленьких городках?

Дэвид повернулся и посмотрел на красавца Тони Кэмпбелла. Он отлично понял подтекст вопроса.

— В общем — да, если принять во внимание, что Джим на шесть лет старше меня.

— А сейчас вы часто видитесь?

— Вне службы? Очень редко. Вы же знаете Джима.

— Да.

Но Тони Кэмпбелл не знал Джима Паркера. Он ни разу не встречался с ним во внеслужебные часы. Он решил, что деликатность тут излишня. Обладателя одного из самых крупных пакетов акций разбирало любопытство, и уж он-то мог позволить себе удовлетворить его. Он спросил с любезной улыбкой:

— А каковы дальнейшие планы Джима относительно вас, Дэвид? Вас ведь можно назвать его протеже?

Дэвид слегка улыбнулся, но промолчал.

— Я рад, что мы летим вместе. Мне хотелось бы узнать вас поближе.

— И мне тоже,— ответил Дэвид.

— Что же вы хотите обо мне узнать?

Дэвид снова улыбнулся.

— Это звучит очень мелодраматично.

Тони огорчился: значит, он выдал свои мысли.

— По-видимому, моя секретарша плохо объяснила вашей суть дела,— продолжал Дэвид.— Я просто хочу поближе познакомиться со службой сбыта. Это одно из моих слабых мест.

— А! — сказал Тони.

Он не очень поверил этому объяснению. На заседаниях Дэвид обнаруживал хорошую осведомленность в вопросах сбыта.

— Значит, идея поездки в Лос-Анжелес принадлежит вам?

— А вы думали, что она исходила от кого-то другого?

— Я вообще не размышлял на эту тему,— сказал Тони.— И я рад вашему обществу.

Наступило долгое молчание. Потом Тони спросил:

— Вы, конечно, знаете, кто войдет в новые составы комитетов?

— Да.

Тони ждал. Он не мог заставить себя задать прямой вопрос человеку, которого считал рангом ниже себя.

Дэвид сказал:

— Не знаю, насколько это удобно, Тони. Я имею в виду — опережать Джима. Но у меня нет никаких причин скрывать это от вас — при условии, что вы удивитесь, когда Джим сообщит составы комитетов на заседании совета. Джим войдет во все комитеты, кроме комитета по дополнительным дивидендам, где по-прежнему будут Уинстон, Данкуорт и три «аутсайдера». Вы, конечно, знаете, что вы будете председателем комитета по сбыту?

— А в комитет по координации я не войду?

— Нет.

— А в административный? В комитет по выработке политики?

— Тоже нет. Для начала вас изберут только в комитет по сбыту. Вероятно, Джим в ближайшее время произведет и еще какие-то изменения.

— А вы?

— Я войду во все комитеты, кроме финансового и по дополнительным дивидендам.

— И в инженерно-конструкторский?

— Да.

— Стало быть, и в комитеты по выработке политики и по координации?

— Да.

— Как же так?

Дэвид молчал.

— Выходит, ваш административный комитет определяет составы остальных комитетов? — с улыбкой спросил Тони.

Дэвид тоже улыбнулся.

— Создается такое впечатление? Нет, комплектовать комитеты будет Джим на заседании в пятницу. Утверждать будет, разумеется, совет директоров, но кандидатуры подбирал он.

— А что Джим думает поручить вам? Может быть, службу производства?

— Право, не знаю.

— Дэви, снимаю перед вами шляпу. Вы — прямо государственный муж. Обычно тот, кто сидит в административном комитете, там и застревает. А вы сумели изменить это правило.

— Да, пожалуй. Когда я пришел туда, там была одна бумажная работа. Теперь этого сказать нельзя.

— Я слышал, что вы берете себе и станции технического обслуживания?

Дэвид кивнул.

— Да, техническое обслуживание, закупки, техника безопасности, техническая информация — на нас все шишки валятся. Зато у нас работает больше людей, чем на кого-либо другого. У Карла Пирсона два секретаря, а у меня целый аппарат.

Самолет взял курс на Чикаго, где предстояла первая посадка. Тони Кэмпбелл снова повернулся и посмотрел на Дэвида. Откуда он взялся? И куда он, черт его дери, метит? Он сказал:

— Я прекрасно помню, как вы играли, Дэви. Никто не мог сравниться с вами и с Большой Медведицей. Но мне и в голову не приходило, что мы когда-нибудь будем вот так лететь на одном самолете по делам «Нейшнл моторс».

Дэвид кивнул.

— Вы вполне заслуживаете свое былое прозвище — Молчаливый Рыцарь. Мне приходится тащить из вас слова клещами.

— По-моему, это преувеличение.

— Как же вы сюда добрались?

— Вы имеет в виду корпорацию? Я начал в управлениях технического контроля и закупок, потом стал директором управления закупок. Пробыл там шесть лет, а в пятьдесят восьмом году, когда мне исполнился сорок один год, стал вице-президентом.

— Я обогнал вас на один год. Я стал вице-президентом в сорок лет — самый молодой вице-президент компании. Это доказывает, что мои акции весят больше вашего футбола. Сколько вам сейчас, сорок шесть?

— Сорок шесть.

— Малой Медведице сорок шесть лет — как же это получилось?

— День, еще день — так оно и набралось.

— Позвольте задать вам один вопрос, Дэвид. У меня такое ощущение, что вы будете преемником Джима, в качестве вице-президента по производству. Мой вопрос чисто риторический: как, по-вашему, со временем вы снова станете преемником Джима?

Помолчав, Дэвид спросил:

— Вы сказали, что это риторический вопрос?

— А вы достаточно честолюбивы для этого?

— Да, я честолюбив.

— Забавно.

— Что именно?

— Не то, что вы честолюбивы, а впечатление, которое это на меня произвело. Я привык думать о вас, как о футболисте. Трудно как-то представить себе, что вы давно не играете. Так давно, что имеете честолюбивые замыслы относительно «Нейшнл моторс».

— А Молния Уайт? О нем вы тоже думаете как о футболисте, или как о члене Верховного Суда?

— Как о футболисте. Я не хотел вас уязвить, Дэвид. Мне интересно, вот и все. Мы же почти не знакомы. И нам пора бы узнать друг друга.

— А вы честолюбивы?

— Как сказать! — улыбнулся Тони.— Смешайте настой из шпанской мушки с бромом. Вас потянет к женщине, но если ее не окажется под рукой — тоже неплохо. Вот и у меня так: честолюбие плюс мои акции вызывают желание забраться повыше, но если из этого ничего не выйдет, акции меня утешат.

— Значит, вы хотели бы стать президентом корпорации?

— Да, такая мысль у меня была, но вслух я ее не высказывал.

— Ну, у нас у всех достаточно времени, чтобы подумать об этом. Двенадцать лет. При условии, конечно, что Джим проживет столько. За двенадцать лет появится немало претендентов как из тех, кого вы знаете, так и из тех, кто выйдет на сцену впервые.— Дэвид засмеялся.— Но вы-то все равно останетесь фаворитом.

Тони улыбнулся с большей искренностью. Он почувствовал симпатию к своему соседу Конечно, Дэвид честолюбив и талантлив, но у него хватает здравого смысла

понять, что когда настанет тот далекий день, Тони Кэмпбелл со своими акциями будет естественным преемником Джима Паркера. И Тони вдруг подумал, что, когда придет его время, Дэвид Бэттл может оказаться ему весьма полезным.

Он вздрогнул, когда Дэвид снова словно прочел его мысли.

— Я думаю, мы с вами можем сделать кое-что полезное для корпорации. Мы можем ей пригодиться.

— Вы как будто имеете в виду что-то конкретное.

— Да. Период президентства Джима Паркера обещает быть самым значительным в истории «Нейшнл моторс». Джим похож на Герберта Гувера, который, как никто, обладал всеми качествами, необходимыми президенту Соединенных Штатов. И, как Гувер, он сядет в лужу.

— Кажется, я замечаю какие-то признаки нелояльности по отношению к суитуотерскому другу?

— Наоборот. Джим поднимет корпорацию на новую высоту. И я постараюсь помочь ему в меру сил. Но наши дела пойдут так хорошо, что правительство постарается разделаться с нами.

— Значит, вы предсказываете мне пиррово президентство?

— Да, если мы не сумеем это предотвратить.

— Плевать против ветра? — Тони покачал головой.— Нет, нас изнасилуют как пить дать! — Он засмеялся.— Наверно, мы все будем президентами «Нейшнл моторс» — вы, я, Бэд Фолк, Клири. Когда от корпорации останутся рожки да ножки, какая разница, кто будет президентом. Но как же вы думаете это предотвратить, Дэвид?

— Уделяя время руководству не только нашими корпорациями, но и нашим государством.

— Вы слышали про Ромни? — спросил Тони.

— А вы? Да, он сторонник разорительных реформ. Но я имею в виду наших единомышленников. Мне кажется, президенты и вице-президенты наших крупнейших корпораций должны уделять политической деятельности не меньше времени, чем председатели и заместители председателей крупнейших профсоюзов, а не то нас постепенно сомнут. Мы не должны оставаться просто наемными управляющими, пользующимися плодами трудов тех гениев, которые основали автомобильную индустрию.

— В Детройте вас такие взгляды не сделают популярным,— сказал Тони.

— По-моему, мы сумеем подать наш крестовый поход, как надо. Обратимся к инстинкту самосохранения. Это необходимо сделать. Думаю, кое-чего мы сможем добиться, Тони. Спасем «Нейшнл моторс» и спасем государство. Что годится для «Дженерал моторс», годится и для «Нейшнл моторс».

— Я не понимаю, о чем вы говорите,— сказал Тони.— И, пожалуй, не хочу понимать. Где вы набрались этих линдберговских* идей?

— Подозреваю, что нам с вами еще долго идти общим путем. Мы в одной когорте, так, кажется, это называется?

— Ну, когда настанет время, вы мне скажете, чего вы от меня хотите. Если это не повредит моим акциям, я согласен.

— Ваши акции обеспечивают нам приличный старт. Если же мы привлечем на свою сторону старика Данкуорта, а также акции страховых компаний, с нами будут считаться.

Тони повернулся и посмотрел Дэвиду прямо в лицо.

— Насколько я понял, вы предлагаете объединиться и взять руководство корпорацией в свои руки?

— На днях мой тесть пришел на заседание административного комитета, посмотрел вокруг и спросил, куда же делась старая гвардия. А я ответил, что перед ним и есть старая гвардия. Теперь настало наше время, Тони.

— Поэтому вы и летите сейчас со мной?

Дэвид Бэттл решил, что он зашел уже достаточно далеко. Он сказал:

— Тони, вице-президентом по производству буду теперь я.

Тони спросил после долгой паузы:

— А Фолк и Клири знают об этом?

— Нет. Кроме Джима это знаете только вы. Даже Пирсон не знает.

— Пирсона кондрашка хватит.

— Почему?

— Католик еще ни разу не поднимался у нас так высоко.

— Вы шутите.

— Нет, я говорю совершенно серьезно. Еще никогда в «Нейшнл моторс» католик не поднимался так высоко.

— Ну, я не стану говорить ему, что связан с папой прямым проводом.

— Что ж, Дэвид, поздравляю. Стало быть, я попадаю к вам в подчинение? Да, конечно.

— Вы так на это смотрите?

---

* Чарльз Линдберг, известный американский авиатор и политический деятель. Во время второй мировой войны — один из активных сторонников политики «изоляционизма», выступавший против участия США в войне с гитлеровской Германией.

— Нет. Я буду сотрудничать с вами, Дэвид, можете рассчитывать на это.

— Я в этом уверен. Надеюсь, вы знаете, что я считаю вас самым несомненным кандидатом из всех.— Дэвид улыбнулся.— И помню, что ваши акции стоят тридцать два миллиона долларов.

Тони Кэмпбелл криво улыбнулся.

— Да, лучше не забывайте про мои акции.

Он сидел в безмолвном смятении. Что все это означает? Что президентом после Джима Паркера будет Дэвид Бэттл? Нет, черт возьми! Это означает только, что какое-то время Дэвид будет номинально его начальником. А затем Тони Кэмпбелл займет президентское кресло, принадлежащее ему по праву. Дэвид знает это и будет вести себя соответственно. Дэвид Бэттл не угроза. Они отлично поладят.

Тони расстегнул ремень.

— Пойду-ка побеседую с кем-нибудь посмазливее.

Дэвид смотрел, как Тони шел по проходу в кухню, к хорошенькой стюардессе с красивыми бедрами. Он угрюмо улыбнулся своим мыслям. Маневр удался: он заставил Тони проглотить горькую пилюлю и сохранил с ним хорошие отношения. Если он будет осторожен, то сумеет прибрать Тони к рукам. А он будет очень осторожен.

До того как появилась семнадцатилетняя Джини Тэмплтон, никто по-настоящему не знал Энтони Кэмпбелла. Он не укладывался в рамки обычных представлений. Получалось нечто парадоксальное. Люди совсем не знали его именно потому, что слишком хорошо знали.

У Дэвида Бэттла было столько же обличий, сколько знакомых. Подобно большинству, Дэвид Бэттл умел показать себя каждому новому человеку с наиболее выгодной стороны, и каждый по-своему воспринимал его. А вот с Энтони Кэмпбеллом дело обстояло иначе. Самые разные люди, соприкасавшиеся с ним, воспринимали его одинаково. Он ни к кому не приспосабливался. Каждый, кто его знал, видел все того же золотого робота. И неизбежно отказывался принять его простоту. И так же неизбежно начинал видеть в нем собственные эмоции и склонности, а так как обычные мерки к Тони Кэмпбеллу не подходили, то в результате никто о нем толком ничего не знал.

И в самом деле он не был человеком в обычном смысле слова. Он был лишен индивидуальности, подлинности, специфических черт, которые проявлялись бы в зависимости от обстоятельств. Он был отражением, пародией на образец добродетели. Все люди были прекрасного мнения об отражении, которое было Тони Кэмпбеллом. Им не за что было уцепиться, чтобы думать о нем скверно. Он был золотой. Он все делал хорошо. И делал не только хорошо, а с энтузиазмом, но без души. Он был зеркалом благородства. Его достоинства и его улыбка были одинаково ослепительны и — одинаково механистичны. Он любил жизнь, но любил ее странно и удивительно — с бесчувственным равнодушием автомата и с прямолинейной примитивной похотью сатира. И те, кто был ближе всего к Тони Кэмпбеллу, думая, что крепко держат его на самом деле сжимали в руке шарик ртути.

Тони Кэмпбелл был созданием необычной среды и необычных обстоятельств внутри этой среды. Отец его был богат, как Крез. Детство Тони прошло в гранитном доме на Чикагском бульваре в районе внушительных особняков высшего общества, недалеко от деловой части Детройта. Он был единственным сыном, единственным ребенком Роджера Кэмпбелла, второго президента «Нейшнл моторс». В 1935 году Тони завел связь с четырьмя молоденькими девушками. Это доказывало большой талант. Ему было тогда пятнадцать лет.

Некоторые родители, жившие в этом фешенебельном районе и имевшие дочерей, считали, что Тони Кэмпбеллу, пожалуй, доверять нельзя. Но они не располагали никакими доказательствами. Тони был образцовым студентом. Он был прекрасным, скромным спортсменом. Он был симпатично прямодушен и мило почтителен со старшими. А его семья бесспорно была безупречной. Пусть удалившийся теперь от дел Роджер Кэмпбелл явился в Америку из Шотландии без гроша за душой — ему потребовалось всего семнадцать лет, чтобы сменить Эйвери Уинстона на посту президента корпорации; таким образом нынешнее богатство и прошлые заслуги сделали его почтеннейшим детройтцем.

И все же родители, имевшие дочерей, побаивались Тони Кэмпбелла. Он был слишком хорош, чтобы можно было поверить в его безупречность. Они смотрели на него и выискивали хоть какой-нибудь изъян. Они прислушивались к нему, как прислушиваются к симфоническому оркестру, когда смутно улавливают диссонанс, но не могут сказать точно, откуда он исходит. Больше всего их беспокоил его белый «корд» с кожаными сиденьями.

Его собственный отец снисходительно негодовал:

— Тебе следовало бы ездить в машине «Нейшнл моторс».

— Но ведь могло быть и хуже,— сказал Тони.— Я мог бы ездить в «ла-саль».

Он улыбнулся обезоруживающей улыбкой и обезоружил отца.

Роджер Кэмпбелл сказал:

— Ну, ладно, пусть будет «корд». Уж лучше эта, чем машина «Дженерал моторс».

Когда Тони заезжал за дочерями и громко сигналил у ограды, матери говорили: «Детка, скажи, чтобы он подъехал к парадному», но дочери забывали это сказать. Отцы говорили: «Пятнадцатилетнему мальчишке нельзя водить машину», но дочери отвечали: «Ах, папочка, его еще ни разу не останавливала полиция». И отцы сердились, бесились и не могли понять, зачем семнадцати- и восемнадцатилетним девушкам ездить кататься с пятнадцатилетним мальчишкой. И смутно подозревали, что доверять ему нельзя, но не вмешивались, потому что деньги Роджера Кэмпбелла сделали бы Тони прекрасным зятем.

По улицам Детройта Тони водил свой великолепный «корд» очень осторожно. Он никогда не превышал скорости в черте города, потому что у него не было шоферских прав. Никто из родителей, включая его собственных, не знал, что стоило ему выехать на шоссе, как педаль акселератора вжималась в пол и он с ревом уносился в ночной мрак со скоростью сто миль в час. Он любил упоение скоростью. А опыт скоро научил его, что девушки, сидевшие рядом с ним, в таких случаях сначала напряженно съеживались, а потом расслаблялись, дрожа от возбуждения, и переставали сопротивляться.

Тони Кэмпбелл не давал никакого повода к подозрениям. Родителям, имевшим дочерей, не к чему было придраться. Он никогда не пил, не разговаривал громко, был воплощением юношеской порядочности, посещал церковь по собственному желанию и не делал ничего дурного — только любил бешеную езду и соблазнил четырех знакомых девушек. Он жил, как в сказке: на шоссе, когда он там появлялся, никогда не бывало полиции, о его любовных похождениях тоже никто не знал. Сам он о них никому не рассказывал, несовершеннолетние девушки о нем тоже никому не рассказывали, и каждая считала себя единственной.

Тони нравился Чикагский бульвар. Ему нравилось ощущение двадцатикомнатной гранитной респектабельности. Жившие здесь люди принадлежали даже к еще более высокой касте, чем обитатели Грос-Пойнта, хотя особняки там были внушительнее. Четыре улицы — Чикагский и Бостонский бульвары и бульвары Эдисона и Лонгфелло— образовывали как бы остров, представляя собой замкнутый мирок. Людям посторонним чопорная атмосфера этого мирка могла бы показаться душной, но для Тони Кэмпбелла, воспринимавшего все кожей, гранитные дома были теплым солнцем, ласкавшим кожу, отцовские деньги — весенним ветерком, гладившим кожу, а соблазненные девушки — прозрачным озером с прохладной водой, приятно щекотавшей его кожу каждый раз, когда он в нее погружался. Отцы, имевшие дочерей, могли бы скорее понять Тони Кэмпбелла, если бы он представлялся им не великолепным, но загадочным молодым человеком, который прокладывает себе в мире широкую дорогу, а великолепным, но совсем не загадочным молодым львом, блаженно довольным теплым солнцем, освежающим ветерком и прозрачными озерами своей удивительной жизни.

Тони знал, что в пока еще далеком будущем, когда настанет срок, ему предназначено стать президентом «Нейшнл моторс». Это его увлекало, и он с самого начала принялся энергично готовиться к этому дню. Но готовился он, в сущности, инстинктивно, как готовился бы молодой лев к своей будущей роли вожака. Если и когда наступит его очередь занять президентский пост в корпорации, он будет к этому готов. Мировоззрение Тони было трезвым, здравым и совсем несложным. Деньги отца он ценил как большое удобство, а не как необходимое условие для положения в обществе. Если он в своих похождениях ограничивался девушками одного с ним круга, то не из снобизма, а по чисто практическим соображениям. Они были под рукой. Он их хорошо понимал. К тому же они одевались лучше, изящнее, чем девушки из Хайленд-Парка, и это тешило его эстетический вкус.

В то же время он не был гедонистом в обычном понимании этого слова. Он был трудолюбивым, уравновешенным, добродушным, предупредительным молодым человеком спортивного склада, которому почему-то взбрело в голову, что это он соблазнил знакомую девушку, хотя на самом деле соблазнили его. Но это ему понравилось, и с этих пор он посвятил себя погоне за чувственными удовольствиями.

В 1939 году Роджер Кэмпбелл решил избавиться от соседства людей иного круга, неумолимо затоплявших его любимый Чикагский бульвар, и построил на Лонг-Лейкроуд в Блумфилде тридцатикомнатный дом, обращенный фасадом к чудесному озеру. Энтони Кэмпбелл не возражал. Раз богам угодно переместить его на Лонг-Лейк, значит так тому и быть. Он приспособился к новому месту. А для того чтобы навсегда забыть своих четырех возлюбленных, ему понадобилось только съездить из Лонг-Лейка в Бирмингем.

Взявшись за серьезную работу по переустройству своей жизни — то есть за подбор новой компании подружек,— он ни на секунду не забывал о магическом числе «четыре».

Тони добивался своей цели, не щадя сил. Летние каникулы он целиком посвятил трудолюбивому ухаживанию за дочерьми соседей. И конечно, разработал обширную программу проверок и испытаний. За один только первый месяц Тони испробовал ее почти на пятидесяти девушках. Всех девушек, с которыми он знакомился на вечеринках, Тони подвергал искусному допросу, оценивал и изучал их со всех сторон, полагаясь на свою интуицию. К этому времени он настолько развил в себе это

шестое чувство, что большинство девушек отвергал прежде, чем они успевали заметить его интерес к ним. А они — как и их ничего не подозревавшие кавалеры — были в восторге от этого сногсшибательного Тони Кэмпбелла, о котором они столько слышали.

Из пятидесяти девушек, подвергнутых проверке Тони выбрал десять вероятных кандидаток. Трех из них он соблазнил, а двум искусно позволил соблазнить себя. Он предпочел бы иметь более широкий выбор перед принятием окончательного решения, но умел считаться с реальностью и, памятуя о том, как он занят, не стал тянуть.

Первая из отобранной четверки жила на Крэнбрук-роуд в весьма фешенебельном районе Блумфилд-вилледж, близ Бирмингема. Она была дочерью члена правления Мичиганского коммерческого банка. Эта высокая и угловатая девушка не отличалась особенной привлекательностью, но она научила Тони такой бешеной страсти, что снискала его искреннее восхищение. Она заменила ему подружку с Чикагского бульвара.

Когда Тони подобрал заместительницу девушке с бульвара Лонгфелло, он сам себе удивился. Она во всех отношениях уступала остальным девяти кандидаткам и, собственно говоря, не имела даже права считаться финалисткой, так как не отдалась ему в этот первый испытательный месяц. Ее звали Уэнди Баррет, и она была дочерью первого вице-президента «Нейшнл моторс». Барреты жили неподалеку от Крэнбрукской школы в Блумфилд-Хиллзе. Уэнди была общепризнанной королевой Кингсвудской женской школы и всех молодежных компаний от Бирмингеме до Блумфилда и даже до Орчард-Лейка. Она была в меру умна и талантлива. Живость характера сочеталась у нее с большой силой воли. А такой красавицы Тони еще никогда не видел. Ему нравилась гордость, которую он испытывал, когда она была с ним. Но еще больше ему нравилась ее красота сама по себе — она напоминала ему красоту, строгость и скупое изящество его спортивного автомобиля. Тем не менее все это еще не было достаточным основанием, чтобы, отвергнув четыре вполне бесспорные кандидатуры, включить в четверку девушку, даже не прошедшую проверки.

В течение первых двух месяцев он не трогал Уэнди. Но это не диктовалось ни его рыцарством, ни высоким уважением к девушке. Подобные мотивы были чужды Тони Кэмпбеллу. Он искренне, почти с религиозной убежденностью считал, что чувственное наслаждение существует само по себе, вне связи с душевными переживаниями или принципами нравственности. Он знал, что лишь очень немногие молодые люди его круга имеют хоть какой-то опыт, и прекрасно понимал, что они были бы ошеломлены, а все родители — испуганы и возмущены, если бы вдруг узнали об его образе жизни. Но он не придавал значения общепринятым нормам и обычаям. То, что думали и делали другие — или не думали и не делали,— для него имело лишь умозрительный интерес. Тони Кэмпбелл знал, что хочется и нравится делать ему. У него не было желания причинять кому-либо вред — будь то мужчина или женщина. Но и дальше ему всегда хотелось любить непременно четырех женщин, и всегда находились женщины, жаждавшие, чтобы их соблазнили; Тони настолько устраивал этот обмен услугами, что он не утруждал себя мыслью о нравственности и не связывал интимную сторону своей жизни с остальными деятельными и созидательными ее сторонами, которым он, бесспорно, отдавал большую часть своего времени и энергии. Вот почему, примеряясь к Уэнди Баррет, он не испытывал никаких угрызений совести. Его только огорчало сознание, что он делает ошибочный выбор. И если он не посягал на Уэнди Баррет в первые же дни их знакомства, то лишь потому, что, имея достаточный опыт в подобных делах, терпеливо ждал благоприятного момента. И этот момент настал, когда однажды, поздно вечером, за неделю до окончания его каникул, они гуляли в лесу. Уэнди с удивлением спрашивала себя, почему красавец Тони Кэмпбелл в отличие от многих других всегда так сдержан. Тут Тони вдруг жадно притянул ее к себе, начал целовать с умением, почерпнутым от многих искушенных девушек, и опустился вместе с ней на мягкую землю. Все кончилось прежде, чем Уэнди поняла, что произошло.

Уэнди не плакала и казалась совсем спокойной. На обратном пути она сказала задумчиво:

— Наверно, когда-нибудь я захочу стать твоей женой, Тони.

Они шли, взявшись за руки. Тони ответил:

— К этой мысли нельзя привыкнуть сразу. Но если я решу жениться, то, наверно, женюсь на тебе.— Помолчав, он добавил:— По-моему, ты мне очень нравишься. Это ведь не последний раз?

Она остановилась и, вглядываясь в его лицо, едва различимое в слабом свете звезд, сказала:

— Не знаю. Не уверена.

Он улыбнулся — она поняла это по блеску его зубов — и, взяв ее за обе руки, поцеловал в щеку.

— Мне было приятно лежать, прижавшись к тебе.

Уэнди отвернулась, и они пошли дальше. Потом она снова остановилась.

— А мне не было приятно. Просто шок, и весьма болезненный.

— Ну а чувства? Эмоции?

— Нет, никаких эмоций у меня не возникло. Раньше я часто старалась угадать, как это будет. И ждала чего-то ошеломительного. И вот случилось — и ничего.

Тони растерялся.

— Прости,— сказал он.

Уэнди улыбнулась.

— Не огорчайся так. Я просто не помню, как это было, что́ я чувствовала. Может быть, потом будет по-другому.

— Когда?

— Когда-нибудь, когда я все обдумаю.

Тони был обескуражен деловым спокойствием Уэнди. Он встречал немало девушек, которые экспериментировали ради эксперимента, но Уэнди была первой, кому удалось взять над ним верх — она заинтересовала его уже не просто как приятная самка. Уэнди Баррет мучила и интриговала Тони Кэмпбелла.

До его отъезда в Йельский университет Уэнди отдалась ему только раз, и опять он почувствовал недовольство собой, еще больше утвердившись во мнении, что делает неправильный выбор. И в то же время возблагодарил судьбу за то, что она послала ему удивительную дочь мичиганского банкира, в чьих пылких объятиях он забывал обо всем.

Кроме нее были еще две девушки из Нью-Хейвена и двадцатишестилетняя манекенщица из Нью-Йорка, которые помогали ему коротать время, пока он учился в Йеле.

■

Вторую мировую войну Тони Кэмпбелл начал вторым пилотом и, прослужив три года в дивизии военно-воздушных сил, дослужился до полковника, чему способствовали большие потери среди старших чинов.

Фронтовая жизнь нравилась Тони. Он даже немножко жалел, когда война кончилась. Впрочем, ему нравилась и мирная жизнь Чикагский бульвар, Лонг-Лейк, Йель, небо над Германией, женщины, война ли, мир ли — ему нравилось все это. В 1945 году он поступил на службу в корпорацию, и вице-президент по сбыту сразу же предоставил ему довольно высокий пост. Тони было только двадцать шесть лет, но он, во-первых, был полковником, а во-вторых, был владельцем пакета акций «Нейшнл моторс». Роджер Кэмпбелл умер через две недели после возвращения сына из армии. Тони и его мать оказались единственными наследниками человека, обладавшего вторым по величине пакетом акций — бо́льшим, чем у самого Эйвери Уинстона, и уступавшим только старику Данкуорту, который в 1912 году, когда образовалась «Нейшнл моторс», объединил свои вагоностроительные заводы с этой корпорацией.

Половина акций Роджера Кэмпбелла перешла к его вдове, а половина — к Тони, причем почти не пострадав от налогов благодаря дару финансового предвидения, которым обладал практичный шотландец. Таким образом, у Тони Кэмпбелла, нового помощника управляющего детройтского отделения корпорации, было четырнадцать миллионов.

Тони нравилась легкость его жизни. Ему нравилось чувствовать себя в корпорации на особом положении. Сослуживцам не требовалось чрезмерной проницательности, чтобы предсказать ему большое будущее, а он, хотя держался без всякой надменности, не склонен был отклонять почтительное уважение людей, которые, увидев комплектующийся курьерский поезд, рассчитывали прицепиться к нему. Акции таили в себе большие удобства. И служили отличной приманкой.

Ему очень нравились молодые женщины, которые теперь льнули к нему в надежде, возможно, подсознательной, на замужество. Он был ласков с ними и подвергал проверке каждую кандидатку, готовую доказать свою любовь к его красивой наружности, его обаянию и его акциям.

Это идиллическое существование нарушила Уэнди Баррет. Однажды она спросила отца:

— Что ты скажешь, если я выйду замуж за Тони Кэмпбелла?

— Я скажу, что давно пора. Я скажу, что очень рад.

— Я хотела бы задать тебе весьма неожиданный вопрос. Что он за человек?

— Здесь нет ничего неожиданного. Мне кажется, мы все в минуту озарения вдруг обнаруживаем, что не знаем, с кем вступаем в брак.

— По-моему, к Тони это относится больше, чем к кому-либо другому. Кого ни спроси, все знают о нем все: прекраснейший человек, добрейший, чудеснейший, самый лучший. И тем не менее, мне кажется, что я его совсем не знаю. У меня ощущение, что я вижу фотографию, что он плоский.

— Ты узнаешь его, детка, после брака.

— Каков он на работе?

— Я этого не знаю. Я не видел, как он работает. Говорят, прекрасно, с огоньком, у него хорошие организаторские способности. Он достигает большего, чем можно было ожидать, и без видимого напряжения. Могу сказать одно: он типичный сын бывшего президента. «Нейшнл моторс» у него в крови. Его готовили к этой работе с детства, и он отдается ей с бо́льшим жаром, чем молодые люди, которые приходят к нам обычным путем. Кроме того, он не козыряет своим положением. Его любят.

Многие его подчиненные гораздо старше него, но это не вызывает трений. Наоборот, именно они-то и хвалят его. Должен признать, что для «Нейшнл моторс» Тони — замечательный молодой человек.

— Далеко ли он пойдет?

Отец улыбнулся.

— До чего же практичная девица! Детка, в таких вещах ничего нельзя предсказать наверное. Да еще на столько времени вперед. Кое-что я все же могу тебе сказать, только пусть это останется между нами. Не говори об этом ни с матерью, ни с Тони, ни даже со мной. Так вот: на будущий год я ухожу в отставку. Следующим президентом будет бесспорно Уоррен Корт. Его сменит Карл Пирсон или Мэрион Уильямс. Скорее, пожалуй, Пирсон. Затем, примерно в 1963 году, президентом станет Джим Паркер. В этом я уверен. Паркер — самая радужная наша надежда за всю историю корпорации. Можно уже сейчас сказать, что он — почти идеал руководителя автомобильного концерна. Ну, а после Паркера настанет черед твоего героя. Как раз подойдет его время. К моменту отставки Паркера Тони будет в самом подходящем возрасте.— Баррет опять улыбнулся.— Конечно, отцу полагается считать, что на свете нет человека, достойного его дочери, но в данном случае я не могу этого сказать. По-моему, Тони достоин лучшей девушки в мире.— Он улыбнулся еще шире.— Кроме того, в твоем солидном возрасте надо хвататься за любую возможность. Я уже боялся, что ты останешься в старых девах. И еще одно, практичнейшая мисс: когда к тебе перейдут мои акции, а к Тони — акции его матери, то у вас их будет больше, чем у самого старика Данкуорта.

— Кто это?

— Так, один человек. Живет в Грэнд-Рэпидсе. Член нашего совета директоров. Тони тоже будет членом совета, когда достигнет приличного возраста. Итак, выходи за своего героя. Скажи, чтобы он зашел ко мне просить твоей руки.

— А это нужно, папа?

— Пожалуй, нет. Передай ему от моего имени, что я не возражаю — я ведь было уже смирился с мыслью, что никто тебя у меня не возьмет.

Уэнди отправилась к Тони Кэмпбеллу и сказала:

— Энтони, я собираюсь сделать тебе предложение. Мне двадцать шесть лет, и я хочу выйти замуж. Я люблю тебя, но больше предложений делать тебе не стану и выйду за кого-нибудь другого, если ты будешь раздумывать.

— Конечно, Уэнди, — ответил Тони. Он не знал, что еще ответить.

В тот день, когда Уэнди и Тони венчались в храме Христа в Крэнбруке, Сараджин Корт и Дэвид Бэттл венчались в церкви св. Хьюго в Блумфилд-Хиллзе.

Тринадцать человек, сидевших за длинным столом в зале заседаний совета директоров в Нью-Йорке, повернулись к Дэвиду Бэттлу и вывешенным им таблицам и диаграммам. Шестеро из них занимали в корпорации штатные должности, шестеро были «аутсайдерами», а тринадцатому — бывшему президенту Эйвери Уинстону, оставшемуся главной закулисной силой за тронами шести своих преемников, принадлежал решающий голос.

Председательствовал на заседании президент корпорации, председатель совета директоров Карл Пирсон, срок полномочий которого был продлен на три недели в связи со смертью Джеймса Ли Паркера. Справа от него сидел Уинстон, за Уинстоном «аутсайдер» Рэгглес — президент пароходной компании «Коламбия стимшип лайнз». Далее сидели Мэрион Уильямс — вице-президент по финансам и «аутсайдер» Холмквист — глава маклерской фирмы «Смит, Уинчелл, Хартмэн и Холмквист». Слева от Пирсона сидел Дана Олбрайт, первый вице-президент-координатор, официально являвшийся непосредственным начальником Джима Паркера, а в действительности уже около года выполнявший роль его помощника, поскольку было известно, что Джим станет президентом. За Олбрайтом сидели: «аутсайдер» Каридес — президент Банка Соединенных Штатов, Уолгаст — еще один «аутсайдер», президент крупной химической фирмы, владевший двенадцатью процентами акций «Нейшнл моторс»; Вернер Бэд Фолк — вице-президент, курирующий управление по производству автомобилей «катлесс», ранее считавшийся вероятным преемником Джима Паркера на посту вице-президента по производству, а теперь — один из двух наиболее вероятных кандидатов в президенты; Ханкинс — представитель страховой компании, которая дала «Нейшнл моторс» на взаимовыгодных условиях заем в триста миллионов долларов; старик Данкуорт — владелец вагоностроительных заводов и обладатель крупнейшего пакета акций; Энтони Кэмпбелл, только что избранный член совета, вице-президент по сбыту и обладатель второго по величине пакета акций. На нем Дэвид и остановил свой взгляд.

— Так мы вас слушаем, Дэвид,— сказал Карл Пирсон.

— Господа! — начал Дэвид.— Обращаю ваше внимание на десять таблиц, доказывающих, что нам выгоднее потратить тридцать два миллиона долларов и построить дополнительные цеха на заводе «Эмбасси», чем потратить восемнадцать миллионов на модернизацию существующих. Десять минут за меня будут говорить вот эти таб-

лицы, а еще пять минут — диапозитивы с эскизами архитекторов и другими материалами, на основе которых вы сможете судить, что вам принесут затраченные деньги.

— Если, конечно, мы примем этот проект,— заметил Пирсон.

— Разумеется, сэр. Но я думаю, что вы его примете. Все объяснения займут пятнадцать минут, хотя подготовлены они в результате длительного труда многих квалифицированных специалистов.

«Не будь развязен, Дэви,— подумал Энтони Кэмпбелл.— Это прозвучало развязно».

Дэвид говорил спокойно и уверенно. Он отлично знал свой предмет.

— Прекрасно изложено, Дэвид,— заметил Карл Пирсон.

— Браво, браво! — сказал Данкуорт.

— Мистер Данкуорт предпочитает язык цифр и диапозитивов,— вставил Эйвери Уинстон.— Как, впрочем, и весь совет. Я уверен, мистер Бэттл, что ваши доводы будут приняты в соображение при рассмотрении этого вопроса.

— В заключение я хотел бы добавить следующее,— сказал Дэвид.— Вряд ли у кого-нибудь возникнут сомнения относительно этого проекта, даже если мы будем планировать лишь на два-три года вперед. Если же речь пойдет о перспективном планировании, то двух мнений на этот счет вообще быть не может.

— Это мы поняли,— сухо, но беззлобно заметил Мэрион Уильямс.

— Благодарю вас, Дэвид,— сказал Пирсон.

— Пока мистер Бэттл еще здесь,— вмешался Дана Олбрайт,— я хотел бы поставить вот какой вопрос. Не скажете ли вы совету, Дэвид, как вы расцениваете потерю нами контракта на производство бронетранспортеров? Господа, мистер Бэттл в беседе со мной высказал мнение, что мы не должны с этим мириться. Он считает, что нам следует принять контрмеры, если вы их одобрите. Итак, Дэвид?

— Речь идет о том, как отразится на ценах этого года потеря нами контракта на производство бронетранспортеров «Т-231»,— сказал Дэвид.— Позвольте дать некоторые пояснения тем, кто не знаком с историей вопроса. В свое время правительство отдало нам в эксплуатацию государственное предприятие, расположенное в Ромулусе, штат Мичиган, возложив на нас производство бронетранспортеров «Т-231» и техническое обслуживание потребителей. Мы приобрели это право на открытых торгах семь лет назад. Такие торги проводятся ежегодно, и мы из года в год оказывались на них победителями. Но в этом году компания «Машин энд фаундри» предложила продавать правительству бронетранспортеры по цене на шесть миллионов дешевле нашей при контракте в шестьдесят четыре миллиона долларов. Мы не думаем, что их предложение отражает реальное положение вещей. По-видимому, они умышленно установили цену ниже себестоимости, надеясь наверстать разницу с помощью рационализации. Но нас беспокоит сейчас не это, а ситуация в Ромулусе. Хотя инженерно-конструкторский отдел и часть организационных функций останутся за нами, производство переходит в руки «Машин энд фаундри». Насколько нам известно, они намерены перевести туда рабочих с вагоностроительного завода Уэйна. Как вы знаете, они потеряли контракт на эксплуатацию этого завода. Таким образом, неожиданно возникает необходимость увольнения семи-восьми тысяч рабочих — в основном пожилых людей. Средний возраст нашего рабочего значительно выше обычного, поэтому маловероятно, чтобы «Машин энд фаундри», или любая другая компания, оставила их и приняла, таким образом, на себя обязательства по обеспечению их пенсией. Это один из тех случаев, когда завоеванное профсоюзом право на пенсию оборачивается против рабочих. Следовательно, эти люди теряют работу практически навсегда. Я считаю, что мы должны сделать серьезное представление министру обороны, причем не только от имени этих рабочих, но от имени «Нейшнл моторс» и страны в целом. Мы должны предупредить министра, что передача завода в другие руки вызовет нежелательные последствия и может отрицательно сказаться на темпах производства и качестве продукции. Кроме того, следует указать, что мы вложили в это предприятие немало средств и обеспечили устойчивые цены. Справедливо ли лишать нас контракта только потому, что кто-то другой безответственно предложил более низкие цены? Следует довести до сведения министра, что аннулирование контракта серьезно повлияет на наши торговые операции. Уволив такое количество рабочих, мы вынуждены будем израсходовать несколько лишних миллионов долларов на пособия по безработице. Таким образом, хотя мы безупречно выполняли все свои обязательства, нам наносится незаслуженный тяжелый удар. Я повторяю: нам следует заявить министру обороны решительный протест и убедить его отказаться от контракта с «Машин энд фаундри», договорившись с нами о приемлемой цене. Я уверен, мы сможем доказать ему, что это в интересах национальной обороны.

— Другими словами,— заметил Данкуорт,— вы полагаете, что сумеете пригнать коня на водопой? Однако, насколько я его знаю, заставить его пить вы вряд ли сумеете. Он не станет пить назло всем, даже если будет умирать от жажды.

— Понятно, сэр.

Данкуорт продолжал:

— Я хотел задать вам еще один вопрос, мистер Бэттл. Есть мнение, что нам не следует больше браться за оборонные заказы. Если бы все крупные, солидные фирмы поступили так, это заставило бы министерство обороны образумиться. Оно

хотя бы ограничило число фирм, получающих заказы, и обеспечило какие-то гарантии возобновления контрактов. Как вы, мистер Бэттл, посмотрите на этот вариант, если вам не удастся переубедить министра обороны?

— Сэр, мы не имеем права уклоняться от конкуренции.

— Почему же, мистер Бэттл?

— Мы должны помнить, что речь идет об обороне нашей страны. И «Нейшнл моторс» и другие автомобильные компании обязаны выполнять оборонные заказы, даже если это им и не нравится. Нам следует также признать, что практика открытых торгов — вполне нормальная и справедливая практика, отвечающая принципам, которые мы сами же обычно отстаиваем, когда дело касается не нашей собственной шкуры, а чьей-то другой. Я считаю, мистер Данкуорт, что мы безусловно должны искать выход из трудного положения, в котором оказались сейчас, но в случае неудачи придется пропустить год и постараться получить эти заказы в следующем. Вряд ли стоит напоминать вам, что, работая на оборону, мы не только выполняем свой долг, но и получаем большие прибыли. Миссия нелегкая, но приятная. Мистер Данкуорт, наша досада отчасти порождается самодовольством. Иногда мы настолько верим в собственное величие и превосходство, что уже считаем себя лучше всех. Иной раз какой-нибудь механик в гараже легко решает техническую проблему, над которой месяц бьется десяток наших инженеров. Мне кажется, что мы должны оказать всемерное давление на министра, но мы должны быть готовы и к неудаче. А вдруг он сунет нам под нос цифры, доказывающие, что пока мы семь лет почивали на лаврах, кто-то в «Машин энд фаундри» нашел способ радикально снизить себестоимость и бьет нас в честном бою. Так что беседу с министром надо вести осторожно.

— Вы сами поедете к нему, мистер Бэттл? — спросил Данкуорт.

— Он поедет со мной,— сказал Дана Олбрайт.— Встреча назначена на сегодня во второй половине дня в Пентагоне.

— Мне кажется,— заметил Эйвери Уинстон,— что эта встреча имеет огромное и принципиальное значение. Она явится прецедентом. Полагаю, Карл, недурно было бы вам поехать вместе с Дана и мистером Бэттлом — для большей солидности.

— Пожалуй,— согласился Карл Пирсон.

— Очень хорошо, Карл,— сказал Олбрайт.— На аэродром Ла-Гардиа нас доставит вертолет. Если не возражаете, в Вашингтон полетим на моем самолете. В Детройт вернемся сегодня же вечером.

— Господа, составлять расписание вашей поездки можно и не во время совета,— заметил Эйвери Уинстон, но это была скорее шутка.

— Будем ли мы еще эксплуатировать молодой мозг мистера Бэттла? — спросил Данкуорт.

— Да, у меня есть вопрос,— сказал Эйвери Уинстон.— Мне сегодня сообщили, что мистер Бэттл занимается подготовкой наших гонщиков. Если это правда, мистер Бэттл, то разве это входит в вашу компетенцию, как вице-президента по административным вопросам?

— Да, есть и такой грех за нами, мистер Уинстон,— сказал Дэвид.— В данном случае мы готовили гонщиков для торговых фирм, а не для нашего инженерно-конструкторского управления. Мне казалось правильным не связывать это ни с конструкторами, ни со службой сбыта.

— Это вы сами так решили, мистер Бэттл?

— Да, сэр.

— Мой внук сказал мне сегодня утром, что мы плохо готовимся к автомобильным гонкам. Когда я стал проверять, то обнаружил, что инженерно-конструкторское управление от этого отстранено. Это обстоятельство обеспокоило меня. А кроме того, я хотел бы узнать, на каком основании вы принимаете подобные решения единолично?

— Я пришел к заключению, что использование команды торговых фирм имеет два явных преимущества. Во-первых, мы получаем первоклассных механиков. Каковы бы ни были возможности нашего инженерно-конструкторского управления, гонки требуют особой специализации, а потому мы пригласили специалистов. Во-вторых, мы в какой-то мере страхуем себя. Если гонки окончатся для нас неудачей, то вина ляжет на автомехаников, приглашенных со стороны, а не на наших инженеров. Дело нашего конструкторского управления — изготовить модель гоночной машины, и оно свою задачу выполнило. Новый двигатель мощностью в пятьсот шестьдесят пять лошадиных сил — это то, что нужно. И, кстати, мы считаем, что при наличии новой модели спортивной машины и этого двигателя мы могли бы небезуспешно участвовать в больших международных гонках шестьдесят четвертого года.

— Но кто же все-таки решил? Кто это «мы»? — снова спросил Уинстон.

— Я решил, сэр,— ответил Дэвид.

— Разве это в вашей компетенции?

— Да, пока пределы моей компетенции не будут определены иначе, чем на них смотрю я.

— Мистер Бэттл,— сказал Данкуорт,— наш рекламный отдел намерен объявить конкурс на лучшее название новой спортивной модели и просит нашего согласия.

Может быть, вы предложите что-нибудь и избавите нас от лишних расходов? — Данкуорт улыбнулся собственной шутке.

Дэвид молчал.

— Я подозреваю, что оно у вас уже готово,— продолжал Данкуорт.

Дэвид улыбнулся.

— Как-то раз по пути на службу я начал придумывать названия для машин вместо того, чтобы посылать проклятия в адрес плохих водителей. Я предложил отделу парочку названий.

— Какие же? — спросил Данкуорт.

— Для спортивной машины — «командо».

— Неплохо!

— Что касается основной модели, то мне вдруг пришла в голову очевиднейшая мысль, которую тем не менее мы, кажется, ни разу не использовали — «нейшнл».

Эйвери Уинстон поглядел на Тони Кэмпбелла.

— Мистер Кэмпбелл, у нас не было такого названия? Его никто не предлагал?

Тони пожалел, что не помнит все тысячи названий, предлагавшихся за историю корпорации, но должен был ответить:

— Я проверю, мистер Уинстон.

Эйвери Уинстон ожидал, что Дэвид скажет сейчас: «Я уже проверил». Но тот молчал. Уинстон был уверен, что все уже давно и досконально проверено, но Дэвид не воспользовался этим случаем поставить в глупое положение нового члена совета директоров. Эйвери Уинстон подумал: «Вы, молодой человек, и не подозреваете, что были на волосок от гибели. Если бы вы это сказали, я поставил бы на вас крест. А теперь, хотя мне и не нравится эта ваша осведомленность во всех делах, я готов слушать дальше». Вслух же он сказал:

— Мне кажется, у мистера Бэттла и у совета есть более важные дела, чем придумывать названия для автомобилей. Мистер Бэттл, раз уж вы здесь, то скажите нам, как идут дела в вашем управлении закупок?

— Я доволен.

— И вам нечего нам сообщить?

— На прошлой неделе мы уволили за пьянство одного агента по закупкам. А одного старшего агента перевели на другую должность, потому что у него установились слишком хорошие отношения с представителями фирм, у которых мы делаем закупки.

— Он брал взятки? — резко спросил Пирсон.

— Нет, сэр. Просто слишком хорошее отношение к друзьям влияло на объективность его суждений. И мы перевели его, но не в порядке наказания, а скорее — предупреждения. Впрочем, эти мелочи не столь важны, чтобы занимать ими внимание совета. Но я собирался представить мистеру Пирсону доклад по одному вопросу и коснусь его сейчас. У нас в управлении закупок существует одна извечная болезненная проблема — проблема взаимоотношений с инженерно-конструкторским управлением. Как вы знаете, одна из корпораций «Большой четверки» слишком большое предпочтение отдает управлению закупок, лишая своих инженеров инициативы. Таким образом, инженеры, придумав какую-то конструкцию и сделав расчеты, не могут внедрить результаты своих усилий в производство, пока управление закупок не одобрит сметы расходов. Другой наш конкурент, наоборот, слишком полагается на конструкторов, которые посылают управлению закупок готовые проекты, заранее указывая, у кого что покупать. Это означает неоправданный контроль над поисками источников сырья и полуфабрикатов. Разумеется, такое положение связывает управление закупок по рукам и ногам и обходится корпорации недешево. На мой взгляд, эти проблемы перед нами не стоят. По-моему, в истекшем году мы достигли замечательного равновесия между этими двумя управлениями. Вы согласны, Билл?

Билл Клири, вице-президент, курирующий инженерно-конструкторское управление, ответил:

— Наши управления отлично ладили.

— И все же я твердо убежден, что руководящих работников управления закупок следует повысить в должности с соответствующим увеличением оклада для придания им веса внутри корпорации. Мне кажется, во главе управления закупок должен стоять не директор, а вице-президент. Вношу это предложение на рассмотрение совета. Моя рекомендация будет изложена подробно в очередном докладе административному комитету.

Карл Пирсон сказал:

— Дельное предложение, Дэвид. Мы его рассмотрим.

— Мистер Бэттл,— заметил старик Данкуорт,— круг ваших интересов настолько широк, что, пожалуй, проще будет спросить, что не входит в вашу компетенцию.

Дэвид не знал, шутка это или нет. Он решил ответить серьезно.

— Финансы, сэр. То есть финансы в их чистом виде. Разумеется, все мы связаны с финансами и имеем к ним какое-то отношение в своей деятельности. Не входит в мою компетенцию и инженерно-конструкторское управление. В обоих случаях я полагаюсь на экспертов.

Тони Кэмпбелл поморщился, огорчившись за Дэвида. Дэвид выразился очень неудачно. Он сказал совсем как президент корпорации: «Я полагаюсь на экспертов». Это не пройдет незамеченным.

И это не прошло незамеченным.

— Благодарю вас за доверие, Дэвид,— сказал Клири.

Дэвид слегка улыбнулся.

— Я полагаюсь на инженерно-конструкторское управление, Билл, как на восход и заход солнца.

«Неплохо, Дэвид»,— подумал Кэмпбелл.

— Могу ли я на этом основании считать, что вы снимаете свои возражения против выделения нам средств на эксперименты с обивочными материалами? — спросил Клири.

На этот раз Дэвид не улыбнулся.

— Я против этого расхода. Он неоправдан.

Клири улыбнулся опасной улыбкой:

— Будьте добры, разъясните мне мое заблуждение.

— Ни одна автомобильная компания не может организовать прибыльное производство обивочных материалов. Управление закупок внимательно следит за всеми новинками в этой области. Мне кажется, ваши специалисты по обивочным материалам несколько оторвались от реальной действительности. Дело в том, что на долю автомобильной промышленности в общем приходится незначительная часть всех производимых тканей и ковровых изделий. Крупные текстильные предприятия используют автомобильную промышленность лишь в качестве дополнительного потребителя. И ни одна новая компания, будучи создана в расчете только на автопромышленность, не могла бы успешно конкурировать с существующими фирмами. То же будет наверняка и с «Нейшнл моторс». Убежден, что нам не следует вкладывать средства в эту отрасль. По этому вопросу мы готовим специальную записку, Билл. Вы получите ее в начале будущей недели. По-моему, пусть о новых синтетических тканях беспокоится Дюпон. Какой смысл превращать научно-исследовательскую лабораторию «Нейшнл моторс» в суррогат Дюпона? Нам хватит забот с использованием материалов, которые химики предоставляют в наше распоряжение.

— Ну что ж, мистер Бэттл, урок вы ответили,— сказал Эйвери Уинстон. Дэвид никак не окликнулся.— Конечно, мы могли бы и дальше выслушивать ваши полезные мысли, но будет лучше, если вы изложите их работникам аппарата, когда вернетесь в Детройт. Если ваши подробные сообщения по этим вопросам будут столь же убедительны, сколь обнадеживающи ваши общие рассуждения, вы, безусловно, внесете полезный вклад в решение ряда проблем. Господа, вопросов к мистеру Бэттлу больше нет?

— Не могу отказать себе в удовольствии спросить нашего молодого человека еще кое о чем,— сказал Данкуорт.— И спрашиваю я его со злым умыслом или, вернее, несколько предвзято. В моем распоряжении имеется меморандум управлению закупок, подписанный мистером Бэттлом. Мне передал этот документ один из членов совета директоров. Я прочту его вам, господа, на случай, если вы его еще не видели.— Данкуорт поправил очки и, далеко отставив лист, приготовился читать.

— С вашего разрешения, мистер Данкуорт,— сказал Дана Олбрайт,— я хотел бы объяснить, что это выдержки из беседы мистера Бэттла с сотрудниками его управления. Человек может сказать то, чего не стал бы облекать в письменную форму во избежание напыщенности. Стенограмма была расшифрована, и меморандум распространен по распоряжению директора управления закупок.

— Спасибо, Дана,— сказал Дэвид.— Но я готов повторить это, не боясь показаться напыщенным.

— В таком случае, мистер Бэттл,— продолжал Данкуорт,— повторите то, что говорили тогда, но уже перед представителями всех управлений.

— Хорошо, сэр. Я говорил о нашем предназначении, или, чтобы быть более точным и менее претенциозным,— о нашей работе. Наша работа — сбывать машины. В каком бы управлении мы ни служили, главная наша работа — продавать. Долг нашей корпорации — продавать автомобили так, чтобы держатели акций получали прибыль. Все мы, вполне естественно, склонны считать свой участок работы самым главным и решающим. Например, у нас есть инженеры, которые думают, что конструирование машин является целью, а не средством. По-своему они правы. Но если подходить к этому вопросу в масштабах корпорации, то им следует время от времени напоминать о том, что их работа имеет ценность лишь в той мере, в какой она помогает сбывать продукцию с выгодой для корпорации. То же касается службы производства, контроля за качеством, закупок и даже самой службы сбыта. Мне думается, нам всем не вредно помнить, что мы оправдываем свое назначение, как служащие корпорации, лишь в том случае, если способствуем прибыльной продаже автомобилей. Вот смысл моего выступления перед работниками управления закупок.

— Иногда мы упускаем из виду самые очевидные факты,— заметил Данкуорт.— Мне кажется, вы выдвинули верный критерий для оценки работы всех служащих «Нейшнл моторс», включая и ее руководство. Вы согласны, Карл?

— Согласен,— без особенного восторга сказал Карл Пирсон.— Мы воспользуемся этой мыслью.

— Теперь я свободен? — спросил Дэвид.

— Минутку,— сказал Данкуорт.— Я еще не задал своего вопроса. Вы уж извините меня, господа. Мистер Бэттл, вы производите впечатление способного, энергичного молодого человека, реалистически смотрящего на вещи. Сейчас вы предложили очень здравую основу для философского подхода всех наших служащих к их повседневной работе. Но мне хотелось бы знать и другое: какая, по-вашему, философская идея должна лежать в основе деятельности руководства нашей корпорации, то есть президента и совета директоров?

Дэвид молчал.

— Так что же, мистер Бэттл?

— У меня есть некоторые соображения, мистер Данкуорт, но мне кажется, в данный момент вряд ли уместно их излагать.

— Почему же, мистер Бэттл? Надо ли вам напоминать, что я являюсь членом совета директоров с девятьсот восьмого года, с момента образования корпорации? Надо ли вам напоминать, что я — обладатель крупнейшего пакета акций в корпорации? Я полагаю, мои вопросы всегда уместны.

Казалось, Дэвид вот-вот улыбнется, но он не улыбнулся.

— Догадываюсь, о чем вы думаете, молодой человек. Вы думаете, что во всем мире не найти двух человек, которые имели бы столько акций нашей компании, сколько имеют старик Данкуорт и молодой Кэмпбелл, а все равно из тринадцати голосов в совете им принадлежат только два. Не так ли?

Но Дэвид думал не об этом. Он думал о том, что дело вовсе не в голосах. Имея акции Кэмпбелла, Данкуорта и поддержку страховой компании, он наверняка сумел бы взять контроль в свои руки. Вслух же он произнес:

— Вы недалеки от истины, сэр. Я не стесняюсь своих взглядов на политику компании и буду рад изложить их в более подходящий момент.

— Я хочу выслушать их сейчас, молодой человек! — властно заявил Данкуорт.— И уверен, что совет поддержит меня.

— Нам всем будет очень интересно их услышать, Дэвид,— сухо произнес Пирсон.

— По-видимому, совет готов слушать вас и дальше, мистер Бэттл,— сказал Эйвери Уинстон.— Хотите ли вы ответить на этот вопрос сейчас или отложите его до другого раза?

Это была возможность уклониться от вызова, не теряя достоинства. Но Дэвид сказал:

— Я отвечу.

Тони Кэмпбелл подумал: «Что же, валяй, Дэвид! Ломай себе шею».

— Мне следует начать с определения моих политических взглядов. Я — умеренный.— Он улыбнулся своей подкупающей улыбкой.— Я еще не встречал человека, который не считал бы себя умеренным, а тех, кто с ним спорит,— экстремистами. Многие называют меня консерватором и даже реакционером; это объясняется тем, что взгляды, которых я придерживаюсь, считаются сейчас немодными. Я одержим идеей свободы. Я против любых организаций — против правительства, против объединенного профсоюза рабочих автопромышленности, против КПП *, против НАСПЦН ** и Лиги борьбы с диффамацией, я против коммунизма, социализма, нацизма и либерализма, и, пожалуй, я не поклонник Торговой палаты США и бойскаутов. Больше всего меня беспокоит, что человек постепенно растворяется в единой однородной гигантской массовой организации и это стадо жалких зверьков движется к небытию. Но я не паникер. Лишь глупцы могут бить себя в грудь и истошно кричать, будто социалисты уничтожают человечество. Социалистам это не под силу. И никому другому. Утверждение, будто мы можем раз и навсегда определить ход мировой истории, свидетельствует лишь о самодовольной слепоте, независимо от того, принадлежит оно социалистам или реакционерам. Человечество никогда не уничтожит себя до конца. Оно на это не способно. Все его благородные и наивные эксперименты завершаются возвращением к инстинктам, заложенным в нем Создателем. Мне хотелось бы верить, что у меня есть чувство юмора и чувство перспективы. Только берчисты и либералы не желают видеть хорошее в тех, с кем они не согласны. Всем людям свойственны добрые побуждения, все видят в себе спасителей человечества. Мы по-разному понимаем деятельность человека, его эмоции и предназначение, и это нас разделяет, но в одном мы едины: в желании добра человечеству. И это последнее обстоятельство делает меня оптимистом.

Тони Кэмпбелл подумал: «Что-то слишком общо, Дэви. Слишком общо. Какую яму ты себе роешь?»

Дэвид продолжал:

— Социалисты борются за все эти идеи и потому заслужили победу. Наши же единомышленники малодушно капитулировали. Мистер Данкуорт, я обвиняю в этом руководителей автомобильной индустрии.

---

* Конгресс производственных профсоюзов.

** Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения.

Тони был удивлен и обрадован.

— Я обвиняю крупных предпринимателей Детройта и всей страны и отказываюсь слушать их жалобные оправдания, будто они не в силах остановить колесницу Джаггернаута. Я отвергаю их попытки утешить себя мыслью, что они капитулировали «для пользы дела». Они говорят, что слишком поглощены делами своих предприятий и не могут заниматься политикой, и даже ищут оправдание в том, что им не велят быть строптивыми. Но мне не совсем ясно, кто карает их за строптивость: правительство, профсоюз или сама корпорация? Мы стремительно приближаемся к тому дню, когда президент Соединенных Штатов и его Верховный суд смогут делать все, что захотят, не считаясь ни с законом, ни с принципами морали. Руководители автомобильной индустрии, как никто другой, должны отдавать себе отчет в происходящем. Нам ли не знать, в какой мере профессиональные либералы Америки уже ограничили нашу свободу как индивидов и как граждан суверенных штатов в федеральном государстве. И тем не менее мы приспособились к политическим верованиям, с которыми не стали бы мириться в добрые старые времена. Теперь мы даже боимся произносить вслух слово «капитализм» и отдаем себя на милость сверхгосударства в надежде получить у него защиту. Мне ответят: «Дэвид, у тебя отсталые взгляды». Почему отсталые? Потому, что я верю в свободу? Мне скажут: «Успокойся и пользуйся тем, что имеешь». Люди, говорящие так, вызывают во мне грусть и горечь. Я обвиняю тех, кто возглавляет деловую жизнь Детройта, в инертности. Капитулировать? Почему? Потому лишь, что трудно бороться? Но именно поэтому и надо бороться. Бороться и побеждать. По-моему, у нас в Америке возникла новая порода людей — руководителей корпораций, людей в шорах, на которых написано «Нейшнл моторс». И ничего, кроме корпораций Крайслера, Форда и «Дженерал моторс», эти люди не видят. Так они и живут, нежась в теплой ванне конформизма. В нашей корпорации, по-моему, есть люди, которые за последние двадцать лет ни разу не посмотрели, что делается в окружающем их мире. Конечно, их преданность делу приводит к небывалому росту дивидендов и курса наших акций. Но она же и погубит нас в самом ближайшем будущем. Пока мы выпускаем автомобили, профессиональные либералы изменят мир.

«Смелее, Дэви,— подумал Тони Кэмпбелл.— Бить так бить!»

— В своих обвинениях я пойду еще дальше. Руководители нашей корпорации не только не поддержали своих единомышленников, они невольно оказались в первых рядах тех, кто нас атакует. Я имею в виду людей, допустивших сюда профсоюз. Конечно, мы можем убеждать других в том, что ответственность за появление мощных профсоюзных организаций лежит на правительстве, но себя-то мы не обманем. Руководители «Большой четверки» решили, что переговоры с рабочими удобнее вести через профсоюзы. Вот так мы и капитулируем для пользы дела. Люди, возглавляющие нашу промышленность, подчинили свою деятельность этому лозунгу. Они считают себя не руководителями, а обыкновенными управляющими. Они делают лишь то, что отвечает текущим потребностям корпорации, а не то, что следовало бы делать из соображений высшего порядка. Потому что так спокойнее. Многих из них можно сравнить с зубом, из которого удалили нерв. «Мы достигли процветания! Ничего не меняйте, чтобы не испортить дела!»

Тони Кэмпбелл обвел взглядом непроницаемые лица вокруг.

— Чего же я от вас хочу? Чтоб вы плевали против ветра? Вот именно! Согласуется моя резкость с чувством юмора и перспективы, о котором я говорил? Мистер Данкуорт, через миллион лет никто не будет знать, чего мы достигли, но человек, который активно борется за свои убеждения, делает для себя очень много. Он завоевывает лучшую из наград — самоуважение и уважение Создателя. Я верю в непреложные добродетели, на которых зиждется наша страна, и верю в Золотую заповедь *. Я думаю, нам пора вернуться к этим исходным, вечным принципам для разрешения сложных социальных проблем нашего времени, ибо мелкие людишки, сидящие в правительстве, уже не в состоянии идти вровень с нашими растущими знаниями. Обстановка меняется. И мы должны приспосабливаться к этим переменам. Мы должны быть столь же современными в наших взглядах на мир, как мы современны во всем, что касается непосредственно наших предприятий. Но истина не меняется. Слова священного писания были истиной, когда их писали, они истинны сегодня и останутся истинными завтра, когда человек совершит чудеса, о которых мы сейчас и не мечтаем. Американцы верят в незыблемость нравственных устоев, которые нельзя ставить в зависимость от сиюминутных соображений. Я считаю, что великая сила Америки заключена в чувстве достоинства и в инициативе каждого отдельного человека. По-моему, те, кто пытается разрушить человеческую личность во имя коллективизма в любой его форме, лишают нас этой великой силы, и, если их вовремя не остановить, неизбежно наступит день, когда нас перестанут считать величайшей нацией планеты. Я хочу, чтобы свобода утвердилась не где-то в другом месте, а в Америке, потому что я американец. Мистер Данкуорт, я хочу, чтобы руководители автомобильной промышленности встали и заявили своему народу во всеуслышание: правительство — не божество, оно состоит из простых смертных. Пусть они встанут и потребуют, чтобы

---

* «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Матф., VII, 12).

правительство перестало указывать нам, что делать, и перестало запугивать. Мне надоело слушать эти наши вопли, причитания и скрежет зубовный. Вы со мной согласны? Если да, то почему никто ничего не предпринимает? Мы в парадоксальном положении: мы против сверхмощного государства, но мы — представители сверхмощной корпорации и сами бюрократы. Корпоративная ответственность? Конечно. Наша первая обязанность — оберегать интересы держателей акций, за это нам платят жалованье. Это наш долг, как предпринимателей. Но мы еще и американские граждане и не должны забывать, что это также возлагает на нас моральные обязательства. У нас есть Объединенный фонд, организация бойскаутов и всякие другие официально признанные формы служения обществу. Но ведь на нас лежит и ответственность за руководство страной. Люди, возглавляющие автопромышленность, управляют штатом Мичиган. В наших руках крупнейшая в мире индустрия. И мы можем заставить слушать нас, и миллионы людей одобрят нашу инициативу.

Я вовсе не призываю совет директоров бросаться в политику. Я не призываю к опрометчивым действиям и не утверждаю, что нам следует посвятить себя только политике. У нас есть свое дело, и мы должны им заниматься. Но мы — руководители и должны вести за собой людей. Я верю в нравственные устои американского народа и считаю, что наши главные добродетели выдержат все испытания и что сила индивидуальности поможет нам остаться величайшей нацией. Вы должны вести за собой, ибо вы руководители. Люди, столь сильные, как вы, должны возглавить движение за возрождение Америки, живущей идеалами, Америки Золотой заповеди.

Дэвид Бэттл умолк, решительно и твердо сжав губы. Его горящие голубые глаза гипнотизировали членов совета.

Данкуорт встал, поднял над головой руки, беззвучно похлопал в ладоши и произнес негромко:

— Браво, браво!

Примеру Данкуорта последовали Рэгглес, Каридео, Дана Олбрайт, за ними поднялись остальные. Карл Пирсон захлопал последним, сразу же после Тони Кэмпбелла.

Члены совета снова сели. Дана Олбрайт сказал:

— Прекрасно, Дэвид, прекрасно.

— Прекрасно сказано,— сухо, без улыбки подтвердил Пирсон.

— Это было весьма поучительно, мистер Бэттл,— сказал Эйвери Уинстон.— Настоящий подвиг. Мы заставили вас говорить на заседании совета целый час, и ваша речь была беспрецедентной по своей виртуозности и многосторонности. Сегодня мы больше не будем вас утруждать.

Тони Кэмпбелл откинулся на спинку кресла и прижал к губам резинку своего карандаша. Его обуревали противоречивые чувства. «Жаль, Дэви, очень жаль. Это было великолепно. Великолепная речь. Но ты погиб, дружище. Сам себя погубил. Эйвери Уинстон и Карл Пирсон не допустят, чтобы корпорацию возглавил радикал вроде тебя».

■

Карл Пирсон вошел в свой огромный кабинет на седьмом этаже. Дэвид Бэттл уже ждал его.

— Сидите, сидите, Дэвид,— сказал Пирсон.

— Вы меня вызывали, Карл?

Пирсон сел за стол. Он закурил сигару и, выпустив клуб дыма, ответил:

— Да. Мне надо с вами кое о чем поговорить.— Он перестал дымить и откинулся на спинку кресла.— За последние недели, Дэвид, мы обнаружили, что Джим Паркер перекладывал часть своих обязанностей на других.

— Да, он умел доверять своим помощникам.

— Жаль, что Джим умер. Но он не был незаменим.

— Как человек он был незаменим, а незаменимых вице-президентов не бывает.

— Вы всегда говорите то, что надо, Дэвид. Как-нибудь нарушьте эту свою привычку и ошибитесь.

— Это приказ?

Пирсон, не меняя тона, сказал:

— Мы назначили вас вице-президентом по производству.

Лицо Дэвида не дрогнуло.

— Вы меня слышите? — спросил Карл Пирсон.

— Да. Когда приступать?

— Немедленно. Вас избрали также в состав совета директоров.

— Я готов к этому, Карл.

— Не сомневаюсь.

— И я очень признателен. Могу я задать вам вопрос? Джим говорил с вами о своих намерениях в отношении меня?

— О каких намерениях?

— Об его намерении дать мне этот пост.

— Нет, я этого не знал,— солгал Карл Пирсон.— Вашу кандидатуру выдвинули Олбрайт и Данкуорт. Скажите, Дэвид, ваше сенсационное выступление на заседании совета было подстроено?

— Если и да, то я об этом не знал.

— Вы понимаете, о чем я говорю?

— Да. Дана и Данкуорт всячески старались дать мне возможность блеснуть.

— Вы считаете, что вы блистали?

— Не все время. И кое-кого мои политические взгляды, безусловно, отпугнули.

— Согласен. Пожалуй, я попробую немного разочаровать вас: пока вы были там, вы загипнотизировали совет, но я не сомневаюсь, что потом многие опомнились.

— Тем не менее мои убеждения остаются прежними.

— Под первым впечатлением совет и назначил вас вице-президентом по производству. Дана Олбрайт выдвинул вашу кандидатуру, а Данкуорт ее поддержал. Пожалуй, я не доставлю вам удовольствия и не скажу, как прошло голосование. Однако решение не было принято единодушно. Лично я считал ваше выдвижение преждевременным. Все мы как-то вдруг осознали...— Пирсон замялся,—...что вы уж слишком католик. Но Олбрайт прямо сказал, что вы и так уже фактически руководите службой производства и мы должны закрепить за вами этот участок, чтобы не страдала работа. Итак, поздравляю вас, Дэвид. Но мне хотелось бы знать, что связывает вас с Олбрайтом?

Дэвид внимательно посмотрел на своего начальника.

— Нас ничто не связывает. Вся наша связь ограничена седьмым этажом этого здания.

— Я скажу вам, что я думаю. По-моему, Дана сделал это потому, что готовится стать президентом.— Карл Пирсон вдруг умолк, пораженный тем, что начал обсуждать политику корпорации с подчиненным, к которому питает недоверие, если не неприязнь. И он сказал не без сарказма: — На этот счет у вас, Дэвид, конечно, тоже есть свое суждение. Да, говорили вы блистательно. По-моему, совет примет все ваши предложения — и о названиях машин, и о строительстве новых цехов на заводе «Эмбасси», о размещении завода штампованных частей в Брайане. Вы теперь наш...— Карл опять немного замялся,— ...католический эксперт.

Дэвид встал и широко улыбнулся.

— Пожалуй, я напишу отцу Хесбергу. Ему будет приятно узнать, что один из его подопечных достиг таких высот в этой языческой корпорации.

Пирсон не улыбнулся. Дэвид прикинул, стоит ли далеко заходить. Пирсон завел разговор о религии явно неспроста.

— Я собирался порвать с «Рыцарями Колумба» и стать масоном,— сказал Дэвид, следя за выражением лица Пирсона.

— Я имел в виду вообще католиков,— сказал тот,— вы же понимаете, о чем я говорю. За пятьдесят лет нашего существования ни один католик еще не забирался так высоко. Возможно, это просто случайность.

— Будем считать, что это так,— сказал Дэвид.

— Вам придется работать в тесном контакте со мной до избрания нового президента, после чего, конечно, вы будете работать с ним. Должен, кстати, напомнить вам об одной маловероятной возможности: будущий президент может предпочесть на посту руководителя службы производства человека, которого выберет он сам. Ну, а пока этот пост ваш.

— Скажите, Карл, а когда будет избран новый президент?

— Обсуждение этого вопроса в комиссии по кандидатурам не подлежит оглашению. Однако могу вам сказать: комиссия пока еще ни к какому решению не пришла.— Пирсон слегка улыбнулся.— Полагаю, что в вашем нынешнем положении вы имеете право на сведения, которые я вам сейчас сообщил.— Лицо Пирсона снова стало серьезным.— А теперь скажите, что вы думаете о Дана Олбрайте.

— Вы хотите знать мое мнение о его достоинствах?

Пирсон, помолчав, сказал:

— Да, пожалуй.

— Я очень высокого мнения о нем. Более высокого, чем об Уильямсе. У Олбрайта шире взгляд на вещи. Но то, что вы сказали — будто он подбирает себе людей и поэтому предложил мою кандидатуру в руководители службы производства,— это для меня новость. Откровенно говоря, до сих пор я думал, что вы намерены сразу избрать постоянного президента, а не временного.

— Откуда у вас эти сведения?

— Из газет, из кулуарных сплетен. Источники те же, что и у вас.

— Вам, пожалуй, следовало бы поддерживать Олбрайта. Он, по-видимому, намерен сделать вас своим преемником.

— А если он не станет президентом?

— Вы оказались впереди на несколько ходов. В результате произведенного вами впечатления.— Пирсон прищурился.— Вам известны некоторые обстоятельства, касающиеся Бэда Фолка?

— Нет, ничего не знаю.

— Придет время — узнаете.

— Я задам вам один вопрос, Карл. Бэд рассчитывал получить службу производства?

— Спросите у него. Мне неизвестно, насколько далеко он заходил в своих пла-

нах. Вам будет приятно узнать, что он голосовал за вас с большим подъемом. Но мне кажется, нам следует прекратить этот разговор, пока вы не узнаете всех новых обстоятельств.

— Карл, я могу занять кабинет Джима?

— Вы этого хотите?

— Да. Он отлично приспособлен для работы.

— Хорошо. Я уверен, что он не будет для вас слишком велик. Даже еще, пожалуй, и тесным станет,— закончил Пирсон устало.

Бэд Фолк просунул голову в дверь нового кабинета Дэвида.

— Поздравляю, старина. Стало быть, вы уже знаете?

— Спасибо. У вас найдется несколько свободных минут?

— Чуть попозже. Я иду к Дана. А потом — пожалуйста. А у вас ко мне дело?

— Мне хотелось бы кое-что с вами обсудить, Бэд,— ничего не выражающим голосом сказал Дэвид.

— Хорошо, Дэвид,— небрежно ответил Бэд Фолк.

Но в душе он был обеспокоен. Это что же, Бэттл хочет показать, что он здесь начальник? Разве он не знает, что произошло на совете? Не знает, как активно он, Бэд Фолк, поддерживал его? Неужели не понимает всей подоплеки этого дела? Да, Дэвид Бэттл теперь вице-президент по производству; да, управляющий отделением «Катлесс» находится у него в непосредственном подчинении. Но неужели Дэвид не понимает, что это лишь формальность? Ведь он должен знать, что следующим президентом «Нейшнл моторс» будет Бэд Фолк. Он должен знать, что Бэд поддержал его кандидатуру, обрадовавшись такому помощнику! Так на каком основании Бэттл так спокойно просит будущего президента корпорации зайти к нему в кабинет для беседы? Бэду Фолку это очень не понравилось.

Во время второй мировой войны Бэд Фолк, работавший на танковом заводе «Эмбасси», зарекомендовал себя очень хорошо. Главный инженер Джим Паркер — его молодой начальник и восходящая звезда «Нейшнл моторс» — был о нем высокого мнения. Не было и намека на то, что Фолка в чем-то подозревают. Никто, по всей видимости, за ним не наблюдал. И по прошествии двух лет, во время которых служба безопасности никак его не тревожила, Бэд решил позвонить майору Уикершему сам.

— Я все ждал вашего звонка, майор. Что ваше гестапо решило относительно меня?

— Сказать по правде, Фолк, мы про вас забыли,— ответил Уикершем.— Ваше дело не настолько серьезно, чтобы тратить на вас людей. У нас есть задачи поважнее.

— Если не ошибаюсь, майор, вы обещали либо предать меня военному суду, либо очистить от всяких подозрений.

— Извините, Фолк. У нас не было времени. По-моему, вы спокойно можете считать себя очищенным.

— Так просто?

— Но ведь это вам и было нужно?

— А что будет с моим досье?

— Досье? Как-нибудь займемся и досье. Как там дела у вас на заводе?

— Все-таки скажите, что будет с моим досье?

— Ведь сейчас война, Фолк.

— Да? Вы-то откуда о ней знаете?

— Не выходите из границ. Вы ведь еще числитесь лейтенантом американской армии.

— Ну, так сделайте что-нибудь, майор! Отдайте меня под суд. Мне, видимо, придется самому принять меры...

Майор повесил трубку.

Бэд был озлоблен, но это не мешало ему хорошо работать. Наоборот, это его подстегивало. Чувствуя себя запятнанным, скомпрометированным, обиженным, он с головой погрузился в работу и постепенно развил в себе ту трудоспособность, которой отличались все те, кто делал в корпорации карьеру.

В конце войны Паркер перевел Фолка на производство автомобилей, назначив своим помощником. Все знали, что Бэд пользуется покровительством Джима так же, как Джим пользуется покровительством Карла Пирсона. Он шагал точно по следам Джима. Сначала заменил Джима на посту главного инженера завода «Эмбасси», потом — главного инженера завода «Катлесс», потом — управляющего отделением по производству автомобилей «катлесс» и, наконец, стал вице-президентом корпорации и членом совета директоров. Своей жене он как-то сказал:

— Всю жизнь я чувствовал себя, как Иов, на которого свалились все беды. Но я должен быть и терпелив, как Иов, ибо терпение мое начинает приносить плоды.

— Не столько терпение, сколько стойкость духа,— ответила жена.— Я горжусь тобой, Бэд.

Смерть Джима Паркера потрясла Фолка. Он потерял человека, которым восхищался и которого любил. Главное же, он потерял покровителя, и потерял в тот мо-

мент, когда Джим мог устроить ему очередное повышение. Бэд Фолк имел все основания рассчитывать, что он заменит Джима Паркера на посту вице-президента по производству. Безвременная смерть Паркера повергла его в отчаяние.

Затем ему в голову пришла дерзкая мысль. Он перебрал в уме своих коллег и спросил себя: кого же они могут выбрать?

Мэриона Уильямса? Уильямс одряхлел.

Дана Олбрайта? Конечно, нет. Кто захочет поставить во главе корпорации экзекутора?

Клири? Клири отличный инженер, но он не способен руководить таким устрашающе сложным индустриальным гигантом.

Тони Кэмпбелла? Да, могут. Его могут. У него есть его акции и необходимые деловые качества, и он весь отдается делу, а не прожигает жизнь, как стали бы ее прожигать на его месте многие и многие. Да, Тони Кэмпбелл опасен.

Но у Фолка есть одно преимущество перед Тони: он руководил отделом, а Тони — никогда. Бэд Фолк управляет отделением по производству автомобилей «катлесс», главной опорой корпорации. Это обстоятельство может возобладать над всеми остальными. Если хорошенько вдуматься, все становится ясным, как день. Логическим преемником Карла Пирсона после смерти Джима Паркера может быть только Бэд Фолк.

Погруженный в эти приятные мечты, Бэд стал мысленно подбирать себе будущих помощников. Дана Олбрайт получит самые широкие права из всех вице-президентов. Он, бесспорно, самый умный и проницательный. Тони Кэмпбелл получит отдел по производству автомобилей «катлесс» в качестве компенсации, впрочем, вполне им заслуженной. В дальнейшем его можно подготовить к более широкому полю деятельности и назначить вице-президентом-координатором. На пост руководителя службы производства есть только одна возможная кандидатура — Дэвид Бэттл. Бэд Фолк подумал: удивится ли совет директоров такому выбору? Знают ли другие Бэттла так, как знает он?

(Окончание следует)

ИШТВАН ШИМОН

ЗЕРКАЛЬНЫЙ МИР

Перевод с венгерского
ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА

Корни

Что вы сосете, корни,
из черноты могильной
изо дня в день упорно
с выдержкою двужильной?
Что вы нашли в саду,
чтобы стал сад в цвету:
сахар ли в перегное
или в мергеле мед —
это или иное,
но только сад цветет?!
Вот уж на аромат
пчелы, жужжа, летят!

Корни, вы отраженье
вскинутой вверх руки;
пальцы от напряженья,
кряжисты и крепки.
Пальцами, пятернею
роете глубину,
ствол с молодой листвою
вскинув во всю длину.
Так и во мне, во мне —
смотрится настоящее
в будущее, парящее
облаком в вышине.

Жалко, я вас не вижу,
слышу лишь в глубине,
но год от года ближе
ваша работа мне.
Помню, мальчишкой в поле,
шествуя за быками,
до ломоты, до боли
вас я топтал ногами.
Да и теперь стопою
чую вас под собою:
видно, недаром прочно
корни пустил я в почву!

Видно, они с рожденья
трудятся денно-нощно,
как в родовом владенье,
корни пустил я в почву,
хоть на вершок, на пядь —
рвите, не оторвать!
Петь начну — что за чудо? —
песня моя оттуда:
вторит мне, как преданье,
древнее естество
легкими, ртом, гортанью
прадеда моего.

Если листва проворно
тянется в вышину,
значит, уходят корни
жилисто в глубину.
Сам я тянусь упорней,
только в себя взгляну!
Я уже слышу сам,
как тяжело подошвам
наполовину — в прошлом,
наполовину — там,
в лете плодоносящем,
меж облаков летящем.

Что ж, ведь деревья тоже,
тоже летят куда-то,
не унимая дрожи,
не отрывая взгляда —
долгого — от листопада.
Это на смену лету
осень идет по следу.
Но унывать не надо!
Корни мои навеки
землю связали с небом.
Белые мои ветки
сыплются белым снегом...

В грохоте неба

Эй, посмотрите, как молния в небе метнулась,
и запоздало прошелся раскатистый гул
после удара, похожий на рокот курантов,
и долгим эхом ответили дали ему;
снова метнулась и, косо разрезав потемки,
перечеркнула тропическую духоту
полночи летней, вот так же свежо и опасно
из-под опавшего ряда сверкает коса;
дождь застучал, как зерно, все быстрее, быстрее,
вот уже ливень грохочет, и молния бьет
напропалую, и гром сотрясает окрестность,

я — в темноте — не могу оторвать своих глаз
завороженных, я чувствую нервами всеми,
как и во мне пробуждается дикий восторг,
трепет звериный, проснувшийся вместе с грозою,
как пробуждался он в пращуре; может быть, так
чувствуют дети опасность, играя с оружьем,
или мужчины, идя на бессмысленный риск,
слушают голос судьбы; эта нервная встряска,
после которой мурашки бегут по спине,
держит меня и сейчас еще в оцепененье
лишь потому, что не испепелила меня
молния; я уже жду, замирая в потемках,—
вот она! Вот над полями блеснула опять! —
вспышки, а только опомнюсь, как дальнее эхо
еле дрожит, ибо, если б его записать,
гром обратился бы в отзвук или отголосок,
но если что-то и может сравниться с грозой,
с молнией блещущей — это ее повторенье,
молниеносная мысль, осветившая мрак!

Холодное утро

Вот уже и воробьи купаются
в колее колесной оробело,
в редких листьях яблоки качаются,
падая на землю то и дело.

Только тополь все еще надеется,
но и он, прощально шелестящий,
закружится желтою метелицей,
где как сердце каждый лист летящий.

Я не знаю, что со мною станется,
но и мне смотреть на это больно.
Смотришь — и рука невольно тянется
к сердцу, так и тянется невольно!

После тридцати

Дни. Недели. Месяцы. Годы.
Как сцепились десятилетья?
Как идущие вдаль вагоны?
Может быть. Не могу глядеть я.
А опомнюсь — и нет ни стука,
пробегающего по рельсам,
ни гудка за спиной, ни звука,
затихающего за лесом.

Пролетела дуга стальная,
обдала сквозняком дорога.
Юность, что ли, напоминая,
одуванчик, летит высоко?
Тихо-тихо. Не тишь, а пытка.
Завилась на реке воронка.
Заплелась моей жизни нитка —
не распутывай! — тонко-тонко.

Где вы, долгие перегоны?
Где акации вдоль откоса?
Торопливо прошли вагоны.
Пробежали стремглав колеса.
Видно, молодость источилась,
иссучилась по нитке пряжа.
Почему же так покатилась
жизнь моя? И не знаю даже.

Что завязано как попало —
не распутаешь, не помешкав.
Так затягивались, бывало,
на ботинках шнурки при спешке.
Я распутывать не умею
жизни связанной. Только, медля,
озираюсь: а вдруг на шее
затянулась тугая петля?

Ночью, в снегу

Зеркален мир: уже темнеет небо,
хотя земля еще светла от снега.
Я, обращенный к бездне мирозданья,
жду слова, задыхаясь от молчанья.

Вот так когда-то, попрощавшись с другом,
я шел домой нетвердыми шагами,
от выпитого голова шла кругом,
вокруг деревьев снег темнел кругами.

Стояла ночь, огромная донельзя,
мерцал простор, но было мне обидно:
так хорошо, а нету слов... Так стыдно!
И ветер шелестел: придут, надейся.

О, если б все, что так во мне металось,
пускай не все, пускай бы даже малость,—
так мне мечталось,— воплотилось в слово!
И вот теперь такое чувство снова.

Так где же песня? Нет ужасней кары,
чем немота! Недаром каждым нервом
я слышу с микельанджеловским гневом —
внутри — невыносимые удары.

На крыше снег мерцает как-то сиро,
и ветер шепчет, как в начале мира,
и небо, замирающе и немо,
звенит, как бессловесная поэма.

Звенит, звенит гармония ночная,
и бусинами звезд и облаками
гармонику собой напоминая,
наполненную ветром и снегами...

ПИТЕР АБРАХАМС

В ВЛАСТИ НОЧИ

РОМАН

Перевод с английского
А. ИБРАГИМОВА и Т. РЕДЬКО

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Когда треснет сук

I

Карл Ван Ас был на редкость высоким, красивым мужчиной под сорок. Он быстро поднимался по служебной лестнице и знал, что ему надо только по возможности избегать неприятностей — и в один прекрасный день он окажется среди могущественнейших людей в стране. Но почему-то эта перспектива не рисовалась ему такой же заманчивой, как несколько лет назад. В те дни — особенно в дни, когда он служил мелким дипломатом в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне,— мысли о блистательной карьере кружили ему голову, как забористое вино; они наполняли его бодростью и энергией. Но теперь успехи не приносили прежнего удовольствия — его неотвязно преследовало странное чувство уныния, затаившееся в глубине сознания, словно хищный зверь. Теперь ему все время приходилось бороться с этим унынием. Отчасти его душевное состояние объяснялось событиями последних лет. Изгнание его страны из Британского содружества — именно таково было значение слов «добровольный выход» — нанесло ему болезненный удар, и не только ему, но и группе других людей, которых дела тесно связывали с их коллегами из Содружества.

На международных конференциях в Париже или Вашингтоне мелкие и крупные дипломаты Содружества выступали единой командой, которая хорошо знала правила игры и вела ее по четко разработанному плану. В этом проявлялся дух свободы, которому завидовали остальные дипломаты; и было приятно сознавать свою принадлежность к элите. Разумеется, их сближало и многое другое: и то, как они работали и как развлекались, и то, как они перебрасывались словами и шутками, понятными лишь посвященным. Речь шла как будто о сущих пустяках, многие из которых казались даже бессмысленными вне определенной среды,— и, однако, все это, вместе взятое, дополняло поразительно яркое проявление того, что они отчетливо видели, хотя и называли расплывчатым словом «дух» Содружества. До изгнания Южная Африка составляла неотъемлемую часть этого целого. Карл Ван Ас вспомнил свою последнюю поездку в Организацию Объединенных Наций. До той поры изгнание было лишь чисто политической акцией. Но в Нью-Йорке и позднее в Вашингтоне он в полной мере осознал его значение. На первый взгляд ничто как будто не изменилось. Никто не допускал прямых выпадов или грубостей — даже представитель афро-азиатских государств, который предлагал исключить их страну из Организации Объединенных Наций. Все

* Окончание. Начало см. в № 6.

только ясно давали понять, что Южная Африка уже не является членом их команды. Много раз ему случалось заходить в комнату, где шел шутливый или серьезный разговор; появление его замечали, но тут же делали вид, будто он для них не существует. Его присутствие игнорировали даже белые члены Содружества — австралийцы, новозеландцы, канадцы: англичане скрывали свои чувства более искусно, но даже их смущало его присутствие.

Услышав скрип двери, он поднял глаза и увидел свою секретаршу, высокую, не очень красивую, но поражающую своей животной чувственностью девицу. У нее были резкие черты лица и крупная, ширококостная фигура типичной крестьянки. Ван Ас не любил свою секретаршу и даже не давал себе труда скрывать это. Она стояла во главе группы молодых экстремисток, которые требовали оскоплять всех мужчин, вступающих в интимные отношения с женщинами других рас. Ван Ас знал, что пренебрежение, которое он даже не пытался скрывать, как ни странно, породило в ней горячую симпатию к нему. Между ними в самом деле не было ничего общего — даже взаимного притяжения противоположностей. Она не любила думать, не любила читать, не выказывала ни малейшего интереса к тому, что происходит в мире. Закончив рабочий день, она приходила домой, переодевалась и тут же шла на пляж, где вместе с подругами валялась на песке, подставляя лучам солнца натертое маслом тело, так чтобы оно покрылось ровной позолотой загара. Затем они расходились по домам; непомерно много ели, непомерно много пили и предавались плотским утехам, чтобы чувствовать пульс жизни. Так идут дни, почти не отличаясь друг от друга... Он подавил в себе закипающее чувство возмущения всем, что воплощала для него эта девица. В его душе даже шевельнулось легкое сомнение: может быть, он несправедлив к ней, может быть, его негодование порождено одиночеством, сознанием того, что он отрезан от всего мира — и как отдельная личность, и как гражданин страны. Ведь в сущности — если не принимать всерьез ее пропаганду оскопления — она никому не причиняет зла.

— К вам пришел служащий из отдела картотек,— доложила секретарша.

— Он принес все, что нужно?

— У него с собой два туго набитых портфеля.

— Отлично. Угостите его чашкой кофе, и пусть он обождет немного. Если я задержусь у доктора Снеля больше, чем на пять минут, позвоните. Понятно?

— Да, сэр.— Она бросила быстрый взгляд на свои часы и вышла.

Ван Ас поднялся, открыл потайную дверь и, пройдя через узкий коридорчик, очутился перед кабинетом доктора Людвига Снеля, начальника управления внутренней безопасности в провинции Наталь. Постучавшись, Ван Ас вошел. В комнате было не то что прохладно, но попросту холодно: Снель всегда ставил ручку кондиционера в крайнее положение.

Снель был человек высокого роста, костлявый и седовласый, с изборожденным морщинами, словно дубленым лицом. Казалось, он всегда был в полном изнеможении. Только в его необычайно лучистых глазах светилась жизнь.

— Я слушаю вас, Карл.

На какой-то миг Ван Асу почудилось, будто он снова слышит голос Яна Смэтса.

— Вы сказали, чтобы я заглянул к вам сегодня утром, сэр.

— Ах, да.

Снель вытащил какое-то письмо из кипы бумаг, лежавших на столе, и пододвинул его к Ван Асу. Тот взял письмо и, читая его на ходу, подошел к окну. Машинально он повернул ручку кондиционера с «холодно» на «прохладно». Он знал, что речь пойдет об этом письме. Поздно вечером ему звонил личный секретарь министра. Прошла целая неделя после убийства человека, именовавшего себя Хансом Кэтце, но на самом деле оказавшегося Вестхьюзеном,— человеком, которого более года тому назад зарегистрировали «цветным»,— но до сих пор в расследовании этого дела не достигнуто никаких результатов. Туземец, который был вместе с Кэтце-Вестхьюзеном, бесследно исчез, и это обстоятельство порождает серьезное беспокойство в стране, в партии и даже в правительстве. Насколько министру известно, в руки полиции попал пропуск этого туземца — Ричарда Нкози. Поэтому министр не в состоянии понять, почему этот туземец до сих пор не задержан. Нескольких заднескамеечников убедили не поднимать этот вопрос в парламенте до истечения недели. Министр предполагает, что этот срок окажется достаточным для расследования.

Карл Ван Ас положил письмо на стол, и Снель небрежным движением водворил его на прежнее место. Он не желает признавать важность этого письма, угадал Ван Ас. Более того, он выражает открытый протест. Ван Ас почувствовал сильную симпатию к Снелю — одному из немногих государственных служащих, которые выросли под руководством Яна Смэтса. В те дни белый человек боролся за нечто большее, чем спасение своей шкуры,— и весь мир с уважением прислушивался к голосу страны, чьим рупором были Смэтс и Хофмейер. Именно потому, что Снель и несколько его единомышленников сравнивают те времена с этими, именно потому, что они не скрывали и не скрывают своего мнения от властей предержащих, их и перевели из Претории и Кейптауна, где они занимали важные посты, в такое захолустье, как Наталь. И вот теперь этот Снель, который некогда сосредоточивал в своих руках больше власти, чем многие члены кабинета, кроме самых влиятельных, вынужден сносить упреки

политикана, не видящего дальше собственного носа и защищающего лишь свои корыстные интересы.

— Я полагаю, вам уже известно об этом письме,— пробурчал Снель.

— Да, сэр. Вчера вечером мне звонил секретарь.

— Типичная глупость!— Снель даже не скрывал своего презрения.

— Извините, сэр.

На лице Снеля показалось слабое подобие улыбки.

— Вы тут ни при чем, молодой человек... Интересно, долго ли вы еще сможете — я пользуюсь вашим любимым выражением — «избегать неприятностей»?.

— Не знаю,— спокойно ответил Ван Ас.— Думаю, столько времени, сколько мне будет надо.

— Ну что ж... Только не поддавайтесь моему влиянию, молодой человек. В конце концов мы потерпели неудачу: это и привело к нынешнему положению вещей. Мне было бы досадно, если бы я вообще утратил влияние на вас, но каждый раз, когда я говорю что-нибудь неприятное. помните, что мы потерпели неудачу. Если бы не это, они бы не пришли к власти и страна двигалась бы другим курсом.

— Некоторые утверждают, что наш нынешний курс неизбежен.

— Возможно, они и правы, молодой человек. Я только знаю, что во время войны — правда, недолго, всего несколько месяцев — существовало сильное тяготение к единству всех рас. Я был тогда в самом центре событий. Знал все закулисные дела кабинета, ибо участвовал в его заседаниях, а к некоторым из этих закулисных дел даже приложил руку. Но когда наступил решительный момент, я, как и остальные, спраздновал труса. Мы все тогда сплоховали — все, кроме одного. И мы все не решались даже обсуждать существо наших опасений...

— А этот единственный человек, сэр?

Снель покачал головой.

— Члены кабинета не имели права публично излагать свои взгляды. Смэтс категорически запрещал нарушать это правило. И мы все — и правительственные служащие, и политические деятели — подчинялись его требованиям, даже те, кто не разделял его точки зрения или впоследствии отошел от него... С тех пор прошло много времени, и я часто раздумываю: что же, собственно, было причиной наших страхов. И знаете ли, по сей день я не могу дать ясный ответ на этот вопрос. Опасались ли мы полного перехода политической и экономической власти в руки африканцев? В какой-то мере, да. Может быть, мы чувствовали за собой вину и страшились, чтобы они не поступили с нами так же, как мы с ними? Да, и такое опасение у нас было. Может быть, мы отступили перед угрозой хаотического смешения рас? В этом я как раз не уверен. В конце концов цветные обязаны своим существованием прежде всего нам, белым. Мы главные виновники смешения рас, и если мы нуждаемся в защите, то только от самих себя, а не от черных. Никто из нас не предполагал в те дни, что устранение расового барьера неминуемо повлечет за собой массовое смешение рас. Кое-кто лишь сыграл на ревности белого самца, который хотел обезопасить себя от посягательств на белую женщину и в то же время требовал свободы для себя. В сближении с черной женщиной для него было что-то особо волнующее, поэтому достаточно было намека, что и белая женщина может найти что-то особо волнующее в сближении с черным мужчиной. Запретный плод сладок.— Снель улыбнулся задумчивой, мечтательной улыбкой, смягчившей суровое выражение его лица.— Я до сих пор не могу забыть, как меня взволновало сближение с первой черной девушкой в дни моей молодости... В этом было что-то таинственное, недозволенное, обострявшее наслаждение. Думаю, что и теперь все осталось по-прежнему, несмотря на эти глупые новые законы.

— Да, дело обстоит почти так же, как прежде,— согласился Ван Ас.— Только стало труднее.

— Из-за этих законов?

— Частично, да. Но главным образом потому, что женщины изменились. Насколько я могу судить, в те времена они были уступчивее...

Мягкая улыбка сбежала с лица Снеля. Он заговорил серьезным, деловым тоном:

— Мы сами своими действиями воздвигаем стену ненависти... Ну, а теперь вернемся к нашей работе.

— Приехал человек из Претории с досье Нкози,— так же деловито ответил Ван Ас.— Все, кто значится в натальских картотеках,— на месте, никто из них не исчезал. Я подозреваю, что тот, кого мы ищем, скрывается под чужой фамилией: это, естественно, затрудняет наши розыски. Но я все-таки хочу попытать удачи, сэр.

— Хорошо. Оставьте все другие дела.

— Мне понадобится максимальная помощь и содействие полиции.

— Я переговорю с комиссаром.

— Благодарю вас.

В кабинет вошла секретарша Снеля; в руках у нее был поднос с письмами. Ван Ас знал, что одна из ее обязанностей — доносить местному партийному комитету обо всем, что тут делается, и поэтому не проронил ни слова в ее присутствии. После того как она закрыла за собой дверь, Ван Ас подошел к окну и переключил кондиционер

на «холодно». Снель углубился в чтение только что полученной партии писем и даже не заметил его ухода.

Возвратившись в свой кабинет, Карл Ван Ас позвонил секретарше и велел ей пригласить посетителя. Рядом с этим щуплым, узкоплечим, бледным человечком в очках с массивной оправой и толстыми стеклами, золотисто-смуглая Анна де Вет казалась настоящей амазонкой. У него был вид заурядного мелкого конторского служащего. В этот миг, когда он стоял возле девушки, его даже трудно было назвать человеком: скорее, он походил на какого-то белесого, сморщенного слизняка.

Этот контраст раздражал Карла Ван Аса.

— Благодарю вас, мисс Анна де Вет. Вы свободны,— сказал он с металлом в голосе.

Всякий раз, когда он называл ее мисс де Вет, она вздрагивала, как от удара. В ее глазах появилась обида, а затем гнев. Она резко повернулась и выбежала из кабинета.

Он протянул человечку руку и жестом пригласил его сесть.

— Ну? — сказал Карл Ван Ас.

— Ох, и задал же нам работы этот ваш кафр Нкози! — голос у человечка был слабым, визгливым, однако в нем чувствовалась властность.

Он открыл один портфель и вытащил из него пачку досье. Эти досье он аккуратно положил слева от себя, на стол. Затем открыл второй портфель и достал из него еще пачку, которую положил справа.

— Здесь у меня все,— проговорил он, переводя взгляд с одной пачки досье на другую. Затем из внутреннего кармана пиджака он вытащил какой-то конверт со штампом и достал из него пропуск на имя «туземца Ричарда Нкози». Ловкими движениями пальцев он открыл пропуск на странице, где была приклеена фотография и сообщались основные данные о «туземце Ричарде Нкози». Этот пропуск он положил на стол, между двумя пачками досье.— Здесь у меня все,— повторил он.

— Поддельный? — спросил Ван Ас.

— Нет, сэр! — человечек оскалил свои гнилые желтые зубы, выражая невольное восхищение.— Документ подлинный; в него только внесено несколько исправлений, но даже эксперт не обнаружил бы ничего подозрительного.

— Но вы обнаружили?..

— Вы льстите мне, мистер Ван Ас. Я тоже ничего не заметил. Я просмотрел документ, сверил его с личной карточкой и убедился, что все в порядке.

— Но...

— Понимаю, сэр. Исправления были сделаны не только в пропуске, но и в личной карточке, так что все совпадает — вплоть до последней запятой и точки.

— Тогда как же вы раскрыли подделку?

— Благодаря этим досье, сэр! В них хранятся исходные документы. На основании этих исходных документов и составляется личная карточка каждого туземца. Вы знакомы с этой формой, сэр?

— Боюсь, что нет.

— Я удивлен. Я знаю, что большинство людей не имеет никакого представления о нашей работе, но я думал, что все сотрудники управления безопасности достаточно хорошо осведомлены о ней. В наших досье содержатся копии метрических свидетельств, школьных справок, старых пропусков, разрешений на выезд, на поступление на работу, видов на жительство, налоговых квитанций и так далее. Поэтому мы можем вам сказать не только время и место рождения туземца, но и многое другое: сколько классов он окончил, когда впервые поступил на работу и какое жалованье получал; мы также можем вам сообщить, с точностью почти до часа, когда он выехал из своей деревни или локации, когда он прибыл на место своего назначения и долго ли он там оставался. Итак, в этих досье отражено почти все, что происходит с туземцем с момента его рождения и до момента смерти. Все важные события в его жизни обязательно заносятся в эти досье.

— Вы занимаетесь только туземцами? — спокойно осведомился Ван Ас.

Человечек снова осклабился.

— Нет, сэр. Скоро наступит время, когда мы сможет давать исчерпывающие сведения о каждом гражданине этой страны. Естественно, что разработанная нами система контроля над туземцами наиболее совершенна. Ведь мы шлифуем ее уже давно. Но предоставьте нам некоторое время — скажем, два года,— и мы распространим нашу систему на всех: по нашим досье можно будет проследить жизнь каждого человека буквально по дням. К сожалению, нам мешает недостаток помещения. Мы занимаем самое большое правительственное здание, но и его не хватает: мы задыхаемся от тесноты. Но это уже наше внутреннее дело.

— Я уверен, что вы можете рассчитывать на расширение.

— О да. Конечно, мы получим дополнительную площадь. Они слишком сильно нуждаются в нас, чтобы отказать в нашей просьбе. Но я был бы вам признателен, если бы вы никому не рассказывали о том, что мы создаем такую совершенную систему контроля не только над туземцами, но и над всеми остальными. Не знаю почему, но большинство людей остерегается правительства, собирающего полные сведения об их жизни. Лично я не вижу в этом ничего предосудительного.

— Да. До тех пор, пока вы не нарушаете закон,— пробормотал Ван Ас.

— Но есть же люди, которые строго соблюдают закон...

— Да,— поспешно перебил его Ван Ас,— есть и такие...

Человечек внезапно замкнулся в себе, и Ван Ас почувствовал, что имеет дело с острым, проницательным умом.

— Извините, я надоел вам своими разговорами,— сказал человечек.

— Ничего подобного. Может быть, только немного огорчили.

Теперь он почти физически ощущал, с каким напряжением работает ум человечка. Вот что недоступно никаким Аннам де Вет, и вот чего они постоянно недооценивают.

— Вы тоже из тех, что остерегаются? — спросил человечек.

— Допустим,— уклончиво ответил Ван Ас.

Послышался сухой, дребезжащий смешок.

— Тогда у вас есть высокопоставленные единомышленники. Всего два дня назад мой шеф получил серьезный нагоняй от одного из влиятельнейших членов кабинета, который узнал, что и на него заведено обстоятельное досье.

— И что же? — заинтересовался Ван Ас.

— Да ничего,— улыбнулся человечек.— Он хотел, чтобы мы уничтожили его досье, но мы никогда этого не делаем... Я знаю, что вы думаете, мистер Ван Ас. Вы опасаетесь, как бы кто-нибудь не воспользовался содержимым этих досье, чтобы получить колоссальную власть. Ну что ж, и на это есть ответ: на него тоже будет заведено досье.

— Которое можно уничтожить или подделать?

— Вы вспомнили о подделке личной карточки?

— Да.

— Неужели вы не видите, как это замечательно! Дело, которым вы занимаетесь, заставило нас проверить все личные карточки. Наши счетные машины работают и ночью и днем; всего несколько лет назад такая проверка была невозможна, а теперь ее можно выполнить за сравнительно короткое время — от трех до шести месяцев. Тем временем мы успеем разработать меры, исключающие возможность подобных подделок. И сможем довольно точно установить, когда именно были сделаны исправления в личной карточке.

— А заодно и выяснить, кто именно работал в отделе, когда были сделаны исправления?

— Вы попали в точку.

После недолгого колебания Карл Ван Ас посмотрел прямо в глаза человечку.

— Не поймите меня превратно... Но кто ведет досье на таких людей, как... вы или ваш шеф?

Человечек опустил голову так низко, что подбородок едва не уперся в грудь. Через полминуты он, наконец, поднял голову, снял очки и стал тщательно вытирать их платком, не сводя с Ван Аса своих бледных, словно выцветших, близоруких глаз. Вид у него был самый беспомощный.

— Вы затронули наше больное место, мистер Ван Ас,— сказал он раздумчиво.— Среди нас есть горсточка людей, на которых никто не ведет досье. Мы храним документы, но мы выше их, потому что наши фамилии не занесены в картотеки.— На его растерянном лице заиграла странная улыбка.— Это меня так беспокоит, что иногда я даже просыпаюсь по ночам.

Человечек надел очки, и его ум снова принялся за свою напряженную работу. Ван Ас почувствовал, как в его душу закрадывается жгучий страх,— страх, который казался глупым и совершенно беспочвенным в присутствии этого интеллигентного человечка с гнилыми зубами.

Человечек посмотрел на часы.

— Мой самолет улетает через час. Пора приступать к делу.

— Итак, мы остановились на подделке.

— Это было задумано чрезвычайно просто и умно,— сказал человечек.— Подменили не пропуск, а его владельца. Тот, кого вы разыскиваете, тот, чья фотография вклеена в пропуск,— вовсе не Ричард Нкози. Согласно имеющимся в деле документам, подлинный Ричард Нкози умер пять лет назад; его пропуск использовался по крайней мере дважды — и каждый раз фотографии заверяли в отделе картотек. Фотографию последнего Ричарда Нкози заверили два месяца назад, и это мог сделать только один из нас — тот, на кого не ведется досье... Взгляните! — Он открыл папку и пододвинул ее к Ван Асу. Дождавшись, когда Ван Ас просмотрит ее содержимое, он дал ему еще одну папку. Ван Ас изучал досье за досье и постепенно составлял себе все более и более ясное представление о том, как подпольная организация использовала фамилию и пропуск покойного.

Первый владелец поддельного пропуска исчез, не оставив никаких следов. Но записи сохранили его фамилию, сведения о его родителях и о нем самом. Выведенные красивым, аккуратным почерком донесения наталкивали на мысль, что он выехал за границу и, вероятно, отправился в какое-нибудь коммунистическое государство для изучения методов партизанской войны. Запечатанное распоряжение гласило, что это опаснейший человек, чье возвращение таит в себе серьезную угрозу, поэтому во все

въездные пункты разосланы его фотографии с приказом открывать огонь, как только он будет замечен. На снимке был запечатлен довольно смирный на вид и как будто не очень толковый молодой человек с заспанными глазами и пухлым лицом; ему, видимо, только что исполнилось тридцать. Предки его, как свидетельствовали записи, принадлежали к племени коса; но то, что несколько их поколений жило в городе, вытравило из его облика все характерные черты этого племени; у него была теперь ничем не примечательная наружность одного из миллионов людей, обитающих в мутных заводях городов. Опасный человек, враг государства — таков был первый Лжеричард Нкози, которого в действительности — как было установлено методическими разысканиями отдела картотек — звали Вальтером Маланги.

Второй Лжеричард Нкози был одним из переходных расовых типов; чтобы решить, к какой расе отнести подобных людей, к цветным или к черным, регистраторам приходится иногда бросать монету. Этого записали цветным, и, поскольку. он пользовался относительной свободой передвижения, подпольная организация остановила на нем свой выбор и назначила его связным. Он был схвачен, приговорен к смерти и казнен под фамилией Джона Фэрстера, диверсанта и террориста,— и вот только теперь, через два года после казни, было установлено, что он пользовался документами Ричарда Нкози.

Человечек подтолкнул к Ван Асу последнюю папку.

— Вот тот, кого вы ищете. К сожалению, сведения о нем весьма скудные. Дата рождения, имя, фамилия... Его отец был важным **индуной,** вождем племени. Звали этого вождя Дьюбом, а сына его зовут Ричардом. Вот почти все, что мы о нем знаем. В те времена, когда они возвратились в Наталь, картотек не вели, поэтому у нас нет никаких сведений о нем, так же как и о тысячах других. Человек, который занимался делами туземцев в этой провинции, умер. Вот отчего о последнем Ричарде Нкози нам известно только то, что его подлинное имя и фамилия — Ричард Дьюб...

Спокойствие! Спокойствие! — сказал себе Карл Ван Ас, уставясь на лист бумаги и стараясь овладеть собой.

— У вас нет даже его фотографии? — спросил он осторожно.

— Есть только копия в личной карточке.

Ван Ас протянул руку, и человечек пододвинул ему пропуск.

Прежде чем взглянуть на фото, Ван Ас постарался взять себя в руки. Он знал заранее, что́ увидит, но на всякий случай нажал звонок, вызывая секретаршу. И только после того как услышал ее шаги и убедился, что внимание человечка отвлечено ее приходом, Ван Ас посмотрел вниз. Ожидания его сбылись, и все-таки его пронзила нервная дрожь. Если бы человечек не смотрел на Анну де Вет, он непременно заметил бы его волнение. Да, он знает последнего Ричарда Нкози!..

Когда он поднял глаза, человечек улыбался.

— Я знаю, что вы, сотрудники управления безопасности,— народ хитрый. Разумеется, прежде чем приехать сюда, я заглянул в ваше досье и познакомился с вашим послужным списком. Если вы хотите что-нибудь скопировать, нет надобности прибегать к уловкам. Обещаю никому не говорить ни слова о том, что я увижу или услышу в этой комнате.

Карл Ван Ас скрыл свое облегчение под широкой улыбкой.

— Боюсь, вы нас переоцениваете. Я только хотел, чтобы мисс де Вет сняла копию с того немногого, что у вас имеется в деле Дьюба.— Он передал папку с единственным листом бумаги своей секретарше. Мисс де Вет быстро переписала все данные в свою записную книжку. Затем он подтолкнул к ней пропуск. — И это тоже.— Теперь он с сияющим лицом смотрел на человечка, как всегда спокойный и уверенный в себе.

— Насколько я понимаю, у полиции есть фотокопии?

— Ужасно плохие. По ним его не опознала бы и родная мать.

— Тогда нужно снабдить их другими.

— Совершенно верно. В вашем голосе внезапно зазвучала уверенность.

— Я выяснил все необходимые обстоятельства.

— И знаете теперь, что делать?

— Думаю, да.

— Вы знаете, что в Претории очень обеспокоены этим делом?

— Знаю.

— Тогда у меня все.— Человечек поднялся.

— Может быть, останетесь на обед? — предложил Карл Ван Ас.

Человечек покачал головой.

— Спасибо за любезное приглашение, но мне предстоит еще долгий полет, а завтра будет трудный день. Я хотел бы возвратиться как можно скорее. Еще раз спасибо! — Он уложил папки в портфели.

— Машина готова? — спросил Ван Ас у своей секретарши.

Та кивнула.

Человечек пожал руку Ван Асу и пошел вслед за рослой золотисто-смуглой девушкой. В дверях он остановился и, обернувшись, сказал Ван Асу:

— Удачной охоты!

2

Удачная охота!

Ничего себе, удачная охота! Душу Карла Ван Аса затопила волна горькой удрученности, смешанной с возмущением, которое не было направлено против кого или чего-либо в частности и поэтому грозило разрастись до необычайно больших размеров. Но через некоторое время, как всегда, он овладел собой и его рассудок одержал верх над чувствами. Безотчетная тоска, разумеется, оставалась, но он уже привык к ней.

Ричард Нкози — Ричард Дьюб. Ричард Дьюб — третий Лжеричард Нкози, как его называл этот человечек из отдела картотек. Он вспомнил Ричарда Дьюба таким, каким он его знал. Невысокий, на удивление спокойный африканец, наделенный тонкой художественной натурой. Правда, когда живешь в Париже, кажется, что все люди наделены тонкими художественными натурами. Ясный, прямой взгляд, которым посмотрел на него Дьюб, когда они знакомились... Как звали эту маленькую француженку, которая привела его туда?.. Неважно. Важно другое: Дьюб был там и, видимо, чувствовал себя как рыба в воде. Это была одна из тех многолюдных артистических вечеринок, где почти все гости напиваются до потери сознания, а молодым дипломатам приходится следить за каждым своим шагом из боязни, как бы их не скомпрометировала какая-нибудь слишком уж настойчивая хорошенькая мисс. Публика была довольно разношерстная — смешение всех типов, цветов и рас; добропорядочные старейшины голландской реформистской церкви в Претории несомненно ужаснулись бы, если б узнали, что кое-кто из их блистательных молодых людей посещает подобные сборища! Шумливость и несколько чрезмерная самоуверенность индийцев и африканцев из Западной Африки выгодно оттеняли сдержанное спокойствие Дьюба, который явно чувствовал себя свободнее и уверенней, чем другие темнокожие гости. Ни капли заносчивости — и в то же время никакого мнимого смирения или раболепия. Его молодая спутница — как же, черт побери, ее звали? — узнала Дьюба и промурлыкала «Ричард» так ласково, что ревность кольнула его в самое сердце. Но она все-таки познакомила их друг с другом, спасибо ей хоть за это.

Ван Ас откинулся назад и закрыл глаза, пытаясь воскресить их встречу во всех подробностях.

Молодая француженка — как же, черт возьми, ее звали? — вскоре увидела какого-то своего знакомого и оставила их вдвоем. О чем они тогда говорили? Ужасно трудно вспомнить через столько лет! А сколько, интересно, прошло лет — семь или восемь? Память отчетливо сохранила лишь спокойствие, которое излучал Дьюб и которое как будто обволакивало их обоих, да еще сильное чувство симпатии, охватившее их в тот самый миг, когда они взглянули друг на друга и обменялись первыми словами. Они были единственными южноафриканцами на этой вечеринке. И хотя они встретились впервые, и хотя между ними стояло различие рас и общественного положения,— одно то обстоятельство, что оба они были южноафриканцами, породило какую-то редкую, удивительную близость, отделившую их от всех других. То, что они родились в одной стране, видели один и тот же восход над горами и холмами, где протекала их жизнь, видели один и тот же туман, клубящийся белым паром в долинах, роднило их и делало непохожими на все человеческие существа, происходящие не из Южной Африки.

В их встрече с Дьюбом было что-то необычное, что-то похожее на первооткрывание... События восьмилетней давности, хранившиеся в таинственных запасниках памяти, стали смутно проступать сквозь туман... Он упомянул в разговоре об этой их южноафриканской общности и о том, что он как будто совершает первооткрывание. И вдруг так же отчетливо, как и в ту давнюю ночь, через бездну времени и пространства, через множество незначительных событий, которые произошли в его жизни с тех пор, до него донесся голос его тогдашнего собеседника: «Но нам придется подождать, пока Южная Африка не осознает все непреходящее величие нашей южноафриканской общности: такова трагичная ирония судьбы, не правда ли?»

Теперь все озарилось ясным светом; достаточно, казалось, было вспомнить голос Дьюба, чтобы в памяти воскресла та неповторимая ночь. Теперь он мог припомнить мельчайшие подробности: и как Дьюб выглядел, и как он был одет, и его жестикуляцию, и тембр голоса, и складки вокруг рта, и смущающую прямоту взгляда... И теперь он мог припомнить имя девушки — Моника,— такое же милое и заурядное, как его обладательница.

Они говорили на излюбленную тему южноафриканцев, встречающихся за границей: о Южной Африке и южноафриканцах и, разумеется, о цвете кожи. Он был сражен замечанием Дьюба о том, что южноафриканцы только тогда осознают свою общность, когда покидают Южную Африку. Это было сказано мягко, без намека на осуждение. И все же Ван Ас был глубоко задет и обезоружен этим замечанием. После этого разговор принял обычный светский характер: оба собеседника догадывались о возможности сближения, но один из них ждал, когда другой сделает первый шаг, а тот не находил в себе достаточной решимости.

На следующий вечер, узнав у Моники адрес, Ван Ас прошел через площадь Сен Сюльпис и поднялся по узенькой улочке Сервандони до самой вершины холма, где

находился покосившийся старый дом. Ван Ас уже стоял на площадке четвертого этажа, возле двери студии, но в последний миг мужество изменило ему, и он спустился вниз, так и не постучав. Затем он стал прогуливаться вдоль обветшалых домов, надеясь, что Дьюб спустится из своей квартиры и они смогут продолжить случайное знакомство. Но свет в окнах студии не гас; Дьюб так и не вышел. Обитатели этой узенькой улочки стали поглядывать на Ван Аса с подозрением, и ему пришлось ретироваться... И вот теперь художник Ричард Дьюб превратился в Ричарда Нкози — члена подпольной организации, которого разыскивает полиция.

Ван Ас поборол прилив усталости, встал и снова направился через темный коридорчик к кабинету доктора Снеля.

На полпути он остановился, застыл в глубокой задумчивости, затем резко повернулся и пошел обратно к себе.

Ричард Дьюб — художник, Ричард Дьюб — подпольщик. Деньги, которые неожиданно стали находить у арестованных,— свидетельство того, что подпольная организация располагает теперь достаточными средствами,— все это могло означать лишь одно: Дьюб привез в страну деньги. И прибыл он, несомненно, со стороны моря.

Ван Ас снял трубку и позвонил начальнику натальской политической полиции.

— Джепи? Это Карл Ван Ас... Да. Пришлите ко мне этих двоих парней, которые видели Кэтце-Вестхьюзена... Да. Я полагаю, что нашел ключ... Нет. Пришлите их немедленно. Этот туземец, вероятно, привез деньги; он высадился с моря. Я хочу поехать туда вместе с ними... Да... превосходно. До свидания.

Не успел он положить трубку, как его осенила догадка: если Дьюб привез деньги, а Кэтце-Вестхьюзен его сопровождал, стало быть, Кэтце-Вестхьюзен тоже агент подпольщиков. Ведь он белый человек, а его объявили цветным — вот он и отомстил, поступил на службу к подпольщикам. В свое время, в самый разгар скандала с Вестхьюзеном, доктор Снель предположил такую возможность. Он, Ван Ас, подумал тогда, что старик хватил через край, в конце концов это лишь личная трагедия одного человека, но, оказывается, старик прав. Вестхьюзен стал Кэтце, а Кэтце-Вестхьюзен был проводником человека, который высадился с моря.

Он снова набрал номер начальника натальской полиции.

— Это опять я. Мне нужна подробная информация обо всех, с кем Кэтце-Вестхьюзен встречался за последние три месяца. Повторяю: обо всех — без исключения... Да... Кем бы они ни были... Да... Старик как в воду смотрел... Хорошо! Считайте это своей первоочередной задачей... Нет, нет, пока еще не могу сказать. Но если вы дадите мне сведения обо всех, с кем только он имел дело, среди них непременно окажется человек, через которого он был связан с подпольем. Главное в том, чтобы опознать и найти этого связного... Да, у меня нет никаких сомнений в том, что он был их сообщником... Этого я пока еще не знаю: по-моему, **поко** нет никакого смысла убивать агента подпольщиков, во всяком случае — явного смысла. Но в этом, безусловно, что-то кроется... Да... Да... Как можно скорее и сразу же по мере поступления. Не пренебрегайте никакими подробностями. Счастливо.

Он по привычке навел порядок на столе, запер ящик с секретными документами и принял ванну. О том, где он будет, он предупредил секретаря.

После обеда он заехал домой и сменил безукоризненно сшитый городской костюм на походную одежду цвета хаки и прочные башмаки, какие носят буры. В тот миг, когда он застегивал патронташ, ему позвонила Анна де Вет и сказала, что в его распоряжение прибыли двое патрульных. Он велел передать им, чтобы они обождали.

Через пять минут он был уже в управлении. До его прихода Анна де Вет, видимо, флиртовала с патрульными. Когда он пожимал им руки, они все еще никак не могли освободиться от власти ее чар. Это его покоробило, он невольно сравнил их с кобелями, а ее с сукой. На какой-то миг жизнь в этой комнате свелась к непреодолимому, примитивному половому инстинкту — и в таком убогом виде она была невыразимо отвратительна. По лицу его скользнула тень отвращения.

Анна де Вет уловила это выражение, но истолковала его превратно. Ревнует! — обрадовалась она. Наконец-то ревнует. Пусть хоть чуть-чуть — этого достаточно! Вполне достаточно для начала!.. В походной одежде он выглядит сущим африканером. Вот он, истинный Карл Ван Ас, истинный потомок Поля Ван Аса и его жены Эльзи, которые в рядах небольшого, но славного отряда отправились на покорение дикой страны и своим самопожертвованием и кровью освятили рождение этого народа. В тот день, когда он откроет себя заново и повернется спиной ко всему, чем сейчас дорожит, она будет рядом с ним и в миг спокойствия и душевной гармонии, может быть, после любовных ласк, расскажет ему о его прапрадеде Поле Ван Асе и Эльзи Безюйденхут; один из ее предков оставил дневник, рассказывающий о встрече Поля Ван Аса и Эльзи в дни Великого похода, о том, как расцвела их любовь, как они поженились и как Поль погиб в битве при Вегкопе... Когда-нибудь она покажет ему этот дневник. Но не сейчас, только после того, как — благодаря ей — он вернется в лоно родного народа. Эту тайну она скрывала уже давно, почти три года, которые минули с тех пор, как он вернулся на родину и она стала работать его секретарем. Все это время она только наблюдала и ждала...

Она машинально запомнила его распоряжения и на прощанье наградила патрульных еще одной ласковой улыбкой. Затем она осталась одна.

Зазвонил телефон, и мисс Анна де Вет стала отвечать сугубо деловым тоном, быстро и четко.

— Вот это самое место,— проговорил Лоув, первый патрульный. Он вел машину и отвечал на все вопросы, но за время их долгой поездки Ван Ас убедился. что среди этих двоих полицейских верховодит не он, а его товарищ, невысокий молчаливый человек. Старшим по должности был Лоув, но во всех важных случаях он оглядывался на товарища, ожидая от него молчаливого подтверждения. И когда он промолвил: «Вот это самое место»,— он тоже обернулся в ожидании утвердительного кивка.

Ни на самой дороге, ни на ее обочине Ван Ас не увидел никаких следов встречи двоих патрульных с Кэтце-Вестхьюзеном и Нкози-Дьюбом. Я не имею права скрывать от Снеля то, что знаю о Дьюбе,— неожиданно мелькнуло у него в голове. Он поймал на себе любопытный взгляд полицейских: они смотрели на него так, словно ждали какого-то чуда. Как живучи предрассудки! — подумал он, мысленно усмехаясь.

— Расскажите мне снова, как это было,— велел он.

Пока они ехали в автомобиле, Лоув уже рассказал ему обо всем; теперь то же самое, только более связно, ясно и точно, с упоминанием подробностей, отсутствовавших в рассказе Лоува, повторил второй полицейский. Выслушав его, Карл Ван Ас составил себе полное представление о происшедшем. Дьюб превосходно сыграл свою роль, чего нельзя сказать о Кэтце-Вестхьюзене.

— Что вас насторожило?

— Поведение Кэтце — теперь, правда, мы знаем, что он вовсе не Кэтце. Он вел себя как-то странно...

— Помнишь, у тебя были подозрения,— вмешался Лоув.

— Это уже потом.

— А как выглядел туземец-кафр? — спросил Карл Ван Ас.

— Как вам сказать? Конечно, он был напуган и растерян, когда его разбудили. Но в нем не было ничего подозрительного.

— А вы обыскали машину?

— Быстро осмотрели ее еще до того, как туземец проснулся. Там не было ничего, кроме старого мешка с его барахлом.

— Заглянули в мешок?

— Нет. Много вонючих мешков видел я у кафров, но от этого несло так, что хоть нос затыкай, сэр!

Ну вот, теперь ты можешь совершить свое чудо, подумал Ван Ас. И спокойно, стараясь произвести наибольшее впечатление, он сказал:

— Этот мешок был набит деньгами. Думаю, что мы все трое не видели столько денег за всю свою жизнь.

— Allejesus! * — воскликнул Лоув.

Второй полицейский был расстроен и мрачен.

— И я их упустил,— с горечью проронил он.

— Вы тут не виноваты,— успокоил его Ван Ас.— Такая вещь могла случиться с каждым из нас. Со мной, например. Откуда вам было знать?

— Ну, с вами бы этого не случилось, сэр,— сказал второй патрульный.— А этот туземец — крупная рыба?

— Да. Он высадился с моря: Кэтце-Вестхьюзен как раз и сопровождал его на случай встречи с патрулем.

— И я их упустил,— повторил полицейский с глубочайшим сожалением.

— Целый мешок денег,— пробормотал Лоув.

Вокруг них простиралась плоская, поросшая щетиной травы земля; странно было видеть этот клочок выжженной глины среди тропической растительности Наталя.

— А где дорога, которая ведет к берегу? — спросил Ван Ас.— Та самая, про которую вы рассказывали?

— Около мили отсюда,— ответил второй полицейский.— Только это скорее тропа, чем дорога.— Он опустил глаза и сжал кулаки.

Попадись тебе Ричард Дьюб, ты бы сейчас спустил с него шкуру! — подумал Карл Ван Ас. И сказал вслух:

— Должно быть, вы его рассмотрели как следует?

— Туземца? Полагаю, что да.

Неразговорчивый полицейский взорвался и выпустил заряд грязных, непристойных ругательств, не щадивших чи самого туземца, ни его мать, ни мать его матери, ни его отца, ни отца его отца. Тело у него вздрагивало, лицо исказила гримаса. И только излив свое дурное настроение, он немного успокоился.

— Извините! Я должен был отвести душу,— невнятно проговорил он, избегая взгляда Ван Аса.

Карл Ван Ас подавил растущее отвращение. Он знал, что этот полицейский — куда более характерный представитель его народа, чем он сам, и Анна де Вет, и Лоув, и человечек из отдела картотек, и миллионы других. Но в этом не было ничего уте-

---

* Боже *(африкаанс)*.

шительного. Обычно загородные поездки помогали ему развеять тоску, но на этот раз все было иначе. Скоро действительность, олицетворяемая его народом, отнимет утешение, которое он черпает в открытом вельде*. Круг сужается, мелькнула тревожная мысль.

— Поехали, я хочу осмотреть эту дорогу.

Они снова забрались в машину и проехали по шоссе еще около мили. Затем они свернули налево, и машина запрыгала по ухабам, воспроизводя путь, проделанный Кэтце-Вестхьюзеном, когда он вез своего подопечного с деньгами. В одиноком домике, на расстоянии мили от берега, они нашли двух стариков, которые доживали здесь свой век вдали от всего мира. Старики встретили их неприязненно, но патрульные заверили Ван Аса, что они вполне лояльны. И дорога и берег были усыпаны камнями, которые мешали проследить путь Нкози-Дьюба, но, стоя возле моря, Карл Ван Ас составил себе поразительно точное представление о происшедшем. Сейчас самое важное, спокойно подумал он,— найти недостающее звено — того, кому передали Дьюба. И зашагал прочь от берега, избрав направление, которое, по его догадке, должны были избрать Кэтце-Вестхьюзен и Нкози-Дьюб.

Лоув хотел последовать за ним, но второй полицейский остановил его жестом.

— Мы ему сейчас не нужны. Он уже нашел то, что искал.

— Но ведь он только стоял и смотрел...— удивился Лоув.

— Ты что, слепой? — В голосе второго полицейского проскользнули нотки снисходительного презрения.— Я думаю, нам надо выехать на шоссе.

— Но...

— Он выйдет туда же.

— Если ты так считаешь...— с сомнением процедил Лоув.

— Поехали.

Прошел целый час, прежде чем полицейские увидели Ван Аса: он шагал по бесплодной, выжженной земле, направляясь к шоссе. Даже издали было заметно, какой он худой и высокий. Двигался он легким, проворным шагом, словно африканский леопард, и, казалось, чувствовал себя в этих диких, безлюдных местах как дома.

Когда он подошел к автомобилю, второй патрульный тронул руку Лоува, советуя ему помолчать. Ван Ас оглянулся назад — в ту сторону, откуда он только что пришел. Затем уселся в машину и бросил холодным, безучастным тоном:

— Поехали.

Всякий раз, когда от шоссе ответвлялась дорога или просто достаточно широкая тропа, он приказывал сворачивать на нее. Так они колесили весь день, пока уже под самый вечер, когда солнце висело над самым краем земли, не достигли, наконец, тропы, по которой ехал Кэтце-Вестхьюзен. Карл Ван Ас вылез из машины. Перед ним была стена сахарного тростника, которая поднималась выше машины. Карл Ван Ас прошелся взад и вперед, внимательно осматривая почву под ногами, и неожиданно увидел межу, футов в десять шириной, по которой мог бы проехать небольшой трактор, косилка или погрузчик. Он сделал несколько шагов вдоль межи, шаря вокруг себя глазами. Но хотя он не увидел и не нашел ничего подозрительного, его нервы, как тогда на берегу, напряглись, и какое-то древнее, необъяснимое чутье — может быть, инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда человек был еще животным,— подсказало ему, что он отыскал место, где состоялась встреча Кэтце-Вестхьюзена с подпольщиками. Он пристально осмотрелся кругом, как бы ожидая от земли и высоких побегов подтверждения своей догадке.

Как раз в это время, в машине, Лоув поглядел на часы и проворчал:

— Мы тут из-за него проторчим всю ночь.

— Ну и что?

— Я хочу домой.

— А ты знаешь, кто он?

— Конечно. Парень из безопасности. Зовут его Ван Ас.

Второй полицейский сокрушенно покачал головой.

— Ты бы хоть иногда заглядывал в газеты или слушал, что говорят люди. Этот «парень из безопасности», как ты выражаешься, пользуется бóльшим влиянием, чем любой другой человек в Натале и многие лидеры страны. Он был секретарем президента еще до того, как президент стал президентом; и он работал вместе с премьер-министром еще до того, как тот стал премьер-министром. Говорят, он любимец обоих. В последнее время министр иностранных дел несколько раз брал его с собой старшим консультантом, когда выезжал за границу.

— Тогда почему же он работает в этом учреждении?

— Так подготавливают людей для высоких постов. Перебрасывают их с места на место — и всякий раз с повышением.

— И все же я хочу домой.

— Неужели у тебя нет других желаний, кроме как спать со своей женой? Когда ты вернешься, она будет дома — и только теплее от ожидания. И зачем ты работаешь — ума не приложу... Так вот, знай: когда устраивают какой-нибудь важный

---

* Вельд *(африкаанс)* — поле, поросшее травой, холмистое плато в Южной Африке.

прием или в страну приезжает высокопоставленный гость, его непременно приглашают в президентский дворец.

— Стало быть, он важная птица. Ну и что? Почему мы должны торчать здесь всю ночь?

— Неужели тебе хочется всю жизнь служить вшивым патрульным и каждые две недели отправляться в ночной наряд?

— Н-нет...

— Тогда пойми же, наконец, что одно его слово стоит дороже, чем двадцать представлений, которые напишет сержант.

— Смотри, он машет нам рукой.

— Поезжай. Только успокойся и не проявляй излишнего рвения. Говорят, что он дьявольски умен,— и я сам теперь в этом убедился. Так что помалкивай и слушай!

— Хорошо,— угрюмо согласился Лоув.

Ван Ас сел в машину и приказал ехать вдоль межи, разделявшей две плантации тростника. Через несколько миль, за небольшой водокачкой, они увидели развилку: одна тропа вела к большому дому, другая — плавно поднималась обратно к шоссе.

Ван Ас был в недоумении. Он не сомневался, что передача Дьюба-Нкози состоялась на краю сахарной плантации. Но почему именно там!

— Ну что ж,— сказал он,— на сегодня, кажется, все. Теперь можно ехать назад. Спасибо вам обоим за помощь.

К этому времени солнце уже скрылось за натальскими холмами, и земля купалась в тусклых отблесках света, в котором было что-то нереальное. Здесь сумерки наступают сразу, без той медлительной ласковости, с какой они разливаются по трансваальскому плато, где ночь, как и весна, наступает с мягкой постепенностью. Кажется, будто кто-тс повернул выключатель. Солнце село, но его лучи все еще золотят землю, и вдруг — щелк: сиянье погасло, все погрузилось в мрак.

Лоув включил фары. Автомобиль сделал несколько рывков и помчался со скоростью шестьдесят миль в час. Мотор перешел на ровное, негромкое урчание. Ван Ас вылез около управления безопасности.

— Я бы хотел, джентльмены,— сказал он,— чтобы завтра вы выполнили одно мое поручение. Оставьте все другие дела, переоденьтесь с утра в штатское и поезжайте туда, где мы были сегодня. Я уверен, что кто-нибудь видел, как Кэтце-Вестхьюзен ехал на встречу с туземцем, и я уверен, что кто-нибудь видел и вторую машину в ту ночь. Расспрашивайте до тех пор, пока не выясните. Потратьте на это столько времени, сколько понадобится: день, два или три. Но, сами понимаете, что промедление уменьшает наши шансы на успех.

— Понимаем, сэр,— сказал второй патрульный.— Сколько раз вам докладывать? Дважды в день?

— Докладывайте только тогда, когда есть, что́ докладывать. Звоните мне в управление в любое время дня и ночи.

— Есть, сэр. Но наш сержант...

— Я все улажу. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, сэр!

Когда машина тронулась, Лоув бросил быстрый взгляд на своего напарника и с трепетом в голосе сказал:

— Ты был прав.

В канцелярии один из дежурных вручил Ван Асу запечатанное письмо от секретарши. Ван Ас прочитал его в кабинете. Там содержался длинный список телефонных номеров с указанием точного времени, когда звонить по каждому. Он взглянул на часы, набрал один из номеров и вызвал телефонистку. Она тотчас же узнала его голос.

— Я ждала вашего звонка, сэр.

— У вас есть список номеров?

— Да, сэр.

— Превосходно. Через два часа я буду у своего личного телефона.

— Звонить по девять-пятнадцать?

— Да; и позаботьтесь, чтобы линия была абсолютно свободна.

— Хорошо, сэр. Я вас вызову.

У нас работают прекрасно подготовленные люди, подумал он. Дай бог, чтобы подпольщики, наконец, уразумели это.

Оборвав нить своих размышлений, он вынул бумагу и ручку и сел писать доклад, где подробно изложил все, что ему удалось установить за это время, а также высказал свои соображения по поводу дальнейшего ведения дела. Единственное, о чем он не написал, о чем даже не упомянул, было его личное знакомство с человеком, известным под именем Ричарда Нкози.

Было уже без двадцати девять, когда Ван Ас окончил доклад. Он запер его в потайное отделение стола и вышел из управления. Он был голоден, измучен и чувствовал себя безнадежно одиноким — более одиноким, чем когда бы то ни было за

два года, которые прошли с тех пор, как они виделись в последний раз, и он знал, что в этот день ее гордость восторжествует над его гордостью.

Без трех минут девять он был в своей квартире. Десять минут ушло на то, чтобы принять душ и переодеться, и он как раз усаживался, чтобы выпить вина, когда под рукой у него зазвонил телефон. При мысли о своей точности он почувствовал невольную гордость. Послышался знакомый голос — так же отчетливо, как если бы говорили по соседству, а не из далекого Кейптауна.

— Карл...

— Да, сэр. Рад вас слышать.

— И я тебя тоже, мой мальчик. Послушай... Это дело... Насколько я понимаю, оно поручено тебе...

— Да, сэр. И я выяснил, что убитый, тот самый, что называл себя Кэтце, сопровождал связного, который был высажен на берег.

— Так вот откуда у них деньги!... Этого человека надо найти, Карл. Во что бы то ни стало!.. Послушай! Утром ты получишь донесения. Начинает создаваться легенда, а это всегда опасно. На тайных сборищах в Претории, Иоганнесбурге и во всех районах, где добывают алмазы и золото, уже поговаривают о новом герое-подпольщике, неуловимом и бессмертном, ибо он-де воплощает дух свободы и поэтому неуязвим. И этот слух распространяется все шире и шире, мой мальчик! Зовут его Ричард Нкози, и он привез деньги для подпольщиков, говорят они, а потом уехал назад. И он может приезжать и уезжать, когда захочет, потому что мы бессильны перед ним. Ну, ты знаешь, что болтают в таких случаях?

— Да, сэр.

— Так вот, мой мальчик, я не хочу распространения этой заразы. Не то дело может принять серьезный оборот. Мы должны уничтожить этот миф прежде, чем он успеет пустить корни.

— А для этого мы должны арестовать человека, которого возвели в герои мифа, и предать его открытому суду.

— Да, и покарать его на виду у всех, мой мальчик. Я хочу, чтобы ты совершил это ради меня, ради нашего народа. Не отступай ни перед чем! И помни, что в нашем распоряжении не так уж много времени. Мы бы не хотели, чтобы иностранные журналисты и бабуины из Организации Объединенных Наций раздували эту историю. Теперь все в твоих руках. Если что-нибудь понадобится, позвони. Ясно?

— Ясно, сэр.

— Ну, вот и хорошо. У меня тут посетители, так что о личных делах поговорим потом. Спокойной ночи, Карл! Постарайся развеять легенду.

— Спокойной ночи, сэр.

Карл Ван Ас положил трубку, откинулся назад и закрыл глаза. Немного погодя телефон зазвонил снова. Он снял трубку, заранее зная, что это звонит телефонистка со станции.

— Слышимость была отличная. Благодарю вас,— сказал он.

— Спасибо. Доброй ночи, сэр,— сказала она и разъединила линию, которая нарушила телефонную связь по всей стране.

3

Допив вино, Карл Ван Ас снова потянулся к телефону. Память тотчас же подсказала ему номер, который он не набирал вот уже два года и, казалось, окончательно забыл. Он крутил диск быстро и уверенно. Один за другим послышались шесть длинных гудков — и он почувствовал, как у него напряглись нервы. Что, если ее нет? Что, если она куда-нибудь уехала? Два года — не шутка. Он сделал глубокий вдох... Еще через четыре гудка раздался щелчок. Ван Ас закрыл глаза в ожидании.

Ее голос совсем не изменился, Ван Асу казалось, будто ее прохладные пальцы гладят ему лоб.

— Хелло, Милдред,— сказал он.

В ее молчании Ван Ас угадал растерянность.

— Хелло, Карл,— наконец произнесла она.— Что тебе нужно?

— Как поживаешь, Милдред?

— Не все ли тебе равно?

— Я заслужил этот упрек. Но мне далеко не все равно.

— Тебе наскучило одиночество?

Теперь ее холодный голос вонзался в него, как нож, причиняя дикую боль. Он встал, чтобы легче было переносить это нестерпимое мучение.

— Да,— спокойно проговорил он.— Но ты права, я в самом деле страдаю от одиночества. Хотя и не скучаю. Разреши мне заехать к тебе.

— Вот так, просто?

— Да.

Все время, пока продолжалось ее молчание, он слегка покачивался.

— Я думала, ты оставишь меня в покое.

— И я тоже так думал. Но я не могу.

— Не можешь? Такой человек, как ты?

— Хорошо, пусть будет «не хочу». И все-таки самое верное «не могу». Даже такой человек, как я, может далеко не все... Милдред?

— Да.

— Ну, пожалуйста...

— Чего ты добиваешься, Карл?

— А сама ты чего добиваешься?

— Мне не надо ничего, кроме душевного спокойствия и работы.

— И все это у тебя было в течение двух лет?

— Ты с каждым днем становишься все искуснее в своем ремесле, Карл.

— Если ты хотела сделать мне больно, ты достигла своей цели,— обронил он спокойно, как бы невзначай, но женщина хорошо знала его и знала, чего стоят ему эти слова.

Когда она заговорила снова, в ее голосе уже не было прежней резкости.

— Это не приведет ни к чему хорошему, Карл.

— Так ты обрела душевное спокойствие?

— Нет.

— И я тоже — нет... Ну, пожалуйста...

— Зачем? Ты же знаешь, нас могут притянуть к суду. Подумай о карьере.

— Пожалуйста, Милдред.

Наступила долгая пауза, затем женщина промолвила голосом несчастного заблудившегося ребенка:

— Хорошо, Карл... Но...

— Я готов взять всю ответственность на себя,— предупредил он ее возражение. И только тогда в его голосе прорвалась долго сдерживаемая нежность: — Жди меня через десять минут.

Небольшой дом, где жила Милдред, стоял на самом краю квартала цветных. Улица, проходящая мимо дома, служит своего рода демаркационной линией между белыми и цветными. По неписаному закону тут селятся самые респектабельные цветные — те, кто ближе всего к белым своей внешностью, манерами, образованием, богатством. Ведут они себя как люди, подвергающиеся постоянному испытанию, хотя и не признаются в этом даже самим себе. Их дети никогда не играют на улице; сами они стараются не шуметь; и если у них бывают вечеринки или ссоры и драки — все это происходит тихо, за плотно закрытыми дверьми. По другую сторону демаркационной линии живут самые бедные белые рабочие; как только представляется возможность, они тотчас же переезжают на другое место. По субботам и воскресеньям белые обычно буянят: устраивают драки и поливают друг друга отборными ругательствами; но там, где живут цветные, стоит неизменная тишина.

Почти все дома цветных обнесены высокими заборами или же густыми и высокими живыми изгородями; ворота — всегда на запоре. Небольшой дом на углу огражден и забором и живой изгородью. Забор поднимается на добрых восемь футов — в него вмазаны осколки бутылочного стекла, а сверху в два ряда тянется колючая проволока. Во дворе теснятся храмовые, папоротниковые, огненные деревья, окружающие дом наподобие высокой, пропитанной благовоньями ширмы; они осыпают и сад, и тротуар за оградой белыми, красными и лиловыми цветами. Бетонные стены дома затканы вьющимися розами. А под ногами стелется ковер из густой, ровно подстриженной травы с широкими побегами.

Дом принадлежит мисс Милдред Скотт, незамужней тридцатипятилетней женщине, директрисе самой большой школы для цветных девочек в Натале. Живет она там одна, если не считать старухи гриквы *. Старуха эта составляет «наследственную собственность» мисс Скотт; она нянчила Милдред, когда та была еще ребенком, а затем стала ее гувернанткой и служанкой. Когда же Милдред Скотт покинула ферму, расположенную в восточном Гриквеленде, где жили ее родители, и поступила в Кейптаунский университет, старуха поехала вместе с ней.

Старуха гриква была единственной свидетельницей того, как Ван Ас впервые посетил двухкомнатную квартирку Милдред Скотт в тихом кейптаунском предместье. В тот вечер она накормила их ужином. И прислуживала им во все последующие вечера. Разумеется, когда они разговаривали, смеялись или готовились к лекциям, она уходила в другую комнату. Часто в лунные ночи они ездили на морское побережье, и она собирала им корзинку с едой. В те времена в Кейптауне, особенно среди университетской молодежи, допускались еще многие послабления. Само собой понятно, надо было соблюдать осторожность. В некоторых частных домах устраивали смешанные вечеринки, и можно было найти не слишком ярко освещенные рестораны, где администрация не выказывала особой придирчивости — лишь бы молодые люди были из приличных семей. Старуха гриква видела, как зародилась и расцвела их любовь,— естественно, она ничуть не удивилась, обнаружив однажды утром, что молодой человек ночевал у них дома. Она приготовилась к наступлению дня свадьбы и даже стала строить кое-какие тайные планы. Когда этот — казалось бы, неминуемый — день так и

* Гриква — цветные, люди смешанной крови.

не наступил, она приняла это как закономерное следствие установленного порядка вещей — может быть, и не наилучшего, но, увы, независящего от ее воли.

Первым закончил университет молодой человек. Он уехал и возвратился, еще раз уехал и еще раз возвратился. От него приходили письма со всех концов света. Он уезжал и возвращался, уезжал и возвращался.

Потом получила университетский диплом и Милдред Скотт. Сначала она работала в Свободной республике *, затем в Трансваале и, наконец, в Капской провинции. И все это время он присылал письма, и все это время Милдред Скотт продолжала жить уединенно — так, чтобы иметь возможность принять его в любую минуту. Именно поэтому она не заводила подруг, поддерживала только деловые знакомства и каждый свой новый дом превращала в прекрасный, но недоступный для посторонних глаз остров, который становился все больше и великолепнее, по мере того как росло ее жалованье. Вначале многие влиятельные люди из тех мест, где она работала, пытались преодолеть ее замкнутость. Женщины настойчиво приглашали ее на собрания и в клубы. Молодые люди ухаживали за ней. Но со временем и женщины и молодые люди отказались от своих бесплодных попыток, и мисс Милдред Скотт осталась в обществе старухи гриквы, что, по-видимому, вполне соответствовало ее желаниям. Несколько любопытных пожилых дам пробовали подступать к старухе с расспросами, но так ничего и не добились. Всегда сдержанная и уравновешенная, Милдред Скотт держалась с достоинством, вызывавшим всеобщее уважение; она прекрасно руководила школой, но, вне круга своих служебных обязанностей, отделяла свою судьбу от судьбы окружающих людей и от судьбы всей страны. Так, по крайней мере, думали все, кому казалось, что они знают Милдред Скотт.

Круто повернув, машина въехала в ворота, распахнутые старухой гриквой. Через несколько мгновений машина стояла в гараже, рядом с крошечным старым автомобилем английской марки, который принадлежал Милдред. Старуха закрыла ворота на засов и поспешила в дом, чтобы быть наготове, если понадобятся ее услуги. Карл Ван Ас встретился с ней на первой ступеньке лестницы, которая вела к веранде.

— Хелло, Лена,— приветствовал он ее таким тоном, как будто они виделись только вчера.

— Хелло, мистер Карл,— ответила она с невозмутимостью, предполагавшей естественность долгих отлучек. Он поднял глаза вверх, на веранду, и где-то в глубине его души закопошилось возмущение: почему она не вышла навстречу! Но он тут же подавил это чувство. Он медленно пересчитал все шесть ступенек лестницы и вошел в открытую стеклянную дверь гостиной. Его обоняние защекотал густой запах роз. И когда, чуть погодя, она вышла из другой двери, у него было такое ощущение, будто он вот-вот упадет: он стоял робкий, неловкий, встревоженный — как в тот далекий день, когда он впервые осмелился заговорить с ней... Это единственная женщина, которую я хотел бы видеть своей женой!... В следующий же миг робость, неловкость, тревога отпали. В душе разлился покой: с нее как будто свалилось тяжкое бремя. Здесь, по крайней мере, он не одинок; здесь, рядом с ней, еще возможно успокоение... Но успокоение — опасная слабость в этом осажденном мире... Он пытался смотреть на нее зоркими глазами рассудка, но чувство притупляло его зрение, а воспоминания о волнующих мгновениях близости дробили ее образ: он видел перед собой целую вереницу лиц, принадлежавших этой женщине, которую он знал много лет, заполненных краткими тайными свиданиями... Только женщина способна на такое постоянство.

По лицу Милдред Скотт пробежала тень, выдававшая некоторое волнение, но затем на губах появилась ничего не выражающая вежливая улыбка, которой она обычно прикрывала свое смущение:

— Ты похудел, Карл, но это тебе идет.

— А что мне сказать?..

— Много воды утекло за эти два года. Неудивительно, что ты в растерянности.

— Не надо так говорить, Милдред.

— Ладно, не буду. Но что я должна делать, по-твоему? Броситься тебе на шею за то, что ты осчастливил меня своим посещением? Уж не заразился ли ты сам болезнью, которую, по твоим словам, ненавидишь?

Она повернулась и села. В этот миг он снова почувствовал, как сильно пахнут розы. Во всех углах гостиной стояли большие вазы с цветами.

— Я же написал тебе, Милдред. И все объяснил.

— И ты думаешь, объяснениями можно залечить всякую боль? Стоит все объяснить — и слепой прозреет, хромой начнет ходить, а горбатый выпрямится?.. Пожалуйста, не вынуждай меня говорить то, чего я не хочу. Я поймала тебя на слове. Мы договорились, что будем честны друг перед другом и признаемся, когда у кого-нибудь не хватит сил. Ты написал — и я поймала тебя на слове. Ты сам выбрал разрыв со мной. Вот в чем вся суть. А объяснения не имеют никакого значения — в конце концов это лишь способы подкреплять и оправдывать принятые решения. Ты решил не возвращаться — и я примирилась с этим. А теперь...

---

* Подразумевается Оранжевое Свободное государство — провинция ЮАР.

Он перебил ее со спокойной небрежной уверенностью, знакомой ей с давних пор.

— Я сам не знаю, чего добиваюсь.

Женщина молчала. Гнев и негодование в ее сердце иссякли, их место заняло спокойствие, которое постепенно передавалось мужчине. И это человек, сказала она себе хладнокровно, ради которого я пожертвовала всем, за исключением своей работы — так мне хотелось, особенно вначале, насладиться жизнью и молодостью, ощутить свою связь с одушевленным ферментом, составляющим основу естества. Я знаю этого человека. Я отдала ему все, что у меня есть, все свое существо — и поэтому я хорошо его знаю и понимаю, что главное для него — поставить перед собой определенную цель.

— Ты понимаешь, что я хочу сказать, Милдред? — спросил он.

— Пытаюсь.

— Тогда ты должна понять и то, почему я написал тебе письмо и почему я опять здесь.

— А если я не захочу понять?

Он пожал плечами и отошел от нее в сторону.

— В таком случае у меня один выход: уступить.

— Уступить?

— Да. Тем, кто сеет ненависть и страх.

А ведь когда-то я опиралась на этого человека, черпала в его любви силу, утешение, уверенность, думала женщина, как давно это было!.. А теперь?

— Ты ужинал, Карл?

— Я сыт.

Она встала и вышла из комнаты. Вернувшись, она взяла два бокала и налила в них вино.

— Можно тебя поцеловать? — спросил он, подойдя к ней.

Она протянула ему обе руки. Он пожал их, потом обнял ее и жадно привлек к груди. И только тогда поцеловал — нежно, как ребенок, молящий о прощении. Она взяла его за руку и вывела на небольшую веранду. Оттуда они видели полосу ночного неба и краешек Млечного Пути. Немного погодя старуха гриква Лена принесла им холодного цыпленка.

— Спасибо, Лена,— сказала Милдред Скотт.— А теперь иди спать.— Она вспомнила, как часто говорила эти слова в присутствии Карла; это, кажется, было тысячи раз.

Карл Ван Ас быстро посмотрел на старуху — и для всех троих прошлое, настоящее и будущее слились в один неподвижный момент, момент, когда свершался какой-то нескончаемый ритуал.

Старуха гриква приняла этот миг с той же невозмутимостью, с какой принимала бога и магию, смерть и привидения, чудеса, говорящие деревья и плачущие скалы — ибо кто может начертать границу и молвить: «Это жизнь», «А это не жизнь»?

Ван Ас был счастлив: он как будто погрузился в очистительный океан невыразимого облегчения и сердечного покоя.

И только в душе Милдред Скотт зрел смутный, тревожный протест: казалось, кто-то разрывал невидимые тенета, грозившие связать ее по рукам и ногам и умертвить безболезненной смертью.

— Спокойной ночи, мистер Карл, мисс Милли,— сказала старуха.

Милдред уговорила его поесть. После ужина наступило долгое молчание. Затем он начал рассказывать ей о последней поездке за границу, об ужасающей изоляции, в которой очутилась их страна, и о своем глубоком унынии. Каждый раз, когда он останавливался, она спешила задать ему какой-нибудь вопрос, и он продолжал свой рассказ. Откровенность, которую он мог позволить себе только с этой женщиной, помогала ему избавиться от тоски и смятения, скопившихся в его душе. Он поведал ей о последнем задании, которое ему поручено, о поисках Нкози-Дьюба; ей-то он, само собой разумеется, мог сообщить, кто такой Ричард Дьюб, и признаться, что он скрыл тайну от своих начальников. Когда он упомянул о телефонном разговоре, состоявшемся незадолго до их встречи, в его голосе прозвучало самодовольство преуспевающего молодого человека. Но он тут же переменил тон. Наконец-то, подумала она.

На лице его замерцала странно заискивающая, мальчишеская улыбка.

— Я, кажется, начинаю рисоваться.

— Да. Но какое это имеет значение?

— Огромное. Ты единственный человек, перед которым мне хочется порисоваться; я хочу, чтобы ты гордилась мной, и дорожу лишь твоим мнением. Мысль о тебе придает важность всему, что я делаю.

— Тебе нужно мое одобрение?

— Да. Но дело не только в этом. Не будь я влиятельным человеком, нам было бы труднее встречаться.

— Ты сам знаешь, что это лишь хитроумный софизм,— сказала она мягко.— Ты так и не научился ловить себя на самообмане и суемудрии.

— Разве я не пользуюсь относительной свободой, не могу приезжать к тебе почти всегда, когда мне захочется?

— Дело совсем не в этом.

— И все-таки это важно.

— Может быть.

— Может быть? В чем же тогда дело? Объясни мне, пожалуйста.

— Ты сам знаешь, Карл. И только поддаешься...

— Самообольщению,— насмешливо довершил он.

— Ты говоришь в шутку, но это сущая правда. Ведь ты ищешь моего одобрения **задним числом.**

— Ты права, но все не так просто, как тебе представляется.— Он задумался, а затем, тщательно подбирая слова, продолжал: — Ты не можешь жить одна. Многие пытались жить в одиночестве, но это была лишь иллюзия. Человек не создан для одиночества. Он прочно связан со своим народом, с его историей и культурой, с его ценностями... Поэтому каждый из нас, нередко сам того не сознавая, трудится ради одобрения **своего** народа. Может быть, я чрезмерно упрощаю, но ты понимаешь, что я имею в виду.

— Да, понимаю: теперь ты рассуждаешь логически.

— И когда человек считает, что его народ свернул с правильного пути, он оказывается в затруднительном положении. Если ты наделен мужеством Яна Хофмейера, ты встаешь и высказываешь все, что у тебя на уме, а затем живешь и умираешь с тягостным сознанием, что ты отвергнут родным народом. Но не все мы вылеплены из такого теста. Есть люди, которые не могут поднять это бремя и даже не пытаются встать. Но они понимают и чувствуют...

— И терзают других,— тихо вставила она.

— Да, и терзают других.

— И поэтому нуждаются в утешении.

— Да, ты, бесспорно, права. Но неужели ты думаешь, что меня привела к тебе лишь потребность в утешении? Почему же тогда я не женился, несмотря на то, что у меня было столько возможностей? Что ж, это верно; терзая других, мы нуждаемся в утешении.

— О боже! — чуть слышно выговорила Милдред Скотт. Но через мгновение она добавила: — Ведь это уравнивает нас, не правда ли, Карл?

— Я только защищаюсь от нападок.

— Ты не хочешь допустить, будто ты нуждаешься в утешении?

— В утешении, в котором есть что-то зазорное. Разве не естественно, что мужчина обращается за утешением к любимой?

— Естественно. Мне только не нравится, когда любовь навьючивают тяжким грузом объяснений и доводов. Это нечто субъективное, эмоциональное, алогичное. Вопрос стоит так, Карл: почему ты не приезжал два года — я не хочу вспоминать о твоем письме — и почему ты сейчас здесь.

Карл Ван Ас встал и спустился по ступенькам во двор, устланный толстым зеленым ковром. Женщина зашла в комнату и снова наполнила бокалы вином. Проходя мимо трюмо, она взглянула на свое отражение. Возле глаз стали собираться мелкие морщинки. Годы давали себя знать. Карл, в свои тридцать девять лет, противостоял натиску времени гораздо успешнее. Мне тридцать пять, подумала она с некоторым удивлением. Она не ощущала своих лет, да и как должна чувствовать себя женщина в тридцать пять? Она стала только более сдержанной, более уверенной в своих силах, чем в те дни, когда встретилась с Карлом, вот и все. Ему было тогда двадцать три; он страдал болезненной робостью и обидчивостью, но она сразу заметила его наблюдательность и ум. И, конечно же, их соединяло физическое чувство, которое зародилось в первое мгновение и с тех пор уже не гасло. Шестнадцать лет длилась эта странная любовь! Но ведь я сама так захотела, шепнула она своему отражению. И понесла бокалы в сад.

Она не предполагала, что их любовь затянется так надолго. А для нее это была любовь с первого взгляда — чувство, залегающее в самой глубине, которое, она знала, обрывается лишь со смертью. Она уже смирилась с его уходом и сжилась с мыслью, что он никогда больше не вернется. И в своем воображении видела себя замужем за милым, приятным, порядочным человеком; она будет ему верной женой и хорошей матерью его детям.

Она знала, что Карл ее любит; но разные люди любят по-разному; случается, любовь убивают жизненные трудности или долгая разлука. Поэтому она была удивлена, растеряна и даже немного обеспокоена, видя, что он продолжает ей писать и возвращается снова и снова. В конце концов она поняла, что его чувство так же глубоко, как и ее, и не менее долговечно. И тогда она неторопливо и тщательно стала приспосабливать свою жизнь к этой новой реальности...

Она нашла его под огненным деревом.

— Я не приезжал к тебе, потому что мне было страшно,— сказал он с неожиданной резкостью, даже грубостью.

— Перед чем же ты испытывал страх?

— Перед тем, что они творят. Перед тем, что мне придется делать выбор между ними и тобой.

— Но ты уже сделал свой выбор, Карл.

— Это мой народ, Милдред. Нельзя повернуться спиной к своему народу только потому, что он идет к катастрофе. А дело неминуемо кончится катастрофой. Все зависит от момента.

— И от того, сколько крови будет пролито.

— Да, и от того, сколько крови будет пролито. Я знаю, Милдред, тебя тоже глубоко волнует все происходящее. Ты никогда не говорила об этом; но я знаю, что это тебя волнует, и, наверно, бывают минуты, когда твое сердце наполняется ненавистью.

— Только не к тебе, Карл.

— Мне было страшно... О, Милдред! Я страшился того, что они скажут и сделают, если поймают нас с тобой. Ведь это все-таки мой народ.

— Знаю, Карл.

Они вместе вошли в дом.

4

Мисс Анна де Вет была озадачена. Первая трещина, которую два дня назад она заметила в самообладании Карла Ван Аса,— мимолетная вспышка ревности, вызванная ее заигрыванием с полицейскими, вселила в нее кое-какие надежды. Но в это утро он заявился позднее обыкновенного; в петлице у него красовался цветок, а в глазах прыгала лукавая искорка. Чувство близости к родному народу, которое она заметила в нем в последние дни, уступило место отчужденности, приправленной легкой иронией и насмешкой,— и тут она осознала свое бессилие. Но он делал свое дело, и делал его с еще большим пылом и рвением, чем всегда.

Зазвонил городской телефон. Она сняла трубку, ответила, затем щелкнула переключателем и сказала Ван Асу:

— Вас спрашивает мистер Дю Плесси, сэр.

— Соедините меня с ним.

Несколько мгновений она подслушивала их разговор, но потом отключилась.

— Джепи! Что нового? Надеюсь, вы припасли для меня какой-нибудь сюрприз?

— Да. Кэтце-Вестхьюзена трижды видели в разных местах с индийцем Сэмми Найду. И вот что любопытно: этот Найду возглавлял самый большой профсоюз кули, пока не вступил в силу закон о принудительной регистрации и обязательной санкции властей. Тогда он стушевался. Даже не попробовал получить одобрение правительства.

— Весьма интересно, Джепи. Продолжайте.

Мы довольно легко установили, что двенадцать-пятнадцать лет тому назад этот Найду был настроен крайне воинственно — настолько воинственно, что одна из коммунистических газет того времени яростно нападала на него за так называемые **«ультралевые убеждения».** И вот не забавно ли, что **внезапно — как только коммунизм был объявлен вне закона и введен контроль над профсоюзами** — Найду сделался этаким кроликом?

— Где он сейчас работает?

— Служит клерком у Нанды, богатого торговца-кули. Но мы думаем, что это лишь маскировка.

— И все это за два дня? Вы меня поражаете, Джепи.

— Не иронизируйте, Карл. Мы следим за Найду много лет.

— Это уже лучше. Почему?

— Отчасти потому, что у него такое прошлое; отчасти потому, что он держится слишком смирно, чтобы можно было ему верить, и отчасти для порядка; есть и еще одна причина: его старший брат работает в полиции. Но тот совсем другая птица.

— Добропорядочный **кули,** я полагаю.

Человек на другом конце провода запнулся, словно у него что-то застряло в горле.

— Извините, добропорядочный индиец,— наконец, проговорил он.

— Правильно, Джепи. Они все-таки индийцы, а не кули. Всякий раз, когда вы говорите «кули», вы точно плюете на них.

— Я сказал: извините.

— Хорошо... У вас есть донесения о встречах между Найду и Кэтце-Вестхьюзеном?

— Конечно.

Карл Ван Ас весело улыбнулся, довольный, что ему удалось сбить спесь с Джепи Дю Плесси.

— Вы не могли бы послать их мне? И все, что у вас есть о Найду?

— Ладно! Но у нас есть еще одно важное сообщение, которое я приберег под конец. Мы подозреваем, что Найду связан с доктором Нанкху. Пока это лишь смут-

ное предположение. Но по меньшей мере дважды, через час после встречи с Кэтце-Вестхьюзеном, Найду видели вместе с Нанкху. Все эти сведения содержатся в досье, и я посылаю его вам.

Карл Ван Ас чувствовал, что собеседник глубоко уязвлен его замечанием, и знал, что тот снес это замечание лишь потому, что оно исходило от него. Будь на его месте кто-нибудь другой — ну, не самый высокий начальник, а хотя бы более или менее равный по чину — Джепи Дю Плесси непременно взорвался бы. Джепи был старым служакой — превосходным работником, несмотря на свой махровый национализм. Впрочем, даже кадровые работники остерегались людей, которых натаскивали для политической карьеры. Ван Ас только не знал, что Джепи Дю Плесси пригласил своего помощника, инспектора сыскной полиции Янсена послушать этот разговор. И что Анна де Вет, решив проверить, не освободился ли телефон, услышала замечание, которое он сделал Джепи, и заинтересовалась, что за этим последует.

— Отличная работа, Джепи,— сказал Карл Ван Ас, втирая соль в рану.— Но не забывайте прибавлять «мистер», когда обращаетесь к людям других рас. От этого нас не убудет, зато мы сможем добиться больших успехов. До свидания...

Анна де Вет не успела еще повесить трубку, как услышала голос Дю Плесси:

— Нет, вы только подумайте! Среди всех этих наглецов, сукиных сынов политиканов!.. Ей-богу, я когда-нибудь доберусь до него.

И она узнала голос инспектора Янсена.

— Легче на поворотах, шеф,— предостерегающе сказал он.

Наступило мертвое молчание.

Несколько минут Анна де Вет сидела, глубоко задумавшись, затем положила трубку на место, встала и решительно вошла в кабинет своего начальника.

Едва посмотрев на нее, он понял, что случилось что-то необычное.

— Я хотела бы поговорить с вами, сэр.

— Это касается работы или ваших личных дел?

— Это касается телефонного разговора, который только что закончился.

— Вы его подслушивали?

— Случайно, и только в самом конце.

— Продолжайте.

— Я включилась в тот момент, когда вы посоветовали Дю Плесси прибавлять «мистер», обращаясь к людям других рас. После того, как вы повесили трубку, я услышала голос Дю Плесси: «Среди всех этих наглецов, сукиных сынов политиканов!.. Ей-богу, я когда-нибудь доберусь до него!» И голос инспектора Янсена ответил: «Легче на поворотах, шеф!» Я подумала, что вы должны знать об этом, сэр.

— Спасибо, Анна... Но не унывайте. У нас нет никаких причин для огорчения.

Анне де Вет очень хотелось предостеречь его, попросить быть осторожнее, но она поборола это желание, резко повернулась на каблуках и вышла.

Карл Ван Ас еще долго раздумывал над происшедшим. Он знал, что Анна де Вет придерживается тех же взглядов, что и Дю Плесси: она противница того, чтобы говорить «мистер» индийцам, цветным и черным. Ее предупреждение сделано под влиянием чувства, которое она питает к нему — или по крайней мере так ей кажется.

В конце концов он решил, что ему необходимо выбить это оружие из рук Джепи прежде, чем тот успеет им воспользоваться. Он вызвал Анну де Вет и продиктовал ей конфиденциальную докладную на имя доктора Снеля; в этой докладной он сообщал о ходе расследования порученного ему дела, о телефонных разговорах с Дю Плесси и о том, что он посоветовал ему по возможности соблюдать вежливость в обращении с небелыми. Правительство намерено, добавлял он, проводить свою политику по отношению к небелым, избегая излишних трений, всего, что может привести к ожесточению.

Досье прибыло перед самым перерывом, и Ван Ас никуда не пошел. Анна де Вет принесла ему сандвичи и кофе. К концу дня он тщательно изучил все содержимое досье, знал его до мельчайших подробностей. Связь между Кэтце-Вестхьюзеном и Найду была для него совершенно очевидной. Предположение о связи между Найду и Нанкху оставалось всего лишь предположением, но для этого предположения были достаточно веские основания — особенно, если вы начинали интересоваться загадочными совпадениями: почему-то доктор всегда принимал роды в тех местах, где мог встретиться с Найду как раз после того, как тот говорил с Кэтце-Вестхьюзеном. У Найду нет своей машины. Доктор же пользуется свободой передвижения, которой лишено большинство его сородичей. Логика и здравый смысл заставляют предположить, что в ту ночь, когда высадился Нкози-Дьюб, между Кэтце-Вестхьюзеном, с одной стороны, и Найду и Нанкху, с другой, состоялась встреча на краю сахарной плантации. Это любопытная гипотеза, несомненно заслуживающая тщательной проверки.

В конце дня Карл Ван Ас сам отнес досье в кабинет Джепи Дю Плесси, помещавшийся в большом здании полицейского управления. Там же, как он и надеялся, был Янсен.

— Я бы хотел извиниться перед вами,— начал он без всякой преамбулы.— Я уже повесил трубку, когда вдруг сообразил, что моим словам можно дать превратное истолкование. И хотя я уверен, что вы правильно меня поняли, я решил лиш-

ний раз удостовериться в этом.— Ван Ас повернулся к инспектору Янсену и объяснил, что случилось, якобы даже не подозревая, что тому уже все известно. Он снова извинился. Затем, показывая на папку, сказал: — Мне кажется, нам следует потолковать с нашим общим приятелем Найду. Может быть, мы сделаем это завтра? Большое спасибо вам; всего доброго, джентльмены.

— Убей меня бог, если я что-нибудь понимаю,— удивленно протянул Джепи Дю Плесси, после того как Ван Ас оставил его кабинет.

— Говорят, его ожидает блестящая карьера,— задумчиво пробормотал Янсен.

Поздно вечером Ван Ас и Милдред Скотт встретились на серебристом песке возле моря.

Около десяти часов вечера к дому Сэмми Найду подъехали двое полицейских и арестовали его. Это было преждевременно: приказ требовал доставить его в управление уголовного розыска лишь на следующее утро. Задержать Сэмми Найду можно было в любое время — если не в доме, который стоял на краю индийского квартала, то на работе. Но делать было нечего, и патрульный, сидевший рядом с шофером, изнывал от скуки. Когда все темы для разговора были исчерпаны, он сказал своему товарищу:

— Давай-ка сграбастаем этого кули Найду.

— Приказано завтра.

— Я знаю; а все-таки давай-ка его сграбастаем!

Шофер не питал особого желания ввязываться в эту историю. Он был человек пожилой и не любил причинять другим неприятности. Но его спутник славился своей горячностью, был дерзок на язык и мог опозорить кого угодно в переполненной столовой. Вот почему шофер был огорчен, когда его назначили в наряд с этим полицейским. Странная вещь: почти все пожилые полицейские не переваривали его и не хотели дежурить вместе с ним, но никто не смел пренебречь его мнением.

— Хорошо,— согласился шофер.

В тот миг, когда полицейские ворвались в комнату Найду, он повязывал галстук. Он весь как-то подобрался, как свечу, задул в себе мысли и чувства, повернулся к полицейским и застыл в неестественно спокойном ожидании.

— Красивый галстучек,— похвалил молодой полицейский, шныряя по комнате в поисках вина, коммунистической литературы или хотя бы чего-нибудь.

— Сэмми Найду? — гаркнул пожилой.

— Да.

Молодой смерил взглядом Сэмми Найду и решил, что несмотря на свое специальное обучение ему пришлось бы изрядно повозиться с этим парнем, если он, конечно, не трус. Иногда в сильном теле скрывается робкое сердце. Он подошел к Найду вплотную и попробовал его переглядеть. Это было чрезвычайно трудно. Даже вытянувшись во весь рост, он должен был задирать голову.

Неожиданно — это длилось всего какой-то короткий миг — полицейский прочитал в глазах своего противника язвительную насмешку. У него было сильное поползновение ударить по этой круглой физиономии, которую он видел перед собой. Но разум тотчас послал ему быстрое, резкое предупреждение: этот человек не преминет дать сдачи, а его большие кулаки — грозное оружие. Он отодвинулся назад.

— Ах ты грязный кули!

— Ну,— спокойно сказал Сэмми Найду.

— Инспектор Янсен приказал доставить тебя в управление,— вмешался пожилой полицейский.— Поехали.

— Но ведь сейчас уже поздно,— сказал Найду.

— Да, поздно. Ну и что? — внезапно завизжал молодой полицейский.

— Поехали,— повторил пожилой.

Найду сдернул полузавязанный галстук и бросил его на кровать.

— Что же ты не нацепил свой красивый галстучек? — издевательски спросил молодой патрульный.

Найду быстро накинул пиджак. Пожилой полицейский жестом показал своему напарнику, чтобы тот шел впереди. Он чувствовал, что его спутник с трудом сдерживает ярость, и хотел предотвратить эксцессы. Сопровождаемый двумя патрульными, Найду вышел из комнаты и зашагал по темному коридору.

На тускло освещенной улице смутно чернели группы людей. У калитки стояла хозяйка. С той стороны улицы у Найду что-то спросили на одном из индийских языков.

— Нет,— прокричал Найду.

— Господин начальник,— обратилась хозяйка к пожилому полицейскому,— скажите, пожалуйста, мистер Найду арестован?

— Нет,— сказал он.

— Пока еще нет,— рявкнул молодой полицейский.

— Он вернется домой, сэр?

— Не беспокойтесь,— сказал ей Найду.— Пусть никто обо мне не беспокоится.

Молодой патрульный обернулся и пихнул его:

— Хватит тебе болтать!

Женщина, склонившаяся в униженно-просительной позе, выпрямилась. Кругом быстро засновали тени. Кто-то выругал патрульных по-английски. Дело неожиданно запахло бунтом.

Но Сэмми Найду снова крикнул: «Нет»,— и напряжение тотчас спало.

— Убери револьвер,— приказал пожилой полицейский своему напарнику.

Когда полицейские привели Сэмми Найду в управление уголовного розыска и там выяснилось, что приказано было задержать его утром, дежурный сержант не на шутку рассердился. Он знал, что делом Найду занимается влиятельнейший мистер Ван Ас из управления безопасности. А из намеков пожилого патрульного он понял, что на рослого индийца точит зубы молодой полицейский. Поэтому он не хотел сажать Найду в камеру. Чего доброго, молодой полицейский соберет пять-шесть своих дружков и они расправятся с задержанным. Нет, нет, он не станет брать на себя такую ответственность. С другой стороны, отпускать Найду тоже нельзя: это может привести к еще более неприятным последствиям. Если Найду скроется, обвинять будут только его, сержанта.

Он протянул руку к телефону и набрал домашний номер инспектора Янсена, заранее готовясь к разносу.

Инспектор Янсен позвонил Карлу Ван Асу домой, но никто не подошел к телефону. Он знал, что Дю Плесси на важном банкете с неким политическим деятелем, и решил не тревожить его. Лучше всего было бы оставить Найду в управлении до утра, но дежурный сержант опасался, как бы с ним не расправился один из доставивших его патрульных. А Янсен знал, как скоры на руку бывают эти дюжие парни. Время от времени приходится спускать пар, но этого молодца надо будет проучить за его самоуправство. Кроме того, инспектор Янсен был зол, что ему испортили вечер.

Прежде чем выехать в центральное управление уголовного розыска, он снова набрал номер Ван Аса, но, как и прежде, никто не подходил к телефону. И где его только черти носят? Внезапно он вспомнил его секретаря. Девица, что и говорить, прехорошенькая. Де Вет... Он отыскал ее номер в телефонной книжке. Правда, если Ван Ас у нее, он вряд ли захочет, чтобы кто-нибудь знал об этом. И все же, при таких обстоятельствах надо сделать попытку.

— Мисс де Вет? Это инспектор Янсен из уголовного розыска. Извините, что я вас беспокою, но у меня срочное дело, и я никак не могу найти мистера Ван Аса. Его квартира не отвечает. Может быть, вы знаете, где он?

Девушка еще не забыла о том, что случилось днем, когда она подслушала телефонный разговор, поэтому отвечала сухо. Нет, она не знает, где мистер Ван Ас. Мистер Янсен не пробовал позвонить в его клуб?

Янсен заметил ее сдержанность. Все понятно, мисс, он у вас дома, но вы не хотите его выдавать. Вслух он сказал:

— Я позвоню туда. Но, если окажется, что его там нет и он позвонит вам позже...

— Он никогда не звонит так поздно, инспектор.

— Но если он все-таки позвонит, передайте ему, пожалуйста, что один из моих придурковатых парней задержал Сэмми Найду вечером, а не утром. Он сейчас в центральном управлении, и я отправляюсь туда. Хорошо, мисс?

— Но... хорошо, инспектор.

Когда Янсен положил трубку, Анна де Вет позвонила дежурному в управление безопасности и рассказал ему о звонке инспектора. Тот проверил все номера, где обычно можно было найти Ван Аса в это время, а затем распорядился, чтобы ему звонили домой через каждые пять минут.

Янсен говорил с Анной де Вет без двадцати одиннадцать. Было уже без пяти час, когда Карл Ван Ас вбежал в свою квартиру, схватил трубку дребезжащего телефона и выслушал доклад дежурного.

Ван Ас тут же позвонил в центральное управление уголовного розыска. Инспектор Янсен все еще сидел там: он был в самом скверном расположении духа.

— Извините, я выезжал за город,— сказал Ван Ас.— Давно у вас этот человек?

— С десяти вечера.

— Стало быть, все уже знают, что он задержан.

— Да. Его взяли без соблюдения мер предосторожности, так что можно не сомневаться, что все следы уже заметены.

— Но почему его взяли вечером?

— Это сделал какой-то безмозглый идиот, который еще пожалеет о своей глупости.

— А где этот человек?

— Здесь, в соседней комнате. Субъект не из разговорчивых. Я его допрашиваю уже целый час, но пока еще не смог ничего добиться. Я знаю, что вы против применения силы, но боюсь, что придется применить **силу**, для того чтобы он заговорил.

— Что вы хотите сказать? Что он не говорит ни слова?

— О нет. Он отвечает на вопросы, касающиеся его лично, и на всякие второ-

степенные вопросы. Он сообщает все свои анкетные данные: где он родился и сколько ему лет, каково его происхождение и образование. Готов даже обсуждать свои взгляды и убеждения. Но стоит лишь спросить, знает ли он Кэтце-Вестхьюзена, как он замолкает.

— Отказывается что-нибудь отвечать?

— Даже не дает себе труда отказываться. Не отвечает, да и все. Поверьте мне: если вы хотите, чтобы он отвечал, надо применить силу.

— Подождите до моего приезда.

— Давайте уж я выложу вам и все остальные наши новости,— сказал Янсен.— Те шестеро, которые представляли для нас особый интерес, скрылись, словно растаяли в воздухе.

— Все?

— Исключая Нанкху.

— Надеюсь, вы оставили его в покое.

— Да.

— Прекрасно. Сейчас выезжаю.

Карл Ван Ас скинул одежду, в которой ездил на пляж, быстро принял душ и надел костюм. Он позвонил Милдред Скотт и, услышав ее заспанный голос, сказал:

— Извини, что я тебя разбудил, но я буду очень занят несколько дней.

— Понимаю.

— Спокойной ночи. Береги себя.

— Это ты береги себя. Спокойной ночи.

— Послушай...

— Нет. Занимайся своим делом. Еще раз спокойной ночи!

5

Карл Ван Ас распахнул дверь, пропуская перед собой Сэмми Найду. Комната была большая, уютная, и если бы не решетка на окнах, никто никогда не подумал бы, что она служит для допросов. От затененных абажурами бра струился мягкий, успокаивающий свет. Обстановка состояла из небольшой кушетки под окном, двух удобных старых кресел, да письменного стола со стулом, расположенных так, чтобы сидящий за столом человек мог одновременно видеть и дверь и окно. Низенький столик перед кушеткой и неплохой, хоть и ветхий, ковер усиливали общее впечатление уюта в этой комнате, находившейся на верхнем этаже управления безопасности. Как только Карл Ван Ас увидел Найду, он тотчас же понял, что единственный шанс добиться чего-нибудь — увезти его из центрального управления уголовного розыска. Он был удивлен готовностью, с которой Янсен приветствовал его предложение.

— Я думал, что здесь вам будет приятнее вести разговор,— сказал Карл Ван Ас.— Вряд ли вам понравились грубые нравы, царящие в управлении уголовного розыска. Мне они решительно не нравятся. У нас гораздо спокойнее.

— И отсюда мне не вырваться,— пробормотал Найду.

— Естественно. У нас не так много дверей, как у них, и отсюда еще никто не сбегал. Пожалуйста, садитесь. Удобнее всего на кушетке.

— Боюсь, что вам не помогут ни мягкость, ни суровость,— слегка утомленным голосом сказал Сэмми Найду.— Так что нет никакой разницы, какие приемы вы будете употреблять.

— Вы очень уверены в себе, мистер Найду.

— Нет. Просто я не желаю играть в вашу игру.

— Почему? Может быть, мы начнем с выяснения этого?.. Но у вас измученный вид.— Он снял телефонную трубку.— Пожалуйста, принесите кофе. Большой кофейник, две чашки... Да, если есть... Ладно.— Он повернулся к Найду.— Нам подадут и сандвичи.

Найду посмотрел на часы — было без нескольких минут два.

Ван Ас опустился в кресло.

— Извините, что мы побеспокоили вас так поздно. Приказано было привезти вас утром. Увы, такие недоразумения случаются довольно часто, когда нам приходится пользоваться услугами уголовного розыска. Но управление безопасности располагает лишь небольшим штатом квалифицированных специалистов, и мы не можем выделять людей для подобного рода дел. Конечно, весьма печально, что мы оба не спим, но это еще не худшее — хуже всего то, что ваше преждевременное задержание предупредило всех об опасности...— Карл Ван Ас подождал ответа, не сводя с Найду внимательного взгляда, но тот ничего не отвечал.— Вы не хотели бы заявить протест?

— Вы знаете, я слишком утомлен,— сказал Найду.

— Нет ничего труднее,— проговорил Карл Ван Ас,— чем устанавливать контакт с человеком, который тщательно маскирует свое подлинное лицо. Приходится удить наудачу, а это довольно глупое занятие.

— Согласен, что глупое.

— Так, пожалуйста, не заставляйте меня продолжать его.

Глаза Найду зажглись интересом и удивлением, но тут же погасли. Он сказал медленно, как бы целиком занятый своими мыслями:

— Неужели вы полагаете, будто люди будут сами карабкаться на крест и покорно подставлять руки палачам только потому, что вы называете их «мистерами» и обходитесь с ними вежливо?

— Никак не пойму, говорим мы с вами об одном и том же или нет?

— А если нет, тогда отчего же я здесь?

Услышав стук, Ван Ас подошел к двери, взял поднос и поставил его перед Найду.

— Так вот, мистер Найду. Пора переходить к делу,— сказал он, разлив кофе в чашки.— Отчего вы здесь? Не будем вспоминать о преждевременности вашего задержания — вы здесь оттого, что мы столкнулись с прямым нарушением законов нашей страны, а без соблюдения законов невозможна никакая цивилизованная жизнь. Наберитесь терпения — сейчас я вам расскажу обо всем, что мне известно, а также о своих догадках и выводах. Начнем с человека, которого мы знаем под фамилией Кэтце, а вы — под фамилией Вестхьюзен и который был убит одиннадцать дней назад. Если вы хотите убедиться в полноте наших сведений, могу показать вам досье. У нас есть доказательства, что этот человек был мелким наемным агентом подпольной организации. Доказательства эти пока еще не исчерпывающие, но, поверьте мне на слово, у нас будет все необходимое к концу этой недели — в ближайшие три дня. Затем мы установили — и тут у нас имеются исчерпывающие доказательства,— что вы, мистер Сэмми Найду, знали Кэтце-Вестхьюзена и как Кэтце, и как Вестхьюзена. Я предполагаю, что вы даже давали ему поручения от лица подпольной организации, а это означает, что вы являетесь одним из ее членов. Но это только мои предположения, а предположения еще не доказательства. Я также предполагаю, что ночью накануне убийства Кэтце-Вестхьюзена вы и еще один человек встретились с ним и он передал вам африканца по фамилии... точнее говоря, известного под фамилией Ричарда Нкози, которого высадили с какого-то судна. Этот человек привез деньги. И вот вам еще одна дополнительная деталь: благодаря чистейшей случайности я знаю, кто этот человек, именуемый Ричардом Нкози... Вы удивлены? Ничего, пока я единственный, кто разгадал эту тайну. Поймите, мистер Найду, я не одобряю многого из того, что сейчас делается. Но закон есть закон, и при всех его недостатках мы должны его поддерживать, если не хотим впасть в анархию и варварство.

В заключение, чтобы не затягивать этот разговор, скажу вам следующее: я знаю, что вы, мистер Найду, связаны с подпольной организацией и вели все переговоры с Кэтце-Вестхьюзеном. Я испытываю внутреннее удовлетворение при мысли, что вы знаете, где я могу отыскать Ричарда Нкози,— а, может быть, вам нужны доказательства, что я в самом деле хорошо представляю себе, кто он такой? Извольте. Это небольшой человек, ростом около пяти футов и пяти дюймов, по профессии художник; у него прямой, немигающий взгляд, ласковый голос и остро отточенный ум. Надеюсь, других доказательств не потребуется?

Карл Ван Ас замолчал, налил себе еще чашку кофе и отвалился на спинку кресла.

Если я задушу его сейчас, кто такой Нкози — останется тайной, подумал Найду. И в тот же миг решил привести эту мысль в исполнение. Он кинулся вперед, вытянув свои ручищи, готовые сомкнуться на горле противника. Вот он схватил Ван Аса, вот нащупал его горло. Теперь только давить и давить! Внезапно его пронзила ужасающе острая боль. мгновенная, но нестерпимая — затем полная пустота.

Наконец, сознание возвратилось. Найду открыл глаза; в мыслях его была полная ясность, но тело отказывалось повиноваться. Он с горечью выругал себя за неудачу. Ван Ас по-прежнему сидел в кресле, спокойно наслаждаясь своим кофе.

— Не беспокойтесь,— сказал он,— паралич скоро пройдет. Надеюсь, вы сами понимаете, что это была большая глупость. Представьте себе, что вы преуспели бы в своем намерении. Я уже не говорю, какая участь постигла бы вас, но что было бы с вашим народом? Такие задиры, как этот молодой патрульный, который все добирался до вас, получили бы разрешение свыше на устройство настоящей оргии насилия. И, поверьте мне, власти не спешили бы прекратить эту оргию. Ваш успех мог бы погубить более сотни ваших сородичей, мистер Найду. Это была глупейшая затея, и если она провалилась, то, конечно, не по вашей вине.

Он даже не собирается мне мстить, удивился Найду.

— Итак, мистер Найду, теперь вы знаете, что я имею весьма и весьма неплохое представление обо всем происшедшем. Позвольте мне добавить, что я всегда питал живейшую симпатию и уважение к человеку, которого мы по-прежнему будем называть Ричардом Нкози. Но я должен исполнить свой долг, должен задержать его,— и в этом я рассчитываю на ваше содействие...

— Катитесь вы к черту! — Найду сплюнул.

— Я вижу, вы снова обрели дар речи и способность двигаться... Хорошо. Вот вам мое предложение. Вы передадите мне Нкози, а мы взамен этого оставим в покое вас, Нанкху и всех других людей в наших списках. Иными словами, выдайте мне Нкози — и я добьюсь полного прощения для вашей группы. Если вы откажетесь, мы

заберем всех ваших руководителей. До сих пор мне удавалось предотвращать арест ваших врачей, медицинских сестер и учителей. Если вы будете упорствовать, не позже чем через двенадцать часов мы начнем выдавать ордера на арест. Готовы ли вы взять на себя ответственность за это? Что будет с больными и детьми? Готовы ли вы взять на себя такую ответственность, мистер Найду?

К Найду вернулось полное хладнокровие. Он знал, что стоит перед испытанием, к которому готовился всю свою жизнь, что все его поступки и действия, все, чему он научился, что перечувствовал и передумал с далекого мига рождения и по сей миг, когда он наедине с этим человеком, сплелось в один цельный законченный узор.

Его глаза налились кровью. Он ощущал в себе легкий трепет, которого никак не мог унять; но где-то, в уголках его рта, пряталась слабая улыбка.

— Вы и я,— спокойно сказал Найду,— мы оба знаем, что в действительности у меня нет никакого выбора.

Он нагнулся, налил себе еще кофе и в первый раз взял сандвич с тарелки. Ван Ас следил за ним с обостренным вниманием. Он допрашивал уже много людей и чувствовал малейшие перемены в их настроении.

— Но я же предложил вам выбор: добиться прощения для ваших сородичей.

— При условии, что я выдам вам Нкози. А если я откажусь?...

— Я уже сказал.

— Не все.

— Об остальном вы догадываетесь сами!

— Я бы все-таки хотел, чтобы вы сказали.

— Зачем?

— Я считаю, что имею право знать все. Прежде чем поверить вашему утверждению, будто вы служите закону, хотя и находите многие его стороны отталкивающими и безобразными, я должен знать, почему вы предлагаете мне совершить то, что является в моих глазах еще более отталкивающим и безобразным, а именно — предать свое дело. Что будет, если я не выдам вам Нкози?

— Помимо того, что случится с вашими сородичами?

— Да.

Карл Ван Ас не спеша поставил чашку на стол, поднялся и стал ходить по комнате — от двери к окну, от окна к двери.

— Мы все равно узнаем от вас то, что нам надо,— вполголоса сказал Карл Ван Ас.— Возможно, это будет не так скоро. Вы человек сильный и упрямый, но в конце концов мы добьемся своего. Я думаю, вы понимаете это, мистер Найду, зачем же вам осложнять и свое, и мое положение?

— Стало быть, у меня нет выбора. Каково бы ни было мое решение, вы все равно получите то, что вам надо,— добром или силой.

— Да, верно.

— И вы, мистер Ван Ас, предпочли бы обойтись без насилия?

Он, кажется, впервые признает мое существование, отметил про себя Ван Ас.

— Да, предпочел бы.

— Почему?

— Разве это так важно? Я противник насилия, не вызывающегося прямой необходимостью; я осуждаю свой народ за то, что он довел дело до крайности; я считаю, что мы должны перебросить мосты взаимопонимания; наконец, я полагаю, что все происходящее со временем приведет к кровопролитию. По этим и многим другим причинам.

— Но в случае необходимости, несмотря на свои чувства, вы прибегнете к силе, чтобы получить от меня нужные сведения?

— Я не верю в ненасилие, мистер Найду.

— Неужели вы в самом деле рассчитывали, что я выдам Нкози?

— Нет. Но я надеялся, что вы внемлете голосу рассудка.

— И пойду на предательство?

— Все зависит от того, как на это смотреть.

— А как вы сами смотрите на это, мистер Ван Ас?

Карл Ван Ас почувствовал себя в странном положении обороняющегося; в отношениях между ними наступила какая-то еле заметная перемена. Власть была все еще в его руках, но роль допрашивающего перешла к допрашиваемому.

— Мы отклоняемся в сторону, мистер Найду.

— Я в этом не так уверен. Но я в самом деле хотел бы уяснить себе, для чего вы привезли меня сюда. Вы правда думали, что я все расскажу вам?

— Нет.

— Тогда для чего же?

Карл Ван Ас вспомнил ту ночь, когда он ходил взад и вперед по улице Сервандони, не решаясь подняться в студию Дьюба. Это был один из тех немногих случаев в его жизни, о которых не знала даже Милдред.

— Я сделал это потому, что мы — южноафриканцы, и потому, что я верю в примирение между вашим и нашим народами.

— И во имя этой веры вы предлагаете мне предать свои убеждения?

— Но ведь и вы верите в необходимость соблюдения закона?

— Оставьте, мистер Ван Ас. Не портите свою репутацию. В необходимость соблюдения какого закона? Гласящего, что сильный всегда прав?

— Это упрощение. Почему мы должны отказаться от всего, что создано нашими руками?

— А кто от вас требует отказа?

— Вы. Ваша подпольная организация домогается власти. Она не желает никаких компромиссов и отворачивается от всех наших проблем. Я вам уже сказал, что многие из нас не одобряют всего происходящего.

— Но ведь этот строй зиждется на вас; в сущности, вы — его мыслящий мозг. Без таких людей, как вы, без вашего ума и способностей озверелые фанатики апартеида не сумели бы долго удержаться у власти. Мы с вами оба знаем, что искренний сторонник апартеида — до странности легковерное и глупое существо. Именно такие люди, как вы, мистер Ван Ас, поддерживают и укрепляют этот строй. Вина лежит прежде всего на вас, и вы сознаете это. Вы пытаетесь заглушить в себе чувство вины; некоторые из вас ухаживают за цветными женщинами или пользуются добрыми услугами так называемых «туземок», но вы сознаете свою вину, и мы знаем, что вы сознаете. Вы понимаете разницу между хорошим и плохим, между добром и злом, и никакими логическими умозаключениями вам не заглушить сознания своей вины...

— Вы сказали «цветные женщины»,— перебил его Ван Ас.

— Да. Неужели вы думаете, что нам неизвестно?

— Я только хотел уточнить.

Следи за собой, Сэмми, этот человек не дурак. И он не повторит своего промаха.

— И теперь вы опасаетесь, как бы мы не пустили в ход свою осведомленность,— сказал Сэмми.

— А вы ее не пустите в ход?

— Я не могу, но мои друзья могут. И они несомненно это сделают.

Карл Ван Ас поднялся, улыбаясь.

— Тогда, пожалуй, я передам вас инспектору Янсену. После того как вы побываете в руках у его людей, вы с радостью выложите мне все, что вам известно.— Ван Ас подошел к столу и снял трубку с телефонного аппарата.— Пожалуйста, отправьте мистера Найду обратно в управление уголовного розыска.

Сэмми Найду протянул руку за вторым сандвичем и нечаянно задел кофейник. Ногой зацепил ножку столика, и столик отодвинулся. Легкий трепет, который он ощущал в теле, запрятался куда-то вглубь. Он вспомнил о Ди Нанкху, и его захлестнула волна тоски.

Пытаясь избавиться от этого чувства, он сказал:

— Разница между вами и Янсеном, мистер Ван Ас,— это разница между кривым ножом и прямым. Он подвергнет меня жестоким пыткам; вы же сначала хотите лишить меня мужества. Вы еще гнуснее, подлее, чем он.

— Мы еще поговорим об этом,— проронил Ван Ас,— но позднее.

Услышав стук в дверь, он крикнул:

— Войдите!

Теперь или никогда, пронеслось в уме у Найду. Теперь или никогда.

Вошел человек. Быстрым, как молния, движением Найду схватил кофейник и швырнул его в голову Ван Асу. Тот не успел увернуться, и удар отбросил его назад. Вошедший сунул руку в карман и закричал: «Стой!» Найду поднял столик над головой и двинулся на Ван Аса. Раздался выстрел. Найду покачнулся, но снова пошел вперед.

— Не стреляйте! — закричал Ван Ас.

Но пуля уже опередила его.

Найду повалился ничком. Ван Ас повернул его на спину. Он был при смерти.

— Он хотел напасть на вас,— объяснил стрелявший, явно потрясенный случившимся.

— Вы сделали как раз то, чего он добивался,— сказал Ван Ас.

— Может быть, позвать доктора?

— Поздно. Скажите, чтобы его убрали.

Оставшись один, Ван Ас опустился на колено. Из иссиня-лиловых губ Найду вытекала тоненькая струйка крови. Ван Ас низко склонился над ним.

— Найду! Найду! Мне очень жаль, что так вышло.

Найду открыл глаза. Сперва он смотрел бессмысленным, непонимающим взглядом, но потом вдруг узнал Ван Аса. И вместе с сознанием к нему вернулась ненависть, такая лютая и непреодолимая, что Ван Ас заметил и почувствовал ее. Найду зашевелил губами, как будто копя слюну для плевка. Но в то же мгновение умер.

Ван Ас стоял на коленях рядом с мертвым индийцем, пока не прошло потрясение, вызванное его смертью. Он сталкивался со смертью не впервые. И видел ее почти так же близко, как и в эту минуту. Но она всегда потрясала его. А смерть этого человека потрясла его особенно сильно. Найду не суждено было умереть, не суждено было даже страдать. Если б только...

Ван Ас закрыл глаза покойнику. Прикосновение к неостывшему телу пронзило его дрожью.

Он быстро поднялся и подошел к окну. На улице еще царила уныло-безликая ночь. Через час, вероятно, в комнату просочится тусклое предрассветное сияние с во-

стока. Ван Асу было душно, тоскливо, и он уже стремился уйти из этой комнаты, которая совсем недавно казалась ему такой уютной.

Ему не суждено было умереть, но он умер, полный ненависти ко мне — не к Янсену или Джепи, а ко мне!

Он снова приблизился к телу и задержал на нем внимательчый взгляд. Затем торопливо вышел и спустился в свой кабинет — написать доклад и поговорить кое с кем по телефону. Один из его звонков потревожил глубокий, безмятежный сон инспектора Янсена.

Когда Ван Ас разделался со своими делами, было уже около четырех, и весь мир тонул в бледном разливе утреннего света.

Он знал, что смерть Найду не долго будет оставаться тайной. Как только индийцы увидят его тело, а это произойдет очень скоро, они тотчас разнесут эту новость повсюду. Он позвонил дежурному и велел предупредить редакции всех газет, чтобы они не печатали никаких сообщений о Найду.

В тот самый момент, когда он выходил из управления безопасности, подъехал катафалк. Все служащие похоронного бюро были индийцами. Ван Ас знал, что, пока он будет в дороге, всех видных индийцев успеют оповестить о смерти Найду — и даже об ее обстоятельствах. Теперь, пожалуй, слишком рискованно оставлять его брата в полиции, надо поговорить об этом с Джепи.

На улицах не было ни души. Вдоль тротуаров тянулись шеренги деревьев, и асфальт блестел, как отполированный, в первых лучах солнца. Проезжая по улицам, Ван Ас почувствовал, что наконец-то может расслабиться: нет необходимости быть начеку и напрягать все свои нервы, но к нему стало исподволь подкрадываться привычное уныние. Когда он вошел в свою квартиру, она показалась ему мрачной и унылой. Им овладела мучительная тоска по Милдред Скотт. Образ умирающего Сэмми Найду — вот он шевелит губами, как будто хочет плюнуть,— настойчиво прорывался в его сознание. Какая-то хитроумная защелка в мозгу удерживала это видение, усиливавшее отчаяние, которое пряталось среди теней в его душе и при первой мгновенной слабости готово было наброситься на него... Если бы только Милдред была с ним рядом!.. Если бы только эти проклятые болваны со своими идиотскими законами не лишали его радости, которую он обретает в ее присутствии!..

Он налил себе вина и отнес бокал в спальню. Натянул пижаму, забрался под одеяло и выпил вино одним долгим глотком. Затем выключил свет и закрыл глаза. Но хотя тело его было разбито усталостью, прошло много времени, прежде чем он, наконец, уснул. И пока он был на грани бодрствования и сна, нечто, прятавшееся среди теней в его душе, всячески пыталось нарисовать перед ним лицо Сэмми Найду.

В тот самый час, когда он забылся желанным сном, доктор Давуд Нанкху разбудил свою сестру.

Она открыла глаза и, позевывая, сказала:

— В чем дело?

— Убит Сэмми.

Она уставилась на него растерянным, недоверчивым взглядом.

— Убит Сэмми,— повторил он.

И вдруг Ди Нанкху увидела Сэмми Найду так же ясно, как будто он был в комнате. Увидела его темное круглое лицо, его небольшие решительные глаза с крошечными прожилками в уголках, губы с лиловатым отливом, особенно заметным в часы сильной усталости или голода; его большое, крепко сколоченное тело и большие могучие руки: облик человека, на которого можно всецело положиться. Что они будут делать без Сэмми? Ведь он был как скала, подпирающая всю их организацию. И вот его нет в живых.

— О нет,— стонала она снова, и снова, и снова, и каждый раз со все большим отчаянием. Затем она разразилась рыданиями. Брат обвил ее руками, крепко прижал к себе и не отпускал, пока она не выплакалась.

Высокая худая женщина, которую звали Кисси, принесла чай. Глаза у нее были покрасневшие, но она уже осушила свои слезы, и лицо ее казалось сурово отчужденным и бесстрастным. Первый приступ горя прошел, но она долго еще будет лить молчаливые слезы — пока время не притупит остроту воспоминаний об этом человеке, о его доброте к ней и всем, кого она знает и любит, воспоминаний о надеждах, которые он разбудил в ней и ее народе, но до тех пор, пока она не забудет все это, не забудет его лицо, голос и тепло его рук, она не перестанет оплакивать смерть **своего** мистера Найду, хотя ни один человек не увидит на ее глазах слез.

— Что же нам делать? — спросила Ди Нанкху.

— Продолжать! — ласково ответил ее брат.

— Так всегда говорил он,— грустно молвила Кисси.— Но теперь некому нас учить.

— Есть много людей,— сказал Нанкху,— и среди них попадаются замечательные.

— Может быть, и замечательные, док,— холодно откликнулась Кисси.— Но не такие, как он. Пусть даже лучше, чем он, но не такие.

— Твоя правда, Кисси,— вздохнул Нанкху.— Не такие, как Сэмми.

— Как он погиб? — спросила Ди после ухода Кисси.

— Этого мы никогда не узнаем, но люди, которые везли тело, предполагают, что он сам спровоцировал свою смерть. Агенты уголовного розыска забрали его около десяти часов вечера. Он просидел у них в управлении до раннего утра, когда заявился этот блистательный и жестокий мистер Ван Ас...

— Этот гнусный человек! — перебила Ди.

— ...И он велел перевести его в управление безопасности. Там, в этой печально знаменитой комнате, где Ван Ас допрашивает арестованных, около часа назад Сэмми умер.

— Давуд!..— После некоторой заминки она выпалила: — А его пытали?

— Нет, дорогая. Уверяю тебя, что нет. Два выстрела, один за другим. Я не решаюсь поехать и осмотреть тело. Но его брат знает все способы пытки, не оставляющие после себя никаких следов, и он тщательно исследовал все тело.

— Его брат?.. Бедняга!..

— Это несчастье окончательно убедило его, и он готов принять участие в нашем движении, но я опасаюсь, что Ван Ас предвидит эту возможность.

Ди вспомнила о Нкози, и на лице ее появились признаки тревоги.

— Не беспокойся,— шепнул Нанкху,— не беспокойся, моя дорогая. Сэмми не сказал им ни слова.

Она закрыла глаза, слегка покачнулась и с глубоким вздохом снова открыла глаза. На лице ее не осталось никаких отпечатков страха и тревоги.

— Что же дальше? — спросила она.

— Я должен уйти в подполье. Все наши руководители скрылись после ареста Сэмми. Я один оставался на легальном положении — для того, чтобы выяснить его судьбу. Сэмми не спровоцировал бы свою смерть, если бы не был убежден, что они слишком близки к истине, чтобы можно было сбить их с толку. До тех пор, пока они ходили вокруг да около, Сэмми мог просто отмалчиваться. В худшем случае они выдали бы ордер на его арест. Случившееся означает, что Ван Ас, по крайней мере, знает достаточно, чтобы Сэмми избрал такой выход. Это также означает, что они напали на верный след. Поэтому я могу оказаться следующим, кто попадет в комнату мистера Ван Аса.

— Стало быть, ты должен скрыться, и твое исчезновение послужит сигналом для массовых облав. Отныне ты не сможешь приносить никакой пользы.

— Да. Если буду на легальном положении.

— Извини, Давуд,— твердо проговорила Ди.— Принятое решение обязывает всех, кто не приносит никакой пользы, уезжать за границу и действовать оттуда. Если ты будешь прятаться здесь, в стране, ты превратишься в обузу для движения и для всех нас, и ты это прекрасно понимаешь.

Ди спустилась с кровати и, прихрамывая, направилась к окну.

— Так я должен уехать? — спросил он.

— Да, должен уехать.

— А что будет с тобой? — произнес он ласковым голосом.

— Не знаю,— шепнула она, не поворачивая головы.— Не знаю. Я только знаю, что мне следует остаться, по крайней мере на некоторое время, и попробовать выполнить свой долг. И я молю бога, чтобы мне удалось это сделать хотя бы вполовину так же хорошо, как Сэмми.

— Ты будешь одинока, моя дорогая, как никогда в жизни.

— И в то же время — не забывай, брат,— я буду менее одинока, чем когда-либо.

Он подошел к окну и встал рядом с ней. На улице быстро светало.

Он сказал:

— Мы еще ни разу не говорили о нем. Ты так и не захотела открыть своему большому брату, что ты влюблена и что в твоей жизни появился мужчина.

— У меня нет никаких секретов. Я люблю его, и он любит меня. Вот и все.

— Что он за человек?

— Деликатный, отзывчивый и честный. Чистый и мудрый, большой брат, чистый и мудрый.

— Я рад, что ты его оценила!

Она погладила его руку.

— Помнишь наше детство: ты бывал со мной редко-редко.

— Да.

— И я носилась — вернее, ковыляла — за тобой и отцом, как щенок.

— Помню.

— А какая я была отчаянная!

— Особенно, когда с тобой был отец.

— И ты не забыл тот день, когда я пыталась объяснить тебе свое ощущение?

— Я что-то... не припоминаю.

— Ты как раз вытащил меня из реки.

— Да, да, теперь вспоминаю. У тебя было такое ощущение, будто тебе не страшна никакая опасность: ты не боялась утонуть в реке, не боялась умереть от укуса змеи. Ты говорила, что рядом с отцом...

— И рядом с тобой, большой брат.

— И рядом со мной ты чувствуешь себя неуязвимой.

— Но я не знала этого слова, и ты подсказал его мне. Помнишь?

— Да.

— Все эти годы, оглядываясь назад, я с восхищением вспоминала свою... свою неуязвимость — это чувство уверенности и спокойствия, которое ничто не могло поколебать. Его не могли поколебать ни ссоры, ни размолвки, ни драки. Но потом умер отец, и с ним умерло это чувство; я подросла и поняла, что я всего лишь калека. И я решила, что это особое чувство — порождение наивности и неопытности детства: оно недолговечно и вскоре исчезает, усугубляя одинокость человека. Но теперь...

— Что, дорогая?

— Это чувство возвратилось ко мне. Даже мне самой это кажется фантастическим и невероятным, но оно возвратилось. Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Даже если он погибнет... Мне будет безумно тяжело... Но все же не так, как прежде... Я всегда буду знать, куда я направляюсь и как мне поступить. Представь себе, что ты идешь через джунгли. Возможно, ты не сумеешь преодолеть все трудности — в конце концов это дело удачи,— но ты знаешь верное направление и, что бы ни случилось, не заблудишься.

— Хорошо, дорогая. Ты знаешь, что говорить и делать, когда сюда явится полиция?

— Конечно. А ты, если увидишь его, объясни, как важно сохранить миф. Пожалуйста, береги себя, Давуд.

Чутье подсказало ему, что она внутренне подготовилась к его уходу. Он нежно поцеловал ее в щеку и сказал на прощание:

— Я дам о себе знать.

Когда он ушел, она повернулась и взглянула на будильник. Ложиться не имело никакого смысла. Ей надо будет помогать медицинской сестре, а в сложных случаях вызывать других врачей. День предстоит долгий и трудный. Через час-другой нагрянет полиция...

Ди занялась приготовлением к наступающему дню.

Ди была в операционной вместе с сестрой, которой она помогала делать прививки пятилетним малышам, когда подъехал первый полицейский автомобиль. В это утро приемная была набита до отказа, и полицейскому пришлось пустить в ход локти и угрозы, прежде чем он добрался до операционной.

— Где доктор? — спросил он повелительным тоном.

— Не знаю,— ответила Ди, продолжая заниматься своим делом.

— Кто же тогда знает? Может, ты? — он ткнул пальцем на сестру.

— Нет.

— Может, он поехал к больным?

— Нет,— ответила Ди.— Его машина и сумка здесь. Сегодня утром у нас большой прием: объезжать больных он должен только во второй половине дня.

— Тогда где же он, черт побери, шляется?

— Не знаю. Я только знаю, что он не ночевал дома.

— Какого дьявола ты не донесла об этом в полицию?

Впервые с момента его появления Ди Нанкху подняла голову и смерила его холодным, враждебным взглядом.

Полицейский резко повернулся и, расталкивая толпу пациентов, вышел на улицу, где стоял полицейский автомобиль, оборудованный радиотелефоном. Он тут же связался с центральным управлением. Выслушав его доклад, инспектор Янсен приказал ему оставаться на месте — только не в доме, а снаружи. Потом инспектор позвонил Ван Асу — сперва в управление, а затем домой. Ван Ас уже предвидел такой поворот событий; разговаривая с Янсеном поздно ночью, вернее рано утром, он высказал предположение, что смерть Найду может повлечь за собой исчезновение Нанкху.

Услышав сонный голос Ван Аса, инспектор сказал:

— Говорит Янсен. Вы оказались правы. Нанкху ушел в подполье.

Наступила краткая пауза, после чего, стряхнув с себя сон, Ван Ас бодро сказал:

— Стало быть, началось? Арестуйте всех подозрительных лиц. Всех без исключения.

— Индийцев?

— Всех подряд: индийцев, африканцев, цветных, белых — всех подряд.

— В наших списках значится около двухсот человек. Где их разместить?

— Велите позвонить в тюрьму: у них есть план размещения арестованных в случае чрезвычайного положения. Мобилизуйте людей для прочесывания сельской местности. У одного из моих служащих имеется карта, где отмечены районы, подлежащие первоочередной проверке. Я выезжаю, а вы пока начинайте операцию.

— Не арестовать ли сестру Нанкху?

— У вас есть какие-нибудь улики?

— Прямых улик нет, но ведь она его сестра... Правда, она калека, вы знаете?

— Нет, не знал. Я сам поговорю с ней сначала.

— Хорошо! — воскликнул Янсен и повесил трубку, слишком возбужденный предстоящими событиями, чтобы дожидаться, пока даст отбой человек, который был старше его — если не по возрасту, то по чину.

Прежде чем Ван Ас приготовился покинуть свою квартиру, полиция произвела первые аресты. К тому времени, когда он выехал, в центральном управлении уголовного розыска уже допрашивали пятерых арестованных. А к тому времени, когда он вошел в своей кабинет, все люди — и те, кто был на улице, и те, кто на работе, даже ученики в школе,— знали, что развертывается большая операция.

Ван Ас первым делом известил о начале широких действий своих коллег в Иоганнесбурге, Кейптауне и Претории. Те, в свою очередь, предупредили другие важные центры. По всей стране заработала огромная полицейская машина и начались повальные репрессии.

И все темные уголки страны облетело заветное слово. Битва завязалась, надо соблюдать выдержку и спокойствие: пусть никто не оказывает сопротивления при аресте, пусть никто не берется за оружие, но пусть все отказываются от сотрудничества. Битва идет между преследователями и преследуемыми. И все знали, кто эти преследователи, и все знали, что преследуемым был и останется Ричард Нкози,— до тех пор, пока битва не увенчается победой... Вот слово, которое передавалось из уст в уста. Придет время и для другой формы борьбы; но пока действует этот боевой приказ.

Слово — как и аресты — распространялось по всей стране: мужчина шепотом передавал его мужчине, женщина — женщине. ребенок — ребенку, и, наконец, достигло высоких гор.

— Это место вас устраивает? — холодно спросила Ди Нанкху.

Он вошел вслед за ней в жилую комнату на первом этаже и закрыл за собой дверь. Потом подошел к застекленной двери и выглянул в сад, обнесенный забором. Сад напомнил ему сад Милдред... Он знал, что настойчивость, с которой он требовал разговора с глазу на глаз, привела ее в ярость, граничащую с безумием. Как бы хоть немного успокоить ее?.. Кстати, она была бы совсем недурна собой, если бы не нога. Фигура у нее, во всяком случае, стройная.

— Чудесный садик! — сказал он.

— Что вам угодно? — спросила она ледяным тоном.

Он повернулся к ней, улыбаясь. В этой улыбке было что-то извиняющееся, молящее.

— Простите, что приходится вас беспокоить, особенно в такое время, но...

— Что вам угодно?

Он беспомощно пожал плечами и приблизился на несколько шагов. Ее глаза смотрели на него в упор. В них не было жизни, не было чувства — они походили на глаза посаженной в клетку змеи, которая знает, что не может поразить своего врага.

— Не присесть ли нам? — негромко предложил он.

Она слегка пошевелила рукой. Он понял, что этот чуть заметный жест означает: вы не нуждаетесь в моем разрешении. Сама она продолжала стоять, он тоже остался на ногах.

— Мисс Нанкху, когда вы в последний раз видели брата?

— Вчера вечером за ужином.

— А что было потом?

— Он ушел на вечерний обход.

— А потом?

— Это все.

— В самом деле?

— Да.

— И вам от него ничего не передавали?

В первый раз ее взгляд отклонился в сторону. Честная женщина, подумал Ван Ас.

— Мисс Нанкху, если я почувствую, что вы от меня что-то скрываете, я вынужден буду, к сожалению, арестовать вас. И я вынужден буду передать вас для допроса в центральное управление уголовного розыска, а там, я должен признаться, не все сотрудники отличаются деликатностью, которую мы хотели бы у них видеть. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Мы никому не позволим приставать к вам; но ведь и среди индийцев есть подлецы, похабники, сквернословы; есть такие люди и среди моих сородичей. И, к несчастью, в полицию иной раз попадает всякое отребье. Это одна из сложнейших проблем в отношениях между расами. Вы понимаете, мисс Нанкху?

— Да, разумеется.

— Вот и хорошо. Итак, ваш брат дал о себе знать?

— Да.

— Чем скорее вы расскажете мне обо всем, тем скорее мы закончим этот разговор... Когда это было?

— Около пяти.

— Откуда вы знаете время?

— Я спала. Звонок разбудил меня. Я включила свет.

— Благодарю вас, мисс Нанкху. Вы поступили благоразумно, сказав мне правду. Я имею довольно точное представление о том, что случилось. И что же сказал ваш брат?

— Что он лишен возможности приносить пользу и должен оставить страну.

— Это все?

— Да. Он предполагал, что меня будут допрашивать, и поэтому думал, что чем меньше я буду знать, тем лучше. Он только хотел проститься.

— Мы его непременно разыщем.

— Полагаю, что нет.

— Надеетесь, что нет?

— И то и другое.

— Вы знали, что он — член подпольной организации?

— Я не знаю никакой подпольной организации. Я только знаю, что он борется против правительства.

— А вы?

— Я женщина. Если бы я была мужчиной!..

— Я тоже хотел бы, чтобы все было по-другому, мисс Нанкху. Я, как и вы, отнюдь не поклонник апартеида. Но я должен исполнять свой долг. Он вам сказал о Найду?

— Нет.

— Но вы знаете?

— Все знают. Все знают, что он был зверски убит.

— Он не был убит. Это просто несчастный случай, в котором он сам повинен.

— Нет, он был зверски убит.

Черты ее посуровевшего лица выражали слепое, бездумное упрямство. Так они представляют себе его смерть, такой она запечатлеется в их памяти, и стена ненависти поднимется еще выше, подумал Ван Ас.

— Вы были знакомы с Найду?

— Он приходил к моему брату.

— Часто?

— Да, часто.

— И вы знали зачем?

— Их человеческое достоинство требовало, чтобы они готовились к сопротивлению и борьбе. Они перестали бы себя уважать, если бы поступали иначе.

— Позвольте мне дать вам совет, мисс Нанкху. Я понимаю, что сейчас вы удручены и рассержены. Но вы только что сообщили мне, что знали о замыслах и действиях, граничащих с государственной изменой. Молчание в этом случае рассматривается как соучастие. И вот вам мой совет: держите свои мысли и чувства при себе, когда будете иметь дело с другими представителями закона.

— Если б я была мужчиной!..

— Перестаньте, мисс Нанкху! Вы женщина, не мужчина, и если вы будете высказывать подобные взгляды в присутствии других представителей закона, вас тотчас арестуют. Вы понимаете это?

— Вы кончили?

— Последний вопрос. Вы сказали, что Найду приходил к вашему брату. А ваш брат возвращался когда-нибудь домой с Найду?

— Много раз.

— И с другими людьми?

— Да.

— С индийцами?

— Да.

— С европейцами?

— Всего один раз.

— С цветными?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— С африканцами?

— Нет.

— Никогда?

— Никогда.

— Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что вам угрожают большие неприятности, если вы мне солгали. И поверьте мне, мисс Нанкху, мы это быстро выясним.

— Вы кончили?

— Да. Благодарю вас.— Он слегка наклонил голову и направился к двери. Она последовала за ним.

— Наш телефон...— проговорила она.

— Мы всегда отключаем телефоны таких людей, как ваш брат.

— Но что будет с пациентами?

— Он должен был подумать об этом заранее.

— Ну, прошу вас, у нас много больных стариков... детей... им может понадобиться срочная помощь, и придется вызывать кого-нибудь из других докторов...

Он вышел из комнаты, так ничего и не ответив. В коридоре и приемных толпилось много людей. Впечатление было такое, будто все пациенты доктора Нанкху внезапно заболели и нуждаются в помощи. Но Ван Ас знал, что дело далеко не так просто, как представляется. Он уже привык к таким проявлениям братства. Всякий раз, когда днем или ночью арестовывали, допрашивали либо искали какого-нибудь важного лидера, там же непременно собирались и его приверженцы: они появлялись как бы ниоткуда и отовсюду. Присутствие их ощущалось совершенно отчетливо, с почти вещественной реальностью. Именно это обстоятельство и толкало многих полицейских на поспешные, опрометчивые действия, нередко приводившие к взрывам возмущения и бунтам, которых можно было бы избежать. И сейчас он ощущал присутствие приверженцев — они, казалось, настойчиво, хотя и без особой враждебности, требовали чтобы он понимал их цель,— а цель эта заключалась в том, чтобы предупредить, что за их руководителем стоят скрытые силы, и эти силы защитят его близких и все, что ему дорого.

По лестнице торопливо спустился агент.

— Наверху никого нет. Там у них есть маленький закуток, они сами его показали.

— Ну что ж, ладно,— сказал Ван Ас.

Задрав голову, агент позвал своих товарищей, которые вместе с ним производили обыск. С лестницы спустились еще двое; в руках они держали кипы бумаг. Эти бумаги они погрузили в автомобиль. Затем двое в полицейских мундирах снова поднялись наверх и принесли еще две кипы бумаг, а также связку книг.

Раскрыв дверь, Ван Ас обернулся к Ди Нанкху.

— Я попробую что-нибудь сделать с вашим телефоном,— пообещал он.

Затем полиция оставила этот дом. Но обыски и облавы продолжались повсеместно.

Полицейская операция шла весь день и всю ночь. По всей стране арестовывали десятки мужчин и женщин и приводили их в местные управления уголовного розыска. Большинство после допроса отпускали. Но некоторых задерживали: таких набралось свыше семи сотен.

На следующий день, рано утром, полиция достигла своего первого значительного успеха. В небольшой хижине в окрестностях Блумфонтайна было схвачено пять человек. Двое белых и трое африканцев. Двое африканцев, как выяснилось впоследствии, были приговорены ранее к заключению — их обвиняли в диверсии и измене,— но бежали по дороге в тюрьму. Они пробыли на свободе пять месяцев. Трое остальных — двое белых и один африканец — были объявлены коммунистами и скрывались от полиции более года.

В Кейптауне задержали цветного, объявленного коммунистом, розыски которого прекратили, потому что власти считали, что он выехал из страны. А в Иоганнесбурге в руки полиции попалось не менее шести человек, едва ли не из числа главных руководителей подпольной организации.

На следующее утро переполненные суды приговаривали сотни людей к домашнему аресту.

Все время, пока развивались эти события, Карл Ван Ас не выходил из радиооператорской; он тщательно изучал, анализировал поступающую информацию, и все это время он не терял надежды на то, что поиски приведут к желанной цели. Каждый раз, когда в этом возникала необходимость, он отдавал специальное распоряжение.

На третий день массовых облав Ван Ас уже знал, что упустил и Нкози-Дьюба, и Нанкху. Теперь только случайность могла привести к их поимке. Когда к нему доставили Сэмми Найду, у него были все возможности уничтожить эту легенду о Нкози, а заодно и подпольную организацию. Но теперь, как явствовало из донесений, стекавшихся к нему отовсюду, по всей стране вполголоса говорили о победе преследуемого над преследователями.

Ораторы, выражающие правительственное мнение в парламенте, приветствовали облаву как великую победу сил порядка и закона; они говорили о тяжком поражении агентов коммунистической революции, пытающихся проводить свою подрывную деятельность. Но они, так же как и он, знали, что легенда о Нкози распространяется все шире и шире.

Ван Ас провел без сна двое суток и только на третьи сутки, в полночь, передал руководство местной операцией Джепи Дю Плесси и лег отдохнуть.

Он проспал восемнадцать часов. И пока он лежал, разбитый полным физическим и умственным изнеможением, видение, таившееся среди густых теней в его сознании, смело выступило вперед и превратило его сон в долгий мучительный кошмар, который пригвоздил его к постели. Стараясь избавиться от этого кошмара, Ван Ас беспокойно

метался в холодной испарине; то и дело слышалось какое-то невнятное бормотание, стоны, протестующие крики, а то вдруг он начинал трястись, как в лихорадке. И сквозь все сновидения проступал облик Сэмми Найду: он то смеялся, то плакал, то о чем-то молил, то начинал издеваться над ним — и все время плевал ему в глаза.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И упадет колыбель

1

Старик Нанда был богатейшим в стране индийцем. За ним также установилась репутация отъявленного реакционера. Он открыто и недвусмысленно высказывался против сопротивления. И не делал тайны из своих крупных пожертвований в фонд правящей партии. Он был убежден — и высказывал это убеждение вслух,— что индийцы, выступающие против правительства,— глупцы, которые загаживают свое собственное гнездо. Но самой большой глупостью он считал объединение индийцев с африканцами. Он заявлял — и большинству индийцев его слова казались убедительными,— что власть черных сулит индийцам еще худшие перспективы, чем власть белых. Обосновывая это мнение, Старик Нанда ссылался на судьбу индийцев в Восточной Африке. И так как Старик Нанда был богат и на его сахарных плантациях, фабриках и в его магазинах работало больше индийцев, чем у любого другого предпринимателя, многие из его сородичей прислушивались к его высказываниям.

Правительство одобряло взгляды Старика Нанды, и поэтому не трогало его. У него не отобрали ни клочка земли, а когда целый район, где он построил блок жилых домов, которые сдавал в наем, и большой особняк для себя, был отведен под «европейскую территорию», Старик Нанда, в отличие от всех других, получил приличную компенсацию и за ним сохранили даже право собственности не только на этот особняк, но и на примыкающий участок земли. Вот так и произошло, что Старик Нанда оказался не только единственным индийцем, но и единственным небелым, живущим на территории, отведенной для белых.

Старик Нанда лишь недавно разменял седьмой десяток; это был низкорослый человек с объемистым круглым животом, большой любитель поесть и попить. Прозвище Старик заменяло его подлинное имя. Печатка «Старик Нанда» удостоверяла все важные бумаги: чеки, акты и т. п. Стариком Нандой его стали называть еще в молодости, когда ему было лишь двадцать с небольшим: он открыл тогда ларек на рынке и сделал первый шаг к богатству, скопив два фунта, которые тут же пустил в рост под двадцать пять процентов. В те времена он был худ, как кочерга, и всегда голоден. С тех пор фунт стерлингов уступил место рэнду, составляющему половину его стоимости; страна перестала входить в Британское содружество, и оказалось, что надежда на дворянский титул, ради которого он не скупился на благотворительные пожертвования, лопнула как мыльный пузырь. Однако, несмотря на все превратности судьбы, состояние Старика Нанды росло, ибо никто другой не проявлял такую стойкость в конкурентной борьбе и не увеличивал свой торговый оборот так успешно, как он.

В большой прохладный кабинет, откуда Старик Нанда правил своей империей, вошел его единственный сын, которого, вполне естественно, все называли Молодым Нандой. Молодой Нанда был среднего роста и гораздо светлее, чем его отец. От него веяло спокойствием и уверенностью в себе: сразу было видно, что он воспитывался в Европе; и он обладал ловкостью и силой, которые вырабатываются участием в спортивных состязаниях. Он учился в том же шотландском университете, что и Нанкху, но не на медицинском факультете, а на факультете экономики.

Молодой Нанда скользнул в кресло для посетителей, напротив большой конторки и замер в ожидании. Через несколько минут Старик поднял глаза. Молодой человек подавил в себе обычное неприятное чувство: смесь злости, снисходительного презрения и легкого стыда, которое охватывало его всякий раз, когда ему приходилось иметь дело с отцом.

— Я хотел бы поговорить с вами, отец.

— Говори — я жду.

— Только не так. Это серьезно, чрезвычайно серьезно.

Старик Нанда откинулся на спинку своего огромного кресла и сложил руки на брюшке. Он знал, что единственный сын осуждает его,— и это причиняло ему боль. Беда в том, что он вынужден обращаться со своим сыном, как с европейцем. Образование придало ему такой европейский лоск, какого нет ни у одного здешнего белого.

Старик Нанда бросил взгляд на изукрашенные причудливой резьбой часы.

— Сколько тебе потребуется времени?

— В сущности, это зависит от вас. По-моему, хватило бы и пяти минут, но, зная ваш характер, я опасаюсь, что мы не уложимся и в полчаса. Может быть, понадобится целый час.

— У тебя неприятности? — Старик Нанда испытующе глянул на сына.

— Да, но вы не догадываетесь какие.

— Что-нибудь связанное с политикой? — поспешно спросил Старик Нанда.

— Советую вам, отец, принять пилюлю. На всякий случай.

Юноша говорил с еще более отчетливым европейским выговором, чем всегда, и поэтому Старик Нанда послушно достал пилюлю из ящика конторки и быстро проглотил ее. Затем снял трубку с одного из нескольких телефонов, стоявших у него под рукой, и сказал:

— Никого не пускайте ко мне. Понятно?

Со своими служащими он разговаривал громким, пронзительным голосом. Он знал, что сын не одобряет и этого — но как же еще разговаривать со своими служащими? Как показать им, что ты хозяин?

— Нет, нет! Ни в коем случае! — прокричал он в ответ на вопрос, заданный деловитой цветной секретаршей.— Никого не пускайте! Пока я не позвоню вам! Понятно? — Он с треском опустил трубку и повернулся к сыну, мысленно готовясь к разговору.

— Вы знакомы с Давудом Нанкху, отец? — спросил Молодой Нанда.

— У меня нет времени на пустую болтовню. Тебе хорошо известно, что я с ним знаком. Я слышал, он скрылся и его разыскивает полиция. Продолжай.

— А вы знаете, почему его разыскивает полиция?

— Ты тоже замешан в этой дурацкой политике?

— Да. Теперь, когда он не в состоянии приносить никакой пользы, он должен покинуть страну. Он уже не может руководить индийской подпольной организацией сопротивления, и ее руководителем буду я.

Старик Нанда стал раздуваться, как большая лягушка. Лицо его как-то сразу обрюзгло. Он схватился за ворот, словно ему было трудно дышать, затем вскочил и с громкими воплями начал метаться по комнате, как безумный. Буря продолжалась секунд сорок пять и окончилась так же мгновенно, как и разразилась. Он снова уселся в кресло, вынул белоснежный платок и вытер уголки рта.

Даже не глядя в сторону сына, Старик Нанда мог хорошо представить себе презрительное выражение его лица — точно такое же, какое было в первый раз, когда он взорвался в его присутствии. Они ничего не понимают, думал он. С детства живут в полном достатке и не понимают, скольких трудов стоило нажить богатство. Он хотел объяснить это сыну, но не мог подобрать слова, способные убедительно выразить жестокие муки, которые он перенес в своей жизни. Вот если бы на его теле был шрам от ножа или пули, тогда бы они все увидели и поняли...

— Дуралей! — устало пробурчал Старик Нанда.— Получил образование, а дуралей! И зачем только я тратил на тебя деньги. Ведь они тебя арестуют и посадят в кутузку, они выбьют из тебя все твое образование и превратят в нищего кули. Неужели я работаю ради этого? А когда они поймают тебя — они втопчут и меня в грязь, отберут все, что у меня есть. Хоть и с образованием, а все равно дуралей! Ну почему? Ну почему я должен терпеть такое?

— Потому что вы дали мне образование, отец.

— Я надеялся, что ты будешь моим достойным преемником, а не глупцом.

— Вы правда надеялись, что я буду таким, как вы? Человеком, который боится всего и всех?

— Ты еще издеваешься! Да, я хочу, чтобы ты был таким, как я! Кем бы ты, интересно, был, если б не я? Может быть, я для тебя и недостаточно хорош, но я вывел тебя в люди! Я богатый человек, захочу — сниму трубку и позвоню самому министру.

— Вот и позвоните,— поймал его на слове Молодой Нанда.— Только не министру, а старшему инспектору Дю Плесси!

— И не подумаю. Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоей дурацкой политикой!

— Извините, но вам все-таки придется позвонить, отец.

— И не подумаю... Я не желаю тебя знать. Уходи из моего кабинета! Уходи из моего дома! Оставь меня в покое! Ты мне больше не сын. Уходи!

— Будьте благоразумны, отец. И уделите мне минуту внимания. Давуд и наш друг-африканец, которого полиция ищет столь усердно, сейчас у нас в доме. Три дня назад, когда начались массовые облавы, я перевез их сюда из убежища, где они до этого прятались. Иначе они были бы схвачены, и смерть Сэмми Найду потеряла бы всякий смысл.

— О нет! — жалобно проговорил Старик Нанда.— Все, что угодно, только не это! — Он зажмурил глаза и начал раскачиваться из стороны в сторону, издавая тихие стоны, вырывавшиеся, казалось, из самой глубины его груди.

— Простите,— сказал Молодой Нанда, смягчаясь.— У меня не было другого

выхода. Ваш дом — самое безопасное место. Это один из немногих домов, принадлежащих индийцам, который вне подозрения и который даже не обыскивали. К тому же он на европейской территории.

Несмотря на свое отчаяние, Старик понял, что сын в самом деле сочувствует ему, а это бывало так редко...

— И ты смеешь навлекать опасность на свою мать, на сестер, на меня?

— Моим друзьям грозил неминуемый арест, отец.

— Да плевать мне на них! Не хватало еще, чтобы я за них беспокоился!

— Но я за них беспокоюсь, отец, и вам тоже советую беспокоиться, потому что, если их арестуют, вам тоже не сдобровать!

— Я скажу, что ничего не знал. Если надо, под присягой. У меня есть влиятельные друзья, которым я оказывал различные услуги.

— Они вам не поверят, отец!

— Поверят!

— Вы так на них полагаетесь?

— А почему бы и нет? Я доказал им, что я их друг. Давал им деньги. Преподносил подарки. Заявлял о своем несогласии с вашей идиотской политикой. Вот увидишь, они мне поверят!

— Нет, отец. Я постараюсь, чтобы не поверили. Если моих друзей арестуют по вашей вине, я представлю доказательства, что вы втайне поддерживали и финансировали наше движение и что ваше дружественное отношение к ним и подарки — всего лишь маскировка.

— Нет! Ты этого не сделаешь!

— Посмотрим!

— Но ты же мой сын! Я твой отец! Ты не можешь поступить так со мной, со своей матерью и с сестрами.

— Смогу и поступлю, если понадобится!

— Какой же ты после этого мне сын!

— Я должен бороться, потому что я человек, я должен постараться искупить грехи своего отца.

— Кровь не вода...

— Кровь — это только кровь, не более.

В голосе Молодого Нанды уже не слышалось прежней симпатии.

— Пожалуйста, не говори так со мной. Я старый человек. И мне трудно сносить озлобление сына.

— О боже! Ну что вы тянете время! Поймите же: ваш единственный шанс уцелеть и сохранить свое богатство состоит в том, чтобы помочь нам. Конечно, рано или поздно, как бы вы ни изворачивались, они отберут у вас все. Но до тех пор, пока это не случится, вы не признаете, что я прав. С помощью вашего ума, действуя где подкупом, где смиренной мольбой, вы умудрялись преодолевать все препятствия, и у вас сложилось ложное представление, будто вы сможете выдержать шторм.

— Ты презираешь своего отца.

— Нет. Но я не уважаю его убеждений и образа жизни.

Старика ослепила вспышка неистового гнева.

— Что ты понимаешь? Ты никогда не подыхал с голоду, тебя никогда не пинали, не били, и никто не обзывал тебя «проклятым кули». Я избавил тебя от всех этих унижений.

— Знаю. Вот почему я никогда не смогу презирать вас. В отличие от меня, у вас не было никакой защиты в этих джунглях. Я это понимаю. Но мы — люди и должны бороться за то, чтобы быть людьми, а не дикими зверями.

— И в этом мире людей сын шантажирует своего отца?

— Этого требуют интересы борьбы за то, чтобы превратить мир зверей в мир людей.

— А своих чернокожих приятелей, которые беспощадно убивают индийцев, ты тоже причисляешь к миру людей? И ставишь на карту все, что у нас есть, ради них?

— Ради нас самих, отец! Ради нас самих! Вы достаточно умны, чтобы понять это.

— Да, я не дурак. А вот ты простофиля, который верит в сказки с хорошим концом. Несмотря на все свои благородные чувства, ты потерпишь неудачу.

— Ну и что ж? Лучше потерпеть неудачу, чем сидеть сложа руки.

— Что может быть хуже, чем лишиться всего, что у тебя есть?

— Думаю, что вы сами можете ответить на этот вопрос, отец. Вы закрываете глаза на правду, но в глубине души знаете ответ.

— Да поможет нам бог, если черные окажутся у власти.

— Да поможет нам бог, если мы не прекратим это бесполезное препирательство. Вчера вечером полиция задержала единственного человека, которому известно, кто скрывается у нас в доме.

Старик Нанда спрыгнул со своего большого кресла, и Молодой Нанда принялся его успокаивать. В конце концов его усилия увенчались успехом: крики и ругательства стихли, буря миновала.

Но понадобилось еще десять минут, чтобы — при помощи увеличенной дозы брэнди — Старик Нанда обрел самообладание и смог позвонить.

Он набрал личный номер старшего инспектора Дю Плесси и услышал долгие гудки.

— Его там нет,— выждав несколько минут, сказал Старик Нанда.

— Нет, он там,— настаивал Молодой Нанда.— Я знаю. Постарайтесь дозвониться до него, пока они не вытянули признания из юного Наяккара.

— Я не могу звонить по общему телефону, а Дю Плесси нет на месте.

— И все-таки придется позвонить.

— Ведь это экстренный случай,— произнес Старик, обращаясь скорее к себе самому, чем к сыну. И он набрал общий номер управления уголовного розыска.

Дело оказалось нелегким: телефонистка не спешила соединять его со старшим инспектором и учинила ему форменный допрос, прежде чем выполнила его просьбу.

— Извините, что я вас беспокою, господин старший инспектор,— я знаю, что вы сейчас очень заняты, но я должен с вами поговорить. Во-первых, получила ли миссис Дю Плесси отрез, который я ей послал? Ткань очень дорогая, и я хотел удостовериться...

— Позвоните мне домой вечером,— отрезал Дю Плесси.

— К сожалению, я не могу ждать до вечера. А ваш личный телефон не отвечает.

— Через пять минут я должен вернуться в свой кабинет: срочный телефонный разговор. Может быть, позднее...

— Понятно,— сказал Старик Нанда.

— Ну, вот и хорошо,— сказал Дю Плесси.— Спасибо, что не забываете меня, старина. Я бы с удовольствием потолковал с вами, если бы не был сейчас занят по горло.— Повесив трубку, он добавил, обращаясь к окружающим: — Вы только представьте себе, мне предлагают сыграть в гольф, нечего сказать, удачно выбрали время!.. На чем мы остановились?..

Инспектор Янсен и другие сыщики рассеянно улыбнулись и продолжали допрос задержанного. Через четыре минуты Джепи Дю Плесси поднялся в свой кабинет и запер дверь. Через минуту позвонил Старик Нанда.

— Я же вас предупреждал, чтобы вы звонили только по этому номеру! — сердито сказал Дю Плесси.

— Извините, но время не терпит, а я хотел предоставить вам право первого выбора. В два часа к нам приезжает для ревизии наш друг-таможенник. Готовясь к его приезду, я обнаружил среди своих товаров пол-ящика микстуры, которую вы так любите. Боюсь, что он потребует ее себе. Вот я и подумал: может быть, у вас вышли все запасы. Конечно, если мое предложение вас не интересует, я могу отдать ему... но...

— Нет, нет, отложите эти пол-ящика для меня, Старик.— Голос Дю Плесси был уже не такой сердитый, как прежде.

— Я так и думал, что вы возьмете. И я кое-что приберег для вашей хозяйки. Так что приезжайте скорее.

— Я заеду к вам вечером, когда буду возвращаться домой.

— Хорошо, господин инспектор. Я вас угощу своим лучшим брэнди.

— Ладно. Ждите меня около шести. А теперь скажите, что вам от меня надо.

— Обещайте никому не выдавать моей тайны, господин старший инспектор.

— Смотря по тому, что вы мне скажете, Старик.

— Я хочу открыть вам секрет, который мои враги, особенно политические, не преминули бы пустить в ход против меня. К счастью, об этом не подозревает даже мой сын. Ну, вы понимаете... заблуждения молодости... правда, я был не так уж молод...

Джепи Дю Плесси совсем развеселился. Он был теперь в превосходном настроении: ах ты, грязный старичишка кули, а я-то думал, что у тебя нет времени на такие проказы, всё деньги зарабатываешь! Он разразился таким оглушительным ржанием, что у Старика Нанды чуть не лопнули барабанные перепонки.

— Хорошо, обещаю вам, старый греховодник!

— У меня есть небольшая вилла в горах, около двенадцати миль от моего поместья. Вчера вечером туда зашли ваши люди и увидели его. Он ничего не хотел сказать о себе, и они его арестовали. А он не говорил из-за меня.

— Все ясно, Старик. Не надо лишних слов. Я похлопочу о нем. Вы на нашей стороне, и я позабочусь, чтобы вам и вашим близким не причиняли никакого вреда. Как зовут мальчишку?

— Он зовет себя Дики Наяккаром. Славный парєнек, но большой врун, господин старший инспектор. Мать-то у него была из простых, понимаете, но я все-таки его люблю.

— Не волнуйтесь, Старик! Я же обещал, не так ли?

— Спасибо, господин инспектор. У меня такие хорошие друзья. Мне просто повезло.

— Через десять минут он будет на свободе... Дики Наяккар... До вечера, Старик...

Не прошло и десяти минут, как раздался телефонный звонок и кто-то спросил Молодого Нанду. Молодой человек выслушал все, что ему сказали, и повесил трубку.

— Ваш друг сдержал обещание, отец. Дики Наяккар освобожден. Спасибо вам!

— Он вовсе не мой друг! — огрызнулся Старик Нанда.— Я только пользуюсь его жадностью — вот и все. Ну, теперь ты увезешь своих друзей?

— К сожалению, пока это невозможно.

— Шантаж продолжается?

— Нет. Как только мы получим распоряжение от подпольной организации, кто-нибудь увезет африканца. А я переправлю Давуда на португальскую территорию.

— Когда ж это будет? — нетерпеливо спросил старик.

— Как только мы получим распоряжение: сегодня, завтра, на следующей неделе — не знаю. Как только получим распоряжение...

— А если вас поймает полиция? Тогда все мы пропали, сынок.

— Придется рискнуть. Обещаю, что мы вывезем их при первой же возможности. Еще раз спасибо.

Молодой человек вскочил и направился к двери.

— Джо! Скажи мне, пожалуйста,— крикнул вслед ему отец.

Молодой человек остановился и медленно повернул голову. Прошло много лет с тех пор, как Старик в последний раз назвал его Джо,— это было перед отъездом в Европу. Его мать, уроженка Индии, всегда называла его Джаспетом. Старик переделал это имя на европейский лад — Джозеф; Джо — в минуты особой близости. Надо быть начеку, предостерег он себя, не то я тоже потеряю свое имя и в конце концов начну подписываться «Молодой Нанда».

— Этот черный,— медленно, как бы зондируя почву, заговорил Старик,— тот самый, из-за которого подняли весь переполох? Который-де неуловим и бессмертен? Он?

— Да, он.

— Тебя не смутил мой вопрос?

— Нет.

— А этим людям, подпольщикам... известно, что он прячется в моем доме?

— Нет. Им только известно, что Давуд передал его мне. Но никто не знает, что он в вашем доме. Только вы и я.

— И этот мальчик Наяккар?

— Он не знает. Но под пыткой он мог бы сказать, что это я увез их из виллы в горах.

— А если ты сумеешь переправить их за границу?

— Это будет нашей, пусть небольшой победой.— Он разгадал, что тревожит отца, и добавил: — Но у нас будут новые дела и среди них — не менее сложные, чем это. Непременно будут новые дела.

— Стало быть, опасность сохранится?

— Для участников движения — да. Но после того как мы вывезем их отсюда, я постараюсь оградить вас от подобных неприятностей. Я спрятал их у вас в доме только потому, что положение было и остается чрезвычайно серьезным.

— Опасность сохранится,— вполголоса повторил Старик.

— Только для меня, отец,— молодой человек снова ощутил симпатию к отцу.— Вам уже ничто не будет угрожать.

— Если не повторится чрезвычайно серьезное положение...

— При любых обстоятельствах я позабочусь о вашей безопасности. Кстати, после того как все кончится, я думаю, мне лучше покинуть ваш дом.

— При условии, что тебя не арестуют.

— Да, конечно.

— А если тебя арестуют?

— Наказание за так называемую «государственную измену» — смерть.

— И ты не мог бы уехать за границу — как доктор Нанкху?

— Уехать имеет право только тот, кто перестает приносить пользу движению — тот, за кем охотится полиция. Оставаться в этом случае — значит ставить под угрозу всю нашу организацию.

— Почему бы тебе не перебраться на португальскую территорию вместе с Давудом?

— Нет, отец.

— Тебя не отпустит организация?

— Я сам не уеду до тех пор, пока не перестану приносить пользу.

— Но это лишь вопрос времени, Джо.

— Может быть, мне повезет, и я успею скрыться за час до их прихода. Тогда я присоединюсь к группе эмигрантов, которые ведут борьбу за пределами страны. Не повезет — я попаду в лапы полиции. Но что бы ни произошло, мое место займет другой: борьба должна продолжаться.

— Стало быть, борьба предстоит долгая. И конца ей не будет.

— Да, долгая. Но конец все-таки будет.

— И ты уже видишь его, этот конец?

— Нет.

— И все же рискуешь своей жизнью.

— Это мой долг.

— Ты знаешь, что я не разделяю твоих взглядов?

— А я — ваших.

— Но ты хотя бы...— Старик хотел что-то сказать, но передумал и добавил: — Береги себя, Джо. Ради нас всех.

Молодой человек быстро прошел по коридору, сел в лифт и с четвертого, верхнего, этажа спустился на третий, где помещался подлинный центр управления империей — империей Нанды. Старик наверху был теперь скорее символической фигурой, чем настоящим хозяином. Старшие служащие все еще поднимались в тишину верхнего этажа, чтобы посоветоваться по наиболее сложным вопросам, но прежде чем выполнять какое-нибудь важное распоряжение, они непременно заручались согласием Молодого Нанды.

Работа на четвертом этаже шла неторопливым темпом; в кабинетах здесь сидели немногочисленные служащие, одряхлевшие на службе империи Нанды. Внизу же все кабинеты были забиты до отказа; неумолчно трещали пишущие машинки и арифмометры, переговаривались десятки голосов.

Прежде чем Джо Нанда добрался до своего кабинета, ему трижды пришлось принимать на ходу решения. Оказавшись, наконец, у себя, он тотчас вызвал главного бухгалтера — человека такого же могучего телосложения, как и Сэмми Найду. Если же что-нибудь случится с ним, Джо Нандой, то бухгалтер, по всей вероятности, будет следующим руководителем индийской подпольной организации в провинции Наталь.

Коротко, в нескольких словах, молодой человек рассказал обо всем, что произошло в кабинете его отца. Лично у него нет никаких сомнений в том, что отец их не выдаст. Но его долг перед движением требует, чтобы он предусмотрел даже такой невероятный, с его точки зрения, исход.

Затем они обсудили некоторые вопросы, связанные с переводом капитала, принадлежащего империи Нанды, за границу,— операция, которую они производили без ведома властей. Ведь земля и право землепользования уже отобраны у индийцев и всех небелых; вполне возможно, что в один прекрасный день им запретят всякое предпринимательство. И вот, тайком от отца, Джо Нанда стал осуществлять меры предосторожности. Деньги приходилось переводить небольшими суммами, потому что власти не допустили бы утечки капитала,— и все же это было кое-что...

Позвонила секретарша и сказала, что пришел Дики Наяккар; он тотчас же отпустил бухгалтера.

— У них все в порядке, мистер Джо? — поспешил спросить Дики Наяккар, едва войдя в кабинет.

— Да, все в порядке, Дики. Как ты себя чувствуешь?

Под левым глазом у юноши виднелась небольшая вспухлость, кисть правой руки была обмотана грязным платком, но на лице сияла счастливая улыбка.

— Превосходно, мистер Джо. Правда, один пузатый шпик подбил мне глаз, а другой хватил палкой по руке, но я чувствую себя превосходно. Они просто озверели, сэр, мистер Джо. Колошматят людей ни за что ни про что. Одного парня лягнули между ног, у меня душа в пятки ушла, когда я это увидел!

— Минутку, Дики,— сказал Молодой Нанда, протягивая руку к внутреннему телефону. Он набрал две цифры, дождался ответа и заговорил в трубку: — У меня есть сведения, что агенты центрального управления совсем озверели. Думаю, что нам потребуется помощь адвокатов. Вы знаете, что делать.— Повесив трубку, Молодой Нанда повернулся к Дики: — Тебя допрашивали?

— Нет, сэр. Я сидел в камере вместе с другими, когда меня вызвали. Я думал, что меня вызывают на допрос, и тут я, по правде сказать, здорово напугался, мистер Джо, сэр: я ведь не знаю, долго ли продержусь, если меня начнут пытать. Они отвели меня к своему начальнику, он отмочил какую-то шутку про ублюдка-старика, рассмеялся и велел меня отпустить.

— Хорошо. А теперь спустись в столовую и поешь. Немного погодя в ваш город едет грузовик. Шофер знает, что делать. Когда вернешься домой, скажи мисс Ди, что у нас все в порядке. Скажи ей, что доктор и наш друг в безопасности. Мы можем возвратиться к своим обычным делам — как только придет распоряжение из Иоганнесбурга, я сообщу ей об этом. Ты все понял?

Дики Наяккар повторил то, что ему было сказано, почти слово в слово.

— Молодец! — похвалил его Джо.— А теперь иди.

Дики сказал:

— Мистер Джо...

Джо угадал, какой сейчас последует вопрос, и затих.

— Да, Дики?

— Мистер Найду?..

— Верно, Дики. Он погиб.

Дики дважды глотнул воздух, потом расправил плечи. И, глядя на юношу, Джо почувствовал, что к его горлу подступает комок.

— Чертовски хороший парень был этот Сэмми Найду,— тихо проговорил Дики Наяккар. Он быстро повернулся и вышел.

— Да, он в самом деле был чертовски хорошим парнем,— сказал Джо в пустоту.— Был.

Дики Наяккар приехал домой, когда солнце только что село. Мисс Ди, Кисси и молодая служанка ждали его у дверей. Едва он их увидел, как в уме его сверкнула неожиданная мысль: в этом доме остались только женщины; он должен теперь заменить всех: и дока, и Сэмми, и того, третьего. А он знал, что это ему не под силу. И все же он попытается, потому что так уж заведено в мире, чтобы мужчины служили женщинам опорой, и не ему нарушать этот порядок.

Под внешним спокойствием мисс Ди он почувствовал большое внутреннее напряжение.

— У них все хорошо, мисс Ди, все хорошо!

В ее глазах залучилась радость.

— Спасибо тебе, Дики. Добро пожаловать домой.

Теперь я единственный мужчина в этом доме, сказал себе Дики Наяккар.

2

Было уже начало седьмого, когда Ван Ас очнулся от своего долгого, беспокойного, тревожного сна. В первые минуты пробуждения призрак Сэмми Найду продолжал дерзко плясать перед зеркалом его души. И только после того, как мысли окончательно прояснились, он нехотя удалился. Ван Ас протянул руку к лампе, но раздумал включать ее, вылез из-под одеяла и направился к окну, обходя все препятствия с уверенностью человека, который хорошо изучил свою комнату. Раздвинув занавески, он увидел ясное небо, где рельефно выделялась яркая вечерняя звезда.

Какая унылая картина! — подумал он. И с этой мыслью на него наплыло такое сильное чувство одиночества, что ему стало страшно. Он поспешно отошел от окна, и, пытаясь найти выключатель, ударился о стул и туалетный столик.

Свет люстры казался ему необычайно резким, поэтому он включил лампу, стоявшую возле кровати. Потом он пошел в ванную и почистил зубы, стараясь избавиться от неприятного вкуса во рту. В зеркале он увидел свое лицо, поросшее трехдневной щетиной, с воспаленными запавшими глазами.

Он пустил теплую воду и, пока ванная наполнялась, позвонил сперва дежурному в управление безопасности, а потом старшему дежурному в центральное управление уголовного розыска. Оба подробно доложили обо всем, что случилось за эти восемнадцать часов.

Аресты продолжались, хотя и не в таком широком масштабе. Всего несколько часов назад в одной из локаций Иоганнесбурга задержали африканца, который, судя по всему, является руководителем подпольной организации или членом ее тайного совета. Его арест привел к бунту, и сейчас идет ожесточенная схватка между полицией и бандами черных. В большинстве своем черные вооружены камнями и бутылками, но у некоторых есть револьверы. Опасность усугубляется тем, что черные научились делать и метать бомбы. Убито двадцать восемь африканцев. Растерзано трое полицейских. Банда черных совершила даже налет на полицейский участок, где находился арестованный. Эти африканцы были хорошо вооружены и отступили только после того, как был вызван броневик.

Однако никаких следов, которые вели бы к самому Нкози или доктору индийцу, так и не было обнаружено.

Выслушав оба доклада, Карл Ван Ас срочно позвонил своему шефу в Иоганнесбург.

— Сомнения быть не может. Задержанный в самом деле один из руководителей подполья. Возможно даже, самый главный. Как еще объяснить их упорные, самоубийственные попытки освободить его?.. Что он говорит? Да ни черта! Они перепробовали все свои способы, но не выжали из него ни слова. Он дважды терял сознание и всякий раз, приходя в себя, нахально ухмылялся... Доктора хотят испробовать свои средства. Ну, те самые, о которых пишут в романах. «Таблетки правды» и т. п. Но они говорят, что он слишком слаб. Прежде чем он попал в наши руки, над ним поработали двое дюжих молодцов... Надо прекратить это самоуправство уголовной полиции... Обязательно. Мы сейчас же позвоним вам, как только он что-нибудь скажет или поступят важные новости. Но, честно говоря, после всего, что он вынес, вряд ли от пилюль будет толк...

Мир никогда еще не казался ему такой мрачной, безрадостной пустыней, никогда еще не давил с такой тяжестью на его сердце.

Он снова снял трубку и начал набирать номер Милдред Скотт. Она ответила сразу, и голос ее был ласковым, как свежий прохладный ветерок, овевающий лицо в удушливо-жаркий день.

— Можно я приеду? — спросил он.

— Да. Ты поужинал?

— Нет еще. Через десять-пятнадцать минут.

— Хорошо.

Он подождал, пока она даст отбой, и ему стало легче выносить тяжесть, с которой мир давил на его сердце.

Он побрился, принял ванну и оделся с поспешностью, в которой было что-то лихорадочное. Затем вышел на улицу, где уже клубились ранние сумерки. Окружающий мир был до странности обычен. Уже зажглись фонари; по мостовой плавным потоком скользили машины; ярко освещенные рестораны и бары в центре города были заполнены посетителями. По тротуарам прогуливались горожане — высокие и низкорослые, красивые и некрасивые люди всех цветов кожи, всех рас, из всех слоев общества: одни наслаждались вечерней прохладой, другие глазели на витрины; парни подыскивали себе девушек, а девушки — парней. Обыкновенный, ничем не примечательный вечер, хорошо знакомый всем детям человечества.

Как всегда, старуха гриква открыла ворота, пропуская машину, а затем заперла их на засов. Она успела заметить, что с той стороны улицы, со стороны, где живут белые, какая-то женщина внимательно наблюдала за происходящим. Надо будет сказать мисс Милли, что мистер Карл приезжает слишком рано. Как бы кто-нибудь не донес. На прошлой неделе они упрятали в тюрьму одну пару, потому что мужчина был белый, а женщина цветная. И оба вполне приличные люди! Надо будет предупредить мисс Милли.

Ван Ас нашел Милдред Скотт под ее любимым огненным деревом: перед ней стоял большой кувшин с холодным, как лед, апельсиновым соком и высокий бокал с вином. Здесь, в этом тенистом благоухающем саду близ Милдред мир был таков, каким его хотело видеть сердце: простым и исполненным покоя.

— Мне надо было жениться на тебе,— неожиданно сорвалось у него с языка.

— О! — Она была изумлена и подумала, что теперь об этом не может быть и речи. Должно быть, ему хочется попозировать.

— В те дни это было еще возможно. Помнишь те дни?

— Но ведь ты не женился,— сказала она, с любопытством ожидая, что он скажет.

— Тогда все было бы решено бесповоротно,— продолжал он.

Он в самом деле страдает. Нет, он страдает уже давно, но только недавно начал это понимать. Бедный Карл. Бедный Карл.

— Тогда у тебя была свобода выбора, Карл. И ты сделал свой выбор. Так что все было решено еще в то время.

Он молчал долго-долго. Когда он заговорил снова, в его голосе звучало отчаяние.

— Значит, в душе ты согласна с Сэмми Найду.

— Так звали умершего? — тихо спросила она.

— Да,— подтвердил он.

— Скажи мне, Карл... Говорят...

— Я знаю, что говорят, но это неверно. Он даже не подвергался пыткам. Он сам предпочел умереть. Это как раз то самое, что ты называешь свободой выбора.

— О Карл! Почему ты так расстроен?

— Потому что, если б я женился на тебе, этого бы не произошло.

— Понятно.— Против своей воли она замкнулась в себе и почувствовала, что он стал ей безразличен.

Он тоже это почувствовал, и кривая усмешка, как клещ, впилась в левый краешек его рта.

— Ты не поняла меня, Милдред. На сей раз — нет. Видит бог, я очень нуждаюсь в тепле, которое только ты можешь мне дать, но не так, как ты представляешь. Перед смертью Найду сказал, что подлинные враги всех небелых — это люди, подобные мне. Он сказал, что государственная машина застопорилась бы, если бы не наш ум и способности. Ты с ним согласна?

— Не все ли равно?

— Пожалуйста, Милдред.

— Хорошо, Карл.— Несколько мгновений она раздумывала, затем начала, взвешивая каждое слово.— Я далеко не уверена, что ты, как отдельная личность, при всем своем желании мог бы остановить машину. Если Найду имел в виду именно это, то я с ним не согласна. Другое дело, если он говорил о тебе как о представителе поколения, которое, как и мы, ходило в университет,— тогда он прав. Мы убеждены— мне очень неприятно говорить с тобой от имени небелых, но раз ты принуждаешь меня, что ж, пусть будет по-твоему,— мы, повторяю, убеждены, что апартеид укрепляют и поддерживают люди, которые вовсе не являются закоренелыми расистами. В те времена, когда мы учились в университете, Карл, кто мог подумать, что страна докатится до такого положения? Помнишь, как тебе и твоим друзьям удавалось высмеивать всяких мелкотравчатых националистов. Но каждый заботился лишь о своих корыстных интересах, а это, в конце концов, привело к тому, что каждый так или иначе стал защищать и поддерживать неограниченный апартеид — режим, при котором мы сейчас живем.

— Так что выбор был сделан еще тогда. Это ты и хочешь сказать?

— Да, Карл. Это я и хочу сказать.

— И если бы я женился на тебе, я бы тоже сделал свой выбор.

— Да. Со всей определенностью, какая возможна в таких вещах.

— И ты знала это еще тогда?

Бедный, бедный Карл!

— Да.

— И тем не менее...

— Я любила тебя, Карл. И, связав свою судьбу со мной, ты рисковал гораздо бóльшим, чем я. Мы оба это знали. Вот почему ты ничего не хотел видеть.

— Но ты видела! Я любил тебя тоже, но ничего не хотел видеть. Я загубил твою жизнь, но ничего не хотел видеть.

— Все, что я сделала, я сделала по своей доброй воле, Карл.

— И ты поступила бы так снова? Теперь?

О боже! Как его проняли слова Найду!

Она взяла себя в руки.

— Нечестно задавать такой вопрос, Карл. Мир переменился.

И только в этот миг, наконец, она увидела, что любовь давным-давно умерла. Но нежность, участие — эти прощальные отблески зашедшего солнца — навсегда сохранятся в ее сердце, ибо любовь эта была чистой, прекрасной и сильной.

— Если бы я знал тогда! — думал он, понимая в то же время, что это ничего бы не изменило.

— Я по-прежнему люблю тебя,— сказал он.— И всегда буду любить.

Из темных глубин памяти до него как бы въявь донесся голос их старого профессора философии — чудаковатого старого англичанина с гнилыми зубами и потемневшими от курения пальцами. И этот голос говорил ему, что бытие определяет сознание, а сознание, в свою очередь, определяет бытие. Я таков, каким хочу быть, но каким я хочу быть, зависит от того, каков я.

— Он в самом деле ненавидел меня,— сказал Карл Ван Ас.

— Этот Найду?

— Да.

— Мне кажется, тебе следует рассказать мне о нем, Карл.— Как все это нереально! — подумала она. Как будто он уже ушел, а здесь осталось нечто вроде материализовавшейся тени, и это не его голос, а только отзвук его голоса.

Он сделал быстрое движение — словно хотел что-то смахнуть со щеки.

— Рассказывать почти нечего. Рослый парень. Сильный, но не имеет никакого понятия о дзюдо. Знал, где прячется этот Дьюб-Нкози, но не хотел сказать. Ему вовсе не надо было умирать.

— Он боялся, что вы заставите его говорить.

— И предпочел умереть. Но ведь он умер, Милдред, даже не ради своего народа.

— Было время, когда ты мог бы это понять, Карл.

— Но ведь черные даже не поблагодарят ни его, ни его сородичей.

— Он поступил так не ради благодарности.

— Разве мы не должны заботиться о своих сородичах и отстаивать свое право на существование?

Я говорю совсем не то, что хочу сказать, спохватился он. Я говорю все, что взбредет мне на ум, лишь бы удержать ее... а она отдаляется... отдаляется...

Он овладел собой с величайшим трудом. Она почувствовала, что тень отступает, и вместо нее появляется живой человек. Ее сердце преисполнилось состраданием. О боже! Как он старается!

— Зачем было допускать до всего этого? Везде, куда ни бросишь взгляд,— ненависть.

— Разграничительные линии с каждым днем обозначаются все резче и резче, Карл.

— Ты знаешь, что я пробовал...

— Да, знаю, Карл.

— И ты тоже против меня?

— Не против тебя, Карл. Против того, чем ты стал!

— Но я же не переменился. Ты веришь Найду, но ведь я не такой! — ...отдаляется... отдаляется...— Пожалуйста, выслушай меня, Милдред. Мы не такие. Мы, африканеры, не чудовища. И тебе это известно. Ты узнала меня ближе, чем кто-либо другой. Да, верно, среди нас есть звери — как и среди всех других народов. Но есть и порядочные люди: честные, справедливые, добродетельные. Они отстаивают свое право на существование, и они мои братья по крови.

— Мы все равно не поймем друг друга,— вздохнула она,— не будем продолжать этот бесполезный политический спор. Мы оба хорошо сознаем, что речь идет отнюдь не о праве на существование какой-либо национальной группы: твоей, Найду или моей...— Она вдруг запнулась. Как растолковать ему это? Он убежден в своей правоте, и теперь ничто не в силах его переубедить.

Ее сковывала невыразимая усталость, тупая, расслабляющая, когда лень даже думать о чем-нибудь. Любовь ушла, и в душе осталась полная пустота. А ведь когда-то это была необыкновенно сильная любовь, всепоглощающая и щедрая, любовь, которая изливалась с беспечностью неиссякаемого источника. И вот она истощилась, пересохла, иссякла.

— Ты считаешь, что продолжать этот разговор бесполезно? — с горечью спросил он.

Она искала спасения в относительно безопасной роли учительницы истории. Ведь историки, рассуждала она, обходят молчанием людей, опаленных огнем великих духовных и моральных битв; эти люди, стоящие на краю событий, не заслуживают упоминания, но больше всего жертв среди них... Нет, это не совсем точно. Он не стоит в стороне и никогда не стоял. Это я верила, что можно стоять в стороне. Но это невозможно: по крайней мере, сейчас, в этой стране, для тех, кто в ней рожден... Что он говорит? Бесполезно продолжать разговор?

— Это неверно, Карл. Я только хотела сказать, что незачем затуманивать важнейшие проблемы нашей эпохи, заводя бесполезный политический спор о целесообразности. Тем более нам с тобой.

— Значит, ты утверждаешь, что разница между добром и злом, честью и бесчестьем измеряется лишь количественно. Толпа права! Толпа — бог, в особенности если это толпа черных.

— Неужели все сводится к этому? Да нет, Карл. Речь идет отнюдь не о толпе, не о боге и даже не о цвете кожи. Речь идет о тирании, угнетении, жестокости — обо всех тех гнусностях, которые совершало меньшинство, пытаясь удержать власть противу воли большинства. В наше время, особенно сейчас и здесь, борьба, по сути дела, идет между добром и злом.

— Понимаю. Правление белых — это зло. Правление черных — добро.

— Этого я не знаю, Карл. Я знаю лишь одно: от правления белых нельзя ждать ничего хорошего. Ты сам настоял на этом разговоре, Карл. Ничего хорошего. А там, где нельзя ждать ничего хорошего, зло торжествует полную победу. Возможно, правление черных и в самом деле окажется, как ты опасаешься, ужасным бедствием. В других частях Африки, насколько я знаю, не случилось ничего страшного. Но даже если бы сбылись худшие опасения, еще не все было бы потеряно, потому что власть держало бы в своих руках большинство. Вот в чем, по-моему, надо искать объяснение, отчего Сэмми Найду пожертвовал собой ради африканца.

Итак, я покончила с этим, подумала она, раз и навсегда.

Она быстро поднялась.

— Прощай, Карл.

Он тоже встал. И, вставая, уже сознавал, что это полный и окончательный разрыв. Она повернулась и пошла к дому.

— Милдред!..

Она остановилась.

Он сказал прерывающимся голосом:

— Я пытался...

Выпрямившись, с высоко поднятой головой, она двинулась дальше — и только бросила старухе грикве:

— Мистер Карл уезжает, Лена.

Старуха отворила ворота, а когда Карл Ван Ас выехал на своей машине, снова заперла их, инстинктивно чувствуя, что больше никогда не увидит этого человека.

Карл Ван Ас остановился у первого же попавшегося бара; наспех проглотил две двойных порции брэнди и отыскал в записной книжке номер Анны де Вет. Она пригласила его с такой готовностью, что ему стало не по себе. Подъезжая к ее дому, он мысленно оплакивал человека, которым хотел бы себя видеть.

3

Распоряжение поступило на следующий день, и даже Молодой Нанда не ожидал, что оно будет передано ему таким путем. Когда он шел к себе в кабинет, секретарша сказала, что ему уже четыре раза звонил некий Исаакс из Иоганнесбурга, представитель одной из крупнейших галантерейных фирм.

— Почему он хотел говорить именно со мной? — спросил Джо Нанда, смутно припоминая Исаакса. Это был небольшого роста еврей, производивший какое-то странно унылое впечатление: и своими обвислыми усами, и мешковатой одеждой, и характерной падающей интонацией.

— Он не стал разговаривать ни с кем другим,— ответила секретарша.— Ему приказано поговорить с вами лично и показать образцы бракованного товара.

— Что за ерунда! — возмутился Джо Нанда.

— Я его уверяла, что тут какое-то недоразумение. То же самое говорил мистер Мукерджи.

— Но мистер Исаакс должен непременно повидать самого хозяина? А ну его к черту! Уж я его помарину!

Как раз в этот миг задребезжал телефон, секретарша сняла трубку и, прикрыв ладонью микрофон, сказала:

— Это опять он, сэр.

Джо Нанда вошел в кабинет и снял трубку.

— Мистер Исаакс? Это Джо Нанда.

— Наконец-то я дозвонился до вас, мистер Нанда. Вам, конечно, передали, какое у меня поручение. Днем я выезжаю обратно и поэтому рассчитываю повидать вас утром.

— Боюсь, это невозможно, сэр. Моя секретарша, я уверен, предупредила вас, что я занят весь день.

— И все-таки вы должны уделить мне хоть пять минут, мистер Нанда.

— Боюсь, это невозможно. Более неудачного дня, кажется, нельзя было выбрать.— Он знал, что экспресс уходит около часа и добавил:— Я могу принять вас без пяти час.

На другом конце провода наступило молчание. Ну, сейчас он выложит карты на стол, все они рано или поздно выкладывают карты на стол, думал Нанда, глядя на секретаря.

Человек на другом конце провода заговорил снова; его голос внезапно зазвучал настойчиво и совсем не так уныло, как прежде.

— Дело у меня гораздо важнее, чем вы думаете, мистер Нанда. Я должен успеть на этот поезд и должен повидать вас. Я сейчас приеду к вам и буду ждать до последней минуты. Будет очень жаль, если я не смогу передать вам поручение моих шефов.

Голос замолк.

— Что-то непонятное,— сказала секретарша.

— Может быть, он связной?

— А, может быть, они напали на ваш след?

— Вполне вероятно, что он просто торговый агент,— спокойно сказал Джо.

— Выяснять это довольно опасно,— встревоженно проговорила девушка.

— Придется рискнуть. Предупредите всех наших, чтобы были в полной готовности.

Девушка зашла к главному бухгалтеру, затем в течение десяти минут под видом исполнения своих служебных обязанностей она предупредила более десятка других служащих фирмы. И все они спокойно приготовились к решительным действиям.

Прошло еще пятнадцать минут, прежде чем приехал галантерейщик. Он назвал свою фамилию секретарю в приемной на первом этаже. Она вызвала посыльного и велела ему проводить мистера Исаакса в кабинет мистера Нанды.

— Он поднимается, сэр,— предупредила Молодого Нанду его секретарша.

— Хорошо. Вы можете идти.

— Пожалуйста, будьте осторожны, сэр.

— Постараюсь, моя дорогая. Вы знаете, что делать?

— Мы знаем.

— Вы у меня молодцы! — сказал Джо Нанда, когда она уже повернулась, чтобы идти.

Я еще никого не убивал; надеюсь, и в этот раз не понадобится никого убивать! Он подвинул стул так, чтобы легче было достать револьвер из открытого ящика стола.

— Мистер Исаакс, сэр,— провозгласила секретарша, распахивая дверь.

Войдя в кабинет, низенький сутулый галантерейщик выпрямился и оглянулся на дверь.

— Я полагаю, мы одни, мистер Нанда. Вы сами, вероятно, не захотите, чтобы ваши служащие слышали поручение моих хозяев. Боюсь, что ни один хозяин не захочет, чтобы его служащие слышали поручения такого рода.

— Они, должно быть, уже догадались, зачем вы изволили пожаловать. Мы здесь одни. Никто нас не подслушивает.

Галантерейщик сделал шаг вперед, но Нанда так и не встал, чтобы с ним поздороваться.

— Мистер Нанда, я привез вам распоряжение, которого вы ожидаете. Вы, видимо, смекнули, в чем дело, потому что меня провели к вам без задержки... Надеюсь, наш телефонный разговор не подслушали? Вы заставили меня сказать больше, чем я собирался.

— Кто вы такой?

— Моя фамилия Исаакс, мистер Нанда. Ваши люди знают меня как иоганнесбургского представителя одной из крупнейших галантерейных фирм страны. Для вашего сведения я могу еще добавить, что я связной, действующий в особо экстренных случаях. Помните этот стишок: «Симон пришел, Симон ушел»? Вам знакомо это имя — Симон?

— Симон? — с удивлением повторил Джо Нанда, и в тот же миг у него отлегло от сердца.— Извините, что я оказался таким недоверчивым.

— Вы были правы, совершенно правы.

Джо резким движением задвинул ящик стола и вскочил:

— Рад вас видеть. Присаживайтесь!

Он снял трубку внутреннего телефона и, посмотрев на галантерейщика, сказал:

— Я должен предупредить своих, что все в порядке. Все в порядке, да, да, в полном порядке,— проговорил он в трубку.

— Я вижу, вы приготовились к самому худшему,— заметил Исаакс.

— Ведь я знаю, где находится Нкози.

— Разумеется. Потому-то Найду и пожертвовал собой. Стало быть, наш друг в безопасности?

— Да.

— В полной безопасности?

— Как я и вы, Симон.

— А это означает, что он в доме Старика Нанды. Не так уж здесь безопасно, Джо. Если мы у себя, в далеком Иоганнесбурге, сумели сообразить, что к чему, можете быть уверены, что вам не удастся долго водить за нос здешних людей, особенно Ван Аса. Достаточно легчайшего подозрения, что вы, возможно,— заметьте, только возможно — сочувствуете нашему движению, как они тотчас заинтересуются домом Старика Нанды.

— Но сперва на меня должно пасть подозрение.

— Откуда вы знаете, что оно уже не пало на вас? Этот Ван Ас дьявольски умен, Джо... Но давайте поговорим о деле. Они порвали много важных связей, и теперь мне приходится их восстанавливать. После того, как два дня назад арестовали председателя, Совет отложил все свои заседания. Наш друг секретарь — когда я говорю «Наш друг», я подразумеваю самого верного друга, который есть у национальных меньшинств в Совете,— вынужден сейчас принимать единоличные решения. Он считает, что в интересах безопасности я не должен открывать, кто я такой, членам африканской секции натальской организации; поэтому прошу вас передать им все, что я сейчас сказал. Передайте им также, что готовится нападение на место заключения председателя — кстати, они до сих пор не узнали и вряд ли узнают, что он председатель,— и мы хотим, чтобы одновременно с этим нападением по всей стране прокатилась волна диверсий. Но было бы ошибочно принимать это за восстание. Наша цель — устрашить их и скрыть истинные размеры ущерба, который они нанесли нашей организации. Чрезвычайно важно, чтобы за то время, пока будут происходить намеченные выступления, вы успели вывезти Нкози за границу. Секретарь хочет, чтобы это сделали вы, а не здешняя африканская секция. У вас есть организация, у них нет, поэтому у вас больше шансов на успех. Первоначальный план состоял в том, чтобы переправить его к северной границе, а оттуда в Родезию. Это лучше всего могли бы сделать африканцы. Но нарушение связей сорвало этот первоначальный план. Я говорю достаточно ясно?

— Да,— тихо сказал Джо.

— Вы сможете выполнить задание?

— Должны выполнить.

— Помните, что, если мы не вывезем его до завтрашней ночи, опасность его ареста увеличится в тысячу раз, а его арест, как вы сами понимаете, положил бы конец легенде о Нкози.

— И мы потерпели бы крупное поражение.

— Вот именно,— кивнул Исаакс,— крупное поражение.

— Итак, мы должны вывезти его,— подытожил Джо.— Как мне связаться с местными африканскими лидерами?

— Вам надо связаться только с одним из них... Сюда никто не войдет? Я хочу раздеться до пояса.

— Нет,— ответил Джо. Но на всякий случай он быстро подошел к двери и запер ее на ключ.

Исаакс обнажил верхнюю часть туловища. К внутренней стороне его руки, возле самой подмышки, был приклеен лоскут телесного цвета. Под ним оказалась записка.

— Тут написано, к кому обратиться. Вручите ему это письмо, и он выслушает вас с доверием.

Джо Нанда внимательно прочитал записку, затем вынул бумажник и спрятал ее в потайное отделение.

— Вот и все,— сказал низенький человечек, одеваясь и преображаясь в понурого Исаакса, иоганнесбургского агента галантерейной фирмы.— А теперь давайте поговорим о рекламациях, которые предъявляют вам мои хозяева. Ведь эти рекламации вполне реальны, хотя и составлены не без моего участия. Пожалуйста, пригласите своего секретаря: может быть, вам надо будет кое-что записать.

Когда через полчаса Исаакс собрался уходить, Джо крепко пожал ему руку.

— Передайте привет моим друзьям в Иоганнесбурге.

— Я возвращусь туда не сразу. Мне нужно восстановить еще множество прерванных связей.

— Да, конечно,— быстро проговорил Джо.— Желаю удачи.

Понурый Исаакс просиял улыбкой.

— Она вам самому понадобится. Желаю удачи.

Секретарша была удивлена сердечностью их прощания. Оставшись наедине с молодым хозяином, она не преминула заметить:

— Этот мистер Исаакс, оказывается, не совсем обычный клиент.

— Совсем даже необычный,— подтвердил Джо.

Секретарша ждала разъяснений, но Джо ограничился сказанным, и у нее было достаточно ума, чтобы все понять и не задавать лишних вопросов. Девушка выскольз-

нула из комнаты. Она хорошо знала, что ему нельзя мешать и ее обязанность — не пускать никого к нему в кабинет.

Дважды он просил соединить его с городом. Один раз он разговаривал с торговцем индийцем, который жил на самом севере страны (это был, она знала, один из руководителей движения), а в другой раз — с африканцем адвокатом, явпявшимся вопреки запрету властей, юрисконсультом фирмы. После этих двух звонков он, видимо, звонил по своему личному телефону, не подключенному к коммутатору, но в этом девушка не была уверена.

Затем пришел главный бухгалтер и взмахом руки отмел все ее возражения:

— Он сам меня вызвал.

Бухгалтер просидел у молодого хозяина до обеда, и секретарша знала, что заняты они отнюдь не счетами фирмы. Как только это долгое совещание кончилось, бухгалтер сел в машину и отправился в поездку по сельским местностям Наталя: впрочем, о его точном маршруте никто не имел ни малейшего представления.

Затем, как бы случайно, стали заглядывать служащие, чтобы поговорить несколько минут с Джо Нандой.

К концу рабочего дня приехал адвокат африканец. С ним был еще один его сородич: высокий, худой мужчина с пронизывающими глазами. Эти двое пробыли в кабинете дольше, чем все остальные,— почти целый час.

Через несколько минут после ухода африканцев Джо Нанда оставил свой кабинет.

Пока Джо Нанда говорил, Давуд Нанкху беспокойно шагал взад и вперед по комнате. Вынужденное сидение взаперти плохо сказывалось на его нервах: он был в каком-то взвинченном состоянии. Зато Нкози сидел спокойный и невозмутимый, как будто в их положении не было ровно ничего необычного. Комната, где они прятались, была большая, просторная и очень комфортабельно, почти с роскошью, обставленная. Находилась она на верхнем этаже особняка Старого Нанды, на территории, отведенной для белых. Джо Нанда стоял, прислонясь спиной к стене, возле двери и рассказывал о свидании с человеком по имени Симон, об аресте председателя Центрального Совета подпольной организации и о том, что на следующую ночь по всей стране намечены диверсионные акты.

— Итак, мы должны действовать на свой страх и риск,— констатировал Нанкху, нервным движением запуская пальцы в волосы.

— А этот африканский лидер, с которым вы сегодня встречались... — поинтересовался Нкози.— Что вы о нем думаете? Что он за человек?

— Решительный и находчивый,— ответил Джо.— Он произвел на меня хорошее впечатление.

— Тогда почему бы не заручиться его помощью? — предложил Нкози.— Погодите... А не разделиться ли нам с Давудом? Вы проводите его до границы Протектората или до какого-нибудь пограничного пункта. Там мы с ним встретимся и попытаемся вместе перейти через границу. Очевидно, мне легче будет проделать этот путь в сопровождении африканцев, а Давуду — в сопровождении индийцев.

— Мне нравится эта мысль,— поспешил поддержать его Нанкху.

— И мне тоже,— сказал Джо.— Но тут есть две трудности. **Может быть,** нам и удастся как-нибудь доставить Давуда к самой границе, но вам, мой друг, не отъехать и десяти миль от Дурбана. **Даже если** мы сумеем доставить вас обоих к месту назначения, граница наглухо закрыта, она чуть ли не через каждый ярд утыкана пограничниками. Попытка перейти сейчас границу не просто рискованная, а самоубийственная затея. Нет, друзья, как ни соблазнительна эта мысль, она, к сожалению, неосуществима. Я уже не говорю о том, что Симон рекомендовал мне не впутывать в это дело африканскую секцию.

— А может, достать где-нибудь мощную моторную лодку? — сказал Нанкху.

— Я уже думал об этом,— отозвался Джо.— Но прежде чем вы доберетесь до Бейры, вас непременно обнаружит морской или воздушный патруль.

— Надо рискнуть,— проговорил Нкози.

— Согласен. Но ведь рисковать и идти на заведомое самоубийство — вещи совершенно разные. Не забывайте: тут затронуты гораздо более важные интересы, чем интересы вашей личной безопасности. Говоря прямо, ваш арест нанесет неизмеримо больший вред нашему движению, чем арест Давуда.

— Я знаю,— негромко вымолвил Нкози. Он встал и дважды прошелся взад и вперед по комнате, затем остановился и поглядел сперва на Давуда Нанкху, а потом на Джо Нанду.— Послушайте, друзья. Я не смельчак. Напротив, я человек впечатлительный и быстро поддаюсь панике. Поэтому мне нелегко предлагать то, что я вынужден предлагать вопреки своим желаниям. Но если мы окажемся в безвыходном положении, вы можете поступить так, чтобы я исчез... Нет, Давуд... Не исключай этой возможности... В таком случае, пожалуйста, не говорите мне ни слова: постарайтесь только, чтобы это было быстро и безболезненно. Но я все-таки не теряю надежды...

Нанкху обхватил голову руками. Перед ним стояло лицо Ди. Ведь она любит этого человека! — вспомнил он.

— Мы боремся во имя жизни! — сказал Джо резко, сердито, как бы не желая признавать ужасный смысл, который таился в словах Нкози.

Нанкху приподнял голову и подумал: но даже борясь во имя жизни, мы можем погибнуть, так и не узнав, принесет наша смерть какую-нибудь пользу или нет; все, что нам дано,— это быстро гаснущая вспышка сознания, которую мы зовем жизнью.

Послышался стук в дверь.

— Кто там? — выкрикнул Джо.

— Это я,— донесся слабый голос Старика Нанды.

Молодой Нанда вышел наружу, плотно затворив за собой дверь. Немного погодя он вошел и придержал дверь, пропуская старого Нанду.

— Отец хочет познакомиться с вами,— сказал он, обращаясь к Нкози.

— Надеюсь, вы не возражаете? — спросил Старик Нанда, впиваясь взором в африканца. Неужели этот коротышка — тот самый, из-за кого подняли такой переполох? Тот самый, кого называют неуловимым и бессмертным? А по мне, ничего особенного. Как две капли воды похож на любого другого африканца. Но, видно, в нем все же есть что-то, раз он так напугал белых. Ну, уж если они его поймают — зададут же они ему. Но тогда и мне не поздоровится — у моего сына гости, а я с ними незнаком... Вы понимаете?

— Я уже объяснил тебе, отец.

— Да,— сказал старик,— но все-таки...

— Вы правы.— Нкози поднялся и протянул руку.

Помедлив какое-то мгновение, Старик пожал эту небольшую черную руку. Затем он повернулся к Нанкху:

— А, это вы, доктор? Кто же теперь заботится о вашей сестре и пациентах?

— Отец! — вскричал Джо.

— Как вам это нравится? — апеллировал Старик к Нкози.— Мой сын подвергает опасности всю нашу семью и еще возмущается! Я, кажется, не успел вам сказать, что не разделяю ваших общих взглядов.

— Извините,— сказал Нкози.— Я предпочел бы, чтобы все было иначе.

— Тут я с вами совершенно согласен... Но объясните мне, пожалуйста, как вы собираетесь сбросить это правительство, которое забрало всю власть в свои руки?

— Ваш вопрос не по адресу, отец. Спросите меня.

— Я уже спрашивал тебя, Джо, помнишь? Ты ответил, что на это требуется время, а до тех пор много людей — и среди них мой собственный сын — могут погибнуть. Теперь я задаю тот же вопрос ему: ведь он, говорят, неуловим и бессмертен. Почему мой народ, мой сын и доктор должны умирать за вас и ваш народ?

— Да замолчите вы, отец! — закричал Джо, придвигаясь к Старику.

— Успокойтесь,— сказал Нкози.

— Не за него и не за его народ,— выпалил Нанкху вне себя от ярости.— Как вы не понимаете? Мы делаем это ради себя. Ради таких людей, как вы.

Джо Нанда схватил отца за руку и повел его к двери.

— Подождите! — властно сказал Нкози.

Джо остановился и отпустил отца. Старик нашел себе стул и уселся.

— Похоже, вы здесь единственный, кто уважает старость,— сказал старик, обращаясь к Нкози.

— На их месте я сделал бы то же самое, сэр; так же, как, надеюсь, и они на моем. Может случиться, что я погибну или меня арестуют. Но чтобы ни случилось, мы не должны допустить — мы трое и все участники борьбы против апартеида,— мы не должны допустить уничтожения **Идеи,** которую воплощает в себе Ричард Нкози. В действительности меня зовут не Ричард Нкози. Я только заимствовал это имя, как делали до меня и будут делать после меня другие, потому что имя это стало выражением воли и духа сопротивления. Отныне оно — символ.

— А если вас арестуют?

— Тогда у них будет возможность доказать, что я — тот, кто пользовался именем Ричарда Нкози. И они смогут установить мою личность. А это грозит двумя последствиями: во-первых, будет развеян миф, во-вторых, погублена надежда на победу — надежда, питающая дух сопротивления.

— И вы рискуете своей жизнью ради этой сказки?

— Нет, сэр. Ради народа своей страны, но прежде всего — во имя своих идеалов. В этом, сдается мне, и состоит разница между человеком и животным.

— Мы не хотим быть животными, живущими в джунглях,— вступил в разговор Джо.

— Я думаю обо всех нас,— сказал Нкози.— Обо всех человеческих существах на свете.

— Прикажете всем нам верить в волшебные сказки! — насмешливо фыркнул Старик.

— А почему бы и нет?

— Ваши люди убивают индийцев, белые зверствуют, все ненавидят друг друга — вот он, ваш сказочный мир. До сих пор вы говорили разумно, молодой человек, хотя я и не согласен с вами. Но сейчас... Это мечты!

— Да,— откликнулся немного погодя Нкози.— Это мечты.

Он, видимо, признавал, что Старик прав,— и все остальные почувствовали это. Старый Нанда настоял на этой встрече и вышел победителем из спора. Он метнул торжествующий взгляд на сына. Джо стоял, опираясь о стол; на лице его лежала хорошо знакомая отцу мрачная тень. Такое выражение бывало у него обычно, когда ему приходилось решать трудный вопрос или задачу,— и в былые дни Старик всегда испытывал огорчение, потому что сын не хотел разделить с ним свои заботы и даже не просил о помощи. То же чувство разочарования испытал он и сейчас: Джо отнесся с явным неодобрением к его маленькому триумфу.

В джунглях нет места для мечтаний, подумал Джо без особой, впрочем, неприязни к отцу.

Давуд Нанкху сидел, глубоко утонув в кресле; спина его изгибалась плавной дугой. Мы должны смотреть в лицо неприятной для нас истине, обобщил он про себя, уродство и зло так же могучи, как красота и добро. Мечты, стремление к добру — для нас неотъемлемое свойство человеческой натуры, нечто естественное и не требующее объяснения. Сталкиваясь со злом и уродством, мы пытаемся объяснить их с помощью политических, исторических и социологических теорий. Но мы никогда не ищем объяснения благородству того или иного человека,— например, никогда не спрашиваем себя, почему Неру мог сделаться, но все же не сделался диктатором Индии (если бы он стал диктатором, ученые мужи тотчас установили бы, каковы корни и происхождение этой диктатуры). То, что существует добро, представляется нам естественным; то, что существует зло, требует объяснения. Может быть, мы робеем перед реальностью мира, где добро и зло ведут бой на равных, так что каждое может одержать победу? Но ведь наши религии, наша история, все, что мы постигли,— предрекают конечное торжество добра над злом. Если добро и зло ведут бой на равных и каждое способно одержать победу...

Ликование Старика угасало. Трое молодых людей готовы были допустить, что он выиграл очко, но это не произвело на них ни малейшего впечатления. Почему?

— Значит, вы поступаете глупо, рискуя собой,— заявил он чуть более вызывающе, чем хотел.

— Тут я с вами не согласен,— запротестовал Нкози.— Признать, что все это мечты, еще не означает признания, что мечтать глупо. Ваше право считать, что это глупо. Но мы так не считаем.

— Тогда объясните мне, какой смысл в ваших мечтах! — нетерпеливо потребовал старик.

— Я отнюдь не уверен, что мне это удастся. Как объяснить вам, почему я любуюсь цветком? Я не в силах объяснить это даже самому себе. Я, конечно, мог бы упомянуть о красоте и аромате, но, убей меня бог, если я знаю, почему они будят такой отклик в моем сердце. Я только знаю, что они в самом деле будят отклик в моем сердце. Я даже не знаю, откуда берет начало моя духовная жизнь. Я только знаю, что я живой человек и, раз я живой человек, у меня та же потребность, что и у предыдущих поколений, — снова и снова утверждать нерушимость человеческого духа — этой таинственной силы, которая порождает в нас нежность и злобу, любовь и веру в такие абстрактные понятия, как честь, справедливость и добро.

Вы только что доказали нам, что на свете существует и зло. И этого я тоже не могу объяснить. Но я знаю, что зло существует, и знаю, что стремление утверждать нерушимость человеческого духа может в критический момент потребовать, чтобы мы вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть против гнусного произвола.

Наше поколение не первое и, думаю, не последнее, на которое возлагается подобная миссия. Теперь это наша святая обязанность, ибо нигде в мире не творятся такие страшные злодеяния, нигде в мире нет такой угрозы человеческому духу, как в нашей стране. Речь идет вовсе не о расе или цвете кожи. Вы, может быть, спросите, в чем суть? Вряд ли все участники нашего движения согласятся со мной, да я и сам не соглашаюсь со многим, что делается в нашем движении, хотя, видит бог, я совершил очень мало полезного по сравнению с другими. Так вот, суть, по-моему, состоит в том, что стремительное развитие Южной Африки, этот особый, полный внутреннего напряжения диалог между народом и землей, которая его создает, наделяет характерными чертами и кормит, может начаться лишь после того, как наша страна покончит с гнусностью расового неравенства. Без этого немыслимо никакое движение вперед.

— Это точка зрения вашего народа и вашей организации?

— Я не могу говорить за всех. Но я знаю, что так думают многие. В свое время нам придется начать борьбу с противниками наших взглядов, ибо разумно устроенное общество охраняет интересы всех народностей — это одна из составных частей нашей веры. Демократия — это правление большинства, но хотя одной ее мало, для того чтобы добиться полного расцвета человеческого духа, начать надо именно с нее.

— Благодарю вас,— сказал Старик и повернулся к сыну.— Наш разговор затянулся, Джо, неплохо бы и промочить горло. Принеси нам вина; мне, пожалуйста, немного брэнди.

Джо наполнил бокалы и раздал их присутствующим. Все это время в комнате стояло неловкое молчание. Старик пригубил свой бокал, попросил долить ему содовой и откинулся на спинку стула.

— Вы, разумеется, понимаете, что я не согласен с вами, но теперь я знаю, чего вы добиваетесь. Я продолжаю считать, что это тщетные мечты, но по крайней мере я уяснил себе их смысл. Вам никогда не удастся изменить этот мир, но теперь я, пожалуй, понимаю, что вы должны попробовать...

— Хотя нам и грозит поражение,— сказал Джо Нанда.

— Вам не создать рай на земле.— Старик повернулся к Нкози.— Беда в том, что мой сын всегда считал меня отъявленным реакционером, поэтому он никогда не говорил со мной по душам и не обращался ко мне за помощью.— Он допил остатки вина и протянул бокал Джо.

Джо снова наполнил бокалы.

— А не выручили бы вы нас сейчас? — спросил Нанкху.

Старик Нанда насторожился.

— Какие-нибудь новые неприятности?

— Боюсь, что да,— ответил Джо Нанда и объяснил, что распоряжение, которого они ждали, получено и что им придется переправлять Нкози за границу без чьей-либо помощи.

— Значит, вы здесь как в ловушке,— сказал Старик Нкози. А про себя добавил: и мы все в большой опасности. С этих пор опасность всегда будет сопутствовать мне и моим ближним, ибо я вырастил сына мечтателем в этом жестоком мире.

Но теперь почему-то их мечты не вызывали в нем раздражения. Он поднялся со стула и с чопорным полупоклоном, предназначенным для всех троих молодых людей, направился к двери. Именно благодаря этому маленькому африканцу, внезапно осенило его, он стал ближе к своему сыну, чем когда бы то ни было после его возмужания.

— Я постараюсь сделать все, что в моих силах,— пообещал он, закрыл за собой дверь и, погруженный в свои мысли, стал медленно спускаться вниз.

Он знал, что, если те двое, которые сейчас вместе с его Джо, останутся в доме, полиция вскоре разыщет их — это лишь вопрос времени,— и вместе с ними самими, с их мечтами и легендами погибнут и он, и его близкие. Но в его сердце не было гнева — только глубокое беспокойство.

4

Старый Нанда проснулся сразу — без всякого перехода от глубокого сна к бодрствованию.

И в тот миг, когда он пробудился, в его голове уже сложился замысел — такой ясный и четкий, будто он вынашивал его много дней. Старик Нанда принялся рассматривать его под разными углами зрения, стараясь нащупать слабые места. Но не мог найти ничего, кроме того изъяна, о котором знал с первого же мгновения. Разумеется, была опасность провала. Провал означал катастрофу. Но и бездействие означало катастрофу. Единственный выход из положения можно было найти лишь в действии, только оно сулило надежду на успех. Итак, надо было рискнуть.

Старик протянул руку к лампе и включил свет. Долгое время он лежал, упершись взглядом в потолок, и снова и снова обдумывал свой план, пытаясь, по возможности, не касаться его слабой стороны, которая могла свести на нет все его достоинства. Наконец старый Нанда сбросил с себя одеяло и слез с кровати. Будильник показывал около пяти. Старик распахнул окно, выходящее на задний двор и просторный сад, где семья проводила большую часть своего досуга, вдали от чрезмерно любопытных глаз соседей. Если ты живешь в белом квартале, тебе не только играть в шумные игры, но и чихать надо с оглядкой.

Где-то вдалеке петух возвестил наступление утра.

И только тогда, чувствуя, что откладывать уже невозможно, Старик Нанда задумался над слабой стороной своего плана.

Что, если капитан откажется?

Будет ли он держать язык за зубами? Или сочтет своим долгом донести властям? Как он поступит, если откажется? Все зависело от ответа на этот вопрос.

Капитан ужинал с ним здесь, в доме, вчера вечером — через несколько часов после разговора Старика Нанды с молодыми людьми. Но почему-то он ни разу не подумал о капитане с этой точки зрения. А теперь ему кажется, что их спасением может быть только капитан. Но что, если он откажется? Донесет ли он? Подумай как следует, Старик; на карту поставлена жизнь многих людей, не говоря уже о том, что ты рискуешь потерять все, что у тебя есть.

Он вернулся к кровати, налил себе холодной воды, выпил ее залпом и снова подошел к окну.

Снова прокукарекал тот же петух, надрывно залаяла собака.

Подумай как следует, Старик. Ты знаешь его почти десять лет — с тех пор как он стал доставлять тебе хлопчатобумажные товары из Индии и Японии... Но ты знаешь его недостаточно. Да и нельзя хорошо знать человека, с которым проводишь два-три часа два-три раза в год, особенно, если оба вы так сильно напиваетесь, что уже не

можете судить здраво... Ты толстый и низкорослый, а капитан высокий и стройный, ты брюнет, а он блондин. Ну и что? Важно ведь не то, как он выглядит, а что собой представляет на самом деле... Честен ли он? Да. Никогда меня не обманывал и даже не пытался обмануть. У его предшественника в каждой партии товара не хватало одного, а то и двух рулонов ткани, пары дюжин рубашек и платьев и кое-каких других вещей. Началось с мелочей, а кончилось наглым грабежом, который этот плут оправдывал словами: «Обычные потери, мистер Нанда, обычные потери». Пришлось подыскать ему замену, и у капитана Стиккелунда «обычные потери» прекратились. Разумеется, он делал капитану подарки. Так уж заведено в деловом мире: для того чтобы дела шли гладко, надо задабривать небольшими подношениями портовых служащих и таможенных досмотрщиков. Но в отличие от других капитан никогда не принимал эти подарки как должное. Честный — да, и без всякого высокомерия в отношениях с небелыми.

Спокойный человек, не очень общительный и не склонный говорить о себе даже под градусом. Как-то в сочельник, много лет назад, он упомянул о жене и двоих детишках. Но тут же замкнулся в себе и напился до такого состояния, что не смог вернуться на корабль: он спал на берегу, в этом доме, единственный раз за время их долгого знакомства.

Одинокий человек, хлебнувший немало горя в своей жизни, человек, который провел бóльшую часть жизни в открытом море и чей дом — скудно обставленная маленькая каюта на старом грузовом судне, которое ходит под флагом одной из новых стран. Человек умеренного достатка и, по-видимому, умеренных потребностей. Прямой, справедливый человек. Выполнит ли этот человек твою просьбу? А если нет, сохранит ли он в тайне то, о чем ты просишь?

Как бы напряженно ни думал Старик Нанда, он не мог найти ответа на этот вопрос. Это был не тот случай, когда можно все хорошо обдумать. Его поверхностное знакомство с этим человеком не позволяло сказать с уверенностью: он поступит именно так, а не иначе.

— Это можно выяснить лишь одним путем,— прошептал Старик Нанда, подавляя страх.

Он посмотрел на будильник, решил, что еще слишком рано для разговора с капитаном, снова забрался под одеяло и стал размышлять, какой подход безопаснее и имеет больше всего шансов на успех. Но, в сущности, не могло быть безопасного подхода.

Чтобы как-нибудь убить время, капитан Стиккелунд заполнял вахтенный журнал. Утро в порту всегда нагоняет скуку — особенно в этом порту, где у него не было друзей и где он даже не хотел их заводить; поэтому он спешил обернуться с делами. Вчера кончили разгрузку корабля. Сегодня утром погрузят уголь, запасы проводольствия и воды, а также немного фруктов и сахара, после чего корабль выйдет из порта и возьмет курс на Суэцкий канал. Так что до захода солнца они уже покинут этот вонючий порт, где даже воды океана замутнены мерзкой грязью.

В дверь кабины просунулась голова помощника.

— Наш главный фрахтователь, сэр,— доложил он.

— Уже на борту?

— Только что подъехал на машине.

— Но ведь, кажется, все в порядке. Он был в прекрасном настроении, когда я ужинал с ним вчера вечером... Ну, ладно...

Схватив фуражку, капитал поспешил навстречу Старику Нанде. Он знал (то же самое говорили и его хозяева), что, если бы не перевозка грузов Нанды, судам компании, курсирующим по маршруту Азия — Африка — Европа, не удалось бы конкурировать с новыми быстроходными дизельными судами. И поскольку этот маршрут был важен для него лично, как ничто другое, он поддерживал знакомство со Стариком Нандой — сперва только в интересах дела, но затем и потому, что каким-то непостижимым образом проникся симпатией к этому человеку, хотя и не питал ничего, кроме презрения, к его жизненным правилам.

Они встретились на верхней площадке трапа.

— Мистер Нанда?.. Надеюсь, все в порядке? — Капитан был обеспокоен видом индийца.

— Я хочу поговорить с вами, капитан; хочу попросить вас об одолжении. О личном одолжении.

О боже! — подумал капитан. Этого надо было ожидать. И почему ты решил, что он чем-то отличается от других?

Старик Нанда почувствовал внутреннюю скованность в капитане. Тревога его возросла.

— Да, конечно,— отчужденно-холодным тоном отчеканил Стиккелунд, повернулся и повел гостя в свою каюту. Он был сильно удручен. Ведь от этого человека он ждал многого. Когда общаешься с людьми — пусть мимоходом,— у тебя всегда появляются кое-какие надежды: это, как видно, естественно и неизбежно.

Старик Нанда следовал за капитаном с таким ощущением, будто попался в ловушку, из которой ему уже не вырваться, он осознал со всей ясностью, что всецело нахо-

дится во власти этого человека. У него заколотилось сердце. **У меня будет сердечный приступ, и я свалюсь замертво...** Может быть, повернуться и пойти к своей машине? Он еще ничего не знает. Повернуться и пойти... А что потом? Ждать, когда они явятся в твой особняк и заберут африканца, заберут доктора, заберут Джо, заберут тебя самого и все, что удалось тебе скопить благодаря изворотливости и ловкости?

Стиккелунд распахнул дверь каюты и пригласил Старика Нанду войти. Затем он захлопнул дверь и подошел к открытому иллюминатору. Его звали запахи портов всего мира, и ему уже хотелось быть в открытом море, чтобы не видеть и не слышать этих людей, погрязших в своих мелких хитростях.

Внезапно у Старика Нанды подкосились ноги, и он рухнул на стул возле двери. Капитан обернулся и посмотрел ему прямо в лицо, с безразличным видом ожидая, когда тот заговорит.

Старик Нанда дважды раскрыл рот, но не смог выдавить ни звука. А капитан никак не хотел прийти ему на помощь. На висках у Нанды выступили крупные капли пота. Он помахал правой рукой: жест, означавший, что он не прочь выпить. Капитан вспомнил, что Старик любит брэнди.

— Брэнди?

Нанда кивнул. Отвращение, которое чувствовал Стиккелунд, походило на неприятный вкус во рту. Он подошел к небольшому бару, достал одну из трех бутылок, которые преподнес ему накануне Старик, и налил в бокалы крепкого брэнди.

Индиец сделал долгий глоток, скорчил гримасу, затем откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Чуть погодя он открыл глаза, и лишь досада помешала капитану увидеть отчаяние в его глазах. Величайшим усилием воли Старик Нанда поднялся на ноги и подошел к капитану. Только тогда Стиккелунд заметил, что его трясет как в лихорадке.

— Двое молодых людей скрываются от правительства... двое молодых людей... Помогите мне, пожалуйста... Я заплачу столько... сколько пожелаете...

Совсем не то, что я думал, совсем не то, чего опасался, сказал себе капитан. С его плеч как будто скатилось тяжкое бремя. Лед в душе растаял, и теперь он увидел и почувствовал отчаяние индийца. Капитан подошел к койке и сел.

— Я не уверен, что смогу вам помочь, мистер Нанда. Командир судна несет большую ответственность. Разумеется, он не должен нарушать местных законов... Что они сделали, эти парни?

— Я целиком в вашей власти, капитан.

— Мне не нравится ваше правительство, мистер Нанда,— спокойно продолжал капитан.— Я ему ничем не обязан и, конечно, не стану исполнять функции его осведомителя. Но пока я здесь, я должен соблюдать законы.

Старик Нанда все еще колебался. Но в этом колебании блеснул первый луч надежды: он только подыскивал точные слова.

— Вы знаете, капитан, что сейчас в нашей стране происходят массовые облавы. Так вот...

Старик был сильно взбудоражен, и Джо пришлось долго его успокаивать, прежде чем он смог говорить связно. Но когда Джо выслушал его рассказ, он сам долго не мог успокоиться и тоже потерял дар связной речи.

— Он сказал, Джо... он сказал, Джо,— повторял старик,— что каждый человек должен помогать другим людям.

— Вы уже говорили это, отец... Боже! Какому риску вы подвергались!

— Другого выхода не было, Джо.

— Но все кончилось так удачно. Так удачно.

— Я предлагал ему деньги, но он не захотел их взять, Джо.

— Когда отплывает пароход?

— Он сказал, что сегодня вечером — как можно раньше. Он сказал, что они постараются управиться со всеми делами к четырем, к этому времени мы и должны доставить наших людей на борт. Они не могут ждать.

— Вы ведь часто бываете в порту,— задумчиво произнес Джо.— Охранники каждый раз обыскивают вашу машину?

— Да. Все машины.

— Но они никогда не требуют, чтобы вы предъявили пропуск или какое-нибудь официальное разрешение?

— Я езжу туда не то двадцать, не то тридцать лет, Джо. Они привыкли ко мне; я для них все равно что свой. И потом я все время преподношу им подарки.

— А как они осматривают автомобиль, отец?

— Открывают дверцы и багажник и заглядывают под самый низ.

— Всегда?

— Всегда.

— И вы всегда ездите с шофером?

— Да.

— Значит, и сегодня все должно быть как обычно. Конечно, не совсем хорошо, что вы поедете в порт во второй раз, но тут уж ничего не поделаешь. Вы должны

подъехать к самому отплытию. Попрощаться с капитаном и дать ему последние инструкции. Как обычно, вы должны быть с шофером. Думаю, это все, что вам следует знать, отец.

— Хорошо, Джо. А сейчас я отправлюсь к себе. Я что-то очень устал. Старею, наверно, сынок.

— Ладно, отправляйтесь. Я сам договорюсь с капитаном, когда он придет. Вы превзошли наши ожидания, Старик.

Старик встал. По всему его телу разливалось ощущение теплоты. Мгновения близости между ним и сыном были так редки, так драгоценны, что ради них стоило рискнуть многим.

— Какая непочтительность! — притворно возмутился он.— Называешь отца по имени!

— Перестаньте дурачиться!

В словах сына угадывалась любовь, и Старик был безмерно счастлив.

У дверей Старик Нанда остановился и повернул голову к сыну.

— Теперь ты не стыдишься меня, Джо?

— Я горжусь вами, отец!

— Ну пока, Джо.

Как только Старик ушел, Джо принялся осуществлять свой план перевозки Нкози и Нанкху на корабль капитана Стиккелунда. Он приказал переделать заднее сиденье так, чтобы за ним можно было спрятать небольшого человека. Затем он выбрал служащего, примерно того же роста, что и Нанкху, и вместе с другими представителями фирмы, которые занимались таможенными делами, послал его в порт.

Были отданы и другие распоряжения: и внезапно фирма Нанды стала поспешно вывозить свои товары из таможни. На причале, в ожидании погрузки, стояли грузовики Нанды. Охранники, портовые работники и таможенники заметили, разумеется, эту лихорадочную активность, но так как в ней не было ничего необычного, они не придали ей особого значения.

Вскоре после ухода Старика приехал капитан, и Джо Нанда обсудил с ним все подробности. Оба они были в возбужденном состоянии, оба торопились, сознавая рискованность затеянного предприятия, поэтому они быстро договорились обо всем и расстались с чувством облегчения.

Затем Джо Нанда окольными путями сообщил Ди Нанкху о предстоящем отъезде ее брата и возлюбленного.

В полдень, до обеда, Карл Ван Ас вылетел в Иоганнесбург. Поговаривали, будто ночью будет совершена попытка силой освободить африканского лидера, которого они арестовали. Все указывало на то, что в руках у них действительно центральная фигура движения. Стоит сломить его волю, вырвать признание — и все руководители подполья, возможно, попадутся в расставленные сети.

Ди Нанкху услышала об отъезде Давуда и Нкози около трех часов дня. Дики Наяккар, который принес ей это известие, хорошо знал ее и поэтому добавил:

— Мы не поспеем туда, мисс Ди.

Обоим было известно, что до Дурбана не менее часа езды.

— Возьмем машину доктора,— предложила Ди.— На ней мы доедем быстрее.

Через десять минут они уже мчались по шоссе, оставив позади городские улицы, забитые транспортом.

— Мы должны вернуться еще до начала фейерверка,— сказал Дики Наяккар.

— Пожалуйста, быстрей, Дики! Пожалуйста, быстрей!

Автомобиль полетел вперед как пуля.

Без двадцати четыре Старик Нанда — он уже одевался, чтобы ехать на пристань,— неожиданно потерял сознание. Жена нашла его в спальне на полу. Она подумала, что он умер, и закричала так громко, что Давуд Нанкху тотчас спустился из своего убежища. Он диагностировал сравнительно легкий сердечный приступ, вызванный, по всей вероятности, событиями самых последних дней. Он позвонил Джо Нанде и тот через несколько минут вбежал в дом.

Они были в отчаянии. Болезнь Старика угрожала сорвать все их планы.

— Но вы же его сын,— обратился Нкози к Джо Нанде.— Он заболел. Вполне естественно, что вы займетесь его делами.

— Это означает, что мы в опасности все трое,— сказал Джо.— Все трое.

— У нас нет другого выхода,— заявил Нанкху. И, вспомнив о своих обязанностях врача, стал выписывать старику рецепт.

Джо отобрал у него рецепт, зажег спичку и спалил бумажку дотла.

— Только не сейчас, Давуд,— сказал он и вызвал по телефону другого врача.

Затем он обыскал одежду отца и нашел его бумажник. Там оказалось удостоверение личности и давно уже, много лет назад, просроченный пропуск, пожелтевший от времени. Он приобщил эти документы к своим.

— Ну что ж, кажется, все в порядке,— сказал Джо.

Оставив Старика на попечение женщин, они спустились вниз. Давуд надел темный пиджак, фуражку и очки с толстой оправой.

Открыв ворота, они зашли в гараж, где стояла машина. Сняли широкое заднее сиденье. Некоторые пружины были удалены, некоторые раздвинуты, так что в середине образовалось свободное пространство, где мог поместиться Нкози.

Прежде чем Нкози залез в свою нору, они попрощались друг с другом. Кто знает, доберутся ли они благополучно туда, куда едут; кто знает, удастся ли им поговорить еще раз: ведь даже если все сойдет как нельзя лучше, времени на прощание не будет.

— Ди знает? — спросил Нанкху.

— Я велел ей передать,— ответил Джо,— но только окольным путем, через товарищей, так что ее, может быть, еще не успели предупредить.

— Хорошо бы сейчас повидать ее! — воскликнул Нкози.

Джо Нанда вопросительно посмотрел на Давуда. Нанкху кивнул. Нкози заметил этот немой разговор, и его рот скривила легкая усмешка.

— Пожалуйста, позаботься о ней, Джо,— попросил Нанкху, обнимая Нкози за плечи.— Ради нас обоих.

Джо протянул руку Нкози.

— Надеюсь, мы встретимся снова, и тогда сможем поговорить и ближе познакомиться друг с другом.— Он поглядел на часы.— В нашем распоряжении пять минут.

Нкози забрался в свою нору, и Джо поставил заднюю подушку на место. Нанкху снова надел очки и фуражку, снятые на время прощания. Джо расположился на заднем сиденье, там, где обычно сидел Старик. Нанкху завел мотор, машина медленно тронулась с места. Ворота распахнулись перед ними, а когда они выехали, сами закрылись. Нанкху повернул налево и направился в порт...

Капитан Стиккелунд посмотрел на часы и подошел к самому борту. К нему присоединился помощник.

— У нас все готово, сэр.

— Они должны вот-вот подъехать,— сказал капитан.— Вы уверены в своих людях?

— Как в самом себе, сэр.

Оба они стали открывать бортовой люк, чтобы тем, кого они ждали, не пришлось взбираться по трапу.

— Что, если они не приедут, сэр?

— Приедут! — сказал капитан.

Стало быть, ты все-таки живой человек, подумал помощник, а я уже было начал сомневаться... Вслух он сказал:

— Пойду вниз... Вряд ли мы сможем откладывать отплытие, после того как все приготовлено.

Как часто, во все века, людям приходилось совершать то же самое, рассуждал про себя капитан, ускользать от преследования тирании, чтобы успешнее сопротивляться ей!.. Однажды они увезли из одной страны ребенка, чтобы спасти его от гнева, страха и ненависти тамошнего короля... Это так же старо, как время и человеческий род, и для меня, утратившего способность верить,— большая честь соприкоснуться с новой верой...

Нанкху остановил машину у ворот порта. Джо Нанда высунулся из окошка и предъявил удостоверение отца и свое собственное.

— Я — сын Старика Нанды, сэр,— заговорил он тоном, который нравится белым.— Старик болен — у него сердечный приступ,— и я приехал вместо него.

Рослый молодой охранник колебался. Его сильно раздражал этот кули: слишком уж он элегантно одет! Тут что-то не так. Но все знали Старика Нанду. Поэтому на всякий случай, для перестраховки, он вызвал своего начальника, пожилого человека, который был лично знаком со Стариком Нандой и имел больше опыта в обращении с кули. Пожилой охранник узнал Джо Нанду и машину.

— Я вас знаю. Вы Молодой Нанда.

— Да, сэр,— сказал Джо и повторил свою маленькую речь.

— У Старика сердечный приступ? Надеюсь, ничего серьезного?

— Нет, сэр.

— Скажите ему, чтобы он перестал пить брэнди, не то ему крышка.

— Хорошо, сэр.

— Эй, шофер! Открой багажник и дверцы... Вы знаете, мы должны производить проверку, даже если это машина Старика Нанды. И не забудьте, молодой человек, передать Старику, что я справлялся о его здоровье. Надеюсь, вы будете так же щедры, как и отец, когда займете его место.

— Да, сэр.

— А теперь поезжайте — не то опоздаете на свидание с капитаном. Прямо и потом направо. Причал номер одиннадцать. Судно отходит с минуты на минуту.

— Благодарю вас, начальник,— сказал Джо.— Благодарю вас, сэр.

Нанкху въехал на территорию порта и направился к причалу номер одиннадцать.

— Славный парень,— похвалил Джо пожилой охранник.— И такой же простой, как его отец, без всякого зазнайства. А, говорят, окончил университет в Англии. Вот если у черномазого было бы такое же образование, уж он бы заважничал, можешь быть уверен!..

А вот и они! — подумал капитан, глядя, как машина медленно едет по причалу... Ближе, еще ближе к открытому люку.

— Поставь машину впритирку, Давуд,— сказал Джо.— И ныряй внутрь. Эти двое ожидают тебя. Фуражку и очки оставь на сиденье.

Автомобиль встал возле люка. Джо Нанда вылез с пачкой бумаг в руках и пошел к трапу. Его остановил моряк и велел предъявить удостоверение личности. Капитан махнул ему, чтобы тот пропустил Нанду. Несколько мгновений возле машины происходила какая-то суета. Затем один из двоих моряков потребовал, чтобы машина отъехала прочь. Шофер надел фуражку и очки и отъехал в сторону.

Капитан встретил Джо Нанду на верхней площадке трапа.

— Они уже здесь. На борту,— сказал он.— Но где ваш отец?

— Внезапно заболел, капитан. Сердечный приступ.

— Очень жаль. Переволновался, видимо; для него это большое напряжение. Я еще утром заметил, что он плохо себя чувствует. Надеюсь, все обойдется...

— Я тоже,— отозвался Джо, передавая бумаги.

Они вместе склонились над документами. Шум судовых машин усилился. На палубе появился помощник.

— Они уже спрятаны в надежном месте,— сказал ему капитан.

— Мы перед вами в большом долгу, капитан,— проговорил Джо.— Вы никогда не узнаете, чем мы вам обязаны.

— Вы мне ничем не обязаны,— махнул рукой капитан.— Я рад, что могу оказать небольшую услугу вашему делу.

— Мы хотели бы строить, капитан. Но сперва нам приходится разрушать — в этом вся трагедия.

— Так уж повелось на свете, мистер Нанда.

Где-то на рейде трижды прогудел буксир.

— Это за нами,— сказал капитан.

— У них нет ничего, кроме того, что на них,— сказал Джо. Он вручил капитану пачку купюр.— Передайте им, пожалуйста, эти деньги.

— Хорошо, передам.

— Всего вам доброго, капитан.

— Всего хорошего, мистер Нанда.— Капитан поднес руку к козырьку фуражки, прощаясь с Молодым Нандой и одновременно выражая ему свое восхищение.

Джо Нанда быстро спустился по трапу и сел в машину. Он знал, что Нкози уже нет под сиденьем, и все-таки его одолевало искушение заглянуть туда.

Буксир загудел снова, и на этот раз корабль капитана Стиккелунда откликнулся мощным гудком.

За воротами порта Джо Нанда приказал шоферу ехать к тому месту набережной Дурбана, где земля вдавалась глубоко в море тонкой полоской, похожей на указательный палец: оттуда им будет удобнее следить за кораблем.

В самом конце мыса виднелась другая машина, которая показалась Джо Нанде знакомой. Подъехав, он узнал автомобиль Давуда Нанкху. На капот опирался юный Дики Наяккар. А в двадцати — двадцати пяти шагах от машины, там, где огромные валы разбивались о барьер, воздвигнутый руками человека, стояла Ди Нанкху и смотрела вдаль, не замечая, что туфли ее заливает белая пена.

Джо вылез и, легким прикосновением руки поздоровавшись с Дики Наяккаром, пошел к ней. Она медленно повернула голову и тут же снова устремила взгляд в сторону моря.

— Здравствуйте, Ди. Вы поступили неосторожно, что приехали сюда.

— Как у них дела?

— Они на борту. Корабль уже отчалил. Я хочу только убедиться, что их не перехватят в последнюю минуту. Но нам опасно быть здесь — особенно вам. Они знают, что ваш брат скрылся. Поэтому, если они заметят, что вы наблюдаете за этим кораблем, у них могут появиться подозрения.

— Мне уехать?

Сердце Джо наполнилось жалостью и состраданием к этой женщине, охваченной таким отчаянием.

— Нет. Ван Ас — в Иоганнесбурге. Вы можете остаться, но тогда я должен уехать.

Судно повернуло налево и вышло из гавани в открытое море. Оно как будто вытянулось и удлинилось и едва поднималось над волнами: так чизка была его осадка. Буксир еще продолжал его тянуть.

— Если что-нибудь случится, мы сейчас же узнаем об этом. Однако теперь уже маловероятно, чтобы что-нибудь случилось с ними. Если вы не позвоните мне в тече-

ние получаса, я буду знать, что все идет в соответствии с планом. Не забудьте, вы должны вернуться домой рано вечером. Пожалуй, вам лучше всего поехать к нам.

— Спасибо, Джо. Я должна вернуться к себе.

Она хочет, чтобы ты уехал, подумал он. Он притронулся к ее руке, и рука показалась ему холодной, как искусственный лед, хотя вечер был жаркий и даже чуть душноватый.

Справа от них, в открытом море, судно ползло, как улитка.

— Вы знаете, они оба думали о вас.

— Знаю.

— Он мечтал еще раз увидеться с вами, и я обещал вас оберегать... Будьте осторожны, Ди... Всего хорошего...

Джо подошел к Дики Наяккару.

— Смотри за ней внимательно, Дики. Особенно сегодня.

— Хорошо, мистер Джо.

Джо Нанда знал, что может положиться на юношу. Всего за один день Дики Наяккар стал взрослым мужчиной, на котором лежит тяжкое бремя забот и ответственности. Он так и не успел насладиться веселой беспечностью весны. Ему был почти незнаком смех, сопутствующий этой поре. А теперь, под бременем забот, которые должен нести мужчина, он уже никогда не узнает этого смеха. Такова судьба всех молодых людей его поколения. Они не могли приложить мерило веселья и смеха к окружающей действительности; они стояли перед мрачным и угрюмым фактом борьбы.

Прошел почти целый час, прежде чем судно скрылось из виду. И все это время женщина стояла неподвижно, наблюдая за его мучительно-медленным движением; душа ее словно оцепенела, глаза были сухи... Ее мужчины убежали от преследователей. Но, убегая, они вынуждены были оставить ее без слов утешения, без тех звенящих признаний, которые скрашивают и дают силу вынести разлуку. Для всего этого не было времени; вот почему проводы оказались такими печальными.

Только после того, как судно перевалило через черту горизонта, женщина наконец опомнилась.

...Вот так покидают нас наши мужчины. Одни умирают, других сажают в тюрьму, третьи уходят в подполье, четвертые уезжают в дальние края. А мы должны жить в одиночестве, ждать и изо всех сил стараться приблизить день воссоединения, который последует за этой ужасной ночью.

...Может быть, Давуда уже не будет в это утро воссоединения, может быть, не будет и **его,** а может быть, и меня. Мы не досчитаемся многих своих друзей, когда наступит это утро. Пусть с нами не будет Сэмми Найду и целой армии других героев, павших в сражении,— важно, чтобы с нами был их дух, то, во имя чего они жили и пожертвовали собой. Ибо утро придет — сияющее утро после кошмаров ночи. Вот ради чего умер Сэмми Найду; вот ради чего они уплыли в открытое море, вот ради чего мы должны неустанно трудиться, преодолевать многие лишения и переносить разлуку с нашими мужчинами.

— Пора ехать, мисс Ди,— сказал Дики Наяккар.

Женщина повернулась и пошла к машине, припадая на одну ногу.

Она села за руль. Ей хотелось отвлечься от своих мыслей. Развернув машину, она бросила прощальный взгляд на море, туда, где исчез корабль. Перед ней расстилался тот же необъятный голубой простор, что и до появления человека на земле. И ничего больше.

ДЖОВАННИ ПИРЕЛЛИ

По поводу одной машины

РОМАН

Перевод с итальянского
Ю. ДОБРОВОЛЬСКОЙ

XVIII

Комиссия против обыкновения собралась в полном составе. Нет только Гавацци, но она, конечно, придет. В объявлении, которое под расписку разносил вчера посыльный, было сказано: «В связи с предстоящим переизбранием Внутренней комиссии состоится внеочередное заседание, посвященное рассмотрению договоров, заключаемых между собой конфедерациями профсоюзов». А внизу от руки было дописано: «Явка обязательна», хотя, учитывая важность вопроса, можно было бы этого и не добавлять. В листке, который Дзанотти передает Гуцци, тот — Кастельнуово, а Кастельнуово — Ригуттини и так далее, «рассмотрение договоров» числится вторым пунктом повестки дня, а первым стоит почему-то снова всплывший вопрос «О новых крутильных машинах в цеху «Г-3».

Ригуттини: — Опять «О новых крутильных машинах»? Нельзя ли их передвинуть на конец?

Он, как всегда, простужен: нос распух, глаза покраснели, слезятся. Говорит, прижимая ко рту платок.

Дзанотти пропускает замечание мимо ушей.

Мариани: — Первым пунктом или вторым, не все ли равно? Чего мы ждем? Я, например, ровно в семь должен уйти.

Гуцци (приходя на помощь Дзанотти, по-прежнему сидящему с отсутствующим видом): — Нет Гавацци. Если бы в тот проклятый вечер, когда шел разговор о крутильных машинах, ты не смылся, то ты бы знал, что без Гавацци...

Ригуттини (настаивая на своем, стучит по столу обручальным кольцом, чтобы привлечь внимание Дзанотти): — Тем больше оснований начинать с другого вопроса. А Гавацци подойдет. Эй, народный комиссар, ты меня слышишь?

— Сын мой, сын мой! — вздыхает Джани Каторжник (в фашистских застенках заработал себе туберкулез, теперь ходит с двусторонним пневмотораксом, неприятностей — вагон, мало кому так не везет, как ему, и тем не менее он — на первом месте, если не по оптимизму, то во всяком случае по готовности побалагурить).— Дай нам бог управиться до полуночи без скорой помощи и пожарной команды хотя бы со вторым вопросом!

Ригуттини (в носовой платок): — А пока теряем время.

Мариани:— У меня его и так в обрез.

Дзанотти (на ухо Гуцци): — Ты с ней сам говорил? Лично?

— Лично.

— А она что?

Гуцци (пожимая плечами): — Она сказала: «Давно пора».

Окончание. Начало см. в № 6.

Дзанотти составляет список присутствующих, не спеша, тщательно выводя каждую фамилию. Потом ставит на голосование: «Кто будет вести протокол?» Хотя заранее известно, что обязанность секретаря свалят, как всегда, на аккуратного Гуцци. После чего все же опять предлагает:

— Подождем еще минуты две. Если не подоспеет, тогда уж...

Ригуттини: — Я считаю, что порядок — один для всех. Раз назначено на определенный час...— Он останавливается на полуслове, потому что присутствующие уже задвигали стульями, скамейками и, сгрудившись вокруг пепельницы, принялись беседовать между собой.

У Гуцци всегда есть что рассказать. На сей раз не о себе, а о своем родственнике (двоюродном брате жены, поясняет Каторжник, который все про всех знает):

— Нет, вы только послушайте. В числе инвалидов войны, взятых на завод по разверстке, был такой человек по имени Гацца нига, без глаза (в Албании осколком выбило). Отдел кадров направил этого Гацца нигу наверх: в конце концов, одним рассыльным больше, одним меньше, не убудет. Является он туда, а секретарша бухгалтера Шанка заквакала: «Пресвятая богородица! Но он же страшен, как смертный грех!» Еще бы, ведь Гацца нига носит на глазу черную повязку. А что поделаешь? Стеклянный глаз ему не по карману... Так вот, из-за этой суфражистки Гацца нигу снова отправили в кадры, а оттуда загнали на свалку и только через пять месяцев нашли ему место — на теплоцентрали, ночным сторожем. Наверно, решили, что, если кто вздумает воровать уголь, испугается. А того не учли, что он своим единственным глазом не способен отличить Гавацци от Шельбы!

Теперь очередь присяжного остряка Каторжника:

— То, о чем расскажу я, случилось совсем недавно — позавчера, во вторник. Нагрянул к нам какой-то журналист в сопровождении одного ученого блондинчика из «отдела по связи с общественностью» и заявляет, что он проводит опрос рабочих миланских предприятий: нравится ли им работать у станка, не считают ли они, что трамвай следует заменить троллейбусом, ездят ли по воскресеньям на рыбалку и так далее и тому подобное — обычный идиотский набор. Спрашивает: «Не желает ли кто-нибудь рассказать о своей жизни? Описать какой-нибудь случай, знаменательный или просто любопытный эпизод для моего журнала?» Я выхожу вперед — чурбан чурбаном, встаю по стойке «смирно» и представляюсь: «Каторжник, Пьерантонио». «Каторжник?» — переспрашивает он. «Так точно,— говорю,— Каторжник. Номер двадцать один-два-пятьдесят один».— «Ах вот что! — обрадовался тот.— Вы хотите подчеркнуть, что, хотя вы — простой рабочий, у вас есть дома телефон. Обычный или спаренный?»

Раздаются смешки.

Каторжник продолжает, по-прежнему на два голоса — грубым, солдатским и елейным, поповским, сопровождая рассказ соответствующей мимикой:

— Тот так и записывает: «Каторжник, Пьерантонио». «Из рабочих, да?» — «Нет,— говорю,— ошибаетесь».— «Ах вот как?» — «Я человек в возрасте, родился за семнадцать лет до Октябрьской революции. А тогда рабочих, в теперешнем смысле, еще не было».

— Ничего не понимаю! Какое отношение вы имеете к Октябрьской революции?

— Я? Какое я мог иметь к ней отношение, если мы жили тогда в Каратэ Брианца! — Тот совсем запутался и решил продолжать опрос по обычной схеме: «Вы семейный или одинокий?» «Нет,— говорю,— не одинокий».— «Прекрасно. Ваша семья тоже здесь работает, на «Ломбардэ?» «Как же, как же», — говорю.

Переждав, пока все отсмеялись:

— «Дети у вас есть?» — спрашивает, а сам строчит. Что строчит — неизвестно. Может, что челюсть у меня типичная для трудового человека Ломбардии.— «А как же,— говорю.— Есть и дети, и братья, и сестры. Семья у меня большая, крепкая, сплоченная». Он опять строчит, на блондинчика время от времени поглядывает,— дескать, видишь, как у нас все ладненько получается. А тот как на иголках. «Замечательная,— говорит,— у вас семья. Большая рабочая семья». «Не рабочая,— поправляю,— а пролетарская». Он криво так усмехается, подбородком дергает. А тот, другой, все локтем в бок его толкает.

Всех разбирает смех; на глазах слезы, губы плотно сжаты, чтобы не смеяться, но хохот все же прорывается то тут, то там. А бедный Дзанотти совершенно извелся. Он затеял это обсуждение, рискуя вызвать справедливые нарекания товарищей, только для того, чтобы оказать Гавацци заслуженное уважение, она же не только не явилась, но даже не предупредила, что не придет.

Каторжник: — «Скажите,— спрашивает он меня,— вы поступили сюда еще юношей?» — «А как же,— говорю.— Даже раньше: ребенком. Младенцем».— «Ну, это уж вы преувеличиваете!» — «Ничего подобного. Именно завод «Ломбардэ» сделал из меня человека. Человека в нашем понятии».

Блондинчик тянет журналиста за рукав; тот наконец тоже почуял неладное и стал закругляться: «Я, кажется, отнял у вас много времени. Пусть кто-нибудь еще расскажет какую-нибудь историю или случай».— «Зачем же? Я и сам вам расскажу! Незамедлительно».— «Если вы настаиваете, пожалуйста!»

Начал я с даты: «Седьмое марта тысяча девятьсот сорок четвертого года. Время: ровно десять. Ровно в десять, как было задумано,— гудок, прекращается подача электроэнергии, а мы прекращаем работу. Забастовка. Политическая, учтите, а не за

повышение жалованья. Вы записали, когда это было? Седьмого марта сорок четвертого года. Помню, день выдался прекрасный. Знаете, как бывает к весне: в парках порхают первые бабочки, желтенькие такие. Солнце светит неописуемо. Играет на броне танков, выстроившихся вдоль главной аллеи, на шлемах эсэсовцев (настоящих — немецких), на пряжках с надписью «Gott mit uns» *, на автоматах... Было их, этих автоматов, столько, что, когда немцы ворвались, мне показалось, будто передо мной — взбесившиеся камышовые заросли...

Мы стоим неподвижно, как изваяния, молчим, застыли около застывших, умолкших машин. Завод стоячих мертвецов».

Дождавшись, когда оживление стихло, Джани продолжает:

— «Вы записали, что гудок прогудел ровно в десять? Так вот: гудок прогудел в десять, а в десять сорок девять все было кончено. Я запомнил, что это было в десять сорок девять, потому что после ухода последнего эсэсовца поднял глаза и посмотрел на часы — вон те часы, под балкой, видите. Они и тогда здесь висели. Стрелка не доскакала одного деления до без десяти. Из семидесяти восьми моих братьев и сестер, из этой моей большой семьи завода «Ломбардэ», о которой я вам говорил, сорок восемь мы больше не увидели. Что с ними сделали? Употребили на мыло? На зубную пасту? Кстати,— говорю я журналисту,— не кажется ли вам, что мы с вами уже встречались? Именно здесь, в тот самый день! Ну, конечно! Вы и есть тот молодой человек в щегольском мундире центуриона, который был тогда переводчиком у этого... черт, как его звали... подскажите... фельдфебеля, что ли? Знаете, с лица вы совсем не изменились, разве что фигурой... Нет, нет, не уверяйте, что это были не вы. У меня на фашистский оскал память железная, в сердце след остался...»

Каторжник провел рукой по лицу.

— Все это, конечно, брехня. Не нашлось бы ни одного центуриона, ни одного молодчика из республики Сало **, у которого хватило смелости или безрассудства явиться в день великой забастовки на «Ломбардэ» — даже уцепившись за немецкий «панцер»...

Воцарилась тишина.

Дзанотти: — Так и не пришла.

— Кто?

Все мысленно еще были там, в тех далеких днях, куда увел их рассказ Каторжника,— таких далеких и вместе с тем близких.

XIX

Это одна из тех ночей, когда Сильвии, человеку простодушному, без завихрений, тоже не по себе. Раньше с ней это бывало при смене времен года, чаще всего в начале весны или в конце осени. А теперь — наверно, критический возраст наступил — может схватить в любую минуту. Покалывает, как иголками, поясницу, под коленками. «Пустяки, пройдет»,— успокаивает она себя. А мысли бегут... Выключен ли газ? Закрыли ли двое старших, вернувшись домой, дверь на задвижку? Кто сегодня дежурный по молочным бутылкам и по мусорному ведру? Нет ли у малышки температуры? Она что-то бледненькая. А вокруг свирепствует корь, у Роэллы слегли все трое...

Не зажигая света, тихо-тихо Сильвия выскальзывает из-под одеяла и как есть, в ночной рубашке, босиком, ощупью пробирается к двери. Не наткнуться бы на комод, на распялку, куда на ночь вешается одежда, на стол и стулья в столовой, на латунную подставку для зонтиков. Дверь заперта, пустые бутылки из-под молока и помойное ведро выставлены на площадку — справа и слева от двери; газ выключен — и наверху и возле трубы. Лоб у девочки свежий, как лепесток розы. Во всех комнатах спят, дышат здоровые существа, плоть от плоти ее. Молча, как призрак, Сильвия снова залезает под одеяло. А Маркантонио? Вот счастливый человек! Пятьдесят лет, а спит крепче пятилетнего ребенка. Как протянул руку погасить ночничок, так и заснул, и спит тихо-тихо, не засопит, не кашлянет... И пошли-покатились мысли Сильвии по этому склону. Беда с ним, удержу не знает. Он думает, ему двадцать лет. Завод, семья, ячейка — ни минуты передышки. И вечно придумывает себе новые занятия. Прочесть три газеты за вечер ему, видите ли, недостаточно. С некоторых пор взялся еще за книги. Чем только не интересуется! И история, и науки разные, и география, и геометрия, и даже бухгалтерский учет. Актив — пассив, приход — расход. До того засиживается, что голова на плечах не держится. Книга — бац! — и на полу.

Страшно хочется курить. На тумбочке, со стороны Маркантонио, лежит пачка «Национальных». Спички там же. Сильвия опять слезает с кровати, крадучись, на цыпочках, прижав пальцы к губам, огибает супружеское ложе, осторожно, чтобы не задеть ночничок, протягивает руку и в невероятном кавардаке, который Маркантонио устроил на своей тумбочке, ловкими пальцами нащупывает наконец вынутую из пачки сигарету, лежащую на плоской книжечке со спичками «Минерва». После секундного

---

* С нами бог *(нем.)*.

** Марионеточная республика, созданная Муссолини в городе Сало в Северной Италии, оккупированной гитлеровскими войсками.

колебания — вжик! — огонь спички прорезает мрак... Маркантонио встрепенулся и сел на кровати.

— Сегодня пятница? — В вопросе — отголосок войны, подполья, когда Маркантонио каждую пятницу вставал на два часа раньше, чтобы в семь утра быть возле Тичинских Ворот. Туда аккуратнейшим образом являлась Катя — связная павийской организации. Единственная женщина, к которой Сильвия ревновала мужа, хотя и понимала, что глупо к ней ревновать, так и оставшейся неизвестной.

— Спи. Еще ночь.

— Постой, никак не соображу, какой вчера был день — четверг или среда. Черт возьми, уж не пропустил ли я пятницу?

Сильвия снова в постели, сигарета путешествует в темноте от губ к блюдцу, пристроенному на холмике живота, и обратно.

— Война уже лет двенадцать как кончилась,— успокаивает она мужа.

— А тебе не померещилось?

— К счастью, померещилось тебе, а не мне.

Она садится в постели, растирает окурок на блюдце, пока он не превращается в кашицу.

И, забыв о том, что может разбудить детей, громко:

— В конце концов... Где он, этот конец-то? Где? Как я посмотрю, дело идет опять к фашизму. Не к тому шутовскому, что был раньше, а похитрее — к современному. Вот конец, который мне видится. Вот тогда связь будет ясна. А то шумим по поводу полупобед, расстраиваемся (но не слишком) из-за полупоражений, приспосабливаемся к полусвободе. На дно не идем, но и к цели не плывем. Держимся на поверхности, и только. Ты спишь?

Она протягивает руку, нащупывает высокий, крепкий лоб мужа, взъерошивает ему волосы.

— Послушай, мне надо кое о чем тебя спросить.

Молчание.

Она убирает руку, нашаривает «Минерву». Торопливо отрывает спичку, но в спешке роняет ее куда-то в складки пододеяльника. Отрывает другую, зажигает.

Маркантонио, вздрогнув, вскакивает:

— Сегодня пятница?! — Сразу придя в себя, хмыкает.

Сильвия: — Потерпи немножко, только скажу одну вещь и оставлю тебя в покое.

— Закурить, что ли?

— Всего два слова.

Откидываясь на подушку:

— Пожалуй, закурю.

— Помнишь, позавчера, на остановке восьмого номера я тебе говорила, что хочу кое-что тебе сказать, но что это не к спеху. Я хотела поговорить с тобой о...

— О Гавацци,— подсказал, зевая, Маркантонио.

— Удивительный человек! Как ты все помнишь?

— Ну, давай, давай!

— Так вот.— Сильвия все еще не решается.— Худо дело с Гавацци.

— Гм-м. Все толстеет?

— Я говорю об «Авангарде». Ты спишь?

— Почти.

Сильвия (снова чиркнув спичкой, держит ее, пока не обжигает пальцы. Торопливо): — У нее есть какой-то план, но она ни с кем не делится, решила все делать сама. Это неправильно. Это значит встать на путь интриг. Уж если профсоюзный работник...

— Попробуй уснуть.

— Она — настоящий человек. Упорнее нас всех. Себя не жалеет. И все же... Ты спишь?

— Засыпаю.

— Я больше за нее голосовать не буду. Она ведет себя не как профсоюзная активистка, а как игуменья. Понимаешь, что я хочу сказать?

Молчание.

Огорченно: — Ты спишь.

Сильвия прильнула к мужу.

— Знаешь, что я думаю? Такие, как Гавацци, больше не нужны. Такие, как Дзанотти, Брамбиллоне, Маркантонио, Сильвия,— тоже. Нужны новые люди, которые только начинают жить, у которых нет за плечами того... той...

Она шепчет эти слова еле слышно, а сама бессознательно все теснее и теснее прижимается к мужу.

Маркантонио — спит он или бодрствует — все равно неизменно чутко реагирует на сигнал.

— Нет, ни за что... Я хочу спать... Не надо... Боже мой, пепельница...

Потом, когда обоим так хорошо, что не хочется отстраняться:

— Весь пододеяльник — в пепле...

XX

Аделе Колли стоит на кухне у окна, комкает в руке край занавески — видно, подошла опустить штору да так и застыла на месте. Отчего? Увидела улицу? Внешний мир, от которого она все больше отдаляется? Или просто хотела посмотреть, с кем подойдет к дому дочь?

Свет она зажигать не стала. В квартире мрак, только со двора и с улицы проникает в дом едва приметный брезжущий свет, на потолке дрожит отсвет красно-лиловых неоновых вывесок.

— А ты все экономию наводишь! — С этими словами Марианна бросается по очереди ко всем трем выключателям — в коридоре, на кухне, над умывальником.— Это какой-то психоз!

Она срывает с себя пальто, швыряет его на стул. Всматривается: котиковый воротник распластан на спинке, рукава свисают по сторонам, чуть не до полу... Похоже на жалкую марионетку. Пьеро в трауре. Если застегнуть на все пуговицы, сходство с Пьеро будет еще полнее. Мать по-прежнему стоит неподвижно. Дочь зачем-то хватает тряпку и принимается вытирать клеенку — тщательно, каждую трещинку.

Марианне достается: шутка ли — простоять десять часов у «Авангарда», восемь плюс два сверхурочных, введенных из-за заказа, срок которого давным-давно истек. Не удивительно, что устаешь как собака. Но она и вида не подает, слова не скажет. Взяла себе за правило с первого же дня работы на заводе перед матерью нос не вешать. И еще одно: не рассказывать, как прошел день, пусть мать сама придумывает, о чем разговаривать. Марианна уже знает, что любое замечание, выходящее за пределы обычных тем, только распаляет материны страхи и подозрения. Сегодня вечером она вдобавок еще видела в окно, что Марианну провожал парень, который как бы ради приличия вел мотороллер за руль,— как раз сегодня, когда она вернулась на два часа позже...

— Сама пойми,— говорит Марианна, всем своим видом и тоном показывая, что настроена вполне миролюбиво,— открываешь дверь в собственную квартиру и оказываешься в каком-то склепе... Ну, ладно. Добрый вечер. Как ты себя чувствуешь? Палец еще ноет? Голова болит?

Ответа нет. За стеной у Соццани орет радио:

Они-то долговязые,
а я совсем малышка,
а я совсем малышка...

Господи, какое вокруг убожество... Кухня холодная, неуютная. На плите — тарелка с остатками вчерашнего супа, похожего на блевотину. На краю раковины — две картофелины,— ровно две! — плохо очищенные, переваренные. На буфете, куда хорошо бы поставить что-нибудь красивое — скажем, часы под стеклянным колпаком или гипсовую статуэтку,— две глубокие тарелки с выщербленными краями, два высохших сморщенных мандарина, две разномастные ложки, положенные крест-накрест, салатница с целым ассортиментом разных остатков: тут и лук-порей, и корки сыра со следами терки... Ошметки какие-то... От клеенки тоже остались одни ошметки: вся изрезана, на сгибах вытерлась. Ножки у стульев стертые, как каблуки старых туфель,— тоже ошметки. За стеклянными дверцами буфета — ошметки так называемого парадного кофейного сервиза. А на буфете, сверху,— блюдце с оплывшим огарком свечи, высотой не больше двух сантиметров. Ошметки, ошметки, всюду одни ошметки... И нет вокруг ничего, о чем можно было бы сказать: «Мне этого хотелось, и у меня это есть». Ни любительской фотографии, ни почтовой открытки, ни цветной обложки журнала, засунутой за стеклянную дверцу буфета или прибитой к стенке,— ничего. Даже миссионерского календаря с коленопреклоненным негритенком и то нет... Пусто — хоть шаром покати.

— Госпожа Колли,— пытается шутить Марианна (но улыбка получается натянутая),— почему вы такая хмурая? Уж не потому ли, что меня продержали на заводе на два часа больше? — Напрасно прождав ответа, она с наигранной бодростью продолжает: — Знаешь что? Сбегаю-ка я к Панцере и возьму двести, двести пятьдесят или даже триста граммов макарон — где наша не пропадала! — и банку очищенных томатов. Нет ли сегодня какого-нибудь праздника? Какой-нибудь очередной святой Марии (в календаре их пруд пруди!) или святой Анны? А! У нас даже календаря нет. Э, да пошли они к черту, все эти календари, даты и обязательные праздники! Главное — прочь невзгоды и неприятности! Сыр у нас, кроме этих корок, есть?

Молчание.

— Черт подери! — не выдерживает Марианна. Ее всю трясет.— Что это за жизнь! Не могу я больше так! Простаиваешь по восемь, девять, десять часов у машины, глаз с нее не сводишь, а она крутится, как бешеная. И так весь день, без передышки. Не с кем слово сказать... А домой придешь, потакай твоим настроениям, любуйся твоей постной физиономией...

Перевела дух и снова:

— Отец... Ты запрещаешь называть его отцом, говоришь, он мерзавец. Да он святой человек, мученик! Терпел тебя целых пять лет! Триста шестьдесят пять дней, помноженных на пять! — Марианна хватает тряпку, завязывает ее узлом, потом делает по узлу на концах, потом связывает их вместе, получается тугой комок. Швырнуть? Куда? В огарок на буфете? В миску с остатками вчерашнего супа? В две картофелины на краю раковины? Нет, лучше вложить в котиковый воротник пальто, чтобы похоже было на голову поникшего на стуле Пьеро.— Вечно мы одни, я да ты, ты да я... Ты держишь речь, я слушаю. Или делаю вид, что слушаю твои бесконечные жалобы: от холода вздулся мизинец на правой руке; на пятке левой ноги натерла мозоль, болит голова, ноет ключица, припухли железы; то у тебя фурункулез, то судороги... В умывальнике испортился кран, но вызвать водопроводчика — боже упаси! Сломалась палка у щетки, наклоняться трудно — ломит поясницу, но купить новую — какой ужас! Надо экономить, экономить, экономить! Как будто деньги приносишь в дом ты...

Сказала и вспомнила ту, другую ссору, разразившуюся утром ее первого трудового дня, когда она была в таком радостном, приподнятом настроении, а мать все испортила. При этом воспоминании она так дернула за рукав пальто, что стул закачался, опрокинулся на бок, пальто оказалось на полу, а скрученная в комок тряпка-голова, отделившись от ворота-шеи, откатилась к плите.

— Что я должна делать, по-твоему? — Секундная пауза и — новый взрыв ярости. Носком туфли Марианна поддела пальто и отшвырнула его метра на два в сторону.— Ты знаешь, сколько мне лет? Двадцать два года. Долго ли длятся двадцать два года? Сколько мне осталось до того дня, когда я проснусь, посмотрю на себя в зеркало и увижу, что стала такая, как ты? Развалина...

Она замолкает. Сознание внезапно пронзает горькая мысль: а разве сама она знает, что такое двадцать два года? Она знает только одно: через три месяца ей исполнится двадцать три. Ничегошеньки-то она не знает, вот оно что. И жить не умеет. Не понимает, что надо делать, а чего не надо. Вот сейчас, например, она не знает, как кончить тягостную сцену, как выйти из положения...

Пнув еще раз пальто — на сей раз оно повисло на помойном ведре,— она продолжает:

— Молчишь, да? Значит, сама понимаешь, что растила меня для того, чтобы иметь к старости даровую сиделку. Эксплуатировала и продолжаешь эксплуатировать, а теперь, когда тебе волей-неволей приходится отпускать меня из дома, только и смотришь, как бы я не ускользнула у тебя из рук. И шпионишь за мной. Разве нет? Ты заметила, что соседи выключили радио? Вместо очередной передачи, лучше послушать программу фирмы Колли. Еще бы ты не заметила! Ведь ты только на такие вещи и обращаешь внимание! Но если бы тебе сказали, что твоя дочь поступит сегодня так же, как поступал твой муж,— хлопнет дверью и уйдет,— и поведет себя как все двадцатидвухлетние девушки, ты могла бы не беспокоиться: ты воспитала свою дочь, как хотела, сделала из нее такую идиотку, что хоть сто пар башмаков износи, а парня, или, как ты говоришь, кобеля, ей ни за что себе не найти. Самое главное для тебя — чтобы все было шито-крыто: не дай бог, Соццани услышат, что у нас хлопнула дверь.

Но Аделе Колли не шевельнулась, даже с ноги на ногу не переступила, а продолжала стоять, ухватившись за занавеску, не будь ее, она, кажется, рухнула бы, свалилась бы на пол грудой тряпья.

— Мама...

Боже мой, боже мой... Неужели она весь день простояла у окна? Смотрела на улицу, вглядывалась в каждого, кто входил в дом, в надежде, что он вернется. Единственный мужчина в ее жизни, тот, что оставил ее восемнадцать лет назад. Но ведь он живет где-то здесь, в этом необъятном городе. Постаревший, больной... Может, плохо ему, одиноко... Может быть, он нуждается в помощи. Это единственное, что могло бы вернуть ее жизни какой-то смысл, разрубить этот узел осложнившихся отношений с дочерью, которая незаметно превратилась в женщину.

— Мамочка...

Молчание. Наконец Аделе заговорила — обычным будничным голосом:

— Тут приходила одна женщина...

— Кто такая?

— Хотела с тобой поговорить. Минут за пять до твоего прихода. Она сказала, что зайдет еще.

Руки Марианны вцепились в манжеты пальто.

— Когда она придет, я ее спущу с лестницы. Я ее предупредила. Сказала ей: моя дочь работает. Честно работает.

Пальцы разжались сами собой. Пальто опять на полу, как кучка навоза.

— Ты ее знаешь. Она назвалась, кажется, Андреони. Да, да, Андреони.

XXI

Сидя за своим столом, Рибакки видит, как Бонци взбирается по железной лестнице, которую рабочие прозвали «Голгофой»: она ведет в дирекцию. С понедельника до сегодняшнего дня, то есть до четверга,— в третий раз. По своей инициативе? Или

по вызову, к инженеру д'Оливо? Кроме как у начальника цеха, селектор, связанный с верхним этажом, есть только в соседнем клубе, где сидят конторщики,— на столе у господина Ваи. Господин Ваи — мрачный тип лет шестидесяти, похожий, бедняга, на беспозвоночное: голова его — как бы утолщение шеи, а шея — сужение торса, поэтому с незапамятных времен за ним закреплена беспощадная кличка Яйцевидный Червь.

В эти дни Рибакки не раз наблюдал (стрекота селектора через перегородку не слышно), как торс-шея-голова перегибается через стол за трубкой; вот он не спеша ее снимает, описывает рукой полукруг, чтобы не запутался провод. Рибакки подмечает (он может разглядывать господина Ваи беспрепятственно: тот сидит к нему спиной), как до противного точно он рассчитывает каждое движение, равномерно распределяет затрачиваемые усилия, чтобы нагрузка на торс-шею-голову была равна нагрузке на трубку-руку. Господин Ваи ждет. Все еще ждет. Стало быть, на проводе инженер д'Оливо. Все свои приказы д'Оливо отдает лично: вызывает к себе секретаршу, знаком указывает на селектор, произносит имя нужного человека и, когда тот на проводе, заставляет и его и секретаршу ждать, пока он, д'Оливо, не соблаговолит обратить на них внимание. Итак, господин Ваи ждет — ждет и потеет. Голый череп покрывается мелкими капельками. Все еще ждет или уже получил свою порцию? Ибо речь может идти только об одной-единственной тираде: на конторщиков такая привилегия, как быть объектом телефонного словоизвержения инженера д'Оливо, не распространяется.

Но вот торс-шея-голова господина Ваи отделяется от трубки-руки и ввинчивается в черный кокон халата. Виден лишь яйцеобразный череп, склоненный над гроссбухом, картотекой или протоколом. Все его участие в разговоре свелось к двум «слушаюсь»: одному — в начале, другому — в конце беседы. Лишнее доказательство того, что собеседником его был не кто иной, как д'Оливо. Внезапно голова господина Ваи изменила положение, она склонилась набок и закачалась, будто сместился центр тяжести. А Бонци? Бонци у себя в закутке. Всюду он поспевает, этот Бонци: то он возле «Гумбольдтов», то возле «Бронделей», то возле «Фиатов», то возле намоточных. Его можно видеть на складе запасных частей и неподалеку от «Авангарда». То он верхом на своей неразлучной табуретке, то подпирает столб за спиной у работницы. С неизменной черной тетрадкой в руках или в кармане чистенькой спецовки. Интересно, понесет ему сейчас мальчишка, что на побегушках в конторе, листок с так называемым «внутренним сообщением»? Нет, никого не видно. На этот раз никого. Может быть, конечно, это случайное совпадение, но так повторялось уже несколько дней: после разговора с д'Оливо Ваи словно подает невидимый сигнал — Бонци срывается с места, мчится к «Голгофе» и, перепрыгивая через три ступеньки, в два счета оказывается наверху.

Рибакки смотрит на часы, рисует в блокноте кружок, укладывает в нем две спички, одну без головки,— вместо минутной и часовой стрелок. И начинает ждать. Проходит четверть часа. Двадцать минут, двадцать пять. Полчаса... Проходят тридцать пять минут... В последний... нет, в предпоследний раз он пробыл там тридцать восемь минут. И имел наглость еще целых четыре минуты простоять на лестнице, словно это место на виду у всего цеха специально предназначено для раздумий. Вытащил из кармана черную тетрадь, стал что-то записывать... Уж не протокол ли встречи с д'Оливо? Или д'Оливо дал ему какие-то инструкции через голову своего главного помощника?

Воспользовавшись тем, что Бонци принес очередную диаграмму производительности труда за истекшие две недели («Количество рабочих часов на машину»), Рибакки, мельком взглянув на лист, сказал:

— Присядьте.

Он склонился над диаграммой и стал ее изучать, тщательно, как всегда — э, нет! — тщательнее, чем когда-бы то ни было. И пером ставил на полях крестики. Бонци смотрит куда-то вдаль, сквозь стеклянную стену. Оказывается, достаточно подняться на полтора метра над уровнем цеха, чтобы охватить взглядом все необъятное машинное хозяйство, конвульсивное мелькание шатунов, терпеливое вращение больших зубчатых колес, маховиков, катушек... Ничто не может сравниться с этим зрелищем — ни вечные снега, ни голубые зеркала озер, ни цветущие луга, ни золотистые поля, ни леса... Вот это — панорама! Какое многообразие, какой размах, какая гармония! Торжество человеческого разума! Но сколько еще надо обновить, переделать, преобразовать, заново изобрести, все более упрощая частности в соответствии с целым и наоборот. Ах, если бы распоряжался всем этим богатством, командовал отсюда, с этой высоты, не бюрократ от производства и не жандарм, а молодой, способный, целеустремленный специалист! Если бы... В этом вся загвоздка...

И не то вопросительно, не то утвердительно:

— Я могу идти...

Рибакки: — Вы еще новичок. Со временем поймете, что если вышестоящее лицо просит вас сесть, то в ваших же интересах подчиниться.

Бонци не шелохнулся. Рибакки продолжает испещрять поля диаграммы значками. Не поднимая глаз:

— А пока усвойте, что когда вышестоящее лицо говорит вам «садитесь», то это равносильно приказу, облеченному в вежливую форму.

В комнате всего один стул. Он стоит у стены напротив письменного стола. Стоит для украшения, только зря пылится: Рибакки никогда и никого сесть не приглашает — независимо от пола и возраста посетителя и от продолжительности разговора. Бонци выполняет приказ буквально и садится на стул, не пододвинув его к столу.

Р и б а к к и: — Пододвиньте стул. Или я должен опять пояснить, что это приказ?

Бонци расхулиганился, как мальчишка. Раз нельзя не подчиниться, он пододвигает стул так близко, что ноги его почти соприкасаются с ногами Рибакки.

Р и б а к к и: — То, что вы называете писаниной, становится перископом...

Бонци совсем распоясался: оперся локтями о письменный стол начальника и прикладывает руки к глазам в виде бинокля, устремленного вниз:

— В коем узреют только палочки и цифирки, мерцающие подобно светлячкам во тьме.

— Ничего темного, непонятного, по-моему, нет. Каждые две недели снимаются одни и те же показатели, на основе которых составляется диаграмма, а затем в соответствующем масштабе эти данные переносятся на диаграммы, составляемые раз в полугодие. Таким образом проверяется, насколько эффективно используются разные типы машин. С одной стороны, производится сопоставление диаграммы за истекшие две недели с предыдущими, с другой стороны, сопоставляются результаты полугодий.

Бонци вдруг говорит резко и даже со злостью:

— Непонятно, на кой черт вся эта лавина сведений? Целая свора чиновников только тем и занята, что их собирает, сортирует, группирует, снова сортирует и аккуратненько складывает в архив. Чтобы дать почувствовать свою власть? Дескать, сказано — делай, а что это кошкин труд — не твоя забота. Как в армии с новобранцами. Или эти шляпы,— он ткнул большим пальцем в сторону конторы,— которые ни на что другое не способны, нужны в качестве щита? Будь я хозяином, я бы их всех отправил в бессрочный отпуск и назначил бы солидную пенсию. Пусть расходы на их содержание ложатся на соцстрах, и не увеличивают себестоимость продукции. Улучшились бы производственные показатели, а заодно разбухла бы графа «Пособия и вспомоществования», которая так укрепляет престиж фирмы в глазах общества.

Р и б а к к и: — Великолепно. Только ваша исходная позиция, к сожалению, произвольна! Не знаю, откуда вы взяли, будто никто не анализирует сведений, которые мы поставляем.

Рибакки холоден, он начеку. Парень наскакивает на дирекцию? Значит, кто-то стоит за его спиной, прикрывает с тыла. Но кто именно, вот вопрос...

А Бонци горячится:

— Даже если так... Что могут подсказать голые цифры человеку, который не знает, что конкретно за ними кроется, каково фактическое положение вещей, какова взаимосвязь различных факторов, какие переменные ведут к изменениям и как меняются сами?

Тут-то Рибакки и улучил возможность задать интересующий его вопрос:

— Я думал, что инженер для этого вас и вызывал, заметив в диаграмме за вторую половину декабря, что кривая «Гумбольдтов» пошла вниз.

Б о н ц и (поблескивая глазами дикой кошки): — Как будто это зависит от нас... Сокращаются заказы! Наверху хотят доказать, что себестоимость продукции «Гумбольдтов» слишком высока и не выдерживает условий рынка. Раз заказы сокращаются, рано или поздно с «Гумбольдтами» придется расстаться. А затем, вероятно, и с «Бронделями».

— Это вам инженер сказал?

Б о н ц и: — Инженер? Может быть, он вам это говорил?

Р и б а к к и (с трудом сдерживаясь): — Вы, Бонци, человек одаренный. Но вам очень мешают ваши замашки, эта ваша манера плевать в собственный колодец, обзывать дураком всякого, кто не пришелся вам по вкусу... Никому это не нужно, вы сами знаете, и вовсе не способствует устранению... недочетов, которые вы подмечаете. Пожалуйста, не уверяйте меня, что все дело в темпераменте. Вы обладаете недюжинной силой воли... Имейте в виду, я с вами разговариваю сейчас как старший брат.

— Как старший брат? С чего это вдруг? Вы — мой непосредственный начальник. Вам дано право меня допрашивать, и вы им пользуетесь. Если вы делаете это не как следователь, а в духе «человеческих отношений», то это тоже ваше право: ведь вы вольны выбирать любой из дозволенных или рекомендуемых вам методов. Но избитый вариант насчет старших братьев... С моей точки зрения, это злоупотребление властью. Не стану же я разговаривать со своим шестилетним братишкой как его товарищ по играм!

Бонци подходит к стеклянной стене, встает лицом к цеху.

— Вы спрашиваете, кому нужно, чтобы я так себя вел? Мне нужно. Чтобы защитить свое «я». Здесь, если не смотреть в оба, сам не заметишь, как из тебя сделают робота. Или амебу из научно-фантастического романа.

— Кто это делает из вас робота? Уж не я ли?

— Не будем уточнять. Мы с вами поглощаем бронхами один и тот же наркотик. Вы — на протяжении многих лет, я — нескольких месяцев.

— Если я правильно понял, вы боитесь уподобиться мне. Не так ли?

— Да, в том числе...

Рибакки (холодно, без всякого выражения): — Откровенность за откровенность. Если вы боитесь уподобиться мне, то я никак не хотел бы...

Он бросает мимолетный взгляд на белесое яйцо, слегка возвышающееся над спиной господина Ваи. Бонци с любопытством оборачивается. Опоздал. Взгляд шефа снова обращен на ногти.

Внезапно Рибакки разражается длинной выспренней тирадой:

— Неужели вы полагаете, что мне доставляет удовольствие, впредь до нового распоряжения, жить между молотом — дирекцией и наковальней — заводом? Или, наоборот, между морем недовольства, волны которого нарастают в цеху, где работают живые люди из плоти и крови, с их насущными потребностями, желаниями и страстями, и преградой, воздвигнутой безымянной иерархией, преградой, о которую эти волны ударяются и разбиваются? Неужели вы думаете, что я нахожу в этом удовлетворение? Что это щекочет мое самолюбие? Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Вы думаете: однако о карьере ты, брат, печешься, и еще как! Карьера... Так ли уж она заманчива, эта карьера техника с законченным образованием? Или даже инженера, занимающего руководящий пост... Вы думаете, нашему д'Оливо можно позавидовать? Думаете, перед ним — широкие перспективы, свободный путь к великим открытиям? Достаточно сказать (только прошу об этом не распространяться), что его должны были назначить директором департамента, а назначили какого-то типа со стороны только потому, что тот приходится зятем какому-то министру или заместителю министра... И это не по недомыслию и не злонамеренно, а просто потому, что фирма испытывает реальную потребность в данной политической акции. Другой пример: генеральный директор, который скоро от нас уходит, инженер Роспильози... Он человек старой школы, крутой, но справедливый, с хорошей подготовкой, с опытом. Думаете, он на самом деле уходит по состоянию здоровья, «к глубочайшему сожалению членов правления»? Быть может, члены правления и испытывают по поводу его ухода глубокое сожаление, да что толку? Фактически причина его ухода та, что при так называемой «перетасовке кадров» он выпал из тележки. Знаете, чем отличается наш нижний этаж от верхних? Там воюют за то, чтобы получать не минимум (двести тысяч в месяц), а максимум (два миллиона), не считая представительских, особых премий (нередко в твердой валюте), гонораров за консультации. У нас же можно выколотить еще тридцать или сорок процентов в месяц — увеличить оклад с девяноста до ста, ста двадцати, ста тридцати, ста тридцати восьми тысяч лир плюс тринадцатый месяц... Ну, а кроме денег, что нас держит? Чувство долга, преданность... Кому? Тем, кто нами пользуется, пока мы в приличной форме? Или забота о прогрессе, о движении вперед? Но в каком направлении? К какой цели? И совпадает ли эта цель с моей?

На мгновение Рибакки заглядывает Бонци в глаза. Но тут же отворачивается.

— Вы не можете не признать, что такого рода разговор уж во всяком случае программой «человеческих отношений» не предусмотрен.

Бонци (ледяным тоном): — Как и то, что мы с вами принадлежим к разным поколениям.

Рибакки: — Мне тоже было когда-то двадцать. И не так уж давно.

От линии губ, растянувшихся в невыразительной улыбке, тень грусти скользит выше, доходит до лба — высокого, белого лба, обрамленного редкими, тонкими волосами. И постепенно сгущается. Похоже, что попытка вспомнить или воспроизвести, каким он был в двадцать лет, вызвала у него тягостное ощущение, что между ними действительно пропасть и что он выглядит даже старше тех лет, которые ему приписывает этот нахал Бонци.

— В те годы я заслушивался Бетховеном и распалялся при мысли о том, какие мне предстоят свершения.

Бонци: — А кто такой Бетховен?

Ему скучно, и он не пытается это скрыть.

— Можно мне теперь заняться своими делами? Мелкими, микроскопически мелкими делами, которые меня ждут внизу?

— Идите, идите. Да, еще одно. Я ничего не имею против того, что вы зачастили в дирекцию, хотя, как правило, цеховой работник должен действовать через своего начальника. Но я бы просил вас держать меня в курсе дела. Во избежание противоречивых распоряжений и дублирования.

Бонци (решительно): — Я хожу в дирекцию только по вызову. И не забываю докладывать обо всем, что положено.

— Я ведь так, в принципе.

— Теперь мне, по-видимому, можно идти?

XXII

Черт побери, ну и мороз! Легко соскочив с трамвая — благо, ступеньки сами бегут вниз,— Марианна устремилась вперед, держась края тротуара, где меньше встречных. Она в пальто, только что полученном из чистки. Подняв котиковый воротник, при-

жимает мягкий мех ко рту, к носу, чтобы надышать и удержать хоть каплю тепла. Холод — враг жизни. Ей кажется, что внутри у нее пусто. Сальваторе трусит рядом, тащит, отдуваясь, свой мотороллер слева, чтобы быть поближе к Марианне. Не ворчит и не жалуется: он не баба. Кроме того, с тех пор как он нарушил свое одиночество, ему расхотелось гонять вечерами по туманному Милану; в центре он тоже уже не помнит, когда был, а о загородных поездках в эту пору нечего и думать. Вся его спортивная жизнь свелась теперь к тому, чтобы неотступно следовать, подталкивая одной рукой мотороллер, за Марианной. Глупо, конечно, но что поделаешь, если она не говорит «да» и не прогоняет! Придумав такую форму состязания, он полагает, что при этом хотя бы не страдает его самолюбие, а это минимум, на что может рассчитывать парень в отношениях с девушкой, на честь которой он не покушается.

Они подходят к площади, где начинается бульвар Кони Цунья. Здесь тянется длинная грязная стена, за которой, по-видимому, бездействующий завод или склад; вся стена — от бензоколонки «Шелл» до того места, где начинается ряд ярко освещенных магазинов,— испещрена надписями. Малевали известкой, наверняка ночью, под носом заводской полиции, со зла, а потому жирно, броско. Например: «Подонок... подонок... подонок... Скуарцина, сколько тебе платит Маринетти за то, что ты выкидываешь рабочих... (два слова стерты) на улицу». И еще один лозунг, уже устаревший: «Свободу Корее». Ниже — злободневный: «Алжир — алжирцам». Еще ниже — рукой добровольного блюстителя порядка: «Дурак, кто это читает». И так далее. Сальваторе принципиально в эти вещи не вникает. Они его не интересуют. Его интересует работа, мотороллер. Правда, читать читает, но не вдумываясь. Читает все, что попадается на глаза — названия газет, вывески, афиши, объявления, плакаты. Это создает ощущение, что находишься в центре современной культуры. Вот и сейчас он мысленно возвращается к недостающим словам между «рабочих» и «на улицу». Не потому, что они его сколько-нибудь тронули, а просто потому, что кто-то лишил его материала для чтения. Внезапно заднее колесо, на которое приходится основная нагрузка, на что-то наехало (то ли — классический случай! — на банановую кожуру, то ли на кучку, оставленную собакой, то ли на лужицу машинного масла), и мотороллер — хлоп на мостовую! Так неожиданно, что Сальваторе не верит своим глазам: мотороллер — на боку, руль вывернут, переднее колесо, косо задравшись кверху, вертится вхолостую... Дело плохо! В тот же миг сзади выскочила черная «Феррари» (нос как у акулы, вся сверкает), притормозила, ее повело вбок, по диагонали,— но тотчас выровнялась, как раз вовремя, чтобы пропустить огромный грузовик, который, истошно сигналя, мчался ей навстречу. Все это в течение нескольких секунд. Черная «Феррари» так и не остановилась. В тот момент, когда она нырнула в свой ряд, опустилось стекло, высунулась чья-то рыхлая, желтоватая физиономия, рявкнула «Хамье!» и плюнула в сторону Сальваторе.

Марианна (тут же, ядовито, вслед): — Заткнись, жаба!

Но тот, на восьмицилиндровой, уже укатил.

Шедший навстречу здоровенный парень в туго затянутом в талии «тренче» и клетчатом шарфе а-ля Джузеппе Верди похвалил:

— Молодчина!

Марианна уставилась на него, не зная, что сказать.

— Молодчина! Так и надо: не давай своего миленка в обиду!

И гордый тем, что воздал человеку должное, зашагал дальше. Прохожие, столпившиеся было в предвкушении скандала (всего несколько человек: холод собачий, охотников разгуливать мало), пошли своей дорогой; остался только один парнишка шпанистого вида — сопляк лет шестнадцати, выросший из штанов, без пальто. Он рассматривает мотороллер с тем садистским удовольствием, которое испытывают иные дети при виде убитого животного. Наконец и он пошел прочь насвистывая. Сальваторе и Марианна остались одни, поодаль друг от друга; она уткнулась по самые глаза в котиковый воротник — ей неловко, стыдно, а он стоит как истукан, только потирает ладонями бока, будто сам перекувыркнулся вместе с «Ламбреттой». Мимо мелькают один за другим автофургоны, мотоциклы, грузовики, автобусы, велосипеды — простые и с мотором, словно сговорились как можно сильнее досадить Сальваторе, по крайней мере, так ему кажется. Метрах в пяти-шести впереди, там, где кончается стена и сверкает огнями магазин «Мясо — Рыба», какие-то три кумушки обследуют рыбный прилавок. Одна заглядывает под рыбьи жабры, другая роется в груде сардин, третья перетрогала все этикетки с ценами. Марианна уверена, что они только делают вид, будто интересуются рыбой, а в действительности жаждут посмотреть, что будет дальше — затеет ли она скандал или, громко ругаясь, убежит... Пока что они спорят, пытаясь определить «кто он». Ясно, что не муж. Если жених, то на этот раз будет полный разрыв. Вернее всего, сутенер, которому эта идиотка дала себя опутать; мотороллер краденый, но он сумел ее убедить, что его собственный, дуреха и клюнула.

Господи, сделай так, чтобы рыба, к которой они прицениваются, оказалась недельной давности и чтобы их рвало с нее до тех пор, пока у них не выйдет вся желчь.

— Ну ладно,— бросает Марианна, стараясь говорить как можно спокойнее и не жестикулировать, чтобы не доставить удовольствия трем мегерам.

Сальваторе только это и было нужно. Он поднял мотороллер, поставил его на подпорку и стал подытоживать ущерб. На заднем крыле — вмятины, но покрышка в

порядке; рычаг переключения скоростей погнулся, но работает, то же с ножным тормозом. Ничего страшного.

— Можно ездить,— говорит он извиняющимся тоном. В подтверждение своих слов заводит мотор, садится, делает бросок вперед, метров на двадцать, и, притормозив, оборачивается, но мотора не заглушает.

Неужели он думает, что она польстится на его приглашение, именно сейчас?! Марианна устремляется вперед, мимо мегер, мимо Сальваторе, даже не удостоив его взглядом, и по-берсальерски, рысцой — хотя бы для того, чтобы согреть застывшие ноги,— мчится дальше. При этом она бурчит в котиковый воротник:

— Пусть бы совсем развалился, не жалко...

Сальваторе (снова шагая рядом): — В первый раз! За два года ни царапины...

Пауза.

— Но рано или поздно это должно было случиться. В Милане рано или поздно это случается со всеми. На ходу, конечно, ничего бы не было. Разве что сломал бы ногу.

Пауза.

— А водитель черной «Феррари» свое дело знает. Ловко вывернулся.

Марианна (с неулегшейся еще злостью, в воротник): — Жаба.

Сальваторе: — Не мешало мне быть поосторожнее. Вести мотороллер за руль — это не то что ехать...

На следующем перекрестке Марианна переходит улицу на желтый свет. Сальваторе пережидает. Достижения современной техники внушают ему уважение. Уважая их, он как бы вырастает в собственных глазах — «деревенщина», а даст сто очков вперед любому миланцу. Когда зажигается зеленый свет, он рысью кидается через мостовую, но внимательно смотрит под ноги — не сплоховать бы во второй раз.

Марианна опередила его метров на тридцать, не меньше. Догоняя ее, Сальваторе запыхался: мороз, тяжело дышать. И в несколько приемов выпаливает приготовленные за это время слова:

— Я не люблю, когда за меня женщина заступается. Если еще защищает от женщины же — куда ни шло. Но от мужчины — не годится.

Марианна (все тем же тоном, в воротник): — Жаба он!

Сальваторе (тоже не меняя тона): — Когда я бываю неправ, я лучше молчу.— Немного подумав: — Давай не будем об этом.

Выглянула луна. Малюсенькая, воздушно-легкая. Но видна хорошо. Более того, по сравнению со всем остальным, она кажется единственной реальной вещью.

— Народился новый месяц,— замечает Сальваторе.

«Знаю без тебя»,— с раздражением думает Марианна.

Сальваторе: — Можешь загадать желание. Ты не знала? Только имей в виду: через окно нельзя. Ничего не получится. Более того, смотреть на молодой месяц в окно — плохая примета. Со мной этого не бывает. Я на него смотрю на воле или вовсе не смотрю. Уж если я посмотрю на небо, значит, знаю, что он там. А через окно — никогда.

Всю эту казуистику он выложил единым духом, совсем другим тоном — доверительным, покровительственным. Может быть, лунный свет наводит его на более радостные мысли. Например, о прошлогодней блондинке, оборотистой красивой девице, что таскала его каждый божий день в кино? Интересно, какое он загадал желание, уж не то ли самое, что при своей прежней красотке? Не уговаривал ли он и ее задумать в новолуние желание? А впрочем, почему не попробовать? Что ей стоит... Например, пусть эта Ан... — даже имя ее вспоминать противно,— ...пусть эта особа убирается подальше. Чтоб духу ее не было! Ясно? Надеюсь, уточнять имена, причины и предшествующие обстоятельства не нужно? А то отпадет охота загадывать...

Сальваторе: — Ну, как? — Он совсем повеселел.— У меня это быстро делается: раз-два и готово! Заранее продумано. Первое желание, второе желание... Вот в ненастную погоду плохо, редко когда удается поймать луну. А если она не молодая, ничего не выйдет. Но я не спешу, могу потерпеть до весны. Я ей свое второе уже загадывал, она в курсе...— И, как бы поясняя: — О женитьбе я не думаю. Дорожу свободой. Да и ты не из тех, что охотятся за мужьями.

Марианна (про себя): «Вот он какой. Эгоист. Все о себе да о себе. Понадобись мне его помощь, разве на него можно положиться? Ему лишь бы прокатить девчонку на мотороллере...»

Сальваторе: — Я так решил: рано или поздно получится само собой. Подожду. Ты не такая, как все. Тебя надо упрашивать, как пресвятую деву Марию Помпейскую. Другие сразу соглашаются. Не ради меня, конечно, а из-за мотороллера. А как дашь газ, кудахчут.— Уверенно, с гордостью: — Ты нет, ты не трусиха. Ты же Марианна с «Авангарда»!

Марианна идет, вцепившись в котиковый воротник. Нашел когда и где напоминать ей об этом! До дома еще не так близко: чадо пройти длинный проспект, свернуть за угол, потом перейти на другую сторону, свернуть еще раз, пройти улицу покороче и только там, за углом...

Улицы освещены слабо, магазинов здесь нет, светятся лишь редкие окна на фасадах высоких домов: в парадных темно, швейцаров тут не бывает; прохожие — одино-

кие фигуры, кутающиеся в пальто, куртки, шали,— попадаются редко, и каждый занят собой, своими невзгодами. Приезжие говорят: «Тебе повезло, живешь в большом городе...» Они, наверно, думают, что все, кто живет в Милане, имеют квартиру на улице Мандзони или в одном из высотных домов на площади Республики. Мало того, что там всегда иллюминация, чтобы богатые дамочки могли выпендриваться в своих мехах и костюмчиках, у них на каждом шагу регулировщик или полицейский. А здесь, того и гляди, нарвешься на кого-нибудь... К примеру, на эту особу... Вдруг она изменит тактику... устроит засаду... «Ты даже не знаешь, Сальваторе, какая у тебя есть союзница, соучастница! Мели, мели языком: мотороллер — как же... Ничего ты не понимаешь! Знаешь, что я тебе скажу? Если бы не эта особа, я бы с тобой не валандалась, в первый же день дала бы тебе от ворот поворот».

А он все о своем:

— Поездки, про которые я говорю, можно будет делать только месяца через три-четыре. Если вместе. Одному-то что, я бы прошвырнулся хоть сейчас.

Подумав:

— Эх, хорошо бы...

Помрачнев, чуть тише:

— Тогда уж я не усижу! Когда настанут теплые вечера, я просто не выдержу! Я себя уговариваю, что ты непременно поедешь. Все время себя уговариваю, что ты поедешь.

«Боже мой, что это за женщина идет навстречу, скособочилась, нескладная такая...»

Сальваторе (против обыкновения, горячо): — Знаешь, куда мы с тобой поедем? Сказать? На гидроаэродром.

Вон она, эта особа, нескладная, скособочилась, идет прямо на мотороллер. На ней широкое темно-синее пальто странного покроя. И разве не странно, что одной рукой она размахивает в такт движению бедра, а другую, левую, держит в кармане. Единственное объяснение — там у нее, в рукаве... «Сальваторе, защити меня, умоляю!»

Сальваторе:— Для обкатки. Хорошо бы выехать на рассвете, еще при мигалках...

Но особа почему-то остановилась. «Что она делает? А, уронила перчатку, поднимает ее правой рукой, перекладывает в левую... Да это же мужчина! А если так, то, черт бы тебя побрал, свинья эдакая, зачем притворяешься женщиной...»

Сальваторе:— По воскресеньям можно ездить на озера. Только вставать надо пораньше. Ну, а если боишься, можно покататься по окраинам. Для начала. Потом, когда ты меня узнаешь получше... Тебе понравится. Будешь смеяться, шутить. Я всегда думаю: этой девушке очень нужна шутка. Я думаю об этом даже ночью, когда не спится.

Вот, наконец, последний угол, вход... Если на улице света мало, то там, за воротами, в этой мрачной кишке, именуемой «садом», и подавно. К тому же, в подъезде «Б» так и не починили электричество — значит, не горят все три лампочки: над входом, в парадном и на лестничной площадке. Известно: домохозяин экономит на электроэнергии. А может, управляющий... Точь-в-точь как моя мамаша. Ба! На пятом этаже в первом окне слева от лестницы — свет и не опущена штора. Горят две лампочки: судя по накалу, на кухне и над умывальником. Невероятно! Чтобы мать, сидя одна дома, зажгла свет и там, и там...

— Ты серьезно говоришь, что луна уже выполнила твое желание?

— А как же! Первое...

— Оно было трудное?

Сальваторе смеется. При этом он преображается и становится, право же, хорош собой. Марианна снова замечает, какой у него рот, какие губы, и понимает, что он ей нравится. Да, ей было бы приятно...

— Ты уверен? У тебя есть доказательство, что...

Сальваторе:— Насчет желания номер один? — Ему весело, он просто ликует.— И ты еще спрашиваешь! Сама разговариваешь со мной и спрашиваешь?

Марианна (не сводя глаз с освещенного окна):— Мне надо, чтобы ты меня подождал. Может быть... Точно не знаю.

— А-а,— протянул Сальваторе. Он больше не смеется.

— Пять минут. Если я через пять минут не выйду, уходи. Но лучше постой там, за углом.

Сальваторе хотел было возразить, что выезжать в первый раз в такой холод, да еще без теплых наушников, не стоит, но Марианна не дает ему открыть рот.

— Ты ничего не слышал насчет той женщины, которая работала на «Авангарде» в прошлом году?.. Ну, про ту историю...

Сальваторе (разочарованно):— Ах вот ты о чем! — И, подумав немного:— Нет, ничего не слышал.

— Если услышишь какой-нибудь разговор, скажешь мне?

— Я к разговорам не прислушиваюсь.

— Ну, а если придется... Скажешь?

— Думаю, что да. Но я же не прислушиваюсь...

— Да?

Подумав:— Ладно, скажу.

— Поклянись!

— Если будут на тебя нападать, я не позволю. Если случайно узнаю...

— Ты не поклялся.

— У нас клянутся памятью покойных родственников. Это серьезно. Надо быть уверенным...

— Понятно. Ты не хочешь. Тебе до меня нет дела. Для тебя существует только мотороллер.

— Давай сделаем так! — Казалось, он решился. На самом деле он все еще колеблется. Ему явно не легко себя переломить. Он обещает: — Клянусь мотороллером. Но ты мне больше нравишься, когда ты гордая.

Стоя за углом — прошло уже не пять, а все пятнадцать минут,— он замечает, что в Милане иной раз бывает по-настоящему холодно. «Я же знал: она не как все. Будь она такая, как все, давно бы уже вышла...»

XXIII

Бывшая шелкопрядильня на Большом Канале, где, по слухам, живет Гавацци, которая уже два дня не выходит на работу, представляет собой большое квадратное строение коричневатого цвета, покрытое плесенью, еще хранящее едкий запах коконов. Вид у здания такой мрачный, что даже Сильвия, выросшая отнюдь не в хоромах, внутренне содрогнулась: как можно здесь жить! Она полагала, что если дом — на лоне природы, то жить в нем отрадно и полезно для здоровья, что между созидателем и мирозданьем здесь полная гармония.

Чтобы перешагнуть порог, ей понадобилось сделать над собой усилие. Впереди голый, бесконечно длинный коридор. С одной стороны множество дверей. Противоположная стена глухая. Она отсырела, по желобкам между камнями, цементом и остатками штукатурки сочится влага, местами стена даже заиндевела. Где-то в глубине коридора квакает радио.

— Можно войти?

Радио умолкает. На пороге появляется дряхлая старуха. Скосив глаза, поскольку она не только не может разогнуть поясницу, но не в силах даже поднять голову, и открыв рот, зияющий на сморщенном лице, как яма, она прошепелявила:

— Фкорее, фкорее, а то...— И протянула сложенные в пригоршню распухшие, посиневшие руки.

За долгие годы профсоюзной работы Сильвии приходилось видеть всякое. Правда, она считает своим долгом всегда прилично выглядеть. Но чтобы ее, пролетарку, приняли за даму-патронессу из благотворительного общества, это уж ни в какие ворота... Как всегда, попав в затруднительное положение, Сильвия, чтобы не чувствовать себя беспомощной, хватается за испытанный якорь спасения — я ведь коммунистка!

— Я — коммунистка, с завода. Мне нужна Гавацци. Она здесь живет?

Из-за двери, приоткрытой за старухиной спиной,— вопрос:

— Это которая? Та, безрукая?..

Казалось бы, откуда такая прыть у старухи! Она взмахнула ручками и, не опуская их, завопила:

— А фто я гофорила?! Я фсегда подозрефала, фто Гафацци — коммунистка! Пафшифая коммунистка, фот она хто!

Сильвия так ошарашена, что не реагирует, застыла на месте. А старуха наскакивает:

— Поесшайте ф Россию! И сфою Гафацци прихфатите! Феть по-фашему там рай!

Прежний голос:

— Да кто она такая? Почему не скажет, что ей надо?

Сильвия через старухино плечо дотягивается до приоткрытой двери и отворяет ее пошире.

— Извините, не могли бы вы...

Дверь с треском захлопывается — не иначе, как от удара ногой!

— Когда уж всевышний перестанет с тобой церемониться, схватит за космы и утащит к себе! Дармоедка! Спасенья от тебя нет!

Из-за другой двери и с довольно далекого расстояния доносится:

— Это он тебя за космы схватит! Тебя ввергнет в пучину огненную. Бесстыдница! Желать смерти родной матери!

У Сильвии — комок в горле (или в желудке?!) — то ли тошнит, то ли плакать хочется, а может быть, то и другое вместе. «Как это возможно,— повторяет она,— в двух шагах от Милана... Как это возможно». Но сбежать теперь было бы просто трусостью. И она побрела в глубь коридора. Подсматривают, наверно, через все замочные скважины и щели. Ясно одно: к ее приходу никто не остался равнодушным. Голоса то приближаются, то отдаляются, сталкиваются, переплетаются, разные по громкости и тону, но объединенные, слитые воедино общей для всех подозрительностью, яростной, нескрываемой злобой.

Вот и конец коридора. Оттуда ведет наверх лестница, выстроенная, по-видимому, из каких-то отходов и цемента, ступени обшарпанные, выщербленные. На первой площадке — консервные банки с водой (в надежде, что кто-нибудь о них споткнется?), палка от щетки, к концу которой привязан пучок индюшачьих перьев, голая кукла (без головы, без рук и без ног, из живота ручейком сыплются опилки). На верхней площадке валяются куклины ноги, обрамленные грядкой из белых камешков, и многочисленные следы луж, словно целая свора ребятишек устроила здесь к концу дня соревнование, кто сделает пипи дальше всех.

Тут то же, что и внизу, с той лишь разницей, что в нескольких метрах от лестничной площадки натянута веревка, на которой сушатся простыни, чулки, полотенца, трусы, рубашки, лифчики, пеленки. Сырость сюда, наверх, не доходит, вернее, доходит, но меньше (штукатурка усеяна оспинами, но все-таки держится), зато по обе стороны коридора — окна с выбитыми стеклами; судя по густой паутине, ставни никогда не закрываются.

Из-за первой же двери, в которую Сильвия постучала, ответили (гнусаво, нараспев — поди разберись, то ли с издевкой, то ли подчеркнуто вежливо):

— Ее нет. Она еще не вернулась.

Сильвия (подойдя поближе):— Я приятельница Гавацци. Мне бы надо...

— Понимаю. Вы с ней близко знакомы?

— Какая ее дверь — эта? Рядом с вашей?

— Если она не придет через несколько минут, значит, задержится надолго. Очень надолго.

— Я подожду.

— Как вам будет угодно. Почему вы раньше у нее не бывали? Ее дверь следующая после моей.— Сильвия топчется на пятачке, отгороженном бельем.— Заходите, ради бога! А то, если она увидит, что вы стоите в коридоре, она разозлится и опять меня изругает.

— Вас?

— Знаете, с вами разговаривать надо иметь терпение!

Выбора нет. Сильвия открывает дверь, просовывает руку и шарит по ледяной стене в поисках выключателя.

Голосок (нараспев):— Выше и левее.

Когда Сильвия зажгла свет:

— Вас тоже дергает? А меня как, если бы вы знали! Вернее, раньше дергало. Доктор Витетти всегда удивляется, как это я еще не подохла. Гнилая я! Только на нервах и держусь...

— Его слова — первое доказательство, что вы поправитесь. Иначе разве доктору пришло бы в голову шутить над... над...

— Лейкемией. Правда, похоже на название цветка? Что-то вроде орхидеи. Лейкемия — орхидея. Вам не кажется, что слово «лейкемия» больше подходит к цветку, чем «орхидея»? — И она рассмеялась, пронзительно, немного в нос.

— Вы... вы никогда не встаете?

— Куда уж мне...

— А как с едой?

— Ух, какая вы любопытная! Утром меня кормит госпожа Гавацци, перед тем как идти на работу. Она и продукты покупает. Иной раз выбирает внимательно то, что надо, а бывает — притащит черт знает что! Но в общем, как говорит мой муж, жаловаться не приходится. А вы замужем?

У бедняги Сильвии отнялся язык.

— Или живете с кем-нибудь просто так?

— Нет... У меня никого нет.

— А по вечерам хозяйничает муж: приходит в половине двенадцатого, в двенадцать... Известно, каковы они, мужчины. Впрочем, вам это не известно. Вы — девица? Интересно, как себя чувствует женщина, если так и не выходит замуж...

Сильвия спросила:

— Как мне доехать до центра?

— Вы ведете себя как девчонка. Уж лучше ушли бы сразу. Если вам надо было встретиться с ней в половине седьмого. Значит, сегодня как раз такой вечер...

— Какой?

— Когда она накачивается марсалой. И забывает всех и вся. Меня в первую очередь!

— Не понимаю... Вы о ком? Я ведь думала, что увижу здесь и... безрукую...

— Как вы считаете, удастся Гавацци заставить ее...

— Не знаю... Смотря по тому, как сложатся обстоятельства.

— Между нами говоря, она неприятная особа. Вы бы послушали, как она рассказывала синьоре Гавацци про эту шлюху — мать Марианны Колли! Та ведь чуть было не спустила ее с лестницы. Ой, не напоминайте! А то мне смеяться вредно: непременно приступ астмы начнется... Эта Андреони, по-моему,— никчемная баба. Я синьоре Гавацци говорила: из такого пистолетика крупным снарядом не выстрелишь!

— Вы думаете... сумеет она ее уговорить?

— С вами можно лопнуть! Я же сама вас только что об этом спрашивала! — Она перестала говорить нараспев, теперь голос ее резок, раздражен.— Слушайте хорошенько, чтобы не задавать лишних вопросов. Как выйдете из дома, поверните налево и перейдите мост — там будет остановка. Правда, это остановка по требованию, так что машите руками изо всех сил; эти мошенники-вагоновожатые делают вид, будто не замечают.— Язвительно:— Разве что нападете на Америго. Этот никем не брезгает — ни сопливыми девчонками, ни старухами.

Сильвия (пятясь к двери):— Поздно. Пожалуй, зайду в другой раз.

XXIV

В первой части доклада Дзанотти, самокритичного до самоуничижения (предназначен он для ВИКТ *, но предварительно «совершенно секретно» роздан членам Внутренней комиссии), говорилось: «Руководство предприятия, действуя ловко и оперативно, парализовало действия ВК ** на первом же этапе борьбы. Как уже сообщалось, в свое время за несколько часов до закрытия завода на августовские праздники была обнародована окончательная цифра: 320 «лишних» единиц, подлежащих сокращению «в очередности, диктуемой чисто гуманными, а также объективными соображениями». Имена всех 320 были в алфавитном порядке занесены в список, который предполагалось держать в секрете. Однако довольно большая его часть получила огласку. Я полагаю, что «просочились» те имена, которые были отобраны самой дирекцией. У нее были на то свои соображения, и не трудно понять какие. Первая группа уволенных получила уведомление на дом, когда нас не было на заводе. Их было немного: человек двенадцать, от «А» до «Ам». Дирекция хотела поставить нас перед свершившимся фактом, тем самым заявив без обиняков, что ей безразлично, как мы отреагируем. Вернувшись на завод после праздника, мы совсем было настроились приступить к осуществлению своего плана — бастовать всем сектором, но дирекция, которая тем временем уволила еще группу людей, вплоть до буквы «Д», еще раз дала нам подножку — разослала всем без исключения рабочим завода повестки, в которых предлагала льготные условия (увеличение выходного пособия на 30 — 50%, в зависимости от трудового стажа) каждому, кто «добровольно» подаст заявление об уходе.

Порядок наметили следующий: сколько будет получено заявлений об уходе, столько вычеркнуто имен из списка «лишних», причем отбор этих имен дирекция предполагала производить жеребьевкой. «Разумеется, сама же Внутренняя комиссия,— говорилось далее в докладе,— 1) была застигнута врасплох и 2) включилась в дело с опозданием и слишком нерешительно. Когда же распространилось это последнее известие, взбаламутившее весь завод, то комиссия совсем утратила способность проводить последовательную линию. Поначалу мы заняли жесткую, непримиримую позицию (смотри приложение № 1 — листовку «Долой увольнения!»), а потом постепенно стали приноравливаться к фактическому положению дел. Например, Внутренняя комиссия не возражала против так называемого «добровольного прекращения трудовых отношений» за исключением нескольких случаев — когда речь шла о людях, которых нам не хотелось терять... Позднее, видя, что число «добровольцев» растет (оно достигло 107), мы стали добиваться, чтобы из списка были исключены активисты, внесенные в него дирекцией в порядке репрессии. По нашему настоянию их имена были вынесены в отдельный список, по поводу которого должен был состояться особый разговор... В итоге, на первом этапе разногласий дирекция удержала инициативу в своих руках. Мы же заняли оборонительную позицию и сумели добиться некоторых результатов лишь по второстепенным вопросам...»

Это весьма многозначительное многоточие взято из оригинала. Через несколько абзацев автор доклада уже в ином, гораздо более бодром тоне приступает к описанию второго этапа борьбы. «В первых числах декабря во время совещания, созванного в отделе кадров в связи с контрольными посещениями больных на дому, дирекция вроде бы проявила готовность не настаивать на своем решении и соглашалась обсудить требование Внутренней комиссии о сокращении общего числа увольнений, которые тем временем дошли до буквы «П». Наши профсоюзные работники, действуя энергично и единым фронтом, добились очень неплохих результатов: за неделю до рождества один из наших циркуляров (смотри приложение № 2 — «Победили рабочие») сообщал, что с увольнениями покончено. Число «уволенных по собственному желанию» было сокращено в итоге на 50 единиц. Успех дела был обеспечен отчасти благодаря своевременному и решительному вмешательству профсоюзов, но, главным образом, благодаря нажиму со стороны масс, а также ценной поддержке ФИОМ и местных организаций рабочих партий...»

— Сколько людей приложили руку к этому гнусному делу! — возмутилась Гавацци, прерывая чтение «совершенно секретного» доклада.— Хозяевам даже удалось

---

* Конфедерация труда.
** Внутренней комиссии.

заставить нас, Внутреннюю комиссию, расписаться в том, что мы согласны с увольнением ста семидесяти трех рабочих, не считая тех, кто ушел «по собственному желанию»... Ничего себе, «успех»! Сварганили дельце!

Сантина:— Я прикинула, сто семьдесят все же лучше, чем...

Сильвия:— Ну, а если дирекция решит в будущем месяце уволить двадцать человек с «Бронделей»?

Амелия:— Ты сама слышала?! Действительно распустят по домам двадцать человек с «Бронделей»?

Сильвия:— Дирекция считает, что «Брондели» стали нерентабельными и что их надо убрать. Высвободятся сорок человек, куда их девать? Стычка с Внутренней комиссией. Они грозят нам, мы — им. Вмешивается ФИОМ... В результате мы даже оглянуться не успеем, как двадцать товарищей с «Бронделей», а дирекции только того и надо, окажутся за воротами. Выпустим еще одну листовку «Победили рабочие» и тем ограничимся.

Сантина:— Двадцать человек... Значит и нас, с намоточных, тоже...

— Да нет, это я так, к слову!

Но по одним этим разговорам можно судить, какая неуверенность, какая растерянность владеют людьми, хотя увольнения за несколько недель до этого полностью прекратились.

Маньялос по природе нытик и маловер, но и он сменил пластинку. Раньше все вопил: «Хватит бастовать! Издергали рабочего человека! Издеваетесь!» А теперь заговорил по-другому:

— Уж не заключили ли пакт с самим дьяволом наши господа из Внутренней комиссии? Не обязались ли погрузиться в спячку на неопределенный срок, лишь бы уволили на несколько человек меньше?

Маньялос затронул больное место, что дало дополнительную пищу для подозрений и недовольства. Послышались голоса: «Что это за привилегии активистам? Или у их детей лучше аппетит, чем у детей других уволенных?» «Надо учесть и другое». Это соображение высказывает Сильвия — «передовик» во всем, в том числе и в вопросе дисциплины:

— Слава богу, что благосостояние страны зависит не только от «Ломбардэ».

Она намекает на круговую поруку, на то, что есть рабочие, которые прибегают ко всяким уловкам и хитростям, прямо под носом у начальников и охранников занимаются своими личными делами, иными словами — разучились по-настоящему работать. Сильвия не упускает случая, чтобы повторить свою любимую присказку:

— Эх, дожить бы до того дня, когда у нас, на социалистическом предприятии, будет социалистическая дисциплина!

Но хуже всего то, что предположение о новых увольнениях, высказанное Сильвией наугад, по-видимому, становится реальной угрозой. Заказы для «Бронделей» все сокращаются и сокращаются. Заказы для «Гумбольдтов», до сих пор поступавшие регулярно, тоже пошли на убыль. Естественно, сокращается и рабочий день. На всех машинах, в том числе и на намоточных, прошлогодняя сорокачетырехчасовая рабочая неделя к ноябрю — декабрю дошла до сорока часов, а во второй половине января сократилась до тридцати шести. Пришлось группе добровольцев (двое с «Бронделей», трое с «Гумбольдтов», да еще Сантина от намотчиц), которых возглавил Брамбиллоне (вместо Гавацци — последнее время она просто невыносима, плюет на всех и вся, грубит), взобраться на «Голгофу», к инженеру д'Оливо. Но тот через секретаршу передал, что до конца следующей недели занят — не сможет выкроить для них ни минуты.

— Оказывается, спускаться с «Голгофы» еще горше, чем на нее взбираться,— вздыхает, возвращаясь в цех, работница с «Гумбольдта» Бруна Брамбилла (к Брамбиллоне не имеющая никакого отношения; она из Лоди, вдова, муж погиб на русском фронте). По ее собственному определению, она из породы «бунтарей».— Раз уж мы все равно шляемся, давайте заглянем к Кишке!

Перед тем как идти к Рибакки, та же Бруна Брамбилла делает еще одну попытку обработать Гавацци, так как, по общему мнению, только она способна проесть Кишке печенку. Но та ее отшила:

— Идите вы все к черту!

Рибакки выдержал натиск, а также попытку Бруны Брамбиллы пустить слезу (впрочем, решительно пресеченную ее товарищами), не поведя бровью. Он сидел за столом, опустив свои близко поставленные глаза, и вертел в холеных руках резинку до тех пор, пока не превратил ее в сплошной комок. Наконец, не поднимая глаз:

— А что сказал господин Бонци?

— Господин Бонци? По таким делам мы разговариваем только с вами. С инженером и с вами.

Вопрос Рибакки прозвучал странно. Еще более странной показалась следующая фраза:

— Отныне соблюдайте субординацию. Господин Бонци начал разбираться в жизни цеха, и было бы неправильно не поставить его в известность о том, что вас беспокоит.

Воспользовавшись недоумением и замешательством Брамбиллоне и других, эта гадюка Рибакки как бы между прочим бросает:

— Будьте добры, сообщите вашим друзьям, что восстанавливается старый распорядок: сорокачетырехчасовая неделя.

— И для «Бронделей», и для «Гумбольдтов»?

Рибакки:— Для тех и других.

— А намоточные?

— Если бы вы меня не отвлекли от дела, у меня уже были бы готовы для вас новые учетные листки.

Он кладет руку на стопку заказов — в подтверждение своих слов и чтобы прикрыть шифр «С» — «Склад». Он и сам не знает, откуда привалило столько. Как бы там ни было, а приказ явно идет вразрез с железным принципом: ни в коем случае не накапливать задела. Рибакки терялся в догадках; он кое-что подозревал, могло быть и так, но проверить трудно. Единственный, не подлежавший сомнению, хотя и неопределенный вывод сводился к следующему: наверху что-то затевают.

Делегация возвращается в цех. Одни с сияющим видом, словно восстановление сорокачетырехчасовой недели — их личная заслуга. А кое-кто (например, Брамбиллоне), хмурясь: если на заводе что-то происходит, что на первый взгляд кажется бессмыслицей, то это еще вовсе не значит, что так и есть на самом деле — просто до смысла трудно доискаться.

XXV

Последние несколько дней Марианне чудится, что «Авангард» издает какие-то непривычные звуки. Не сразу после утреннего туалета, когда он наращивает скорость и выдает первые десять, двадцать, тридцать метров кабеля, а немного погодя. Марианна уверяет себя, что «Авангард» ни при чем, что ей это чудится. Но ближе к обеду посторонний шум слышен отчетливо. После обеденного перерыва он исчезает или слышится временами, чуть-чуть. По мере того как за окнами вечереет, шум усиливается. Это стало правилом: к концу дня шум усиливается и уже больше не пропадает. Откуда он исходит, сказать невозможно. Стоит Марианне сойти с места, как он перемещается чуть подальше к краю машины. Какой он? Трудно сказать. Возможно, вращающаяся масса где-то слегка деформировалась и задевает за протектор. Нет, вряд ли. Может, вывалился болт или шурупчик и гремит внутри? Или просто ослаб и, выдаваясь больше обычного, за что-то задевает? И это маловероятно. А что, если при смене катушек домкратом помяло?

Скоро пять. За окном — густой туман, поэтому смеркается раньше, чем обычно. Опять этот шум... Не очень сильный, но со скрежетом.

Марианна принимает решение:

— Сварщик!

В цеху она зовет Сальваторе не иначе, как сварщиком.

Он подходит, толкая перед собой каталку с аппаратом для автогенной сварки — будто тележку вдоль дамбы или вдоль межи.

Марианне нравится, что в облике владельца мотороллера угадывается хлебопашец. Ей это представляется гарантией... Гарантией чего? Ведь если она и выйдет замуж, то не за Сальваторе, а за человека лет сорока, вроде Берти, только не такого немощного и повыше ростом.

Сальваторе удивился: «Авангард» работает. Он осматривает машину. На ходу он видит ее впервые.

Марианна:— Я тебя позвала, чтобы спросить, что это за странный шум, как по-твоему?

Сальваторе (прислушавшись):— Я ничего не слышу.

— Не слышишь? Повернись другим ухом!

— Что я должен услышать?

— Боже ты мой! Что-то стучит, стучит, а что это может быть, я не знаю...

— Никакого шума нет.— Потом:— Марианна...

— Молчи. Сейчас гораздо слышнее.

— Может, ты... не знаю, как сказать...

— Что — как сказать?

— Не знаю, как это говорится. Может, у тебя...

Сальваторе обескуражен, удручен. Молчит. Потом вдруг нашел нужные слова и обрадовался:

— ...расшалились нервы? — Точно: расшалились нервы.

— Марианна.— Надеюсь, ты не станешь меня уверять, что я все это придумала?!

— Я так не говорил.

— Нет, говорил. А теперь струсил и увиливаешь.

— Я думал...

— А ты не думай! Так будет лучше.

— Я все время об этом думаю. Даже по ночам.

Марианна (в отчаянии):— Кроме всего прочего, ты еще и глухой! Глухой, как тетерев!

Сальваторе (мягко):— Почему ты не остановишь машину? Разве ты не слышишь, что обрыв?

Марианна (нажимая красную кнопку и отводя рычаг):— Раз есть обрыв, паяй! Ты ничего другого не умеешь. И заткнись! Очень ты мне нужен, деревенщина!

Вот как она его отделала. Выдала ему по первое число, поставила на место. Теперь между ними все кончено. Сальваторе склонился над оборвавшейся проволокой. Он делает свое дело. А сам нет-нет, да и глянет на Марианну. Успокоился. Благодарен, что она перестала его дергать, оскорблять. Да что же он за человек? Разве это мужчина? Еле ворочает пальцами. Медлителен до ужаса. Недоразвитый. Умственно, физически — всяко. Нет, она не права: каждое движение его точно рассчитано, одно следует за другим четко, без колебания. Даже теперь, после того как он выслушал от нее столько оскорблений. Под конец он опускает глаза, ощупывает проволоку — проверяет, нет ли утолщения на месте спайки. Закончив, он не поднимает глаз (раньше, бывало, ликвидировав обрыв, он взглядом как бы спрашивал: «Правда, я все сделал быстро и хорошо?»). Сейчас он выпрямляется, но глаз не поднимает.

Марианна:— Давай договоримся! Я больше знаться с тобой не желаю. Делай что тебе положено и уходи!

Глядя, как он собирает инструменты, укладывает их на каталку и удаляется (ни дать ни взять — мужик с тачкой!), она повторяет, на сей раз себе: «Больше никогда!» — и подходит к пульту управления. Последний взгляд в сторону удаляющегося Сэльваторе — не выкажет ли он запоздалых признаков возмущения, но тот даже не обернулся, спускается по скату, ведущему из цеха «Г-3» в цех «Д-1». Марианна нажимает кнопку. «Авангард» недвижим.

— Это еще что?!

Она нажимает решительнее. Никакого впечатления. Нажимает двумя руками. «Начинается! Что за капризы? Решил устроить мне сцену?» Широко расставив ноги, засунув руки в карманы спецовки, Марианна клянет Сальваторе:

— Деревенщина! Вот деревенщина!

За окном дождь. Частый-частый. Капли барабанят по стеклам, образуют быстрые ручейки. А утром казалось, что распогодится. Не все ли равно... «Этот чудак обожает туман, мороз, ливни. Он свидания не пропустит. И сегодня тоже придет. А если нет? Если не будет на обычном месте мотороллера... Или — выйду, а он стоит, как всегда, широко расставив ноги, подняв воротник, без шапки, на волосах изморозь, губы трубочкой, будто что-то насвистывает... Вот дурак! Не мог потерпеть час-другой, именно перед «Авангардом» ему понадобилось выламываться — изображать страдание, тревогу... Все равно надо с ним кончать. Слишком много ему напозволяла. Вот так, каждый вечер, понемногу, казалось бы чепуха? А вошло в привычку, и он уже предъявляет на тебя права. Доказательства? Да хотя бы то, что этот субъект позволяет себе выступать не только в роли воздыхателя или жениха, но чуть ли не мужа! Хватит! Пусть найдет себе другую. Страшненькую и глупенькую — иная с таким чучелом связываться не станет. Ни за что. А если и согласится, то только для того, чтобы выставить как следует, вроде как та потаскушка, которая держала его при себе, чтобы он водил ее каждый вечер в кино. В конце концов он и ей надоел. Почему бы ему не взять себе Амелию? Она для него идеал: плоскогрудая, бедрышки как раз по величине заднего сидения «Ламбретты».

Исходя злостью, Марианна снова нажимает на кнопку. Безрезультатно.

— К черту, к черту! — бурчит она про себя.— Да будет тебе известно: этот парень — мой любовник. Я с ним сплю. Ночую у него, а не у матери. У нее свой любовник, а я хожу к нему. Наплевать мне, что он живет на чердаке. Наплевать, что матрас у него из конского волоса. Наплевать, что ноги у него грязные. Наплевать, что он не ахти как умен. Что у него смешной голос. Что он мне несимпатичен,— мало того, что я его не переваривaю. Он меня обнимает, крепко-крепко. Удивляешься, да? Вообразил, что для меня никого, кроме тебя, не существует? Тоже еще...— шепчет Марианна, а на опущенных ресницах набухают слезы.

Она его ненавидит, ненавидит его слишком черные глаза, его слишком розовые, мягкие губы, слишком темную кожу, глядя на которую ей всегда хочется к морю, где гуляет ветер. Она ненавидит его говорок, его неуклюжее молчание, его мужицкие повадки. Его крестьянское долготерпение и упорство. Не выносит его «Ламбретту». Не желает его больше видеть — ни с мотороллером, ни без оного. Никогда. Не позволит ему больше ни подходить, ни тащиться следом. Закричит. Позовет людей. Позовет полицейского... Какой идиот! Все испортил... Зачем ему это понадобилось? Глаза ее полны слез. Отныне за воротами завода между концом одного рабочего дня и началом другого будет только пустота. Необъятная пустота города, с его грязными туманами, нескончаемыми вереницами домов, дверей, окон, вывесок, наглых огней, с обезумевшим потоком машин и безучастным людским муравейником... А сойдешь с трамвая — корявый асфальт, по которому гулко стучат каблуки, и, пока не добежишь до дома, всюду — подозрительные тени, тем более подозрительные и пугающие, что теперь не будет рядом Сальваторе. А там унизительная, доводящая до отчаяния картина: голый двор, голые стены и двери, то, что в документах фигурирует

как ее «местожительство». И эта могильная полутьма (экономим электричество), эта промозглая атмосфера, порождаемая нуждой и ленью, такая убогая, несмотря на все потуги блюсти респектабельность. И мать, в лице и фигуре которой, как в зеркале, отражается то, что ждет ее, Марианну, через каких-нибудь несколько лет. И никуда от этого не уйти. Выбора нет. Разве что в один прекрасный день, снова раскапризничавшись, «Авангард» не станет, как сегодня, а выкинет номер похуже: заработает когда не надо...

Она медленно вынимает из кармана сначала одну руку, потом другую, вытягивает их вперед, одну параллельно другой, поворачивает боком, ладонями вниз, растопыривает пальцы, вновь их соединяет, сжимает, разжимает. Одним пальцем дотрагивается до «Авангарда», водит им по гладкой поверхности, обводит углы, выступы, добирается до пульта управления, пересекает его по диагонали, натыкается на кнопку, задерживается на ней, слегка нажимает... Нажимает сильнее. Нажимает изо всех сил. Палец болит. Болит вся рука, до самой кисти. Боль поднимается кверху, до плеча, переходит на другую руку, а оттуда через грудную клетку, тез ползет вниз, раздваивается и доходит до щиколоток...

Осипшим голосом, умоляюще:

— Я же его бросила! Ты сам видел... Раньше я обманывала, а теперь у меня правда никого, кроме тебя, нет. Но если и ты...

Тут взгляд ее падает на зеленый кружочек, чуть повыше руки. А палец совсем на другой кнопке, на красной, которая служит для остановки машины! Значит, с тех самых пор, как Сальваторе ушел, не сказав ни слова, ни разу не обернувшись, она все время нажимала не на ту кнопку!

Заспешив:

— Нет, нет, ничего не случилось.— А сама нащупывает зеленую кнопку, нажимает на нее.— Ведь правда, ничего не случилось? У нас с тобой все по-прежнему. Даже лучше. Лучше, чем раньше. Лучше, лучше,— твердит она под нарастающий гул «Авангарда». Вместе с гулом возникает и прежний скрежещущий звук. Все громче, громче...— А этот идиот уверял, что мне почудилось!

XXVI

Маркантонио возмущается:

— Фу, ты! Добиться аудиенции у его превосходительства господина префекта и то проще. Впрочем, что с него возьмешь! Деревенщина, что один, что другой...

У Маркантонио всегда крайности: или зевает, или бушует. Он пробовал подступиться к Сальваторе и так, и эдак.

— Давай встретимся после работы! Неужели твоя краля не может один раз добраться до дома без провожатого?

С а л ь в а т о р е:— К сожалению, не могу.

— Ну, тогда попозже.

— Право же, не могу.

— Ах ты сукин...— Но спохватился, прикусил язык и заговорил по-другому, тоном пожилого монаха-балагура:— Уж не думаешь ли ты, что я хочу обратить тебя в свою веру? В моей партии и без тебя народу хоть отбавляй... Другой такой мощной и победоносной нет!

— Очень рад. Очень рад,— бормотал Сальваторе. Он Маркантонио уважает — в деревне принято уважать старших. Если бы не боязнь насмешек (непременно обзовут «авангардистом»), он обращался бы к Маркантонио на «вы».

— Значит, договорились: завтра вечером.

— А нельзя ли отложить до пятницы?

Эта волынка тянется несколько дней. Всему должен быть предел, и Маркантонио решает: сегодня или никогда.

Вот уже часа три, как он за ним наблюдает. Наверное, у этого парня вместо мочевого пузыря бурдюк, недоумевает Маркантонио. Маркантонио уже готов был отказаться от своего замысла, как вдруг заметил, что Сальваторе отделился от своего сиамского близнеца — сварочного аппарата на каталке — и направился в уборную. Слава богу! Маркантонио, на середине прервав разгрузку, вскочил на свой «Форклифт» и покатил зигзагами через весь цех. Поставил автокар к стенке, шмыгнул в уборную, но — вот проклятье! — Сальваторе заперся в отдельной кабине. Не прошло и полминуты, как он вышел — серьезный, поглощенный в собственные мысли, застегнутый на все пуговицы. Маркантонио ухватил его за рукав:

— Ну, как жизнь? С девчонкой получается? Дело идет на лад? — Доверительно:— Между нами говоря, какого лешего вы ждете? Благословения папы римского? Она девка что надо, можешь мне поверить, я в этом разбираюсь. Ты тоже, что называется, не урод. Любите друг друга. В чем же дело? Послушай меня: упустишь момент — пиши пропало.

Маркантонио оседлал своего любимого конька. Но на сей раз Сильвия взяла с него слово, что он не будет вмешиваться. «Нам заниматься интригами не к лицу».

Сильвия говорит даже не «нам», а «нам, коммунистам». И добавляет: «старой школы». Короче говоря, если Маркантонио и сделал сватовской заход, то лишь из желания заставить этого увальня раскрыть карты. Так, попутно.

— Хм,— мычит Сальваторе в раздумье.

— Что значит по вашим деревенским понятиям «хм»? Хотя, с другой стороны, тебя тоже понять можно. Тебе попалась девушка, которая знает себе цену. Прокатить ее на мотороллере при луне еще ничего не значит. Знаешь, что я тебе советую? Была не была: подавай заявление о регистрации, женись, и через положенные две недели она будет твоей — по закону. Прямой путь — самый лучший, можешь мне поверить. Проверено на собственном опыте. Хочешь, я с ней поговорю?

Сальваторе (поспешно): — Ради бога, не надо.— Потом: — Мне надо бежать в цех.

— Обожди минуту, побежим вместе... Ведь ты ее любишь, правда? Ведь ты бы расстроился, если бы с ней что-нибудь случилось?

Сальваторе:— Ничего с ней не случится. А мне надо идти.

— Ну, иди, иди, зануда. Подожди, ответь только на один вопрос, и, честное слово, я тебя отпущу. Ты замечаешь, как она изменилась, какая стала нервная?

— Нет. Она очень даже спокойная. А нервничать начинает, только когда подходит к дому.

— Вот видишь? А я что говорил! Сам признаешь, что с ней творится неладное.

Сальваторе раздумывает. Чтобы сообразить, как ответить, ему надо немало времени.

— Она честная, ни с кем не путается.

— У вас, деревенских, только одно на уме: «честная или не честная»,— досадует Маркантонио.

— А чего ж тут мудрить, если... она честная.

— Я бы тебе сказал, из-за чего она нервничает, да не могу. Никак не могу: поклялся. А то бы твоя южная кровь взыграла...

Таким образом, первый разговор Маркантонио кончил, а второй не получился, так и застрял посредине.

Сальваторе: — Я пойду. Охранник застанет, попадет...

Тут в уборную вошел известный своей въедливостью, любопытством и болтливостью Джеппа с пресса и, не торопясь, пристроился в двух-трех шагах.

Маркантонио (кося глазом в сторону Джеппы, вполголоса): — Я ничего не могу тебе рассказать, понятно? Ты мне только скажи: согласился бы ты лечь в постель с женщиной, у которой вместо руки культышка?

Сальватсре (подумав): — Да.

— А с такой, у которой вместо обеих рук — по культышке?

Сальваторе (подумав): — Семья требует работы.

Маркантонио (обрадованно): — Вот видишь, я прав!

Сальваторе:— Только с ней ничего не случится. Она смотрит в оба. На работе она спокойная.

— Болван! — не выдерживает Маркантонио, повысив, слишком повысив голос. И шепотом, чтобы восстановить равновесие, ни на минуту не упуская из виду Джеппу:— А не приходилось ли тебе слышать про одну работницу, вернее, бывшую работницу...

Молчание.

— ...про некую Андреони, а?

Сальваторе (скороговоркой): — При чем тут она? Марианна внимательнее. Спокойнее. Она не сорвется!

— А при том, осел, что она ходила к матери твоей Марианны. К твоей будущей теще. Вот почему Марианна, приближаясь к дому, нервничает. Вот почему...

XXVII

В пятницу, когда в столовой вместо обычного супа раздавали тунца, по одному из многих каналов человеческой солидарности пришло известие, что умер старик Берти. Гавацци, не доев, встала из-за стола и отправилась на противоположный конец завода — на так называемую «Свалку».

— Что вы знаете о Берти?

Ответил некий Соньо:

— О Жокее? Вот уже с месяц, как его не видно.

Другой, по имени Гарау:

— То ли с месяц, то ли с неделю... Человека как-то не замечаешь, когда он рядом, а уж когда нет, то и вовсе...

Гавацци:— Семья у него была? Родные?

— Да мы кроме «здравствуй» и «прощай»...

— А что с ним случилось? Опять какая-нибудь неприятность?

Гавацци: — Последняя. Умер он.

— Ах, вот оно что...

Гавацци направляется в отдел кадров. Ее там знают. Знают, что она не из тех, кого можно водить за нос: дескать, подождет — остынет. С ней этот номер не пройдет. Поэтому ее принимают сразу.

— Берти. Вы ведь знаете, о ком я говорю? Скончался. Сегодня утром, на рассвете.

В черепной коробке доктора Казополло, родом из Романьи, хранится полная картотека всех каверзных дел. Он слова не проронил, даже не сказал: «Вот бедняга». Казополло ждет — сейчас Гавацци обрушит на него град обвинений: он виноват в кончине Берти, так как в свое время не удосужился сделать то-то и то-то, не предусмотрел того-то, не распорядился, не воспрепятствовал, не вмешался. Короче, лучше бы этот Берти не умирал.

Гавацци:— Я хочу выяснить, были ли у него иждивенцы и кто именно.

— Только сестра. «Берти, Роза, место и год рождения — Мецпегра, Сондрио, второго июля тысяча восемьсот девяносто девятого, незамужняя, домашняя хозяйка»,— зачитывает Казополло.

У Гавацци глаз острый:

— А после слова «домашняя хозяйка» что там приписано карандашом?

— Приписано: «Парализована».

— Окончательный расчет и прочее меня не касается. Мне надо получить у вас пособие на похороны. Только предупреждаю: не вздумайте отделаться парой тысяч!

— Ладно. Я передам ваше заявление в отдел вспомоществований.— Учитывая, что Гавацци не стала напоминать о прошлом, воздержалась от упреков... Однако доктор Казополло не может отказать себе в удовольствии — добавляет:— Учтите, что Берти, Луиджи, в штате фирмы не состоит.

— Еще бы!

— Я хочу только сказать, что он ушел с работы до своей кончины. В деле значится, что он уволился двенадцатого января.

— По собственному желанию, не так ли?

Похоже, что сейчас раскричится... Нет. Устало улыбается, как бы говоря: «Мы-то с вами знаем, где собака зарыта...»

Спокойно:

— Доктор Казополло, деньги мне нужны сейчас же. Немедленно.

— Надо думать, похороны состоятся не сегодня вечером?

— Но и не через год.

— А когда? Завтра? В субботу? Зайдите лучше завтра до половины первого. Скажу вам по секрету: вас ждет приятная неожиданность.

— А что, если я забегу к концу дня? Между пятью и шестью? Не все ли равно, сегодня вечером или завтра утром...

— А вам не все равно?

Доктор Казополло смотрит на Гавацци в упор, и она решает: ладно, в конце концов не стоит упрямиться. Этим кадровикам палец в рот не клади. Сыскная служба у них поставлена серьезно, по системе. Но что он мог пронюхать? Никаких поводов для подозрений у него нет.

На рабочем месте Гавацци можно было бы повесить объявление: закрыто по случаю похорон родственника. У нее есть дела поважнее, чем наматывать проволоку на катушки. Надо распространить обращение: «От трудящихся — по красной гвоздике (цена — сто лир); остальное — за счет капитализма».

— Вы знаете лучше меня, что сбор пожертвований на заводе запрещен,— предупреждает ее Рибакки, когда Гавацци решает по сему случаю причислить к трудящимся и его.— Особенно в рабочее время.

— Насчет «особенно» можно бы и умолчать. Раз запрещено, значит запрещено. Но поскольку в перерывах между одной империалистической войной и другой не менее строго запрещается бросать покойника на произвол судьбы... Поскольку денег на погребение нет... И поскольку те, кто мог бы раскошелиться...

— Если на то пошло, отдел вспомоществований в пособии не откажет.

— Наверняка откажет. И не без оснований. Ведь Берти уже не числится в штате фирмы! Счел своим долгом не быть помехой. Для начала — глазарям «Ломбардэ». Предположим, вы, в порядке исключения, прислушаетесь к голосу своей совести...

— Гавацци, еще одно...

— ...«слово и я буду вынужден принять соответствующие меры», да? Знаю, что вы скажете. Слышала не раз. Учитывая удачный опыт с Берти, отправите меня на «Свалку»?

Она продолжала сбор денег. Наскребла пять тысяч с лишним: кто дал сто, кто двести; Маркантонио выложил тысячу (от имени своей команды — семерых Инверницци). К Марианне она даже не обращалась. Котенка тоже решила не трогать, чтобы не втягивать в неприятности, так как наутро предстоит... Но на «Голгофу» все же взобралась. Инженеру тоже изложила жалостную версию насчет того, что фирма пособия дать не может, поскольку Берти...— и так далее и тому подобное, правильно рассчитав, что д'Оливо не даст себе труда справляться, проверять, так ли это. Но что он, не сходя с места, выложит пять тысяч лир, это ей никогда бы не пришло в голову!

— Столько, сколько набрали мы все,— бормочет Гавацци.— Тоже способ дать нам почувствовать, какая мы мелкота. Ладно, куда ни шло, пригодятся для кассы. Деньги не пахнут.

После работы на квартире у Берти собралось несколько товарищей: Соньо и Гарау со «Свалки», муж и жена Инверницци, Брамбилла-отец, проныра Джеппа, намотчица Амелия и парнишка по имени Кастеллотти — сын неизвестных родителей, воспитывавшийся у попов и попавший на завод (о чем он сообщает всем и каждому) по рекомендации самого кардинала.

Одновременно с Гавацци, прямо за ней, вошли в подъезд два незнакомца с какой-то молодой женщиной. Гавацци за стенами «Ломбардэ» становится, как известно, другим человеком. Чувствует себя немощной, бесполезной, бессильной и готова бить отбой: сесть на трамвай и убраться восвояси. Если бы не эти трое, что шли следом...

Взбираясь по узкой лестнице:

— Никуда не денешься, кто-нибудь из родственников непременно объявится. Будут путаться в ногах, во все соваться, давать указания, но ни одной лиры из них, конечно, не вытянешь.

Когда запыхавшаяся Гавацци (сердце подступило к горлу) добралась до площадки, на которую выходила дверь квартиры Берти, той троице оставалось до нее всего несколько ступенек.

— Вы кто такие?— обернулась она к ним.

Тот, что помоложе, похож на преподавателя латыни и греческого; ученики, пока он пишет на доске, наверняка вытворяют за его спиной бог знает что. Очень красивые чернильно-черные глаза его под роговыми очками исполнены мудрости и библейского долготерпения.

— Мы из секции социалистической партии Порта Вольты. Я вроде как бы секретарь...

Гавацци: — «Вроде» или на самом деле? — При этом она смерила его взглядом с головы до ног: кажется, он пришелся ей по вкусу.

Молодой человек улыбнулся. Улыбка ей явно понравилась. И, тотчас посерьезнев, добавил:

— Узнав, что наш товарищ Берти, бедняга... А вы кем ему?

Гавацци: — Что за чепуха? Разве Берти — член партии?

— Со второго ноября сорок пятого года. Это точно, мы подняли документы.

Как бы в поисках поддержки, молодой человек оборачивается к пожилому. У того блаженная физиономия, под адамовым яблоком бантик, продернутый в золотой кружочек, какие носили когда-то маклеры по продаже скота.

— Это наш секретарь по оргвопросам,— пояснил молодой.

Гавацци (прежде чем что-либо сказать, надо выяснить):— И часто он бывал в ячейке?

— Почти никогда.

Молодой снова обернулся к пожилому; тот благодушно махнул рукой — дескать, не надо быть слишком требовательным,— и сказал:

— Но уж раз в год непременно: платил членские взносы и давал на «Авантн!» *.

Ввиду того, что Гавацци их дальше лестничной площадки не пускает, молодой, набравшись духа:

— Не знаю, кем вы ему... Во всяком случае, вот...

И извлек из внутреннего кармана пальто плотный лист бумаги, исписанный меньше чем наполовину корявым неуверенным почерком.

— Это, так сказать, духовное завещание. Он оставил нам его в запечатанном конверте, когда в последний раз приходил платить членские взносы. По квитанции мы установили, что это было двенадцатого января.

И снова взгляд в сторону секретаря по оргвопросам; тот кивает головой.

Молодой: — Он тут пишет, что, поскольку у него никого нет... или вы сами прочтете?

— Поскольку у него никого нет... и дальше что?

— Да ничего особенного. Благодарит нас (собственно, неизвестно, за что), просит проследить, чтобы его сестра... Простите, а вы не...

— Я ему никто.

— ...чтобы его сестра не звала попов. Моя жена уже была у приходского священника — предупредила, чтобы он себя не утруждал... Вот это моя жена.

Молодая женщина:— Рада с вами познакомиться. Меникатти.— Она протягивает левую руку, потому что в правой у нее красный флаг. Он без чехла, туго свернут и перевязан сверху и снизу бечевкой.

Гавацци:— Очень приятно. Гавацци. Что ж мы стоим на лестнице?

И во главе троицы она вошла в квартиру, громко продолжая разговор:

— Значит, договорились: все расходы — пополам. Половину возьмет на себя завод, половину — ячейка. А такси за свой счет. Так?

Секретарь Порта Вольты (краснея):— Да, то есть нет. Дело в том, что у нас проводится сейчас подписка в пользу Алжира.

---

* «Авантн!» («Вперед!») — орган итальянской социалистической партии.

Он оборачивается к жене. Всем ясно, что вопрос уже обсуждался и что единодушного решения принято не было. Теперь он оборачивается к секретарю по оргвопросам.

— Деньги-то есть, но мы не можем их трогать.

Гавацци:— Ничего, тронете! Устроить достойные похороны миланскому пролетарию — та же помощь алжирцам.

Они вошли в комнату покойного. Берти лежит как-то вкось у стены, на тахте. Гавацци ограничилась беглым взглядом в его сторону.

Долго возиться она не намерена. В каждую данную минуту она может заниматься только чем-то одним, а сейчас голова ее занята кое-чем поважнее.

— Завтра хоронить рано. Давайте в воскресенье, а? В половине четвертого? В четыре? Решайте сами, когда лучше — в половине четвертого или в четыре. Но такси давайте возьмем у Арки Мира, а через парк пройдем пешком. По крайней мере, буржуйские дети захотят знать, почему хоронят без священника, и родителям придется объяснить причину или же изощряться в выдумках, чтобы причину утаить.

Сильвия (вопреки обыкновению, резко): — Ты за разговорами совсем забыла о сестре!

Сильвия торчит здесь уже часа два, ей тоже некогда: надо бежать домой кормить детей. В дом покойника она ходит, только если нельзя не идти. Она очень старается не показать, как это ей неприятно.

Гавацци: — Тебе придется подежурить здесь ночью. Или еще кому-нибудь. Например, Кастеллотти: он верующий, для него это прекрасная возможность почувствовать себя истым христианином.

В прихожей, в комнате покойного, на кухне подпирают стены с полдюжины каких-то неизвестных личностей — должно быть, соседи или просто любопытные. Они смотрят на Гавацци с почтительным страхом, как темные люди — на карабинера.

Гавацци (к ним): — Если пойдете с нами — хоронить без священника,— подмочите себе репутацию. Если будете брать вместе с нами такси, потратитесь. Так что смотрите сами... Мы за то, чтобы вы тоже пошли, потому что, чем нас будет больше, тем лучше. А ты, товарищ (жене секретаря ячейки), чем держать флаг вместо костыля, лучше накрой им Берти! — Распаляясь: — Эта история с Берти так легко им с рук не сойдет. Одними похоронами мы не ограничимся!

XXVIII

Сальваторе решил начать курить. Почему? Потому что не курят только жмоты.

Кафе, куда он направляется за своей первой пачкой сигарет (он остановил свой выбор на сигаретах «Супер» — из-за целлофановой обертки с красной полоской), находится за заставой, возле кино «Аврора». Раньше здесь был бильярдный зал, теперь помещение переоборудовали и оно стало похоже на больничную столовую. Но, к счастью, там, где подолгу сидят, пьют, спорят и курят, побеждает жизнь — горячая, кипучая, с неистощимым запасом самых разных настроений. И если Сальваторе, который терпеть не может скопления людей в закрытом помещении, делает над собой усилие, чтобы не уйти, то лишь потому, что завтра — суббота, а все новое должно, по его мнению, начинаться в субботу.

Когда он, наконец, получил сигареты со спичками и ждал сдачи с тысячи лир, за спиной его раздалось:

— Эй, Сальваторе! Куомо, Сальваторе!

Оказалось, Бонци. Чисто выбритый, розовощекий, набриллиантиненный, в добротном темно-сером в светло-серую полоску костюме.

— Иди, я тебя представлю. Давай сюда!

Он сидит рядом с рыжей женщиной, еще более рыжей и веснушчатой, чем он сам. Не красавица, но подтянутая, броская; с маленьких нежных ушей свисают два турецких полумесяца из узорного серебра.

«Это Кошечка»,— решает про себя Сальваторе. И соображает: если Котенок желает представить его своей даме, то уклониться было бы хамством. Сальваторе подходит и, вертя в руках свою пачку «Супера», скромно останавливается поодаль, чуть кивает в сторону дамы, как бы говоря: «Прошу меня простить за мой вид». (Сальваторе в куртке, сутки не брился, волосы влажные от инея, из носа течет.)

— Разве ты куришь? Как же это я тебя на работе никогда не заставал...

Бонци очень весел. По понятиям Сальваторе — до неприличия. Особенно для начальника.

— Анита! Рюмку коньяку для этого господина! Того самого!

Сальваторе: — Я не пью.

Он все продолжал стоять, лицом к девушке, но не глядя на нее.

— Тогда «Кордиаль». Или «Рамаццотти»?

— Я совсем не пью.

— Ничего себе способ представляться девушкам! Ну что ты уставился, стоишь столбом?

Сальваторе сел напротив Бонци, по-прежнему не поднимая глаз.

Упомянутая Анита, которой приходится управляться за двоих — разливать напитки и отпускать прочий товар,— нетерпеливо спрашивает:

— Может быть, кока-колы?

Бонци (добродушно): — А, может, газировки?

Анита: — Газировкой не торгуем. Нет спроса.— И возвращается за стойку.

Рыжая: — Ты же обещал нас познакомить?

Сальваторе решается на нее взглянуть. Она рассматривает его своими большими, неподвижными, вопрошающими глазами. Ресницы у нее длинные — свои, натуральные. Но губами она шевелит как-то некрасиво: морщит, поджимает, будто хочет избавиться от чего-то лишнего. Возле ушей и ниже, в треугольном вырезе платья, кожа золотистая, вся в мелких веснушках.

Бонци (взглянув на часы).— А теперь — мотай отсюда! Возвращайся через час. Я хочу посидеть со своим помощником.

Рыжая: — Черт возьми, какое деликатное обращение...

Она встала (бюст у нее роскошный, жаль — ноги коротковаты), посмотрела, который час. Обошла вокруг стола, не спуская глаз с Сальваторе. Тот, из вежливости, тоже приподнялся.

Бонци (громко): — Сиди, сиди. Она гулящая. Заметил, как на меня похожа? Могла бы быть моей сестрой.

Сальваторе: — Я, кажется... Я почти уверен, что забыл защелкнуть...

— Не вздумай за ней бегать! Нет нужды. Могу уступить.

На сей раз смотрит на часы Бонци.

Сальваторе (стремясь как-нибудь вырваться): — Мне надо запереть мотороллер на секретку...

Выйдя из кафе, он замечает, что Рыжая куда-то отправилась и—странная вещь— держит за руку мальчугана, тоже рыжеволосого. Сальваторе соображает: если Котенок подозвал меня к столику, чтобы отшить эту девицу, он своего добился. Стало быть, я могу вернуться и попрощаться, как положено приличному человеку.

Котенок: — Ты: что же, так-таки никогда не пьешь? Ни капли? Но к столу-то можешь присесть? Я здесь постоянный клиент и могу себе позволить роскошь — пригласить непьющего приятеля.

Сальваторе: — Иной раз выпью кружку пива «Перони».— По-прежнему стоя: — Но сегодня не могу. Надо идти.

— Если ты не пьешь коньяк, никогда его не пробовал, как ты можешь говорить, что он тебе не нравится? Анита! Будь другом, принеси коньячку этому господину. Того самого.

— Нет, не хочется.

— А французскую сигарету — из генуэзских, контрабандных?

— Я ведь не курю. Не хочется.

Бонци (расхохотавшись): — А в руках у тебя что? Или это от комаров?

— Это... я для земляка, с которым мы вместе живем.

— Ах ты черт, тогда вы мне мою Рыжую совсем заездите!

Подходит Анита и ставит перед Сальваторе рюмку коньяку. Тот, не садясь, делает знак передать рюмку Бонци.

Бонци (к Сальваторе): — Выпьешь. Ручаюсь, что выпьешь. А пока шевели задом, садись.

Ага, заговорил начальническим тоном! Когда Сальваторе сел:

— Можешь ты хотя бы на час забыть, что я... в общем... про господина Бонци?

— Нет.

Бонци (смеясь): — Я такой же трудящийся, как и ты. И неизвестно, кого из нас больше эксплуатируют, кто меньше отрешается от собственной личности.

Сальваторе (раздумчиво): — Ты — начальник.

Бонци: — Что поделаешь... Назвался груздем...

И смеется своей невеселой шутке. Сальваторе теребит свою пачку «Супера». Бонци поднимает рюмку:

— За наше здоровье!

Сальваторе засовывает руки в карман.

Бонци: — Ты все еще на мотороллере? Январь на дворе...

— Да. Он и сейчас у меня тут.

— Я бы еще мог понять, если бы это был «кадиллак» с прицепом, где телевизор, и бар, и холодильник, и двуспальное ложе. Это бы я еще мог понять. Но этот твой жук без крыльев...

Сальваторе (рассердившись): — Я на нем гоняю любо-дорого!

— Не быстрее ящерицы. Сколько раз тебе за вечер приходится останавливаться перед светофором?

Сальваторе прикидывает в уме. (Разговор о мотороллерах он всегда охотно поддержит):

— От тридцати до пятидесяти. Зависит от того, удастся ли включиться в поток. Иной раз повезет — зеленая улица; иной раз — нет.

— А мне на работе столько раз за день стоп-сигнал подают, что еще пятьдесят или тридцать раз тормозить в свободное время — увольте, не хочу. При моем темпе-

раменте десяти и то много. Ты совсем другое дело. Бьюсь об заклад, что когда тебя штрафуют за нарушение, ты еще говоришь спасибо.

— А меня не штрафуют. Я на красный свет не езжу.

— Не верю. Ты, конечно, не будешь стараться выйти сухим из воды. Ты не из тех. Но, как и всякий другой, можешь замечтаться... Скажем, о какой-нибудь девушке.

— Со мной этого не бывает.

— Не бывает, чтоб задумался о девушке? — Бонци смеется и поднимает рюмку:— За девушек...

Сальваторе еще глубже засовывает руки в карманы.

Бонци (подмигнув): — А твоя-то — крепкий орешек, а? У меня бы терпение лопнуло. Я предпочитаю более доступных. Чтобы глянуть и — нате, зеленый свет.

Сальваторе: — А я нет.

— Несчастный ты человек. Кончится тем, что поедешь на красный свет и так напорешься, что своих не узнаешь.

За соседним столом поднялся страшный гвалт. Хриплые, пронзительные голоса, в одних — злоба, в других — издевка... Кричат что-то о лошадях, о каких-то людях, о наркотиках, о деньгах — десятках, сотнях миллионов. Сальваторе мысленно отмечает: «И Бонци такой же — одна шатия». Чем громче галдят за соседним столом, тем больше заводится, повышает голос, жестикулирует Бонци.

— Ты мне сказки не рассказывай! Девчонок у тебя, наверное, хоть отбавляй. С семи вечера до семи утра сколько перебывает?

Сальваторе (негодующе): — О таких вещах вслух не говорят. А лучше вообще молчать.

Бонци (лукаво): — Уступи мне одну...— И, после продолжительной паузы: — ...сигаретку «Супер»!

Сальваторе возится с полминуты, прежде чем ему удается ухватить кончик красной полоски и раскрутить ее. Затем он отворачивает уголки фольговой обертки (теперь табак будет крошиться в кармане).

— Насчет этого ты не соврал,— вздыхает Бонци.— «Супер», действительно, для кого-то другого. Сразу видно, что ты вскрываешь пачку сигарет впервые в жизни. Но если уж ты оказываешь такие услуги, почему бы тебе не взыскать процент — не затянуться разочек?

— Не люблю.

— Как ты можешь говорить? Ты же никогда не пробовал!

— Не люблю я говорить о...— Он уперся подбородком в грудь, мнет в пальцах пачку.

Бонци: — Имей в виду, это «Супер», 12 лир за штуку.

— Не люблю я говорить об этом. Не люблю.

— Ты мне доверяешь?

— Самостоятельной она хочет быть — как мужчина.

— Как мужчина? Злюка она.

— Она не злая.— Произнося эти слова, Сальваторе чувствует себя так, будто кто-то схватил его за горло. Пробует стоять на своем: — Она не злая.— Но голос его дрожит.

Бонци смачно хохочет. Когда он так хохочет, ямочка на подбородке собирается в складочки и становится похожа на пупок.

Снова:

— Ты мне доверяешь?

— Нет.

— Случалось ли тебе иметь дело с женщиной, которая в постели холодна как рыба?

Сальваторе: — Да нет, про нее это нельзя сказать. Нельзя.

Он произносит эти слова во весь голос, потому что за соседним столом снова загалдели.

Бонци: — Зря ты раскричался. А кричишь потому, что хитрить не умеешь и наивным притворяться тоже. Впрочем, меня это не интересует. Если у вас ничего не получится, мне же лучше. Я такой спокойной, положительной работницы больше не найду.

— Не такая уж она спокойная.

— Пока она на «Авангарде», я могу не волноваться,— Бонци посмеивается, но уже невесело.

Сальваторе: — Я знаю, что она в конце концов нарвется.

И Сальваторе, вопреки обыкновению, вдруг разражается длинной гневной тирадой прямо в лицо этому своему самоуверенному сверстнику в добротном темно-сером костюме. Как он уверен в себе, этот молодой человек, как заставляет танцевать вокруг себя своих любовниц: «Мотай отсюда», «возвращайся», «я тебе ее уступлю»... Пьет рюмку за рюмкой коньяк, курит... А о Марианне говорит так, будто она приводной ремень...

— И не одну руку потеряет, а две. Нарвется — потеряет обе. Будь у нее три, отрезало бы и третью.

Бонци: — Ты так говоришь, потому что у тебя наболело. Потому что она прогнала тебя. Или это только болтают, будто она тебя прогнала?

Сальваторе: — Они все против нее! Сговорились ее погубить. А все зависть. Потому что она не как другие.

— Ты же сам сказал, что у нее мужские замашки.

— Неправда. Она настоящая женщина и робеет больше других. Например, этой Андреони боится как огня.

— Ну и что? — хмыкает Бонци, потягивая коньяк.— Я знаю одного боксера тяжелого веса, который теряет сознание при виде совы.

— С того дня, как они напустили на нее эту Андреони — из зависти, чтобы погубить девчонку,— она сама не своя. Перестала обзывать меня «деревенщиной», ничего не говорила, позволяла провожать до дома. Я не торопился. Выжидал. Если бы она была как прежде, она бы пришла ко мне, пришла бы непременно.

Бонци: — Непонятно только, зачем ты все это мне рассказываешь. — Он внимательно рассматривает отражение своего кошачьего глаза в рюмке с коньяком.— Меня не интересует личная жизнь женщин, с которыми я сам провожу время, а уж до остальных мне и подавно дела нет.

Сальваторе (упрямо): — А ты лег бы с женщиной, у которой вместо рук...

— Ох и надоел ты мне, братец! Весь вечер мне испортил.— И, как отрезал:— Давай кончать. А то через двенадцать минут явится Рыжая. Она — шлюха аккуратная. Но заруби себе на носу: я тебе ее уступлю лишь на время. Такой аккуратной больше днем с огнем...

Сальваторе: — Я не хочу.

— Французский коньяк пьешь, самый крепкий табак, из всех, что продаются в странах ОЕР *, куришь, а от подружки отказываешься, да?

— Да.

Бонци: — Значит, ты действительно втюрился. По уши.

XXIX

Гавацци (возле своей намоточной): — Овцы! Бараны! Напыжились, ходите грудь колесом,— дескать, вот какую мы победу одержали. Победу? Я бы вам сказала, что я по этому поводу думаю. День этот — седьмое февраля пятьдесят восьмого года,— пока жива, не забуду: камнем на сердце лежит. Что мы, собственно, доказали? Ну, говорите, скажите сами! Ах, не можете? Тогда я скажу. Доказали мы лишь то, что людей можно поднять, всегда и даже успешно, если действовать похитрее. Нагрянуть врасплох, чтобы не оставалось ни секунды для раздумий и колебаний. Победа... Да будь я на вашем месте, я бы сгорела со стыда! Ведь подумать только: для того чтобы стронуть вас с места, человеку пришлось себя в жертву принести... Надеюсь, вы не думаете, что это я о себе. Хотя после того, что было сегодня, именно потому, что все прошло гладко, я себя чувствую как... сама не знаю, как кто. Впрочем, нет, знаю: парализованная, как сестра Берти!

Сильвия: — Скорее бы прошел этот час. Миллион бы отдала, будь он у меня. А еще лучше было бы вернуться на час назад. Когда я должна была сказать (и не сказала): «К сожалению, я участвовать не буду». Почему она ни с кем не посоветовалась? Например, со мной? Ах да, она же как раз за этим и приходила к нам в тот вечер... Как все запутано в этом мире, в нашей жизни! Похоже на... (Уф.. мысль вертится в голове, а слов подходящих не найти)... длинный перечень несостоявшихся свиданий. Как вспомню, кто мне глаза открыл...

Гавацци: — Видала их сегодня утром? Из моих ни один пальцем не пошевелил. Им подавай все готовенькое: чтобы кто-то за них подумал, организовал, подготовил, распределил обязанности. Какие же мы отсталые!

Сильвия: — Дело дошло до того, что мы сами не знаем, хотим ли мы, чтобы получилось то, что задумали, или нет. Если подходить к вопросу принципиально, то, может, и неплохо было бы, чтобы вся затея провалилась, это послужило бы уроком. А провалится — еще хуже: сколько же можно...

Гавацци: — У нас привыкли ходить гуртом, вот пусть каждый и притащит на буксире человек пять-шесть. В среднем, конечно. Такая, как Амелия, пусть сама притащится, и за то спасибо. Сантина, бедолага, тоже. Да, совсем забыла включить Эльвиру. Если пойдут эти, да еще присоединится... как его... Кастеллини, что ли... А с одними активистами ничего не выйдет... Как бы решительно они ни были настроены, если они не притащат, положим, по три-четыре человека каждый...

Сильвия: — Итак, еще раз: отправление в девять. Иду к Котенку: «Разрешите, пожалуйста, сходить в медпункт». Если начнет цепляться, схвачусь за щеку: «У меня в зубе дупло, болит, мочи нет. Сами посмотрите, если не верите!» Вряд ли у него хватит нахальства лезть в рот. Потом ноги в руки и бегом. Туда и обратно — двадцать минут, даже меньше. Если Котенок опять начнет цепляться (до чего дотошный, все ему надо знать!), расспрашивать, как это я сумела так быстро обернуться, скажу: «Там такая очередь, всех не переждешь!» Проверить, не задержали ли ее в проходной, стоит ли она за медпунктом, не зашевелились ли охранники. Короче, все ли в порядке.

* ОЕР — Общий европейский рынок.

Гавацци: — Когда наступит мой черед... Если Котенок раскусит, в чем дело, и поддержит... Ну, а не поддержит — тем хуже для него. Значит, дюжина баранов, которые в его отсутствие сами бы раскачались, зашагают по нашей команде. Быть решительными — вот что важно. Стать хозяевами положения до того, как ввяжется Кишка (чтоб ему ни дна, ни покрышки), до того, как он вызовет на помощь охранников. Между появлением Андреони и началом моей речи должно пройти не больше двух-трех минут. В крайнем случае, буду обращаться к столбам и к пустым катушкам. «Товарищи, наша незабвенная, мужественная Андреони...». Надо подумать, куда ее поставить. Хорошо бы на возвышение, чтобы культяпка была видна отовсюду. Я встану пониже, а она — повыше: издали можно будет подумать, что это она говорит.

Сильвия: — Вот только муженек мой... С него станет: увидев, как я подойду к Котенку, набросится с расспросами — отчего да почему. «Зуб болит? Ты же час тому назад отлично себя чувствовала...» Он у меня — чистая душа, лукавить не умеет, все напрямик.

Гавацци: — Можно поручиться, что он свалится на голову в самую ответственную минуту. Надо было его заранее предупредить, что у Сильвии спецзадание. Наша всегдашняя ошибка: если не выбалтываем лишнее, то недоговариваем.

Маркантонио (лавируя между машинами и останавливая «Форклифт» неподалеку от Гавацци): — Зачем Сильвия пошла к Котенку?

Гавацци: — А зачем ты лезешь не в свое дело?

Маркантонио: — Ага. Понятно. Привет!

Гавацци (подумав): — Болтун! Воображает, будто что-то понял. У людей мания — хотеть все знать...

XXX

За катафалком шагают, выстроившись в ряд, семеро Инверницци: Маркантонио, Сильвия и их пятеро детей. В центре — двое старших и так называемый Инженер оспаривают друг у друга право нести знамя ячейки Порта Вольта, право, явно узурпированное у товарищей-социалистов, которые пришли вчетвером: трое тех, что были накануне, и еще одна женщина в кружевной вуали. Явилось с полдюжины соседей Берти («Для массовости неплохо»,— сказала Гавацци), но перед тем, как все стали рассаживаться по такси, они улизнули. От цеха пришли, в общем, те же, что всегда, хотя многих не досчитались: в это время по радио и по телевидению передавали футбольный матч. Женщин больше, чем мужчин. Бригада намотчиц в полном составе, за исключением Амелии: ей нездоровилось, поэтому ее оставили дежурить возле парализованной сестры Берти.

Пришли уборщица Чезира и еще несколько женщин, среди которых, ко всеобщему удивлению, оказалась и Марианна с «Авангарда». Стало быть, вместе с Брамбиллой-отцом, Маньялосом, Тревильо, Порро, неизменным Джеппой, парнишкой Кастеллотти и — от Внутренней комиссии — Пассони, Кастельнуово и Каторжником (фирма своего представителя не послала, так как Берти уже не состоял в штате), а также делегатами «Свалки» Соньо и Гараном набралось человек тридцать. В общем, по количеству вроде ничего, но что такое для похорон в Милане тридцать человек, бредущих за жалким гробом с одним-единственным венком!

— Тем лучше,— сказала Сильвия, с той жестокостью, с какой она всегда формулирует особо ответственные суждения.— Тем яснее будет, как плохо мы организованы. И как неумны. Часто ли в этой нашей поповской Италии представляется возможность устроить внушительное похоронное шествие по-социалистически?

Маркантонио в отличной форме, подтянут и бодр, как всегда, когда он появляется на людях со всей семьей.

— Вот видите,— говорит он,— чем смелее выражаешь свои идеи, тем большее уважение это вызывает у противников (тротуары запружены воскресной толпой, мужчины снимают шляпы, многие женщины, несмотря на красный флаг, крестятся).

— Сильвия: — А где это сказано, что человек в шляпе — непременно буржуй!?

Всезнайка-малыш: — Папа прав. Посмотри на полицейских: уж кто-кто, а они наверняка реакционеры. И все-таки всякий раз, чтобы дать нам пройти, останавливают движение.

Сильвия: — Похоронную процессию всегда пропускают...

Сильвия поглядывает назад, на Марианну; дело в том, что Гавацци незаметно догнала ее и теперь идет рядом. Сильвия замедляет шаг, чтобы постепенно оказаться в одном ряду с ними. Справа Гавацци, за ней по пятам Кастеллоти, Марианна посередине, а Сильвия слева. «Здесь, по крайней мере, помалкивают,— отмечает она про себя,— а то идти за гробом да еще толковать о похоронах...»

Так они шли довольно долго, не проронив ни звука. Наконец, Сильвия сделала первую попытку:

— Сама не знаю, почему так получается,— сказала она и посмотрела на свои запылившиеся туфли, всего за два часа до этого начищенные до блеска.— Когда еще

одна девушка приходит на завод, мне хочется ее обнять, потому что, говорю я себе, одной женщиной-работницей стало больше. Когда девушка выходит замуж и уходит с завода — муж хочет, чтобы она смотрела за домом,— мне хочется ее обнять, потому что, говорю я себе, одной горемыкой меньше.

Лицо у Марианны под материной черной косынкой восковое, глаза обведены кругами, бледные, без кровинки губы плотно сжаты. Если бы она шла не в третьем ряду, ее можно было бы принять за дочь покойного. На самом же деле Марианну с ним связывает только смутное воспоминание о водянистых, до удивления голубых глазах. Зачем она пришла? Была уверена, что встретит Андреони. Чтобы покончить со всем этим! Если восстановить в памяти шаг за шагом всю историю — ей-богу, она держалась молодцом! Даже дерзко! И еще неизвестно, напрасно или нет, если эти две интриганки, Гавацци и Сильвия, явно сговорившись между собой...

Сильвия (делая над собой усилие): — На мой взгляд, ошибку совершает и та и другая. Девушка идет на завод не для того, чтоб трудиться, а для того, чтоб избавиться от ига родителей. Девушка выходит замуж не потому, что ее привлекает замужество, а потому, что хочет освободиться от ига завода. И это —в самые лучшие годы, в двадцать — двадцать пять лет! Вместо того чтобы идти навстречу своему будущему, она убегает от прошлого.— Подождав немного: — Может, я неясно выразилась...

Да что там... Яснее ясного. С этой Марианной с «Авангарда» не разговоришься. Марианна — это как раз тот особый случай. Она пошла на завод сознательно, упорно стремилась к труду. Она не из тех, что готовы броситься в объятия первому встречному, лишь бы заполучить мужа. Марианна — настоящая работница, она отстаивает свое право на труд зубами и ногтями и точно так же будет защищать свою семью, если семья у нее будет.

XXXI

Холмик возле могилы совсем рыхлый. Гавацци увязает в земле и не отпускает от себя Кастеллотти, чтобы в случае чего было на кого опереться; а другую руку, сжатую в кулак, засовывает в карман пальто. Время от времени она вытаскивает руку из кармана, сплетает пальцы. Но равновесие ей удерживать трудно, и она снова хватается за острое мальчишечье плечо. Оно не выдерживает, перекашивается. Ноги болят — хоть кричи. Видно, как под изношенной, бугристой поверхностью полуботинок шевелятся — сжимаются и разжимаются — натруженные пальцы. Переступая с ноги на ногу, то нажимая на пятки, то на носки, потоптавшись, Гавацци все же вскарабкалась наверх, вместе со всеми. Массивная, окутанная туманом фигура ее, кажущаяся еще тяжеловеснее на фоне множества белоснежных крестов, тоненьких обелисков, тумбочек и колоннок, неожиданно обрела особую монументальность и внушительность. Когда она заговорила, голос ее звучал так же, как всегда, словно она митинговала в цеху, в столовой, перед Внутренней комиссией. Начало фразы у нее энергичное, бравурное; потом вдруг спад, почти скороговорка, несколько взлетов и скомканная концовка. Словно каждый ее довод подкошен мыслью: «Я-то выкладываюсь вся, до дна, а вы? Вы меня даже не слушаете!»

— Так вот, Берти...— начала она. Уткнулась подбородком в грудь — закашлялась. Когда кашель прошел, продолжала: — Если я вам скажу, что сама стою одной ногой в могиле, вы, наверно, подумаете, что это я так, для красного словца. Хотите верьте, хотите — нет. Так вот, то, что Берти был порядочным человеком, мы знаем давно, с полвека. А о том, что он носил в кармане партийный билет с серпом и молотом, мы узнали только 48 часов назад. Ну и что же, спросите вы? А то, что партбилет с серпом и молотом в наш суровый век может помочь (заметьте, не помогает, а м о ж е т помочь) вырасти, закалиться, завоевать авторитет. Насчет авторитета — всякому понятно, особенно такому, как Берти, который решил завоевать его, став начальником. Не знаю, стал ли бы он авторитетнее, если бы показал свой партбилет... Может, в данном случае это просто сбило бы людей с толку. Но раз он умер, так и не вытащив билета из кармана, нечего мудрствовать — приписывать ему то, чего не было. Хотя Берти и был начальником, мы его в грош не ставили. Что говорить, нехорошо это. Но так повелось. Уважают того, кто умеет заставить себя уважать. Вы поймете меня лучше, если я буду говорить не об авторитете, а о власти. Одни показывают свою власть над рабочими, чтобы поиздеваться, другие для того, чтобы подхлестнуть. Берти над рабочими не издевался, этого не было. Но и не подхлестывал. Он стал покойником еще при жизни, еще в цеху, задолго до того, как его вышвырнули на «Свалку». Сгибался все ниже, пока не протянул ноги на диване, откуда мы его сейчас переложили в гроб. Вот и мы, если мы будем такими, как сейчас — полностью во власти тех, кто захочет — нальет нам тарелку супа, не захочет — не нальет,— мы будем как те собаки, которые не рычат, не лают, будто сдохли. Например, ты, Брамбиллоне. В чем смысл твоей работы и есть ли он вообще? Какая связь между тем, что ты делаешь, и твоей личностью? Ведь ты даже не знаешь, будет ли у твоего сына, который уже ведет ту же жизнь, что и ты, будет ли у детей твоего сына, я не говорю, малолитражка вместо мотороллера, а нужный ключ в кармане, ключ к собственной жизни? Или же им придется выклянчивать ее в долг, день за днем, под расписку?! Завтра утром выйдешь из

дома, доедешь на трамвае до знакомой площади, войдешь, насвистывая, в проходную, протянешь руку, ан — твоего номерка уже нет! Плюй-плюй через левое плечо — не поможет! Уж если нет так нет. И то же самое может случиться с твоим сыном, с той разницей, что в двадцать лет жизнь как засахаренный орех: раскусить трудно, зато вкусно. Завтра тебя выбросят на улицу за то, что сегодня у тебя сорвалось откровенное слово, за то, что из кармана у тебя выглядывает газета, которую ты любишь читать, за то, что у тебя есть свое лицо и начальник злится, что не может его переделать. Или же — потому, что у дирекции есть свои соображения, из которых следует, что она больше не нуждается в услугах еще десяти или ста рабочих. А то и просто так — что там церемониться. Уволят десять, двадцать, тридцать человек и столько же возьмут на их место, да будет оставшимся девяноста, восьмидесяти или семидесяти (включая вновь набранных) известно, что они могут оказаться в числе тех десяти, двадцати или тридцати, которых выгонят в следующий раз. Значит, тот, кто не боится, проявляет не мудрость, а недальновидность. Я тебя знаю, Сильвия, по глазам вижу: будь твоя воля, ты бы сейчас воткнула мне в рот кляп. Но ведь то, что я говорю,— чистая правда. Покуда сидишь там, каждая катушка, каждый метр кабеля отмеряет лиры, лиры, которые в правый карман входят, а из левого улетучиваются. Но ведь когда тебя там нет, лиры из левого кармана все равно текут (правда, недолго). Если бы ты была на моем месте, вот здесь, на этом бугре, на котором мне, наверно, суждено застудить ноги, ты бы сказала, что вся загвоздка — в единстве. «Пролетарии всех стран»... и так далее. Ты же у нас отличница! Браво! Я бы тебе даже похлопала — благо, аплодисменты способствуют кровообращению (жаль, что не прояснению идей). Но с помощью готовых фраз, устаревших вместе со старым социализмом, ничего не оживишь. Они уже не звучат — ни для нас, слишком часто их слышавших, ни для молодежи, которой не довелось их слышать тогда, когда они звучали как откровение, когда простое слово «трудящиеся» воспринималось как набат, как победа. Нечего улыбаться, Маркантонио! Можно подумать, что если ты разъезжаешь на тележке, если ты — пропагандист ИКП с мотором, то ты не такой, как все! Ничего подобного! Ты такой же, как Порро, как все, с той разницей, что ты не цепной пес, а бродячий. Если бы, при всем при том, в тебе клокотал добрый заряд злости, тебя бы уже давно ссадили с автокара и отправили... Кстати, куда девались эти двое со «Свалки»? Смылись?

По-моему, то, что я сказала, можно отнести и к таким, как Кишка и д'Оливо. По-моему, им еще хуже, чем нам. Мы, по крайней мере, твердо знаем что когда-нибудь станем людьми в полном смысле слова, а им и это не дано. Я не упомянула Котенка... О нем я скажу особо, чтобы подчеркнуть, что начальник в девяноста девяти случаях из ста не может пойти в гору, если он не сука. Вот, например, Бонци: поначалу казалось, что он — счастливое исключение. Настолько умен, что понял: если заставить шевелить мозгами рабочих, то и у начальника голова варить лучше будет. Но застопорило. Его купили. Чтоб не шебаршился. Не хватало еще, чтобы мы стали шушукаться по поводу того, как и кто его купил. Это все ерунда. Об Иуде мы знаем с трехлетнего возраста, но кому какое дело до имени и отчества того, кто его подговорил предать Христа?

С Берти получилось иначе. Я не говорю, что он был неподкупен. В свободном мире все продается и покупается. Зависит только от спроса и предложения. Но Берти незачем было покупать — ему нечего было продать. Можно ли быть честным вообще, честным и с рабочими, и с хозяевами? Это все равно что пытаться сберечь капусту и накормить козу. Стоя посередке — между пролетарскими низами и верхами, всякими там дирекциями, правлениями, президиумами,— разве это возможно? Посередке — воздушный шарик с маркой «Ринащенте»: плавает в воздухе — красота! А в полдень, глядишь, он уже сморщился, к вечеру вовсе обмяк и — привет! Бедняга, которого мы хороним сегодня, попав на «Свалку», уже не мог остановиться, покатился под горку. Ему, как прокаженному, хотелось укрыться от людей, забиться в угол и умереть. И я его понимаю. Хотя все, что я говорила о заводе, правда, чистая правда. Вся наша жизнь — в нем, и это тоже правда. Иначе говоря, нет нам жизни без завода. Без нашего завода, без «Ломбардэ». Когда завод действительно будет нашим, когда человек будет знать, что завтра, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу и в субботу (а если нужно будет для социализма работать семь дней в неделю, пятьдесят шесть часов, то и в воскресенье) его номерок никуда не денется, если он не совершит предательства по отношению к товарищам (только так, а не наоборот),— вот тогда постепенно мы заживем лучше и во всем остальном. Не будем ссориться, завидовать, сквернословить — не будет такого свинства; женщин приравняют к мужчинам; и дети будут расти в семье, а не в клоаке, куда мы изрыгаем весь запас ярости, досады и унижений, ядом скопившийся за восемь, девять, десять часов работы в цеху. Вот тогда, может быть (подчеркиваю: может быть), и смогут люди ограничиваться тем, чем ограничивался Берти — быть честным. (Только неизвестно, кто из нас тридцати, стоящих у этой могилы, доживет до того дня; я-то наверняка не дотяну.) Тогда такие, как Гавацци, с ее великими и малыми комбинациями, с ее бестолковым криком, с ее вечным «что бы вы делали, если б не я», будут не нужны. Более того; таких, как она, надо будет отправлять куда-нибудь подальше... На «Свалку»! (Потому что первое время при социализме без «Свалки» тоже не обойтись.) Если, конечно, хозяева не поспешат сделать это раньше. Но вряд ли. Их ведь тоже

мучают разные страхи, от которых не так-то легко избавиться (Да, да, на их долю тоже приходится своя порция страха, и не испытывают его только безголовые). Маловероятно, что они осмелятся выкинуть с завода такую, как Гавацци. Вот Берти — того пожалуйста, в два счета! Я за это на него особенно зла, что дал себя вышвырнуть. Ладно, если бы его уволокли, рассвирепев, четыре дюжих охранника... Так нет же! Ушел на собственных ногах! Не закричал: «Караул! Убивают! Помогите!» — а поплелся, поджав хвост. Не имел он права уходить молча, словно грешник в преисподнюю, осужденный всевышним на вечные муки.

Еще я хочу сказать вот что — и на этом давайте закончим, иначе нас здесь кондрашка хватит: если мы не уважали Берти при жизни и вдруг начнем уважать сейчас, когда он превратился в прах, это значило бы, что мы нисколько не выросли и ничем не отличаемся от ханжей и лицемеров, от богачей и лакеев. Вам, женщины, уткнувшиеся носом в платки, я скажу так: если у вас насморк, то ладно, если же нет — прекратите! Нечего оплакивать мертвого Берти, раз вы пальцем не пошевелили, чтобы помешать ему умереть. И большая к вам просьба, трудящиеся Музокко! Кончайте свое дело поскорее!

XXXII

Он ждет поодаль, за оградой. Фигура его на фоне непромокаемого тента, возле прилавков с хризантемами и анемичными гвоздиками, вписывается в пейзаж. Не будь он единственным человеком в кожаной куртке, с мотороллером, никто бы в воскресной суете Музокко, так же как у ворот «Ломбардэ», его и не заметил.

Марианна (подойдя к нему): — Я замерзла.

Он: — На заднем сиденье не холодно.

Он ей это уже говорил. Он сказал ей это еще в первый вечер, когда ждал у заводских ворот. Марианна думает: как это было давно и какой она была тогда девчонкой.

Сальваторе: — Ты плохо выглядишь.

— А ты не смотри.

— Если сядешь сзади, не увижу. Садись, отвезу тебя домой.

— Я знаю, что не отвезешь.

— Сначала прокатимся.

Она села:

— Не надо меня катать, Сальваторе.

Сальваторе едет так, словно их только двое — он и «Ламбретта». Словно забыл, что за спиной у него девушка. Он сидит прямо, застыл, как карабинер на коне, сосредоточенно и удивительно быстро маневрирует, переключает скорость, тормозит. Он ездит уверенно и в то же время осторожно, строго соблюдает правила уличного движения, но когда рядом автоколонна, возле которой он выглядит мошкой, когда мимо мчится поток автомобилей, врывающийся с боковой трассы, он становится напористым, агрессивным. Каждые сто-двести метров хочется ухватиться за него, закричать, но ведь он ставит условием: его девушка не должна знать страха. На «Ламбретте» командует он.

— Сальваторе...

Он не слышит. Или не хочет, чтобы с ним разговаривали, когда он за рулем?

Марианна сунула руки к нему под мышки. Ей стало удобнее. Теплее. Как это Гавацци сказала: «Если бы завод был иным, нашим, то иначе жилось бы и в семье». Боже мой, зачем думать о заводе! Зачем думать о семье. Зачем думать вообще. Лучше после... Обсудить все это потом, с Сальваторе. После чего? Нет, лучше и об этом не думать. Неужели нельзя ни о чем не думать? Ведь когда, закончив одну операцию, перед началом другой сидишь на скамейке... Довольно! Довольно думать о Гавацци, о заводе, о... Она с Сальваторе, больше для нее ничто не существует.

— Сальваторе...

Рядом зажглись огни; тут же цепочкой загорелись другие. Сгустившийся мрак плотнее подступает к желтым конусам уличных фонарей, к неоновым вывескам и витринам, к автомобильным фарам и сигнальным лампочкам. Наступил тот час зимних сумерек, когда город украшает себя мишурой, когда жизнь течет в атмосфере неопределенности, по двум руслам, в двух переплетающихся между собой планах — дневном и вечернем. По правде говоря, особого оживления на их пути к площади Флоренции, по проспекту Семпионе и на пересекающих его улицах, не заметно, как и на изгибающейся дугой улице Кановы, куда Сальваторе врывается (при мокром-то асфальте!), как метеор. Или оживленно только в тех местах... (Какое бы слово употребил Сальваторе?) Интересно, он туда часто ходит? Всегда с одной и той же или с разными? Бедняги, испортили себе самое прекрасное, что есть в жизни... Она думает: Маркантонио был бы мной доволен. Она думает: если бы Сальваторе сидел напротив, я бы так себя не вела. Тем временем руки ее продвинулись дальше. Не по ее воле, а сами собой, от тряски. Одна рука дотянулась до лацкана куртки: это предел, дальше нельзя. Или можно? А вдруг это ему мешает? Разве что сейчас, ненадолго, пока они стоят перед светофором...

— Сальваторе, скажи, тебе хорошо?

Возможно, ему и хочется обернуться, подать знак, но нельзя. Возможно. Ему надо держать голову прямо и неподвижно, одним глазом смотреть на красный свет впереди, другим — на зеленый свет поперечной трассы. Руки — под прямым углом, пальцы впились в руль. Чтобы, как только зажжется желтый свет, дать газ и сорваться с места, всегда — в числе первых, точно, секунда в секунду. Самый строгий регулировщик не придерется — переднее колесо пересекает белую линию в момент появления зеленого света, ни секундой раньше или позже. То же повторяется у следующего светофора. Тем временем некая правая рука пробралась еще дальше. Ба, а где же пиджак? В начале февраля, в Милане — и без пиджака? Или он расстегнут и сбился под курткой? Во всяком случае, свитера на нем нет. Пальцы под кожанкой нащупывают ткань рубашки...

Площадь Баракка? Вот красота! Оказывается, и в самом деле можно хорошо прокатиться, не выезжая из города. Прошвырнуться, как говорит Сальваторе. Даже зимой. На заднем сиденье не холодно. Немного страдает другая рука, левая, та, что впереди, на ветру. Но после того, как ее спрятали в укрытие, под мышку, она тоже перестала мерзнуть. Теперь Марианне хорошо. Ей нравится этот воскресный день, вечер на проспекте Верчелли, на Пьемонтской площади. Это совсем новый город, совершенно не похожий на тот, что видишь из окна трамвая. Когда едешь на трамвае (кто знает, придется ли еще), ты заперт со всех сторон, ты — зритель. А на мотороллере ты — зритель и в то же время действующее лицо, участник всего, что творится вокруг. Пусть теперь Маркантонио снова заведет с ней свой любимый разговор насчет себя, жены, пятерых детей. «Семь членов семейства Инверницци,— хвастается он,— занимают в кино целый ряд». Пятеро детей — целая команда! Конечно, понадобится время. И много терпения, чтобы их вырастить. И деньги. Гм. Надо послушать, что скажет Сальваторе. Жаль, что они уже столько проехали (на табличке написано: улица Сардинии), не выяснив, любит ли он малышей и хватит ли у него терпения и выдержки растить их. В случае чего можно будет ограничиться одним. Только, чтобы не дочка, а сын. И чтобы как две капли воды походил на отца. Она назовет его Сальваторе. У нее будет свой маленький Сальваторчик — сначала годовалый, потом двухлетний, пятилетний, восьмилетний, одиннадцатилетний. Короче говоря, все те Сальваторе, которых она не знала. И постарше — пятнадцати, шестнадцати, семнадцати, восемнадцати лет. Вот как эти ребята (только он будет красивее, мужественнее), что бандами разгуливают вдоль тротуаров, обнявшись с девчонками, толкутся у входа в кинотеатры и бары, сидят в кинозалах, за столиками кафе. И всё у них — жесты, словечки, взгляды,— все сосредоточено на одном, хотя они еще совсем юные. А может, так велит природа? Ах, если бы у них все началось, когда ей было пятнадцать, а Сальваторе — семнадцать! Воображаешь? Вот было бы здорово! А сейчас она глупая. И если шарит рукой — той, что нащупала рубашку,— если задержалась в промежутке между двумя пуговицами, то лишь в поисках опоры, чтобы не мотало из стороны в сторону. Но что это? Неужели и майки на нем нет? Без пиджака, без свитера, без майки... Какое легкомыслие. Сумасшедший! Во всем: в том, как он одет и как мчится сломя голову на своем мотороллере. Совсем как продавец электроприборов, демонстрирующий свой товар в действии. Для чего это? Чтобы покрасоваться? Показать — вот я какой! Только с виду увалень, а на самом деле огонь! Все же не может этого быть. Хоть какая-нибудь маечка на нем, наверно, есть. С большим вырезом сзади и спереди, какие носят строительные рабочие или землекопы... Те уж с апреля работают без рубашки и в июне, когда раздеваются до пояса, обнажая незагоревшие места, напоминают женщину в комбинации. А у Сальваторе тело наверняка смуглое, такое же, как лицо. В этом отношении ей повезло, потому что светлые блондины (или «викинги», которые так нравятся Амелии) внушают Марианне отвращение. Не столько из-за белой кожи, сколько из-за растительности. Что за мания у этих мужчин: чем они волосатее, чем больше похожи на обезьян, тем охотнее выставляют напоказ волосатую грудь. Но непохоже, чтобы Сальваторе был волосатым. Судя по тому местечку на груди, которое прощупывается кончиками пальцев,— нет. Она не этим интересуется, конечно, а есть ли все-таки на нем майка. Установить это нелегко: рука, просунутая между двумя пуговицами, может лишь чуть отойти вбок, распластаться, согнуть пальцы, но не более...

Триполитанская площадь, Эфиопский бульвар... Какие красивые названия! Напоминают о жарких странах. Можно будет оставить малышей на бабушку, а самим съездить или слетать на самолете... Вряд ли. Сальваторе нравится север, он любит туманы, ветер, мороз. Любит Милан, миланские предместья, где высится лес заводских труб, где стоят подъемные краны, сооружающие новые заводы, новые рабочие районы... Вот он выезжает на улицу Лорентеджо — широкую плохо освещенную улицу с двусторонним движением, с большим количеством перекрестков, без светофоров. Он врывается на нее и заглатывает вмиг, будто за ним по пятам мчится на мотоциклах автодорожная инспекция. Куда это он? Впереди конечная остановка, знакомая ротонда, которую объезжает восьмой и двадцать второй. Дальше полосой заводы «Ригини», «Бруза», «Ломбардэ», «Текномерк»... А потом — потом начинается поле. Покуда в городе — полбеды, но за город, вечером, зимой, без пиджака, без свитера, даже без захудалой майки? Ибо к этому времени последние сомнения были рассеяны. Маневр

оказался тем более сложным, что требовал максимума деликатности и осторожности. Одно из двух: не по размеру была пуговица, или ослабла петля. Как бы там ни было, а осторожностью пришлось пренебречь. В результате, пуговица осталась у нее в руке. Что с ней делать? Зажать в пальцах — мешает. Выпустить — нехорошо: потеряется. Марианна соображает, как быть; тем временем убеждается, что пуговичка маленькая, с двумя дырочками. Рука потихоньку отступает, вылезает из-под рубашки, из-под кожанки; скользнув вдоль бокового шва, нащупывает карман и проникает в него — ровно настолько, чтобы опустить пуговицу. Возникает еще один щекотливый вопрос,— а именно: если он заметил операцию с пуговицей, надо дать ему знать, чтобы он ее не выбросил; если же не заметил, то как сделать так, чтобы он не подумал плохо об этой руке, залезающей в карман... Все это, конечно, при условии, что он думает, рассуждает, формулирует какие-то мысли. Обращает внимание на что-либо, кроме вождения мотороллера. Сейчас он старается, не сбавляя скорости, так срезать угол площади, чтобы не наехать на трамвайный путь, кольцом охватывающий конечную остановку. «Ламбретта» наклоняется, чуть не ложится на бок... Ну, уж это слишком! Одного виража ему показалось мало, он хочет сделать еще один, ниже пригнувшись к земле. Что это? Расплата за унижения, которые он терпел на этом самом месте, вечер за вечером, когда его любимая, натянув ему нос, уезжала на двадцать втором? Еще один круг? Еще? Перестань об этом думать, Сальваторе! Перестань! Что было, то прошло. То была другая Марианна. Скажем так: она, как «Ламбретта», нуждалась в обкатке. Теперь доведена до кондиции. Можешь делать с ней что хочешь. Что же до «Ламбретты», то если завтра утром ее продать, то на вырученные деньги можно купить... Ну, скажем... Если начать с самого необходимого...

Марианна закрыла глаза. До сих пор она, слава богу, держалась неплохо. Думала: мужчина, в отличие от женщины, существо слабое, неуверенное в себе. Его надо пришпоривать, надо помогать ему быть гордым, напористым, до тех пор пока он не почувствует себя настоящим мужчиной. Но эта сизая полоса на черном асфальте, это холодное изогнутое дугой лезвие, мчащееся навстречу и стремительно убегающее назад под самыми каблуками... Это уж слишком! Это уже самый настоящий садизм. С закрытыми глазами лучше. Можно вообразить, что мэр решил ликвидировать трамваи и заменить их троллейбусами, а трамвайные рельсы залить гудроном. Можно объяснить себе этот наклон еще тем, что земной шар — круглый: «Ламбретта» мчится по касательной, будто ножка циркуля. Что скорость и тряска... Ах, как жаль, что ей с самого начала не пришло в голову закрыть глаза! Пропустила столько неповторимых ощущений. Словно ты наедине со вселенной, похожей на розовую раковину, запомнившуюся с детства. Марианне было тогда лет двенадцать-тринадцать; бывало, прижмешь раковину к уху и слушаешь, сколько хочешь, рокот волн, вой ветра, шуршание шелка... Сегодня это голос большого города, все громче грохочет улица (молодец, Сальваторе; за город отправимся в другой раз, пешком; захватим с собой транзистор); кричит радио; заорал патефон или, вернее, мощный динамик возле карусели; доносятся разговоры, возгласы, смех, кто-то кого-то зовет...

Когда рука — все та же — от ворота кожанки (куда она время от времени возвращается, чтобы поразмыслить и набраться смелости) проникает вглубь, ладонь ее ложится, распластавшись, посредине груди. Оттуда скользит книзу (теперь преград в виде пуговиц нет), не слишком прижимаясь, а то ведь неприлично. Дальше тугой пояс. Поэтому руке приказано возвращаться, все так же потихоньку, не слишком прижимаясь. И так, вверх-вниз, вверх-вниз, стараясь едва касаться тела. Но практически эти старания напрасны: приходится прижиматься, даже сильно прижиматься, потому что этот безумец... Ну, ладно: ты — ас, волшебник, акробат, фокусник... Но в самом центре города! В воскресный вечер! И зачем? Что у него на уме? Ведь все равно каждые сто, двести, самое большое — пятьсот метров вынужден останавливаться, выписывая на мокром асфальте (долго ли до беды!) змеевидную кривую. Только зря расходует бензин, протирает покрышки, портит тормоза. Сам сидит как вкопанный, не шелохнется. Еще бы! Ноги на педалях, руки на руле. Ее же бросает из стороны в сторону — приходится цепляться, хвататься за что попало, что попадает под руку. (Не сделать бы ему больно!)

Когда в этот лязг и грохот врывается разъяренный рев автомобильного гудка, чертыханье пешехода, или, еще хуже, когда колесо вдруг ныряет куда-то... Какое безобразие! Где это видано, чтобы в современном столичном городе было столько канав, рытвин, ухабов? И тогда руке — все той же руке! — приходится сознаться, что она испугалась, ах как испугалась! Соскользнуть вниз, к поясу, еще ниже, чтобы обхватить тело друга (очень странного друга) там, где оно, расширяясь, сливается с седлом. А оказавшись там, рука мало-помалу свыкается с новым положением. Чтобы было совсем удобно, Марианна приникает всей грудью к его спине, лицом зарывается в ложбинку между лопатками, подлезая под воротник, как под крышу... Как стучит сердце! Как неистово, волнами отливает и приливает кровь! Боже, как она трусит и как ей сладко. Кажется, что вот-вот «Ламбретта» (милая «Ламбретта»!) оторвется от асфальта, взмоет ввысь, наберет высоту и полетит над городскими крышами, между куполами и колокольнями, заводскими трубами и небоскребами, что от городского шума останется лишь легкое жужжанье — звуковой фон; что притормаживать или убыстрять полет придется в зависимости от чередования облаков и просветов чистого неба, от

изменчивых воздушных течений... Но в самый интересный момент (ах, зачем было так резко его обрывать, почему не продлить еще?) — вжик! — завизжали, шаркнув по асфальту, резиновые покрышки, мотороллер подскочил еще раза два и остановился. Что это? Приехали? Куда? Но мотор продолжает стрекотать. Сальваторе подстегивает его еще, словно собираясь тронуться дальше. Значит, это просто очередной светофор? Нет. Что-то другое. Сальваторе что-то сказал.

М а р и а н н а: — Что? — Она не разжимает рук; не открывает глаз, отстаивая свои заоблачные высоты.

Сальваторе снова сказал что-то. Марианна опять не уловила слов, но почувствовала тон. Тон был повелительный. Она отрывается от спины своего избранника, встряхивает головой. Молча улыбается. Немного погодя размыкает веки. Медленно-медленно, чтобы продлить удовольствие, просмаковать радость встречи с новым местом — местом новой жизни, так, чтобы встреча получилась робкая, сдержанная и в то же время означала бы: ты — мое. По мере того как Марианна открывает глаза, перед ней возникает как бы слой за слоем, снизу вверх, сначала тротуар, покрытый сухими кленовыми листьями, потом серый цементный цоколь — основание ограды, похожей на ограду ее двора, и сама ограда — уже не просто похожая, а — увы! — та самая; за ней — знакомый двор, так называемый «сад» с непросыхающими лужами и двумя рядами дохлых кленов, вокруг — серые коробки домов с башнями из небьющегося стекла, внутри которых тянутся вверх лестницы, освещенные не лучше, чем морги.

Марианна отрывает взгляд — иначе не миновать ему незашторенного окна, из которого шпионит, держась за занавеску, ее мать.

— Ты привез меня домой,— прошептала она.

С а л ь в а т о р е: — Домой.

— Что?

— Я сказал: домой.

— Повернись, я же ничего не слышу.

Он хорошо сделал, что не повернулся; не так-то просто сказать: «Я к маме не вернусь. Ни к маме, ни на завод.»

— Недостаточно разогрелась?

— Что?

— Я говорю: может, тебя еще покатать? Чтобы ты лучше согрелась?

— Я хочу к тебе.

С а л ь в а т о р е: — Ты такая же, как все. Ничем не отличаешься. Ничем.

— Да повернись ты, в конце концов! Поверни голову, я не слышу, что ты говоришь!

С а л ь в а т о р е (немного громче): — Ты такая же, как все.

Марианна не понимает, она все еще погружена в себя:

— Ну конечно, как все.

И лишь проговорив это, испуганно отпрянула, словно перед ней разверзлась пропасть. И — ринулась к ее краю:

— Прошу тебя! Увези меня отсюда! Умоляю... На коленях молю...

— Но чтобы встать на колени, тоже надо сойти...

— Если так...

Она сходит с мотороллера и, хотя Сальваторе не удостаивает ее взглядом, она все еще не верит. Она расстроена: что за злая шутка! И чем дольше она длится, тем становится более жестокой, идиотской, невыносимой. Если он такой, если с самого начала способен испортить то, что... то, что нельзя откладывать даже на один час...

— Скажи мне, Сальваторе! Скажи, что мне делать?!

С а л ь в а т о р е: — Погода скверная. Я закоченел.

Теперь он заговорил своим настоящим голосом, голосом своих обычных монологов. Стал самим собой. Но ненадолго.

— Что тебе делать? И ты спрашиваешь об этом меня? По воскресным дням не советую тебе ходить ни в парк, ни на бастионы. Там слишком много конкуренток. Я поеду, пусти!

— Сальваторе, любимый мой, любимый...

— Послушай. У меня у заставы есть малышка, ростом чуть повыше тебя, рыжая, с серьгами полумесяцем. Она хотя бы не разыгрывает из себя порядочную. Почему бы тебе тоже не надеть сережки полумесяцем? Или надеялась, что я тебе куплю?

XXXIII

Врачу она звонила утром, как только по соседству открылся бар с телефоном; потом напоминала еще — в двенадцать, в три, в семь вечера.

Приехал он только в десять. И рухнул без сил на стул возле широкой двуспальной кровати — не сняв пальто, не обратив внимания, что на спинке висит комбинация. Шляпу положил прямо на пол.

А д е л е К о л л и: — Я уверена, что у нее воспаление легких. В тяжелой форме. Кому знать, как не матери... Моя Марианна крепче иного мужчины. Вся в меня. Да,

любезнейший, чтобы сделать заключение, надо знать, что перед вами за человек. Мою Марианну могло скрутить только воспаление легких. И все по вине одной интриганки, которая не посмела переступить порог моего дома... Вас даже не интересует, когда это было? Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, вас ничто не интересует. Так вот, это было вчера, в воскресенье. Я ей говорила: был бы молодой — ладно, а то ведь старик. Значит, время подошло. Я ей даже предложила: сходи лучше с Карлиной в кино, у нас тут недавно открылось совсем рядом — в пяти минутах ходьбы, так что и тридцати лир на трамвай тратить не надо... Чуяло мое сердце... Недаром говорят, сердце матери... Только вы мне не поддакивайте. А то подумаю, что вы просто так, чтобы сделать мне приятное.

Врач (про себя): «Если она мне не предложит чашку кофе...»

— Когда она вернулась с похорон, я с первого взгляда поняла. У тебя, говорю, воспаление легких. А она молчит, ни слова. Нечего, говорю, притворяться. Не прекрасно ты себя чувствуешь, а очень, очень плохо. Вы видели, какое у нее лицо? Со вчерашнего вечера такое. Слова из нее не вытянешь. Хоть бы подала знак рукой... Много ли надо матери с дочерью, чтобы понять друг друга... Сами посудите: молчит и ничего не ест. Чего я ей только не предлагала: и теплого лимонного сока, и бульончика, и гоголь-моголь, и кофейку. Ни в какую!

Врач: «Самому просить неудобно... Только что вошел... Первый раз в доме... Кажется, я даже не представился... Разве что назваться, снять пальто...»

— Что я пережила за последние сутки! Врагам своим не пожелаю. Не говоря обо всем прочем. В семь утра я уже была в соседнем баре — звонила вам. Четыре раза спускалась. Сто лир извела. Ну да ладно, не обеднею... Главное, приходилось бросать бедняжку одну в таком состоянии. Если бы вы потрудились на нее взглянуть, вы бы меня поняли. Мы же не богачи, у нас телефона под рукой нет, прислуги тоже...

О том, как накануне вечером она листала в отчаянии телефонную книгу — искала врача посолиднее,— Аделе Колли умолчала. Сейчас, поразмыслив, она соображает, что мог бы прийти доктор Агостони, ведь она дала свою фамилию и адрес его медсестре, то бишь секретарше, да еще наказала, чтобы та непременно передала, что случай тяжелый — двустороннее воспаление легких. А у этого на физиономии написано, что он из соцстраха. Не нагрянул бы теперь и Агостони... То не было ни одного, а то окажется два врача сразу!

Аделе Колли (разнылась): — Ведь у богатых как заведено: если врача нет на месте, вызывают другого. Уже не говоря о том, что для них врач всегда на месте... Я тоже, знаете, подумала, зачем мне ждать соцстраховского. Послушаю-ка я кассиршу. Она меня, правда, до этого в глаза не видела, просто сжалилась над моим горем, посоветовала. «Почему бы,— говорит,— вам не вызвать кого-нибудь другого? Хотите, я сама позвоню? Я знаю одного, очень приличный врач и просить себя не заставит...» Я говорю: «Легко сказать, а больничный лист кто выпишет?» На завод-то ведь больничный лист надо представить! Моя дочь не из тех, что сидят дома, с утра до вечера перед зеркалом вертятся. У нее, чай, постоянное место есть на заводе «Ломбардэ»!

Доктор свесил руку, смотрит, как она болтается. Хорошо бы явился тот, другой. Тогда он в эту пору уже ложился бы спать, подрагивая,— не от холода, от удовольствия!

Доктора зовут Кризафулли, он молод — ему лет двадцать семь, двадцать восемь. На изможденном лице след долгих лет трудного учения; зубы выдаются вперед, бородка торчит в обе стороны, так что подбородок голый. Глядя на него, Аделе Колли удивляется, как могли двое любящих людей произвести на свет такое некрасивое существо.

А тот усталым голосом, кивнув на свои руки, словно они не его собственные:

— Где можно помыть руки?

И лишь после того, как на колени ему было положено полотенце (не совсем свежее) и трижды было объяснено, где умывальник («Там, там, за занавеской»), он нашел в себе силы встать и снять пальто. Аделе Колли возмущается: «Вы только взгляните на его шляпу. Кого они нам посылают! Даже мы по сравнению с ним милорды».

— Где я могу погреть руки?

Он вышел из-за занавески, вытянув вперед костлявые, изуродованные никотином руки с потрескавшейся кожей.

— Вон там. Я только что топила плиту, чтобы приготовить кофе. Как я вам уже говорила — напрасно. А кофе первосортный, бразильский, только что куплен в баре, где работает кассирша, про которую я вам рассказала.

Кофе еще стоит на плите. Судя по запаху, он не бразильский и не такой уж свежий, а вернее всего неоднократно был подогрет, и к нему добавлена была кофейная гуща от нескольких предыдущих заварок, но как хотелось доктору Кризафулли его выпить, просто сил нет, как хотелось! Он держит руки над кофейником, но тронуть его не отваживается. Время от времени лишь наклоняется, чтобы коснуться крышки. Вздыхает и вдыхает. Как нарочно, угли в плите пошевелились, вспыхнул огонь, и из носика кофейника стали пробиваться струйки ароматного пара, уходившие кверху, под козырек. Тогда доктор схватил эту штуку обеими руками, приподнял и быстро снял с огня. Черт подери, обжегся! Опять придется просить разрешения вы-

мыть руки. А вымыв ледяной водой, снова просить разрешения погреть? Уф, мочи нет!

За несколько минут до одиннадцати доктор Кризафулли возвращается в комнату, направляется прямо к умывальнику, снова моет руки в ледяной воде, вытирает влажным полотенцем, подходит к кровати, стараясь встать спиной к мамаше и принимается рассматривать неподвижное лицо девушки (однако думая при этом о чем-то другом). Он приподнимает ее веки. Как только убирает руку, глаза закрываются. Пощупал пульс — рука безжизненно упала. И лишь когда откинул одеяло, решительно и не без задней мысли обнажив весь живот, больная вздрогнула, вцепилась в край пододеяльника, натянула на себя, до самого подбородка. Врач стоял, видимо, в раздумье. Внезапно он снова повторил то же движенье. И так еще дважды, с разными интервалами и всякий раз неожиданно. А девушка, машинально ухватив край пододеяльника, тянула его к подбородку.

— Больная дружна с вами? Бывают у вас минуты откровенности?

— Она же мне дочь! Живем душа в душу.

— А отец?

— Говорю вам: вдвоем мы с ней...

— Не заметили вы в ней за последнее время каких-нибудь перемен? Тревоги или апатии? Не была ли она раздражительна, сверх меры непослушна?

— Она прекрасно себя чувствовала. Любо-дорого смотреть. Я, дорогой мой, о своем ребенке забочусь. Ни в чем ей не отказываю. Ни в еде, ни в чем другом.

Врач (довольно резко): — О чем «другом» вы говорите? — Затем, прежним сонным голосом: — Что она делает на «Ломбардэ»?

— Поначалу работала на большой машине. Как называется, не скажу, не спрашивайте. Я ничего в этом не смыслю. Знаю только, что никто с этой работой не справлялся, поэтому и поставили мою дочь. Она у меня способная, может потягаться с самыми квалифицированными.

— Можете вы объяснить мне, почему она перестала работать на большой машине?

— Конечно могу! Я настояла! Где это видано, чтобы девушка выполняла мужскую работу? Я им все это высказала, и они перевели ее в кладовщицы. А скоро, наверно, переведут в контору.

Она врала напропалую, но без всякого умысла. Не все ли равно, кем человек работает, если схватил воспаление легких во время похорон?

— Нет, таких, как моя Марианна, немного. И по работе, и во всем прочем.

Доктор (прежним тоном): — В чем «в прочем»?

Он снова склонился над кроватью, отодвинул одеяло, но на этот раз медленно-медленно... Взял руки больной в свои, сжал их. В первую минуту Марианна напряглась, но рук не отняла, а постепенно вовсе перестала реагировать, покорилась силе, потом приподняла веки, посмотрела на незнакомца сначала невидящими глазами, потом с недоверием, беспокойством, дико, чуть не панически и, вдруг сникнув, умоляюще.

Пальцы доктора вновь ощупывают тело девушки — лениво, неловко. Марианна выполняет все, что он требует, хотя голос его звучит по-прежнему сонно, неясно. Дышит ртом, носом, не дышит, кашляет. Но сказать «тридцать три» не может.

Мать: — Да скажи же! Доставь ему удовольствие!

Доктор: — Помолчите.— Потом, собирая инструменты и складывая их в сумку: — Вы меня извините, пожалуйста.

— Я же вам говорила: тяжелое воспаление легких. Так оно и есть, да?

— Погасите свет и выйдите туда. Нет, в коридоре пусть горит. И ночью тоже.

На кухне, грея руки над плитой, но подальше от кофейника, чтобы ей не пришло в голову угощать его кофе:

— Если ночью батареи будут холодные, перетащите кровать сюда. Не жалейте угля, хотя этот расход так же, как и сто лир, которые у вас ушли на телефонные жетоны, касса взаимопомощи вам не возместит. Поплотнее зашторьте окно. И не забудьте зажечь свет в коридоре. Когда будете зажигать свет на кухне или в комнате, если больная останется на ночь там, набросьте на лампу кусок материи или тряпку. Только проследите, чтобы она не касалась электрической лампочки. И предоставьте больную самой себе. Не заставляйте ее есть или пить, пока она сама не попросит. Можете ходить по комнате; даже лучше, если вы будете ходить, но в домашних туфлях. Постарайтесь не греметь кастрюлями и сковородками. Не задавайте ей вопросов. Разговаривайте с ней, только если она сама к вам обратится. Отвечайте: «Да, дорогая», «нет, дорогая» или еще что-нибудь в этом роде... Строго придерживайтесь моих указаний. По поводу больничного листа я зайду завтра.

— А рецепт? А лекарства?

Доктор Кризафулли (нараспев): — Лекарства? Рецепт? Дорогая моя, у вашей дочери здоровье, которому можно позавидовать!

— Откуда же у нее головокружения, обмороки? Вас же при этом не было...

— Но вы-то были, почему же вы мне ничего не сказали?

— Как не сказала? Говорила! Вы меня не слушали.

Возможно, что и так. Если бы он получил глоток кофе, этого бы не произошло. Он ее успокаивает:

— Это не имеет значения.

Они вместе спускаются с лестницы, потому что после десяти ворота заперты. Надо выходить через калитку, ключ от которой имеют только обитатели дома.

— Да я и сама знаю.

На прощание ни доктор Кризафулли, ни провожавшая его мать пациентки не пожелали друг другу спокойной ночи.

Когда она вернулась к себе, Марианна полулежала, приподнявшись на локте, глаза ее, обведенные синими кругами, были широко раскрыты, взгляд все еще затуманен.

Она тихо спросила, вернее, прошептала:

— Ты хоть угостила его чашкой кофе?

— Хочешь тоже выпить кофейку? Или лучше гоголь-моголь? А то могу дать бульон с гренками. Тебе надо поесть, моя девочка, иначе ослабнешь, звездочка ты моя бедная. Как ты себя чувствуешь? Легче тебе дышать? Доктор тоже сказал: главное — питание. Дай я зажгу тебе свет. Ты должна встряхнуться. Не надо падать духом.

М а р и а н н а: — Если он так считает...

XXXIV

Ого! А генеральный директор — зять заместителя министра, которого взяли на место инженера Роспильози, ушедшего в отставку якобы по состоянию здоровья,— далеко не глуп! Сразу же поняв это, д'Оливо хотел было порадоваться, но не смог.

Доктор Сику (так зовут нового директора), видимо, южанин, но манеры и даже выговор у него явно англосаксонские.

— Если наша встреча с вами, господин инженер, состоялась лишь сегодня, то это объясняется исключительно моей занятостью. И — полагаю — я недооценил бы ваш ум, если бы начал извиняться...

Д'Оливо уставился в стену за спиной собеседника. Там висит фотография, на которой изображены пятеро ребятишек в пижамах, копошащиеся вокруг стола для пинг-понга, портрет очень красивой женщины лет тридцати, в купальном костюме, на носу «Летучего Голландца», и изображение изуродованного автомобиля, по-видимому «масерати», столкнувшегося с прицепом. Кроме того, на стене висит большая фотография Розоне: Сан-Руффино в Ассизи и вырезка из журнала «Лайф», на которой изображено Радио-Сити с птичьего полета.

Когда здесь сидел инженер Роспильози, за спиной у него висели портреты трех двоюродных братьев — наследников основателя завода и держателя главного пакета акций. Их убрали.

Д о к т о р С и к у (продолжая в том же духе, по мнению д'Оливо,— полупровокационном): — Я, конечно, побываю и в остальных цехах. Меня так упрашивают, словно от моего посещения зависит их судьба. Хотя — что толку ходить, смотреть машины, о которых я ничего не знаю и знать не обязан. Другое дело, если бы я разбирался в них лучше вас... А весь этот парад — улыбки, рукопожатия, поддакивание, надуманные вопросы, задаваемые только для того, чтобы показать, что вы проявляете интерес, что вы бдительны и дальновидны,— я охотно уступаю послу Йемена... (Лукаво улыбнувшись)... или заместителю министра Икс-Игрек.— Тут же переходя дальше: — Что касается «Г-3», рад воздать вам должное: вы не просили меня совершить парадный обход. Вы мне даже ни разу не позвонили. По-видимому, у вас не было ко мне никаких просьб.

Д'О л и в о (в тон): — По-видимому.

Д о к т о р С и к у: — Впрочем, цеху «Г-3» в его нынешнем виде осталось жить недолго. Я, собственно, вас для того и вызвал, чтобы проинформировать. Решение принято час тому назад, его следует держать в строгом секрете — по крайней мере, до тех пор, пока причины секретности не отпадут.

— Значит, если я правильно понял, цех «Г-3» будет переведен в другое помещение?

— В другое место. В порядке рассредоточения некоторых производственных секторов, дабы обеспечить им большую оперативность и самостоятельность по отношению к центральному аппарату, перед которым стоят новые более сложные задачи.

«А также во избежание большого скопления рабочих»,— хотелось добавить инженеру д'Оливо. Но он ничего не сказал. Только подумал: если бы такого рода план излагал ему не Сику, а Роспильози, сколько было бы преамбул, витиеватых вступлений, отступлений — в круглых и в квадратных скобках...

И сказал: — Хорошо.

Д о к т о р С и к у: — С десятого марта в вашем распоряжении будет кабинет в здании на Европейском проспекте. Вы будете связаны со всеми управлениями, занимающимися планированием и осуществлением строительных работ (участок уже при-

обретен), а также будете руководить монтажом оборудования и соответствующими службами. Мы отберем для вас штат из подходящих для этой цели работников.

— Очень хорошо.

— Что касается нынешнего цеха «Г-3», то там вас заменять никто не будет. Примите меры к тому, чтобы на переходном этапе необходимость вашего присутствия и вашего контроля была сведена к минимуму. То есть, возложите больше ответственности на тех своих подчиненных...

Д'О л и в о: — Мой главный помощник не отвечает необходимым требованиям. Более того, он...

— Прошу вас, не будем вдаваться в детали. В противном случае мне пришлось бы спросить вас, почему вы его взяли и до сих пор держите. По-видимому, у вас были на то свои соображения, и не мне их оспаривать...

Полная противоположность инженеру Роспильози. Тот непременно захотел бы знать, что к чему, взвесил бы все «за» и «против», прикинул бы, кто что скажет, в том числе — и рабочий цеха «Г-3»: о чем он может догадаться, какие доводы выставить. А следовательно, как, с помощью каких мер и ухищрений предотвратить панику.

Д о к т о р С и к у: — Между прочим, распорядитесь, чтобы сюда перестали посылать все эти диаграммы «Количество часов на машину» и прочее. Зачем мне голые цифры, если я не знаю, что за ними кроется?

Д'О л и в о (пытаясь перевести разговор в другую, более подходящую для него плоскость): — Есть один довольно щекотливый вопрос, который я бы хотел решить с вами.

— А именно?

— Я собирался заменить некоторое количество старых крутильных машин новыми, современной конструкции...

— ...разработанной вами. Я знаю.

— Знаете? — вырвалось у д'Оливо.— А известно ли вам, что этому предшествовало?

— Неужели вы полагаете, что этот вопрос надо решать на уровне дирекции? Куда вы поставите новый «Авангард» — в теперешний цех или, когда наступит время, в новый,— будем решать только в зависимости от себестоимости и производительности труда. Конкретные данные, которыми вы располагаете, подскажут вам правильное решение. У меня к вам все. Советую не тратить на этот вопрос много времени. Он имеет ничтожно малое значение.— И тем же тоном: — Если, в случае забастовки, понадобится вести переговоры и, возможно, пойти на кое-какие компромиссы и незначительные уступки, то этим займется управление кадров.— Потом, явно теряя терпение: — Инженер д'Оливо! Первый этап промышленной революции давно позади! Когда, наконец, наступит второй? Это не зависит ни от Виминала, ни от Государственного департамента, ни от Международного банка, а исключительно от нашей предприимчивости и оперативности. Если мы будем действовать в духе прошлого, теми же методами, с оглядкой и ограниченной перспективой, мы превратимся, если уже не превратились, в консерваторов! Это башковитое чудовище Маркс разработал исчерпывающую теорию о причинах, побуждающих авангард рабочего класса вести разрушительную борьбу, и о целях этой борьбы А мы вместо анализа фактов и единой концепции противопоставили ей всякую мистику, вроде свободной инициативы, социальной справедливости, равных возможностей для всех и каждого и прочее и прочее. Мы не удосужились выделить внутри нашего класса, а также в мировом масштабе, авангард, который бы осознал свою подлинную роль в истории. А жизнь настоятельно этого требует. Мы не усвоили уроков Маркса даже в том, что касается умения различать постоянные факторы от преходящих соображений выгоды, тактику от стратегии... Но, простите, какие из его работ вы читали?

— Никаких.

— Когда переедете в свой новый кабинет, начните с «Манифеста».

XXXV

— Как ваша фамилия?

Вопрос застал Чезиру врасплох, когда она собиралась сорвать с календаря «Рив», из-под крылатого колечка шарикоподшипника, листок со вчерашней датой — 16 февраля 1958. Она вздрогнула и сжалась в комок, хотя и так невелика ростом, неказиста.

Р и б а к к и: — Я спросил, как ваша фамилия.

— Моя? — Чезира, слезливо:— Я всегда честно работала. Всегда! И на господина Молинари, и на господина Комби, и — пока с ним не стряслась беда — на бедного господина Карлези...

— Ему не так уж плохо: сидит себе дома, решает кроссворды, играет в кегли и толстеет!

— Умер он. На той неделе, я в газете траурное сообщение прочитала в пятницу, когда его уже похоронили.

Голос ее прозвучал жестко. То, что смерть уносит одного за другим всех ее начальников, на которых она работает, для которых каждое утро до восьми стирает пыль со стола и стула, подметает пол, опорожняет корзину для бумаг, срывает вчерашний листок с календаря, Чезира воспринимает если не как месть, но в какой-то мере как возмездие и избавление.

Р и б а к к и: — Значит, вы всех помощников начальника цеха «Г-3» хороните?

— Ну, что вы. Вы еще молоды. А мне уже недолго осталось... Вернее, оставалось... Вчера исполнилось три года. как я на вас работаю. С шестнадцатого февраля пятьдесят пятого. И от вас я тоже не имела ни одного замечания. Вы мне никогда слова не сказали.

Р и б а к к и (припоминая): «Неужели за три года я действительно не сказал ей ни слова? Игнорировал? А она, со своей стороны, игнорировала меня. Стоило мне поинтересоваться ее фамилией, как она меня возненавидела. И с этой минуты поведет счет».

Он спрашивает:

— Как вы запомнили, что я здесь работаю с шестнадцатого февраля пятьдесят пятого года?

Ответа нет. Он решает: «Наверное, ушла». А сам не обернется, не шелохнется. В цеху еще пустынно. Первое время Рибакки часто приходил раньше всех. Не потому, что проявлял особое усердие. Просто ему нравилось, когда на заводе никого нет, все застыло, а потом постепенно пробуждается. Было и прошло... Увлечения молодости! Когда же он, Эдисон Альдо Рибакки, вступил в действие? Одиннадцать лет назад. Через сколько лет выйдет в тираж? Через тридцать три года. По существующему положению, до пенсии остается тридцать три года.

За спиной — женский голос («Неужели так и стояла все время? А если вернулась, то зачем?»):

— Господин Рибакки...

На сей раз отмалчивается он.

— Если я была с вами невежлива... Знаете, может случиться со всяким... Встанешь утром, как говорится, с левой ноги...

Немного погодя, уже не сдерживаясь и не скрывая ненависти:

— Зачем вам понадобилась моя фамилия? Какую вы каверзу против меня замышляете?

Рибакки по-прежнему молчит. В цехе началось движение. Появляются мужчины и женщины; они спешат к раздевалкам, выходят оттуда, застегивая на ходу спецовки, отмечаются, подходят к машинам — короче, приступают к энному трудовому дню. Еще один день, еще тридцать три года...

Ж е н щ и н а: — Меня зовут Белламио, Чезира, по мужу Дже, вдова, рабочий номер 1702. (Сказать ему теперь, что в Кремоче мы жили с ним в одном доме, что я видела его, когда ему было лет девять-десять, наблюдала, как он стрелял из рогатки в ласточек и в птенцов, которые только учились летать?)

Р и б а к к и (после долгой паузы):— Насчет фамилии: извините, что не спросил в первый же день.— Потом:— Господин Ваи очень огорчится, если обнаружит, что с его письменного стола не стерта пыль.

Оставшись один, он поднимает глаза на календарь «Рив». На нем все еще вчерашнее число — 16 февраля 1958. Внезапно он ощущает необычайную легкость, наверно, так чувствует себя бабочка. Когда затрещал селектор и донесся сначала голос секретарши д'Оливо, а потом самого д'Оливо, вызывавшего к себе наверх, Рибакки мысленно произнес: «Вот и хорошо, что он меня вызвал!» И, уже поднимаясь на «Голгофу»: «Я как раз ждал случая, чтобы сообщить вам, что я, ввиду... Вернее, без особых причин... Точнее, по целому ряду причин... Ввиду целого комплекса причин...»

XXXVI

Кризафулли приходит после десяти вечера. Он и так промерз до костей, а теперь еще приходится терпеть муки ада перед загертой калиткой в ожидании, не появится ли кто-нибудь из жильцов с ключом. Или приходит утром, в семь — в половине восьмого, когда лестничные площадки еще загромождены мусорными ведрами, кровать не застелена, в комнате — кавардак и стоит особый женский запах, не рассчитанный на посторонних, а Аделе Колли еще ходит в лиловом халате и шерстяных носках. Но кому охота одеваться, стелить постель и прибирать в комнате в семь утра, если впереди целый день? Уж конечно не Аделе Колли, которая постепенно привыкла жить, как говорится, барыней (хотя не дай бог, если ей скажет об этом Луиджа Соццани!). Убраться в трех комнатах, сготовить обед и обслужить двух человек — постирать и погладить,— этого может хватить на целый день какой-нибудь девчонке — прислуге в зажиточном доме, но не домашней хозяйке в бедной семье. На рождество Марианна купила матери ни больше ни меньше как кресло — раздвижную штуку из металлических трубок, полосатой парусины и пластмассы. Аделе Колли проводила в кресле большую часть времени, со дня на день откладывая некую — очень важную.

твердила она себе,— швейную работу. «В жизни никогда не была и не буду иждивенкой. Вот немного отдохну и займусь...» В итоге она совсем расклеилась, отяжелела. От ее прежней хватки и напористости ничего не осталось. А ведь среди соседей, товарищей по работе на молокозаводе, в лавчонках на Молино делле Арми или на открытом рынке на площади Ветра все знали: лучше этой чертовой бабе под горячую руку не попадаться. Она же воображала, что совсем не переменилась. Разве что стала менее выносливой, но это пройдет, думала она. Тем не менее по множеству мелких признаков она видела, что отношения ее с окружающим миром заметно изменились. Однако твердила себе, что переменился мир, а не она, что он на глазах становится просто непригодным для житья.

— Попили моей крови! Поневоле раньше времени состаришься, станешь брюзгой.

— Да кто пил твою кровь? — досадовала Марианна.

— Как кто? Люди! Подлый стал народ.

— И я тоже?

— Ты? Ты тут ни при чем!

Так было до тех пор, пока Марианна не заболела и с приходом доктора Кризафулли у Аделе Колли не появился объект для нападок: «Ах ты шибздик бородатый! Расставил свои сети — на Марианну метишь? Бесплатная прислуга тебе понадобилась? (их теперь днем с огнем не найдешь), ядреная девка для постели, чтобы расшевелила твою цыплячью плоть? Так, да? Я тебе покажу! Узнаешь, кто такая Аделе Колли, на которую ты ноль внимания...»

Однако всякий раз оказывалось, что доктор забежал только на минутку. Собирался зайти завтра, но, возвращаясь от пациента, который живет здесь по соседству, решил уж заодно... Он пристраивает свой худенький задок на кончике стула возле кровати. Пальто не снимает. Разве что нехотя снимет шляпу, положит ее на пол. Ему, как всегда, очень холодно. Немного меньше после кофе, но кофе Аделе Колли приносит чуть теплый, вместо сахара кладет сахарин, да и тот не щедро. После чего доктор Кризафулли начинает говорить. В одной руке держит чашку, в другой — блюдце. Блюдце он держит криво, так что чайная ложка неизменно соскальзывает и оказывается рядом со шляпой. Доктор рассказывает, что он сделал за день, что ему предстоит сделать. Работа у него — не дай бог: рабочий день не нормирован, ни минуты покоя.

Рассказывает он с массой подробностей, подчас неприятных и даже противных, употребляет научные термины. Людям хочется жить — вот что самое главное. Он бы свою профессию не сменил ни на какую другую. Нет на свете ничего лучше, чем быть врачом. Он чувствует себя просто недостойным такого счастья.

Аделе Колли:— Почему вы не пошли в монахи или в миссионеры?

— Говоря по правде, я не совсем понимаю, почему вы задаете мне такой вопрос.

Он рассказывает о своей семье, о своем престарелом отце («Мой родитель»), который провел всю жизнь на рисовых плантациях, точнее, работал среди сборщиц риса. Аграрный капитализм торгует белыми рабынями, говорит доктор, пользуясь терминологией, ему не свойственной, но которой он явно пытается овладеть. Он не сказал, состоит ли отец в партии. Сказал только: «Моя мама — социалистка, сторонница современного научного социализма. Она — правая рука моего родителя. Они у меня чудесные люди».

Послушать его, так мир полон чудесных людей. Особенно он любит рассуждать о детях, как он их будет растить,— обо всем, начиная с того, на какую бутылочку будут надевать соску, и какой у соски будет вкус и какого цвета будет детская кроватка. Он не говорит, как должно быть, а как будет. Сам живет точно собака, ничего, кроме жестоких страданий, мерзостей и беспросветного горя, не видит, тем не менее глубоко убежден, что выход будет найден, ибо «жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна!» Долг каждого человека — отдавать людям все лучшее, что у него есть, со всем пылом души, не требуя ничего взамен, и не забывать, как горек хлеб, когда у других — лишь крохи, а то и крох нет.

Мнение Аделе Колли, которая стоит, прислонясь к косяку: «Все это — уловки, чтобы околпачить мою дочь. А эта дурочка уши развесила, слушает — не оторвешь!»

Марианна действительно слушает — она не хмурится и не улыбается, не задает вопросов, не соглашается и не возражает. Но слушает ли она его? И о чем думает?

Она думает о жизни, о том, что она ускользает из рук, о земле и о том, как она кружится во вселенной со своей беспокойной ношей — мятущимся человечеством; о бескрайнем небе, о вечности, а под конец обо всем. Между тем слова доктора откладываются где-то внутри нее. После его ухода она их понемногу выуживает и мысленно повторяет — потихоньку, не все сразу, чтобы не остаться ни с чем; не давая никакой оценки, не соотнося с собственным опытом. В течение того получаса или часа, что врач просиживает у ее кровати, она испытывает лишь одно осознанное чувство — чувство тревоги, как бы мать не встряла в разговор. Но рано или поздно та всегда встревает.

— Послушайте, а что, если оставить на минутку эти высокие материи и поговорить немного о нашей больной? Я так до сих пор и не знаю, что с ней. Не удостоили меня чести... Кроме того, раз уж вы... Не надо ли ее полечить витаминами? Кальцием? Вы меня извините за откровенность, но, по-моему, ваше лечение разговорами не дало

блестящих результатов. Посмотрите, какое у нее лицо. Разве скажешь, что ей двадцать два года?

Доктор спохватывается. Смотрит на часы, улыбается. Как жалко, что, улыбаясь, он вынужден показывать такие ужасные зубы. Подбирает с пола шляпу, надевает ее, потом снова снимает.

— Вы счастливая... Когда природа бывает так щедра, как с вами... Вы здоровы, можете мне поверить. Не поддавайтесь мрачным мыслям, расслабьтесь. Захочется есть — ешьте, захочется спать — спите; если захотите встать — пожалуйста, а не то побудьте еще на постельном режиме. Только остерегайтесь простуды.

Марианна пережила тяжелые минуты, во сне ее мучили кошмары. При этом главным действующим лицом была не она сама, а машина — «Авангард». Рядом стояла какая-то незнакомая девушка, которая порой принимала облик дурочки Карлины Соццани, намалеванной, с наклеенными ресницами. Она делала все не так, «Авангард» ходил ходуном, а дурочка Карлина, приближаясь вразвалочку, играя бедрами, нажимала на зеленую кнопку — скорость вращения увеличивалась, машина вибрировала сильнее, из клетки вырывалось завывание, похожее на гудок скорой помощи... Бонци! Маркантонио! Скорее сюда, сюда... Неужели вы не видите, что она натворила? Вместо того, чтобы нажать красную кнопку, ухватилась за рычаг, потянула, а он остался у нее в руке! В клети образовалась дыра, она становится все больше, больше... Скорее! Бегите! Уведите эту идиотку от машины, уведите ее, уведите...

Иной раз у «Авангарда» стояла Андреони. Она работала четко, с невозмутимым спокойствием — можно поучиться. Но когда у нее обрывалась проволока, она так же невозмутимо лезла своей культяпкой в прорезь, погружала ее во вращающееся нутро машины... Однажды возле «Авангарда» стояла Гавацци. Ясно почему: Кишка, не решаясь сослать ее на «Свалку», поставил в наказание сюда. Он велел забинтовать ей всю голову, оставив лишь отверстия для глаз и две дырочки для носа. Гавацци нажимала нужную кнопку — зеленую. Но, издав пронзительный свист, как паровоз из ковбойского фильма, барабан начинал вращаться в обратную сторону. Сколько Гавацци ни нажимала красную кнопку, «Авангард» все равно вращался наоборот. Тогда Гавацци подбегала к вытяжному барабану и била по нему ногой, обеими руками, чтобы «Авангард» перестал разматывать уже готовый кабель. В это время бинт, которым была обвязана ее голова, разматывался; конец его болтался, как коса, становился все длиннее и раскачивался, раскачивался, пока не попадал в прорезь, пока не затягивало вращающейся массой... И так все время — «Авангард», «Авангард», «Авангард»... Хоть бы раз приснился Сальваторе! Ни разу его не видела, даже издали, даже со спины.

Марианна открывает глаза; возле ее кровати сидит доктор Кризафулли. Остался всего один день. Больничный лист на исходе: судя по тому, как упорно доктор теребит свою бородку, он чем-то озабочен и расстроен, но не подает вида. В остальном он ведет себя как обычно. На сей раз он завел разговор о женщине-работнице, о том, что ее ждет в будущем, как гармонично будет сочетаться ее труд на заводе с обязанностями жены и матери, ибо труд продолжит, дополнит и сделает более совершенной вторую сторону ее жизни. Как выиграет от этого ее подлинная женственность, насколько ярче, полнее и устойчивее будет ее красота...

Голос доктора звучит вяло, монотонно, и в то же время он словно поет. Хотя то и дело тревожно поглядывает на часы.

— Мне надо бежать... Но перед тем, как уйти, я хотел бы...

И — снова о женщине-работнице, о женщине-супруге и матери, о том, как гармонично в ней будет сочетаться...

Наконец, прощаясь:

— Я продлил вам больничный лист. Отдохнете еще десять дней, до первого марта. За это время придумайте себе какие-нибудь осуществимые желания и удовлетворите их. Например, поесть пирожных «безе» или печеных каштанов. Очень приятно насыпать их в карман — горячих, прямо с жаровни — и есть по дороге. А почему бы вам не поставить на комод красивый букет цветов? Например, лютиков? Сходите сами, купите, отберите получше. Если не замерзнете, поглазейте на витрины. Сядьте на трамвай и покатайтесь по кольцу вокруг центра. Это отличный маршрут. За город, на окраину лучше не надо: по-моему, там тоскливо.

Впервые за все время его непробиваемый оптимизм дал трещину. Затем, обычным докторским тоном:

— Если вам не хочется, нет нужды выходить сегодня же. Я сказал, что надо гулять, просто потому, что мне вряд ли удастся побывать у вас в ближайшие дни.

М а р и а н н а: — Почему? Отец нездоров? Что-нибудь с мамой?

— Нет, нет. Мы недавно виделись, разговаривали. У них все хорошо. Очень хорошо. Они замечательная пара.

Г о с п о ж а А д е л е (после того как, сделав над собой усилие — а ей это стоило немало! — она проводила доктора до лестничной площадки и затворила за ним дверь): — Вот и хорошо! Лучше быть не могло...

Она вынимает из буфета свернутый в трубку листок бумаги, перетянутый резинкой, разворачивает.

— Читай! Это от Карлы. От тети Карлы. Она приготовила тебе комнату и ждет с нетерпением. Сегодня кончу стирку, завтра на рассвете выедешь, а через десять дней ты, моя дорогая дохлятина, вернешься к маме с такой цветущей физиономией, что...

— Завтра? Уже завтра на рассвете? — Марианна крепко вцепилась в пододеяльник и подтягивает его к подбородку, как в начале болезни, когда доктор проделывал свои странные, плутовские манипуляции с одеялом.

Аделе Колли (решительным тоном, напомнившим прежнюю госпожу Аделе):— Воздух! Лес! Солнце! Покой! Парное молоко! Яйца прямо из-под курицы! Настоящее сливочное масло! Это будет получше, чем пирожные «безе» и катанье на трамвае по кольцу!

— Почему же ты ничего не сказала раньше, при докторе? Я не поеду. Без его разрешения не поеду. Вот он придет, я у него спрошу.

— А что у него спрашивать-то? Ты разве не поняла, что ему самому все это надоело и что он больше не явится? Кончено. Вот когда у тебя будут дети, свои дети,— в голосе Аделе Колли тревога и печаль,— тогда ты поймешь, что матери виднее. Матери лучше знать, что идет на пользу, а что во вред ее ребенку.

XXXVII

Дзанотти (закончив перекличку):— Все в сборе. Я благодарю присутствующих, особенно не членов Внутренней комиссии, что они откликнулись...— Хотел было сказать, «на наш призыв», но, решив, что это слишком высокопарно, закончил:— ...на наше приглашение. Мы все в сборе, вернее, все, кроме одного.

Ригуттини:— Но человек все-таки не иголка...

Джани Каторжник (который никогда не пропустит случая скаламбурить):— В данном случае, не былинка...

Ригуттини (успев высморкаться): — ...Не могла же она провалиться сквозь землю!..

Сильвия: — По-моему, нечего рассуждать, возможно это или нет. Факт налицо: нет ее. Даже ее соседка, больная женщина, которой Гавацци каждый день покупала еду и прибирала постель, и та ничего не знает. Она видела... точнее, слышала, как та пришла домой, собрала какие-то вещи, сказав, что хочет избавиться от лишнего тряпья, и ушла, пообещав вернуться через полчаса. Это было в тот самый вечер, когда...

Мариани:— Извините, я ровно в семь...

Дзанотти:— Я предупреждаю: никто отсюда не уйдет, пока мы не закончим и не утвердим отчет, если за него проголосует большинство членов Внутренней комиссии, разумеется. Остальные имеют совещательный голос.

Гуцци:— Я так в протокол и записываю.

Мариани:— Давай, давай! Но тогда записывай все, а не только то, что вам нравится.

Дзанотти:— Чтобы напомнить, в чем суть вопроса, обратимся к протоколу заседания от... (справляется в блокноте) 18 декабря 1957 года, пункт четвертый повестки дня: «О новых крутильных машинах в цеху «Г-3». Кроме того, по поводу появления на заводе Колли Марианны... 20 февраля этого года, имеется рапорт охранника, некоего... (берет листок, прикрепленный скрепкой к повестке дня)... Либутти Альчиде: «20 февраля в 9.42 упомянутая выше такая-то и т. д. и т. п. на мой вопрос о причине и т. д. и т. п. заявила, что вынуждена отправиться в медпункт для контрольного освидетельствования».

Каторжник: ...а некто Либутти сопроводить ее к врачу не счел нужным. Угадал?

Пассони: — Если охранник проявляет усердие, его обвиняют в том, что он шпионит. Если относится спустя рукава...

Дзанотти:— Выводы сделаем потом. А пока будем придерживаться фактов. Кто из вас видел упомянутую... Колли Марианну, когда она входила в цех «Г-3»? Кто может рассказать, что было потом? Только, пожалуйста, просите слова! Не все сразу, по очереди. И говорите короче. Мы обязаны написать отчет, а не роман.

Маркантонио (подняв руку): — Я видел, как она входила, и подумал...

Дзанотти:— Что ты подумал, не имеет значения. Как она вошла?

Сантина:— Что значит — как? На своих ногах. Подошла к Сильвии, а та обозвала ее свиньей.

Маркантонио:— Первым делом она направилась к раздевалке. Но, подойдя к двери, повернулась на сто восемьдесят градусов и застыла на месте, уставившись на часы. Постояла-постояла и пошла к выходу. Потом снова передумала, подошла к часам и отметилась.

Дзанотти: — Из имеющихся у меня документов видно, что она не отмечалась. Но это не важно. Нам даже невыгодно концентрировать внимание на некоторых подробностях...

Мариани:— Нет уж, давайте искать правду, а не выгоду...

Гуцци:— Я за вами не поспеваю... Не так быстро, пожалуйста! И пояснее.

Дзанотти:—...Поскольку дирекция будет строить свою защиту на предположении, которое будет для нее наиболее удобным...

Пассони:— Э, нет! Ты же сам велел оставить комментарии на конец! Если ты на ходу перестроился, то я, со своей стороны...

Маркантонио:— Дайте же мне договорить, что было дальше! Я видел, как она отправилась к конторке Бонци.

Гуцци:— А кто это?

Сантина:— Да Котенок, которого Гавацци приняла было за порядочного человека.

Маркантонио:— Это молодой специалист; несколько месяцев назад он пришел на место старика Берти, который недавно умер. Но тогда Берти еще был жив, его услали на «Свалку» — повздорил из-за «Авангарда» с помощников начальника цеха Рибакки, а того вроде...

Гуцци:— Прошу вас, помедленнее! И по порядку, пожалуйста! Этот прежний помощник начальника цеха имеет какое-нибудь отношение к «Авангарду»?

Сильвия:— Я отвечу, как ответила бы Гавацци: к истории с «Авангардом» он имеет такое же отношение, как Понтий Пилат — к страстям господним. Точь-в-точь.

Дзанотти:— Ну ладно, давайте ближе к делу.

Маркантонио:— По-видимому, Марианна обнаружила, что Бонци нет на месте. Он уже сидел за столом Рибакки и задавал вопросы новой девушке, стоявшей напротив него. По правде говоря, мы ждали трех. Но Марианна была не в курсе дела, она десять дней пролежала больная, и никто из нас не знал ее адреса, вернее, никому из нас не пришло в голову ее навестить. Не знаю, чем она болела, знаю только (я видел ее вблизи), что она была сама не своя, взгляд напряженный...

Дзанотти:— Дальше, дальше!! Заметив, в каком она состоянии, что ты сделал?

Маркантонио:— Ничего. Ничего я не сделал.

Сильвия (вступаясь за мужа):— Никто ничего не сделал!

Маркантонио:— Мне надо было сгрузить катушки возле «Бронделя» для Брамбиллоне. Ведь так, Брамбиллоне?

— Да. Для моего «Бронделя».

— Я и подумал: сначала отвезу катушки...

Гуцци (подражая Дзанотти):— Факты, факты!

Сантина:— Тогда-то она и отправилась к Сильвии, а та обругала ее свиньей.

Амелия:— Вернее всего, она искала... одного рабочего, жениха своего... Хоть они и поссорились...

Сантина:— Да что ты говоришь! Я своими глазами их видела вместе после похорон Берти, уже много спустя после того, как она обозвала его «деревенщиной». Мы-то думали, у них все кончено, а оказывается...

Амелия (стараясь перекричать):— ...Но этот рабочий перевелся в другой цех. Так что Марианна, когда вернулась после болезни, его уже не застала... Его перевели, по-моему, в «Г-1».

Гуцци:— А он тут замешан? Надо мне эти личные дела заносить в протокол или нет?

Каторжник (то ли со вздохом, то ли с ухмылкой):— Бедняга Гуцци, если его обяжут протоколировать так называемые «личные дела», ему с протоколом не совладать, в противном случае получится не протокол, а железнодорожное расписание.

Сильвия:— Она ко мне действительно подходила. Вернее, она подошла к намотчицам, увидела, что место Гавацци пустует, и посмотрела на меня. Тут я и обозвала ее свиньей. Правда, в другой раз — на похоронах Берти — я с ней разговаривала иначе. Увидела, что Гавацци встала с ней рядом, и тоже подошла. По-моему, Гавацци уже тогда почуяла недоброе. К людям чуткость нужна...

(Дзанотти сначала порывается ее остановить, потом машет рукой — дескать, продолжай.)

— Чаще всего раздражаешься, применяешь нормы ходячей морали, меряешь всех одной меркой. Мы никогда не задаем себе вопроса, почему работница держится особняком? Может быть, не она нас сторонится, а мы ее изолировали?

Сантина:— Вы послушайте, что я вам скажу! Я Сильвию знаю, она сама ни за что не признается. После того как она обозвала Марианну свиньей. она вынула из кармана платок, чтобы никто не заметил, как она заплакала.

Сильвия:— Да! С досады: Гавацци — на «Свалке», а эта Марианна как на зло путается под ногами. Твердо не помню, но, кажется, в это время несколько машин уже остановилось.

Сантина:— Еще бы! Подоспел этот паршивый Котенок: привел новенькую. Такая потаскушка, скажу я вам...

Амелия:— Ой, простите... (Руки у нее дрожат, на лбу выступили капельки пота).— Сама не знаю, что со мной...

Какой прекрасный предлог, чтобы улизнуть,— скажем, для такого, как Мариани, у которого всегда ровно на семь назначено неотложное дело. Но когда Дзанотти

спросил, кто может проводить Амелию (ей совсем плохо, вот-вот потеряет сознание) и обратился к Ригуттини (его же ждут дома пятеро детей!), тот возразил:

— Мне сначала надо кое в чем разобраться. Вы говорите, Колли направилась к раздевалке, но остановилась у порога. Значит, она так и не переоделась, осталась в пальто?

Амелию пришлось провожать Сантине. Уже стоя в дверях, Сантина обернулась, чтобы ответить:

— Конечно. Если бы она успела переодеться, я бы ее не узнала, такая она стала страшная... Я ее только по котиковому воротнику и узнала!

Гуцци: — А ты, Инверницци, когда разгрузил катушки, вернулся к «Авангарду»?

Маркантонио: — Нет. Начали останавливаться «Бронделли», потом некоторые «Фиаты», потом «Гумбольдты». Примерно половина всех машин остановилась. Но я отчетливо слышал, как «Авангард» набирал скорость. Скажи, Сильвия! Ты же знаешь.

Сильвия: — Я знаю не все, а только то, что видела. Марианна направилась к «Авангарду» — прямиком, не глядя по сторонам. Я подумала: неужели она не заметила, что там стоят другие «Авангарды», новые?

Гуцци: — О чем это ты? Не понимаю.

Сильвия: — Когда Марианна заболела, в цехе стоял только один «Авангард», на котором работала она. А когда она вернулась, их уже было четыре. Один рядом и еще два позади нее.

Пассони: — Значит, отказ от работы... Забастовка...

Ни Дзанотти, ни Гуцци, ни остальные наиболее сознательные этой темы касаться бы не стали. Во всяком случае, сейчас и в таком тоне.

Брамбиллоне (в лицо Пассони): — Давайте скажем все как есть! Когда Гавацци отправили на «Свалку», Внутренняя комиссия решила объявить перемежающуюся забастовку — начать должен был «Г-3». Надо навязать им дискуссию, заявили вы, не давая повода для оттяжек и репрессий. Но вышло иначе: мы еще не успели начать забастовку, а нам преподнесли новость в виде еще четырех «Авангардов».

Каторжник: — Иначе говоря, рабочим для того, чтобы объявить забастовку, потребовалось больше времени, нежели дирекции — установить машины весом в несколько десятков тонн каждая.

Брамбиллоне: — Тогда мы решили отсидеться, пока не выяснится, кого поставят к новым «Авангардам». Нам казалось, что наше решение правильное, что мы осудим разом и подлость, проделанную с Гавацци, которая угодила из-за «Авангарда» на «Свалку», и возмутительный факт найма трех работниц со стороны... Нет, все гораздо проще. Дело в том, что мы еще не оправились от удара по самолюбию, который получили еще тогда, когда пришла Марианна... которую вы называете Колли. Вы, наверно, не знали, как все это было, или мы сами вас плохо информировали. А может, у вас были какие-нибудь соображения, которыми вы не могли с нами поделиться. Как бы там ни было, вы нас обвинили в трусости только потому, что мы не объявили забастовку и пришли к вам, чтобы объяснить...

Дзанотти (прерывая): — Учти, что здесь решения принимаются большинством голосов, а большинство есть большинство: зависит от того, кто присутствует и кто отсутствует. В тот раз, когда вы приходили — ты, Сильвия, и, не помню, кто еще... (Он оглядывает присутствующих, но не задерживается взглядом ни на Мариани, ни на Ригуттини, ни на Пассони.)

Гуцци: — Так вести протокол невозможно! Перебиваете друг друга, перескакиваете с вопроса на вопрос. А ты, Дзанотти, сегодня сам, вместо того чтобы вести собрание...

Сильвия: — Я не понимаю, для чего мы собрались: чтобы составить протокол, будто полицейские, прибывшие на место преступления, или разобраться во всем, что произошло, выяснить причины? Если для протокола, то незачем было созывать столько народу — чуть не двенадцать человек. Стоит ли тратить на это время? Все равно узнаем из сообщения дирекции — она уже направила двух типов выяснить необходимые сведения.

— Правильно. Хватит того, что болтаем на работе, хоть здесь займемся делом! Это Сантина, она выполнила поручение и вернулась.

— Я усадила ее на двадцать второй и попросила кондуктора присмотреть.— Сантина не говорит, что Амелию в уборной на стадионе несколько раз вырвало и что между приступами тошноты она призналась, что беременна. По мнению Сантины, новости этой можно было бы только радоваться, но, как она поняла, Амелия совсем другого мнения. Значит, пока никаких разговоров на этот счет. По крайней мере, до завтра.

Дзанотти (обращаясь к Гуцци):

— На чем ты остановился?

— На том, что Колли пустила «Авангард», когда остальные машины в цеху «Г-3» стояли.

Сильвия: — Не все. Машины останавливались по мере того, как Бонци шел по цеху в сопровождении новой девушки.

Сантина: — Если это — девушка...

Гуцци:— Как ее зовут?

Сильвия:— Никто не знает. Это было потрясающе, что-то невероятное, чудо какое-то! За спиной у этих двоих сразу тишина... Пустота... Никто не кричал, не ругался, как в тот раз, когда привели Марианну. Каждый оставался сидеть на своем месте молча, не шевелясь. И так все, все до одного! Даже те, кто всегда отлынивают, заставляют себя уговаривать часами, а сами ни с места, только прикинутся, что согласны, а потом... А тут — все до одного, понимаете, что это значит?! Если мне все-таки посчастливится дожить до революции, я уверена: будет именно так — все будут так же единодушны, как мы в ту минуту, такими, какими надо быть...— Обращаясь к Гуцци:— Кстати, в нашем протоколе, в протоколе заседания Внутренней комиссии, можно записать и эти мои слова: революция будет. И что мы теперь знаем, как она начнется.

Каторжник:— Дело за малым: уточнить день и час.

Маркантонио:— Давай дальше, Сильвия!

Сильвия (решительнее):— Когда Бонци в сопровождении новой девушки подошел к «Авангарду», в цехе работал только «Авангард» Марианны. Она стояла и наблюдала за работой своей машины, назовем ее «Авангард № 1». В нескольких метрах от нее возле другого «Авангарда» — обозначим его № 2 — Бонци давал объяснения новенькой. Время от времени он вытаскивал из кармана свою черную тетрадь, с которой никогда не расстается и в которой все время делает какие-то пометки. Должно быть, там написано, что надо и чего не надо говорить неопытной девчонке, которой предстоит работать на «Авангарде». Марианна же...— Сильвия запнулась.

Маркантонио (мягко):— Хочешь, я договорю?

— Ты же не видел. Ты был далеко. А мы, намотчицы, сидим рядом, метрах в десяти-двенадцати; верно, Сантина?

— Что ты спрашиваешь? Разве кто-нибудь возражает...

— Я видела лицо новой девушки...

Сантина:— Какая там «девушка»! Потаскушка...

— ...Судя по тому, что она больше смотрела на Бонци, чем на «Авангард», и как свободно себя вела, когда он повел ее к пульту управления, не понятно, почему взяли именно ее. Выбор, конечно, неудачный. Марианну я в лицо не видела: она стояла к нам боком, засунув руки в карманы пальто. Когда Бонци стал показывать, как легко приводить «Авангард» в движение — пустил мотор, увеличил скорость вращения и остановил,— только тогда Марианна оживилась. Не знаю, как остальным, но мне вовсе не показалось, что она была «не в себе», как говорили некоторые. По-моему, она прекрасно знала, что творится за ее спиной. Некоторые работницы с «Бронделей» утверждают, что, когда Бонци запустил «Авангард № 2», она обернулась. Но я уверена, что она не оборачивалась. И потом тоже, когда она двинулась вокруг «Авангарда», не подняла ни головы, ни глаз. Она медленно шла вокруг машины, держа одну руку в кармане, другой касаясь машины. Дойдя до края, она и эту руку убирала в карман, а оказавшись с другой стороны, снова ее вынимала.

Сантина:— На ней было пальто с котиковым воротником.

Сильвия:— Сейчас, конечно, неуместно так говорить, но у меня создалось впечатление, что она ласкает «Авангард», гладит его.

Пассони:— И у вас не возникло никаких подозрений?

Сильвия (прямо глядя в глаза Пассони):— Никаких. Мы смотрели и ждали, что она будет делать. Остановит «Авангард», набросится на Бонци, на новую девушку? Или смолчит, и все будет по-прежнему? Смотрели... как на представление.

Маркантонио:— Смелее, Сильвия!

— Я могу вам доказать, что Марианна, хоть она и не оглядывалась по сторонам, не поднимала глаз, все видела. Доказательством может служить то, что Бонци трижды приводил «Авангард» в движение и трижды его останавливал, чтобы показать новой девушке, как это делается, и убедить ее, что машина совсем простая, проще нет. В это время Марианна ходила вокруг своего «Авангарда» и гладила его. Но в тот момент, когда новенькая, по указанию Бонци, поднесла руку к пульту управления, в тот момент...

В помещении Внутренней комиссии тишина: никто не скрипнет стулом, не кашлянет. Ригуттини перестал сморкаться, Гуцци — писать, Дзанотти — заглядывать в блокнот. Курильщики — кто мог дотянуться — положили сигареты в пепельницу; остальные бросили, недокурив, на пол, погасили башмаками.

— А можем ли мы быть уверенными в том, что она не споткнулась? Что у нее не закружилась голова? Собственно, это не вопрос, а так, чтобы совесть была спокойна...

Сантина и Сильвия (одновременно):— Нет!

Маркантонио:— К сожалению, я тоже видел. Я направлялся к Сильвии узнать, что она посоветует делать дальше... Я видел ее так же отчетливо, как вижу вас. Она ринулась руками вперед. Не упала, а бросилась сама.

Сильвия:— О том, что она бросилась сама, говорит и другое: она не вскрикнула. Сделала то, что задумала. Потому и не закричала. Если попытаться определить, что ее побудило... Сознательно ли она поступила или от отчаяния... или то и другое... И сознание и отчаяние — я имею в виду классовое сознание...

Дзанотти (после бесконечно долгого молчания):— Товарищи, мы вырвались, наконец, из заколдованного круга полупоражений и полупобед. Если мы ограничимся рассмотрением прискорбного случая с Колли, то надо признать: это поражение. Такое серьезное, такое постыдное, что хуже не придумаешь... Но, с другой стороны, если учесть, что в тот же день после экспертизы дирекция прислала бригаду демонтировать все четыре «Авангарда» — тут же, не дожидаясь конца рабочего дня...

Каторжник:— Прежде чем произносить такое громкое слово, как «успех», надо знать, что они сделали с демонтированными машинами. Кто дал себе труд поинтересоваться? — По тому, каким взглядом он обвел присутствующих, ясно, что на сей раз Каторжник шутить не намерен.— «Авангарды» были погружены на «606» с прицепом и отбыли в неизвестном направлении за город. Если интуиция меня не обманывает, туда, куда будет переведен весь цех «Г-3». Знаете куда? В Арлуно, что на семнадцатом километре автострады Милан—Турин... Прикажете продолжать?

Дзанотти:— Слово предоставляется товарищу Джани.

Каторжник:— Собственно, говорить-то нечего. Просто я думал о тех девушках, которые поступят на новый завод в Арлуно. Как они будут гордиться тем, что стали работницами. Вы себе представляете, с каким подъемом, с каким энтузиазмом они, намучавшись на рисовых полях, примутся за работу?

Дзанотти:— Да, кстати: кому мы поручим вызволить Гавацци?

XXXVIII

Почему они собрались? Да потому, что Амелия на четвертом месяце беременности; потому, что шурин Сальваторе пишет с юга письмо за письмом в обычном цветистом стиле, с уймой просьб, в тоне, не допускающем возражений. Иначе это семейное сборище еще долго откладывалось бы под разными предлогами. Отец Амелии совсем обезденежил. Он плотник, привык почесать язык, перекинуться острым словцом, но, конечно, не в четырех стенах и не с женщинами. Хорошо бы гостям пришлись по вкусу эти «бинье» — ведь стоят втридорога. Но уже после первого же захода... А может, на юге их пекут с сахаром и миланским «бинье», хоть и марки «Мотта», до них далеко?

Родственницы Сальваторе — хорошие женщины, ничего не скажешь, но открыть рот и сказать два слова для них... Выручил, было, муж старшей сестры — красивый парень с открытым лицом: явился в дом с ящиком великолепных апельсинов, прямо с дерева, еще с листочками. Даже ручки дамам поцеловал. Но через полчаса сник и он. Амелия одна старается изо всех сил, чтобы торжество по случаю обручения не походило на третьи похороны...

— Вы читали историю про питона?

Судя по всему, никто ее не читал и никого она не интересует.

— Хотите, расскажу?

Две незамужние сестры Сальваторе, так называемые «младшенькие», усаживаются поближе.

Амелия (набравшись духа): — Вчера вечером...

Сальваторе (жестко): — Вчера вечером этого быть не могло.— Амелия, взглянув на него, краснеет. Ей, чтобы покраснеть, достаточно сказать себе, что краснеть не надо, и — готово.

— Однажды вечером под одним домом обнаружили питона. Их было двое, двое строительных рабочих.

Мать Сальваторе (красивая, тучная женщина, с глазами как угли; против самой Амелии она ничего не имеет, она лишь против ее худобы; для нее худоба это нищета): — А что такое «питон»?

Шурин Сальваторе ей вполголоса объясняет. Та, недоверчиво:

— Под домом? — Потом: — Не удивительно: с тех пор как женщины, вместо того чтобы заниматься хозяйством...

Амелия: — На груде камней. Там было сказано — на туфе. Я думаю, туф — это камень, из которого построен Рим.

— Ах, Рим! — подхватывают хором «младшенькие». По-видимому, из всего сказанного Рим — единственное слово, прозвучавшее для них не как абракадабра.

— Вернее, не в самом Риме, а в окрестностях: в одном из кварталов...

Шурин Сальваторе: — В одном из предместий.

— Вот именно. Именно в предместье. А вы что, читали?

— Нет.

— Где-то в Пьетра... Пьетра...

— В Пьетралата.

Амелия: — Но вы же читали!

Шурин: — Да нет же.

— Ну ладно. Один из них прислонился к груде камней и вдруг видит...

Сальваторе (резко): — Ты же сказала, что дело было ночью, в темноте...

Амелия: — Ну, конечно, ночью, в темноте.— Выдумывая: — Но улица или площадь, точно не помню, была неосвещенная. Дождь лил как из ведра. Так вот, один из них оперся на груду камней...

— Пьетралата,— подсказала старшая сестра, в тон мужу.

Тот: — Помолчи, ты ничего не понимаешь!

Сальваторе: — Раз дождь лил как из ведра...

Амелия: — Это были, наверно, молодые парнишки. Ах, да, я же сказала: строительные рабочие. Да, да! А что? Я много раз видела: они и в проливной дождь вкалывают, не слезают со своих лесов.

Сальваторе: — Разница лишь в том, что работают они днем, а то, о чем говоришь ты, было ночью. Если они будут пережидать дождь днем, то у них вычтут 60 процентов их заработка.

Все довольно долго молчат. Потом Амелия — тоненько:

— Я все-таки доскажу. Мне так хочется! Вот и все...

«Младшенькие» обмениваются многозначительным взглядом. С той минуты, как они уселись, они смотрели только на собственный подол, были заняты только тем, что одергивали юбку — не дай бог, будут видны колени. Та, что помоложе, за неимением лучшего, настроилась послушать, наконец, обещанный рассказ. И даже осмелилась спросить:

— Он был живой?

Амелия колеблется. Она боится Сальваторе. Шурин приходит ей на помощь.

— У этих питонов не разберешь. Разве только если голова будет здесь на столе, а туловище на лестнице, и цементная глыба в полтонны...— Он наклоняет голову и показывает место на собственном затылке, куда следует положить полтонны цемента.— И все еще нельзя быть совершенно уверенным! Питон живуч как черт.

Поскольку разговор несколько оживился, отец Амелии делает последнюю попытку всучить кому-нибудь «бинье», но никто не хочет.

— Спасибо. Мы не стесняемся,— уверяют гости.

Чтоб быть хоть чем-нибудь полезным, ему остается поддержать бедняжку дочь:

— И никто не видел, как он подполз? Он же такой длинный, толстый...

Шурин Сальваторе: — Питон это такая штука... Где хочешь проползет, прижмется, съежится, свернется в клубок.

Амелия: — Я бы умерла со страха.— И кладет руку на полнеющий живот. В первый раз она почувствовала — или ей почудилось? — как шевельнулся ее ребенок. Теперь она уже не в силах остановиться, она должна досказать, как уничтожили чудовище! — А те двое были молодцы ребята. Не говоря ни слова, сбегали за товарищами из соседних домов, объяснили им шепотом, что, дескать, обнаружен питон...

Сальваторе (он уже многое ей простил. Но это слишком): — Ну да, иначе питон услышал бы, что речь идет именно о нем.

— ...Шепотом, чтобы не разбудить спящего питона. У них возник спор, но они его скоро уладили. Некоторые настаивали на том, что надо звонить в полицию, карабинерам в часть.

Мать Сальваторе: — В часть? А что такое «часть»?

Шурин: — Ну, пожарным.

Младшая из «младшеньких»: — Пожарный... какое-то неприятное слово.

Шурин пронзает ее сердитым взглядом.

Амелия: — Они спорили не о том, какое слово приятное, какое нет, а о том, как действовать дальше.

Отец Амелии: — Есть такие люди, которые чуть что — вызывают полицию или карабинеров. Мне тоже такие попадались. Я их знаю.

— Так вот, поговорили быстренько между собой, откровенно так, не стараясь друг друга поддеть.— Пристальный взгляд в сторону Сальваторе.— Шепотом. А договорившись, побежали на склад, взяли там всю солому, какая была, старые газеты, ящики. У одного из них был в запасе бензин — не знаю уж, откуда,— десятилитровая канистра, полная доверху. Все взяли и побежали на то место, прямо по лужам, босиком, чтобы не шуметь. Разложили вокруг камней широким кольцом бумагу, солому, доски, сами тоже встали в круг и...

Шурин: — Подожгли.

— ...все разом чиркнули спичками, чтобы, в случае, если питон проснется и попробует улизнуть, он наткнулся бы на огненный барьер, на высоченное кольцо огня.

Сальваторе: — Ясно, раз лил проливной дождь...

— Тем временем парень, который держал канистру, бросил ее в середину круга на камни; пробку предварительно вынул, чтобы бензин вытекал. А другой рукой швырнул туда же головешку. Бензин и вспыхнул.

Младшая из «младшеньких»: — Ой-ой...— Она явно болеет за питона.

Амелия: — И тогда все его увидели. Увидели, при свете пламени, как он поднялся во весь свой огромный рост, опираясь на хвост. Никто не мог себе представить, что он такой огромный. Толстый. Скользкий. Глаза бесцветные, два зуба — как два кинжала, а пасть внутри розовая-розовая, как у котенка. Все увидели громадину, в том числе и те, кто отнесся к этой истории человечно и те, кто заявлял, что

не верит, для того чтобы остаться в стороне во избежание неприятностей. Увидели, как он страшен, но лишь на мгновение. Через секунду он рухнул—иссох. Когда огонь погас, от него осталась только кучка золы. Кто-то хотел отыскать зубы, сохранить на память. Но не осталось ничего, ничегошеньки.

Старшая из «младшеньких»: — Из праха вышел и в прах обратился.

Шурин: — Даже не верится, что в наши дни возможно такое. Невероятно.

Отец Амелии: — Мало ли случается на свете непонятного. Но случается же! Каких только не бывает жутких историй, преступлений..— Сказал и пожалел: лучше бы промолчал, а вместо этого еще раз «бинье» попотчевал. Даже этих немногих слов, сказанных в сердцах, оказалось достаточно, чтобы у всех закровоточила свежая рана.

Все молчали. Опустили глаза. Даже те, кто до этого. не решаясь смотреть в лицо, смотрел на угощение, на люстру, на ящик с апельсинами, стоящий на стуле. Все замкнулись во враждебном молчании. Словно каждый, проклиная все и вся, задавал себе вопрос: «Кто на очереди: я, ты?»

Все, кроме Сальваторе. Он встал, не спросясь, по-хозяйски, пошел на кухню отрезать себе ветчины.

Амелия, обхватив живот, уставилась на отца широко раскрытыми диковатыми глазами беременной женщины:

— А мы? Мы: что будем делать?

Шурин Сальваторе (сумрачно): — Надо жить.

Сальваторе (из кухни): — Если это называется жить...

РОЖДЕН Я В ЕГИПТЕ...

(СТИХИ ПОЭТОВ ОАР)

■

Перевод с арабского Олега ДМИТРИЕВА

МУХАММЕД АДИЛЬ СУЛЕЙМАН

Мелодия мира

Из нашего мира,
Из нашей зеленой страны
Мелодии мира
Напевные звуки слышны.
Во все времена
И во все твои дали, земля,
Поют ее рощи
И в пышном жасмине поля,
Белы, словно крылья
Воркующих птиц в вышине, —
Поют в нашем мире,
В далекой зеленой стране.

Остатки заката
Вдали горизонт оплели,
И отблески света —
Волшебные нити — легли,
Пронзив мирозданье,
Приветствуя всюду людей
От нашего мира,
От родины дальней моей.

Из нашей земли,
От зеленых египетских нив
Протянуты в дали
Зеленые ветви олив, —
От юной мечты,
Что цветет на земле старины,
От нашего мира,
От нашей зеленой страны.
Нас утро обнимет,
Обрадует будущим днем —
Мы стерли пыль бедствий
Рассвета веселым крылом.
И дней караваны
Всем мирный напев разнесли —

От нашего мира,
От нашей далекой земли.
Рожден я в Египте.
И песнь у меня на губах
О славной отчизне,
Добывшей свободу в боях.
Я — ветка оливы.
И света достаточно мне
В родном нашем мире,
В далекой зеленой стране.

Агрессия черствой
Не сделала душу мою.
Любовь свою к людям
Я в мир, как и прежде, пролью.
О, чистое чувство,
Подобное белой заре!
Я — сердце Египта,
Звучащее в мирной земле.
Я — ветка оливы,
Знак мира, добра и весны
Средь нашего мира,
Средь нашей зеленой страны!

САЛАХ АБДЕЛЬ САБУР

Напала орда

Мой древний город предан разрушенью.
Под натиском ворвавшейся орды
Отходят после жаркого сраженья
Защитников нестройные ряды.
День освещает скорбные знамена
И барабана вспоротую грудь,
Уныние процессий похоронных,
Людей, бредущих вдаль, куда-нибудь,
И раненных, едва прикрывших раны...
Ладонями солдат ритмично бьет
По дереву — подобье барабана, —
Мотив тоски и голода поет.
Труба замолкла. И недоуменно
Глядит на нас
Ее открытый глаз.
Лежит земля плитою раскаленной,
И пыль задушит горизонт сейчас.

И мать моя, и ты легли устало
Средь беженцев несчастных на холме.
Одежды теплой нет, и пищи мало,
И плачут дети в наступившей тьме.
В пещерах — змеи, призраки ночные...

Я вижу: плачешь ты, томясь без сна,
О том, что топчет враг поля родные,
И что деревня наша сожжена.
Что счастья дни уходят без возврата,
Что подошла пора войны и бед —
Все это правда, и тяжка утрата —
Но главное: мы не погибнем, нет!

АХМАД ХИГАЗИ

Свидетели

Мы — свидетели.
Мы клянемся великим аллахом
Говорить только правду.
Мы, ставшие прахом,
Мы пришли в этот мир
Лишь на час
И сейчас перед вами стоим,
Чтобы после обратно
Вернуться к могилам своим.

Мы — свидетели.
Мы клянемся великим аллахом
Говорить только правду.
Что проку в обмане феллахам?
Их спросите о мире —
А что у них есть в этом мире?!
Только жизни задворки —
События проходят над ними.
И глядят бедняки
На тиранов, князей, королей,
А потом умирают в угаре военных полей.

Прежде, чем умереть,
Все мы землю пахали,
Все мы были матросами,
Слугами иль пастухами.
Прежде, чем умереть,
Мы красивые строили зданья.
Может, по одному
Мы прошли через смерть и страданья,
Но пришли сюда вместе,
Костлявые руки воздев,
Чтоб поднять общий голос,
Возвещающий горе и гнев!

Было у меня сердце

Когда твои глаза в глаза мои
В прощанья час глядели, не мигая,
Безмолвный разговор они вели,
И ты мне улыбнулась, дорогая.

Я в облике своем собрал всю тьму,
Собрал угрюмость всю в своем молчанье.
И, голосу не веря своему,
Сказал тебе: «Прощай!» —
В тот час прощанья.
Клянусь, я лгал —
Не знаю почему...

Под вечер
Я дорогой брел недальней.
В объятия зари
Пришла земля.
И горизонт казался
Пышной спальней,
Где разместились тени пальм, дремля.
Змеилась минарета тень в канале.
Волшебный мир открылся мне в тот миг:
И слушал я, как птицы щебетали,
И видел, как цветок
К цветку приник,
Как козы, громко блея, на закате
В мою деревню, торопясь, вошли...
Вдыхал я терпкий аромат объятий
И запахи плодов родной земли.
Как мне найти тебя на свете белом?
Зовет обратно к твоему гнезду
К моим ступням прижавшаяся телом
Дорога, по которой я иду.
И тот фонарь, который освещает
Дверь дома, успокоенного сном,
Та ива, что задумчиво качает
Своей листвою над твоим окном.
Но как тебя найти на белом свете?
Чуть прошлое припомню невзначай,
И сразу слышу, как заплачет ветер
В ветвях шумящих ивовых:
— Прощай!...

О, моя птичка, ангел мой далекий,
Свой скарб собрав, чтоб жить в чужом краю,
Я бросил юность на твоей дороге!
Один моряк увидел боль мою.
Садись, сказал он.
Я уплыл на судне.
Теперь я от тебя — за семь морей.
Печальны ночи, нестерпимы будни,
И словно сердца нет в груди моей...
Приди ко мне!
Мы будем голодны —
Но нас же станет двое!
Зимою ночи
Будут холодны —
Но нас же станет двое!
Приди ко мне
И в грудь мою вдохни
Тепло живое,
О птица моей жизни!

В. ДНЕПРОВ

ЗЛОЙ ЧЕЛОВЕК И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

(Из опыта современного западного романа)

Там
За горами го́ря
Солнечный край
непочатый.

В. Маяковский

1

Кажется, все согласны с тем, что нравственные вопросы приобрели сейчас важность чрезвычайную и стали прямо-таки неотложными. Исторические испытания, всем нам слишком хорошо знакомые, обременили душу миллионов людей неотвязными воспоминаниями. Жить с ними мучительно, избавиться от них невозможно. Люди увидели воочию то, что Томас Манн назвал абсолютным злом. После жестокой и всесторонней проверки, которую прошли все этические ценности к середине XX века, лучшая молодежь нашего времени озабочена не столько определением зла, сколько его устранением, не столько определением добра, сколько его осуществлением.

Как никогда стала очевидной и выступила наружу связь нравственности с историей и политикой. Из великих писателей Запада об этой связи особенно много и глубоко размышлял Томас Манн. Он настойчиво доказывал, что уничтожение демократии есть вместе с тем уничтожение самой основы нравственной жизни. С этим нельзя не согласиться. Может ли идти речь о подлинной нравственности, если запрещено говорить правду? Может ли формироваться нравственная индивидуальность в атмосфере лжи? Самый механизм морального развития портится и ржавеет, если подрывается способность личности к самостоятельному нравственному решению, ее способность полагаться на себя и отвечать за себя. Лишь в условиях демократизма могут нормально завязываться нравственные процессы, а без этой необходимой предпосылки нравственный уровень массы понижается с быстротой, способной внушить ужас и отчаяние чутким и слабым душам.

Но с такой же несомненностью исторический опыт последних десятилетий подтвердил и другой важнейший момент нравственной задачи: ее самостоятельность, ее особое содержание, ее нерастворимость в любом другом социальном процессе. Нравственность должна утвердиться в душе каждого отдельного человека, она должна миллионократно реализоваться внутри каждой личности. Этому может многое посодействовать, этому может многое помешать, но ничто не может этого заменить — ни авторитет, ни террор, ни внушение, ни объяснение. Глубочайшие сферы индивидуальности — домéн нравственного чувства. Именно там — в недрах душевной жизни — осуществляется переключение идеалов всеобщего блага в личный моральный стимул. Никакие теории не могут устранить простого вопроса: осуществилось ли на деле это переключение в данной индивидуальности, в данном имярек, или благодаря каким-либо препятствиям, впечатлениям или влияниям «переключатель» испорчен? В какой мере осуществилось преобразование идеалов и условий социального общежития в личный моральный долг, какие сферы души и поведения оно захватило?

Нужно еще многое сделать, чтобы до конца решить нравственную задачу социализма, и дело это трудное, длительное. Однако в капиталистическом мире личная добродетель тем скорее вступает в противоречие с

основами существующего строя, чем эта добродетель последовательней. В нашей же стране истинная мораль требует уничтожения всего, что мешает проявиться действительной сущности нового мира, искоренения всего, что затемняет, уродует, искажает эту сущность. Капитализм немыслим и невозможен, если в нем не совершаются — каждодневно и во множестве — дурные, безнравственные поступки. Коммунизм немыслим и невозможен, если подлинно нравственные отношения между людьми не становятся в нем реальной нормой. Различные виды зла, подлости и обмана необходимы капитализму, как смазочное масло необходимо машине. Все виды зла, подлости и обмана препятствуют развитию социализма, подобно тому как брошенный в машину песок препятствует ее работе.

В настоящее время этическая философия, если она готова учиться у действительности, не имеет права рассуждать, отвлекаясь от коренного различия двух социальных миров, и вынуждена каждую большую моральную проблему ставить в применение к каждому из этих миров в отдельности. Это еще более верно, когда речь идет о литературе.

В настоящей статье мы будем говорить о том, как современная западная литература разрабатывает моральный опыт последних десятилетий. При этом нельзя упускать из виду, что подлинно гуманные мотивы западного искусства получают на нашей почве новую жизнь — они вступают в контакт с нравственным процессом советской молодежи, и это в значительной мере определяет их историческую судьбу. В нашей стране стала не только до крайности насущной, а также и вполне реальной задача строить нравственную жизнь народа с такой же энергией, открытостью, настойчивостью, с какой мы строим технику и экономику социализма. Мы теперь знаем, что в социалистическом обществе каждый действительный шаг на пути массового нравственного подъема заключает в себе кроме великого своего непосредственного блага также и серьезный экономический потенциал, знаем об огромной важности моральных стимулов труда. Отставание нравственного развития стало у нас темой серьезной внутренней работы в широкой массе народа, так что книги писателей Запада, пересекаясь с советской жизнью, получают новую функцию, выявляют такие свои поэтические стороны, которые остались бы незамеченными без социалистического источника света. Ленин сказал однажды, что читает Гегеля материалистически. Люди нашей страны читают западных писателей социалистически, то есть в постоянной ассоциации с проблемами социалистического развития. Западные критики, видя отличие репутаций одних и тех же писателей у них и у нас, склонны рассуждать о нашем «провинциализме» и «отсталости» оценок — как если бы речь шла о ширине и фасоне брюк,— совершенно не улавливая глубокого и эстетически поучительного смысла этих различий. Так что истинно художественная литература Запада получила в социалистических странах свою особую, свою вторую историю, которая еще должна быть написана.

2

Сценарий Берланги, Асконы и Флайано «Палач» рисует моральное банкротство человека, еще не подвергшегося пыткам страха, еще не поставленного перед трагическим выбором: человеческое достоинство или смерть. Он рисует то, что с известным правом можно было бы назвать предфашистской стадией человеческого падения, то самое, благодаря чему победа фашизма могла стать возможной,— моральную податливость, нестойкость и все большую расшатанность, готовность продавать себя по кусочкам, казуистику самообманов, движение к последнему злу шаг за шагом — в рассрочку,— роковую роль эгоизма и своекорыстия в обществе, культивирующем эгоизм и своекорыстие. Но с другой стороны, этот сценарий представляет собой как бы взгляд в обыденное и среднее, исходя из крайнего, исходя из того, что нам открылось при фашизме.

В исторической каждодневности капиталистического общества предъявляется спрос на обычную меру безнравственного, на будничные и, казалось бы, небольшие сделки с совестью, на греховность по нужде, на эпизодические уступки злу. Образуется некое устойчиво повторяющееся соотношение между хорошими и дурными мотивами человеческого поведения, которое некоторым психологам представляется чуть ли не нормальным нравственным строем человеческой личности. Однако на сей раз общество предъявило спрос на должность и роль палача, и привычная скользкая дорожка уступочек стала поворотом к окончательному падению, к моральной катастрофе, к тому ужасному, что сделалось с людьми при фашизме.

Обыкновенный труженик Хосе Луис, добродушный и вовсе не злой, не желая этого, относясь к жестокости и убийству с отвращением и гадливостью нормального человека, испытывая на каждой ступеньке пусть кратковременные, но терзающие муки совести, рассчитывая на то, что в последний момент он обязательно от всего откажется, упираясь и вроде бы искренне сопротивляясь,— спускается все ниже и ниже, тащится к злодейству и в конце концов становится палачом. На него не слишком нажимают, в нужных местах он получает легкие, хорошо рассчитанные толчки, всякий раз ему подбрасывают те аргументы, в которых он нуждается, чтобы переход на следующую ступеньку был менее болезненным, всякий раз оказывается, что ему обеспечена крупная невыгода, если он останется непреклонным, и обеспечен успех, если он сделает крошечную, еле заметную, якобы мнимую уступочку. Методически, ничего не пропуская, с железной последовательностью сценарий исследует нравственную истину большой важности: в области морали ком-

промиссы недопустимы и губительны. Этим, в частности, сфера морали отличается от сферы политики, где возможность компромиссов могут отрицать лишь окостенелые догматики. Как неделим мир, так неделимо и добро. Различие между малой и большой изменой нравственному долгу в какой-то момент исчезает, и, казалось бы, маленькое отступление внезапно разверзается пропастью окончательного крушения.

Истину морали сценарий доказывает от противного, подобно тому как от противного доказываются некоторые математические теоремы. Но от этого доказательство не становится менее убедительным и действительным. Сценарий выжигает в душе читателя склонность к нравственной слабости и податливости, подобно тому как хирург выжигает родимое пятнышко, обещающее стать злокачественным. Боль, которую мы при этом испытываем,— боль очищающая, она родственна страданию, вызываемому трагедией.

Виноват ли Хосе Луис? Ответ авторов сценария не допускает сомнений: да, виноват. Виноват во всем? Да, во всем. Виноват сполна? Да, сполна. Нравственность — это превращение условий общего блага людей в субъективное чувство обязанности, чувство, напоминающее по своей форме инстинкт. Она складывается не только в сознательных, но и в бессознательных слоях человеческого опыта, и здесь не помогают ссылки на моральное невежество, на чужое влияние или неумение предвидеть последствия совершаемых поступков. Чем бы ни был вызван безнравственный поступок, совесть морально здорового человека без всякого снисхождения казнит за это страданиями не менее тяжелыми, чем физическая боль, и нередко граничащими с желанием умереть. То, что нужно всем, становится моей собственной волей, безотчетным требованием моей души, моим личным и самостоятельным решением. Моя воля, мое решение, а потому — моя ответственность. Поэтому читатель вынужден согласиться с суровым приговором Хосе Луису.

Однако авторы «Палача» не ограничиваются установлением его вины и ответственности. Их анализ идет дальше, и в этом состоит их преимущество по сравнению с философствующими художниками, полагающими, будто человек свободно «проектирует» и творит себя. Эти философствующие художники заходят к личности лишь с субъективной ее стороны, и в таком случае дело сводится только к личной ответственности. А авторы сценария ясно видят еще и объективную сторону, сторону обусловленности. Хосе Луис свободен поступать безнравственно, но в этой его свободе проявляется несвобода, порабощенность, зависимость. Хосе Луис отвечает за свои поступки, но разве никто не отвечает за Хосе Луиса?

Могучая сила воспитания оборачивается по отношению к нему силой растления. Окружающие люди тянут его не вверх, а вниз. Жена всякий раз уговаривает его сдаться — чуть ли не пожертвовать собою ради блага семьи. Почтенный академик дает ему рекомендацию в палачи: ведь Хосе Луису нужно еще пробиться сквозь толпу претендентов на эту хорошо оплачиваемую и неутомительную должность. Его ближайший приятель ему завидует. Его старший брат отгораживается от него очень в меру и осторожно, не пытаясь оказать на него какое-нибудь доброе влияние: ведь он ждет не дождется того часа, когда Хосе Луис уберется, наконец, из его тесной конурки. Навстречу злу Хосе Луис идет вместе с другими, поощряемый другими, а к добру — в обстоятельствах, описанных сценарием,— он может идти только сам, опираясь на свои внутренние силы и вопреки принципам, на которых основана окружающая действительность.

Сумеет ли Хосе Луис при его узком круге интересов, замкнутых рамками личного благополучия, при отсутствии прочных моральных традиций, при внутренней отъединенности от других рабочих людей выстоять и остаться верным нравственному закону? Бесстрашно поставив этот вопрос, авторы сценария вовсе не имеют в виду ослабить вину и ответственность Хосе Луиса. Но они хотят сказать, что общество делает Хосе Луисов виноватыми. Разумеется, авторы сценария могли бы выбрать своим героем человека высокой нравственной пробы — последовательного христианина, убежденного революционера, человека твердых, негнущихся нравственных понятий, способного победить все искушения. Но художники в данном случае хотят понять тех людей, которых капитализм делает виноватыми. Чувство вины, метафизически истолкованное экзистенциалистами, на самом деле является эмпирическим фактом, подлежащим объяснению. За этим чувством прячется действительная вина, возникающая из каждодневных моральных поражений изолированного «маленького человека» в его столкновениях с коварством непостижимой социальной системы. Эти поражения и внутренние компромиссы надламывают чувство самоуважения, порождают состояние морального развала и отупения — и в критический момент делают человека, потерявшего способность к нравственному сопротивлению, добычей фашизма.

Авторы «Палача» вполне правы, когда подходят к вине Хосе Луиса не только с субъективной, но и с объективной стороны. Если Хосе Луис становится плохим не только по своей вине, но и в зависимости от обстоятельств, то и лучшим он станет в зависимости от обстоятельств. В таком случае он не обречен быть плохим. В таком случае печальные факты, свидетелями которых мы были, не вынуждают нас к пессимистическим выводам: они обнаруживают изменчивость человеческой сущности, изменчивость, которую можно направить не только в сторону зла, но и в сторону добра. В таком случае, относясь с уважением и признанием к нравственной самостоятельности

личности, мы не меньшее значение придадим нравственной солидарности и моральному единству в больших человеческих массах. Обдумывая нравственную проблему, мы постоянно будем иметь в виду не только личную мораль, но также и то, что Гегель называл «нравы» — бесчисленные нравственные переплетения, общую моральную атмосферу, силу нравственного сцепления, общий моральный уровень данной социальной среды в данный исторический момент. На этом фоне, на этой общей высоте устанавливаются отношения между отдельными добрыми и злыми людьми.

3

История морального падения и капитуляции человека перед злом рассказана также Стейнбеком в романе «Зима тревоги нашей». Роман этот написан еще в то время, когда Стейнбек был писателем-гуманистом. Ныне он перестал им быть, уйдя на сторону врагов человечности и прогресса. Автор «Гроздьев гнева» превратился в «тихого американца»! С ним произошло то самое, что с героем его романа «Зима тревоги нашей»: катастрофическое падение с высоты на дно.

Эти страницы о «Зиме тревоги нашей» были написаны в то время, когда Стейнбек не успел еще изменить самому себе. А затем с ним случилось то же, что и с его героем Итеном. И те, кто когда-то с радостью читали замечательную книгу «Гроздья гнева», пережили это превращение как несчастье. Художник, с любовью и сочувствием изобразивший сопротивление и борьбу американского народа против черных сил капитализма и капиталистического государства, выступил с позорной защитой империалистического насилия, беспощадного удушения вьетнамцев, отстаивающих свое достоинство и свободу. Художник, так умевший показать моральное величие угнетенных в Америке, не захотел увидеть морального величия угнетенных во Вьетнаме. Освободительную борьбу народа, вписавшую изумительную страницу в мировую историю, наполнившую сердце каждого из нас чувством гордости за человека, Стейнбек попросту объявил «китайской» затеей. Писатель, звавший к справедливости, сетует теперь на то, что вьетнамцев снабжают «тяжелым оружием» — по-видимому, он предпочел бы, чтобы вооруженные до зубов «американские парни» весело и без потерь убивали невооруженных «партизан».

Капиталистическая Америка тяжело давит на художника и нередко ломает его. У стойких духом, таких как Марк Твен или Драйзер, это давление вызывает нарастающее противодействие, а такой великолепный писатель, как Фолкнер, именно в заключающем творчество сочинении осмелился нарисовать коммунистку человеком, морально стоящим на целый порядок выше, чем даже самые близкие его сердцу герои. Но это же давление привело Джека Лондона к его жалким последним романам и трагической гибели, раздавило Скотта Фицджеральда как художника. Однако при всем том литература Америки не знала случая, чтобы большой художник открыто, перед лицом всего мира стал на сторону худшего зла. Именно худшего зла! Вспоминая сейчас войну в Испании, мы понимаем, какое имела она значение в подготовке второй мировой войны, и понимаем, что деятелям культуры, выступавшим против народной Испании, не может быть прощения. Подобное значение имеет сейчас война во Вьетнаме с точки зрения решающей нравственной размежовки и отсюда третьей мировой войны. И тому, кто выступает против народного Вьетнама на стороне его убийц, нет и не может быть прощения.

Мы чувствовали внутреннюю необходимость сказать все это прежде, чем обратиться к роману, так сказать, «доимпериалистического» Стейнбека.

Итен Хоули, герой романа «Зима тревоги нашей», решительно непохож на Хосе Луиса, но все же и он приходит к тому же, к чему пришел Хосе Луис: из корысти становится убийцей, заглушившим в себе голос добра и совести.

Хосе Луис скользил и катился по дороге зла, не умея нигде задержаться, каждое очередное испытание становилось для него поражением, и после каждого провала он, тоскуя, считал полученные в конверте деньги. А Итен Хоули, в течение двенадцати лет работавший продавцом в лавке, заслужил себе репутацию вполне порядочного человека. Все окружающие, в том числе и хозяин лавки итальянец Марулло, считали бы совершенно нормальным, если бы Итен умеренно и умненько подворовывал — возможно, что это заранее учитывалось при определении его жалования. А вот строгая честность Итена заключала в себе нечто беспокоящее деловых людей: она противоречила их устоявшемуся представлению о личности.

Итен, в общем, казалось бы, хорошо вооружен против зла. Его аристократическая гордость неразрывно связана с моральной чистоплотностью, и всякое мелкое жульничество прямо-таки несовместимо с высокоразвитым чувством собственного достоинства. Из прошлого его семьи и воспоминаний его детства выросла традиция и поэзия стойкой души. Цельность его привязанности к единственной женщине укрепляет его нравственную цельность. Будучи равнодушным к религии, Итен все же не потерял духовного контакта с нравственной стороной христианства. Страшный опыт войны научил его ценить естественные и простые человеческие отношения и чувства. Итен знает, знает наверняка, что богатство и деньги не сделают его счастливее и скорее всего отберут у него то счастье, которым он прочно владеет.

Хосе Луис сползает вниз, а Итен падает на дно с высоты. Его моральное перерождение, хотя и долго подготавливаемое, совершается как однократное потрясение, как обвал, как отречение от всего, что он

отстаивал всей своей прежней жизнью. Хосе Луис согнулся, а Итен Хоули сломался.

И еще одно важное различие. Хосе Луис не видит себя со стороны, его сознание относится к данной ситуации лишь практически, он смутно подозревает, чему идет навстречу, но видит освещенным только ближайший отрезок пути; предвидеть, что произойдет дальше, он не умеет и не хочет. Во всех этих отношениях Итен Хоули является его прямой противоположностью. И дело не только в том, что он личность гораздо более сложная. Дело еще более в том, что он ведет с самим собой диалог вполне откровенный, уясняя мотивы своих поступков и доискиваясь правды относительно самого себя. Его падение — падение без самообмана. Он заранее, в глубине своего духа, измерил зло, которое готов совершить, он знает, до чего плохо то, на что идет и чего хочет.

Каким же образом морально и умственно честный Итен Хоули мог сделаться коварным обманщиком, убийцей своего лучшего друга? Почему все так произошло?

Парадоксальная связь мотивов и действий в романе тесно сплетена со всем его замыслом. Доказав этическую теорему для самого трудного случая, автор хочет тем самым доказать ее и для всех более легких случаев. Не среднее, а крайнее становится наиболее полным воплощением типического и массового: «В этом романе рассказано о том, что происходит сегодня во всей Америке».

Маркс говорил, что при капитализме общими законами и силами пользуются для личных целей. В данном случае для личной — капиталистической — цели используется влияние самого добра. Итен делает бизнес из своей репутации благородного человека. Уверившись после многих испытаний, что Итен в нравственном смысле устроен как-то иначе, чем они сами, деловые люди ослабили бдительность, на мгновение открыли слабое, годное для удара место, как открывает его боксер, недооценивший противника. Кассир банка не боится говорить с Итеном о секретных вещах, полагая, что Итен не захочет пустить их в ход — не такой Итен человек, чтобы подвести кого-нибудь или не сдержать обещания. Матерый и холодный, как лед, банкир Бейкер относится к Итену с ласковостью волка, собравшегося проглотить овцу и озабоченного лишь тем, чтобы симпатичная овечка не вздумала бежать,— он неосторожно выдает свои намерения и позволяет узнать свои ошибки. Грубый и беспардонный спекулянт Марулло, изумленный неправдоподобной честностью Итена, поворачивается к нему, так сказать, внеэкономической частью своего существа — в этом кусочке души могут проявиться доброта и признательность, совершенно чуждые Марулло, когда речь идет о приумножении богатства. Разумеется, Итен был привлекательно благородным человеком вовсе не для того, чтобы обмануть или дезориентировать этим кого-либо. Но в момент, когда он увидел, что именно это предоставило ему шанс одним броском дорваться до больших денег, его порядочность на самом деле обратилась в обман, ловушку, тактику, его нравственное достоинство стало вступительным паем для участия в смелом, гнусном и выгодном предприятии. В этот момент Итен в каком-то отношении стал худшим из всех: добро он поставил на службу злу, он не только делал зло, а также предал и продал добро.

Не все одинаково хорошо в этом романе. Похоже на то, что художественное исполнение не дотягивает до высоты замысла. Отлично справляясь с изображением специфически капиталистической психологии, автор напрасно пускается в анализ ее глубинных общечеловеческих сложностей — это явно не его сфера. И лучшим в романе нам представляется непринужденное объединение размышлений с драматическим действием, готовность делать все новые разрезы через изображаемую действительность.

Если двигаться от лежащего на поверхности к более затаенному, следует начать с морального давления, которое постоянно оказывают на Итена деловые люди. По-человечески они относятся к Итену лучше, чем к себе подобным, но вместе с тем воспринимают его моральную независимость как некий беспорядок и хотят, чтобы он включился в нормальный капиталистический карьеризм, стал бы таким, как все. «Все так делают». «Нужно думать о себе» — вот резюме их советов. Остается ли Итен вполне безразличным к убедительной силе подобных формул? Нет, он в какой-то мере ее учитывает в момент последнего решения.

В этих — пока еще узких — границах стоящий перед Итеном нравственный вопрос определяется так: имеет ли он внутреннее право употребить зло против богатых, то есть злых, ненавистных, презренных? Итен решает его утвердительно: беспощадных не нужно жалеть, злым нужно платить их же монетой. Поэтому добрый поступок Марулло внутренне мешает ему, и, чтобы успокоиться и ожесточиться, он должен вспоминать обо всем дурном, что есть в этом человеке.

Итен допускает ужасающий нравственный просчет. Думая так, он принимает за единственно возможный тот самый миропорядок, который вполне адекватно представлен злыми и жадными, сам втягивается в битву только ради личной своей цели — никакой другой цели он не видит — и таким образом уподобляется людям, которых презирает и ненавидит.

Но Итен познает и другую, еще непосредственнее его затрагивающую истину. Мечта о богатстве проникла, как зараза, в массу бедных людей и стала всеобщей в окружающей его среде. То самое, буквально то же, что Итен слышал от хищников-дельцов, он слышит от своего сына:

«Итен спросил негромко:

— Моральная сторона дела тебя не беспокоит?

— Чего там, когда столько денег.

— Ты, значит, не считаешь это нечестным?

— Подумаешь, все так делают».

И дочь его Эллен, наследница лучшего, что в нем есть, спрашивает: «Папа, когда мы разбогатеем?» Эллен не знает, как страшен путь, ведущий к богатству, ее душа пока чиста, но богатство представляется ей единственной перспективой, единственно мыслимым способом расширить и украсить жизнь. Если бы у нее совсем отняли эту надежду, жизнь показалась бы ей нескончаемыми буднями.

И его жена Мэри, с которой он так счастлив в любви, терпеливо, но с женским молчаливым упорством годами ждет того ослепительного момента, когда придет богатство и семья ее начнет жить беспечно, легко и увлекательно-ярко. Сопротивление Итена вызывает в ней чувство досады и желание «отомстить за эту помеху ее снам наяву». Мэри говорит с мужем так, как никогда еще не говорила:

«— Ты попрекаешь меня моими неудачами?

— Нет, конечно нет. Но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ведь если бы не твои старомодные, выспренние понятия, ты давно бы выкарабкался на поверхность. Над тобой все потешаются. Благородный джентльмен без денег все равно что босяк.— Это слово будто вырвалось у нее само собой, и она пристыженно замолчала.

— Что же поделаешь,— сказал Итен.— ...Есть, как видно, три вещи, которым никто не верит. Не верят в правду, не верят в то, что вполне возможно, и в то, что вполне логично».

Все верят обману. Все стремятся к мнимой цели. Даже лучшие и близкие толкают Итена к роковому шагу. На самом себе он чувствует, какая это страшная, увлекающая сила — «все». Он столкнулся с массовым безумием, и волна этого безумия нахлынула на него, сорвала с места и понесла. Возникла ситуация нравственного одиночества. И неизбежно связанный с ним вопрос: какой смысл быть нравственным для одного себя, только для самого себя? Вопрос более чем законный. Как быть, если люди, которых он любит и хочет сделать счастливыми, видят свое счастье в богатстве и не согласны быть счастливыми как-нибудь иначе?.. Итен Хоули имеет дело с «Легендой о великом инквизиторе» в ее подлинном — капиталистическом — воплощении: люди получают удобства и сытость в обмен на идеал справедливости. Однако с добавлением, которого Достоевский не сумел предусмотреть: здесь нет того покоя и удовлетворения, о котором рассказывал Иван Карамазов, люди не могут совсем обойтись без идеала, без стремления к будущему, и подменяют высокую конечную цель жалким миражем личного обогащения.

Итен Хоули изменяет себе не только потому, что слышит внушающий голос «всех», но также потому, что этот голос звучит из глубин его собственной души. Он чувствует себя социально ущемленным («паршивый продавец в паршивой итальянской лавчонке»), его гордость страдает, жизненное положение кажется ничтожным и унизительным. Ко всему добавляется чувство необеспеченности и страх зависимого человека, страх, «который выедает все нутро».

Законно ли недовольство Итена Хоули и его жажда перемены? Его желание найти достойное место в мире? Никто не усомнится в ответе.

Все горе в том, что Итен видит решение вопроса только на путях жизненного авантюризма. Все горе в том, что он принял возмутительный и бесчеловечный строй жизни в качестве почвы и основания для своего прыжка на высшую ступеньку социальной лестницы. В капиталистических мотивах и стимулах он видит всеобщие стимулы действительности, а в морали — нечто вполне субъективное. Сознание, рассудок, анализ людей и обстоятельств помогают искушению и злу. Этому же помогает естественное стремление обосновать личное поведение, исходя из объективного, необходимого порядка вещей. И речь идет не об услужливых софизмах, речь идет об истинах, неопровержимых, пока Хоули остается в границах буржуазного кругозора. «Ведь бизнес — та же война, это факт неоспоримый». А без него, полагает Итен, не может быть общества. «Когда дело касается денег, для обычных правил поведения наступают каникулы». Но сам Итен представляет себе инициативу и активность только в ее капиталистической форме. Законы добра хороши, но идеальны, законы жизни плохи, но реальны. «Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительной вселенной — нравственность, нормы поведения, понятие греха. Иначе не может быть. От этого никуда не денешься».

Побуждения, толкающие Итена к преступлению, оказываются сильнее, чем тормозящее действие нравственного «категорического императива». Но все меняется, когда преступление уже позади. Мучения совести надвинулись на Итена и, подобно смертельной болезни, охватили всю его душу. Он внутренне окаменел, подобно тому как каменеет человек, потерявший самое близкое, самое нужное на свете существо,— больше нет ни утешения, ни надежды. Стала очевидной пустота и омерзительность достигнутой цели, а прежнее состояние душевной чистоты и нравственного здоровья кажется безнадежно утраченным счастьем. Итен похоронил себя, ибо его личность была неотделима от чувства собственного достоинства. Как жить, презирая себя? Совесть приговорила Итена к смерти, и он послушно идет казнить себя. Он непременно исполнил бы приговор, если бы ему не помешал в этом автор. Конец книги получился фальшивым. Автора подвела склонность к глубинной психологии, склонность без взаимности.

Роман неопровержимо устанавливает: «американская трагедия» после новейших

сдвигов и прогрессов капитализма нисколько не снята, она, напротив, расширила поле своего действия, стала глубже и мрачнее. Так называемый «народный капитализм» крепче приковывает внутреннюю жизнь человека к буржуазным отношениям, с большей силой тянет человека на нравственное дно. Развитие капитализма всегда совершалось за счет личного развития индивидов. Сейчас оно в небывалой мере совершается за счет морального развития индивидов.

«Зима тревоги нашей» говорит нам больше, чем хотел сказать создавший ее художник. Она содержит в себе важное предостережение: даже благородный и стойкий человек может не выдержать нажима окружающей действительности и нравственно ломается, если он духовно одинок, если несет моральную ответственность только перед самим собой, если находится во внутренней, духовной зависимости от тех самых отношений, которые морально отвергает. Нравственная сила только субъективная, только личная, сталкиваясь с мощью общества, чаще всего терпит поражение.

4

Вопрос: как и почему человек нравственно деградирует? — тревожил писателей нашего века не только во времена фашизма. Достаточно назвать такое грандиозное и обобщающее произведение, как «Жизнь Клима Самгина» Горького. Или «Бэлпингтон Блэпский» Уэллса. Мы живем в эпоху всяческих кризисов, а кризисы отнимают у людей возможность держаться серединки и заставляют выбирать между нравственными крайностями. Кризисы испытывают человека на разлом, и незаметная в обычное время трещина делается линией разлома. Кризисы не дают отсрочки, не дают осмотреться и собраться с силами — роковые ситуации возникают внезапно и сразу.

Но уроки фашизма заставили снова все пересмотреть и передумать. Литература стала перед фактом быстрого морального упадка, катастрофического понижения нравственного уровня массы.

Важно и другое. В условиях буржуазного демократизма личному нравственному поведению открыт известный, хотя и всегда ограниченный простор. Человек может сказать себе: как бы ни обстояли дела в большом мире, сам я отношусь к окружающим людям с добротой и любовью. Во тьме я зажигаю огонек, и от этого сумма света и тепла в мире становится чуточку больше. Фашизм перечеркивает эту возможность и до крайности стесняет моральную самостоятельность личности: человека рассматривают как врага или как сообщника и принуждают под страхом смерти войти в ряд круговой поруки. Личное поведение жестко прикрепляется к установленным общественным целям, и почти к нулю сводится возможность решать нравственные вопросы без прямого отношения к этой цели. Внутренняя зависимость, подчиняющая мотивы индивидуального поведения идеалам и интересам общества, в корне извращается, ибо высшим интересом и идеалом общества здесь поставлено злодеяние. Даже общественно нужные свойства людей поступают на службу преступлению и благодаря этому вырождаются, дичают.

Это мы видим в замечательном фильме Вайды «Пепел и алмаз». Мацек обаятелен и вместе с тем отталкивающе страшен. Под влиянием любви к женщине его душа на мгновение пробуждается, и в нем возникает стремление бежать из мира фашистских последышей. Но его удерживают слова о долге, о смелости, о верности — и он стреляет в чудесного человека, который, умирая, падает на грудь своему убийце, как бы ища у него человеческой поддержки. Потрясающая сцена! Долг, преданность, верность — чувства сами по себе, казалось бы, хорошие, пропитываются злом и сливаются с ним. Автор беспощаден к Мацеку настолько, насколько бывает иногда беспощадна историческая правда. Метафору «выброшен на свалку истории» он толкует буквально, и Мацек погибает в корчах среди нечистот и гниющих отбросов. Но наряду со справедливой беспощадностью фильм проникнут добрым и мудрым взглядом на зло в человеке: мы ясно чувствуем, что Мацек мог бы быть другим, что историческая среда, а не человеческая природа сделала его зверем. Этот же добрый и мудрый взгляд сквозит в энергично и страстно написанном романе Д. Нолля «Приключения Вернера Хольта». С неторопливой обстоятельностью художник анализирует весь ход превращения хороших задатков в дурные свойства, весь ход заглушения и подавления одних личных возможностей Вернера Хольта, отбора и закрепления других. Мы знаем с несомненностью, что в ином человеческом окружении, в иной духовной атмосфере из него выработался бы отличный человек, и боль этого провидения сопровождает нас при чтении всей первой части романа.

Литература, посвященная моральным следствиям фашизма, почти необозрима. Но в ней явно обозначились два направления. Одно исходит из того, что люди при фашизме на самом деле, действительно становятся хуже. Другое — из того, что фашизм только обнажает темные пласты человека, только развязывает всегда напряженные агрессивные силы человеческой натуры. Одно начинает анализ моральных результатов фашизма с предельного извращения общества и государства и устанавливает, какую страшную власть над душами людей, какое страшное влияние на поведение людей может приобрести это предельно извращенное общество и государство. Другое рассматривает фашизм как гигантский взрыв внутренних противоречий человека, как извержение комплекса неполноценности. Разумеется, художественные произведения второго направления, при всей несостоятельности ис-

ходных позиций, могли рассказать и рассказали немало верного и важного о фашизме: социальные и политические влияния, чтобы стать моральным фактом, должны непременно пройти через внутренний и субъективно деятельный процесс человеческой личности. Так что литература, воспроизводя этот внутренний процесс как нечто вполне самостоятельное, отражает в рамках заблуждения необходимую составную часть полной истины.

Но главное все же в том, что фашизм разрушает нравственное единство народа, разрывает связи, образующие самодеятельную массу. Осуществляя тотальную систему страха, подозрительности и недоверия, фашизм стремится подавить в людях чувство солидарности и взаимной поддержки: оставить каждого наедине с огромным аппаратом насилия, узурпировавшим права нации, заставить каждого выдерживать единоборство с коварством и мощью государства. Однако в условиях фашизма подавление личности государственно организованным злом реализуется не только миллионократно, но также одновременно, это по сущности своей — насилие над массой, но массой разъединенной, распавшейся, обратившейся в сумму одиночек, это насилие над всеми вместе и над каждым в отдельности.

В новелле «Марио и волшебник» Томас Манн показал методу фашистского подавления человеческой личности. Из массы зрителей укротитель Чиполла выбирает способных к сопротивлению, осмеливающихся говорить: «Это я». На них он обрушивает всю свою силу, всю свою власть, ломая и покоряя их волю, унижая достоинство, вынуждая их чувствовать свое бессилие и презирать себя. И всякий раз, когда Чиполле удается раздавить претендующую на свободу человеческую личность, вся масса зрителей делается все более похожей на запуганное и поклоняющееся своему властителю стадо. После каждой победы Чиполлы скрытое возмущение массы слабеет и растет число людей, готовых издеваться над побежденным и восхищаться победителем. «В этот час зрителями овладевало какое-то странное извращение, полное смятение умов, пьяный распад воли, так долго противившейся воздействию этого отталкивающего человека». Находятся такие, которые спешат избавиться от своего ничтожного «я», с охотой и прямо-таки с наслаждением являя собою «образец обезличения и утраты воли». Однако из массы снова и снова выходят бойцы, готовые отстаивать честь рода человеческого и вызывающие насильника на поединок. Все же Чиполла обуздывает сильных и стойких. Почему? Ответ Томаса Манна очень глубок: «Насколько я понимаю, римлянин потерпел поражение из-за того, что стоял на позиции чистого нигилизма. Видимо, одно только нежелание не может быть источником душевной энергии; не хотеть сделать то или иное — этим жизнь не заполнишь...» Художник прав: кто несет в своей душе идеал гуманной действительности, кто знает, чего хочет, тот обладает наибольшей внутренней силой в борьбе со злом

Томас Манн говорил, что «Марио и волшебник» — новелла не только и, быть может, не столько политическая, сколько этическая. Она открывает взаимозависимость двух процессов: уничтожения массы и возникновения толпы. Разрушение нравственной солидарности угнетенных, уничтожение многочисленных нравственных центров народной жизни, разрушение того, что с полным правом можно назвать нравственной структурой массы, открывает широкий простор демагогии и стадности.

У Кафки злодеяния и ужасы окружены атмосферой равнодушия и обыденности, а при фашизме царствует атмосфера истерической взвинченности, состояние кризиса и катастрофы становится чем-то постоянным, люди втягиваются в чудовищные «радения», напоминающие о диких культовых действах первобытности. Этот существенный момент фашизма — оргии мещанской стадности, опьянение разрушением, вздыбленность чувства времени — с большой силой передал М. Ромм в своем фильме «Обыкновенный фашизм». Мир Кафки угрюм и тих, почти беззвучен, мир фашизма агрессивно криклив, оглушающе шумен. В седьмой симфонии Шостаковича мы слышим, как звучит этот мир: фашистский маршик повторяется с маниакальной настойчивостью, со все большей угрозой, с нарастающим бешенством и скрежетом, со все заполняющим грохотом. Герой Кафки непрерывно рассуждает, он хочет проникнуть в секреты противостоящей ему силы. Опасное вольномыслие Иосифа К., разумеется, принимается во внимание при вынесении ему смертного приговора, но наказание приходит в конце, в итоге. А при фашизме непредвзятое мышление пресекается незамедлительно и беспощадно. Все доступы к правде закрываются, и на место истины ставится принудительная полицейская мифология, заставляющая верить, что зло есть благо. Угнетенного человека Кафки доводят до состояния, когда он безропотно дает себя убить, а при фашизме он обязан сам убивать, в мире Кафки рядовой человек — жертва, в мире фашизма — жертва и палач одновременно. У Кафки зло приближается к своему объекту исподволь, оно действует спокойно и без спешки, постепенно сжимая тиски. Число промежуточных эпизодов у Кафки неограниченно велико, и сам художник не знает, где заканчивается их цикл и где нужно остановиться. А при фашизме моральный ритм, моральная пульсация до крайности ускорены. Зло беспокойно и нетерпеливо, души ломают с такой же быстротой, с какой на дыбе ломают кости, развязка прямо следует из завязки.

Одним словом, моральная деградация приобретает характер явления массового, моральное перерождение становится эпидемией, моральный упадок охватывает многие и многие тысячи людей. Подчинение злу, приспособление к злу, душевный поворот ко злу, переход на сторону зла — эта жуткая эволюция стоит перед литературой как факт, совершенно несомненный и вместе с тем не-

вероятный. Может быть, никогда еще во всей своей истории литература не стояла перед обстоятельством столь удручающим.

И в условиях фашистского террора находились люди, которые остались верными всему человеческому в себе, которые сознательно шли на виселицы и в застенки гестапо. Число таких людей вполне достаточно, чтобы реабилитировать человеческую природу. Ибо выстояли, сопротивлялись и боролись не какие-нибудь исключительные натуры семи пядей во лбу, а совершенно обыкновенные люди. Леверкюн — гений, но все же он идет на сделку с дьяволом, как бы отразив в своей судьбе судьбу Германии. А другой герой романа «Доктор Фаустус», тихий и непритязательный интеллигент Цейтблом, рядом с Леверкюном кажется, да и является посредственностью, однако его старомодный гуманизм, его органическая доброта, его не ждущая награды самоотверженность делают его недоступным для злых искушений. Цейтблом прячется в своем одиноком углу, но он не совершенно бессилен, поскольку мыслит, поскольку ищет и находит истину. Владея истиной, опровергающей существующий миропорядок, человек в какой-то мере становится сильнее этого миропорядка, каким бы безнадежным ни казалось его сегодняшнее положение и сколько бы ни приходили в отчаяние господа пессимисты. Томас Манн знает об ограниченности Цейтблома и относится к нему достаточно иронически, но он высоко ценит сознательное пораженчество тишайшего гуманиста в обстановке националистического безумия и его хотя и тайный, но смелый пересмотр немецкой истории — поскольку она ведет к фашизму. Для Томаса Манна важно не то, что Цейтблом хороший человек, а то, что в его душе уничтожена возможность стать дурным.

И сколь ни грустно содержание новеллы «Марио и волшебник», ее конец говорит о способности человека активно сопротивляться злу. Осмеянный, сломившийся, унизивший себя рабочий Марио в момент, когда его поражение кажется окончательным, находит в себе силу и решимость застрелить укротителя человеков Чиполлу. Томас Манн не скрывает, что заключение его рассказа имеет нравственно-символический смысл. «— Да, это конец... Страшный, роковой конец. И все-таки конец, принесший освобождение,— так чувствовал я тогда, так чувствую и по сей день и не могу чувствовать иначе». «Марио и волшебник» — ответственнейший момент в духовном развитии Томаса Манна — когда он с новой стороны увидел проблему справедливого насилия.

5

Что происходит в душе людей, переходящих на сторону зла? На этот вопрос отвечают многие произведения современной западной литературы. Мы пока коснемся одного из них — новеллы Камю «Ренегат», написанной тогда, когда Камю уже далеко ушел от прекраснодушного стоицизма «Чумы». Переворот в человеческой душе обрисован здесь в самом сжатом очерке, в алгебраической форме притчи.

Герой новеллы вырос среди нравов тяжелых и грубых, в мире суровом, холодном и скучном. Католический священник предложил ему выход из мрачной бесперспективности его бытия, обещая прекрасное будущее и солнце вместо тьмы. С немалым трудом выучив латынь, наш — весьма посредственный — молодой человек возомнил себя призванным к высокой миссии. Он пойдет к самым отсталым, жестоким и диким людям и скажет им о своем небесном господине, «который не дерется, не убивает, приказывает добрым голосом, подставляет вторую щеку». И дурные станут лучше, они склонятся перед всемогущим Словом, а он сам — забитый и маленький человечек — обретет славу и величие как глашатай всепобеждающей моральной и божественной истины.

Одушевленный целью миссионер через пустыню добирается до страшного соляного города, днем сжигаемого беспощадным солнцем, ночью леденеющего в холоде. Свирепые и высокомерные жители города обращаются с пришельцем хуже, чем с животным, чем с вещью. Они как будто совершенно не замечают, что перед ними существо с человеческим сознанием, с человеческой душой. Равнодушно они истязают его, чтобы он боялся и слушался. Им нисколько не нужна истина, нисколько не нужно Слово: они вырывают миссионеру язык, чтобы он молча служил железному истукану зла.

С ним обращаются как с рабом — и он становится рабом. Он чувствует себя ничтожным комочком истерзанной плоти, «страх и страдание задушили его». Он убедился, что зло всесильно, что оно торжествует, и пытается молиться железному истукану, воплощающему конечную власть и победоносность зла,— вот истинный бог, «только он существует». Оскорбленный до немыслимой степени, он союзом с главенствующей мировой силой хочет восстановить свое значение; только так он перестанет быть ничем и станет чем-то. «Добровольно» он делается «исполненным ненависти и измученным подданным» своих безжалостных господ. Все, что ему раньше говорили о возможностях добра, все это — обман. Добро — «граница, которой нельзя достигнуть, царство добра невозможно, лишь зло может дойти до своих границ и неограниченно господствовать, ему нужно служить, чтобы царство его вполне осуществилось... только зло реально — и долой Европу, разум, честь, крест... Да, да, я раб, но если я сам стану злым, то перестану быть рабом, несмотря на мои скованные руки и мой немой рот». Даже имя кроткого бога добра (т. е. Христа) наполняет миссионера отвращением. «Никакого праведника не убивали, я отказываюсь в это верить, никаких праведников на свете не бывает, существуют лишь хозяева зла, помогающие утвердиться беспощадной истине.

Да, только фетиш обладает властью, он единственный бог в этом мире, и ненависть — источник всякой жизни — есть его заповедь».

Но вот в соляной город должен явиться новый миссионер со словами о добре и любви — военная угроза заставила жителей города принять его. Ренегат укрывается за камнем с ружьем в руках, он убьет пришельца. Такова на самом деле проклятая логика измены. Пути назад больше нет. Остается одно — ненавидеть добро еще упорнее и последовательней, чем ненавидят его сами господа. Ренегат приготовился к стрельбе: «Огонь по состраданию, огонь по бессилию, по их любви к ближнему, огонь по всему, что тормозит конечную победу зла...»

Символика новеллы достаточно прозрачна. Однако в ней есть неясный момент, требующий обсуждения.

Ход мысли Камю примерно таков: за известной чертой, за некоторым рубежом начинает действовать инерция и логика падения. Они заставляют идти до предела, изменить всему человеческому, предать человека в себе, перестать быть человеком.

Но что же толкнуло миссионера за роковую черту? Неужели только страх перед болью и смертью? Нет, не только это, объясняет Камю. Миссионер никогда не был добрым, он лишь верил в добро как в некую идею, он никогда не был человечным, а лишь верил в человечность как нечто объективное, внешнее по отношению к его личности, обязанное утвердиться в виде всеобщего порядка. Поэтому, увидев могущество, торжество, непроницаемость зла, он потерял надежду на возможное господство добра как объективной и жизненной силы, потерял надежду на осуществление мирового царства гуманности. Он почувствовал себя не только несчастным, но и разочарованным, его душа стала пустой — и в этот вакуум всосалось зло.

Прав ли Камю? Отчасти прав и прав лишь отчасти. Прав в том, что добродетель чего-нибудь стоит и является чем-то действительным лишь в том случае, если она слилась с личностью, если стала идущей изнутри потребностью, если отождествилась с субъективностью. Мораль без субъективности мертва. Мораль, не пропитавшаяся субъективностью,— всего только догма.

Но вместе с тем мысль Камю содержит в себе заблуждение. Оно основано на простом софизме: если нравственность должна отождествиться с субъективностью, значит, субъективность тождественна нравственности, если мораль невозможна без субъективности, значит, мораль сводится к субъективности. Эта точка зрения игнорирует тот несомненный факт, что мораль имеет объективный источник и порождается общественной необходимостью. Опыт фашизма с ужасающей очевидностью показал, к чему приводит тотальная система безнравственности, неравенства и насилия и до какой степени она угрожает самому существованию человечества.

Человеческая личность бессознательно впитывает в себя общественную мораль и перерабатывает ее в субъективную моральную потребность и волю. Объективное говорит на языке субъективности, таков и вообще нормальный язык объективного в сфере исторической деятельности людей. Совесть— момент, где общественное становится непосредственно личным, где моральная свобода обнаруживается как нечто подвластное необходимости — совесть заставляет поступать так, а не иначе, свобода решения находится перед судом совести, и мы несем внутреннее наказание за вольное и невольное отступление от вросших в нашу душу моральных норм.

Камю облегчает себе задачу, подвергая испытанию мораль религиозную, чья объективность — мнимая. Но все же в известных отношениях даже и религиозная мораль обладает преимуществами по сравнению с субъективистской моралью Камю. Мысль о том, что субъективное нравственное чувство выводит за свои пределы к объективному источнику и началу морали, все же вернее мысли Камю, полагающего, будто субъективность является конечным источником добра. Взгляд христианской морали больше считается с жизнью массы, он шире и реалистичнее, чем взгляд Камю. Христианское представление о грядущем царстве добра, несмотря на всю свою фантастичность, глубже коренится в действительности, чем представление Камю о морали чистой субъективности. Религиозная мораль в такой мере способна быть выше морали Камю, в какой объективный и широкий идеализм способен быть выше идеализма узкого, аристократического и субъективного. Не говоря уже о том, что атеизм Камю прикован к своему религиозному противнику, зависит от него и по сути дела не умеет самостоятельно существовать без своего антипода. Подобно Ивану Карамазову, Альбер Камю хочет вывести мораль из того, что бога нет. Но это столь же невозможно, сколь невозможно ее вывести из того, что бог есть.

Гораздо важнее другое. Камю думает, что вместе с религиозной моралью он опровергает и всякую другую мораль, опирающуюся на объективное и необходимое. Например, мораль коммунистическую, представляющую собою, по его мнению, подобно религии, определенное учение, идеал, подлежащий осуществлению, — то есть нечто якобы отчужденное от субъективности. Камю знакомился с историей коммунистического движения по сочинениям всховца Бердяева, ныне причисленного к лику экзистенциалистских святых. Он не понял, что коммунизм обращается не только к разуму, не только к интересам, но в неменьшей степени и к нравственному чувству — обращается ко всему человеку. Коммунизм имеет не только научные, но и нравственные источники. Они прослеживаются на всем протяжении его развития. Загляните в книгу Карла Каутского «Предшественники новейшего социализма». Там приведено много волнующих фактов, свидетельствующих, что «еретический коммунизм» XV—XVI столетий имел своей основой не только

интересы угнетенной массы, но также развитое нравственное чувство, интенсивнейшее стремление к добру, взаимопомощи и справедливости. И на попытки самых мирных и кротких перекрещенцев создать коммунистические общины господа отвечали таким же разгулом убийств и жестокостей, каким власть имущие XX века ответили на растущую опасность коммунизма. Загляните в научно достоверную книгу В. Далина «Гракх Бабеф». И вы увидите, как новые идеи о совместном производстве, о связи коммунизма с революцией объединяются у Бабефа с идущими из глубины веков нравственными истоками коммунистических стремлений. К сожалению, история коммунизма как нравственного движения еще не написана. Однако и без этого ясно, что человек, вполне принимающий сумму научных выкладок и учений коммунизма и чуждый его нравственной стихии, не может ни быть подлинным коммунистом, ни действовать как подлинный коммунист. Коммунизм претендует не только на объективное суждение личности, но и на субъективнейшую сферу ее нравственного духа.

6

Задача ввести читателя во внутренний мир «положительно прекрасного» человека сохраняет высокую важность в современной западной литературе. Решая ее, художники помогают читателю усвоить — и в какой-то мере сделать своим — душевный опыт людей, выдержавших давление безнравственного миропорядка и морально не согнувшихся. Кроме того, убедиться в жизненной несомненности этого душевного опыта.

В любой новой исторической ситуации эта задача требует нового и оригинального решения. Например, в современной Америке. Американский империализм заслуженно получил имя мирового жандарма. Всюду он душит народы, борющиеся за свободу. Всюду насилием и войной утверждает реакцию. Он навязывает народу Америки сделку с дьяволом: уступками, посулами реформ, повышением материального довольства он хочет купить миллионы человеческих душ, хочет купить одобрение политики, опасной для будущего всего человечества. И вместе с тем он разнуздывает агрессивный национализм мещанства. И вместе с тем позволяет — впрок — усиливаться американскому фашизму. Как же чувствует и ведет себя, как духовно сохраняет себя и управляется с совестью добрый и гуманный человек в такой обстановке?

В романе «Кентавр» Апдайк рассказал об учителе Колдуэлле, чистотой души напоминающем князя Мышкина. Колдуэлл немало испытал, немало повидал на своем веку. Но он ни в какой мере не стал бывалым человеком и сохранил, как Мышкин, некую детскость и приятную ребячливость. Его считают чудаком. И не без основания — ведь в его душе попросту не существуют мотивы нормального буржуазного поведения. Он настоящий американец и снабжен изрядным числом американских предрассудков, но выключен из той американской трагедии, которая описана Драйзером,— ему вполне чужд буржуазный карьеризм. Живет он трудно, погруженный в заботы, но положение трудящегося, зарабатывающего свой хлеб, представляется ему единственно возможным, единственно достойным и естественным; ему даже в голову не пришло бы использовать шанс, за который ухватился Итен Хоули. Потребность делать людям добро, радовать их составляет главный интерес его жизни, и в его сознании нет характерного буржуазного противоречия между нравственным чувством и этим интересом. Возможность увидеть ближнего — пусть на одно мгновение — счастливым заключает в себе непреодолимый соблазн для Джорджа Колдуэлла, и, совершив добрый поступок, он чувствует себя как человек, подчинившийся страсти. В душе Колдуэлла утвердился принцип солидарности и служения людям, вытекающий из сущности человеческого труда.

Должны ли мы увидеть в Колдуэлле идеальный образ, пересаженный из мира фантазии в жестокий мир действительности, или жизненный тип, выкристаллизовавшийся из жизненного и психологического опыта художника? Всякий, кто достаточно долго общался со средой угнетенных и трудящихся, знает твердо, что нравственные характеры, подобные Джорджу Колдуэллу, не только реально существуют в этой среде, но и являются для нее необходимостью. Это как бы точки, в которых сгущается и с наибольшей интенсивностью проявляется нравственная жизнь народа. Ленин говорил о двух культурах в каждой национальной культуре. Такие люди — носители второй, не зависимой от господствующего класса, моральной культуры. Мы их встречаем — в плоти и крови — в сочинениях Горького, Андерсена-Нексе, Ромена Роллана, Хемингуэя, Фолкнера, в творениях многих писателей, которые не только любили, но также хорошо знали свой народ. В них как бы персонифицируются стремление к справедливости, жажда подлинно человеческих отношений, десятилетиями и столетиями копившиеся в глубинах трудовой массы. Это стремление и эта жажда составляют основной моральный фонд, главный моральный резерв человечества.

Идея «Кентавра» опирается на тот факт, что Колдуэлл на самом деле существует; идея строится по формуле: если Колдуэлл есть, то...

То, во всяком случае, жизнь заключает в себе какой-то более глубокий смысл, чем кажется с поверхностного взгляда. Если же Колдуэлл образ предположительный, субъективный, лишенный эмпирической основы, тогда поэтическая идея Апдайка рушится.

Поэтому художник озабочен тем, чтобы как можно основательнее укрепить эмпирическое бытие своего героя. Мы знаем и рост и походку Колдуэлла, его «бугристое» лицо с характерным выражением пытливости и

растерянности, проникновенной доброжелательности и замученности. Мы видим этого большого человека в обтрепанном пальтишке и «идиотской вязаной шапочке» — одежде современного Пьеро, заблудившегося в мире мещан. Мы следим, как пересекаются в душе Колдуэлла планы реальной и идеальной действительности. Реальной — в ней духота, безобразие, посредственность, идеальной — в ней подобная чуду красота и естественная страсть, в ней герои и боги, в ней величественная наивность, близкая к первозданным началам сущего. Однако и по отношению к идеально мифическому Апдайк сохраняет изрядную долю реалистической иронии. В обоих царствах события развиваются в обидной параллельности друг к другу. Отношения героев мифа до обидного похожи на отношения пакостных людишек, окружающих Колдуэлла. Властитель Олимпа — всего только увеличенный во много раз директор школы Зиммерман. Могучий, мудрый и добрый Кентавр вынужден страдать не меньше, чем учитель Колдуэлл, и как для одного, так и для другого нет исхода из страданий, кроме смерти.

Возможно и вероятно, что автор хотел указать на неизменность и вечность трагического противоречия между человеческой добротой и неправедностью мира. Но кроме этой ошибочной мысли сопоставление Апдайка заключает в себе также мысль верную: идеальный мир является своеобразным и преображенным отражением мира реального. А вот еще и третье значение: в сопоставлении Апдайка как бы зафиксировались разные пласты внутренней жизни героя, обозначились разные формы его самочувствия. В представлениях, соприкасающихся с окружающей реальностью, сказывается зависимость и слабость, отвращение и страх Колдуэлла. Он до ужаса боится Зиммермана, который в любой момент может унизить его и выгнать из школы. «Рослый учитель чувствует, что весь холодеет с ног до головы. Усталость, пустота и тщетность всех усилий охватывают его как никогда... Волна головокружения и мучительного беспокойства захлестывает учителя; ему хочется взмахнуть руками, упасть на пол и заснуть — что угодно, только не стоять здесь, не сносить, не терпеть все это от самодовольного негодяя, от которого ничего не скроешь». Иначе он относится к себе, когда входит в идеальные сферы своего духа. Унижение и страх не исчезают, но становятся отдаленнее, восстанавливается чувство мощи и гармонии, сознание человеческого величия. Еще раз мы убеждаемся в том, что художественный образ может заключать в себе совокупность ряда значений.

Шаг за шагом мы узнаем, как сложна личность доброго учителя Колдуэлла, и все явственнее ощущаем полноту его личности. И вместе с этим мы все дальше входим в трагедию Колдуэлла. Это не «американская трагедия» в старом смысле слова, и все же в каком-то новом смысле это трагедия современной Америки.

7

Доброта Колдуэлла наивна и непосредственна. Он не морализирует, он живет так, как ему свойственно жить. В каждый данный момент он целиком уходит в общение, и его не слишком интересуют вопросы самооценки. Для него естественно думать о других, и навязанную ему действительностью заботу о самом себе он воспринимает как мучительную тягость — он готов даже из-за этого считать себя эгоистом. Колдуэлл легко мирится со своей жизненной неприспособленностью, не боится быть смешным, не беспокоится о том, каким представляется окружающим людям: он может и хочет быть только тем, что он есть. Свободно он исполняет веления внутренней необходимости, и поэтому окружающий мир не в силах его развратить или испортить. Злу не за что зацепиться в его душе. Власть ему противна, стяжание — гадко, честолюбие — чуждо. Он дрожит от страха, но не отступает. Уничтожить его не трудно, сделать злым — невозможно. Его личность не свободна от противоречий, но это противоречия человека, находящегося в естественном согласии со своей моральной природой.

И при всем том Колдуэлл глубоко несчастен. Окружающий мир живет по законам, враждебным человечности, и этого Колдуэлл не в силах вынести. «Отбросы, гниль, пустота, шум, смрад, смерть...» «Пыль, рвань, плевки, бедность, всякая дрянь из сточных канав, весь хлам и хаос из-за пределов прочного и надежного мира ворвались сквозь дырочку этого последнего укола». Приведенная фраза Апдайка затрагивает самую суть дела: сквозь «дырочку укола» его личному достоинству проникает в Колдуэлла вся скверна мира. В том, что его школа «отдана во власть зверей», он провидит всеобщее господство отношений жестоких и беспощадных к слабому. «Глупая доброта всегда порождает умную жестокость». Колдуэлл чувствует себя так, как будто вся несправедливость мира навалилась на его душу, и он изнемогает под бременем непосильной ноши.

Здесь-то и начинается трагедия. Колдуэлл умеет оценить жизненные факты, но не может их понять. Он морально отвергает существующее, но не имеет ни малейшего понятия о том, что с ним можно поделать. Возникающие в его сознании вопросы исчезают бесследно в пустоте, как камни, брошенные в бездну. Он влачит за собой традиционную религиозность, одновременно чувствуя, что она несовместима с возмутительным состоянием мира: «— Не вижу, в чем же бесконечная милость божия, если она ничего не меняет». Ему претит жестокость религиозного предопределения, и он относится с недоверием к кальвинистам, «которые в его представлении связаны с Зиммерманом и Кальвином, а те в свою очередь — со всем темным, бездушным и деспотическим на свете». Его религиозная вера светла: «Где бы ни радовалась живая душа — в грязи, в смятении, в бедности,— всюду являлся

бог и предъявлял свои права». Учитель Колдуэлл в таком мире не решается признать доброту вполне своей, совсем человеческой и усматривает в ней начало божественное: «Всюду, где люди хоть на миг испытывали радость, прокрадывался бог...» Такой взгляд не мешает Колдуэллу быть человеком чистым и нравственно прекрасным, но серьезно мешает ему постигнуть истину. А без союза доброты с истиной никогда не наступит царство человечности.

Доброта Колдуэлла не напрасна. Его жизнь оставила след в душах людей. Это очень много. Но все же неверно, что, «отдав свою жизнь другим, он стал совершенно свободным». Моральная свобода — это еще далеко не вся свобода. Колдуэлл и сам не скрывает от себя горькой правды: мир продолжает быть таким, каким был раньше. Моральное сознание, как называл его Гегель, вообще не способно разорвать идеологическую пелену, которой его окружает буржуазное общество. Колдуэлл знает, как установить свои отношения с людьми, но не знает, как установить свои отношения с обществом. Такова трагедия миллионов американцев. Поэтому Колдуэлл идет к отчаянию, и его страх перед смертью и жизнью превращается в желание смерти. «Впереди, как крутая гора, высилась безнадежная усталость. От мысли, что снова придется изворачиваться перед Зиммерманом, миссис Герцог и всей этой огромной деспотической олинджеровской бандой, ему становилось тошно,— как могло семя его отца, таившее в себе беспредельные возможности, взрасти вот здесь, на клочке бессильной, неблагодарной, враждебной земли...»

Добрый учитель Колдуэлл — и притом исключительно потому, что он добрый,— становится фигурой трагической. В этой мысли Апдайка есть важная современная правда. Колдуэлл не может удовлетвориться тем, что он хороший. А как же все остальное? Как быть со всем остальным? Его страдание и унижение сливается со страданием и унижением других людей, и на самом себе он чувствует гнет всего дурного, что есть на свете. Трагедия Колдуэлла возникает именно оттого, что необычайно глубокое моральное участие в жизни других людей соединяется в нем с безучастностью к вопросам переустройства жизни. Это противоречие между гуманистической сознательностью и политической и классовой несознательностью, между моральной свободой и идеологической плененностью и зависимостью; это противоречие между Колдуэллом — человеком передовым с точки зрения духовно нравственной и Колдуэллом — человеком отсталым с точки зрения исторической. Притом совершенно не обязательно, чтобы он сознавал указанное противоречие. Оно есть и как бессознательная сила давит на его душу, вызывая в ней незатихающее страдание, тоскливое одиночество, непобедимую усталость. Итен Хоули терпит поражение оттого, что изменяет себе и своей совести. А Джордж Колдуэлл приходит к отчаянию, к тому, что он «человек конченый»,— и в этом смысле к поражению, несмотря на жизнь, целиком отданную добру,— вот что самое горькое в горьком романе «Кентавр».

Колдуэлл очень далек от политики. Мы не можем поставить это в упрек Апдайку: в Америке пока еще слишком много людей, чурающихся политики, прячущихся от политики. Но мы отлично знаем, что такие люди, как Колдуэлл, не смогут сколько-нибудь долго уклоняться от участия в политической жизни. Очень скоро им придется решить: поощрять ли своим молчанием и невмешательством тех, кто залил кровью поля Вьетнама? Поощрять ли своим молчанием и невмешательством тех, кто убивает негров? Поощрять ли своим невмешательством и своей пассивностью тех, кто готовит новую мировую войну? В какой-то момент отказ от политики становится изменой нравственному долгу, изменой совести.

Все же Апдайк отдал политике одну важную сцену романа: спор завтрашнего голдуотеровца Майнора с сыном учителя Колдуэлла Питером. Майнор сожалеет, что война с Германией не перешла сразу в войну с Советским Союзом: «Взяли бы Москву, раз уж случай такой вышел». Майнор явно предпочел бы идти с Гитлером против России, чем с социалистической Россией против Гитлера. Рузвельта он, конечно, ненавидит и т. д. Для Питера этот человек, «со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой, воплощает все то в мире, что убивает его отца».

Однако сам Колдуэлл не способен увидеть в Майноре воплощение враждебной ему стихии. Он и на кабатчика Майнора — завтрашнего фашиста — распространяет свою христианскую благожелательность. Узнав, что сын его «только что объявил себя безбожником и коммунистом», Колдуэлл замечает:

«— Это он просто так, шутки ради. Вы же сами знаете. Никого во всем городе он не уважает больше, чем Майнора Креца. Вы мальчику как отец родной и не думайте, что мы с его матерью этого не ценим.

— Папа! — говорит Питер, краснея за отца».

Да уж, на сей раз готовность Колдуэлла угождать людям заходит слишком далеко. Его гуманизм становится жалким, его доброта к врагу — нравственно сомнительной, его слепота — опасной.

С чувством неловкости и грусти мы читаем о том, как Джордж Колдуэлл «расшаркивается» перед Майнором.

«— ...я вовсе не думал смеяться над вами, когда говорил о коммунистах, я их люблю не больше вашего, Майнор».

Вот оно, противоречие колдуэлловского гуманизма в его самом резком, кричащем выражении! Учитель Колдуэлл любит кабатчика Майнора и не любит коммунистов. Это ли не трагедия? Добрый Колдуэлл открещивается от самых верных и надежных своих союзников в борьбе против несправедливости и войны. Безраздельно господству-

ющий в Америке антикоммунизм подавил сознание Колдуэлла и не только закрыл ему дорогу к истине, но также прервал его нравственное развитие.

Прозреют ли колдуэллы? Разорвут ли пределы буржуазно-христианского гуманизма, двинутся ли дальше по гуманистическому пути? Мы верим, что именно так и случится. Жизнь поставит Колдуэлла перед альтернативами, и, решая их, он шаг за шагом будет продвигаться к правде. Возможно и весьма вероятно, что пойдет при этом гораздо дальше, чем создавший его художник. Неужели Колдуэлл не станет рядом с теми, кто протестует против войны во Вьетнаме? Неужели он не станет в ряды противников новой мировой войны? Человек добра и справедливости в конце концов найдет свой верный путь, своих действительных союзников. Но горе Америке, если Колдуэлл будет искать этот путь слишком долго.

8

В произведениях Грина картина жизни всегда была достаточно мрачной и печальной, но редко где она была такой равномерно беспросветной, как в «Сути дела». Тут мало сослаться на фантазию, бессознательно претворяющую итог жизненного опыта художника. Фантазия, несмотря на бессознательность, находится в весьма рациональных отношениях к замыслу. Темные краски «Сути дела», отсутствие в ней вещей и явлений, красотой своей способных внушить и поддержать надежду, помогают Грину создать моральный роман, без навязчивого морализирования. Принцип реалистического искусства — рисовать жизнь такой, какова она есть на самом деле,— распространен на самые высокие явления морали: мораль, какова она есть на самом деле. Мораль проверяется злом и трудностью жизни, добро показывает, на что оно способно.

Книга рассказывает о человеке, не только глубоко гуманном, но и высоко одаренном в нравственном отношении, вполне обладающем талантом добра. Скоби, хотя и в более узких пределах, свойственно чувство ответственности за ближних, бесконечное сострадание, готовность жертвовать собой, которые обычно приписывают Христу. В одном отношении Скоби даже выше Христа: он берет на себя не только бремя святости, но и самое тяжкое для нравственно чистого человека бремя греха и преступления.

В качестве полицейского чиновника Скоби почти как бог всеведущ относительно всего плохого в людях, и ему требуется едва ли не большая, чем богу, терпимость, чтобы любить их. Скоби говорит о себе: «Тут можно любить человека так, как его любит бог, зная о нем самое худшее; тут вы любите не позу, не красивое платье, не надуманные чувства...».

Несмотря на это, Скоби в конце концов запутывается не менее жалким образом, чем бедняжка Бовари. Нам всегда говорили, что истинно добрый человек по меньшей мере остается в согласии с самим собой. А Скоби приходит с собою в безысходный конфликт. Нам говорили, что добрый человек, остающийся до конца последовательным и верным себе, по крайней мере свободен от угрызений совести. А Скоби изнывает от угрызений совести, надо признать, в какой-то мере обоснованных. Не менее важно и то, что, чувствуя и действуя как христианин, Скоби приходит к неразрешимому конфликту со своим богом.

Но почему все-таки эти конфликты неизбежны? Ведь Скоби не ставит себе каких-либо общих целей, и будущее человечества его нисколько не тревожит. Он только принял на себя ответственность за судьбу двух женщин и стремится сделать их хоть немного счастливее. Ради этого он готов отдать все, сделать все, пожертвовать всем. Неужели же нельзя быть добрым в таком маленьком жизненном кругу, не попадая в клещи громадных противоречий действительности?

Дело в том, что наша эпоха раздвинула представление о возможном преобразовании человеческой жизни, а потому раздвинула и сферу личной моральной ответственности. Экзистенциалисты, которые твердят об ответственности человека и ее значении для всеобщих судеб, совершенно не понимают, откуда пришла эта постановка вопроса. Кант говорил: ты можешь потому, что ты должен. В каких-то пределах эта формула справедлива. Но в иных — более широких пределах — справедлива и обратная формула: ты должен потому, что ты можешь. Несчастья, причиняемые бурями, не входят в сферу человеческой совести, поскольку они от человека не зависят. Чисто стихийные процессы не подведомственны морали, ей подведомственны лишь процессы, соприкасающиеся с человеческой свободой; лишь та необходимость, которую можно подчинить человеческому контролю, включается в область практической морали, и относящиеся к ней действия становятся подвластными совести. В начале прошлого века границы личной нравственной ответственности проходили не там, где проходят сейчас, ныне все более общие отношения делаются зависимыми от сознательных человеческих поступков, вступая тем самым в сферу личного поведения и личной морали; сумма моральных обязанностей человека растет, и круг его моральных отношений свидетельствует об историческом уровне нравственности не менее точно, чем кольца на древесном стволе — о возрасте дерева. Расширение сферы нравственности является хотя и не явным, но глубоким и важным последствием нашей Октябрьской революции. Раз многие миллионы людей взялись переделывать жизнь на началах справедливости, значит изменились и личные нравственные задачи всех людей на свете.

Но почему все это касается Скоби? Ведь он решает моральные вопросы в старом узком кругу, он не может управиться с отношением к самым близким людям, для него мораль ни в какой степени не стала еще дорогой в политику, он вполне равнодушен к историческим условиям всеобщей нравствен-

ной жизни. Все это так. Однако, размышляя об этом, мы должны иметь в виду поразительную способность литературы улавливать и воспроизводить общие формы явлений данной эпохи, в том числе и специфически современные формы моральной жизни. И начнет ли художник с широкого или узкого конца, он самой нравственной диалектикой будет приведен к вопросу о разрывах в неделимой морали, о новом и более обширном смысле человеческой добродетели.

В одном случае он столкнется с трагическими последствиями нравственного фанатизма — недоброй добродетели, пренебрегающей живой личностью, холодно минующей действительного человека, не обремененной чувством братской привязанности к людям. Такому фанатизму, сколь бы ни были высоки его цели, всегда грозит перерождение и бюрократизация; интеллектуальному идеалу, не поддержанному живым пафосом, грозит отвлеченность, моральное доктринерство и рассудочность. И художник, с присущей ему болезненной чуткостью, ясно сознает вытекающую отсюда опасность и всю необходимость сомкнуть общественный идеал с лично человеческой сферой, всю необходимость продолжить социальное до персонального.

С другой стороны, художник, прослеживающий драму доброты в узких, лично человеческих границах, по-новому ощущает эти границы: как линию давления, которое общая несправедливость и общее зло оказывают на личную справедливость и личное добро.

Драма личной доброты становится трагедией; светлый нравственный мирок, построенный добрым человеком, накрывает тень властвующего зла; ужасающее воздействие господствующих отношений извращает до неузнаваемости доброту и ее поступки и может даже превратить их в свою собственную противоположность.

Каким же образом возникает нравственная трагедия Скоби, завершающаяся — как всякая подлинная трагедия - неизбежной гибелью?

В ответе на этот вопрос лежит суть дела, с ним же связана и художественная глубина романа.

В несколько отвлеченной форме смысл ответа можно выразить так: Скоби натыкается на противоречие между субъективным намерением и объективным значением вытекающего из намерения поступка, на противоречие между нравственной целью и средством, которое нужно употребить, чтобы нравственная цель реализовалась. Он сталкивается с тем фактом, что средство не может быть извлечено из одной только субъективной силы добра, из одной только нравственной решимости и готовности к самопожертвованию и должно быть найдено во внешней действительности. А там оно неизбежно зависит от жизненного уклада, имеющего к нему отношение только отрицательное. И, взявшись за средство, Скоби тянет всю сеть прикрепленных к нему зависимостей, в конце концов запутываясь в этой сети.

Грину отлично известно, что в непосредственном общении и воздействии личности на личность человек может выбрать средство, вполне гармонирующее с гуманной целью. Ему отлично известно, какую важность имеет, так сказать, излучение личной доброты, любое проявление бескорыстного чувства, заботы или внимания. Но он достаточно трезвый и правдивый художник, чтобы этим не ограничиться. Когда речь идет не только о выражениях личного сочувствия, готовности делиться и жертвовать, но о поступках, меняющих к лучшему жизненное положение другого человека,— тогда нельзя уклониться от обращения к средству, не имеющему ничего общего с благой целью и вместе с тем являющемуся универсальным средством в том мире, в котором живет Скоби. Где взять деньги для доброго дела? У кого и как добыть эти деньги? С этим вопросом, как наручниками, скован вопрос о реальности добра как дела, если ставить вопрос в подобающем масштабе.

Жене Скоби кажется, что она будет много счастливее, если уедет из убогого городка, где жизнь ее стала невыносимой. Она сама терзается и еще больше терзает своим страданием Скоби, изнемогающего от жалости и от бессилия помочь. Речь идет просто-напросто о перемещении в пространстве. И никакой затратой нравственной энергии нельзя осуществить этого перемещения, если не купить билета на пароход. Внутреннейшие нравственные отношения людей переплетаются с отношениями безличными — отсюда с неизбежностью возникает расхождение между доброй целью и чуждым добру средством.

Может быть, Скоби сумел бы разрушить иллюзорную и никчемную мечту Луизы об отъезде, но он всегда исходит из того, в чем видит свое счастье другой человек, а не из того, как сам он мог бы представить себе это счастье. Так что остается единственное решение: взять деньги взаймы у ласково-коварного Юсефа. На первый взгляд, сделка как сделка, проценты обычные, никакой взятки или подкупа. Но Скоби в глубине души знает, что на самом деле все это не так, что Юсеф, за которым Скоби следит и которого старается поймать, оказывает ему услугу вовсе не из желания получить обычные проценты.

В этом месте романа мы впервые встречаемся с проблемой греха, играющей важную роль в книге и рассмотренной своеобразно и глубоко. Речь идет не о рядовом грехе — уступке эгоизму, наслаждению, страсти, плоти. Речь идет о грехе особом, возможном лишь на высшей ступени доброты, о пределе самопожертвования, ибо здесь добрый человек жертвует своей душой и чувством уважения к себе. Совершая грех, он ничего не приобретает для себя, напротив, навсегда лишает себя покоя и обре-

кает себя на всегдашнее мучение. Избежать такого греха Скоби не может, так как имеет в виду не формальное кантовское добро, а добро, облегчающее жизнь близкому человеку, освобождающее от страдания, дающее хоть капельку блага и радости. («Он всегда нес ответственность за счастье тех, кого любил».) Его грех — это дань, которую добродетель обязана платить выгоде; его грех— это зло, которое в мире, основанном на выгоде, подобно тени, сопровождает добро. И Юсеф, набросивший петлю на шею Скоби, рассуждает как делец: ты хочешь в мире, принадлежащем выгоде, совершать добро — плати, откупись; я отношусь к тебе с уважением и даже симпатией, но дело требует, чтобы ты заплатил как можно больше. И Юсеф беззлобно, неумолимо затягивает петлю.

Но, может быть, Скоби, на своей шкуре познавший относительность моральных правил и относительность вины, может утвердиться на этой относительности и с высоко поднятой головой пройти через трудную свою жизнь — жизнь святого и грешника. Оказывается, что это невозможно, оказывается, что мораль заключает в себе нечто абсолютное, и оскорбление этого абсолютного отзывается в душе горечью стыда и чувством моральной загрязненности. Однако самое печальное в том, что чистая натура Скоби, вынужденного ко злу ради добра, в конце концов изменяется и в чем-то становится хуже. Он с ужасом замечает в себе потерю великодушной готовности быть обманутым, убыль снисходительности, дурную, нечистую подозрительность, направленную на возможное зло, а не на возможное добро в другом человеке. Он нарушает почти все нравственные заповеди священной для него книги и проходит круг преступления — от обмана до убийства. В конце концов он участвует в убийстве верного своего слуги, убийстве предательском и, по-видимому, спровоцированном мнительностью его больной души. Одним словом, Скоби переступает через моральный закон не только по логике добра, но также и по логике зла.

Возникает нравственная антиномия, обе стороны которой одинаково необходимы,— нравственная антиномия отчаяния. Она ведет Скоби к глубоким несогласиям с богом и кризису веры, покоящейся на религиозном постижении нравственного.

Из опыта узнал Скоби о расхождении между нравственным законом христианства и его нравственным духом. Первый указывает, как человек должен заботиться о своей нравственности, при каких условиях он может достигнуть нравственного удовлетворения и стать праведным. Второй указывает, как забыть о себе, как жить любовью к людям и заботой о чужом счастье. Но как же быть, если любовь к ближнему требует, чтобы ты нарушил закон морального самоустройства и самоусовершенствования? Закон говорит: не укради. А если матери приходится украсть хлеб, чтобы накормить умирающих от голода детей? Закон говорит: не убий. А если нужно убить фашиста и спасти людей, назначенных к сожжению в печи освенцимов? Или — в общей форме: если нужно действовать так не ради себя, а ради блага других людей, ради любви к ним?

Догматическая христианская мораль подтверждает лишь добро, обеспечивающее спасение души. Но Скоби находится перед действительностью, в которой именно сострадание и жалость оказываются искушением. Он знает, что поддаваясь искушению, идет к тупику и гибели, но если бы ему позволили возвратиться назад и начать все сначала, он бы снова выбрал тот же путь— для него главное не собственная душа, а чужое страдание и счастье. По сути дела Скоби выходит за границы христианской морали, он делает шаг от морали душеустройства к морали жизнеустройства, для него задача не столько в том, чтобы стать хорошим, сколько в том, чтобы людям стало хорошо. Но задачу свою он решает лишь в личном микромирке, сдавленном окружающими отношениями, и потому крушение его неизбежно.

Что же это за проклятие, осуждающее истинно доброго на нравственную гибель?

Вопрос приводит нас к другому важнейшему моменту в духовном кризисе Скоби: к ответственности бога за нравственный миропорядок. Точнее говоря, ответственности бога за коренное несоответствие между порядком действительности и живущим в человеческой душе нравственным законом. Не обходится, разумеется, без аргумента, который приводил еще Иван Карамазов и который встречается почти у всех мыслителей, восстающих на бога по нравственным мотивам: как может бог вынести страдания детей. «Даже церковь не может меня научить, что господь лишен жалости к детям»,— говорит Скоби католическому священнику. Но вскоре Скоби пришлось усомниться в справедливости своего утверждения: он видит, как нещадно боль пытает ребенка.

«— Ужасно,— пробормотал Скоби.

— Что ужасно?

— Такой маленький ребенок.

— Да. Родители погибли. Но не беда. Он тоже умрет...

...То, что ребенку позволено было промучиться сорок дней и сорок ночей в открытом море,— вот загадка, которую трудно совместить с милосердием божиим.

А он не мог верить в бога, который так бесчеловечен, что не любит своих созданий».

Нравственные претензии к богу возникают на каждом шагу. Бог вложил в человеческое сердце неискоренимое желание счастья и вместе с тем наполнил мир горем. В таком мире счастье, истинно человеческое, а не скотское, делается невозможным. «Как глупо ждать счастья в мире, где так много горя... Покажите мне счастливого человека, и я покажу вам самовлюбленность, эгоизм и злобу либо полнейшую духовную слепоту».

Но самое удивительное и сбивающее с толку состоит вот в чем: божественная мораль неотделима от любви к людям, под-

линной близости к ним, а жизнь устроена так, что люди — даже тесно между собою связанные — настолько далеки друг от друга, что нет ни малейшей возможности перешагнуть через разделяющую их пропасть. Как любить ближнего, если ближнего на самом деле нет, если чужая душа — потемки, если стремление принести другому человеку благо оказывается в серьезных и важных случаях неосуществимым? «Если бы только сначала я мог устроить так, чтобы ей было хорошо, подумал он; в хаосе этой ночи он вдруг забыл о том, чему научил его опыт: ни один человек не может до конца понять другого, и никто не может устроить чужое счастье». Это одна из решающих мыслей романа. Скоби отдает все — даже честь, даже чувство собственного достоинства, даже любовь к богу,— чтобы сделать жизнь двух слабых женщин хоть немного лучше, и все напрасно — они остаются несчастными. Напрасно он молит бога: «Покарай меня, но дай хоть немного счастья им обеим». Бог молчит, и в душе Скоби зарождается ожесточение против него. «Ну, а что касается бога, он мог с ним разговаривать только как с врагом — такая у них была друг на друга обида».

Мы наблюдаем судороги агонизирующей веры. Скоби не может расстаться с представлением о стоящей над миром божественной воле. Но, может быть, эта воля бессильна? Может быть, бог хочет добра, и мир не покоряется ему, и бог так же терзается, как терзается Скоби от сострадания и бессилия? «Никогда прежде не понимал он так явственно все бессилие божие».

Однако на этих мыслях Скоби не может остановиться именно потому, что понимает: неосуществимость добра — это внутренняя его гибель, а не только внешняя неудача. И тогда он повторяет слова Ницше о мертвом боге. «Теперь, куда ни глянь, надежды нет нигде — только мертвый бог на кресте... Теперь перед ним раскинулась страна, где правят отчаяние и безысходность». В альтернативе: живой бог — тогда надежда, мертвый бог — тогда безысходность суммировалось миросозерцание Грина на стадии «Сути дела».

Остается еще возможность, мимо которой не проходит Скоби: а что, если бог есть источник не только добра, но и зла, если бог есть коварное существо? В таком случае нужно верить в бога, но не нужно верить богу. «Нет. Я тебе не верю. Я никогда тебе не верил. Если ты меня создал, ты создал и это чувство ответственности, которое я таскаю на себе, как мешок с камнями». Неизвестно, является ли благо человека конечной целью бога или человек лишь средство для какой-то другой — чуждой человеку — всемирной цели. Отвечать перед человеком или перед богом — такой выбор приходится делать Скоби. Скоби ставит на первое место человека, наступая на горло своему религиозному чувству, трагически оскорбляя своего бога и данный богом закон. «Господь может и потерпеть, подумал он; как можно любить господа в ущерб одному из его созданий. Разве женщина примет любовь, ради которой ей надо принести в жертву своего ребенка?» И в другом месте: «Признай, что я должен раньше думать о них, а потом о тебе». Так разрешает Скоби противоречие между любовью к богу и любовью к людям, составляющее одно из решающих нравственных противоречий Евангелия.

«— Я даже вообще не убежден, что я верую». Однако читатель знает, что Скоби пока еще верует, хотя его вера потрясена, надорвана и трагична. Скоби не отрицает бога, но отпадает от него. Скоби не хочет больше подчиняться богу, но полная нравственная самостоятельность еще непосильна для него, Скоби чувствует мучительную боль духовной ломки, которую узнал всякий настоящий человек, расставаясь с кровными убеждениями, но он еще не может разорвать внутреннюю связь с прежним своим идеалом.

9

В стихотворении «Ночлег» Брехт писал:

«Говорят, что в Нью-Йорке
На углу Бродвея и Двадцать шестой
авеню
В зимние месяцы каждый вечер
становится человек
И, обращаясь с просьбой к прохожим,
Обеспечивает ночлегом собирающихся
там бездомных.

Мир от этого не изменяется,
Отношения между людьми не
улучшаются,
Век эксплуатации от этого не
сокращается,
Но несколько человек получают ночлег,
На одну ночь укрываются от ветра,
Снег, предуготованный им, падает
на мостовую...»

(Перев. Б. Слуцкого)

Можно спросить, зачем понадобилось Брехту непременно сопоставлять оба вида добра: добра отдельным людям и добра ради общего изменения мира? Разве каждое из них не хорошо само по себе?

Разве нельзя говорить о личной морали, не затрагивая вопрос нравственного миропорядка?

Оказывается, нельзя. Достаточно углубиться в жизненную почву, и судьба личного добра выведет нас непременно к судьбе справедливого мироустройства всех людей. Капитализм — это строй, обеспечивающий господство зла. Своим развращающим влиянием он ведет к моральному падению не только ординарных, но даже и хороших людей; он позволяет делать добро лишь в том случае, если оно компенсировано сделанным злом; он окружает истинно доброго человека атмосферой такого нравственного зловония, что тому становится невмоготу жить. Тайна современного зла не в человеческой природе, эта тайна в капитализме. В нашей, советской действительности, борясь со злом и безнравственностью, мы боремся с привычками, традициями, остатками, внушениями, психологией, идеями капитализма.

ПЕТЕР ВЕЙС

ЗАМЕТКИ О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Политический театр, развивавшийся со времен пролеткульта, агитпропа, экспериментов Пискатора и «учебных пьес» Брехта в самых различных формах, имеет сегодня множество названий (просто политический театр, документальный театр, театр протеста, антитеатр и так далее), каждое из которых было попыткой найти какое-то общее обозначение для этого многообразия.

Ввиду трудности классифицировать разнообразные формы такой драматургии, в настоящих заметках рассматривается только один из ее сценических вариантов, а именно тот, который имеет дело исключительно с документальным материалом и поэтому может быть назван документальным театром.

1

Документальный театр — это театр информирующий. Его спектакли основаны на протоколах, судебных делах, письмах, статистических отчетах, биржевых бюллетенях, сводках банковских и промышленных операций, правительственных сообщениях, интервью, высказываниях известных деятелей, радиорепортажах и газетных статьях, фотографиях, документах кинохроники и других исторических свидетельствах.

Документальный театр избегает вымысла. Он переносит на сцену подлинные события, придавая им новую, сценическую форму, но не меняя смысла.

В отличие от той информации, которая ежедневно обрушивается на нас со всех сторон и носит служебный характер, театр осуществляет ее сознательный отбор, ограничиваясь какой-либо конкретной социальной или политической темой. Критический отбор, а также тот принцип, по которому производится монтаж «отдельных кусков» действительности, и определяют качество документальных пьес.

2

Документальный театр является частью общественной жизни, приближенной к нам сегодня средствами массовой информации. Его деятельность зависит при этом от тех критических целей, которые он себе ставит. Он может критиковать:

а) Сокрытие истины. Искажаются ли, исходя из интересов господствующих группировок, сообщения прессы, радио и телевидения? Что остается утаенным? Кому это на руку? Каким кругам выгодно, чтобы определенные социальные явления подавались в искаженном, переработанном, идеализированном виде?

б) Фальсификацию действительности. Почему какая-либо историческая личность, период или целая эпоха вычеркиваются из сознания людей? Кто укрепляет собственные позиции за счет передергивания исторических фактов? Кому выгодно сознательное искажение многих значительных и важных событий? Какие слои общества заинтересованы в том, чтобы скрыть прошлое? В каких формах выражается эта фальсификация? Как она воспринимается?

в) Ложь. Каковы последствия определившего ход истории политического обмана? Как выглядит ситуация, возникшая на основе лжи? С какими трудностями должен

Петер Вейс — немецкий писатель, живущий в Швеции, — горячий сторонник «документального театра», свое открыто политическое понимание которого он отстаивает во многих дискуссиях и спорах. Публикуемая нами статья развивает в виде четырнадцати тезисов положения, высказанные Петером Вейсом в феврале этого года в Берлине, на встрече, посвященной 80-летию со дня рождения Бертольта Брехта. О новой пьесе Петера Вейса «Диспут» см. статью Л. Гинзбурга в разделе «Культура и современность» этого номера.

столкнуться тот, кто хочет добиться истины? Какие органы власти, какие правящие группировки делают все, чтобы истина не была раскрыта?

3

Хотя современные средства связи достигли совершенства и мы ежедневно узнаем о происшествиях во всех уголках земли, самые важные события, определяющие сегодняшнее и будущее лицо планеты, остаются для нас нераскрытыми: мы не знаем их причин и взаимосвязей. Нам недоступны находящиеся в руках «ответственных лиц» материалы, которые могли бы разъяснить многое из того, что известно нам лишь в своих конечных результатах. Документальный театр, который задумал бы, например, показать на сцене убийство Лумумбы или Кеннеди, гибель Че Гевары, кровавые события в Индонезии, историю последнего ближневосточного конфликта или подготовку правительством Соединенных Штатов войны во Вьетнаме, столкнулся бы с нарочитым затемнением истины — непременным условием всех манипуляций власть имущих.

4

Документальный театр, разоблачающий тех, кто заинтересован в политике одурачивания и затуманивания, протестующий против тенденций массовой информации, которая ввергает массы в вакуум глупости и глухоты, находится в таком же положении, что и каждый гражданин, который, пытаясь добиться какой-то ясности, чувствует себя связанным по рукам и ногам. В конце концов ему остается одно-единственное средство — открытый протест.

Документальный театр представляет собой реакцию на современную ситуацию в мире и требование понять ее — так же, как и стихийные уличные митинги с плакатами, транспарантами и лозунгами, с толпой, скандирующей хором.

5

Массовые митинги, распространение листовок, демонстрации, контакт с широкими массами — все это активные, конкретные меры непосредственной борьбы. В их импровизационности заложен подлинный драматизм,— ведь дальнейшего развития нельзя предвидеть, в любой момент все может обостриться столкновением с официальными властями, и противоречия общественных отношений станут очевидными.

Документальный театр, дающий квинтэссенцию скрытой структуры времени, пытается передать современность и в своих выразительных средствах. Однако уже при компоновке материала и превращении его в законченный спектакль, действие которого приурочено к определенному времени и пространству, с определенными действующими лицами и зрителями, документальный театр находится в иных условиях, чем любая непосредственная политическая акция. Сцена документального театра дает не мгновенное запечатление всей действительности, а картину лишь одного ее «куска», вырванного из живой последовательности событий.

6

Документальный театр, если только он не выберет для себя форму уличного представления, не может сравниться по охвату явлений действительности с настоящей политической манифестацией. Ему недоступна та взрывчатая сила общественного мнения, которая проявляется порой на сцене общественной жизни. Ограниченный зрительным залом, он лишен возможности прямо бросить вызов государственной власти и администрации, как это бывает во время демонстраций перед правительственными, военными или хозяйственными учреждениями. Даже если он попытается выйти за собственные рамки, обусловленные принадлежностью к искусству, если ради остроты политической позиции и большей действенности он откажется от эстетических категорий и не пожелает быть чем-то художественно законченным, если даже будет сохранена видимость, что спектакль возник только что, без всякой подготовки, то и тогда он все же останется продуктом искусства. Театр и должен им оставаться, чтобы сохранить право на существование.

7

Документальный театр, который хочет быть прежде всего политическим форумом и считает художественные достоинства делом второстепенным, сам ставит себя под сомнение. Ведь прямое политическое действие за пределами театра было бы все-таки куда эффективней. Только преобразовав материал действительности после долгого критического, недоверчивого его изучения в материал художественно выразительный, театр обретает полную силу для спора со временем. На сцене такого театра драматическое произведение может стать политическим инструментом, направляющим общественное мнение.

Однако надо рассмотреть подробнее, что же понимать под особыми, не укладывающимися в привычные определения формами документального театра.

8

Сила документального театра заключается в том, что из фрагментов действительности он создает некую общую модель со-

временных исторических процессов, практически приложимую ко многим различным ситуациям. Театр не находится в эпицентре событий, но занимает позицию наблюдателя, анализирующего происходящее. Из хаотического многообразия окружающей его действительности он выделяет путем искусного монтажа самые характерные подробности. Сопоставляя противоречивые детали, он заостряет внимание на конфликте, извлекая из него на основании собранных материалов или конкретное решение проблемы, или призыв, или обращенный к зрителям вопрос. В документальном театре обдуманно и сознательно используется то напряженное внимание, страстное сочувствие и иллюзия участия в событиях времени, которые возникают при всякой непредрешенной в своем исходе импровизации или политически окрашенном хеппенинге.

9

Документальный театр ставит на обсуждение факты. Он вскрывает движущие силы события, отложившегося в сознании как нечто неподвижное. Одним данное событие приносит выгоду. Другим — ущерб. Две враждебные силы противостоят друг другу. Театр освещает связывающие их отношения зависимости и подчинения. Он показывает методы шантажа и подкупа, на которых зиждится это зависимое положение. Потери сопоставляются со статьями доходов. Извлекающие прибыль пытаются обелить себя. Они объявляют себя хранителями порядка. Демонстрируют, как надо управлять своей собственностью. Им противопоставлены те, кто терпит убытки. Предатели в рядах неимущих стремятся к тому, чтобы самим подняться наверх. Другие надеются не потерять хотя бы то, что они имеют. Постоянные столкновения неравных групп. Примеры неравенства настолько наглядны, что становятся невыносимыми. Несправедливость настолько очевидна, что требует немедленного вмешательства. Ситуации настолько пронизаны ложью, что могут быть изменены только силой. Сталкиваются различные точки зрения на один и тот же предмет. Голословные утверждения сопоставляются с действительным положением дел. За уверениями и обещаниями следуют действия, находящиеся с ними в разительном противоречии. Исследуются результаты этих действий, задуманных в тайне.

Чьи позиции укрепит все это? Кого заденет этот конфликт? Документально подтверждаются уловки одних и молчаливое соучастие других. Приводятся косвенные улики. Конкретные выводы делаются на материале хорошо известных примеров. Реально существующие лица выводятся в качестве представителей интересов определенных общественных групп. На сцене раскрываются не личные конфликты, а противоречия социально-экономических отношений. Документальный театр, занятый не быстро меняющимся внешним течением событий, а факторами, которые могут иметь смысл примера, оперирует не сценическими характерами или зарисовками социальной среды, а группами, силовыми полями, тенденциями.

10

Документальный театр партиен. Многие его решения равносильны приговору. Беспристрастность для такого театра является при определенных обстоятельствах понятием, которое лишь снимает с правящих кругов вину за их действия. Призыв к сдержанности и пониманию разоблачается как призыв тех, кто не желает терять своих преимуществ. Террор португальских колонизаторов против коренного населения Анголы и Мозамбика, действия правительства ЮАР против африканского большинства в этой стране, агрессия Соединенных Штатов Америки против Кубы, Доминиканской Республики и Вьетнама могут быть показаны только как преступления, ответственность за которые полностью несет одна сторона. При описании грабежей и насилия над целыми народами техника черно-белого письма оправдана, так как она исключает сочувствие преступникам и, напротив, предполагает более яркое выражение солидарности с угнетенными.

11

Документальный театр может принять форму трибунала. И здесь театр не претендует на то, чтобы приблизиться к подлинности Нюрнбергского процесса, процесса над нацистскими преступниками во Франкфурте, допроса в американском сенате или трибунала Рассела. Однако театр может придать новое звучание тем вопросам и обвинениям, которые поднимались в действительности. Благодаря дистанции во времени он может полнее противопоставить различные точки зрения, конфликтность которых недостаточно выявилась первоначально. Действующие лица ставятся в определенные исторические взаимосвязи. Параллельно с изложением их поступков демонстрируются те процессы, продуктом которых они явились, обращается внимание на возможность дальнейших опасных последствий. Поступки персонажей позволяют обнажить механизмы, управляющие куда более широкой сферой действительности.

Все несущественные детали и отклонения могут быть опущены ради четкой постановки проблемы. Опускается элемент неожиданности, сенсационности, всякого рода местный колорит; подчеркивается то, что имеет общий смысл. Документальный театр может с такой силой вовлечь публику в судебное разбирательство, как это было бы немыслимо в зале суда, он может публику сделать сообщницей обвиняемых или обвинителей, может превратить зрителей в участников комиссии по расследованию, он может способствовать ощущению единства с происходящим на сцене или спровоцировать самую резкую реакцию несогласия.

12

Еще несколько примеров обработки документального материала:

а) Материал упорядочивается ритмически. Отдельные его части точно соразмеряются во времени. Куски текста, состоящие из одной реплики или краткой сцены, сменяются более сложными и длительными фрагментами. Вслед за цитатой дается сценка, изображающая определенную ситуацию. Ситуация одним ударом мгновенно меняется на противоположную по смыслу. Один говорящий противостоит множеству говорящих. Композиция строится на противоречивых элементах и на ряде однотипных примеров, на контрастных формах и изменяющихся соотношениях разных величин. Вариации одной темы. Обострение хода событий. Намеренные несоответствия и диссонансы.

б) Документальный материал подвергается языковой обработке. В цитатах подчеркивается типичное. Персонажи шаржируются, ситуации намеренно упрощаются. Отчеты, комментарии и резюме превращаются в песенки-зонги. Вводится хор и пантомима. Действие выражается в жестах. Пародии. Использование масок и декоративных атрибутов. Инструментальное сопровождение. Шумовые эффекты.

в) Паузы. Совмещение действия с размышлениями, монологом, сном, возвращением к прошлому, иной оценкой происходящего. Разрывы действия, создающие ощущение неуверенности, доходящей до шока, дают возможность показать, в какой степени отдельный человек или группа людей зависят от событий. Внутренний мир представлен как реакция на внешние обстоятельства. И все-таки подобные сдвиги не должны приводить к путанице, их задача состоит в том, чтобы обратить внимание на многоплановость происходящего. Используемые средства — не самоцель: они помогают донести до зрителя достоверный опыт.

г) Разложение структуры. При изображении социальной борьбы, при описании революционной ситуации, при репортаже с места военных действий — никаких размеренных ритмов, один сырой материал, поданный в сжатом виде или как безудержный поток. Насилие как момент столкновения враждующих сил. Однако и здесь протест на сцене, выражение ужаса и возмущения не должны оставаться несбъясненными и неразрешившимися. Чем мрачнее материал, тем более необходимо подать его в перспективе, в синтезе.

13

С попытками документального театра добиться убедительной художественной формы связаны поиски соответствующего места для представления. Если представление состоится в здании обычного коммерческого театра с высокой платой за вход, можно считать, что спектакль попал в сети той самой системы, против которой он направлен.

Если же спектакль выбивается за пределы профессионального театра, то обычно его разрешают играть на какой-нибудь любительской сцене, для небольшого кружка единомышленников. Вместо того чтобы эффективно воздействовать на действительность, такой спектакль зачастую лишь демонстрирует, насколько он бессилен против тех, кто оберегает незыблемость существующего порядка.

Документальный театр должен завоевывать доступ на фабрики и спортивные площадки, в школы и помещения для собраний. Он должен не только отрешиться от помпезности традиционного театра, но и вновь и вновь подвергать сомнению свои собственные средства воздействия и разрабатывать новую технику, отвечающую новым условиям.

14

Документальный театр может существовать лишь как крепкая, зрелая в политическом и социологическом отношении рабочая группа, которая, опираясь на богатый архив, способна проводить научные изыскания. Документальная драма, которая боится четких определений, которая показывает лишь само явление, не вскрывая его истоков, а также возможность и необходимость его устранения, драматургия, которая цепенеет в жесте бессильного протеста, в сущности не задевая противника,— такая драматургия обесценила бы самое себя.

Вот почему документальный театр обращен против той драматургии, которая делает своей главной темой собственное отчаяние и неистовство, придерживаясь концепции безысходности и абсурдности мира. Документальный театр утверждает, что действительность, какой бы темной она ни представлялась, может быть объяснена в каждой своей детали.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ЛИЛИАМ ХИМЕНЕС

ПОЛОЖЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

Велика надежда человека добиться лучшей жизни для всех, и длинна дорога, которую нужно пройти, чтобы осуществить эту мечту.

В нашем западном обществе, обесчеловеченном теми, для кого главное — выгода, а также теми политиками, которые смотрят на человека как на робота, все усиливается классовая борьба, и потому художник не может оставаться в стороне от социальных проблем.

Мне хотелось бы хотя бы бегло остановиться на положении писателя в современном обществе. Многие более блистательные умы уже писали и будут писать об этом, ибо неисчерпаема тема — каким должно быть истинное искусство, каким должно быть отношение художника к нуждам своего народа. И я сочла необходимым поделиться соображениями по этому вопросу.

Современная эпоха не признает башен из слоновой кости. Она требует, чтобы каждый художник и каждый писатель помогал утверждению истины и красоты на земле, ибо выжило лишь то искусство, которое боролось за достоинство и свободу человека, соответствовало новому, прогрессивному.

Мне кажется, что среди нашей интеллигенции еще недостаточно хорошо понят метод социалистического реализма. Некоторые думают, что во имя этого метода нужно ограничивать творческую свободу поэта или художника. Мы знаем людей, которые иронически улыбаются, когда речь заходит о теме любви и презирают все, что не относится прямо к политике. Искусство — это часть самого человека, и нельзя понять искусство, не воспринимая жизнь во всей ее совокупности. Любовь, смерть, печаль, радость — это темы универсальные, неотделимые от самого человека. Их нельзя отбросить. Главное — как художник воплощает их.

Мы убеждены, что социалистический реализм не препятствует свободе творчества — напротив, он требует, чтобы писатель дал волю своему воображению, чтобы он воспитывал свое вдохновение, чтобы он творил без принуждения; пусть им владеет чувство, через которое преломится приобретенный им жизненный опыт. Этот метод ни в коем случае не может предписывать единый закон или единый рецепт для всех художников — напротив, он заставляет каждого искать в своем собственном народе источник творчества, воплощая его в той индивидуальной форме, которую подскажет ему творческая инициатива.

Мы считаем очень важным привести здесь слова замечательного турецкого поэта Назыма Хикмета, сказанные им при встрече с аргентинским писателем Альфредом Варелой.

«Было время, когда я тоже наотрез отказался от лирики. Я пытался выразить свои мысли очень грубым, народным, вернее, вульгарным языком, употребляя невероятные образы в духе Рокамболя... Я упорно избегал некоторых слов, например «сердце». Я начисто отрицал всех классиков, даже тех, которые писали на моем родном языке.

Я договорился до такой чуши, что сочинил к годовщине великого режиссера Мейерхольда поэму, в которой предлагал все театральные здания передать крестьянам, чтобы они использовали их как силосные башни или элеваторы... Потом все это прошло, как лихорадка. Я понял, что поэт-коммунист должен писать произведения, которые отвечали бы всем чувствам читателя: если он влюблен, пусть читает меня, пусть читает меня также, если он чувствует себя одиноким и хочет найти утешение, если он болен и ищет надежду... Я не думаю, что существует какой-то особый язык — литературный (добавлю — и художествен-

ный) или что существуют какие-то особые, более ценные темы. Я сторонник всех слов и всех тем...»

Великой страстью Хикмета был его народ, который он хотел видеть свободным, но он любил жену и сына, и мы слышим песни:

Сижу на земле,
на землю смотрю,
на травы смотрю,
на мошек смотрю,
на голубые цветы смотрю;
Ты как весенняя земля, любимая,—
на тебя смотрю.

Истинный поэт и писатель живет и вдохновляется событиями окружающей жизни, они проникают в его кровь. А затем по вдохновению простые слова превращаются в поэзию, он расплавляет действительность в своем сознании, преобразуя ее в пламенный призыв.

Так в истории американской литературы мы встречаем Уолта Уитмена, чей космический голос выразил все его время, Сесара Вальехо, очеловечивающего все, к чему прикасается его поэзия. Мы можем назвать Андреса Элоя Бланко, чей жизненный опыт выражен в звучных стихах, Николаса Гильена, человека, чья поэзия, отшлифованная ветрами, отражает жизнь, похожую на раскаленные угли, подернутые пеплом.

Большую ошибку сделают критики-сектанты, если они обвинят этих революционных поэтов в индивидуализме только за то, что те говорят, как Уитмен:

Я — Уолт Уитмен...
Космос. Смотрите!
Сын Манхэттена.

Лирика Уитмена всемирна, она выходит за пределы своего «я», чтобы стать сродни каждому человеку. Его «Песня о себе» — это песнь человека, который говорит о своих физических, душевных качествах лишь потому, что считает их свойственными всем людям на земле; он порывает с предрассудками своего времени, страстно желает справедливости для всех и, как великий седобородый пророк, идет впереди своего времени, неся в руках все помыслы и желания человека.

Сесар Вальехо, поэт, закаленный солнцем и жизнью, монолитный камень, о который разбиваются волны боли и нужды, имел право сказать:

Но когда я умру,
то уйду из жизни, а не из эпохи.

Он предчувствовал, что его поэзия будет жить долго и что будущие поколения вспомнят о нем. Этот человек, измученный одиночеством, сражался и словом и делом за Республиканскую Испанию, он скорбел о людях — своих братьях и сумел увидеть в будущем необычный расцвет человеческой личности.

■

Мы не должны закрывать ни глаза, ни уши ни перед людьми, ни перед событиями. Наоборот, мы должны держать их всегда открытыми, готовыми принять все, что происходит в человеческом существе и в вещах, окружающих его. Поэт должен стремиться воспринять даже молчание. Сан-Хуан де ла Крус, испанский поэт XVI века, слышал «звучащее одиночество».

Каждый художник должен позволить действительности проникнуть внутрь себя, ведь подставляют же деревья свои ветви ветру, чтобы он сбил с них созревшие плоды.

Художник не может быть равнодушным регистратором событий, он должен чувствовать, мечтать и страдать. Хосе Марти, кубинский писатель и революционер, считал, что для художника необходимы и чувство и вымысел. Защищая новое искусство, он утверждал ценность мечты и говорил, что воображение всегда было основой творчества. В 1875 году, оценивая художественную выставку в Мехико, он сказал:

«Не приковывайте воображение к мертвым эпохам, не заставляйте себя макать кисти в краски X и XIV веков. И сейчас в наших душах живут мечты, давайте же реализуем их, воплотим в жизнь. Разве исчезли с человеческого лица нежность, гнев, гримасы ужаса? Свет продолжает жить в душе, а глаза смотрят на мир каждый раз с новым выражением. Истинные художники не должны обращать взоры только к школам, которые были великими в свое время, ибо они отображали свою эпоху; но эта эпоха ушла, и величие школ стало скорее относительным и историческим».

Марти рекомендовал художникам видеть жизнь во всей ее глубине и драматичности, но он никогда не советовал смотреть на нее глазами натуралиста. Для него не существует приземленного искусства. «В живописи,— утверждал он,— не бывает обыденного, его первая ступень — прекрасное, следующая — возвышенное». Призывая художников раскрывать свои чувства, он говорил им: «Человек станет огромным, если сумеет погрузиться в глубину огромной жизни». И позже он писал: «Художник в своем кабинете — это заболевший орел».

Поэзия томительного одиночества, поэзия отчаяния, появляется тогда, когда поэт чувствует, что не только он сам бессилен решить насущные проблемы, но и что он не найдет их решения, пока существует порядок вещей, установленный капиталистическим обществом. Таким образом, возникновение и этого вида поэзии имеет свое объяснение.

Эстетические разногласия и разногласия идеологические идут рядом и обостряются все более по мере того, как обостряется сама классовая борьба внутри каждой страны.

Поэзия солидарности возникает тогда, когда поэт чувствует необходимость связи между людьми и одновременно ощущает неодолимое желание добраться до самой сути человека и волнующих человека про-

блем. Поэтому эта поэзия наиболее гуманна.

После второй мировой войны, когда свободолюбивые силы победили нацизм и человечество с ужасом увидело, к чему привели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, в каждом человеке возросла жажда подлинной справедливости и прочного мира. Поэтому мы никогда не согласимся с художником безразличным, занятым только самосозерцанием, не отдающим себе отчета в том, что его окружает.

■

Поэтический опыт заставляет человека приблизиться к чудесному, расширяя для него тем самым действительность, которую он познает. В этом смысле художник — открыватель нового мира. Когда жизнь острием стрелы ранит поэта, прилив, поднимающийся у него в душе, выходит за пределы лишь его внутреннего мира и находит свое выражение в слове, превращенном в поэзию.

О, слово! Как трудно его найти, овладеть им и управлять по нашему желанию. Оно бежит от губ и пальцев поэта. Но бывают высшие моменты, когда поэт овладевает им, дает ему плоть и кровь и заставляет плодоносить. Это рождение слова происходит не просто, а сопровождается болью и душевными муками. Поэзия — это роды, она, возникая, заставляет кровоточить сердце поэта. Но есть такие поэты, для которых творить — это значит разместить в строфы несколько продиктованных холодным рассудком и скудным воображением заурядных стихов, разбитых на строчки. Ищут ломая голову слово только для того, чтобы зарифмовать его с другим. Это — унижение и проституирование поэзии.

Блестящий испанский поэт Леон Фелипе говорил:

«Поэт — не тот, кто ловко играет мелкими языковыми метафорами, но тот, кого пробудившийся в нем дух Прометея заставляет создавать огромные социальные, человеческие, исторические и звездные метафоры».

Каждое слово имеет свою тайну, и каждое слово трепещет. Каждое слово несет внутри себя огромный заряд, и порождаемое им эхо звучит глубже и глубже. Одни слова хранят дыхание ветра, другие — шум рек или взмах голубиных крыл, а в иных слышен глухой ритм камней. Но есть слова глубокочеловечные, в которых выкристаллизовались слезы, пот и дыхание человека. Произнесенное или написанное слово проходит через века, служит связью между людьми, помогает им выразить свои мысли и свои мечты. Слово, которое поэт шлифует и обогащает в процессе своего творчества, является его необходимым инструментом.

Не подлежит сомнению, что сегодня больше, чем когда-либо, возрос моральный, патриотический и творческий долг писателя-революционера, который борется словом и делом с тем обществом, в котором он живет. Но вести борьбу словом — не значит сделать свое произведение заурядным, пожертвовать формой ради содержания.

Искусство — это не наука и не предмет торговли для определенного класса. Искусство не производится на фабрике как какое-нибудь изделие, предназначенное для продажи на рынке, а мозг — не машина.

Искусство всегда искусство, независимо от того, в социалистической или буржуазной стране оно рождено. Например, картина, полная кричащих красок и ломаных линий, но лишенная содержания, никому не понятная, просто не является произведением искусства, а творения Микеланджело всегда будут прекрасными произведениями искусства, хотя изображают они мадонну или святых, а мы — люди не религиозные.

Владимир Ильич Ленин, человек необыкновенный, чьим громадным познаниям и великому гуманизму мы никогда не перестанем удивляться, всегда страстно боролся за то, чтобы неимущие классы не только получили удовлетворение своих материальных нужд, но и чтобы рабочие и крестьяне стремились к культуре; чтобы они не только были бы способны объяснить политические события, но и овладели бы наукой, техникой и искусством. Он требовал для пролетариата большого и настоящего искусства, а не произведений, где нет ни красоты, ни своеобразия.

Вторая половина XX века, исполненная великих надежд и драматизма, когда перед человечеством встал выбор — либо погибнуть в войне, либо сохранить мир, ждет своих истолкователей — художников и поэтов.

Но писать стихи с социальным содержанием труднее, чем создавать то, что называется *чистой поэзией*, не только в силу ответственности, обусловленной темой, но и из-за того, что поэт «социальный» неизбежно должен жить жизнью своего народа, погрузиться в его борьбу, его тревогу и нужды.

Но социальная поэзия не создается, как полагает сектантская критика, путем склонения слова *народ* или спряжения во всех наклонениях слова *бороться*. Требуя от поэта, чтобы он творил в такой манере, его толкают к потере собственного голоса, к безликости.

В зависимых странах, как Сальвадор, где культура — достояние меньшинства, поэта, если он говорит от имени угнетенных, жестоко преследуют и приговаривают почти к голодной смерти. Я хочу повторить то, что писала в книге «Народная симфония»:

«Для такого поэта дорога не может быть легкой.

Силы, которые мешают нашему народу построить жизнь более справедливую и достойную, поднимаются сегодня, как они уже поднимались не раз, с грязным намерением подавить неподкупный и чистый голос. Гарсиа Лорка убит в Испании, Мигель Эрнандес вышел из тюрьмы, обреченный на смерть, Мигеля Анхеля Астуриаса высылали с его родины Гватемалы, и Николас Гильен, объехавший весь мир, долгие годы не мог попасть на свою любимую Кубу. Мы знаем, как преследовали в Чили Пабло Не-

руду, знаем о судьбе Карлоса Аугусто Леона, знаем о том, как умер Элой Бланко, изгнанный из Венесуэлы».

■

Латиноамериканский континент изобилует контрастами в природе, а в обществе — глубокими социальными противоречиями. Разнообразна и чудесна его природа с ее буйной зеленью и оргией красок. Контрасты света и тени придают волшебную силу деревьям, озерам, рекам и горам, населяют дни и ночи призраками. Латинская Америка — это огромные дикие, опьяняющие просторы. Но в большинстве наших стран царит жестокая диктатура правительств, при которых невозможно процветание культуры, а творческие силы художника постоянно подавляются. На него смотрят, как на какое-то странное существо, как на сумасшедшего, отнимают у него всякий стимул продолжать свою деятельность. Если же его искусство пытается выразить горе индейца, тоску метиса, печаль крестьянина или недовольство рабочего, его судят как врага диктаторского режима, и ему грозит тюрьма или изгнание.

Писатель латиноамериканских стран с трудом поддерживает связь со своим читателем, его голос не слышен неграмотным народным массам. Даже после того, как его произведение проделало трудный путь в поисках издателя или издано небольшим тиражом на средства самого автора, оно попадает в руки немногих. Его книга имеет хождение только в узком кругу его друзей. Настолько не понят писатель в нашем обществе, изуродованном невежеством и зависимостью, что он не может найти своего места. У него не хватает средств для жизни, он духовно отстает, страдает от множества ограничений. Для женщины же, которая посвятила себя искусству, окружающая среда еще более тяжела, чем для мужчины, ибо при полуфеодальных условиях она страдает от экономической, юридической и социальной дискриминации. Мы неоднократно слышим, как уничижительно говорят о «женской» поэзии, как будто искусство или наука имеют пол. И вот мы, принадлежащие к так называемому «слабому полу», испытываем на себе эту чудовищную дискриминацию.

У нас, латиноамериканских художников, свои требования. Мы понимаем, что недостаточно обладать лишь богатством воображения, нужны еще и определенные материальные условия, которые дадут художнику возможность развиваться, отдаться со страстью своему искусству. Профессионализация художника — для нас насущная необходимость.

■

Все страны Латинской Америки, от Мексики до Аргентины, дали замечательных художников, больших литераторов и поэтов, но как мало их число по сравнению с двумястами миллионами, живущими на этой территории! История Латинской Америки завещала миру великое духовное богатство индейских культур, волшебство их формы, в которой пульсирует миф и легенда, красота пластики и поэзии. Но со времен завоевания и колонизации индейцы, негры, мулаты и метисы со своей великой культурой, обладавшей языком, отмеченным печатью веков, остались за бортом общего культурного процесса.

В течение трех веков испанская литература оказывала влияние на завоеванных Испанией территориях. Со времени войны за независимость в XIX веке в Латинскую Америку проникли новые течения как в политике, так и в художественной жизни. Долгое время в сознании многих американских писателей господствовал французский романтизм. Затем пришло время символизма. Культура Англии, Германии и особенно Франции оказывала заметное влияние на Латинскую Америку. В конце XIX века здесь нашел свою форму выражения модернизм: с ним связаны имена Хосе Асунсьона Сильвы в Колумбии, Сальвадора Диаса Мирона в Мексике, а никарагуанец Рубен Дарио стал крупнейшим поэтом-модернистом Америки. Позднее, когда в Европе появился сюрреализм, он проник и в Америку. Но все эти течения приходят к нам на континент с огромным опозданием, когда в Европе уже наступил декаданс. В первые годы XX века в Латинской Америке появляется новое поколение писателей: возникает тенденция отразить в искусстве истинно латиноамериканское, появляются новые поиски, направленные против ложного экзотизма и внешней красивости.

Первая половина XX века отмечена победой социализма во многих странах и распространением идеи солидарности народов. Появилась новая культура, главное для которой — судьба человека. Испытывая ее воздействие, многие художники и писатели континента стремятся вызвать к жизни забытый голос народных масс. Они стараются отразить в своих произведениях национальное сознание, они отдают себе отчет в бесконечном его богатстве. Первая половина XX века отмечена в Америке появлением многих имен писателей, получивших мировую известность: на юге — Сесар Вальехо, Хорхе Каррера Андраде, Пабло Неруда, Андрес Элой Бланко, Энрике Адоум; в Центральной Америке и районе Карибского моря — Рубен Дарио, Мигель Анхель Астуриас, Николас Гильен, Алехо Карпентьер и на севере — в Мексике: Октавио Пас, Хосе Горостиса, Карлос Пельисер и другие.

Латинская Америка второй половины XX века эволюционирует как экономически, так и духовно.

Куба завоевала независимость, и миллионы латиноамериканцев борются с тьмой. Несомненно, нужно многое сделать: постичь нашу действительность, найти собственный путь. Латиноамериканский писатель обязан открыть его и присоединить свой голос к голосу всего человечества.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА

А. ДАВИДСОН

ТРАНСВААЛЬСКАЯ ЛИСТОВКА

Слово «Трансвааль» вызывает в сознании множество ассоциаций. Прежде всего, пожалуй,— бородатые буры в широкополых шляпах с пантронташами на груди... фотографии их вождей, Крюгера и Жубера, неизменно глядевшие со страниц школьных учебников... «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне»... Шарманщики разнесли эту песню по всей бескрайней Руси, ее популярность одно время чуть не затмила даже заунывную «Разлуку».

Вспоминается время, когда на защиту независимости этой небольшой республики бросились люди со всего мира. Среди них и москвичи, и грузины, и жители Привисленских губерний Российской империи.

Сестры милосердия из Петербурга лечили раненых под Питермарицбургом. Полковника Максимова за мужество и умелость в бою буры выбрали генералом; он стал главой интернациональных добровольческих отрядов. Правда, пробыл в этой должности лишь несколько дней — в очередном бою англичане изрешетили его пулями. Князь Багратион — родич бородинского героя... Сотник Гучков — семнадцать лет спустя он, уже председателем Государственной думы, вместе с Шульгиным в царском вагоне на станции Дно брал у Николая Второго отречение от престола... Разные люди ехали на юг Африки. Большинство — отстаивать свои идеи свободы. А некоторые — просто как искатели приключений, любители экзотики.

Со словом «Трансвааль» приходит на память, как Лев Толстой, уже дряхлеющий, писал мудрые слова о бурской войне.

А у мальчишек высшим геройством считалось тайком убежать из дому «помогать бурам». И Эренбург уже в наши дни, в книге «Люди, годы, жизнь» вспоминал, как девятилетним мальчиком с котомкой отправился в Трансвааль — задержали его на железной дороге и с позором вернули домой. Маршак в тринадцать лет играл с соседскими ребятами «в войну» буров с англичанами.

Паустовский вспоминает, как он заслушивался рассказами вернувшегося с войны дяди Юзи: «Не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов...» А сверстница Паустовского, тогда восьмилетняя, Марина Цветаева в детских альбомах рисовала англичан с трубками в зубах, коренастых буров и бесчисленные шаржи на королеву Викторию — маленькую, толстую, гадкую, с короной на голове.

Многое в памяти наших соотечественников связано со словом «Трансвааль». И возвышенного, романтического. И совсем уж обыденного. В городе Козлове стоял трактир «Трансвааль», а в Петербурге, на Загородном, возле Царскосельского вокзала — трактир «Претория» — владельцы зарабатывали на модных тогда словах.

Но не только память бурской войны связана с Трансваалем.

И не только телеграммы сегодняшних газет о расизме в Трансваале, ставшем провинцией Южно-Африканской Республики.

Трансвааль — самая индустриальная область Африки. Со времен открытия золота и золотой лихорадки, которые и послужили причиной англо-бурской войны, Трансвааль дает больше половины мировой добычи «желтого металла». Центр хозяйственной

жизни — не Претория, хотя она остается столицей Трансвааля и всей Южно-Африканской Республики, а Иоганнесбург. Он возник в конце прошлого века как поселок старателей, а теперь это сердце большого рудничного района, «Золотой город» с почти полуторамиллионным населением. Из-за небоскребов его зовут и «Африканской Америкой».

Сейчас, когда мир в большой мере разделен на сторонников и противников марксизма, ученые пытаются предсказать, какой же путь изберет громадный, недавно еще сплошь «колониальный» африканский материк — каковы тут перспективы распространения идей Маркса, насколько эти идеи укоренились, есть ли у них здесь действительно давние традиции. И взгляды снова обращаются к Трансваалю. Это родина первого и по сей день самого большого отряда промышленного пролетариата Африки.

Трансвааль оказался и одним из первых на этом материке центров распространения идей Маркса.

Но в наши дни нелегко найти документы с конкретными сведениями о том, как африканцы Трансвааля знакомились с марксизмом. Эти материалы постигла типичная для всей истории человечества судьба «крамольных» документов. Они один за другим — от обыска к обыску — перекочевывали в архивы местной тайной полиции и службы государственной безопасности.

О Трансваале времен бурской войны мы знаем многое со слов российских добровольцев. Но они были, в сущности, последними нашими соотечественниками, которые свободно ездили по Трансваалю (насколько позволяла военная обстановка) и, вернувшись на родину, могли поделиться богатыми впечатлениями.

После того, в советское время, буквально считанные люди из нашей страны смогли побывать в Трансваале, да и тем мало что удалось повидать.

Представление о Трансваале мы давно уже можем составлять только по книгам, а они издаются в Претории и прочих южноафриканских городах с большим отбором.

Что же до «еретических» документов, то они извлекаются из тайных архивов на свет только как обвинительные материалы для процессов о «государственной измене».

Находка в московской библиотеке

Материал одного из таких процессов я и просматривал, разыскивая в московских библиотеках редкие документы о Южной Африке. Он был опубликован южноафриканским правительством в 1922 году в виде «Синей книги», и в параграфе 154-м, на 28-й и 29-й страницах приводился текст одного из первых обращений марксистов к африканцам — к населяющим Южную Африку народам, говорящим на родственных друг другу языках банту.

В обращении простыми словами говорилось и о классовой борьбе, и о единстве интересов рабочих, и о том, как создать свои рабочие союзы.

Объяснялось, что баррикады делят человечество не по признаку цвета кожи, а по социальной принадлежности.

Одним словом, обращение содержало все те положения марксизма, которые мог постичь передовой рабочий-африканец при тогдашнем уровне своих знаний и представлений.

Можно только изумляться его автору — как он должен был тогда, в те далекие годы, полвека назад, находясь за тысячи миль от Европы, знать идеи Маркса, чтобы так просто написать свои восемь «уроков» и вложить в них так много.

Вот текст документа — в том виде, как он напечатан в «Синей книге».

К РАБОЧИМ-БАНТУ

Первый урок

В прошлом банту жили одни на земле Африки. Земля принадлежала им, и плоды этой щедрой земли они получали для своего общего блага. И в те дни единственными хозяевами были короли народа банту. А потом пришли белые хозяева мира и отняли эту землю у банту, чтобы они служили своим белым господам и трудились за низкую плату. Вот уже больше двухсот лет прошло с той поры, как белые господа мира пришли в Южную Африку и стали превращать банту в рабов.

Второй урок

Поэтому народ банту уже не свободен и не силен. Банту уже не могут свободно странствовать по широким просторам вельда и обрабатывать землю сообща. Ныне земля принадлежит белым господам мира и банту должны выполнять тяжелую работу за мизерные заработки, чтобы получить пищу и те деньги, которые нужны для уплаты налогов; теперь они трудятся на господ. Ничтожна земля, оставленная людям банту, да и та дана им только для того, чтобы удерживать их в состоянии всеобщей нищеты и позволить им выращивать многочисленное потомство, поставлять новых и новых молодых рабочих для белых господ мира.

Третий урок

Рабочие-банту! Из того, что мы сказали, не следует думать, что угнетены только вы. Белые рабочие Англии тоже трудятся на белых господ мира И рабочие всех стран — рабы тех же самых ваших хозяев. Когда белые господа пришли в Африку и начали отнимать землю у банту, они в то же самое время отбирали землю у белых банту Англии и гнали их на работу у больших машин за гроши — как они сейчас заставляют трудиться банту Африки.

А. ДАВИДСОН
ТРАНСВААЛЬСКАЯ ЛИСТОВКА

Четвертый урок

Белые господа мира немногочисленны, но в их руках большая власть. Белые и черные труженики мира многочисленны, но слабы и унижены, потому что они разобщены. Белые хозяева мира хитры, они заставляют рабочих всех стран враждовать между собой и поносить друг друга. Разобщенные, мы бессильны, но, объединившись, выстоим до конца. И труженики земли объединяются. Они готовятся отнять власть у тех, кто господствует в мире. Они говорят: «Когда все рабочие объединятся, хозяев уже больше не будет. Все люди будут трудиться свободно. И ни у кого не будут насильно отбирать плоды его трудов».

Пятый урок

Рабочие-банту! Помните о земле и о свободе, которые утрачены вами в давние времена. Вы потеряли их потому, что полагались на свое военное оружие. Белые господа мира пришли с оружием большей силы. Поэтому вы были обращены в рабство. Могущество рабочих не в смертоносном оружии войны; их сила в их общем труде. Сегодня вы уже не воины; вы — рабочие, создатели многочисленных полезных вещей. Вы забыли обычаи войны — и это хорошо. Но вы должны научиться использовать труд и изумительные орудия труда — в этом будет ваше спасение.

Шестой урок

Существенны не различия в цвете кожи, а то, что вы составляете единое целое с рабочими всего мира. Все, кто трудится за заработную плату, образуют единое великое братство труда Рабочие мира объединяются, чтобы свергнуть господ мира — капиталистический класс. Вы, банту, будете участвовать в великом освобождении, которое придет неизбежно. Вы, рабочие-банту, тоже должны объединяться, чтобы помочь делу освобождения народов от господ мира. В России рабочие и крестьяне-бедняки уже объединились. Их очень много. Они стряхнули свои цепи на землю, как капли дождя; они сами вступили во владение землей и удивительными машинами, делающими вещи, нужные для жизни. И сегодня они обладают землей и машинами сообща, как банту владели землей в прошедшие времена. Темнокожие рабочие Индии объединяются. Они становятся плечом к плечу с рабочими всего мира. И они призывают вас, рабочие-банту, сделать то же самое.

Седьмой урок

Рабочие-банту! Путь к свободе еще долог. Но другого пути, кроме объединения всех рабочих, у вас нет. Вы еще можете подвергаться оскорблениям со стороны некоторых белых рабочих — из-за их невежества и потому, что господа мира стремятся не дать им объединиться с вами. Но белые рабочие начинают понимать все больше. Вы, рабочие-банту, должны завоевать их уважение. Это вы можете сделать прежде всего тем, что сами объединитесь. Объединяйтесь в братство рабочих — там, где вы трудитесь.

Восьмой урок

Белые рабочие больше всего ценят тех, кто может объединиться в союз рабочих и отстаивать свои права в борьбе против угнетения. Они говорят с хозяевами через посредство своих делегатов. Это путь, которым идут белые рабочие. Они отказываются трудиться, когда хотят защитить себя от низких ставок и тяжелых условий. Они — все как один — скрещивают руки на груди, и колесо промышленности останавливается. Белые рабочие глубоко уважают всех, кто может так делать. Щегольской костюм и лощеный внешний вид не завоюют вам уважения; но созданием союза рабочие-банту завоюют право на уважение и равенство. Только на этом пути белые рабочие в конце концов признают в вас своих братьев. А когда все рабочие объединятся, труд станет свободным. Никто не будет жить в страхе перед хозяином, а каждый сможет радостно трудиться для общего блага.

Рабочие мира, объединяйтесь!

Вам нечего терять, кроме своих цепей.

Приобретете же вы весь мир.

Это обращение, в том виде, как оно напечатано в «Синей книге», вызывает много вопросов. Что оно представляло собой в «изначальном» виде? Наверное, это листовка. Но была ли она опубликована на английском языке — как в «Синей книге» — или на каких-нибудь африканских языках? Когда и где именно она была написана и опубликована? Кто ее автор? Почему она попала в «Синюю книгу»? Определенных, окончательных ответов мне пока найти не удалось. Есть лишь некоторые догадки.

Прежде всего,

Почему листовка попала в «Синюю книгу»?

Для ответа на этот вопрос — немного о самой «Синей книге». Что она собой представляет?

На ее титульном листе написано:

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ.
ОТЧЕТ СУДЕБНОЙ КОМИССИИ,
СОЗДАННОЙ В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ
О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.
ПРЕДСТАВЛЕН ОБЕИМ ПАЛАТАМ
ПАРЛАМЕНТА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ
ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА.
ПРЕТОРИЯ,
КОРОЛЕВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,
1922.

Военное положение было введено из-за восстания на золотых рудниках Трансвааля. Для процесса над бунтарями власти

создали судебную комиссию, а ее отчет издали в «Синей книге».

Несколько слов о самих событиях, которые «расследовались» комиссией. Это было крупнейшее в истории Африки вооруженное восстание рабочих. Как это ни парадоксально на первый взгляд — белых рабочих.

Непосредственным поводом мятежа было требование шахтовладельцев принять снижение зарплаты и угроза, что иначе белых рудокопов заменят более дешевой рабочей силой — африканцами. А основная, глубинная причина недовольства — очень плохие условия жизни и работы горняков. В годы перед первой мировой войной их положение обследовала британская парламентская комиссия. Она была поражена численностью несчастных случаев и высокой смертностью. Выяснилось, что белых шахтеров «хватало» в среднем на пять-шесть лет.

Один из лидеров английского рабочего движения Том Манн, обследовавший положение рудокопов Трансвааля, писал:

«Меня поразило, как равнодушно хоронили не только туземцев, но даже и белых рабочих. В то время Рандфонтейнское кладбище было главным в Иоганнесбурге. Заведовал им очень интересный человек, член союза машиностроительных рабочих, родом из Лидса. Он показал мне весьма любопытные вещи. Он спросил меня:

— Показать вам могилы, которые мы держим наготове?

Не понимая, что он хочет этим сказать, я ответил:

— Конечно, покажите. Но что это значит: «могилы наготове»?

В этот момент мы подошли к одному месту, где я увидел 25 или 30 готовых могил. Мой собеседник сказал:

— Мы должны всегда иметь готовые могилы на всякий случай. В этом жарком климате трупы быстро разлагаются. Часто поступают требования сразу на двадцать и более могил, которые должны быть готовы в течение нескольких часов.

— Как вы хороните туземцев — вместе с белыми или отдельно?

— Мы их хороним в другом месте. Пойдемте я вам покажу.

Через несколько минут он мне показал такую же серию готовых могил, как раньше, но только эти были гораздо больше предыдущих. Мой собеседник сказал:

— Эти могилы для туземцев. Мы их не кладем в гробы. На каждое тело набрасывается черное покрывало и затем пять человек опускают в одну могилу. Потому эти могилы больших размеров.

Похороны не сопровождаются никакой церемонией. Трупы опускаются в могилу, которая засыпается землей, и затем в могилу втыкается шест с номером. Никакой надписи, никакого другого напоминания об умерших».

Стачка белых горняков началась в январе 1922 года, а в марте она была уже восстанием. Оружие, конечно, было плохонькое — ружья, винтовки да несколько старых пулеметов «Максим». Но большинство мятежников состояло из буров, известных на весь мир стрелков. В руках рабочих оказались шахтерские города и поселки вокруг Иоганнесбурга. Они перегородили улицы баррикадами и траншеями и несколько дней сдерживали натиск двадцати тысяч солдат, оснащенных по тогдашнему времени отлично — артиллерией, броневиками и даже аэропланами, с которых на позиции повстанцев сбрасывались бомбы.

Перед решающей схваткой защитники последнего оплота мятежников, шахтерского городка Фордсбурга, на глазах у готовившегося к атаке врага запели песню «Красный флаг» — ее привезли когда-то рабочие-иммигранты из Англии и она стала гимном трансваальских повстанцев. Вот она (с ничтожными исправлениями перевода), как была напечатана в журнале «Коммунистический Интернационал» тогда же, в 1922 году, в связи с описанием трансваальской трагедии.

Народный флаг кроваво-красен.
Он не раз служил последним покровом
для павших борцов.
И прежде чем холодели и коченели их
тела,
Каждая складка его орошалась кровью
их сердец.
Каждому рабочему дорого наше знамя:
И пылкому французу, и отважному немцу,
Над куполами Москвы несутся гимны
в его честь,
В Чикаго он развевается над
волнующимися толпами.
Он говорит нам о былых победах,
Он обещает нам исполнение надежд на
вечный мир,
Яркое знамя, пылающий символ
Прав человека и его побед!
С обнаженной головой мы все клянемся
Высоко держать его до последнего
дыхания.
Нас не страшит ни тюрьма, ни виселица,
Эта песнь будет последним нашим
гимном.

Затем последовала артподготовка — на час десять минут — и атака правительственных войск. Улицы трансваальских городов широки и потому неудобны для баррикадных боев. И для многих защитников Фордсбурга песня действительно оказалась последней... А перед другими встала и тюрьма, и виселица.

В тот день восстание было окончательно подавлено. Пять тысяч человек арестовали. Полторы тысячи присудили к различным наказаниям, а нескольких — к повешению. Но когда первые четверо шли на виселицу, вся тюрьма вместе с ними запела «Красный флаг». На могилы повешенных пришло 50 тысяч человек. И правительство сочло для себя благоразумнее «помиловать» остальных приговоренных к виселице — заменить казнь пожизненным заключением.

В историю Южной Африки события 1922 года вошли как «Красное восстание».

Правительству надо было оправдать свои репрессии, объяснить, как же мог вспыхнуть такой мятеж. Этому посвящена первая,

---

А. ДАВИДСОН
ТРАНСВААЛЬСКАЯ ЛИСТОВКА

«теоретическая» часть «Синей книги»; она так и названа: «Причины революционного движения». Там почти ничего не говорится об условиях жизни рабочих. Ведь со времен вождей и старейшин первобытного общества власти всегда хотят объяснить недовольство в своем племени, народе, государстве какими-нибудь происками, кознями врага внешнего.

В Трансваале 1922 года таким козлом отпущения избрали марксистский центр — Коминтерн. «Синяя книга» содержит массу материалов о деятельности Коминтерна, выдержки из журнала «Коммунистический Интернационал», из «Правды» и различных марксистских изданий, документы, захваченные полицией при обысках помещений южноафриканской компартии. Среди этих материалов и текст «Уроков «К рабочим-банту». Он даже занимает самое большое место среди приведенных документов.

На первый взгляд это странно. Ведь «Синяя книга» посвящена восстанию белых рабочих. А в условиях Южной Африки между «белыми» и «черными» существовала стена расовых предрассудков — хотя тогда белый пролетариат в этой стране и не занимал еще такого привилегированного положения, как сейчас. В восстании 1922 года африканцы не принимали участия. Больше того, многие стачечники видели в них конкурентов, относились к ним враждебно, особенно под влиянием угроз шахтовладельцев.

Зачем понадобилось в отчете следственной комиссии приводить эту листовку, довольно большую по объему и, в общем, не имевшую, казалось бы, прямого отношения к данному судебному разбирательству?

Должно быть потому, что правительство Претории даже тогда, после грозного восстания белых горняков, больше всего боялось все-таки не белого пролетариата, который оно считало возможным как-то подкупить, а неизмеримо более многочисленного африканского. Самую же страшную угрозу оно видело в перспективе — даже отдаленной — того объединения рабочих независимо от цвета кожи, к которому призывали марксистские «Уроки».

Публикуя эту листовку в «Синей книге», судебная комиссия хотела привлечь внимание всех хоть сколько-либо зараженных расовыми предрассудками белых жителей страны к «черной опасности». Предрассудками заражены практически все слои южноафриканских белых, и правительство не без основания надеялось таким способом перетянуть на свою сторону даже часть бывших повстанцев. И максимально настроить «белую Южную Африку» против марксистов, публично продемонстрировав: вот, мол, они какие — баламутят «черных», предают свою расу. (Первые южноафриканские марксисты были, разумеется, белыми. Иначе в те времена и быть не могло. Среди африканцев интеллигенция была малочисленна, а рабочее движение еще только зарождалось, хотя в 1917—1920 годах уже прошло несколько массовых стачек.)

Об опасности марксистского влияния на африканцев писали не только те, кто составил «Синюю книгу». Это же заявлял, например, Конан-Дойль. Он считался знатоком Южной Африки — во время бурской войны работал в одном из южноафриканских (конечно, английских) госпиталей, написал об этой войне и проблемах Южной Африки две большие книги. А побывав там в двадцатые годы, сделал заключение, что «туземцы сейчас не представляют опасности, если только большевики оставят их в покое».

«Уроки» были к началу 20-х годов совсем не единственным обращением марксистов к африканцам. Но именно «Уроки» привлекли особое внимание властей, наверно, своей популярностью, очевидной доступностью для африканских рабочих — во всяком случае наиболее грамотных, вдумчивых. А таких можно было насчитать немало среди двухсот тысяч шахтеров Трансвааля и сотен тысяч африканцев в других отраслях хозяйства.

Автором был он?

У меня нет сведений, которые бы с точностью указывали на автора. Догадки можно строить, исходя из самой листовки и сопровождающего ее материала «Синей книги», из того, что́ вообще известно о событиях и людях тогдашней Южной Африки. И прежде всего, мне кажется,— из уверенности, что только очень недюжинный человек мог написать такую листовку. Ведь автору необходимо было не только знать идеи Маркса, что само по себе в тогдашней Южной Африке было совсем не таким уж частым явлением. И не только хорошо владеть публицистическим пером.

Надо было в своем сознании преодолеть барьер расовых предубеждений. Автор находился в стране, где сам воздух напоен расовой ненавистью, и вокруг себя видел людей, которых Бернард Шоу, не раз бывавший на юге Африки, называл «белыми дегенератами».

О том, как глубоко укоренились в сознании белых людей эти предубеждения, через много лет после «Красного восстания» образно говорил Абрахам Фишер — осужденный на пожизненное заключение руководитель южноафриканского подполья, коммунист, лауреат Ленинской премии мира. Свою речь на суде в 1966 году он построил как обвинение расизму и рассказал, каким трудным для него самого оказался когда-то в молодости такой поступок, как подать руку африканцу.

Автор листовки шел и на то, что большинство окружавших его «нормальных» белых должны были смотреть на него, как на зачумленного. Он ставил себя в положение гонимого в обществе, организм которого уже был заражен губительным вирусом тайной слежки и доносов.

Автор листовки не побоялся бросить вызов такому обществу.

Кто же это мог быть?

Какие-то основания для догадок дает московский экземпляр «Синей книги» — на полях и в тексте есть чьи-то рукописные пометки на английском языке. На странице 28-й возле заголовка «К рабочим-банту. Урок первый» на полях написана и поставлена в скобки фамилия: Джонс.

Джонс, или полностью — Дэвид Айвон Джонс — так звали одного из виднейших южноафриканских марксистов и основателей, сперва, в 1915 году, Интернациональной социалистической лиги, а затем и возникшей в большой мере на основе этой лиги Коммунистической партии Южной Африки. С 1921 года он находился в Москве как представитель партии в Коминтерне.

В Коминтерн и прежде всего Айвону Джонсу его друзья присылали из Южной Африки и коммунистическую газету «Интернационал», редактором которой до своего отъезда в Москву был он сам, и много другой литературы. «Синюю книгу» Джонс наверняка не просто читал, а, что называется, штудировал — «Красное восстание» его крайне интересовало, и он написал об этом событии несколько серьезных статей.

Но значит ли это, что именно ему принадлежат пометки на полях? Их могли ведь сделать и другие южноафриканцы, бывавшие тогда в Москве.

И не только южноафриканцы. Классовые бои, охватившие Трансвааль в первые послевоенные годы, привлекли внимание Ленина. Он писал в 1922 году: «...не забыть еще Южной Африки, которая недавно напомнила о своей претензии быть л ю д ь м и, а не рабами, и напомнила не совсем «парламентски». «Синюю книгу» могли просматривать руководители Коминтерна и референты. Не исключено, что она привлекла внимание М. В. Фрунзе — он настолько интересовался положением дел на африканском материке, что написал книгу о начавшемся в 1921 году антиколониальном восстании в Марокко и опубликовал ее под псевдонимом: «М. Мирский». И уж почти наверняка штудировал «Синюю книгу» Ф. Ф. Раскольников — в те годы он работал над проблемами Южной Африки. Может быть, пометки делал через несколько лет кто-нибудь из основателей советской африканистики. Иван Изосимович Потехин. Или венгр Эндре Шик, получивший в 1968 году Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», а в 20-х годах — москвич Андрей Александрович Шийк, работник Коминтерна, автор многих статей о Южной Африке.

Поставил на полях фамилию «Джонс» сам Дэвид Айвон Джонс или, может быть, еще при его жизни кто-нибудь сделал пометку для памяти, чтобы спросить у него что-нибудь по поводу этой листовки? Или уже после смерти Джонса, после 1924 года, кто-нибудь, уверенный в его авторстве, хотел, чтобы об этом знали и другие читатели? На этот вопрос ответить трудно, даже представляя себе почерк Джонса и других возможных читателей,— надпись сделана слишком старательно, почти, что называется, «по-печатному».

Если обратиться к тексту «Синей книги»— в какой степени он помогает установлению автора листовки? Ни прямого, ни какого-нибудь косвенного указания там нет. Только бросается в глаза, что в первой, «теоретической» части о Джонсе сказано больше, чем о ком-либо другом. На 26-й странице говорится: «Еще до того, как его избрали одним из делегатов Южно-Африканской коммунистической партии на конгресс Третьего Интернационала, м-р Джонс был известным поборником большевизма. Он прибыл в Южную Африку в 1910 году и с 1914 года посвящал все свое время рабочему движению».

А затем подробно рассказывается о его деятельности и в Южной Африке, и в России. Цитируются его выступления в Коминтерне и его письма в Южную Африку. Говорится, на каких заседаниях в Москве он появлялся. Пересказывается, как Джонс описывал Москву и московские порядки, жизнь людей в России, Красную Армию. Цитируются даже те из его статей, которые были написаны, но, кажется, так и не вышли в свет.

Осведомленность южноафриканской охранки кажется просто поразительной. Но это только на первый взгляд. Ведь весь этот материал могли ей дать обыски в самой Южной Африке, в первую очередь по адресу, который специально указывается в 137-м параграфе «Синей книги»: «Штабквартира Коммунистической партии Южной Африки находится в Иоганнесбурге — помещение № 4, Трэйдс-холл, Риссик-стрит». Туда Джонс присылал друзьям не только письма, но, конечно, и все, что он публиковал и в России, и в Англии. Да ведь и почти в каждом номере издававшейся в Иоганнесбурге коммунистической еженедельной газеты «Интернационал» появлялись его статьи — и мысли об южноафриканских и международных делах, и серия заметок «Россия день за днем».

Трансваальская охранка считала Джонса настолько важным объектом своих «изысканий», что приписывала ему авторство даже там, где оно отнюдь не так уж очевидно. Так, в 155-м параграфе «Синей книги» говорится:

«В большевистском органе «Коммунистический Интернационал», который издается в Москве и на английском языке, в №№ 16—17 третьего тома — экземпляр которого был представлен Комиссии — содержится интересная статья, озаглавленная «Революционное движение в Южной Африке» и подписанная «Делегат Лиги». Вряд ли можно сомневаться, что ее автор — м-р Айвон Джонс».

Комиссия, составившая «Синюю книгу», прямо связывала эту статью с «Уроками «К рабочим-банту», а самую листовку — с возникновением первых союзов африканских рабочих. Такие союзы начали создаваться в Трансваале с 1917—1918 годов, в большой

А. ДАВИДСОН
ТРАНСВААЛЬСКАЯ ЛИСТОВКА

мере под влиянием действий местных марксистов из Интернациональной социалистической лиги. Первый такой союз назывался «Индустриальные рабочие Африки».

В «Синей книге» говорилось: «Уроки», о которых сказано в параграфе 154-м настоящего отчета, по мнению автора (то есть автора статьи «Революционное движение в Южной Африке», которым комиссия считала Джонса.— *А. Д.*), принесли плоды». И дальше цитируется то место статьи, где сказано: «Была создана организация под названием «Индустриальные рабочие Африки» — туземная революционная организация, возникшая в результате деятельности кружков Лиги».

Не забыла судебная комиссия помянуть Айвону Джонсу и известную листовку, которую он написал вместе с одним из своих друзей на рубеже 1918—1919 годов. Называлась она «Большевики идут» и вызвала ярость властей не только своим содержанием, но и прежде всего тем, что была переведена на языки зулусов и басутов — двух крупнейших народов среди южноафриканских банту — и распространялась среди африканцев. За эту листовку Айвона Джонса в 1919 году уже отдавали под суд. А властям она настолько запомнилась, что даже через сорок лет они снова вытащили ее из архивов и использовали во время нашумевшего на весь мир процесса о «государственной измене», который шел в Претории и Иоганнесбурге в 1956—1961 годах над полуторастами лидеров борьбы против расизма. Эта листовка должна была показать, в какое давнее прошлое уходят корнями «заговоры изменников».

В «Синей книге» 1922 года приводится такой отрывок из этой листовки Джонса:

«Большевизм означает власть рабочего класса! А там, где правят рабочие, капиталисты не могут больше сохранять свою Систему Грабежа... Они клевещут на большевиков потому, что потеряли богатые рудники и фабрики, где русские трудящиеся работают теперь сами на себя; потеряли землю, которую теперь сорок миллионов крестьян обрабатывают сообща в Советской Республике. Они клевещут на большевиков потому, что боятся, как бы вы не последовали их примеру. Капиталистический класс во всех странах скорее искромсает народ на куски снарядами своих пушек, чем даст ему править. Белый рабочий не может быть свободен до тех пор, пока черный рабочий угнетен. Прежде чем труд сможет сам освободить себя, черный рабочий вместе с белым должен объединиться в одной организации труда, независимо от ремесла, цвета кожи и вероисповедания. Это — большевизм».

Составители судебного отчета, конечно, должны были поставить здесь отточия после каждой фразы, потому что на самом деле это не сплошной текст, а кусочки, выхваченные из разных мест листовки. В «Синей книге» это не оговорено, хотя документы в ней должны бы приводиться с безукоризненной точностью, как в любом судебном деле

Что же касается обращения «К рабочим-банту», то кроме «Синей книги» мне только раз еще встретилось упоминание о нем — в диссертации, которая была в 1965 году защищена в американском Гарвардском университете. Называется она «Марксизм-ленинизм в многорасовом обществе. Возникновение и ранняя история Коммунистической партии Южной Африки. 1914—1932».

В этой 700-страничной диссертации об «Уроках» упоминается лишь в одной фразе на 185-й странице: «Джонс и Грин вместе написали небольшую листовку «Большевики идут»; там содержатся восемь «Уроков» африканским рабочим — их убеждают организоваться и установить связи с белыми рабочими в общей борьбе за свободу и равенство для всех трудящихся».

На следующей странице дана ссылка: «Полный текст листовки Джонса и Грина на английском языке помещен в «Интернационале» за 25 апреля 1919 года».

Действительно в этом номере газеты «Интернационал» помещен текст известной листовки «Большевики идут». Но там нет ни одного из восьми «Уроков».

Можно, конечно, предположить, что «Уроки» включались в «зулусское» и «басутское» издания листовки «Большевики идут». Но это был бы уже совсем особый домысел — он отнюдь не вытекает из утверждения американского диссертанта, который ссылается именно на английский текст, где этих «Уроков» на самом деле нет.

Таким образом, пока трудно сказать, полный ли текст обращения «К рабочим-банту» дан в «Синей книге» и было ли это обращение издано только на английском языке.

Что же до авторства, то тут, мне кажется, многое указывает на Айвона Джонса. Он был самым ярким из южноафриканских марксистов к началу двадцатых годов. В «Уроках» высказаны именно те идеи, которые он проводил в газете «Интернационал», а стиль его известной листовки «Большевики идут» очень сходен с манерой, в которой написаны «Уроки». Так что даже если отбросить неизвестно кем сделанную пометку на московском экземпляре «Синей книги», аргументы в пользу Джонса кажутся убедительными.

Если исходить из посылки, что автором был Джонс, можно более или менее определенно назвать и время появления «Уроков». Они написаны под явным влиянием Октябрьской революции и, следовательно, не раньше начала 1918 года. В 1920 году Айвон Джонс уехал из Южной Африки и уже не смог туда вернуться. Так что скорее всего «Уроки» появились в конце 1918 или в 1919 году.

Но, конечно, для безоговорочного ответа всех этих рассуждений недостаточно. Точный ответ могут дать только архивы южноафриканской охранки, да, может быть, кто-нибудь из старейших ветеранов трансваальского революционного движения. А пока о судьбе первых марксистских «уроков» африканцам известно мало.

Судьба Джонса, их наиболее вероятного автора, знакома лучше. Хотя и о нем конкретных сведений сохранилось куда меньше, чем заслуживает этот яркий и мужественный человек.

Деятельность Джонса дорого стала бы ему, если бы он попал в руки властей «под кампанию» — после «Красного восстания», во время массовых репрессий. Но тогда он был далеко. С лета 1921 года жил в Москве, на Тверской, наискосок от Моссовета — в тогдашней коминтерновской гостинице «Люкс» (теперь она называется «Центральная»), в комнате № 7 на втором этаже.

Правда, раздавались голоса, что надо как-то заставить замолкнуть этого человека,— даже когда он находился за тысячи километров.

Выглядело это порой курьезно. Самая крупная газета Южной Африки — «Кейп таймс» — в феврале 1924 года призвала Англию отложить признание Советского Союза «из-за широкой революционной пропаганды, которую негритянская секция московского «Восточного университета» ведет среди народов банту нашей страны».

Англия, по мнению «Кейп таймс», должна была потребовать, «чтобы московское правительство разогнало банды его негритянских пропагандистов и положило конец злонамеренной активности в России и Южной Африке таких лиц, как Айвон Джонс... представляющих растущую опасность для цивилизации в Южной Африке».

Газета «Интернационал» высмеяла эту статью в заметке «Айвон Джонс мешает признанию».

А в то время, когда «Кейп таймс» так негодовала по адресу Айвона Джонса, он сам уже умирал. Даже целебный климат Крыма и уход врачей ялтинского тубинститута не могли спасти этого человека, который в течение почти всей своей сорокалетней жизни тяжело страдал от чахотки.

Последнее письмо друзьям в Трансвааль он писал три дня — 13, 14 и 15 апреля. Большое, на несколько страниц, оно полно мыслей о событиях в Южной Африке, о перспективах его партии. И лишь один абзац — как стон:

«Я пишу, как всегда, в постели... Стал совсем беспомощным, даже через комнату не могу перейти, если меня не поддержат... Сейчас я отказываюсь от своих требований к «будущему» и готовлюсь закрыть мои счета в том виде, как они есть, со всеми содержащимися в них «ошибками» и «проклятыми глупостями»! Ближайшие недели покажут, каковы мои перспективы, и, если недуг окажется хроническим, я предъявлю свои чеки. Не знаю, но мне приходится нести бремя слишком долго. И в конце концов это эгоизм, несовместимый с коммунизмом,— постоянно лежать прикованным к постели, на попечении людей, которые могли бы делать полезную работу. Придет время, когда будет считаться пережитком индивидуализма или даже суеверием все ждать и ждать, пока последнее дыхание отлетит от губ. Как акушерка должна помогать появляться на свет, так доктор должен бы помогать людям уходить, когда становится ясным, что они уже бесполезны...»

В субботу 31 мая 1924 года Айвона Джонса не стало.

Этот человек привлекал к себе внимание южноафриканских властей и прессы при жизни, казался загадкой, и даже его смерти постарались придать какое-то таинственное значение, окружили ее кривотолками. Южноафриканская газета «Натал меркюри» написала: «Загадочная смерть в России». А лондонская «Таймс» — «Обстоятельства, при которых он умер, неизвестны. Где он умер — тоже неизвестно».

В «Правде» и «Известиях», которые раньше читал и в которых печатался Айвон Джонс, появился большой некролог. Он начинался словами:

«В Ялте скончался бывший член Исполкома Коминтерна от Южной Африки Давид Айвон Джонс. Тов. Джонс был одним из редких явлений в современном англосаксонском движении, одним из первых, решительно примкнувших к III Интернационалу со дня его основания».

В субботу 14 июня приехавшие в Москву на V конгресс Коминтерна делегации коммунистических партий пришли в клуб Коминтерна, а потом — на Новодевичье кладбище. Прощальные слова говорили русские, французы, англичане, немцы, американцы, старые друзья Джонса — такие, как Том Манн, Билл Хэйвуд, ветераны рабочего движения Англии и Америки. Всего лишь годом раньше многие из этих людей собирались вокруг Джонса в холле гостиницы «Люкс» по утрам — послушать, что пишут в «Правде», «Известиях» и других московских газетах. Джонс сумел так же быстро освоить русский, как он выучил голландский, немецкий, зулусский.

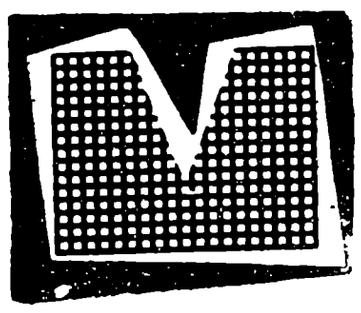
А через несколько дней начался V конгресс Коминтерна и с его трибуны Том Манн говорил о памяти Айвона Джонса — «который был одним из первых белых, старавшихся понять негров и относиться к ним как к товарищам».

Вот немногие факты, которые удалось собрать в связи с обращением «К рабочим-банту». Эти «Уроки» — один из документов, в которых на земле Африки идея интернационализма звучала впервые.

ГЕОРГИЙ КУБЛИЦКИЙ

РЕПОРТАЖ ИЗ «СПАЛЬНОГО ГОРОДА»

Типично ли?



ы спустились с шоссе в лесок, потом, вспугивая лягушек, по скользкой тропинке пересекли болотце. Лесок был невытоптанным, тропинка — малохоженой. Недавно прошумел теплый дождь, и наши следы были единственными.

— Шведы не любят гулять просто так,— сказала Ирина.— Встречаю тут иногда старичка, очень вежливого, еще издали приподнимает шляпу. И больше никого.

Мы выкарабкались из болотца на поросший осинником склон, поднялись выше

— Вот и граница. Большой Стокгольм кончился. Мы в провинции.

С вершины холма была видна бойкая автомобильная дорога на Худдинге, описывающая дугу среди темных лесов. Если бы не она, то вообще могло показаться, что тут изрядная глушь, не очень-то тронутая цивилизацией.

Мы не спеша пошли вдоль «границы» и уткнулись в забор. Ферма была основательно запущенной, явно не типичной для страны пронумерованных дорог, хорошо подстриженных газонов и расчетливо-трезвых хозяйских умов. На калитке висела табличка. Ирина рассмеялась:

— «Осторожно, злая собака»! Здесь живут с керосином. Нет, нет, вокруг у всех электричество. А старик не хочет. Не желает никаких новшеств. Мирится только с телефоном, да и то потому, что его поставили на ферме еще до первой войны.

Старик в подтяжках неторопливо перекапывал грядку возле облупившегося старого дома. Ирина окликнула его, приветственно подняла руку. Старик оглянулся, равнодушно кивнул.

— Недавно к нему приезжали две дамы из Общества покровительства животным. Их обеспокоили условия жизни «злой собаки». Пес содержится на улице, на цепи, это вызывает в нем отрицательные эмоции, озлобление.

Если бы я был в Швеции впервые, то, наверно, спросил бы: как, мол, это так, разве не естественнее было заинтересоваться самим чудаковатым одиноким стариком, коротающим вечера у керосиновой лампы? Но в Швеции я третий раз

Старик сам выбирал образ жизни, не так ли? Не следует вмешиваться в его дела, даже если это вмешательство вызвано сочувствием или иными самыми добрыми намерениями. Он сам по себе, все другие — сами по себе.

Одиночество? Пусть продаст землю и ферму, совсем поблизости, в Рогсведе, есть вполне приличный дом для престарелых...

В чужих странах мы обычно гоним по главным дорогам. Гость Швеции непременно вычерчивает треугольник, в вершинах которого Стокгольм, Гётеборг, Мальмё. По сторонам и внутри этого треугольника — все главные шведские красоты: распаханные равнины южной провинции Сконе с картинными ветряными мельницами и замками вельмож, синие холодные озера Средней Швеции, сосновые леса, стайки яхт в шхерах, средневековые соборы, сглаженные великими ледниками гранитные холмы, морские гавани. Пронесешься напролет через все это шведское благолепие — и, глядишь, уже накрыт стол для прощального ужина, горят свечи. А там аэропорт Арланда под Стокгольмом или причал морского парома неподалеку от Мальмё — прощай, милая Швеция!

Давно уже хотелось мне побывать не то что в географически отдаленных ее углах, не у черта на куличках, а просто в каком-нибудь маленьком городке, причем не старом, не музейном, а вполне современном, может быть, даже архисовременном, но непременно маленьком, легко обозримом, со своим интимным мирком, со своими чудаками и энтузиастами, со своим укладом. Вот теперь я и выбрал Рогсвед, не обозначенный на картах туристской Швеции. Выбору помогла молодая преподавательница-славистка, предпочитающая, кстати, чтобы ее называли на русский лад Ириной. Она согласилась помочь мне ближе узнать ее Рогсвед.

Но достаточно ли он типичен, характерен? Что он такое, Рогсвед, в масштабах страны или хотя бы Большого Стокгольма? Что он такое, этот «спальный город: воплощение новых градостроительных идей, удавшийся социальный эксперимент или след вчерашних увлечений, о которых не очень охотно вспоминают сегодня?

Вскоре, однако, я убедился, что мне никак не удается самоизолироваться в Рогсведе, что трудно — да и едва ли правильно — рассматривать его обособленно. Рогсвед, как говорится, можно было лишь «взять за основу». Часть проблем, общих для маленьких городов, отчетливее, рельефнее очерчивалась в других спутниках системы Большого Стокгольма. И, видимо, только в столичных компетентных организациях иностранец, недостаточно знающий жизнь страны, может услышать квалифицированное толкование некоторых заинтересовавших его явлений — толкование, отражающее господствующие в этой стране взгляды. Таким образом, мне пришлось сверять Рогсвед по другим маленьким городкам и гораздо чаще, чем я думал сначала, по необходимости делить время между «спальным городом» и центром шведской столицы.

Город большой и город маленький

Большой Стокгольм, в сущности, рожден последними двумя десятилетиями. Они сильно раздвинули, расширили, растянули шведскую столицу.

Очень долго сами шведы называли Стокгольм Большим маленьким городом. В начале века приезжие находили, что, пожалуй, он излишне важен и элегантен для скромной и не очень богатой страны. Однако все сходились на том, что Стокгольм удобен для жизни, уютен, как старый, хорошо поставленный дом с традициями неназойливого гостеприимства.

Став Большим городом, Стокгольм, на мой взгляд, многое нашел, но и потерял немало. Не те нервы, учащен пульс, сердцу трудно в разросшемся рыхловатом теле, все чаще тромбы в узких артериях старых кварталов...

Фотоальбом стокгольмского быта, который мне подарили в первый приезд в 1955 году, украшал идиллический снимок: возчику понадобилось осмотреть подковы своей лошади на Васагатан — магистрали, достаточно бойкой. Движение, конечно, приостановилось, но все принимают это совершенно спокойно, как должное. Теперь Васагатан — в синем, едком дыму мчащихся автомашин. Правда, и сегодня в Стокгольме еще можно изредка увидеть четверку лохмоногих битюгов, от которых испуганно шарахаются автомобили. Битюги влекут огромные деревянные дроги с уложенными и подвешенными бочонками пива. Его, рекламы ради, развозят кучера, одетые в стиле «добрых старых времен».

Но какие уж тут «добрые старые времена», когда мимо дрог проносятся набитые развязными парнями большие потрепанные машины с рыжими лисьими хвостами на антеннах, что означает примерно: «Ищем подружек» или «Эй, девицы, давайте к нам!» Что говорить о «добрых старых временах», когда витрины лавчонок неподалеку от церкви св. Клары полны такой бесстыдной, откровенной порнографии, какую мне не доводилось видеть даже в печально знаменитом на всю Европу гамбургском Репербане; а вечерняя стокгольмская газета приходит с соответственно оформленной рекламой книги Жерома и Юлии Райнер «Вариации и обновления в сексуальной жизни» («Техника полового акта в тексте и фо-

тографиях, изучение которой поможет многим освободиться от сексуальных спазм») или произведения Антони Сторра «Сексуальные извращения» («Опытное детальное описание различных сексуальных извращений с анализом их причин, деловой вклад в дискуссию»).

Конечно, это лишь накипь в котле Большого города. Она не определяет сегодняшний облик столицы, но все же бросается в глаза, особенно тому, кто помнил Большой маленький город.

Если же забыть о накипи, если подняться на какую-либо высотную обзорную вышку, то сегодняшний Большой Стокгольм с птичьего полета являет зрелище поистине великолепное. В его силуэте стрельчатые башни древних соборов соседствуют со светлыми прямоугольниками небоскребов недавно построенного делового центра. Корабли идут под мостами, перекинутыми над водами пролива и соединяющими острова, занятые разросшимся городом. Нетронутые гранитные скалы берегов, зеленая оправа парков, обилие вод придают этому северному городу то очарование, которое утрачено многими европейскими столицами, где застройка слишком потеснила, приглушила, подавила природный ландшафт.

Лишь оказавшись в Техническом управлении, которое занимается сносом, строительством и транспортом в черте Большого Стокгольма, я вижу, наконец, весь его сложный комплекс как бы с заоблачных высот. Схема чрезвычайно наглядна. Г-жа Биргит Мальмстром скользит по ней указкой. Известно ли господину из Советского Союза, что городское управление еще в 1904 году начало скупать у частных владельцев дальние земли в расчете на то, что Стокгольм, который тогда рос весьма медленно, станет все же рано или поздно большим городом? Что с тех пор город непрерывно приумножал свои земельные владения и это позволило Совету генерального плана избежать хаоса в застройке и перестройке?

— Когда сегодня надо ломать, чтобы завтра строить, поздно уговаривать владельца сбросить цену. Тут можно сесть на клей из-за упрямства какого-нибудь господина, который желал бы получить полмиллиона крон за снос своей табачной лавки.

«Сесть на клей» — идиома типа нашей «сесть в лужу».

По идее, рожденной в сороковые годы, каркасом Большого Стокгольма должны были стать шоссе и радиальные линии метро, которые за пределами собственно города выходят на поверхность. Предельная длина каждой — двадцать километров. При большой протяженности неизбежна сильная перегрузка в часы пик То, что строится дальше двадцати километров, должно находиться в сфере притяжения самостоятельных новых крупных городов.

— Сначала многим казалась идеальной застройка по очень свободной системе «дом в парке» или «дом в лесу». Так возникла идея небольших «спальных городов», тихих и удобных, куда люди приезжают после работы. И мы стали строить такие города. Но застройка очень расплылась. Возникли также некоторые психологические и социальные проблемы. По-видимому, более удачной оказалась система крупных городов-спутников. Вы бывали в Веллингбю? В Фарште?

Я сказал, что впервые видел Веллингбю свыше десяти лет назад, недавно был там вторично, а позавчера друзья показывали мне великолепный торговый центр в Фарште.

— Вот, вот,— закивала г-жа Мальмстром.— Именно торговый центр. Все начинается с линии метро и торгового центра. Сейчас в Веллингбю двадцать пять тысяч жителей, но его торговый центр рассчитан еще и на обитателей по крайней мере десяти ближайших маленьких спутников. Торговый центр Фаршты может обслужить сто тысяч покупателей.

Указка г-жи Мальмстром скользнула к нижней рамке схемы:

— Теперь о Рогсведе, которым вы, кажется, интересуетесь особо.

Через минуту я записывал: Рогсвед начал строиться в 1955 году, четыре года спустя там открыли торговый центр, рассчитанный на четырнадцать тысяч жителей. Большая часть зданий городка принадлежит акционерному обществу «Стокгольмский дом». Торговый центр Рогсведа признан не очень удачным: он расположен в низине, плохо виден с шоссе, не зовет, не притягивает, не волнует и, следовательно, не типичен.

Кроме того, по мнению г-жи Мальмстром, в Рогсведе слишком много высоких домов. Сейчас заметна тяга к умеренной этажности. Архитекторы и строители ломают голову над тем, как совместить приятную для жизни малоэтажность с достаточной экономичностью. Те, у кого дети, предпочитают трехэтажные дома, где квартиры обычно на две стороны: из окон видно, чем занимаются ребята, легко прийти на помощь своему чаду и не нужно опасаться неприятностей с лифтом.

— Признано, что лучше, когда в одном подъезде не очень много детей,— сказала г-жа Мальмстром.— Но сейчас из-за жилищного кризиса хватают все, что подвернется, не думают ни об этажах, ни о детях...

Итак, Рогсвед не лучший и не худший среди «спальных городов». В нем, так сказать, наряду с несомненными градостроительными достижениями имеются и отдельные недостатки. Одним словом, средний «спальный город».

Рогсвед с первого взгляда...

Рогсвед находится в конце одной из южных ветвей метрополитена: четырнадцатая станция от центра столицы.

Стокгольмское метро почти ровесник московскому. Станции часты, их свыше шестидесяти. Старые довольно унылы, перроны грязноваты: здесь в метро курят и не слишком заботятся о том, чтобы окурки непременно попадали в урны. Одноцветная или мозаичная отделка кафельной плиткой делает более привлекательными станции, построенные позднее. Открытая же недавно «Площадь Эстермальм» просторна, празднична, залита светом и, кроме кафеля, украшена символическими композициями художницы Сири Деркерк, призывающими к миру и прославляющими мир. Видимо, шведы в конце концов решили, что одной функциональной целесообразности для подземной дороги все же маловато.

До Рогсведа около получаса езды. Поезд метро, вынырнув на поверхность, превращается в пригородную электричку. Новые пригороды Стокгольма застроены так, будто дома — разновидность живого мира, они как бы прорастают из земли рядом с корабельными могучими соснами, пускают железобетонные корни фундаментов в гранитную твердь и, не разрушая, не выравнивая скал, становятся их продолжением. Вон сосна прильнула к стене семиэтажного дома, просунула ветви на балконы. Когда строили дом, ее оберегали, защищали — и она, благодарная, украшает теперь бетонную коробку.

И Рогсвед — я впервые увидел его в ясный теплый денек — тоже забрался на гранит по обе стороны маленькой станции, похожей на дачные платформы: длинный перрон и небольшой навес.

С первого взгляда «спальный город» напоминал крупный пансионат, для которого удачно выбрали здоровую местность с живописными скалами и сосновым лесом. К домам-башням, поднятым слева от станции, вела дорожка, сменившаяся маршами пологой лестницы. А рядом еще одна странная лестница: посередине ступеньки, по бокам — две узких полоски асфальта. По ней навстречу мне спускалась молодая мама с коляской. Каблучки стучали по ступенькам, колеса легко катились по асфальтовым полоскам. После я узнал, что социал-демократы при выборах потеряли в Рогсведе значительную часть голосов потому, что их представитель, занимающий высокий пост в городском самоуправлении, счел было устройство этой лестницы излишней роскошью.

Прежде чем позвонить в квартиру Ирины я прошелся по Рогсведу. Кроме башен тут были невысокие, длинные дома самой простой архитектуры, какую только можно себе представить. Если бы не скалы, если бы не сосны... Да еще, пожалуй, разноцветные балконы...

Строго говоря, в Рогсведе не было городских улиц в нашем понимании. Здесь залиты асфальтом лишь подъезды к домам и площадки для стоянки автомобилей. Всюду висели стандартные, изготовленные фабричным способом предупреждающие таблички, три — одна под другой:

«Не живущим здесь не въезжать!»

«Это относится также к мотоциклам!»

«Здесь территория этого дома!»

Рогсвед ограждал себя от вторжения посторонних. От гари моторов. От визга тормозов. От моторизованной Швеции, которую не пускали сюда с широкого шоссе, проложенного рядом с линией электрички.

Меня умилил желтый металлический подсолнух, завлекательно яркий, солнечный. Он поднимался над детской площадкой, у входа на которую было написано: «Добро пожаловать всем детям до 15 лет». Какими чистыми, приятными красками расписан круглый загончик для самых маленьких, как изобретательно сделаны кукольные домики! И уж совсем сразили меня трубы, обыкновенные бетонные трубы большого диаметра. Казалось, их случайно оставили на песке. Ан нет, вовсе не случайно! Они почищены, окрашены изнутри, чтобы ребята не пачкали одежду. Пусть себе ползают на здоровье по таинственным пещерам!

Ветер шумел в соснах возле белых домов-башен. Пели птицы. Прогрохотала электричка, несколько человек поднялись с перрона по лестнице — и снова тишина.

...и три недели спустя

Прошло три недели после первого моего знакомства с Рогсведом, и я тут почти как дома. Сегодня решено обойти окрестные холмы и рощи.

Мы поднялись на горку слишком уж правильной формы, чтобы заподозрить в ней творение природы. Действительно, ее насыпали из всяческих отходов, когда строили Рогсвед и соседний Хёгдален. Теперь это отрада местных горнолыжников.

С вершинки было видно типичное Подмосковье: лесные дали с вкраплениями поселков, заводских корпусов, дорог, мачт высоковольтных передач. Над лесом поднимались светлые прямоугольники башен Рогсведа, расставленных свободно, довольно далеко друг от друга.

Спустившись с горки, мы побрели вдоль «земли для нервных». Это вроде наших садовых участков, только фруктовые деревья сажать не обязательно. Хочешь — разводи огородик, хочешь — лелей гладиолусы. Может, тут не только нервы, но и тоска по земле вчерашних крестьян, втиснутых в каменные башни?

— Врачи прописывают нервным еще собаку,—рассмеялась Ирина.—Да, да! Хочешь не хочешь — прогуливайся с ней, да притом не один раз в день.

Должно быть, час собачьих прогулок еще не пришел, на тропинках у окраины Рогсведа по-прежнему пусто, и по-прежнему машины несутся из Стокгольма и в Стокгольм по автомобильной дороге на Худдинге.

Возвращаясь, мы проходим мимо лавки Свена Францена, мимо парикмахерской Рачи. На пригорке школа. Торговый центр отсюда не виден, г-жа Мальмстром права, его серое подковообразное здание слишком упрятано в низину. Там два порядочных магазина и около двух десятков лавочек, где товары чуточку дороже, чем в Стокгольме,— ровно настолько, чтобы хозяйке все же было выгоднее покупать их здесь, чем тратить деньги на поездку.

Да, многое знакомо мне в «спальном городе». Я теперь знаю, что умиливший меня подсолнух детской площадки и надпись «Добро пожаловать всем детям до 15 лет» радуют не всех матерей. Как почти всюду в Швеции, площадка перегружена, руководительнице некогда со всеми возиться, и правила предупреждают о немедленном отчислении тех, кто плачет, плохо осваивается на новом месте или, напротив, быстро освоившись, дерется с другими ребятами. Я не стану теперь попусту ждать у знака автобусной остановки возле дома Ирины, потому что автобус останавливается здесь раз в неделю по четвергам. Он привозит обитателям Рогсведа книги для чтения: своей библиотеки здесь нет.

Дом-башня Ирины в общем похож на наши дома. В 40 квартирах ее подъезда 46 детей, у обитателей этого подъезда 40 собак, так что маленький лифт не знает отдыха. Кое-что в доме надо бы подкрасить, кое-что заменить. Боюсь, что некоторые надписи, процарапанные чем-то острым на стенах лестничной клетки, не принадлежат к лучшим образцам современной шведской прозы.

Рогсведу нимало не свойственна общительность русской провинции. Обитатели подъезда почти не знают друг друга. В гости ходить не принято, равно как и забегать к соседке для того, чтобы перехватить до получки или одолжить луковицу. Каждый сам по себе. Любезная улыбка при встрече — лучшая и достаточная форма общения.

Я расспрашивал о праздниках. Например, как бывает в Рогсведе на Новый год?

Семья собирается обычно на кухне, стол ломится от всякой снеди, горят праздничные свечи. В полночь открывают окна, выходят на балконы, палят из ракетниц, жгут бенгальские огни. То же и у соседей.

Вот Лючия — другое дело. Это праздник, выходящий за рамки семьи и дома. Он отмечается 13 декабря. Ранним утром дети приносят родителям в постель кофе с крепким глинтвейном. Потом взрослые с приятно кружащейся головой идут на работу. В конторе или цехе происходят веселые выборы Лючии. Обычно этой чести удостаивается самая хорошенькая. Лючия в сопровождении свиты обходит всех, угощая кофе, глинтвейном и булочками. Тут празднику и конец — во всяком случае, в служебной обстановке.

Я много читал и слышал о том, что шведы неконтактны, некоммуникабельны. Один французский исследователь уверял, что сам климат Швеции оказывает значительное влияние на изолированность людей, способствует развитию различных психозов. Шведы боятся показать свои эмоции другим, особенно душевные страдания. Они не любят говорить о себе. Но это не снобизм, не остатки аристократизма, это просто неконтактность. «Для меня,— замечает этот исследователь,— наихудшая пытка находиться в шведской гостиной среди людей, не говорящих ничего интересного, быть оглушенным наступившей тишиной, знать, что следует что-то сказать, но бояться произнести это не так, как надо. И вот парадокс: ведь так о многом хотелось бы поговорить со шведами! Боятся они злободневных тем, что ли? Если швед начнет говорить, его трудно остановить. Но почти невозможно заставить его говорить».

Будь Рогсвед под Неаполем или Каиром, у меня были бы уже десятки знакомых. В шведском городке — единицы...

Свен Франц ен, оптимист

Среди моих рогсведских знакомых есть неунывающий оптимист. Сам род его занятий исключает неконтактность. Свен Франц ен — владелец лавки.

Впервые я увидел его на маленьком рекламном плакате, который жители Рогсведа получили однажды с утренней почтой. Слегка приподняв котелок, без пиджака, но в темном галстуке и жилете в крупную полоску, г-н Франц ен самым приветливым образом улыбался своим потенциальным покупателям. Крупные ли-

ловые буквы сообщали: «Мы снова все перестроили... Пожалуйста, приходите на наш праздник открытия!»

Перестроил г-н Франц ен далеко не все, однако каждый мог убедиться, что новые «гондолы», прилавки-холодильники, гораздо больше, вместительнее, современнее прежних.

Владелец лавки не из местных старожилов, да и сейчас он живет не в Рогсведе, а по соседству, в Хёгдалене: здесь ему не удалось найти квартиру. Прежний владелец продал лавку полтора года назад. Почему?

— Он устал.— Франц ен произносит это так, будто просит извинения за странность подобного мотива. Как можно устать при таком интересном деле? Сам Свен Франц ен в свои тридцать восемь лет положительно излучает энергию и оптимизм.

— Если говорить в общечеловеческом плане, то для меня решающее значение имеет полная независимость. Никто мне не диктует, никто мною не командует. Как предприниматель я совершенно свободен. И если покупатели довольны мною, я счастлив. Торговля для меня и работа и хобби.

Лавка оптимиста вне торгового центра. Она пристроилась возле башен. Из подъездов — прямо к нему в двери. Лавка продовольственная, но в ней есть и то, что у нас называют сопутствующими товарами. Здесь мясному фаршу сопутствуют чулки, наборы моющих средств, всяческие жидкости и порошки для кухни, простенькие детские игрушки — словом, то, что покупают без долгих раздумий, то, что всюду одинаково и по цене, и по качеству.

Лет десять назад заведение г-на Франц ена считалось бы довольно крупным магазином. Теперь по калибру он где-то между средним и мелким лавочником.

— О, эти «мастодонты»! Слава богу, их пока нет поблизости.

«Мастодонты» — крупные продовольственные универмаги. Они смяли, растоптали в конкурентной борьбе множество мелких торговцев. Но храбрый Свен Франц ен не боится их: в Рогсведе им пока нечего делать.

— Я слышал, что в Америке снова возрождается мелкая торговля,— глаза моего собеседника сияют.— Сама жизнь подсказывает, что такие лавки нужны. Разве у «мастодонтов» сервис? Вы бывали в Швеции раньше, вы можете сравнить. Где, позвольте вас спросить, сервис, которым прежде славилась Швеция?

Тут я целиком согласен с моим собеседником. Просто удивительно, как изменился здесь стиль обслуживания! Десять лет назад меня. не очень-то избалованного отечественными работниками торговли, прямо-таки угнетала предупредительность, изысканная вежливость, готовность устремиться навстречу покупателю и его желаниям, едва он, покупатель, откроет дверь. Сознаюсь, я просто терялся без привычки, глупо краснел и решался заходить только в те магазины, где продавцы уже занимались с другими покупателями. Теперь произошло взаимное сближение: мы кое-что переняли (не очень, впрочем, многое) от старошведской галантности, шведы позаимствовали в гораздо большей мере от стиля «вас много, я один»...

— Моя лавка обслуживает примерно шестьсот семейств. И каждому, кто входит, я говорю: «Здравствуйте». Я знаю каждого своего покупателя. Я не всегда знаю его имя, но знаю его вкусы и могу судить о его положении в обществе по тому, что и сколько он покупает. Если мне приносят купленное где-то мясо и просят превратить его в фарш — пожалуйста! И, разумеется, бесплатно. У «мастодонтов» только крупная расфасовка. У меня и фасованное и развесное. Я отвешу вам пятьдесят граммов. Даже двадцать пять. Покупатель хотел бы попробовать кое-что на вкус? Пожалуйста!

— И, конечно, кредит постоянным покупателям?

— Нет, нет! — Г-н Франц ен чрезвычайно энергично отталкивает от себя руками нечто невидимое, но ужасно неприятное.— Нет, ни в коем случае! Это можно было позволять себе раньше. Но теперь... В Фарште один владелец лавки открыл кредит, теперь его магазин пойдет с молотка.

У Свена Франц ена круглое, несколько хитроватое, но располагающее лицо, привычная улыбка, предупредительные манеры. Но разговариваем мы стоя: присесть негде, потому что, по идее, сидеть в магазине без дела никому не полагается. В крохотном закуточке миловидная женщина что-то считает, стучит на старинной пишущей машинке, просматривает каталоги. Кроме нее в лавке еще двое носятся от покупателя к покупателю. Я замечаю, что г-н Франц ен вежливо скрывает растущую нервозность: покупателей все прибавляется, сегодня пятница, самый бойкий торговый день. Но у меня еще столько вопросов... Мы уславливаемся, что я зайду в начале недели.

Днем во вторник в магазине пустовато. Оптимист ведет меня в закуток, знакомит с миловидной женщиной, которая оказывается г-жой Франц ен.

— О, у вас семейное предприятие!

— Не только у нас. Вы не бывали в соседней табачной лавке? Ах не курите? Но там торгуют не только табаком, там и булавки, открытки, книжки, разная галантерея... Хозяину помогает двенадцатилетняя дочь, школьница.

— А вы,— обращаюсь я к г-же Франц ен,— вы ведете деловую переписку?

— И бухгалтерию. Я по специальности личный секретарь, стенографистка. Пришлось изучать счетное дело.

— К сожалению, ей приходится заниматься бухгалтерией и дома по вечерам. А у нас двое детей. Трудно.

Еще раз оглядываю закуток. Столик тесный даже для первоклассника, трогательная старая пишущая машинка, папки, счета, прейскуранты. Свен Франден следит за моим взглядом. Он сегодня серьезен.

— Не похоже на кабинет директора «Эпа»? («Эпа» — один из «мастодонтов»). Да, если хотите, нам, чтобы продержаться, нужны величайшие бережливость и изворотливость. И знания, конечно.

Выясняется, что г-н Франден специалист по гастрономическим товарам. Он окончил несколько краткосрочных курсов. Недавно прошел курсы кулинарии. Зачем? А как же он может советовать хозяйке, что именно она должна выбрать для того, чтобы приготовить русские пельмени или итальянскую пиццу — теперь в моде экзотические блюда. Он также совершенствуется в английском и немецком языках: в Швеции довольно много иностранцев, нужно, чтобы они, зайдя в магазин, «не имели трудностей». Н-да...

Но каким образом выкраивается время для закупки товаров? Ведь ему, наверно, приходится иметь дело со многими торговыми фирмами.

— Не со многими. В основном с одной. Это фирма «Фавор».

— Вот как! Почему же с одной?

Г-н Франден терпеливо объясняет. Он и еще сто сорок таких же владельцев мелких магазинов объединены фирмой «Фавор». Это очень, очень хорошая фирма. Фирма «Консум», которая объединяет много других торговцев, требует, чтобы они покупали товары исключительно у нее. А «Фавор» разрешает владельцу магазина прикупать кое-что и на стороне. Фирма ведет закупки по оптовым ценам, большими партиями. «Фавор» не только шведская, это общеевропейская солидная фирма.

Вон куда тянутся ниточки от скромной лавки в Рогсведе! И я вспоминаю, как при первой встрече г-н Франден говорил мне о свободном предпринимательстве, о том, что никто ему не диктует, никто им не командует.

Сколько же часов в неделю он работает? Семьдесят пять — восемьдесят! А на заводах Швеции — сорокапятичасовая рабочая неделя. У меня нет никаких оснований сомневаться в правдивости оптимиста. Он скорее приуменьшил, чем преувеличил. С утра до вечера работает он, работает жена, иногда помогает отец.

— Иначе нельзя. Но я не жалуюсь Ни в коем случае не жалуюсь. Магазин — моя собственность, я здесь хозяин, торговля — мое хобби.

Тем временем снова стал прибывать народ. Г-жа Франден села за кассу. Г-н Франден бросал быстрые взгляды на своих помощников.

— Нет, я не жалуюсь. Мы еще повоюем с этими «мастодонтами»!

При прощании он дал мне на память отпечатанный лиловой краской плакат: приподнятый котелок, полосатый жилет, оптимистическая улыбка, «мы снова все перестроили»...

Бенгт и формовщик, склонные скорее к пессимизму

Я рассказал о лавочнике-оптимисте Бенгту. Бенгт выслушал, кивая головой, согласился со мной, что едва ли стоит завидовать владельцам маленьких лавочек, потом сказал:

— Я его знаю, он славный парень. Но его сожрут. Непременно. Сейчас неподалеку от Рогсведа стрельбище, его собираются закрывать, будут строить дома. Жителей прибавится, и «Эпа» откроет универмаг. Тут мелюзге и крышка. Придется Свену менять хобби. Или идти продавцом в «Эпа».

Бенгт квалифицированный металлист Он суховат и раздражителен. Иногда даже резок. Когда вскоре после знакомства мы пили кофе у него на кухне, он заметил торчащие из моих карманов проспекты.

— Это вам интересно? Вы интересуетесь шведской мебелью? Может быть, пылесосами? Разве стоило за этим ехать в Швецию?

Бенгт явно не относился к числу гостеприимных и тем более любезных хозяев. Если бы не его желание узнать побольше о нашей стране, едва ли я удостоился бы приглашения «заглянуть на часок». Не раз Бенгт «задирал» меня. Я не смог достаточно подробно рассказать ему о практике работы цеховой профсоюзной организации, и он ворчливо заметил, что, видно, всюду «господа белые воротнички» мало интересуются подобными вопросами.

В Швеции не принято спрашивать собеседника о его политических симпатиях. Если тот считает нужным, чтобы вы это знали, то скажет вам что-нибудь вроде: «Я обычно голосую за социал-демократов». Мне было известно лишь, что Бенгт — многолетний профсоюзный активист, не очень, впрочем, продвинувшийся на этом поприще.

Бенгт приехал в Рогсвед несколько лет назад в числе первых жителей. Нравится ли ему здесь? Да, очень, только он с удовольствием удрал бы отсюда, куда угодно. Не раз пытался менять квартиру, но пока не сумел этого сделать. Может, потому, что нет времени. Все болтают о преимуществах жизни в маленьких городках, но, черт возьми, сами предпочитают жить в Стокгольме и притом поближе к центру...

Бенгту пятьдесят два года, и он здорово устает на работе. Приехав домой, тотчас заваливается спать. Поспав два часа, варит крепчайший кофе и садится к телевизору.

Бенгт не знает никого из соседей. Они его совершенно не интересуют. Он поддерживает знакомство только с несколькими товарищами из своего профсоюза. Как-то, с полгода назад, товарищи собрались у него в квартире, обсуждали свои дела.

— Неужели с тех пор ни они к вам, ни вы к ним?

— Мы не бездельники. Каждый старается получить дополнительную работу. За все нужно платить, цены растут. Чем попусту болтать, лучше заработать лишнюю крону.

Его товарищи не берут работу домой и вообще не стараются подработать по основной своей специальности: это было бы слишком утомительным, рабочий день и без того уплотнен. Поэтому-то металлисты предпочитают наниматься ночными сторожами с дежурством через ночь, уходят на сдельную работу в гавань. А один парень из их цеха — ночной таксист.

— Разве вы не заметили, что у нас люди, которые работают, все еще не получают по справедливости? Или вы не заметили этого? Но, по крайней мере, знаете ли вы, что доля рабочих в распределении национального продукта такая же, какой она была при моем деде, бастовавшем на лесопилке в Норботтене?

Бенгт, как видно, имеет свою точку зрения на «дом для народа», на «государство благоденствия», каким представляет Швецию пропаганда социал-демократической партии, вот уже три с лишним десятилетия стоящей у государственного руля.

Я пересказываю Бенгту статью о том, что шведская буржуазия за эти десятилетия не только сохранила, но и укрепила свою власть; ее абсолютно не беспокоит, что в правительстве — социал-демократы. Она остается хозяйкой заводов и прибылей, тогда как социал-демократы держат рабочих в узде лучше, чем это могли бы делать буржуазные партии.

— Это напечатано у вас? — выслушав, спрашивает он.

— Нет, во Франции. В «Нувель обсерватёр».

— Рабочие борются,— неопределенно произносит Бенгт.— Но у нас много реформистских лидеров. Они считают, что если заработная плата достаточно высока, то нужно помалкивать. Они твердят, что все рабочие и служащие должны чувствовать себя ответственными за хорошую работу предприятия, что все они — зубчатые колеса одной машины и должны вертеться так, чтобы предприятие процветало. А забастовка мешает процветанию. Обе стороны напрасно теряют время и деньги, говорят они.

— Однако вы тоже профсоюзный активист, насколько я понимаю...

Бенгт фыркает:

— Но я не из тех, кого приглашают на обеды с предпринимателями, где едят вашу русскую икру, пьют водку и похлопывают друг друга по плечу: все мы, мол, сидим в одной лодке, зачем же нам раскачивать ее? На такие обеды приглашают тех, кто повыше.

Насколько типичны взгляды моего знакомого для зрелого поколения квалифицированных шведских рабочих? В прошлом, во всяком случае, эта часть рабочего класса считалась надежной опорой социал-демократии.

В шведской прессе широко практикуются интервью со случайными рядовыми людьми. Репортер подходит с портативным магнитофоном к человеку и просит его быть совершенно откровенным. Имя собеседника не будет названо в газете. Только возраст, профессия, семейное положение.

И вот что сказал репортеру формовщик 36 лет, женатый, отец троих детей, живущий в типичном шведском заводском поселке в четырехкомнатном домике, за который он пока частично уплатил деньгами, взятыми в виде ссуды на работе:

— Все болтают о свободе, о праве самому выбирать свою судьбу, о правах женщин. А ты мне можешь сказать. зачем мне эта свобода выбора, когда единственное, что она мне дает, это возможность один день не пойти на работу? Обо мне и о таких, как я, никто никогда не говорит. О тех, кто начал работать двадцать лет назад. Мы закончили начальную школу и больше нигде не учились. Вряд ли у нас была возможность учиться дальше.

Мой отец был столяром-модельщиком, его заработка только-только хватало на семью. Вот и мне пришлось идти работать как можно раньше. Во-первых, мне самому хотелось иметь деньги, а во-вторых, надо было помочь матери кормить семью.

Я знаю, сейчас ты начнешь говорить мне о переквалификации и о дальнейшем обучении. Это все только красивые слова. Знаешь им цену? Выеденного яйца они не стоят. Прокормить семью на помощь, которую дают для переквалификации, я не могу. Выплачивать за дом — тоже. Вот и выходит, что все это одна болтовня.

Ты знаешь, что значит быть формовщиком на конвейере? Сейчас я тебе объясню. Целый день ты стоишь, словно в маленьком загоне, между тремя формовочными станками и конвейером. Жара, вонь и адский грохот. Работаешь на станке и швыряешь детали на конвейер. Одну и ту же деталь иногда делаешь несколько недель подряд. Какая тут, к черту, свобода выбора?

Конечно, зарабатываю я прилично, но ведь многие зарабатывают гораздо лучше на более приятной работе.

Нам нужно, чтобы кто-то подал за нас голос, но этот человек не должен состоять ни в одной политической партии, ни в профсоюзе, а не то ему быстро заткнут рот. Все мы это знаем, а говорить мы об этом почти не говорим. Я сам активно работаю в профсоюзе, так что я все знаю.

От профсоюза мы можем добиться одних пустяков. Можем потребовать, чтобы нам предоставили получше помещение для обеденных перерывов, душ и всякое такое. Но непосредственно к работе это отношения не имеет. Конечно, мы можем следить, чтобы у нас была приличная заработная плата при человеческом темпе работы, но и это не так-то просто

Недавно пришел к нам на конвейер один финн. Семья его осталась дома, в Финляндии, а он приехал сюда, чтобы за короткое время заработать как можно больше. Он начал работать с такой дьявольской скоростью, что чуть не испортил нам аккордную плату за деталь. Нормировщики, конечно, обрадовались, но нам удалось потихоньку остудить пыл этого парня.

Ясно, если человек собирается работать недолго, он может разогнать такую скорость. Но ведь должен же он, черт побери, подумать и о тех, кто стоит у конвейера с восемнадцати до шестидесяти семи лет. Им такого темпа не выдержать. А если снизят аккордную плату, то им будет совсем плохо.

— Ну, а свободное время? — спросил репортер.— Оно тебе доставляет хоть какое-нибудь удовольствие?

— Нет, скорее наоборот. Когда возвращаешься домой, нужно, чтобы прошло не меньше часа, чтобы голова перестала гудеть от заводского грохота. Сидишь словно отупевший или делаешь кое-что по дому, по саду. А потом подходит время смотреть телевизор.

Раньше я много читал, особенно шведскую литературу. А теперь устал. Не знаю даже почему. На этой работе я превратился в старика. И чем больше старею — это глупо, конечно, потому что мне нет еще и сорока,— тем серее мне кажется наша литература. Когда я читал роман о батраках Ивара Лу-Юханссона, я легко мог бы перевести его на свою жизнь. Мы, индустриальные рабочие, превратившиеся в то, что мы теперь собой представляем, только потому, что у нас не было другой возможности, мы и есть сегодняшние батраки.

Конечно, мы общаемся и с соседями, и с товарищами по работе. А знаешь, о чем мы беседуем при встречах? О работе. Даже во время отпуска. Не успеешь еще привыкнуть к мысли о том, что ты свободен, как уже снова надо идти на работу.

— Чего же ты ждешь от будущего?

— Если я скажу, что жду пенсии, то это будет слишком упрощенно. Но примерно так. Я бы хотел, чтобы со временем осуществилась мысль о «воскресном годе». Пусть это будет не целый год, а хотя бы шесть месяцев. Тогда у человека будет возможность обдумать свое положение без какого-либо давления извне. Не знаю, что бы я тогда решил. Возможно, я бы вернулся на конвейер. Но у меня была бы возможность все обдумать. А сейчас у меня такой возможности нет.

Можешь быть уверен только в одном: мои дети на завод не пойдут. Я знаю, что у них способные головы, и черт меня побери, но у них будет возможность выбирать. И я не думаю, что кто-нибудь из них выберет конвейер...

К сожалению, я не могу описать, как выглядел тридцатишестилетний формовщик, давший это интервью: разговаривал с ним шведский журналист. Интервью было опубликовано в буржуазно-либеральной газете «Дагенс нюхетер». Я привел его с сохранением стиля, сократив лишь места, характеризующие взгляды интервьюируемого на шведское движение за полное равноправие женщины.

О женщинах пусть скажут женщины!

Парикмахерская Рачи неподалеку от лавки Франсена. Рачи, как и Франсен, хозяйка, предпринимательница. В Швецию она приехала несколько лет назад из Тегерана. По национальности — армянка, полное ее имя Храчик Петросян.

В парикмахерской Рачи нет обычной шведской холодноватой стерильности. Стоит столик для кофе с экзотическим для шведов кофейным прибором, какой

встретишь только в кофейнях восточного базара. Тут же полка с сувенирами, среди которых русская матрешка и необыкновенно волосатая кукла неизвестной национальности. «Постриги же меня скорее!» — как бы вопиет она. Но до нее все не доходит очередь, Рачи постоянно занята, лист, где по телефону записываются клиентки, заполнен целиком.

Если клиентка записалась, но не явилась вовремя, ей, по шведским правилам, все равно высылается счет. Рачи этого не делает. Она вообще не делает многого из того, что принято. Не потому ли к ней приезжают клиентки даже из соседних городков?

Мы с Ириной терпеливо ждем, пока Рачи занята прической седой дамы. Дама предупреждена, что я иностранец и знаю по-шведски всего несколько слов, поэтому можно болтать при мне о чем угодно. И обе болтают, как в московской парикмахерской. В московской, но не в шведской.

Ирина подыскивает объяснение парадоксу: швед, «застегивающий душу на все пуговицы» в разговоре со шведом же, гораздо откровеннее рассказывает о себе иностранцу. Может быть, потому, что иностранец едва ли перескажет Свенссону о том, что услышал от Густавссона? Поскольку в парикмахерской всегда одна клиентка — каждая приходит точно в назначенное ей время,— тут можно отвести душу, не боясь разглашения маленьких семейных тайн.

Дама, на прощание улыбнувшись мне, исчезает за дверью. Рабочий день закончен. Усталая Рачи варит кофе. Тонкая, с густейшей копной черных волос, она сквозь очки смотрит на меня, ожидая вопросов.

Рачи приехала в Швецию, зная парикмахерское дело, но не зная языка. Хозяйка большой парикмахерской приняла ее подмастерьем, наказав во всех затруднительных случаях говорить клиенткам: «Извините, я пойду и спрошу об этом госпожу Ларсон». Дама с редкими волосами однажды со смехом спросила Рачи, не одолжит ли она ей часть своих волос? Рачи не поняла шутку, ответила серьезно: «Одну минуточку, я пойду и спрошу об этом госпожу Ларсон». С тех пор ее прозвали «Спрошу госпожу Ларсон».

За несколько лет Рачи, жестко экономя, скопила немного денег, получила заем от родственников из Тегерана и решила открыть свое маленькое дело.

Сняв для парикмахерской полуподвал, она начала с объявления: дама, сделавшая у нее шестимесячную завивку, может прийти еще раз для совершенно бесплатной укладки волос. Какая же настоящая шведская хозяйка откажется сэкономить лишних десять-двенадцать крон?

И дело пошло. Она, Рачи, берет немного дешевле, чем в других местах, зато ни минуты не сидит без работы.

— Но, может, не стоит так надрываться? — неуверенно говорю я.— Весь день на ногах?

— Я должна застраховать себя. Мало ли что может случиться. Болезнь, например. Нет, надо работать, работать, пока есть силы. Я одинока, кто мне поможет, если что случится?

У Рачи нет своей квартиры — с этим очень трудно. Хорошо бы также перевести парикмахерскую из полуподвала в другое место. А для этого надо работать, много работать!

Я говорю о том, что мне очень понравился Рогсвед. Рачи внимательно смотрит на меня:

— Это очень красиво, да. Скалы, сосны. Те, кто работает, приезжают сюда после работы. У них на заводе приятели, они болтают с попутчиками в вагоне. А жены? Жены, которые вынуждены сидеть дома с маленькими детьми? Ездить в Стокгольм дороговато, да и поездка не доставит удовольствия: бегом, бегом, чтобы поскорее вернуться назад. Вы видели красивую лестницу от станции к нашим домам? Но поднимитесь-ка по ней с тяжелыми пакетами, да не сейчас, а в гололед! Здесь север, осенью и зимой темнеет рано. А куда пойти? В Стокгольме можно поглазеть на витрины, это занятие нам, женщинам, никогда не надоедает. Можно зайти в кафе. А здесь, в Рогсведе? Ни кафе, ни ресторана, ни кино, ни витрин, все знают друг друга, каждый день одно и то же. Да, тут все очень красиво для обозрения. Но жить...

Я слушал Рачи сочувственно. Однако мне казалось все же, что едва ли она может быть объективной. Беспорядочный, шумный, жаркий Тегеран, восточная пленительная бестолковщина, в которой столько жизнелюбия, столько умения наслаждаться немногим со вкусом, иногда с жадностью — и сразу северный город, где сдержанности, соблюдению внешних формальностей, принятых норм придается столько значения. Нет, Рачи трудно быть судьей скандинавского быта, во всяком случае — беспристрастным судьей.

Случилось, однако, что несколько дней спустя я разговорился еще с одной жительницей Рогсведа. Ей лет сорок с небольшим, у нее хорошо оплачиваемая работа. Года два назад Грета разошлась с мужем. Живет одна, хотя у нее есть мать, от которой она, по ее словам, очень далека.

— Несколько лет прожив за границей, я, как мне кажется, успела кое-что понять и на многое взглянуть другими глазами. Шведы в массе не обладают ни

искусством, ни потребностью задушевного разговора. У нас нет также искусства слушать. Рассказчик даже помимо воли рисует себя слушателю в улучшенном, облагороженном виде. Нет, не то чтобы он хвастался, это шведам, в общем, чуждо. Но слушателю неприятно даже и то, что возвышает рассказчика над ним, слушателем, хотя бы на сантиметр. Так уж мы устроены. Если кто-то чувствует себя совершенно беспомощным, он может рассчитывать на поддержку до тех пор, пока не дотянется до плеча тех, кто его поддерживает. До плеча, ничуть не выше! А хотите знать, как у нас относятся к одинокой женщине? О, шведки боятся за мужей! Одинокую женщину пригласят разве что раз в месяц на чашку кофе. Здесь нужно работать локтями, чтобы схватить мужа, а схватив, держать его. Цинично? Может быть. Но такова жизнь. Женщина у нас эмансипирована во многом, только не в оплате труда: за равный труд мужчина получает больше. Спутник не заплатит за свою сослуживицу в трамвае: эмансипация. Я встретила на улице знакомых, они шли всей семьей в кино на «Доктора Живаго». Пригласили меня. Глава семьи пошел к кассе, взял билеты, протянул мне мой и спокойно взял деньги. Нет, это не бедные люди, дамы были в норках. Просто мужчине в голову не пришло платить за женщину, которая сама работает.

Я спросил Грету, что она думает о Рогсведе.

— О Рогсведе? Сюда согнали бедняков. Рогсвед это далеко и скучно. Если бы я могла, давно бы уехала отсюда. И девять из десяти думают так же. Здесь селились семейные рабочие и мелкие служащие. Последнее время селятся иностранцы. Кажется, больше всего итальянцев, есть югославы, несколько одиноких негров. «Спальный город» — вздор. В наше время, чтобы как-то тянуться, нужно, чтобы работали муж и жена. Но жена не может работать где-то далеко в другом пригороде, надолго бросать детей, тратить много времени на дорогу. А в Рогсведе нет предприятий. Одна жалкая мастерская, где все рабочие места давно заняты. И никаких перспектив. Женщины здесь ужасно одиноки и нуждаются в сочувствии. Некоторые находят удовольствие в удовлетворении мелкого тщеславия, стараются, чтобы у них все было не хуже, чем у других, тратят силы на это бессмысленное соревнование. Госпожа Свенссон непрестанно думает, что о ней скажет госпожа Йонссон...

Семья Свенссон и налоги

Свенссон, как, вероятно, догадывается читатель, это типичный, средний, обыкновенный швед. Шведские социологи, шведская статистика рисуют нам его обобщенный портрет. Зарубежные публицисты — тоже. Портреты далеко не идентичны. Типичный Свен Свенссон, по мнению одних, живет в кооперативном доме или в арендованной квартире, покупает продукты в одном и том же магазине на углу, состоит членом профсоюза и нескольких ассоциаций, которые пекутся о нем так, что, в сущности, вся его жизнь, кроме сна, направляется организациями и ассоциациями. Другие полагают, что если бы однажды записать в большом доме, населенном Свенссонами, все вечерние разговоры, то это была бы синтетическая звуковая картина непрерывного недовольства людей, обремененных средним комфортом, средним беспокойством, средними надеждами и общей хронической болезнью — налогобоязнью. Правда, в этой звуковой картине не было бы «форте», потому что Свенссон даже на диспутах не кричит, а бормочет...

Субъективность таких портретов очевидна. Не предпочтительнее ли обратиться к публикациям солидного Шведского института? Например, к работе «Экономика шведской семьи»?

Вводная часть расскажет, что из 7,7 миллиона шведов три четверти живут в городах. Однако городом шведская статистика считает любое поселение, в котором свыше 200 жителей; на фоне этих мельчайших городишек Рогсвед выглядит совсем неплохо. В Швеции 2,6 миллиона семей, причем у миллиона семей — дети. Около трети замужних женщин работают по найму.

Годовой доход Свенссона — промышленного рабочего колеблется в пределах 18—20 тысяч крон. Если Свенссон принадлежит к «белым воротничкам», он может получать до 45—50 тысяч в год. Шведский институт берет две, по его мнению, типичных семьи. У Свена Свенссона жена, двое детей и годовой доход 20 тысяч крон. У его соседа — назовем его Пером Свенссоном — жена, двое детей и годовой доход 50 тысяч крон. Не исключено, что институт, как и налоговый инспектор, при этом приплюсовывает к заработной плате мужа приработки жены.

Две семьи садятся за составление бюджета. Обоим Свенссонам чертовски повезло: плата за жилье отнимает у них всего 12—14 процентов заработка. Все мои знакомые платят за квартиру значительно дороже. Остается предположить, что статистические Свенссоны много лет живут в старых домах, где, по закону, квартирная плата не может быть повышена до смены жильцов.

Расходы по содержанию дома, включая еду, составляют у наших Свенссонов соответственно 30 и 24 процента, на покупку одежды у них уходит 10 и 9 процентов.

А затем — налоги.

О, это поистине неистощимая тема для разговоров, причина жалобных стенаний, вечный сюжет для карикатуристов! Вот рисунок «Дагенс нюхетер»: плотный мужчина заполняет у стола налоговую декларацию; под ним на стуле распласталась несчастная Совесть...

У нас спросят: «Сколько вы зарабатываете?» Шведы спрашивают: «Сколько вы декларируете?»

Иногда несколько крон, заработанных сверх определенной суммы и записанных в налоговую декларацию, влекут за собой увеличение налогов на многие десятки крон. Шведский налог с доходов исчисляется по резко возрастающей прогрессивной шкале. При этом если в семье работает жена, то облагается не отдельно каждый из супругов, а сумма общего их заработка. Доходит до того, что из боязни попасть под пресс налогового обложения, швед к концу года открещивается от самой выгодной дополнительной работы: его страшат графы налоговой декларации.

Заполнить декларацию надо умеючи. Этот опасный лист на четырех страницах с поразительной дотошностью исследует содержимое кошелька каждого Свенссона, обшаривает даже отделение для мелочи: не завалялась ли там неучтенная монетка? Свенссон, вообще говоря, человек честный, да, кроме того, за утайку доходов можно попасть в судебную камеру. Однако существуют же для чего-то «декларационные бюро», где поднаторевшие в этом деле стряпчие за скромную мзду заполняют декларацию так, что по форме все правильно, а по существу кое-какие доходы превращаются почти что в расходы...

Но у статистических Свенссонов доход, конечно, показан с точностью до последней монетки.

И вот их декларации пошли в «скребущий дом», в налоговое управление. И платит Свен Свенссон 3885 крон национальных и местных налогов, да 600 крон в пенсионный фонд, чтобы получать пенсию после 67 лет, да 415 крон в фонд социального страхования. Общая сумма 4900 крон. Все? Нет, приплюсуйте еще 3050 крон косвенных налогов. Итого 7950 крон. Сорок процентов заработка!

У Пера Свенссона прямые налоги и взносы — 18 940 крон, косвенные 6275, а всего 25 215 крон — более половины заработка!

Пожалуй, многовато для высокоразвитой индустриальной страны, не воевавшей свыше полутора веков, страны, где со времен Наполеона снарядом не разрушено ни одного дома, врагом не вытоптано ни одного поля, страны, богатевшей на выгодных поставках воюющим державам в лихие годины, сотрясавшие Европу.

Многовато для страны, где в правительстве сидят социал-демократы, которые, казалось бы, могли изменить налоговую политику так, чтобы обложение более чувствительно затронуло доходы, скажем, тех 850 миллионеров, которые значатся в списке налогоплательщиков шведской столицы.

Казалось бы, могли...

Но не изменяют.

При социал-демократическом правительстве число процветающих миллионеров и прибыли шведской монополии растут год от года. Изменения же в налоговой политике таковы, что они не вызывают никакого энтузиазма у рабочих и служащих. По мнению коммунистического еженедельника «Ню даг» налог на приращенную стоимость, который социал-демократическое правительство собралось вводить весной 1968 года,— давнишняя мечта буржуазии. Удорожание продуктов питания, одежды, рост квартирной платы, поднятой по решению правительства, особенно чувствительны для тех, кто тратит на все это почти весь свой доход.

Шведские социал-демократы стали правящей партией, унаследовав программу, где все же отразилось стремление рабочих масс к социализму, усилившееся после Октября. Новая программа, принятая в 1944 году, ставила целью партии социалистическое преобразование экономической организации общества и исходила из признания классовой борьбы; она дополнялась многообещающими конкретными пунктами.

В послевоенной Европе стали говорить о шведском или скандинавском «демократическом социализме». Социал-демократы получили возможность в масштабе индустриально развитой страны, полтора века остававшейся островом мира посреди океана военных бурь, страны с организованным рабочим классом без спешки, на практике доказать свою правоту в давних, десятилетиями исчисляемых спорах с критиками справа и слева. От этого эксперимента многого ждали социал-демократы других стран, чаявшие найти в успехах скандинавского «демократического социализма» опору для собственных позиций.

Но последние годы не были легкими и для самих скандинавских социал-демократов.

Потерпев поражение на парламентских выборах, норвежские социал-демократы расстались с министерскими портфелями, отдав их представителям буржуазных партий. Затем сходная участь постигла их датских коллег. Шведские социал-демократы на выборах местных органов получили в 1966 году самый низкий почти за четверть века процент голосов избирателей.

Все это весьма мало похоже на признаки успехов «демократического социализма» в его скандинавской цитадели. И, возможно, обманутые ожидания вызвали те весьма специфические статьи в адрес Швеции, недостатка в которых нет сейчас на Западе. Их лейтмотив: никакого социализма у шведов нет. Одни авторы горестно вздыхают по этому поводу, другие выражают удовлетворение. Но те и другие признают: чего нет, того нет.

С присущим шведам чувством реализма сами социал-демократы признают, что до социализма в Швеции далековато. Да ведь и программные требования самой партии с 1944 года основательно изменились. Обтекаемая «Программа нашего времени», принятая в 1960 году, уже не содержала признания принципов классовой борьбы и не покушалась на ликвидацию частной собственности на средства производства. Формула «Общество благосостояния» потихоньку вытеснила другие. Удобная такая формула, в которой вроде есть кое-что и от социалистической терминологии, но в которой и капитализму уютненько...

Социализм в королевстве Швеция?!

В королевстве. где из каждых ста рабочих девяносто работают на частнокапиталистических предприятиях; где свыше трех тысяч миллионеров; где пятнадцать семейств финансовой олигархии контролируют большую часть шведской экономики; где последнее время — значительная безработица; где усиливается концентрация собственности, а положение низкооплачиваемых групп становится все труднее.

У Пера Валё, писателя острого и даровитого, в переведенной у нас со шведского книге «Гибель 31-го отдела» один из героев говорит о некой стране:

«Здесь всех настолько ослепило сознание собственного превосходства, все головы были настолько забиты верой в успех так называемой практической политики (грубо говоря, у нас считали, что нам посчастливилось примирить и чуть ли не соединить марксизм с плутократией), что наши социалисты сами признали социализм излишним... Шаг за шагом партия отказалась от всех основных положений своей программы... замалчивали трудности, замалчивали противоречия. Каждую проблему опутывали ложью. Через нее перескакивали путем неуклонного повышения материального уровня, ее обволакивали бездушной болтовней газеты, радио, телевидение».

Не угадываются ли в этой не названной стране кое-какие черты сегодняшней Швеции, не содержится ли в нарисованной автором картине попытки прогноза политической погоды ее завтрашнего дня?

Вечер у Анны-Лизы

Анна-Лиза Маронэ с мужем Диком и черноглазым дошкольником Энрико, или Рико, живет в мансарде с низкими потолками и окнами-люками. Жилье ее нисколько не напоминает стандартную шведскую квартиру. Прежде всего, книги. Много книг. В Швеции они чрезвычайно дороги. Тут собрано целое состояние, во всяком случае на полках стоит эквивалент вполне приличного нового автомобиля.

Но прошлым летом Анна-Лиза с мужем и Рико путешествовали по Европе в стареньком «фольксвагене» модели 1961 года, а когда он отказал, купили «фольксваген» образца 1957 года. Эта покупка была вызовом общественным вкусам. Г-жа Маронэ оказалась безразличной к тому, что может о ней сказать г-жа Йонссон.

Отец Анны-Лизы — видный педагог, автор популярного учебника. Сама Анна-Лиза преподавательница английского, французского и немецкого языков. Замечу попутно, что, как правило, шведские учителя могут преподавать по меньшей мере два предмета, иногда в самых неожиданных сочетаниях — например, физику и пение. Это позволяет им легче находить место и лучше зарабатывать.

Ирина рассказывала, что блестяще одаренная Анна-Лиза, став в двадцать два года магистром философии, пугала своих друзей экстравагантностью и упрямым нежеланием считаться с тем, что «принято» и что «не принято». В ее квартире жила диковатая обезьяна, в которой Анна-Лиза не чаяла души, но от которой чопорные гости в любую секунду могли ожидать крупных неприятностей.

Дик, муж Анны-Лизы, не похож на длинноволосых молодых людей, вялых и анемичных. Его родители — итальянцы. Живость южанина так и бьет из него,

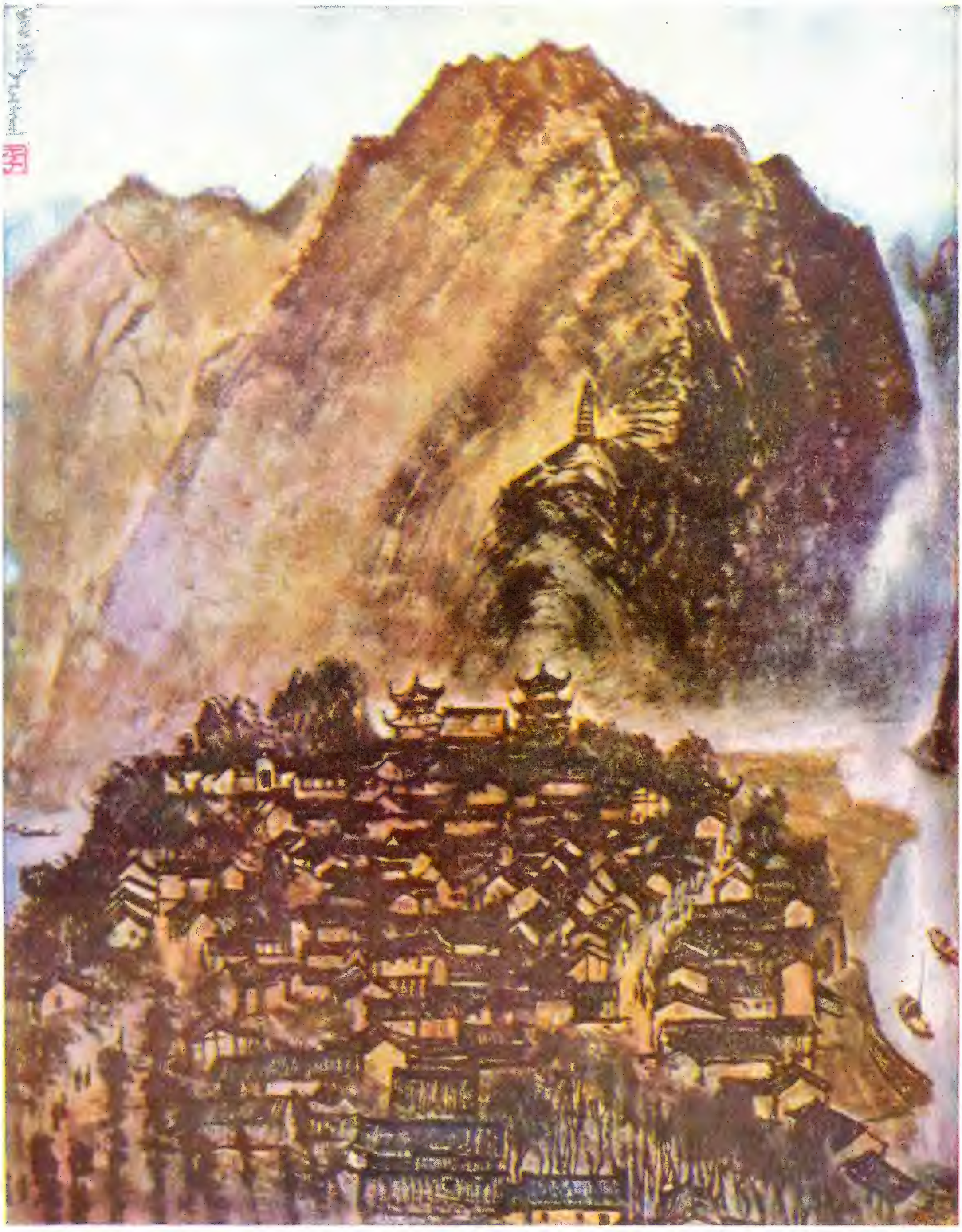
К вклейке «ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИКИ»

В предыдущем номере журнала была опубликована статья Е. Завадской «Дни разрушения», в которой рассказывается о черных страницах, вписанных в историю китайского искусства пресловутой «культурной революцией». Наша вклейка «Из китайской классики» знакомит читателей с несколькими репродукциями работ замечательных мастеров, чьи имена сегодня в Китае предаются анафеме.

Из китайской классики
«Образ или абстракция».

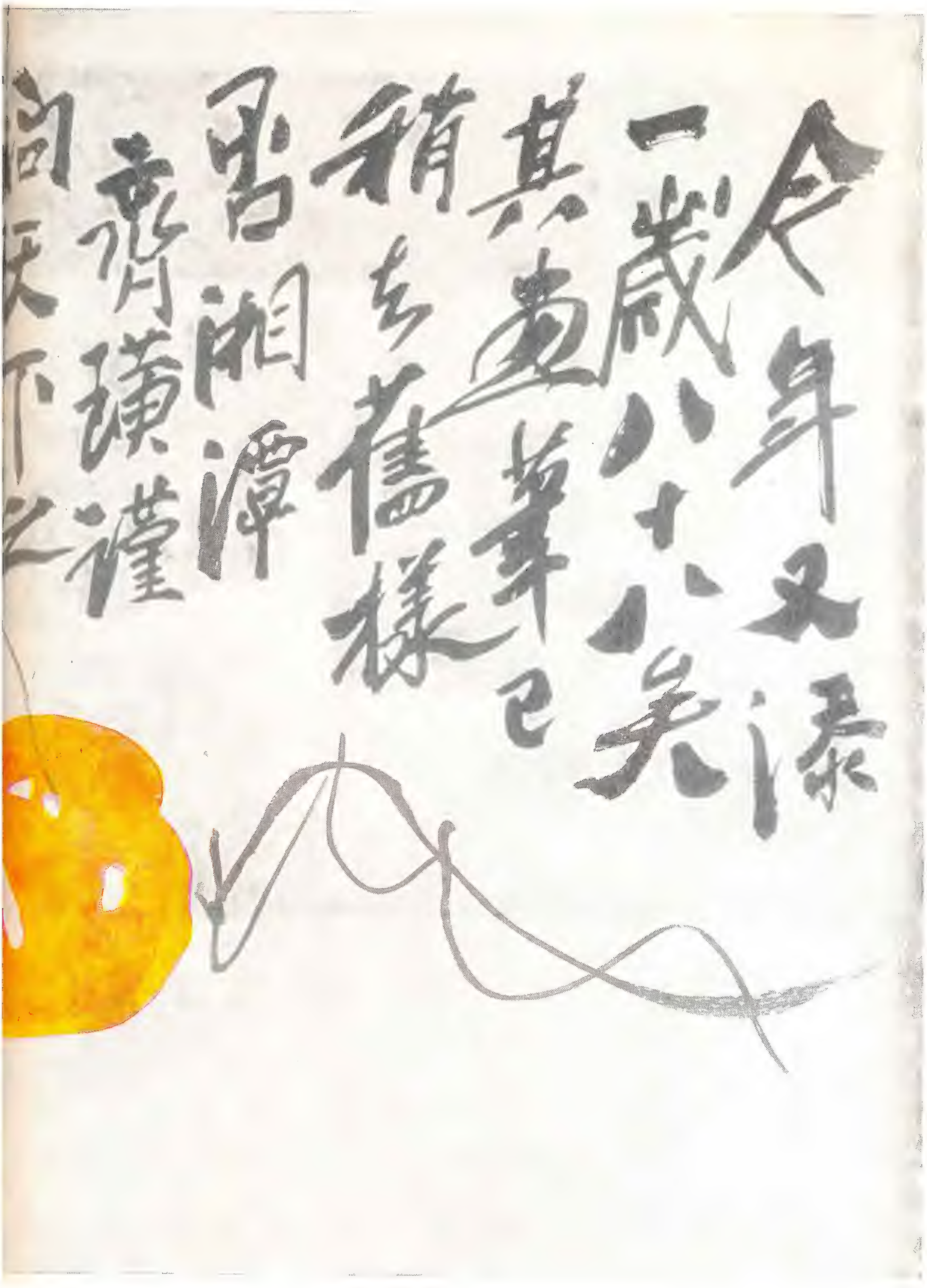
Е Цянь-юй. «История Белой Змейки» —
актеры пекинской оперы, играющие главные роли
в популярнейшей классической опере.

Ли Кэ-жань. «Древний город Лоян».



Ли Кэ-жань. «На озере в пекинском парке Ихэюань».

Ци Бай-ши. «Тыква-горлянка».



Ци Бай-ши. «Цикада среди цветов вьюнка».

Ци Бай-ши. «Увядший лотос».

Пань Тянь-шоу.
«Краски осени».

Пань Тянь-шоу. «Посвящаю древней сосне».

Линь Фэн-мянь.
«Актеры классической китайской оперы».

он ладно скроен, мускулист и внешне напоминает гибких, сильных парней из «Вестсайдской истории». Помимо преподавания физики и математики Дик тренирует волейбольную команду школы.

Сразу же заговорили о молодежи и ее проблемах.

Три вечера подряд — пятницу, субботу, воскресенье — я бродил по улицам и в центре Стокгольма, и ближе к окраинам. Вечер в субботу был, пожалуй, особенно шумным. Может быть, теперь я приглядывался ко всему более внимательно, для меня уже не было в новинку все то, о чем обычно пишут и рассказывают.

Да, молодые люди носятся на вышедших из моды громадных американских машинах, визжа тормозами на поворотах, орут, размахивают бутылками. Но в бутылках кока-кола: пьяного за рулем тотчас сцапает зоркая полиция. Во всем этом больше куража, работы на публику, чем буйства и тем более веселья. Если бы улица вдруг опустела, если бы исчезли глазеющие туристы, то шумные «раггаре» быстро скисли бы, опустили бы свои зазывные лисьи хвосты.

Все это я изложил моим новым друзьям. Анна-Лиза слушала, изредка обмениваясь быстрым взглядом с Диком. Мне почудилось в этом сочувствие, согласие со мной.

— Энрико был еще здесь,— очень серьезно сказала Анна-Лиза и приложила руку к животу.— Я стояла на остановке Уденплан, это в центре города. Дик побежал искать такси. В это время подошла машина, и я открыла дверцу, чтобы сесть в такси. Вдруг двое парней стали оттаскивать меня: они хотели забраться в машину со своими девицами. Один ударил меня, Дик увидел это, подскочил, сбил парня с ног. Тогда прибежало еще семеро, какой-то из них отбил горлышко бутылки о столб, чтобы осколком резать Дика. Дик защищался, началась свалка, появился полицейский. Узнав, в чем дело, он сказал мне и Дику, что «не следовало принимать все это слишком близко к сердцу», и предложил Дику «умерить темперамент». Парню, который ударил меня, Дик выбил зуб. Этот парень подал на нас в суд, требуя компенсации ущерба. Правда, дело все еще тянется.

Анна-Лиза внимательно смотрела на меня:

— Я не хочу сказать, что все парни, которые разъезжают в машинах с девицами,— бандиты и хулиганы. Я хочу лишь сказать, что они все же не столь уж безобидны. Истина где-то посередине.

Я спросил, что же, по ее мнению, происходит с молодежью? Что утрачено, что не найдено? В чем корни?

— Шведы стали гораздо богаче, чем прежде. Вы тоже. Я была у вас несколько лет назад и в прошлом году. Вы живете теперь гораздо лучше. Но, кажется, мещанства у вас стало несколько больше. Я не настаиваю, но мне так показалось. Может, это вообще накладной расход на рост благосостояния? Если так, то мы платим уже слишком дорого. Вы знаете нашу историю: богатство в Швецию пришло не постепенно, оно прискакало в последние десятилетия, когда другие страны были истощены и разорены войной. Оно прискакало, но люди не были подготовлены к этому психологически. Достаток и культура не пошли в ногу, культура — я беру полный смысл этого понятия — отстала. Богатство породило самодовольство. Материальные ценности возобладали над духовными. Люди копили первые, забывая о вторых. Материальные оказались доступнее, ими проще наслаждаться, насыщаться. Но нарушилась гармония личности. И нет счастья...

Анну-Лизу прервал звонок. Появилась девушка с густыми черными волосами, одетая подчеркнуто небрежно — старые джинсы, видавший виды свитер.

— Здравствуйте, добро вече! Меня зовут Моника Петрини. Я немножко говорю по-русски, но иногда путаю русский с сербохорватским: у нас теперь много югославов, приехали радить... работать, да?

Лиза, извинившись, коротко пересказала Монике наш разговор.

— Я думаю, что последние годы в наши города хлынула деревня,— с места в карьер начала гостья.— Старые традиции сломались, новые не сложились. Возможно, что стремление к накоплению материальных благ — от психологического склада крестьянина, привыкшего копить и приумножать.

— Дети растут в обстановке сытости и самодовольства,— добавила Анна-Лиза.

— Им дают камень вместо хлеба,— Моника произнесла это по-русски.— Понимаете, камень — это кроны, карманные деньги. Ранние деньги — ранние удовольствия. Ранние удовольствия — раннее пресыщение, раннее безразличие, душевная бедность. Они еще не могут переварить этот камень, им нужнее был бы хлеб духовный. Я говорю непонятно, да?

Дик слушал внимательно и пока не вмешивался в наш разговор. Но тут в нем вдруг проснулся актер. Лицо его принимает туповато-безразличное выражение. В глазах исчезает блеск, веки сонно приспускаются:

— Так они смотрят на меня, когда я объясняю им урок. Они терпят меня, снисходят до меня.

«Они» — это школьники старших классов. Я вспоминаю разговор со знакомым шведским журналистом: учителя занимают одно из первых мест среди по-

стоянных пациентов клиник для страдающих нервными заболеваниями и психическими расстройствами...

— Но мы, педагоги, знаем, что произойдет дальше. Сегодня этот парень такой...

Дик ерошит волосы, лицо его становится наглым, вызывающим.

— А завтра...

Нет, Дик обладает просто поразительной способностью перевоплощения!

— Волосы короче. Шляпа — так. Галстук — так.

Длинноволосый наглец подтягивается, лицо его приобретает сначала растерянное выражение, но он быстро находит себя — и вот перед нами уже молодой сноб, двумя пальцами брезгливо снимающий пушинку с лацкана пиджака.

— От осторожного и не опасного для общества бунта — к тому же сытому мещанству,— сказала Моника.— Я думаю, что Дик прав. Видели вы хотя бы одного длинноволосого клерка в банке? Продавца в магазине? Подходит время — и маскарад кончается.

— Нет, конечно, на самом деле все не так просто,— возразила Анна-Лиза.— Часть действительно носит длинные волосы и ходит босиком, потому что это модно. Есть, однако, и очень интересные ребята — думающие, ищущие. Но для начала вам надо ближе познакомиться со шведской системой образования и воспитания.

Система всеобъемлющая, но...

Отправляюсь в управление по социальным делам при муниципалитете Стокгольма. Я просил о встрече, мне назначили время.

Назвав себя, прямо у входа получаю продолговатую бумажку. Это отпечатанный типографским способом план четвертого этажа дома. На плане обозначены номера и расположение всех комнат. Зеленым крестиком помечена комната № 401. Пунктир показывает, как к ней пройти от лифта. Вверху фамилия: г-жа Веннерлунд. Посетитель не теряет времени на расспросы, к кому ему следует обращаться, где и как искать нужного человека.

Г-жа Веннерлунд занимает маленький кабинет, обставленный в стиле делового человека. Только японские деревянные фигурки и забавный резиновый лягушонок в брюках — уступка маленьким женским слабостям.

Через пять минут у меня в руках около десятка схем, показывающих, как поставлено в Стокгольме и его пригородах социальное обеспечение.

Сначала я получаю исчерпывающие разъяснения по пенсионной системе. Можно уйти на пенсию и до того, как исполнится 67 лет,— в этом случае до конца дней пенсия будет меньше обычной. Можно стать пенсионером после 70 лет — тогда она будет несколько больше обычной. Забота о пенсионерах простирается так далеко, что для них организуются экскурсии и даже занятия гимнастикой.

Если бы в учреждениях шведской столицы развернулась борьба за звание «Образцовая чиновница», то г-жа Веннерлунд, вероятно, получила бы его одной из первых. Не успеваю задать вопрос, как г-жа Веннерлунд, мгновенно повернувшись на вращающемся кресле, безошибочно берет с полочки нужную таблицу или, пробежав пальцами по картотекам, выхватывает карточки, где записаны всевозможные сведения.

Несколько раз звонит телефон.

— Угу... Угу... Я-аа! — Потом залп коротких, точных фраз — и трубка на рычаге.

От пенсионеров переходим к детям и молодежи. Снова схемы.

Цепочку начинают игровые площадки — такие, какую я видел в Рогсведе. В «игровых школах» дети от 4 до 7 лет находятся три часа, затем приходит другая смена. Это платные школы, там матери оставляют детей, чтобы сбегать за покупками, сделать неотложные домашние дела. В детских садах, тоже платных, дети работающих матерей находятся с утра до вечера. Есть, наконец, платные «послешкольные центры» для так называемых детей «с ключом на шее», которых никто не ждет дома. Чтобы они не болтались без присмотра на улицах до возвращения взрослых с работы, их забирают в «послешкольный центр», где они готовят уроки, развлекаются, отдыхают.

— Следующая стадия — школьные клубы,— стреляет телеграфными фразами г-жа Веннерлунд.— Открыты первые десять. Это опыт. Нам еще не ясно, какими именно они должны быть. Далее молодежные центры или дома молодежи, которые вас интересуют. Тут, как нам кажется, многое найдено. Для них мы готовим на курсах опытных вожаков. Конечно, один центр не обязательно похож на другой. Но есть общие черты.

Система всеобъемлющая. Но как густа сеть всех этих превосходных учреждений?

Пальцы бегут по картотекам. 150 летних игровых площадок. 200 игровых

школ на 8 тысяч детей. 130 детских садов для работающих матерей — 5 тысяч детей.

— Так мало? — невольно вырывается у меня.

— Не так мало! — мгновенно парирует г-жа Веннерлунд.

Как же не мало, когда в орбите Большого Стокгольма — 1 200 000 жителей! Но я не успеваю возразить.

— Послешкольных центров 85 — 2 200 детей. Молодежных центров 60. Вы успеваете записывать?

По правде говоря, с трудом. А образцовая чиновница успевает еще метнуть взгляд: верно ли у меня записаны цифры?

Г-жа Веннерлунд признает, что проблема молодежи достаточно серьезна для Швеции, но считает эту проблему не специфически шведской, а глобальной. Во многих странах среди молодежи растет преступность, употребление алкоголя и наркотиков. Урбанизация всюду сопровождается тенденциями молодежи к беспорядкам. В шведской системе социального обеспечения детей и юношества есть инспектора, занимающиеся изучением несовершеннолетних преступников, существуют ночные патрули, которые дежурят на улицах, стараясь предотвратить преступления. Есть также специальные дома для исправления молодых, осужденных по уголовным делам. Но главное, конечно, в воспитании нравственно здорового поколения. Этой цели, в частности, и служат дома молодежи.

Спрашиваю, достаточно ли типичен молодежный центр в Рогсведе? Да, пожалуй. А рогсведский дом для престарелых?

— Может быть, вам будет интереснее ознакомиться с домом-коммуной? Это в Хассельбю. Тот же Рогсвед, только не на южной, а на западной окраине Большого Стокгольма.

Дом-коммуна! Вспомнились бытовые коммуны первых послереволюционных лет: все деньги — в общий котел, горячая картошка по утрам, кепочки рабфаковок, бледные от недоедания лица и страстное желание быстрее построить новый быт, не похожий на мещанский...

Но что же такое дом-коммуна в шведском варианте?

Дом-коммуна и г-н Энквист

...Хассельбю — конечная станция метро-электрички. Дома-башни издали похожи на рогсведские. Но тут они связаны со своими трехэтажными соседями в единый замкнутый комплекс. Это городок в городе, микромирок в микромире.

Войдя в подъезд, я начинаю плутать по бесконечным коридорам, соединяющим дома. Коридоры вывели меня во двор, где разместился шумный детский сад. Потом коридор снова втянул меня в дом, и я оказался в столовой или, быть может, ресторане с небольшим зимним садом. Здесь-то я и обрел ответственного и официального представителя дома-коммуны в лице чрезвычайно энергичной г-жи Банкефорш.

Рослая молодая дама в солнечных очках назвалась шефом питания. Потом оказалось, что ее обязанности гораздо многообразнее. Она занимается также бухгалтерией и является заместительницей управляющей г-жи Хаарне. Вдвоем они и ведут все основные дела в доме-коммуне, где шестнадцать зданий, триста двадцать пять квартир и около семисот обитателей.

Я рассказываю про наши дома-коммуны.

— Нет, здесь нечто другое,— улыбается г-жа Банкефорш.— Может быть, правильнее было бы говорить об отеле для семейных, где жильцы живут годами. Идея родилась лет десять назад, и вскоре был построен этот комплекс.

Идея же вот какая.

В развитом индустриальном обществе люди очень заняты. Нагрузка на работе у них такова, что не остается достаточно энергии и времени для разных домашних дел. С каждым годом уменьшается число семей, где не работает жена. С другой стороны, должен же кто-то подумать о холостяках и, особенно, о стариках-пенсионерах, которые не хотят жить в заведениях для престарелых. Разве не было бы благодеянием для всех этих людей, если бы они могли жить в доме, где значительную часть забот об их быте взял бы на себя кто-то другой? В доме, где все было бы рядом: ресторан, детский сад, прачечная, продовольственная лавочка и даже церковь. Вот и решили создать такой комплекс.

— Представляю, сколько нашлось желающих! — говорю я.— Но чтобы построить все это... Или государство дало большую ссуду членам вашей коммуны?

Г-жа Банкефорш смотрит на меня с недоумением:

— Простите? Ссуда?

— Ну да. Вот я, например, живу в Москве в кооперативном доме. Когда мы начали его строить, банк дал нам ссуду, которую мы обязаны вернуть ему в течение пятнадцати лет.

— Но у нас не кооперативный дом.

— А-а! Муниципальный? В счет десятилетней программы жилищного строительства, разработанной социал-демократическим правительством?

— Дом принадлежит господину Улле Энквисту,— суховато произносит г-жа Банкефорш.— Господину Энквисту принадлежат пять подобных комплексов в других местах. Господин Энквист владеет также многими домами обычного типа. Его контора в Грендале, там вы можете получить более подробные справки.

Который уже раз попадаю впросак со своими привычными мерками! Похоже, что в Швеции сохранились, странно трансформировавшись, некоторые слова и понятия, введенные в обиход много лет назад революционно настроенными рабочими, их левыми партиями. Вы еще можете услышать, — правда, с каждым годом все реже — о «скандинавском социализме», в котором, однако, легко усматриваются зримые черты государственно-монополистического капитализма. Вы слышите: «рабочая коммуна», «дом-коммуна». На поверку же оказывается, что дом-коммуна — предприятие процветающего капиталиста...

— Он, наверно, миллионер, ваш господин Энквист?

— Я-аа,— тянет г-жа Банкефорш.— Наверное... Но, может, вы хотите осмотреть дом?

Конечно, все по-шведски просто и рационально. На крыше терраса (отдельная плата). Комната отдыха, быстро превращаемая в комнату для банкетов с помощью набора складных столов и стульев. Комната для игры в бридж и покер. Домовая церковь. Небольшая продовольственная лавочка, которая торгует в те часы, когда городские магазины закрыты. Подвальное помещение, где в камерах поддерживается температура, при которой можно хранить овощи; тут же каждый жилец имеет свое место для детских колясок, велосипедов и домашнего хлама. Домовая прачечная с электрическими машинами, сушилками, прессами для глажения. Всем этим можно пользоваться за отдельную плату.

Мне хотелось бы заглянуть в какую-либо квартиру. Г-жа Банкефорш говорит после минутного колебания:

— Мой шеф, госпожа Хаарне, могла бы вам все показать и рассказать лучше, чем я. Но паромщики забастовали, и боюсь, что она не сумеет сегодня приехать. Если вы не возражаете, я покажу вам свой уголок.

В ее квартире много встроенных белых шкафов, вместительных и удобных. Часть стены одной из комнат — обычная кирпичная кладка, это дает неожиданный декоративный эффект, особенно в сочетании с веточкой вьющегося растения. В раковине умывальника ванной комнаты дно сделано ребристым, как стиральная доска,— насколько же изобретательны шведы во всем, что облегчает быт!

В семейном отеле Хассельбю — называть его домом-коммуной теперь как-то неловко — есть несколько типов квартир, от однокомнатной без отдельной кухни, но с кухонным уголком до четырехкомнатной. Квартирная плата соответственно от 192 до 813 крон в месяц.

Прикидываю, в какой квартире мог бы поселиться здесь с женой и двумя детьми среднестатистический Свен Свенссон, который, как мы помним, зарабатывает 20 тысяч крон в год и тратит на квартирную плану 12 процентов. Получается, что ему не хватает 454 крон для оплаты однокомнатной квартиры с отдельной кухней. Придется довольствоваться кухонным уголком.

А куда мы с г-жой Банкефорш пристроим семью Пера Свенссона, зарабатывающего 50 тысяч крон? Он, как свидетельствует статистика, тратит на оплату квартиры 14 процентов заработка: 7 тысяч крон. Этого достаточно для двухкомнатной квартиры с кухней, а урезав на 770 крон расходы на питание и одежду, наш Свенссон мог бы замахнуться и на трехкомнатную.

— Но это, конечно, без купонов,— добавляет г-жа Банкефорш.

Новое дело! Что за купоны? Моя собеседница предлагает вернуться в домовый ресторан: там мне все станет ясным.

Опять путешествуем по коридорам, соединяющим здесь всех и вся. Их общая длина — полтора километра. Они очень удобны, не надо пальто и зонтиков в ненастье, чтобы пойти пообедать или помолиться. Правда, за пользование коридорами приходится платить.

По дороге заглядываем в помещение, где на полках корзинки-термосы. Это для тех, кто не может сегодня обедать в домовом ресторане: задержались на работе, пошли в гости.

— Зачем же им термос, ведь можно пообедать в городе.

— Да, но тогда пропадает купон.

Спускаемся в ресторан. Там теперь обед. Меню: бутерброд, тушеное мясо с овощами, компот из слив и молоко. Супа нет, суп шведы едят редко.

— Это меню по купонам. Каждый жилец нашего дома должен заплатить сто тридцать крон в месяц за двадцать четыре купона. С детей до десяти лет — полцены. Жилец получает у нас стандартный обед. Если он хочет что либо другое, он может заказать это и платит отдельно.

— А если я вообще не хочу обедать в вашем ресторане?

— Контракт на квартиры включает обязательства жильца приобретать купоны не менее десяти месяцев в году. Два месяца мы кладем на отпуск и разные

непредвиденные обстоятельства. Купоны обязательно должны быть использованы в течение того месяца, на который они выданы. Впрочем, случаи, когда они пропадают, очень редки. Если кто-нибудь не может пообедать, он звонит родителям, и они приезжают.

— Пожалуй, все это не так уж удобно...

— Зато немножко дешевле, чем в обычных ресторанах. Особенно заметна разница в субботу и воскресенье, когда в ресторанах поднимаются цены, а у нас нет. Из небольшой экономии складывается большая.

В этом доме и услуги чуть дешевле, чем в обычных домах. Например, холостяк может договориться об уборке своей квартиры, это стоит 8 крон в час. Можно за умеренную плату получить и место для машины на стоянке возле дома.

— Когда строили наш семейный отель, была большая реклама, владелец не знал, как пойдет дело. Теперь многие хотели бы сюда попасть. Всюду трудно с детскими садами, а у нас — свой. Правда, там больше детей, чем полагается, и двадцать маленьких жителей дома все же остались без места. Но их матери, по крайней мере, могут надеяться, что очередь подойдет быстрее, чем дети поступят в институт. А некоторых жильцов привлекает еще и то, что они открывают здесь импонирующие им формы общения.

— Например?

— У нас есть общество «Польза и удовольствие». Это ассоциация жильцов нашего дома. Выборное правление, президент, вице-президент, кассир. Два раза в год ассоциация устраивает праздники, в обычные дни организуется игра в бридж и настольный теннис.

Я распростился с г-жой Банкефорш, пошел к выходу и... заблудился в коридорах. Навстречу две пожилые дамы, одна высокая с выцветшими добрыми глазами, приветливой улыбкой, другая — обыкновенная шведка, застегнутая на все пуговицы. Я сказал, что не могу найти выхода из этого поистине прекрасного дома.

— Я-аа! — расплылась добрая старая дама.— Вам понравилось? Но тогда вы должны выпить с нами чашечку кофе.

И пока мы поднимались в лифте, я узнал, что фру Ирма Эрикссон поселилась в этом доме одной из первых и очень к дому привыкла. Тут хорошо, только все дорожает. Когда она переехала сюда, купоны стоили семьдесят крон, теперь сто тридцать. Чуть не вдвое за десять лет!

Щелкнул дверной замок, и мы оказались... в старой Швеции. Древние напольные часы в грубом деревянном футляре, окрашенном голубой масляной краской и разрисованном яркими наивными цветами, отстукивали время, наверно, еще с начала прошлого века. Над громоздким сундуком висели детские башмачки.

— Мои, мои! — тронула их рукой старая дама.— А это мамины.

Мамины башмаки — на толстой деревянной подошве: в таких ходили на скотный двор. И стулья в комнате — грубой крестьянской работы, и со старых семейных фотографий смотрели на нас не какие-нибудь вертопрахи, а очень солидные крестьяне в праздничной одежде. Была тут и сама фру Эрикссон, снятая еще в годы, когда она была конторской служащей.

Фру Эрикссон, рассказывает о себе, а ее спутница время от времени важно кивает:

— Я-аа, я-аа!

Выражение это, в сущности, ничего не означает, но, произносимое со множеством оттенков, густо насыщает шведскую разговорную речь...

Возвращаясь из Хассельбю, оказываюсь в одном из старых районов шведской столицы. В храме, поднятом на скалу, как крепость,— благовест. Перезвон постепенно, медленно затихает, создавая гамму настроений в лучших традициях МХАТа. Вот умирает последний звук, такой слабый, будто по колоколу несильно ударили ладонью.

Перед церковью — площадка с простыми деревянными скамьями. По ним расселись старики. Каждый отдельно. Если двое сидят на одной скамье, то в разных ее концах. Лица обращены к еще не остывшему закатному солнцу.

Старики сидят молча, неподвижно. Вот бы сюда фру Эрикссон, она бы, пожалуй, хоть немного расшевелила их, эта старая дама из провинциальной, патриархальной Швеции! А то сидят бесцельно, какие-то вялые, унылые, очень чистенькие и очень несчастные, одинокие. Такие умирают в своих кроватях, и иногда их трупы по нескольку дней остаются неубранными, пока кто-то, чаще всего привратник, не спохватится: что-то, мол, давненько не появляется фру Ханссон или герр Польсен...

Они, эти старики, наверняка материально обеспечены куда лучше, чем их сверстники во многих других странах. У большинства из них вполне приличная пенсия. Одиночество же приходит к ним как расплата за расчетливый эгоизм. Когда женились или выходили замуж дети, молодые семьи тотчас, по шведскому обычаю, отделялись, чтобы жить своей жизнью. Ведь так ужасно стать бабушкой в пятьдесят лет, не правда ли? Кроме того, в молодых семьях с их сумбурным неустройством столько шума, мелких конфликтов. Лучше быть подальше от

всего этого! Пусть, если сумеют, пристроят детей в детский сад или определят их к «дагмаме», к «дневной маме», которая за умеренную плату возится с малышами, пока родители зарабатывают деньги.

И внуки растут без бабушек и дедушек, без их ласки, без их заступничества перед слишком суровыми родителями. Но вот горят шестьдесят семь свечей в пироге, испеченном по случаю дня рождения, за которым начинается бытие пенсионера. Возле стола — пришедшие из чувства долга успевшие поседеть дети, тут и внуки, долговязые, с усиками, томящиеся в присутствии этой, в сущности, чужой старухи, которая уходит на пенсию...

Закрылись за молодежью двери — и приходит, как постоянный гость, одиночество, поселяется в маленькой квартирке, выгоняет иногда на улицу, в парк, на скамейки, где сидят такие же старики... А газеты пишут о печальных последствиях «расщепления шведской семьи», о неумении шведов быть бабушками, о неумении стариков сближаться с другими, об их неконтактности.

Интервью со студентом

Я снова хочу воспользоваться плодами чужого труда. Мне показалось характерным интервью шведского журналиста с одним студентом. Этому студенту 21 год, он родился в пригороде, живет вместе со своим товарищем по учебе в меблированной комнате.

— Что означает быть молодым в наше время? — был первый вопрос журналиста.

— Быть молодым дорого... и очень грустно,— ответил студент.— То, что это дорого,— не наша вина, за это пусть отвечают другие. А в том, что нам грустно, виноваты мы сами. Уж слишком легко приняли мы то, что сделало старшее поколение. Нам не за что бороться. По крайней мере, здесь, на родине.

Не за что бороться? Я слышал это странное утверждение много раз, причем от самых различных людей. Оно, это утверждение, стало одним из главных пропагандистских лозунгов «общества благоденствия». Его весьма часто повторяют газеты. Смотрите, мол, в некоторых странах идет борьба за кусок хлеба, за то, чтобы не умереть с голоду, за то, чтобы темный цвет кожи не превращал человека в существо второго сорта. Разве в нашей стране есть что-либо подобное? Нет, нам не за что бороться! Но послушаем, что шведский студент говорит дальше.

— Если мы боремся за что-то, что происходит извне, нам говорят, что мы следуем дурному примеру. Так, например, происходит с Вьетнамом. Теперь, правда, к нам присоединяется все больше людей, но вспомни, как было вначале. Мой отец — социал-демократ старого толка. Иногда он очень живописно рассказывает о том, как все происходило в дни его молодости, как он участвовал в демонстрациях. Но он никак не может понять, зачем теперь устраиваются демонстрации в поддержку Вьетнама.

А мне кажется, что это одно и то же. Когда рабочие Швеции устраивали демонстрации против угнетения и несправедливости, они делали это из тех же побуждений, по которым мы сегодня устраиваем демонстрации в поддержку Национального фронта освобождения. Разница только в том, что тогда причина демонстраций касалась их участников непосредственно. Но они тоже хотели привлечь к своему делу как можно больше народа, добиться понимания в самых широких кругах.

Демонстрации в поддержку борющегося Вьетнама начала учащаяся молодежь, но я не думаю, что это произошло потому, что студенты лучше остальных осведомлены о том, что происходит, хотя мы много читаем и общаемся с иностранными студентами. Скорее, демонстрации начались потому, чтобы показать, что и мы чего-то хотим. Иногда это бывает приятно сознавать!

— Ну, а как насчет наших «домашних» дел? — спросил журналист.

Студент ответил, что, конечно, и «дома» есть что делать. События во Вьетнаме помогли активизации прогрессивных сил страны. Но он не удовлетворен их внутренней программой. Она построена на мелочах. Конечно, нужно говорить и о мелочах, но нельзя же ограничиваться только ими!

— Какие мысли ты найдешь в нашей предвыборной кампании? Какие новые аргументы? Одни бесконечные фразы, то призрак реакции, то призрак социализации. Люди голосуют, потому что это их долг, а не потому, что их в чем-то убедили.

— А как у тебя с занятиями?

— Прилично. Я человек средний, как большинство. Вообще-то я считаю, что наша система виновата в том, что у нас стало гораздо меньше выдающихся личностей. Все мы средние.

— Твоя цель?

— Место руководителя.

Я позволю себе оборвать на этом интервью, в котором дальше шла речь о свободном времени, о будущих заработках, об отношении к религии и о том, насколько справедливо мнение о том, что шведские студенты — плохие любовники...

В молодежном центре

Молодежный дом, или молодежный центр, Рогсведа размещается на втором этаже торгового центра, рядом с кабинетом зубного врача и конторой рекламной фирмы.

Мы с Ириной никого не предупреждали о приходе. Поднялись по грязноватой лестнице на второй этаж. Доска объявлений у входа была испещрена надписями. Здесь были шведские варианты наших «Люба+Миша = любовь», только без математических символов: имена Евы и Улле неизменно располагались по обе стороны пронзенного стрелой сердца. Были адреса и телефоны каких-то девиц и парней, а также кое-что похуже — например, несколько изображений свастики и размашистая надпись поперек всей доски: «Адольф Гитлер».

На барьере гардероба несколько подростков курили сигареты. Никто не обратил на нас внимания. Заведующей домом не было, и нам предложили поговорить с Бертом.

Высокий статный красавец с бородкой, в старых голубых джинсах и кожаном жилете поверх расстегнутой белой рубашки нисколько не удивился гостям. Он, Берт Йонссон, работает в этом доме пять лет, но едва ли сможет заменить заведующую. Впрочем, он попробует.

У Берта громкий, сильный голос, перекрывающий гвалт коридора. Резинка, которую он не выпускает изо рта, нисколько не мешает ему.

Признаюсь, первое впечатление было не из приятных. Значит, этот верзила, внешним обликом подделывающийся под «раггаров» и отчасти под «модс», завоевывает здесь сердца? И эта свастика на доске...

От того, что коридор был полукруглым, без перспективы, дом казался особенно маленьким и тесным, не больше фойе нашего среднего Дома культуры. Всюду толкались парни и девушки, клубы дыма плавали под низким потолком, где-то за дверями неумело плакал саксофон.

Сколько же посетителей бывает в этом доме?

— Обычно сто тридцать — сто сорок,— сказал Берт.— Иногда по субботам, когда кино и танцы,— шестьсот. Рекорд — восемьсот пятьдесят.

— Здесь?!

— Да. Бывает немножко жарко, градусов тридцать.

Дом принимает всех в возрасте от 14 до 20. Таких в Рогсведе примерно 700 человек. Откуда же 850?

— Наши двери широко открыты. Приезжают из окрестных поселков, даже из Стокгольма. Нет, не потому, что у нас лучше. Просто молодежь не любит сидеть на одном месте. Наши тоже ездят к соседям. Мы считаем, что своих, рогсведских, приходит самое большее двести пятьдесят человек. Гардероб как раз и рассчитан на столько мест.

Но где же большой зрительный зал? Оказывается, нет такового. Да и зачем он нужен? Дом молодежи не должен подменять ни кино, ни театр. Он должен быть «домом».

Все очень просто, без затей. Ни колонн, ни лепных карнизов, ни бархатных портьер. Кажется, кро́ме крохотного кафе, нет комнат, которые имели бы одну функциональную нагрузку. Вот спортивный зал. Зал? Но он едва вмещает три стола для настольного тенниса. В конце вечера теннисисты должны убрать не только ракетки, но и вынести столы: зал в их распоряжении по понедельникам и вторникам, остальные дни поделены между гимнастами, гиревиками и кем-то еще.

В соседней большой комнате рогсведские «битлзы». Причесаны под своих кумиров. Одновременно репетируют по меньшей мере три ансамбля. Ничего, сосуществуют. А после репетиций здесь же будут показывать фильм. Потом здесь же будет еще что-то: самая большая комната расписана по часам.

«Комната хобби». Делай, что хочешь, все, что тебя увлекает. Сегодня она отдана любителям карточной игры. За тремя столиками играют в бридж, потягивая кока-колу и лимонад. Карточные игры в молодежном клубе? Но, во-первых, бридж — игра сложная, есть даже специальные пособия для овладения ее искусством. И потом, если кто из молодых уже играет в карты, то, может, действительно лучше, чтобы это происходило не на задворках, где темные личности обыгрывают новичков? Здесь, в клубе, за игрой следит тот же Берт, а иногда приходит инструктор, великий знаток бриджа.

— Завтра тут соберутся радиотехники. Послезавтра — репетиция любителей сценического искусства. Мы думаем, что едва ли правильно отдавать своим

увлечениям все вечера. Ведь у каждого, кроме хобби, есть еще свое дело. Надо готовить уроки, например.

Кухня. Сегодня здесь девочки пекли оладьи, теперь они угощают своих знакомых в соседней комнате. Эти знакомые — конечно, парни? Нет, тоже девчушки, парней всего двое, они чувствуют себя не очень ловко. Обычно общество не бывает смешанным. Если же решено собраться вместе, на кухне бывает большая готовка. Железное правило: оставь все таким чистым, каким брал. Посуду моют все вместе, и юноши справляются с этим не хуже подруг. Это теперь очень распространено в Швеции. После того как многие женщины стали работать, мужчины помогают им на кухне. В любом универмаге можно купить фартуки для мужчин весьма приятной расцветки.

Берт Йонссон очень свой в этом доме. Он обменивается шутками с девушками, заглянул на ходу в карты игроков в бридж, что-то вполголоса сказал парню, с хмурым видом стоявшему у стены. У него врожденный дар общения. Или это специальное педагогическое образование? Берт отрицательно качает головой:

— Я работаю в фирме, занятой убоем скота. Думаю, однако, что мое призвание — быть здесь. Может, когда-нибудь стану заведовать таким же домом молодежи. Сейчас мне платят почасно. Во всем доме только один штатный работник — заведующая. Остальные — их двадцать, от уборщиц до косметичек — приходят, когда в них есть нужда. Мы заполняем особый листок, где сказано, какие часы был занят каждый и что именно сделал.

— Вы упомянули косметичек. Простите, но...

— А-а! Пожалуйста, сюда.

Комната напоминает артистическую уборную. Вдоль стен стоят столики с зеркалами-складнями. В углу составлены швейные машины.

— Здесь учат правильно употреблять косметику. Уходу за кожей, за волосами. Тут же преподают основы парикмахерского дела. Пожалуй, даже не основы, а нечто большее. Некоторые девочки научились делать перманент. А вы знаете, сколько стоит перманент в парикмахерской?

— Сорок крон,— уверенно отвечаю я.— А укладка — десять-двенадцать.

— Совершенно верно.— Берт удивленно смотрит на меня.— Сорок крон— не малые деньги. Есть смысл научиться, как вы думаете?

Нам осталось осмотреть мастерские. Помещение — не более двадцати квадратных метров, но чего только тут нет! И верстак, и станки, и инструментальные наборы, и даже электрическая печь для обжига керамики.

— Если кто сломал или испортил какую-нибудь вещь в этом доме, он должен сам починить ее здесь. Но можно принести сюда работу из дома. Или просто мастерить, что вздумается.

Берт снова напомнил, что пускают в дом не только своих, но и всех желающих. У своих, рогсведских, которые платят десять крон в год за членскую карточку, лишь одно преимущество: скидка, когда показывают фильм или когда затевают танцевальный вечер с приглашенным платным оркестром.

— А если свой или чужой приходит под хмельком?

— Мы говорим ему: «Парень, ты сегодня для нас не подходишь, ты сегодня здесь лишний».

— И он?

— Он понимает, что ему лучше уйти без пререканий.— Берт, улыбаясь, показывает глазами на ладных, спортивного вида парней, которые вышли покурить в коридор.

Мы уже совсем собирались уходить, когда на огонек субботнего вечера в дом заглянул Свен Кваршель, работник инспекции по охране детства.

Мы уселись в крохотной комнатке заведующей домом. Нет, работать в Рогсведе не легко и не просто. Те, у кого есть свободное время, уезжают развлекаться в Стокгольм. Только часть молодежи Рогсведа знает дорогу в дом. И, вероятно, лучшая часть: рабочие парни, подростки из небогатых семей.

Конечно, в маленьком рогсведском мирке есть и «модс» — длинноволосые, и «сюнер», напротив, носящие короткие волосы на косой пробор и несколько «раггаров», парней постарше, разъезжающих с буйной компанией в старых американских машинах. Но инспектор думает, что большинство из них — хорошие ребята. Всем им в материальном смысле живется куда легче, чем жилось родителям в их годы.

— Молодежь начинает работать в восемнадцать-девятнадцать лет, сразу прилично зарабатывает, родители не требуют от них большого вклада в общие семейные расходы, они могут много тратить на себя... Но...

Все то же «но». Материальное благополучие — и духовная бедность, постоянная неудовлетворенность всем и вся. Против чего протестуют «модс», если обратиться не к внешнеполитическим делам, не к вьетнамской трагедии? Против прекрасно функционирующих институтов, представляющих собой основу современного шведского общества.

— «Модс» — самые юные из «бунтующих». Среди них много школьников. Они скептически относятся к политическим воззрениям, к моральным и религиоз-

ным ценностям большинства. Но, может, процесс значительно глубже, чем мне представляется.

Прекрасная черта шведов — не навязывать собеседнику собственных категорических суждений, не настаивать на собственной правоте.

— Мне лично больше всего нравятся именно «модс»,— продолжает инспектор.— Нельзя судить по их внешнему виду. Среди них есть натуры тонкие и глубокие, не крикуны, которым больше всего хотелось бы выделиться, привлечь к себе внимание.

По мнению г-на Кваршеля, объединяет «модс» увлечение «поп-артом». Едва ли можно говорить о какой-то их организации. Скорее, они группируются по пословице «рыбак рыбака видит издалека».

Инспектор попытался резюмировать свои наблюдения:

— Раньше в нашем обществе дети выходили из-под влияния родителей лет в восемнадцать-девятнадцать. Теперь родители кажутся «отсталыми» подросткам четырнадцати-пятнадцати лет. Родительский авторитет к этому времени почти утрачивается. Но, может, это не должно нас особенно тревожить. Обычно авторитет взрослых позднее признается снова. Мое личное мнение — наша молодежь совсем не так уж плоха. За последние десять лет юноши и девушки стали больше работать с книгой. Несомненен рост их интеллектуальности. Да, многие молодые как бы бросают вызов нашему обществу. Они нарушают правила привычной внешней респектабельности. Но они любознательны. Они интересны. Они ищут!

■

...Последний день в Рогсведе. Я привык к его башням, к желтому подсолнуху у детской площадки, к его дневной тишине и безлюдью между двумя электричками. Он уже не кажется мне праздничным и нарядным, как в первый день. Но теперь мне по-человечески ближе этот «спальный город», где за стенами башен радуются, огорчаются, расчетливо считают кроны, тревожатся за детей. в одиночестве сидят у телевизоров люди с далеко не легкой и вовсе не беспечальной судьбой.

ИНФОРМАЦИЯ, СТАВШАЯ ПРОКЛАМАЦИЕЙ

Пьеса Петера Вейса о Вьетнаме — нелегкое зрелище, нелегкое чтение. Авторский экземпляр рукописи снабжен пространнейшей — на много страниц — библиографией и хронологической таблицей, как докторская диссертация.

В интервью, данном газете «Цейт», Вейс говорит об историчности и *научной достоверности* своей пьесы.

Пожалуй, не в каждом учебнике содержится столько исторических, этнографических и политических сведений о Вьетнаме, сколько в этой пьесе, озаглавленной на манер старинных трактатов: «Диспут по поводу предыстории и течения долголетней освободительной войны во Вьетнаме, как доказательства необходимости вооруженной борьбы угнетенных против своих угнетателей, а также по поводу попыток Соединенных Штатов Америки задушить революцию».

Пьеса разбита на сцены, названные «стадиями»: китайская экспансия; французская колонизация; японская оккупация; восстания, мятежи; освободительная борьба против оккупантов и колонизаторов; создание Демократической Республики Вьетнам, возглавляемой коммунистами; закулисные комбинации западных держав; заговор правящих сил США против народного Вьетнама... Таковы стадии, драматургия истории, охватывающей семнадцать веков.

В пьесе нет ни выстрелов, ни батальных сцен, ни прямых «физических» столкновений (самый жанр «диспута» исключает подобного рода приемы): персонажи, обозначенные номерами, всего лишь информируют о событиях и, двигаясь по заданным геометрическим направлениям, образуя те или иные пантомимические группы, «занимают позицию» в прямом смысле слова.

Однако за всей этой нарочитой иллюстративностью, отдающей порой схематизмом, за скупостью «информационных» реплик персонажей и комментариями хора встает исполненная драматизма народная трагедия. Зрелище, как таковое, сжато до предела, упрятано глубоко в текст, извлечь его оттуда способно только воображение зрителя, и тогда этому воображению откроется то, чего зритель не увидит на самой сцене: картины разнузданного рабства и бурных народных мятежей, безграничности человеческого горя и человеческого мужества, подлая механика политических интриг и грандиозное становление новой жизни, рождающейся в жестоких испытаниях и кровавой борьбе.

Автора не столько интересуют характеры действующих лиц, сколько характеристика действующих в пьесе исторических и социальных сил. Вейс умышленно пренебрегает психологической разработкой образов, когда он выводит на сцену американских президентов — Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона, государственных секретарей — Даллеса и Раска или британских премьеров Черчилля и Идена. В данном случае это всего лишь символические фигуры, «репрезентанты» определенной классовой политики, участники исторической «буффонады», которая сопровождается насилием и демагогией.

За год до своего «Диспута» Петер Вейс написал «Песнь о лузитанском пугале» — сатирическое антиколониальное обозрение, построенное на португальском материале Нелепое сооружение из металлолома призывало к защите «христианской цивилизации». улещало, угрожало, бранилось, почти дословно воспроизводя фразеологию португальского диктатора Салазара.

В новой работе Вейса пугало империализма представляют десятки высокопоставленных кукол, автоматов, в которые «заложены» доподлинные тексты выступлений виднейших государственных деятелей империалистических держав, охваченных единствен-

ным стремлением — «задушить революцию в самом зародыше», в корне подавить любое национально-освободительное движение. Перед тысячами людей на подмостках сцены происходит строго документированное саморазоблачение зачинщиков вьетнамской войны, которые с полнейшей откровенностью «объясняют» зрителю истинные цели своей политики в Юго-Восточной Азии:

Если мы вступим в войну,
то закончим ее
нашей полнейшей победой.
Если мы капитулируем
перед малым народом,
перед ничтожной кучкой азиатских
крестьян...
мы взбодрим революцию
во многих районах планеты...

Цель определена, решение об агрессии принято, остается лишь найти подходящий предлог. И вот президент Соединенных Штатов Америки, который только что произнес приведенный выше монолог, уже «внемлет» жалобе южновьетнамских марионеток на «вторжение коммунистов» и кричит в мегафон:

Крайне встревоженные
и возмущенные
нападением на вашу страну,
мы вам окажем немедленно
необходимую помощь
и любую поддержку
для защиты свободы
Вьетнама...

Может быть, этот прием покажется чересчур лобовым, плакатным, однако пьеса Вейса «лубочна» в той мере, в какой сама политика империализма представляет собой уродливый и страшный «лубок».

Нет необходимости перечислять известные нашему читателю события, предшествовавшие вьетнамской трагедии: все они воспроизведены в пьесе Вейса в хронологическом порядке, с обозначением времени и места действия. Автор «Судебного разбирательства» и здесь производит тщательное «дознание», анализ и расследование фактов с тем, чтобы информация, поступающая в зрительный зал, побудила публику,

«которая посмотрит эту пьесу, сделать из нее свои выводы и проникнуться желанием изучить и понять то, о чем в значительной степени умалчивают пресса, радио и телевидение» (Петер Вейс — интервью в газете «Цейт»).

Именно это обстоятельство больше всего тревожит некоторых западногерманских рецензентов премьеры «Диспута», состоявшейся во Франкфурте-на-Майне и сопровождавшейся стихийными антиамериканскими демонстрациями. Публика приходила в зрительный зал с вьетнамскими флагами, перед зданием театра толпы молодежи пели вьетнамские песни и скандировали лозунги солидарности. Журнал «Шпигель» сообщает, что на франкфуртскую премьеру «прибыли» также вооруженные отряды полиции и «добрая дюжина» молодцов в штатском.

Фидлер из неонацистской «Дейче нахрихтен» не преминул высказать свои «эстетические» воззрения: «Тенденциозная литература не имеет никакой литературной ценности, в чем легко убедиться на примере высокохвалимых пьес коммуниста Петера Вейса».

Гюнтер Рюле во «Франкфуртер альгемейне цейтунг» тоже упрекает Вейса в излишней «тенденциозности» и «прямолинейности». Рюле хотелось бы, чтобы трагедия Вьетнама была изображена как «трагедия без злодеев», как трагедия вообще, где каждая из сторон по-своему права и по-своему виновата.

Другой франкфуртский рецензент, Карл Гейнц Борер, предпочитает рассматривать вьетнамскую войну как пытку, которой человечество подвергается чуть ли не по собственной воле; естественно, что подлинных виновников «пытки» Борер, в отличие от Петера Вейса, предпочитает не называть. Более того, свою «концепцию» вьетнамской проблемы рецензент пробует приписать самому драматургу.

Впрочем, подобной интерпретации подвергались на Западе, и прежде всего в ФРГ, и прежние пьесы Вейса. Так «Марат», где речь шла о безумии *буржуазного* мира и агонии контрреволюции, была истолкована как пьеса о безумии *мира вообще*. Из «освенцимской» пьесы «Судебное разбирательство» пытались выхолостить ее антинацистскую направленность, клеймящую западногерманскую юстицию и поощрение фашистских преступников, переводя спектакль в план абстрактных рассуждений о «современном аде», где палачи и жертвы как бы уравнены самой «инфернальностью» жизни и легко могут поменяться местами.

На пути к франкфуртской премьере «Диспут» встретил немало официальных и неофициальных препятствий. На драматурга и постановщика оказывалось всевозможное давление с тем, чтобы смягчить политическую остроту пьесы, ослабить ее современное звучание, превратить в бесстрастный перечень фактов. Вейс усмотрел в этом еще одно

«доказательство того, насколько господствующими являются в ФРГ реакционные, проамериканские позиции» (интервью шведской газете «Дагенс нюхетер»).

Газета «Франкфуртер альгемейне» не без тревоги сообщила о том, что «Вейс восхваляет ГДР», где, по его убеждению,

«решены многие социальные проблемы, с которыми Федеративная Республика вообще не в состоянии справиться».

На вопрос, к какому из германских государств Вейс испытывает наибольшую привязанность, писатель ответил, что он

«никогда не был другом нацистов, правящих сегодня Федеративной Республикой, и неизменно оставался другом ГДР».

Не случайно, что свою творческую судьбу Петер Вейс связал с одним из лучших театров Германской Демократической Республики — Народным театром Ростока, где, по его собственному признанию, его пьесы получают наиболее правильную, соответствующую авторскому замыслу трактовку.

В ростокской постановке «Диспута» режиссер Ганс Ансельм Пертен (постановщик «Марата» и «Судебного разбирательства») сделал идейным центром спектакля авторский тезис о том, что борьба за свободу является исторической неизбежностью, ибо народ предпочтет скорей умереть, чем терпеть дальнейшее угнетение. В газете «Берлинер цейтунг» критик Эрнст Шумахер, касаясь ростокского спектакля, пишет, что

«здесь, в Ростоке, каждый зритель знает, что в конце концов победителем окажется народ. Но он, зритель, знает также, что успешный исход этой борьбы зависит и от него самого».

Центральный орган СЕПГ — газета «Нейес Дейчланд», отдавая должное таланту и мужеству Гарри Буквица, осуществившего постановку «Диспута» во Франкфурте-на-Майне, вместе с тем отмечает, что во франкфуртском спектакле многое звучит слишком неконкретно и недифференцированно; отдельным эпизодам присуща «внеисторическая многозначность».

«В Ростоке,— продолжает газета,— в отличие от Франкфурта, стремились к предельной театральной выразительности, к тому, чтобы театр не просто служил средством политической информации, а, используя многообразие сценических возможностей, с умом и страстью боролся за справедливое дело Вьетнама. В этом смысле режиссер Пертен и его ансамбль создали действительно выдающееся произведение».

Подобный результат, естественно, не мог не огорчить иных западногерманских критиков. Тот же Гюнтер Рюле, в той же «Франкфуртер альгемейне» сетует:

«В условиях другой социальной системы пьеса получила совершенно иное истолкование. Вейс адресовал свою пьесу западной публике как информацию и разъяснение. В Ростоке от этого не осталось и следа. Информацию подменила партийность».

Особенно негодует Рюле по поводу того, что Вейс принял эту трактовку, внес, в соответствии с предложениями и рекомендациями режиссера, ряд купюр, что придало пьесе большую действенность и динамичность и,

«таким образом,— пишет Рюле,— окончательно превратился в домашнего драматурга Ростокского театра...»

Судя по всему, в Ростоке информация, содержащаяся в пьесе, прозвучала как прокламация. Пертен, сотрудничая с автором, воспринял реплики отдельных персонажей как диалоги, проявил изобретательность и находчивость, чтобы оживить текст, придать информации более «зрелищный» характер. Возможно, тем самым ему удалось в какой-то мере устранить просчеты драматурга, возложившего слишком большую нагрузку на чисто познавательную сторону пьесы, в ущерб зрелищности, без которой невозможен никакой, даже самый «интеллектуальный» спектакль.

В чтении пьеса Вейса, особенно в первой ее части, кажется несколько утомительной и затянутой. Отдельные реплики и монологи звучат монотонно и скучно. В какой-то степени «документальное» перевешивает здесь «художественное», тем самым и документализм теряет порой свою действенность. И все же эмоциональный заряд текста кроется в ритме, в ритмических подъемах и спадах. «Музыкальная» сила особенно нарастает к концу пьесы, где драматург выводит на сцену два хора: «хор империалистов», восхваляющих блага «западной цивилизации», пресловутый «избыток производства», и «хор народа», с его гневным ответом:

Да,
теперь мы видим,
на что идет ваш избыток.
Мы видим
полет истребителей,
видим ракеты и бомбы,
газ и напалм,
танки и автомобили,
телевизоры,

с экранов которых
ночью и днем
нам показывают
генералов и кинозвезд,
горящие деревни,
горы трупов,
горы обломков и щебня,
груды руин.
Да! Мы видим,
на что он идет —
ваш избыток!..

В Ростоке спектакль завершается словами:

Мы показали начало...
Борьба продолжается!

К сожалению, Петер Вейс, который так хорошо и убедительно показал врагов вьетнамского народа, почти совсем отказался от изображения друзей Вьетнама, что в известной мере обедняет его пьесу и содержащуюся в ней информацию.

Вьетнам не одинок. С ним — Советский Союз, с ним — социалистический лагерь, с ним — все прогрессивное человечество, с ним — все честные люди земли, среди которых — талантливый и вдохновенный поэт-драматург Петер Вейс.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

НАРОДНАЯ, КЛАССИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

Есть нечто глубоко знаменательное в том, что в дни великой битвы, от исхода которой зависит будущее и само национальное существование народа, в дни ставших обыденностью бедствий и вошедшего в быт героизма во Вьетнаме пишут и говорят не только об оружии, но и об искусстве, не только о мужестве, но и о поэзии. Говорят без ложного пафоса и риторики — просто и здраво, как крестьянин рассуждает о земле, о семенах, о всходах. В этом сказывается непоколебимая вера в победу и глубокая убежденность в том, что построенный в боях социализм должен дать человеку и хлеб, и розы. Такова первая мысль, на которую наводит речь заместителя министра народного образования ДРВ Ха Хюи Зиапа на учредительном собрании Общества по изучению вьетнамской народной литературы, опубликованная в газете «Нян Зан» и перепечатанная недавно французским прогрессивным журналом «Нувель критик».

Уходящая в глубь веков фольклорная традиция; ученая и придворная литература на классическом китайском языке — вэньяне; достигшая блистательного расцвета в XVIII веке литература на вьетнамском языке, закрепленная в идеографической письменности «ном», которой положил начало в 1282 г. вьетнамский поэт и вельможа Хан Тхюйен; литература на «куок нгы» — латинизированной письменности, получившей повсеместное распространение в начале нашего века,— все эти переплетающиеся пласты в совокупности образуют богатейшее культурное наследие вьетнамского народа. Должна ли новая культура отбросить это наследие или опереться на него? Как нужно относиться к народным легендам, к эссе, стихам и новеллам чиновников и придворных, короче, ко всей литературе, которую иные определяют как «феодальную»? Какой интерес могут представлять такого рода произведения для нынешних поколений, строящих социализм? Эти вопросы, вызывающие оживленные споры в среде вьетнамской творческой интеллигенции, затронул в своем выступлении и Ха Хюи Зиап.

Исходя из ленинского положения о том, что социалистическая культура не предстает «выскочившей неизвестно откуда», а должна явиться «закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества», Ха Хюи Зиап решительно восстает против псевдореволюционного нигилизма в отношении к культурному наследию прошлого (нигилизма, который, заметим в скобках, получил свое крайнее выражение в так называемой «культурной революции», проводимой маодзэдуновской кликой).

«Мы должны отвергнуть взгляды, согласно которым народная и классическая литература рассматривается как плод тысячелетней истории феодального и капиталистического общества и потому объявляется никчемной, поскольку она не отвечает условиям жизни в современную эпоху. Конечно, верно, что в каждый данный исторический период как придворная, так и народная литература была связана с определенными аспектами общественного развития. Но трудность состоит не в том, чтобы понять, что с формальной точки зрения произведения литературы и искусства прошлого не соответствуют современному социальному строю. Как говорил Маркс, «трудность состоит в понимании того, что они

еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца».

Значит ли это, что идейно-политический критерий не применим при оценке культурных явлений прошлого, что патина времени равно облагораживает все элементы литературного наследия и что относиться к ним критически и проводить между ними определенный водораздел бесплодно и неуместно? Разумеется, нет. Идет ли речь о классической литературе или о народном творчестве, необходимо исходить из наличия двух культур в каждой национальной культуре:

«С точки зрения марксизма-ленинизма господствующие идеи определенной эпохи — это идеи господствующего класса. Поэтому и народная культура и прогрессивная классическая культура, хотя и заключают в себе демократические и социалистические элементы, неизбежно в той или иной мере испытывают влияние идеологии господствующего класса и несут отпечаток исторической ограниченности. Мы должны учитывать этот фактор в наших исследованиях, чтобы верно оценивать как произведения коллективного творчества, так и произведения прогрессивных литераторов прошлого».

Ха Хюи Зиап подчеркивает, что многообразные формы народного творчества — легенды, сказки, анекдотические истории, эпические сказания, мелодии и ритмы народных танцев, лубки деревни Донг-Хо, народные песни, представления и всякого рода импровизации — играли и продолжают играть первостепенной важности роль в истории вьетнамской культуры: они проникнуты боевым духом, присущим трудовому народу, они выражают его мечты и стремления, думы и чувства, знания и опыт.

Глубокая мысль, заключенная в словах Горького о том, что народ создал Зевса, а Фидий воплотил его в мраморе, сохраняет всю свою справедливость применительно к истории вьетнамской литературы, замечает Ха Хюи Зиап:

«В литературной и художественной истории нашей страны нет прославленных писателей или художников, которые презирали бы произведения народного творчества, ибо их собственные произведения носят народный характер и отражают жизнь и чаяния народа. «Великая весть об умиротворении Нго» Нгуена Чая, «Повесть о Киеу» Нгуена Зу, а в наши дни стихи Хо Ши Мина и То Хыу как раз и являются плодами лучших и прекраснейших элементов народной литературы, из которых художник своим творческим трудом сумел сделать изумительные произведения письменной литературы».

Вместе с тем Ха Хюи Зиап предостерегает против пиетета перед всем «народным», вплоть до народной темноты и неразвитости, народных предрассудков и суеверий, которые тоже находят выражение в фольклорной традиции:

«Мы должны отвергнуть ту точку зрения, сторонники которой, рассматривая народное культурное достояние как коллективное творение трудящегося народа и приписывая ему поэтому демократический и социалистический характер, видят в нем nec plus ultra прекрасного и считают необходимым полностью сохранять его и усваивать».

Ха Хюи Зиап напоминает при этом об одном из писем В. И. Ленина А. М. Горькому, в котором он подчеркивал, что «народное» понятие о боженьке и божецком есть «народная» тупость, забитость, темнота, совершенно такая же, как «народное представление» о царе, о лешем, о таскании жен за волосы, и что такого рода понятия и представления поддерживаются классовым господством и поддерживают его.

С другой стороны, замечает Ха Хюи Зиап, недопустимо пренебрежительное или огульно враждебное отношение к классической литературе прошлого на том основании, что она не свободна от антинародных идеологических влияний.

«Несмотря на тысячелетний гнет чужеземных феодальных захватчиков, наша классическая литература прошлого дала многочисленные прогрессивные произведения, которые носили национальный характер, хотя и испытывали влияние господствующей идеологии иноземных властителей и не могла быть столь здоровыми, столь проникнутыми национальным чувством, как народная литература и народное искусство. В прошлом веке под владычеством французских колониалистов произошло «скрещивание» нашей ученой литературы с чужеродными элементами, но и тогда создавались прогрессивные произведения, хотя они и уступали в этом смысле искусству и литературе, творимым народными массами, в особенности в эпоху революционного движения под руководством нашей партии».

Последнее, однако, отнюдь не означает, по мысли Ха Хюи Зиапа, что старая классическая и вообще письменная литература в принципе ниже народного творчества и что его устоявшиеся формы, мотивы, приемы нужно в некотором роде канонизировать в качестве нормы и образца.

«Поэт должен быть неразрывно связан с народной жизнью, должен искать источник вдохновения в действительности, должен изучать литературу масс, но это вовсе не значит, что для того, чтобы создавать поэмы, носящие подлинно народ-

ный характер, необходимо имитировать народные песни «ка зао», «хо», «ве». Нельзя и не нужно сравнивать художественную ценность народной песни со стихами или мелодией художника, ибо народное искусство отличается непосредственностью и наивностью, недоступной «ученому» искусству, а это последнее в свою очередь предполагает изощренность творческого труда, недоступную народному искусству.

Конечно, между народным и классическим искусством существуют многочисленные взаимодействия. Если в «Повести о Киеу» мы находим стихи, навеянные поговорками и народными песнями, то, с другой стороны, мы можем обнаружить, например, в песнях «куан хо», распространенных в Бак Нине, заимствования из «Киеу». Если народная литература питает классику, то последняя в свою очередь оказывает влияние на нее, поднимая на более высокий уровень эстетическое чувство масс, создавая публику, тянущуюся к искусству, способную оценить прекрасное и создавать все более совершенные произведения искусства. Таково диалектическое взаимоотношение между народным и профессиональным художественным творчеством, между массами и художниками».

Считая безусловно необходимым критическое освоение великих ценностей мировой культуры, Ха Хюи Зиап в то же время подчеркивает, что в деле созидания социалистического искусства следует исходить «прежде всего из уже существующих национальных факторов», а это требует самого пристального внимания и самого бережного отношения к культурному наследию, и в частности к народному творчеству. Но задачи, которые стоят перед вьетнамской творческой интеллигенцией, разумеется, не сводятся к критическому изучению и сохранению этого богатейшего наследия.

Основоположники марксизма уделяли огромное внимание народному искусству и народной литературе, в особенности произведениям, в которых выражались революционные чувства, воля крестьянских и рабочих масс к борьбе против феодалов и капиталистов. Известно, как высоко ценил Энгельс гимн немецких крестьян-повстанцев XVI века «Господь — наша крепость», который он назвал «Марсельезой крестьянской войны», и с какой любовью перевел он для газеты «Социал-демократ» старинную песню датских крестьян. Известно, как восхищала Маркса «Песня ткачей» — этот «смелый клич борьбы», где пролетариат «властно заявляет во всеуслышание, что он противостоит обществу частной собственности». Вместе с тем они отмечали, что поэзия прошлых революций «редко производит революционное впечатление в позднейшие времена, так как для того, чтобы воздействовать на массы, она должна и отражать предрассудки масс того времени».

«Эти высказывания Маркса и Энгельса,— заключает Ха Хюи Зиап,— показывают нам, что, создавая новую литературу, нельзя порывать с традициями нации и с культурным наследием человечества, в котором народное творчество, в особенности произведения, выражающие волю к революционной борьбе, занимают весьма важное место. Но чтобы создать новую литературу, необходимо прежде всего исходить из условий жизни современного общества. Поэтому необходимо уделять огромное внимание нынешнему художественному творчеству масс, ибо в нем мы находим образ, душу и стремления новых героев и отражение новой жизни нашего народа в наши дни».

Так говорят сегодня во Вьетнаме о почве, семенах и всходах новой, социалистической культуры.

И. ЕВГЕНЬЕВ

СДЕРЖАННЫЙ КОММЕНТАРИЙ К КРАСНОРЕЧИВОМУ МОЛЧАНИЮ

В море международной литературной и общественно-политической прессы трудно выловить такое издание, которое в той или иной форме не отметило бы столетний юбилей Горького. На всех континентах и на всех языках люди разных воззрений с глубокой любовью и уважением произносят имя великого гуманиста и великого художника, основоположника новой, социалистической литературы. Единственное исключение — Китай.

Ни словом, ни звуком не обмолвился Пекин о 100-летии со дня рождения великого пролетарского писателя. Прошел март, и апрель, и май. Нет для Китая горьковского года. «Великая пролетарская культурная» продолжается.

Может быть, в самом деле в Пекине стало неловко вспоминать добрым словом Горького, которого не так давно «самый великий» назвал в беседе с министром культуры Франции «босяцким писателем» (см. «Антимемуары» Андре Мальро)? Или, быть может, в Китае никто не знает этого писателя, никогда не читал его произведений?

Увы, на сей раз странное молчание Пекина нуждается в комментариях.

Итак, знакомы ли китайцы с Горьким? Еще десять лет назад этот вопрос звучал бы нелепо. До образования в 1949 году КНР произведения А. М. Горького были изданы в Китае более 1000 раз! Переведено 313 (по числу названий) художественных, публицистических, литературно-критических сочинений и работ писателя — больше, чем в любой другой стране мира. Десятки раз издавались «Детство», «Мать», «Мои университеты», «В. И. Ленин», «Рождение человека», «Старуха Изергиль»... Тут не просто знакомство. Это любовь к писателю, активное восприятие его творчества.

Немного истории. Первая горьковская публикация в Китае датируется 1907 годом. Это был рассказ «Каин и Артем» в переводе У Тао-чжи с японского, напечатанный в общественно-политическом журнале «Дунфан цзачжи» («Восток»), имевшем среди либерально мыслящей интеллигенции довольно широкий круг читателей. Как приняли рассказ в этой среде, сказать трудно,— пресса того времени свидетельств не оставила. Когда ровно через десять лет, в 1917 году, в Пекине вышло двухтомное «Собрание рассказов знаменитых европейских и американских авторов» Чжоу Го-цзяня, куда вошла и глава из «Сказок об Италии», имя Горького транскрибировалось уже другими иероглифами: косвенное подтверждение тому, что широкого распространения первая публикация не имела.

Еще через три года, в апреле 1920 г., в Пекине выходит переводной сборник «Короткие новеллы» с горьковским рассказом «Болесь», названным, как в английском переводе, «Ее любовник». Переводчиком всего сборника на этот раз был видный политический и общественный деятель Китая тех лет, лидер правого крыла буржуазно-демократического движения профессор Ху Ши. В следующей, четвертой по счету, публикации, имя автора было дано уже как писателя, культурная деятельность и творчество которого в какой-то мере известны китайскому обществу. Горький — «смелый, мужественный, мятежный, преисполненный веры в будущее», писал тогда Мао Дунь.

Статьей М. Горького «Литература и современная Россия» открывается восьмая книжка журнала «Синь циннянь» («Новая молодежь») за 1920 год. У Горького статьи с таким названием нет. Это его работа, помещенная без заглавия в виде вступительной статьи к каталогу издательства «Всемирная литература», изданному в Петрограде Наркомпросом в 1919 году. Как далеко была тогда Советская Россия от Китая, от всего мира!.. Но идея Горького, пусть не сразу, все же становится известной за рубежом: 4 и 11 июня 1920 года эту статью печатает в двух номерах английский журнал «The Athenaeum». Впечатление ошеломляющее: в «дикой», «варварской», «прозябающей во мгле» России (вспомним Герберта Уэллса) Горький затеял предприятие, немыслимое ни в одной другой стране мира, утверждающее большевиков защитниками, творцами и знаменосцами подлинной культуры человечества. Можно ли не удивляться тому, как быстро узнали о статье Горького в Китае, если уже в сентябре того же года, то есть через три месяца, ее читали в китайском переводе.

Журнал «Синь циннянь» был первым в Китае популяризатором марксизма. Его издавал выдающийся китайский марксист, профессор Пекинского университета Ли Дачжао, один из основателей Коммунистической партии Китая. Он первый познакомил китайцев с подлинным смыслом событий в России и значением для всего мира «орудийных выстрелов Октября», с идеями Ленина. «Победа большевизма» — назвал он свою статью, посвященную окончанию первой мировой войны. «...Победа над германским милитаризмом это не победа стран Антанты, тем более это не победа наших вояк, предпочитающих вести гражданскую войну, и ловко кокетничающих с ними политиканов; это победа гуманизма, победа идеи мира, победа справедливости, победа свободы, победа демократии, победа социализма, победа большевизма, победа красного знамени, победа всемирного рабочего класса, победа новой тенденции в развитии XX века»,— такими словами начиналась эта статья в «Синь циннянь» 15 октября 1919 года.

Выступления Ли Да-чжао, Лу Синя и других авторов журнала возбудили в стране огромный интерес к революционной России и оказали сильнейшее воздействие на весь ход так называемой «Литературной революции 1919 года», непосредственно связанной с могучим антиимпериалистическим и антифеодальным движением широких масс трудящихся Китая. Естествен и вполне понятен поэтому интерес и к слову «буревестника революции», Максима Горького.

Переводчиком этой статьи Горького был Чжэн Чжэнь-до, тогда студент, молодой литератор, впоследствии — крупный ученый-филолог, профессор, видный деятель культуры в первые годы после образования КНР. Следует воспроизвести полностью его коротенькое предисловие к переводу статьи Горького, тем более что с тех пор оно никогда больше не печаталось в Китае. Вот оно:

> «Совсем недавно, при поддержке большевистского правительства, Горький (Maxim Gorky) организовал грандиозное книжное издательство «Всемирная литература» с целью издания наиболее известных произведений мировой литературы. Предлагаемая статья — его предисловие к первому каталогу этого уникального издательства. Более обстоятельно и ясно, чем в этом предисловии, о возвышенном замысле Горького не сказано нигде. Статья, можно сказать, является квинтэссенцией горьковской идеи.

В предисловии Горького сказано, что предстоит издать тысячу пятьсот книг размером до 320 страниц каждая и от трех до пяти тысяч брошюр размером в 32—64 страницы каждая. Мы убеждены в том, что такого поистине небывалого, такого архиграндиозного плана просвещения простого народа не знала никогда в прошлом не только Россия, но и весь цивилизованный мир.

С таким грандиозным планом издания книг в момент, когда русская революция лишь приступает к строительству, «русский народ имеет право сказать, что он ставит себе самому памятник, достойный его». Величайшая культурная деятельность революции, которую ее враги считают «бунтом варваров», не может не привести в смятение врагов революции, не может не заставить их замолчать. А нам она помогает еще лучше понять большевиков и убедиться в том, что они вовсе не «разрушители культуры», а, напротив, «защитники культуры, ее созидатели»,— не говоря уже о том, что ни одно государство мира не обладает сегодня ни таким, как большевики, горячим стремлением защищать культуру, ни такими творческими силами.

Я с огромным волнением переводил эту статью; знаю, что такое же волнение будут испытывать все, кто ее прочитают.

Выражаю глубокую благодарность г-ну Чжан Сун-няню, который передал мне два номера «The Athenaeum» и побудил перевести эту вещь.

Пекин, 13 сентября 1920 года

Чжэн Чжэнь-до».

Как понятно волнение автора этой коротенькой заметки сегодня! Не в бровь, а в глаз бьют нынешних пекинских «культуртрегеров» с их позорными списками подлежащих уничтожению книг и Горький, и Ромен Роллан, увидевший в Горьком «великолепное соединение веков мировой культуры с революцией», и тогда еще никому не ведомый китайский студент.

И что любопытно, списки «черной литературы», которыми так похваляются сегодня в Пекине, поразительно совпадают с горьковским каталогом «Всемирной литературы». Не будем голословны.

Летом 1966 года, то есть в разгар «культурной революции», во дворе Пекинского университета, где с утра до ночи бесчинствовали толпы разъяренных хунвэйбинов, на самых видных местах запестрели метровые, исписанные вдоль и поперек иероглифами плакаты. Их было много, и все они предавали анафеме «ядовитые травы», мешающие пышному расцвету ста цветов «великих идей Великого Кормчего»: «Божественную комедию» Данте, трагедии Шекспира, «Страдания молодого Вертера» Гёте, «Жана-Кристофа» Ромена Роллана, «Красное и черное» Стендаля, Мопассана, «Нана» Золя, «Мифы Древней Греции», китайскую классику—«Сон в Красном тереме» Цао Сюэ-циня, «Западный флигель» Ван Ши-фу, «Рассказы из кабинета Ляо Чжая о людях необычайных» Пу Сун-лина, любовную лирику в жанре «цы»... Позже список пополнился «Дон Кихотом Ламанчским» Сервантеса, «Декамероном» Бокаччо, «Норой» Ибсена, десятками других шедевров мировой культуры.

Одновременно хунвэйбины с кафедры русского языка того же университета вывесили гигантские афиши — пятьдесят газетных листов! — с перечнем «ядовитых трав»: «После бала» Толстого, «Бэла» Лермонтова, «Станционный смотритель» Пушкина, «Накануне» Тургенева, «Обломов» Гончарова, «Старуха Изергиль» Горького. Позже к ним были дописаны «Евгений Онегин», «Воскресение», «Анна Каренина», «Война и мир», Чернышевский, Добролюбов, Белинский, «Дядя Ваня», «Три сестры»... И костры запылали!

Правда, недоучки-хунвэйбины, охапками швыряя в костер книги из университетской библиотеки, оказались не такими уж оригиналами. Да и в Пекине не они были инициаторами подобных шабашей. О «смертельном яде» этих и многих других произведений (а ведь именно о них писал в 1919 году Горький в предисловии к каталогу «Всемирной литературы»: «Да вспомнят люди на празднике зверя и скота обо всем истинно человеческом, чему века служили, чему учили мир гении и таланты!») вся официальная китайская печать, находящаяся в руках группы Мао Цзэ-дуна, из года в год трезвонила во все колокола, идеологически подготовляя мятеж хунвэйбинов.

«Те, у кого особенно продолжительным успехом пользуется роман «Жан-Кристоф», принимают рыбий глаз за жемчужину», они становятся «пленниками буржуазной идеологии, подпевалами современного ревизионизма»,— это писал 25 марта 1964 года центральный орган КПК газета «Жэньминь жибао». Таких «приговоров» — сотни, они-то и предварили уничтожение пресловутой «культурной революцией Китая» и ценностей мировой культуры, и памятника Пушкину в Шанхае, и могилы великого Ци Бай-ши на кладбище в Пекине.

Что ж тут напоминать людям, что был такой великий писатель Горький! А вдруг они вспомнят, что был и Лу Синь, который подхватил горьковскую идею и сделал возможным приобщение китайцев к сокровищнице мировой культуры, были друзья Горького, писатели, драматурги, художники, ученые, внесшие бесценный вклад в обогащение древней культуры своего народа? Ведь сегодня их поносят на всех площадях «Поднебесной империи». Так лучше уж молчать...

АГЕЙ ГАТОВ

НАШИ ГОСТИ

ЛИТЕРАТУРА В ТРАНШЕЯХ

Не так давно гостем «Иностранной литературы» был заместитель генерального секретаря Вьетнама, председатель ханойского городского отделения Ассоциации литературы и искусства То Хоай. И когда мне предложили написать об этой встрече, я подумал, как нелегко будет передать живое ощущение контакта с этим талантливым человеком, литературная судьба которого сложилась столь счастливо, что двадцати лет от роду занял он место среди лучших писателей своей страны и доныне (сейчас ему под пятьдесят) остается одним из ведущих мастеров прозы.

Жизненный путь его был отнюдь не гладок. Рано став революционером, он немалое время просидел в тюрьмах, выстроенных во Вьетнаме «просвещенными» колонизаторами. Всю девятилетнюю войну Сопротивления прошел он военным журналистом в горных лесах Северного Вьетнама, умудряясь писать отличные книги, одна из которых — «Рассказы о Северо-Западе»* — принесла ему первую премию на национальном литературном конкурсе. Он терял на горящих дорогах друзей, у него пропадали в военной неразберихе почти готовые рукописи, а вечерами, когда кончалась работа в газете — ее нередко приходилось печатать самим на гектографе,— сердце щемила тоска по родным, оставшимся «внизу», на равнине. И вот в пятьдесят четвертом, когда закончилась война, То Хоай возвращается в Ханой. Он много пишет, издает новый роман «Десять лет», рассказы, пьесы, по его сценариям снимаются фильмы. Подтрунивая над своим «обюрокрачиванием», немало времени отдает он работе во вновь созданном Союзе писателей, в издательстве и литературном еженедельнике. Как бы раскрывая перед молодыми литераторами свою творческую лабораторию, он печатает книжку «Мой опыт работы в прозе», которая вышла вторым изданием. И, уже который раз, переиздаются его обаятельные, лиричные и беспощадные ко всякому злу и несправедливости сказки: «Приключения кузнечика Мена», «Мышиная свадьба», «Рыцарь Богомол», «Три брата»*. Сам То Хоай остается все тем же непоседой и путешественником. Он много и подолгу ездит по стране. Однажды мне довелось быть вместе с ним в горных деревушках, где живут малые народности, каждая со своим языком, своими обычаями и укладом жизни; о них написаны многие книги То Хоая. Он был превосходным «гидом», но меня поразило другое — его знали повсюду, люди приходили издалека, чтоб повидаться с ним, рассказать о своих домашних делах. А один старик с редкой серебристой бородкой как великую ценность показал мне изданную в военные годы на сероватой, похожей на оберточную, бумаге книгу То Хоая с его автографом. Восемь лет назад То Хоай впервые приезжает в Советский Союз; очарованный, бродит дотемна по московским улицам, едет на целину, в Ленинград, в Одессу. И, возвратившись домой, издает две книжки о нашей стране: «взрослую» — «Труд Ленина» и «Чайку» — повесть для детворы о черноморском городе-герое... Но вот в шестьдесят четвертом на землю Северного Вьетнама снова пришла война. И опять То Хоай выезжает со своим корреспондентским блокнотом на места боев и бомбежек, потом возвращается в Ханой, пишет. Только теперь рядом с его рабочим

* Эта книга То Хоая, русский перевод которой назван «Рассказы о Северо-Западном Вьетнаме», вышла в Издательстве иностранной литературы в 1958 г.

* Сказки То Хоая издавались на русском языке. В нашем журнале (№ 1, 1966 г.) была напечатана рецензия на последний сборник (Л. Фейгина. «Зеркало жизни»).

столом — индивидуальная ячейка-убежище, так что тревоги отнимают у него минимум времени, а по утрам жена его Кук (имя это значит «Хризантема») выводит на прикрепленном к наружной двери листке бумаги: «Дома То Хоай, один человек»; такие листки есть на каждой двери — это для спасателей, если дом завалит бомба, они будут знать, где и сколько людей надо откапывать. Дом его, прежде звеневший ребячьими голосами, затих — все пятеро эвакуированы, старшая — со своим институтом, остальные — дочка и трое мальчишек — со школой. Они приезжают лишь изредка, на праздники. То Хоай шутит: «Янки создают мне условия для творчества». Шутки шутками, но работоспособность его удивительна: он печатает очерки, статьи, не прерывает работы над новым романом «Запад», снова правит страницу за страницей, и вот в конце прошлого года новый роман ложится на прилавки книжных магазинов. А на титуле книжки три короткие строчки: «Будут изданы книги того же автора:

«Отсутствующий» (роман),

«Записи, сделанные в горах» (очерки)»...

И вот он сидит напротив нас и рассказывает, как улетал из Ханоя в Москву.

Вышло так, что из нас шестерых, разговаривавших с То Хоаем, трое бывали раньше во Вьетнаме. Поэтому первые вопросы были о Ханое, о друзьях.

— Ну что же,— отвечает он,— город живет нормально. В Ханое около ста предприятий. Все они работают, хотя часть оборудования передислоцирована и изменен режим работы. Конечно, облик улиц стал другим — везде убежища, щели. Но на покрытиях щелей наш «Зелентрест» развел цветы... Эстетика войны...

Да,— вспоминает он,— что еще сразу бросилось бы вам в глаза в Ханое и в других городах, это отсутствие детей. Все они вывезены в сельские районы. Там построены школы «военного времени». У каждого класса свой домик, и они разбросаны сравнительно далеко друг от друга — на случай бомбежек. Рядом с классами и спальнями — траншеи и щели, а там, где бомбят особенно часто, траншеи начинаются у самых парт. Домики обнесены высокими глинобитными заборами, предохраняющими от осколков и шариковых бомб. Если налеты затягиваются, уроки иногда проходят прямо в убежищах. Учебный год в школах проходит нормально; скоро начнутся экзамены...

То Хоай рассказывает, что институты и техникумы в основном также вывезены из городов и что занятия в них налажены в полном объеме учебных программ. Бесперебойно работает радио («У нас есть ежедневные литературные программы»,— говорит он). В срок выходят и доставляются подписчикам газеты и журналы. Книжные издательства выполняют свои планы. Работают театры и кино, правда, зрительные залы обычно заполняются наполовину; но это не из-за недостатка публики, а для безопасности, на случай возможных налетов. После тревоги зрители, как правило, возвращаются обратно в зал, и фильм или спектакль смотрится до конца. В Ханое сейчас идут советские фильмы, в драмтеатре поставлена «Барабанщица» Афанасия Салынского.

— У нас тоже проходят Горьковские торжества,— добавляет он,— мы приурочили к этой дате специальные издания и публикации в прессе, организуются юбилейные собрания и чтения...

Он подчеркивает, что возросшая мощь противовоздушной обороны республики (увеличение числа зенитных и ракетных дивизионов, рост истребительной авиации) позволяет обеспечить функционирование экономики.

— У нас теперь даже ребята узнают по звуку ваши МИГи,— говорит То Хоай,— а действенность советских ракет, которые народ окрестил «огненными драконами», может удостоверить любой крестьянин. Все у нас понимают: в том, что число сбитых стервятников близится к 2900, есть значительная доля труда советских людей и вашего опыта...

Мы спрашиваем, доводилось ли ему видеть сбитых американских летчиков?

— Конечно,— говорит То Хоай.— Правда, у нас, в Союзе писателей, самый крупный эксперт по этой части — ваш давний знакомый Нгуен Туан. Он написал об «ощипанных» асах целую книжку. Но я тоже видел немало сбитых американских пилотов.

То Хоай рассказывает, что вне своих сверхзвуковых машин американские летчики выглядят довольно жалко. Потрясает скудость их духовного и морального мира. Это люди, как правило, не читающие ничего, кроме детективов. Их мозги устроены наподобие кассового автомата, единственное, что их интересует, это деньги: оплата, полетные, наградные.

— Я думаю,— говорит То Хоай,— что это самая позорная форма разрекламированного американского практицизма.

Разговор переходит на литературные темы. То Хоай подчеркивает, что литература Вьетнама едина, как народ, как его язык. Особенно отрадным, по мнению То Хоая, фактором является рост прогрессивной литературы Юга. Там появляется все больше интересных имен как в поэзии, так и в прозе. Не только в освобожденных районах, но и на временно оккупированной врагом территории выходят газеты и журналы, посвященные искусству и литературе. Издательство «Освобождение» печатает много книг, которые читают даже в Сайгоне. Неизмеримо выросла читательская аудитория. Успехом у нее пользуются не только книги писателей-патриотов Юга, но и попадающие в Южный Вьетнам произведения, созданные в ДРВ. В свою очередь, поэзия и проза Юга, переиздаваемая у нас, в Ханое расходится массовыми тиражами и находит самый горячий прием у читателей.

— Разумеется,— говорит То Хоай,— идет процесс не только взаимного читательского ознакомления, но и серьезного литературного взаимовлияния. Мы считаем это очень важным обстоятельством...

Он рассказывает далее, что руководство Национального фронта освобождения старается создать благоприятные условия для работы писателей. Литераторы, находящиеся в рядах Освободительных войск, время от времени получают возможность перебраться в какое-нибудь «укромное» место, обработать собранный материал, посидеть над книгой — иногда даже два или три месяца.

— Я слышал,— сообщает То Хоай,— что у них даже есть, если можно так выразиться, подземные «дома творчества»...

Если в прогрессивной литературе Юга,— подчеркивает наш гость,— ведущая тема — война, то у нас, в ДРВ, таких тем две — война и социалистическое строительство. Причем, мы уверены, что показ созидательного труда народа, становления и формирования новой жизни не менее важен, чем отображение всенародного ратного подвига. Мы отстаиваем завоевания социализма и намерены развивать их и далее. Подведению итогов четырехлетнего пути, пройденного нашей литературой и искусством после разбойничьего нападения американских империалистов, и был посвящен проходивший у нас в начале года Съезд деятелей культуры Демократической Республики Вьетнам...

То Хоай делится своими впечатлениями о съезде, которому предшествовала широко проводившаяся по всей стране творческая дискуссия. Делегаты съехались отовсюду. Добирались кто как мог. Например, из Винь-линя, что на самой 17-й параллели, люди приехали на велосипедах. Дорога отняла у них 8 дней, но там на автомашине не везде проедешь, да и ходят они только по ночам. Съезд собрался в зале городской библиотеки на Чанг-техи, одной из центральных улиц Ханоя. В работе съезда приняла участие делегация Освободительной ассоциации литературы и искусства Юга.

— Конечно,— усмехается То Хоай,— было предусмотрено все, включая убежища для делегатов. Между прочим, во время налетов, а они случались неоднократно, прения «переносились» под землю. Надо отдать должное нашим ракетчикам, они постарались, чтобы вынужденные перерывы отняли у нас как можно меньше времени...

В том, что касается литературы,— рассказывает То Хоай,— съезд пришел к выводу, что военная тема разрабатывается глубже и интереснее, чем тема строительства и труда. Было решено сделать все возможное, чтобы ликвидировать такой перекос, стимулировать интерес писателей к этой теме (будут созданы выездные писательские бригады, проведены конкурсы и т. п.), а также шире освещать ее в периодике и книжных публикациях. Разумеется, в центре внимания литераторов по-прежнему будет и военная тема, и тема Юга. На съезде было принято решение о создании печатного органа Союза писателей — ежемесячного толстого журнала. Еженедельник «Литература и искусство» (орган Ассоциации), журналы «Литература» (орган Института изучения литературы) и «Литература и искусство армии» будут, разумеется, выходить как и прежде.

Мы думаем,— сказал То Хоай,— что издание журнала будет способствовать дальнейшему росту нашей литературы и притоку в ней молодых одаренных писателей... Все бы хорошо,— смеется он,— но, поскольку редактором журнала решено назначить меня, боюсь, что бремя постов и обязанностей согнет мои слабые плечи...

Он отмечает, что Союз писателей будет иметь также свое издательство. Большое внимание уделено было вопросам работы с молодежью. Союз писателей в скором будущем откроет Литературные курсы, заведывать ими будет Нгуен Динь Тхи, а преподавать творческие дисциплины будут ведущие писатели и поэты. Первоначально программа обучения на курсах будет рассчитана, очевидно, на год или два, впоследствии же планируется преобразовать их в высшее учебное заведение типа Института им. Горького в Москве. Говоря о творческих итогах съезда, То Хоай сообщил, что скоро выходят три антологии, охватывающие четыре военных года, по жанрам прозы, поэзии и публицистики, в которых будут собраны лучшие произведения этих лет.

То Хоай рассказал о своем романе «Запад», посвященном жизни народности мео, живущей в горах на границе с Лаосом.

— Я хотел показать,— сказал То Хоай,— как наши соотечественники мео становятся на защиту нового строя, отвергая заигрывание и посулы американских «благодетелей», орудующих в Лаосе, и прогоняя засылаемых туда диверсантов. В центре романа судьба молодых влюбленных.

Писатель поделился своими творческими планами, пересказав содержание сценария, над которым сейчас работает. Герои его — рабочие ханойской электростанции.

— Эти люди — герои не только в литературоведческом, но и в буквальном смысле слова,— продолжал он.— Вот уже который год американцы бомбят электростанцию, но столица ни разу еще не оставалась без света. Ополченцы электростанции сбили три самолета, один из летчиков упал с парашютом прямо в Западное озеро, рядом с харчевней, где пьют пиво с знаменитыми лепешками из креветок. Но испортить нам аппетит ему не удалось.

Завершая свой рассказ, То Хоай сказал, что сейчас народ Вьетнама, одержавший столько славных побед на военном и трудовом фронтах, как никогда полон уверенности и оптимизма. Эта уверенность в будущем и оптимизм свойственны и литературе Вьетнама.

— Мы дорожим нашей дружбой с советскими писателями, с писателями всех стран социализма, со всеми честными литераторами мира,— сказал в заключение То Хоай.— Мы будем развивать наши творческие контакты. И я, как будущий редактор нашего «новорожденного» писательского журнала, надеюсь, что он найдет в лице «Иностранной литературы» снисходительного и доброго брата...

М. ТКАЧЕВ

ИЗДАНО В СССР

ОКТЯБРЬ В СЕРДЦАХ БОЛГАР

Братья. Октябрь в сердцах болгар. Стихи и рассказы. Переводы с болгарского. Составители: Владимир Голев, Камен Калчев, Йордан Радичков, Здравко Сребров. Предисловие Георгия Караславова. Под редакцией М. Зенкевича и А. Собковича. Москва, «Прогресс», 1967. 536 стр.

«Без Октябрьской революции человеческая культура сегодня выглядела бы столь холодной, пустой и зловещей, какой была бы земля, если б ее лишили живительных лучей солнца»,— написал как-то болгарский поэт Веселин Андреев.

Эти слова невольно вспоминаются, когда окидываешь мысленным взором всю ту поистине колоссальную литературу, которая была порождена в Болгарии русской революцией. О любви и признательности к Советскому Союзу, о преданности бессмертным идеям Октября болгарскими писателями созданы стихотворения, поэмы, рассказы, повести, романы, пьесы. Как справедливо пишет в предисловии к сборнику «Братья» Георгий Караславов, «всю болгарскую художественную литературу буквально пронизывают идеи и оптимизм Октябрьской революции». И это естественно. Болгарские писатели связаны со своим народом, хранящим глубоко в сердце любовь к России, вместе с тем они воспитаны на возвышенных идеалах русской литературы, ее демократичности и гуманизме. Существенно также и то, что, вдохновляя несколько поколений болгарских писателей, тема Октября для каждого поколения давала новый материал и каждое поколение подходило к этой теме с чем-то новым.

Сложность работы составителей сборников об Октябре заключалась не только в том, чтобы из обилия стихотворений и рассказов выбрать очень и очень немногое,— сложность состояла в том, чтобы, знакомясь с этим немногим, русский читатель сумел получить представление о богатстве болгарской литературы.

И надо сказать, что произведения, включенные в сборник, такое представление дают. В нем опубликованы стихи и рассказы во всех отношениях хорошие и весьма и весьма разные. Разность эта — результат того, что авторы сборника — люди различных возрастов, имеющие различные склонности, различные таланты. Произведения эти разные и потому, что создавались они на протяжении полувека и соответственно несут на себе печать своего времени. И здесь может возникнуть вопрос: а не более ли выразительную картину получили бы советские читатели, если бы в сборнике был принят хронологический, а не алфавитный, как теперь, порядок расположения материала?

В произведениях 20-х годов, например, преобладает эмоциональное восприятие Октябрьской революции, в дальнейшем же появляется новое, более зрелое ее осмысление. Для писателя 40—60-х годов она становится не только залпом «Авроры» и взятием Зимнего, она ощущается им во всех проявлениях, во всех ритмах окружающей жизни, в постоянном и непреодолимом движении вперед.

Тема Октября связывается теперь и с темой болгарской истории до освобождения страны («Внуки» Доры Габе, «Русским братьям» Николая Марангозова), и с темой счастливой жизни будущих поколений («История» Димитра Василева, «Предыстория» Любомира Левчева), и с гордостью за

советскую страну — страну первооткрывателей космических путей («Мать и космос» Ивана Бурина, «Новая звезда» Асена Босева).

Составители сборника сосредоточили внимание на стихотворениях и рассказах об Октябрьской революции, рисующих духовный облик современного человека, рисующих изменения, происшедшие в его жизни и психике. Наиболее показательны в этом смысле рассказы «Жара» Стояна Ц. Даскалова и «Сердце бьется для людей» Йордана Радичкова.

Естественно, что в таких произведениях немалую роль играет образ коммуниста: ведь речь идет о духовной перестройке человека под воздействием идей коммунизма. И мы можем проследить эволюцию нашего героя от рабочего с неосознанной, стихийной классовой приверженностью до современного руководителя, вооруженного всеми знаниями законов развития общества, открытыми марксистско-ленинской наукой.

В сборнике много стихотворений о Ленине, есть произведения, посвященные вождям болгарского рабочего движения Димитру Благоеву и Георгию Димитрову («В продымленном шахтерском городе» Ангела Каралийчева и «Курьер» Серафима Северняка). Многие рассказы сборника говорят о трудовых буднях Болгарии, о великой работе по преобразованию родины, о строительстве новой жизни.

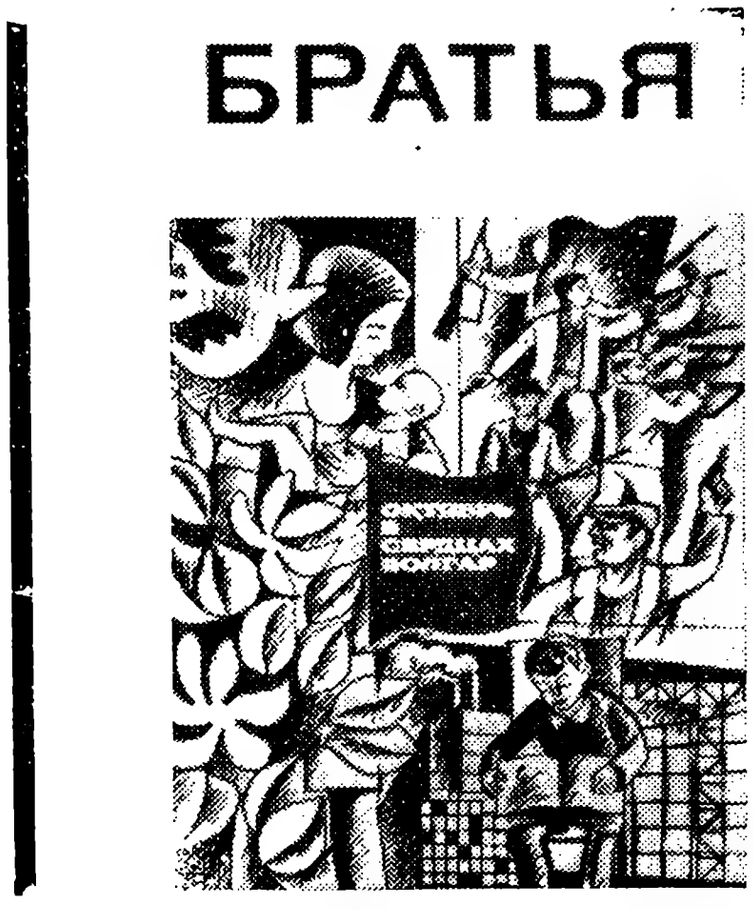
О чем бы ни рассказывали произведения, составляющие сборник, они все пронизаны любовью к советским людям, к советской стране.

Отобрав для сборника 55 стихотворений и 38 рассказов (88 авторов), составители сумели соединить под одной обложкой лучшие произведения болгарской литературы, посвященные Октябрю, и в то же время избежать — почти неизбежных в подобных случаях — повторов тематически близкого материала. Бесспорно, что составительская работа для Владимира Голева, Камена Калчева, Йордана Радичкова и Здравко Среброва являлась не только почетной обязанностью, но и делом любящих сердец. Иногда, правда, не находя в сборнике некоторых известных имен (например, Крума Кюлявкова, Асена Разцветникова, Алеко Пламенова, Добри Жотева), испытываешь огорчение, однако понимаешь, что какие-то пробелы в такой обширной работе неизбежны. Жаль, что нет в сборнике «Молитвы к революции» Веселина Ханчева, «Октября» Богомила Райнова, «Октября» Николы Фурнаджиева и др. Впрочем, все это ни в коей мере не может умалить того значения, которое будет иметь сборник для знакомства советских читателей с болгарскими стихами и рассказами, посвященными Октябрю.

Из уже имеющихся переводов для сборника были выбраны лучшие, большинство же вошедших в него произведений переводилось впервые, причем были привлечены переводчики, уже зарекомендовавшие себя работами над болгарскими текстами.

Читатели журнала «Иностранная литература» уже знают о трех сборниках, посвященных Октябрьской революции, которые были выпущены нашими болгарскими друзьями в Софии. (См. статью болгарского критика Ивана Ружа в № 3 журнала за 1968 год.) Думается, что, как и эти книги, сборник, выпущенный издательством «Прогресс» и являющийся совместной работой болгарских и советских литераторов, внесет свой вклад в укрепление и раззитие связей между советской и болгарской литературами.

А. ОПУЛЬСКИЙ



ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ

Джакомо Леопарди. Лирика. Переводы с итальянского Анны Ахматовой и Анатолия Наймана. Предисловие и примечания Н. Томашевского. Москва, «Художественная литература», 1967. 130 стр.

Первые, во многом еще ученические, канцоны «К Италии» и «К памятнику Данте» Леопарди посвятил Винченцо Монти. Приблизительно тогда же (канцоны были изданы в 1819 году) или несколько позже поэт писал в своем дневнике «Zibaldone di pensieri» (буквально: «Смесь мыслей»): «...нет больше Гомера, Данте, Ариосто; короче говоря, Парини и Монти прекрасные поэты, но они лишены каких бы то ни было недостатков».

О недостатках самого Леопарди как поэта в течение многих лет говорилось больше, быть может, чем о его достоинствах. В русской критике за ним однажды и надолго утвердилось звание «отрицателя жизни и певца смерти»; в одной из двух, если не

ошибаюсь, монографий, посвященных поэту в России (М. Ватсон. Джакомо Леопарди. Критико-биографический очерк. С.-Петербург, 1908). черным по белому написано: «...Леопарди не был и не может быть очень популярным (где? в Италии? в России? — *Е. С.*) уже по самой сути своего беспросветного пессимизма. Не был он также и истолкователем национальных чувств своего народа, и немало найдется писателей и более симпатичных, и более близких нам, чем Леопарди».

Насколько симпатичен и близок им Леопарди, читатели нашей страны смогут судить теперь не по такого рода сентенциям, не понаслышке, не по устаревшим переводам, а по образцам лирики поэта, в мир которой их вводит серьезная, талантливо написанная вступительная статья Н. Томашевского, справедливо завершающего анализ поэтики Леопарди следующим образом: «Сейчас вовсе не важно, романтиком ли был Леопарди или классиком. Важно, что поэзия его пережила все литературные распри. Сегодня он один из самых читаемых итальянских поэтов».

Биография Леопарди не богата эффектными событиями. Из тридцати девяти лет жизни почти тридцать лет он провел в ненавистном ему городке Реканати, где, кроме книг из отцовской библиотеки, у него не было друзей и единомышленников. Разногласия с отцом, человеком крайне консервативным, натянутые отношения с матерью, неудовлетворенная жажда любви — все это не могло не сказаться на мироощущении будущего поэта. Ранняя инвалидность — результат утомительных бдений над книгами и манускриптами — усугубила душевные страдания Леопарди, не способствовала становлению деятельного характера.

В канцоне «К Анджело Маи» (1820 год), приветствуя открывателя рукописей Цицерона, Марка Аврелия, Симмаха и других древних авторов, Леопарди перебирает — начиная с Данте и кончая Альфьери — имена своих великих соотечественников: «живые спят», и поэт, призывая Анджело Маи «воскрешать мертвых», и сам воскрешает их. В пору работы над патриотическими канцонами Леопарди искренне верит в действенность поэзии, но, не видя желанных изменений в жизни Италии, «госпожи», низведенной до положения «служанки», и ничего или почти ничего не зная о тех, кто активно борется за такие изменения (например, о карбонариях), он теряет со временем веру в возможность добиться чего-либо и избранным им «мирным путем».

Между 1822—1828 годами Леопарди почти не пишет стихов. Но он по-прежнему не расстается со своим дневником, где с набросками будущих стихотворений соседствуют философские рассуждения о природе зла, о превратностях человеческой судьбы, где мысли о литературе чередуются с сугубо дневниковыми записями. В «Моральных сочинениях», изданных в 1827 году, Леопарди предстает перед читателями автором с уже сложившимися философскими воззрениями — тем самым теоретиком «мирового зла и страдания», который мешал многим биографам писателя стать подлинными исследователями его литературного наследия, мешал им оценить, в частности, и «Моральные сочинения» — один из самых высоких образцов итальянской прозы, художественными достоинствами которого восхищались Мандзони и Томмазео.

Ни занятия философией, ни текстологические изыскания, ни переводы, ни отроческая «История астрономии», ни филологические работы не принесли Леопарди той славы, которую дали ему два прижизненных издания «Песен». Поэзия Леопарди потому и не умирает с годами, что поэзия эта — исповедь души, одинаково чутко реагировавшей на внутренние и на внешние «раздражители», души одинокой и неприкаянной, подкупающей своей искренностью, одержимостью, ранимостью, в которой нет, однако, ничего от ущербности.

Нового, русского Леопарди (последний раз его стихи выходили в нашей стране отдельным изданием в 1908 году) на родине поэта ждали с неменьшим нетерпением, чем у нас: несколько лет назад А. Ахматова, говоря о своих творческих планах при вручении ей в Италии литературной премии «Этна—Таормина», сказала, что она будет переводчиком «Песен». И вот они зазвучали по-русски, эти песни, зазвучали по-ахматовски лирично, божественно, как сказали бы итальянцы, издревле сопровождающие имена и творения лучших своих поэтов эпитетом «божественный»:

И ты еще ни разу не могла
Себе представить то, что ты сама
Внушала мне, Аспазия. Не знаешь
Безмерности любви, ужасных мук,
Порывов несказанных тщетных грез,
Тобой во мне зажженных. И вовеки
Не поняла б ты это. Точно так
Не знает музыкант, что он рукой
Иль голосом волшебным вызывает
Во внемлющих ему...

(«Аспазия»)

Патриотические канцоны Леопарди представлены в книге канцоной «К Италии», стихотворением, которое особенно ценил Мандзони. Переводя «К Италии», Ахматова прежде всего должна была решить для себя проблему передачи сложной, искусственно звучащей по-русски формы итальянской канцоны:

O patria mia, vedo le mura e gli archi
e le colonne e i simulacri e l'erme
torri degli avi nostri,
ma la gloria non vedo,
non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi
i nostri padri antichi. Or fatta inerme,
nuda la fronte e nudo il petto mostri.
. . . . . .

Несколько изменив строфику оригинала, сблизив рифмы, подчас разделенные в подлиннике барьером из трех стихов, Ахматова воспроизвела торжественно приподнятую тональность итальянского текста, но при

этом сделала его чуть раскованнее, отчего автор, заговоривший по-русски, не обрусел, как не обрусел он и в переводе стихотворения 1833 года «К себе самому», где итальянскому размеру, близкому к ямбическому (Or poserai per sempre, stanco mio cuor. Perì l'inganno estremo...), переводчица предпочла разнократный амфибрахий, подсказанный ей всем горестным ладом этого небольшого сочинения, которое хочется привести полностью как образец глубокого проникновения в мир чувств поэта, умершего в один год с Пушкиным:

Теперь ты умолкнешь навеки,
Усталое сердце. Исчез тот последний обман,
Что мнился мне вечным. Исчез. Я в раздумиях ясных
Постиг, что погасла не только
Надежда, но даже желанье обманов прекрасных.
Умолкни навеки. Довольно
Ты билось. Порывы твои
Напрасны. Земля недостойна
И вздоха. Вся жизнь —
Лишь горечь и скука. Трясина — весь мир.
Отныне наступит покой. Пусть тебя наполняют
Мученья последние. Нашему роду
Судьба умереть лишь дает. Презираю отныне,
Природа, тебя — торжество
Таинственных сил, что лишь гибель всему предлагают,
И вечную тщетность всего.

Русский «дубляж» «Палинодии», в котором сатирические стрелы Леопарди ни в какой степени не утратили остроты и точности полета, показывает, насколько полным было перевоплощение Ахматовой в пору работы над «Песнями». Поэтическая речь воспроизведена здесь в ее свободной первозданности, и читатель верит каждому слову, каждой инверсии, верит всему, как будто нет посредника между ним и автором, формулирующим, например, свое отношение к газетам:

Средь движущихся чашек, среди ложек
Мелькающих блеснул моим глазам
Недолговечный свет газеты. Тотчас
Мне стало ясно общее довольство
И радость жизни смертного. Я понял
Смысл высший и значение земных
Вещей, узнал, что путь людей усыпан
Цветами, что ничто не досаждает
Нам и ничто не огорчает нас
Здесь на земле...

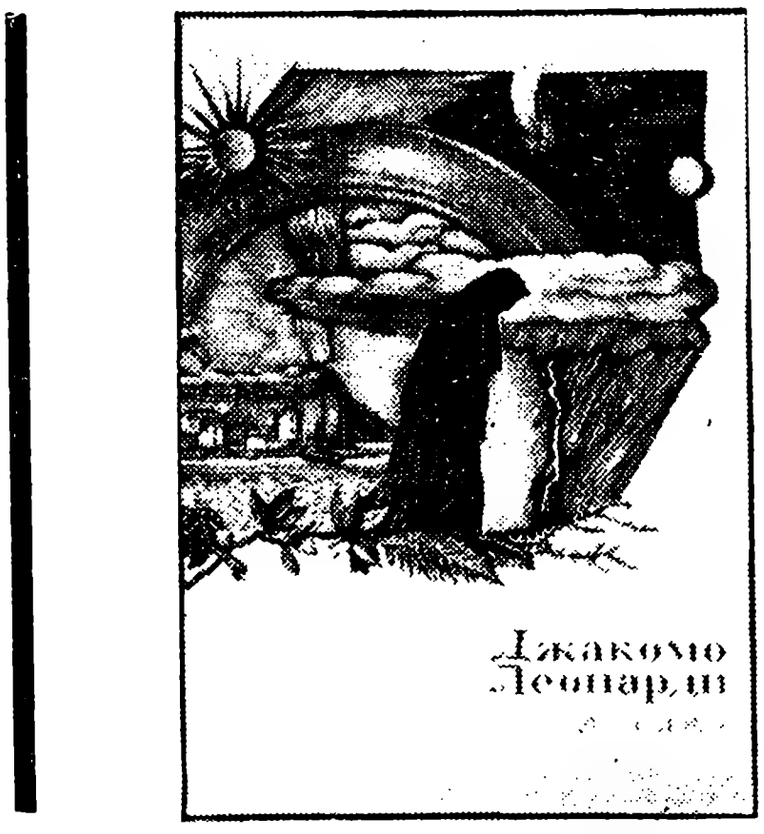
Ахматова перевела двенадцать песен — ровно половину (по названиям) того, что составило книгу. И можно только позавидовать А. Найману, переводчику другой половины сборника, имевшему возможность выверять каждый собственный шаг по свободной поступи своего старшего товарища и соавтора. А. Найман не пренебрег этой счастливой возможностью: он безоговорочно принял ахматовскую форму канцоны Леопарди, он равнялся на переводы Ахматовой при выборе русских эквивалентов лексики Леопарди. И если А. Найману в чем-то не повезло, так это в том, что, в отличие от Ахматовой, он не читал, не мог прочесть Леопарди по-итальянски и в ряде случаев его ввел в заблуждение, скорее всего, подстрочник (в стихотворении «Вечер праздничного дня» А. Найман, например, заставляет поэта «опускать крылья», тогда как речь идет не об опущенных крыльях, а всего-навсего о мятой подушке («premea le piume»); в «Уединенной жизни» Леопарди говорит о природе, когда-то (un giorno) более милостивой к нему, а переводчик как бы заменяет неопределенный артикль перед словом «giorno» на определенный и это «когда-то», «некогда», «однажды» превращает в «день», то есть во время суток).

Жаль, что в книге нет лучшей из патриотических канцон Леопарди «К Анджело Маи», что нет в ней «Брута-младшего»... Впрочем, теперь, когда начало положено, выход у нас «Песен» в полном виде дело уже, очевидно, не столь далекого будущего.

Приятно отметить появление в Италии первых отзывов на новое русское издание Леопарди — сообщение В. Бранка в «Корьере делла сера» о выходе книги и обстоятельную рецензию на нее известного специалиста по русской и советской литературе Э. Ло Гатто в «Стампе».

Уже после смерти Ахматовой мне довелось передать Ло Гатто, с которым Анна Андреевна была дружна на протяжении более тридцати лет, ее последнюю книгу стихов с автографом, сделанным в больнице за несколько дней до смерти. И я хочу закончить эту рецензию как бы ответным даром Э. Ло Гатто — его высокой оценкой одной из последних работ Ахматовой, ее перевода лирики Леопарди: «Совершенство формы, достоверность тона у Ахматовой абсолютны, и достойная похвалы заслуга Наймана в том, что он сумел удержаться на этом высоком уровне. Итальянскому читателю, знающему русский язык, радостно вновь прочувствовать духовную и поэтическую гармонию Леопарди в этих стихах, о которых русский читатель едва ли скажет, что они — плод усилий переводчиков».

ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ



ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В ПОИСКАХ ОСОЗНАННОГО ВРЕМЕНИ

Aragon. Blanche ou l'oubli. Paris, Gallimard, 1967.

Не так давно многотомный цикл Арагона «Реальный мир» завершился эпопеей «Коммунисты» в новой редакции. Вышли и два романа: «Гибель всерьез» (1965) и новый — «Бланш, или Забвение» (1967). Оба они — этап смелых и знаменательных исканий Арагона-прозаика. «Подобно Эдипу,— говорит Арагон в новом романе,— я вновь и вновь мерил себя мерою величия времени» и вспоминает в этой связи слова Гёльдерлина о «поисках сознания»...

Стойкость памяти народной, уважение к революционным свершениям века питают веру в будущее. Тверда память людей и тогда, когда они отказываются похоронить в холодных далях прошлого преступления против человечества. Иное дело — индивидуальное сознание: оно не всегда способно сопротивляться коварству забвения, то есть силе, которая пробует вымыть прошлое из всех уголков памяти, так что иной раз может стереть грани великого и малого, светлого и темного. Эти процессы Арагон показывает как противоборствующие — в истории, в психологии, в морали. Торжествует память, верность великим идеям и «великим страстям», из коих сильнейшая — страсть к правде. Так можно резюмировать общий смысл романа выдающегося французского писателя-коммуниста.

Как и «Гибель всерьез»,* новая книга не принадлежит к жанру автобиографической прозы. На протяжении более чем 500 страниц нас настойчиво и не без лукавства просят не доверять внешним совпадениям. Зная нашу читательскую слабость, отмеченную еще Пушкиным,— «влюбляться в обманы», творимые романистами, Арагон любит исподволь сближать портреты своих вымышленных героев с неизвестными нам оригиналами, рассказать о не существовавших никогда встречах, как о достоверных, словом, посеять какую-нибудь психологическую или сюжетную иллюзию и затем опровергнуть. Вместе с тем этот роман, вылепленный слишком знакомой рукой, то и дело выдает «секреты» своего происхождения, свою творческую историю. Так в самой ткани повествования объективно складывается *автобиография романа*, неразрывно связанная с общественной биографией автора.

Наш читатель, помнящий признание Толстого: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней и вышла Наташа», знает, сколь много требуется чистого вымысла, чтобы столкновение идей, фактов, доподлинно существующих в жизни, воплотилось в образы людей и дало искру *художественной* достоверности. Наконец, чтобы понять активнейшую роль автора в происходящем на сцене — его иногда хочется назвать автором-персонажем,— надо учесть, что Арагон, видный теоретик реализма во Франции, не перестает им быть, когда пишет романы. Отсюда, как нам кажется, тенденция Арагона к раскрытию авторской позиции вообще, в данном случае *своей* позиции. Он четко отмежевывается от объективизма, любит показать, что писатель все делает «нарочно». «Беспристрастие,— пишет он в «Бланш»,— равносильно бесцветности». Для прояснения своей авторской позиции Арагон не удовлетворяется обычными источниками света; он «подсвечивает» свой роман такими шедеврами, как «Саламбо», «Воспитание чувств», «Пармская обитель», «Гиперион», напоминает о позиции их авторов — Флобера, Стендаля, Гёльдерлина,— в общем создает целую зеркалящую мозаику, в которой можно разглядеть лица и ситуации литературы XIX века. Но и современный роман «работает» в этом смысле на Арагона; особенно это относится к роману Эльзы Триоле «Луна-Парк».

Внимание к авторской позиции не имеет у Арагона ничего общего с так называемым самовыражением как некоей целью или отправной точкой творчества. Напротив. Он высмеивает критиков, которые запомнили броскую фразу Флобера «Госпожа Бовари — это я», и, начитавшись переписки, накладывают его судьбу на биографию его героини, а «Саламбо» понимают как самоуслаждение жестокой экзотикой Африки древних времен. Арагон выделяет в «Саламбо» — и вводит в свой роман — образ ливийского солдата-повстанца Мато, у которого вырвали сердце, посмевшее переполниться свободолюбием и страстью к высокородной карфагенянке.

Описав казнь Мато, «гиганта, обреченного на муки», Арагон представляет себе разгневанного Флобера в интервью с теми современными газетчиками, которые не так давно смаковали садистское убийство вольнолюбивого африканского лидера Бен-Барки. В качестве эпиграфа к одной части книги Арагон берет незабываемые слова Флобера: «Трудно представить себе, в какой глубокой печали нужно было пребывать, чтобы написать произведение, подобное «Саламбо». Но и это признание — не симптом самовыражения! Недостаточно сказать, что писатель печален. Нужно спросить себя — как Арагон,— «каков аромат печали». У Флобера, чуждого пресловутому культу страдания, особенно собственного страдания, аромат этот — гневен. И Арагон противопоставляет Флобера писателям, которые под видом нектара чистого искусства потреб-

* См статью А. Пузикова «История и современность», опубликованную в «Иностранной литературе» № 12, 1966 г.

ляют «препарированную ими гнусную пищу» низменных чувств.

В отличие от Флобера Арагон выбирает фон для своей книги в самой современности, в картинах жизни и борьбы Вьетнама, Индонезии, Африки, попеременно возникающих в романе. Это-то и дает широкое звучание образу героя... Знаменательное восхождение к традиции антифашистского романа! Тогда, в 30-е и 40-е годы, обращение к борьбе испанского народа, антифашистов Германии, французских антифашистов было тем Карфагеном, то есть историческим «контекстом событий» (Арагон), который помог возникновению в антифашистской литературе героики Генриха и Томаса Маннов, Хемингуэя, Лиона Фейхтвангера. Арагон полемизирует с модными попытками возместить ничтожность контекста событий изощренным подтекстом, который превращает даже злободневность в инвентарь второстепенных происшествий. «Позвольте,— иронизирует Арагон,— кто же был президентом Франции, когда разбились чьи-то два любящих сердца?» Для глубокого раскрытия драмы человеческих сердец, человеческого удела нужна подлинная злободневность. И Арагон — как Хемингуэй и Кольцов — проводит своего героя по переднему краю войн и лагеря мира.

«...Если вы хотите, чтобы я непременно сказал, почему все приводит к этой профанации человека, к истязанию его плоти, к чудовищному ликованию убивателей, ах, лучше бросьте, бросьте эту книгу... Посмотрите на современный мир в этот час рождественского перемирия во Вьетнаме, час безмерной в своей лживости доброты, которая лишь для того позволяет перевести дух, чтобы прежние ужасы сменились новыми... чтобы удобнее было терзать теми же руками... А что касается имени Мато .. то мы можем с тем же правом называть его Человек». Голоса писателей перекликаются через столетия. «Писатели во множественном числе... Я уже не знаю, кто я, кто здесь говорит. Не знаю, где он говорит. Не знаю когда. Карфаген или Флобер. Круассе... Я — только что прочитал в позавчерашней газете телеграмму из Джакарты... Ее называли когда-то Батавией; никогда я не думал, что когда-нибудь в будущем выступит эта тяжелая слеза... Не мог бы вообразить себе отрезанные головы вдоль дорог... Может быть, я и эту Яву вообразил для того лишь, чтобы увидели там убийство ливийца Мато».

И в самом деле, поначалу кажется, что автор направил своего героя, молодого ученого-лингвиста Жоффруа Гефье на Яву только потому, что тот посвятил себя изучению тамошних диалектов. Но затем контекст расширяется, идут годы; автор заставляет Жоффруа привести в движение чудесный механизм памяти, и после монументального пролога возникают картины современности. И только тогда становятся до конца ясными и арагоновская Ява как один из очагов национально-освободительного движения, и образ непокоренного ливийца, встающего рядом с теми, кто сбросил колониальное иго.

Итак, молодой ученый Гефье вскоре после первой мировой войны применяет свои знания в Лотарингии: влюбленный в поэзию языкового творчества, он приглядывается и к исканиям сюрреализма; кстати, сейчас ему ясно — замечает автор,— что были в его молодости вещи и поважнее для него, например, восстание в Марокко. В дальнейшем история героя расширяется именно за счет таких «марокко», то есть за счет событий революционных. Структуру романа определяют моменты, в которых сконцентрированы гигантские сдвиги сознания; одним из символов таких сдвигов становится фильм «Броненосец «Потемкин»: его запрет в Париже сплотил в протесте парижских пролетариев и самых искушенных интеллигентов; по ходу раскрытия темы Арагон отмечает, что есть люди, которые хотели бы воспользоваться стихией забвения для того, чтобы отодвинуть в нашем сознании историю, породившую фильм Эйзенштейна, заставить забыть СССР и «не обмолвиться даже словом о том, что происходит там, в СССР». Дальнейшее показывает, что заставить забыть все это невозможно. Коммунисты остаются в авангарде: Испания, демонстрации Народного фронта в Париже, герои Сопротивления; «великий исход» летом 40-го года сводит где-то в Периге парижских интеллигентов, писателей, партийных активистов; в каком-то гостеприимном замке, где обитают друзья передового искусства, с нетерпением ждут, когда будет выпущен из тюрьмы французский коммунист Леон Муссинак, пропагандист революционного новаторства; с радостью встречают здесь бесстрашного связиста Садуля, влюбленного в Москву.

Эти незабываемые годы Жоффруа Гефье и его жена Бланш Отвиль (ее зовут так же, как героиню «Луна-Парка») пережили вместе. Жоффруа и Бланш сами были храбрыми подпольщиками Сопротивления. Об этом рассказывает приведенный в романе документ за подписью писателя Арагона, который был их боевым руководителем. Точно так же оба провели вместе немало лет в Индонезии. Но вот наступает конец 40-х годов, в Париже патриоты демонстрируют против прибытия американского генерала-интервента Риджуэя... На этой демонстрации Жоффруа был без своей Бланш. Они расстались. Сейчас, в 1966 году, когда читатель знакомится со знаменитым ученым Жоффруа Гефье, он уже целых 18 лет живет один, чудаковат, своими странностями обращает на себя внимание и студентов и коллег на международных симпозиумах. Как видим, история Жоффруа и Бланш вписана вся без остатка в контекст событий, но кое-где вписана иероглифами, то есть требует расшифровки, размежевания неповторимо личного и общезначимого для обоих. Чтобы проследить это, нужно присмотреться к средствам художественного раскрытия образов.

Нам уже приходилось отмечать синтетическую манеру Арагона-романиста. Он действует то по законам прозы, то смело пользуется приемами, казалось бы, неотъемле-

мыми от поэзии. С поэзией сосуществует и психологический анализ, для построения которого автор использует в качестве «сгущающих» концовок развернутые метафоры. Так, например, воссоздав фигуру Мато с ее героическим и лирическим ореолом, автор затем «передает» его вырванное сердце своему Жоффруа Гефье. Возникает иной образ, иная тема: «И вот оно перед тобой, это сердце... красное то ли от крови, то ли от закатного луча... сердце, которое ты увидишь без лжи... в ясном свете убывающего дня, это сердце, мое сердце, Бланш!»

В этом романе ничто не сводится к чисто личному или, употребляя терминологию Жоффруа, к «внутреннему языку». Если, скажем, разлука оказалась такой роковой для обоих, то, вероятно, и потому, что слишком значительны были пережитые вместе события, слишком часто сердца их наполнялись гневом в одно и то же мгновение. Тропами языка Жоффруа проникал в самую гущу борющегося народа Азии, он пробивался сквозь индонезийские джунгли и сквозь более страшную, чем джунгли, ложь колониальных чиновников, а иногда и сквозь наивность элегантных культуртрегеров. И это тоже переживалось вместе. Трудно было ему с его поэзией сближения с самыми далекими людьми осознавать отчужденность самого близкого человека и чувствовать свою за это ответственность.

Точку возникновения разрыва — вот что ищет Жоффруа Гефье. Ради этого он странствует, а то и просто мечется по дорогам Франции, ради этого заглядывает в книги и присматривается к дружбе Бланш с благородным индонезийским юношей, воспитанником Оксфорда; ради этого знакомится с молодой парижанкой Мари-Нуар и ее возлюбленным Филиппом.

Хотя Жоффруа настаивает на том, что единственная функция Мари-Нуар в романе — это функция сложного прибора, который Жоффруа наводит на душу Бланш Отвиль, это не совсем так; к удовольствию читателя, образ Мари-Нуар не просто психологический радар, он приобретает в книге самостоятельное значение. Мари-Нуар — современная французская девушка, способна увидеть, почувствовать и уважать многое, что составляет мир старшего поколения, хотя многое, и в частности кристальная непримиримость Сопротивления, ей не совсем доступно. Так или иначе она мечтает о настоящих чувствах, преодолевает «неприкаянность», свойственную многим ее сверстникам. Полюбив, она хочет стать матерью. Даже Филипп, легковесный парижский журналист, описанный с удивительным проникновением в мораль его среды, оказывается способным почувствовать взрыв «великой страсти». Своего ребенка он решает назвать Авнир, то есть будущее. Хотя история Мари-Нуар и Филиппа кончается катастрофой — погибает и мать и ребенок,— мы чувствуем: их трагедия — это дань прошлому.

В романе Арагона, чуждом приукрашиванию, есть и иные фигуры молодых. Вот эти барышни и кавалеры на пляже живут не будущим, даже не настоящим, а пребывают в полном забвении о времени, о человеческой жизни, да, в сущности, сами не чувствуют себя людьми. Чутьем языковеда и психолога Жоффруа нащупывает нравственное ядро их отвратительного жаргона. Ибо они объясняются осколками слов, полуживотным мычанием. Да, впрочем, нужен ли язык, чтобы решить, что приятнее в партнере, кого приятнее бить: того, кто разжигает драку агрессивностью, или того, кто демонстрирует свою человечность, а значит, «уступчивость». Кстати, о жаргоне: любопытно, что когда Филипп говорит Мари-Нуар: «Я люблю тебя», слова эти удивляют девушку. В ее среде, поясняет она Филиппу, эти слова произносят просто как условный знак, который подается тогда, «когда хотят, чтобы девушка разделась»... Деталь, кстати сказать, поясняющая, что Филипп и Мари-Нуар не изолированы от «звериица» на пляже. И в этом кроется, вероятно, причина их трагедии.

Опровергая модернистскую структуру конфликта поколений, Арагон прослеживает реальное движение истории: оно не находится в руках каких-то монополистов по возрастному признаку. Оно в руках народа. Умение правильно мыслить и остро чувствовать показано в образе самого Жоффруа как результат *воспитания чувств,* на которое затрачены немалые духовные силы французского народа. Да и не только французского. Виден в действии и сам Воспитатель, его растущее влияние. Чем больше вживается Жоффруа во вкус забвения, чем усерднее драматизирует силу старения, как, якобы, всепоглощающую,— тем острее разгорается спор времени с Жоффруа Гефье. Мы видим, что́ осталось нетленным в его жизни, о тленности коей он рассуждает довольно убедительно. Пусть страшно сознание исчерпания себя, пусть будущее с возрастом становится для отдельного человека малоубедительной утопией — философия забвения несостоятельна. Самые сильные образы в романе говорят об этом, о бессилии времени перед лицом бессмертия народа. Все тем же методом метафоры, методом поэзии Арагон утверждает эту мысль. Вот его притча о восемнадцатом июня 1966 года.

В ночь на 18 июня неожиданно перестал действовать огромный механизм говорящих часов Парижа. В это время на Ханой с невиданной жестокостью были сброшены бомбы.

«Я не могу забыть Ханой... На часах всегда четверть второго. В час с четвертью бомба остановила время Ханоя. В любой момент дня — четверть второго. Расколотое, как наручные часы, время под стеклом — четверть второго. Преступление, датированное этой трещиной на стекле. Это не дает мне спать... В телевизоре ребенок делает этот ужасный жест — затыкает себе уши, чтобы не слышать разрыва бомбы. И как он ни старается заткнуть уши руками, он слышит разрыв, это видно по его лицу... Похож ли Ханой на Дюнкерк? Я не знаю, каковы

краски Ханоя в июне, в июле... Быть может, цвета Батавии изменились после завоевания независимости». «Четверть второго. Еще только наступает рассвет, бледный, как ребенок, который затыкает себе руками уши». «Я знаю, если бы запечатлели на кинопленку мой безмолвствующий рот, немое шевеление губ, пока я пробегаю глазами по строчкам газет, можно было бы по этому движению расшифровать боль того города, который носит имя, подобное крику,— Ханой».

Образ этот — победы человечности над временем, образ, запрещающий забывать кровь Ханоя,— внутренне связан и с лирической темой. Хотя Бланш Отвиль далеко, Жоффруа делится прежде всего с ней чувствами и мыслями, которые родились в нем, когда безмолвствовало время, а телевизор напоминал об очередном чудовищном преступлении в Юго-Восточной Азии. Жоффруа вспоминает, что прежде в такие минуты они старались вместе осознать ужас преступлений, вместе склонялись над газетой, вместе вспоминали глупую и лицемерную декламацию американского деятеля в Индонезии, уверявшего, что его страна ни в чем непохожа на колониальные державы.

Где же, вопреки такой вот глубине духовной связи, прошла линия разрыва? Поиски приводят к одному моменту. К тому дню, когда Жоффруа обратил внимание на то, что Бланш Отвиль еще в Индонезии читала «Гипериона» и писала что-то в тетрадках, не делясь с ним ни мыслями о Гёльдерлине, ни тем, что она пишет.

Жизнь его была переполнена обожанием, ни с чем не сравнимым преклонением перед Бланш. И в то же время он начинает понимать, что был не только рабом своего кумира, но и сам пытался держать этот кумир «в плену». Не отсюда ли у него постоянный страх вызвать неприятное, даже неприязненное чувство? Трудно сказать, имеет ли в виду автор драму двух людей, у каждого из которых был свой творческий мир, свой «Гиперион», несклонный к сосуществованию, или речь идет просто о какой-то антиномии, о непримиримом противоречии между подлинно человеческой связью, связью двух борцов, и любовью, превращенной в религию. Так или иначе, мотив этот очень сильно звучит в романе и не может быть нами обойден. Наряду с неумолимо подробным «чертежом» конфликта, наряду с повторением одних и тех же диалогов, цитат, жестов, реминисценций из книг — так виртуоз в сотый раз повторяет гамму,— наряду со всем этим ясно видно *реальное* пластическое воплощение драмы. Уже не лабиринт повествовательных линий, слов и поступков, которые память то подсказывает, то вновь уступает забвению, а трехмерное ощущение «смятения чувств». Это совмещение реального и конструированного, симфонии и гамм лучше всего показано в сцене последней встречи Жоффруа и Бланш. Встреча эта призрачна, условно романтична: замок, грозные автомобильные гудки за его окном, выдающие нетерпение неизвестного соперника, который дожидается конца их свида-

ния... И с другой стороны, реальность: простой, трудный разговор — и, в подтверждение его реальности и важности, прядь седых волос, которая остается в руке Жоффруа после ухода Бланш и не позволяет настаивать на том, что встречи не было, что будто бы все промелькнуло ни к чему не обязывающим видением. Таким образом выход из лабиринта следует искать в реальном мире.

Последняя глава книги называется «Где Вы, господин Счастье?». На этот вопрос не может ответить Филипп, сам повинный в гибели своего счастья, но герой книги по сути отвечает так: адрес счастья неизвестен только тем, кто не умеет его искать.

В итоге перед нами не просто метафизический образ искателя неуловимого счастья. Арагон представляет нам совершенно определенный тип современного французского интеллигента, который всю жизнь шел бок о бок с борцами за счастье народа, за счастливую Францию. Адрес этого счастья — будущее, коммунизм. Правда, Жоффруа считает себя человеком не очень сведущим в политике, но с какой искренней тревогой, тревогой за будущее присматривается он к событиям сегодняшнего дня! Раздумывая об одной послевоенной демонстрации, он встревожен тем, что она менее внушительна, чем демонстрации Народного фронта. Тогда, вспоминает он, они шли «за нами», «мы увлекли их»... «Мы» — это коммунисты. Теперь эти люди, парижские обыватели, посидели немного у подъездов домов и тихо уходят, унося свои стулья. Им, по-видимому, нет дела до американского генерала, который гарцует по Парижу. Это наблюдение заставляет Жоффруа еще и еще раз вспомнить путь, пройденный коммунистами, вспомнить так, как если бы это был его собственный путь. А их трудности — его трудности. Он критикует ретроспективно, отвергает то, что казалось ему тактически ошибочным, полемизирует со своими друзьями-коммунистами, но прежде всего — с самим собой.

Поверхностный оптимизм теперь уступает место чувству бдительности, острой неудовлетворенности историей. По мнению героя, история слишком равнодушна к человеку и недостаточно усердно вращает свое колесо. Это не неверие, а нетерпение человека, прожившего долгую жизнь и пламенно желающего, чтобы еще до окончания этого века победили силы мира, прогресса.

Коллективность в поисках «осознанного времени» решительно раскрыта еще раз в последней строке романа: «To the unhappy crowd» — «Ко многим несчастливцам».

Фраза, написанная по-английски, звучит в противовес парафразе шекспировской строки «To the happy few» — «К немногим счастливчикам», которой кончается роман Стендаля «Пармская обитель».

Мы не случайно уделили внимание проблемам литературы, писательства в этой книге. Арагон не перестает вести битву за роман против покушений на него со стороны лженоваторов. Прибегая к помощи своих героев, он пишет о судьбах романа живо,

драматично. Роман сам становится одним из героев произведения, беседует с ними, как сонет Шекспира со своим создателем в известном стихотворении Пастернака. Очеловечивая роман, Арагон стремится убедить читателя в неувядаемом гуманистическом значении этого жанра. Роман — говорит он — есть то строение, тот дом, в котором мне, человеку, удобно жить, мыслить, делиться своими мыслями с другими людьми. Подчеркивается *незаменимость* романа для современного человека.

Другая проблема, не менее волнующая Арагона,— это ответственность писателя. Чем больше он рассуждает — он или Гефье — о том, насколько заслуживает доверия голос рассказчика, того, кто называется в романе «Я», тем более ясно, что самое заветное желание автора — довести свои мысли и чувства до читателя наиболее действенным способом. Мы, читатели, с волнением следим за размышлениями Арагона о героях и о рассказчике.

В заключение хочется сказать, что новейшая проза Арагона вызывает у читателя живой интерес. То, что говорилось выше о повторах различного рода, создает, конечно, трудности при чтении, но не может умалить общего впечатления. Даже такой нелегкий для читателя прием, как частое введение «второго голоса», будь то голос классиков литературы или живописцев, не уводит нас от жизни. Более того, самые отдаленные параллели, например, с образами живописи, Арагон проводит ради лучшего раскрытия остросовременных образов и проблем. Жертвы белого террора в Индонезии он сравнивает с фигурами итальянского мастера на картине, посвященной гибели святого Маврикия и его сподвижников; отнимая у церковной живописи ее тему, Арагон рассказывает, как солдаты, отказавшиеся изменить своему долгу, были казнены и как увековечил художник их подвиг: на картине они проходят перед своим военачальником, и каждый отдает ему свою отсеченную голову. Их образ никогда не умрет, как не умрут образы героических индонезийских коммунистов, чьи головы были положены врагами вдоль дорог...

Арагон один из тех современных писателей, кто непрерывно, не страшась трудностей и неудач, совершенствует крупные формы прозы. Он смело строит, пользуясь опытом эпоса и лирики, свою синтаксическую систему, систему межсловесных связей, смело подчиняет замыслу так называемый разговорный стиль. Мы чувствуем и «меру величия времени», и своеобразие голоса, об этом времени повествующего. Невольно вспоминается бетховенская симфония, где многоголосие говорило о революционной «соборности». В современном произведении эта черта воспринимается как монументальность искусства, развивающегося на путях коммунизма.

Б. ПЕСИС

ПИСАТЕЛИ О ГОРЬКОМ

Mit der Menschheit auf du und du. Schriftsteller der Welt über Gorki. Herausgegeben von Ralf Schröder. Berlin, Verlag Kultur und Fortschritt, 1968.

«То обратившийся с человечеством. Писатели мира о Горьком» — так называется книга, вышедшая в ГДР накануне горьковского юбилея.

Статьи, отзывы, речи, письма писателей разных стран сгруппированы по трем большим тематическим рубрикам. Первой части книги предпослан эпиграф из Томаса Манна: «От него исходило обновление, которое еще долго будет действовать». Вторая часть открывается словами Брехта: «Он даже писателей превращал в читателей». Третья часть — словами Эренбурга: «Он требовал от нас, чтобы мы не только продолжали, но и начинали». Всемирное значение Горького раскрывается в каждой из трех рубрик по-своему: в них идет речь о Горьком как новаторе мировой литературы, как о художнике предреволюционной и революционной России и, наконец,— о его влиянии на литературных современников.

Составитель книги литературовед Ральф Шрёдер проявил похвальную инициативу, постаравшись выйти за пределы привычного круга имен. Разумеется, здесь помещены все наиболее весомые, по большей части широкоизвестные у нас отзывы о Горьком, принадлежащие передовым писателям разных стран. В сборнике представлены не только зарубежные соратники Горького в прямом смысле слова, как Анри Барбюс, не только писатели в той или иной мере духовно ему близкие, как Джек Лондон или Лу Синь, или связанные с ним личной и творческой дружбой, как Ромен Роллан и Стефан Цвейг,— но и литературные деятели совершенно иного склада.

Мировое признание, которое получает большой мастер искусства, измеряется не одним лишь числом непосредственных последователей и учеников, не одной лишь поддержкой со стороны единомышленников. Не менее показательно и то встречное движение мысли, которое вызывает этот мастер у людей, идейно от него далеких.

С интересом читается, например, небольшая статья, написанная в 1928 году Максом Бродом, австрийским прозаиком, который ныне известен преимущественно в качестве биографа и душеприказчика Франца Кафки. «Я многое люблю в этом храбром художнике,— писал Брод о Горьком,— широту панорамы, охватывающей чуть ли не весь большой, открытый мир, честность в каждом слове, ясность контуров. Но что мне в нем особенно по душе, это свойство, глубоко заложенное в его творчестве,— доверие к людям». Брод отмечал редкостное умение Горького показывать духовное

пробуждение угнетенных и обездоленных. «Он больше всего любит рисовать момент перелома, когда горе озаряется внезапной, мучительной и все же несущей счастье вспышкой духа. Я благодарен ему, как мастеру, который верит в силу сознания и в движение вперед».

Андре Жид, апостол духовного аристократизма, человек эгоцентрической и больной души, был во многом, по сути своей, полярно противоположен Горькому; сближение Жида с прогрессивной литературой в половине 30-х годов оказалось преходящим — но все же заслуживает внимания и его свидетельство о том, что дали ему произведения Горького, в частности, книги автобиографического цикла: «Они позволяют нам войти в братское общение с людьми, которые столь резко от нас отличаются. Особая, первозданная поэзия и лиризм, полный горечи, пронизывают все повествование и, не отрывая его от действительности, высоко поднимают его над уровнем традиционного реализма».

Понятно, что в сборнике дана широкая трибуна соотечественникам Горького, наиболее непосредственным его соратникам и последователям. Среди авторов опубликованных здесь статей и писем — не только А. Фадеев, А. Толстой, К. Федин, Л. Леонов, К. Паустовский, Ф. Гладков, но и А. Блок, В. Вересаев, Б. Пастернак, И. Бабель, С. Третьяков. С интересом перечитывается давняя статья А. Платонова «Пушкин и Горький». Книга обогащает представление немецкой читающей публики не только о круге литературных друзей, почитателей, учеников Горького, но и о советской литературе в целом, о многообразии входящих в нее писательских индивидуальностей, из которых каждая или почти каждая соприкасается с Горьким, воспринимает его творческие принципы и заветы на свой собственный неповторимый лад.

Горький и русская революция — одна из главных тематических линий книги. Воздействие автора «Матери» на писателей других стран выходило далеко за рамки чисто художественных, творческих связей, как выходило и за рамки личных литературно-политических контактов. Через книги Горького зарубежные писатели приобщались к русской революционной действительности — это помогало им яснее разглядеть и движущие силы русской истории, и величие побед революции, и гигантские трудности, вставшие на ее пути. «Читая Горького,— утверждал Стефан Цвейг,— будущий историк найдет документальное доказательство тому, что восстание и восхождение России — дело рук самого народа... Эпопея Горького — не туманный миф о русской душе, а сама русская действительность, подлинная и неопровержимая». Об этом же писал Эрих Мюзам: «Он учит нас понимать суть и ход русской революции лучше, чем ученые объяснения и историко-революционные исследования».

Творчество Горького стало опорой и стимулом для зарубежных мастеров, которым хотелось обновить искусство слова сообразно запросам революционного века. Не зря тянулись к Горькому писатели-борцы, неутомимые искатели новых форм — Бехер, Брехт, Арагон,— их высказывания приведены в сборнике. Но составитель и тут не хочет ограничиваться свидетельствами единомышленников.

Слова «побратавшийся с человечеством», стоящие в заголовке сборника,— цитата из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус»*. Развернутое сопоставление Горького с Томасом Манном занимает центральное место в большой вступительной статье, написанной Ральфом Шрёдером. Это сопоставление включено здесь в широкий международный контекст. Оно дает масштаб, позволяющий измерить силу Горького — художника и мыслителя.

Казалось бы, что общего между сыном нижегородского мастерового и потомком любекских патрициев? Р. Шрёдер помогает увидеть общность. Она прежде всего — в тяготении к большому художественному синтезу. И Горький, и Томас Манн стремились осмыслить *эпоху как целое,* оба они еще на рубеже столетий ощутили тревожный ритм нового времени. В «Будденброках» и «Фоме Гордееве» по-разному реализуется тема нарастающего кризиса буржуазного строя: класс собственников не может жить по-старому.

И Горький, и Томас Манн опирались в своих обобщениях на громадное наследие мировой культуры. Пути их поисков порою скрещивались. В ранних сатирических миниатюрах Горького «О черте», «Еще о черте» встает пародийно переосмысленный образ Мефистофеля, который совращает модного литератора — и изобличает его ничтожность. Пройдет много лет — и новый демонический совратитель, обогащенный достижениями современного философского красноречия, вступит в хитроумно-жестокий диалог с композитором Адрианом Леверкюном...

Разрушение личности, как следствие кризиса, потрясающего самые основы капиталистического бытия,— общая большая тема, проходящая через статьи, рассказы, романы обоих столь непохожих друг на друга писателей. Именно в этом плане обнаруживается внутреннее родство двух интеллектуальных романов, новаторских по своей структуре — «Доктора Фаустуса» и «Жизни Клима Самгина».

Устанавливая точки соприкосновения, Р. Шрёдер вовсе не стремится во что бы то ни стало отыскать прямое влияние. Сдвиги в сознании Т. Манна, его путь от «Размышлений аполитичного» к активной, гражданской, антифашистской позиции, занятой им перед второй мировой войной, диктовались самою логикой истории. Однако естественно, что по мере того, как совершались эти сдвиги, Томас Манн не только приходил к более точному и верному истолкованию Горького (об этом можно судить, сопоставляя его высказывания разных лет),

---

* Манн, Т. Собр. соч., т. V, стр. 419.

но и сам, в конкретных идейно-художественных решениях, сближался с ним. Тезис Горького (из доклада на I съезде писателей) о том, что западный интеллигент-индивидуалист в конечном своем развитии уготован к восприятию фашизма, нашел остродраматичное подтверждение на страницах «Доктора Фаустуса»; не только в крылатых словах о близости эстетизма и варварства, но и в более глубоком смысле, во всем образном строе романа.

Интересная, богатая мыслями и наблюдениями работа Ральфа Шрёдера дает и некоторые поводы для спора.

Автор вступления цитирует едкую характеристику «литераторов цивилизации», которую дал в свое время Томас Манн в «Размышлениях аполитичного». Эта характеристика, замечает он, объективно применима к «Самгиным всех оттенков». Но можно ли забыть, что Т. Манн в то время обращал обидную кличку «Zivilisationsliterat» и против прогрессивных интеллигентов-антимилитаристов, в том числе и против родного брата, Генриха Манна? Пожалуй, не стоило бы, исследуя духовные связи Т. Манна с Горьким, ссылаться на ту книгу, от которой немецкий писатель впоследствии так далеко отошел.

По словам Р. Шрёдера, Клим Самгин — который в эпоху пролетарской революции придерживается явно отживших воззрений — своего рода «позднебуржуазный Дон Кихот». Это определение нельзя считать удачным: Дон Кихот, при всем его чудачестве, стоит в ряду благороднейших образов мировой литературы, и сближение с ним для Клима Ивановича — неоправданная честь.

Р. Шрёдер цитирует по ходу исследования знаменитые слова Адриана Леверкюна о том, что искусство может спастись от изоляции и полного осуждения, только если «прорвется» к народу. Эти слова даны и отдельно, вынесены в качестве эпиграфа ко всей книге. По мысли Р. Шрёдера, тут у Т. Манна идет речь именно о том идеале нового искусства, который остался недоступным Леверкюну, но был осуществлен Горьким.

Так ли это? Прислушаемся к монологу Леверкюна:

«Все жизнеощущение такого искусства, поверьте, станет совсем другим. Оно будет более радостным и скромным. Это неизбежно, и это счастье. С него спадет шелуха меланхолической амбициозности, и новая чистота, новая безмятежность составит его существо.. И никого уже не удивит искусство без страдания, духовно здоровое, непатетическое, беспечально-доверчивое, побратавшееся с человечеством».

Здесь звучит искренняя тоска. Да, Адриан Леверкюн, исстрадавшийся и запутавшийся в дебрях «акустической паники», мог представлять себе подлинно народное искусство будущего именно в таком духе — как полную антитезу своих собственных беспросветных, сверхутонченных произведений, как нечто безмятежное, беспечальное, а может быть и несложное.

Но ведь Томас Манн, подобно Достоевскому, был писателем полифонического склада: его мысль чаще вырастает из диалектики сталкивающихся мнений, чем дается в прямом, лобовом высказывании. И есть некоторая доля истины (пожалуй, не только с точки зрения Томаса Манна) и в словах Серенуса Цейтблома, возражающего Леверкюну: в иных случаях искусство «при самых своих смелых, безудержных, диких для толпы выходках, исканиях, опытах может не сомневаться, что послужит человеку — а со временем и людям — каким-то в высшей степени косвенным образом».

А разве все было безмятежным и бесспорным в исканиях и опытах самого Горького? Те, кто читал «Жизнь Клима Самгина», том за томом, еще при первом появлении, хорошо помнят, сколько споров вызвал этот весьма непростой роман у читателей, сколько недоумений и кривотолков было в статьях критиков-упрощенцев.

Художественное наследие Горького и по сей день убедительно опровергает те нередкие на Западе представления, согласно которым социалистический реализм обязательно однозначен и элементарно ясен и не допускает будто бы ни трагизма, ни неожиданностей в области формы, ни сложного философского подтекста.

Сила жизнеутверждения неотделима в книгах Горького от той «могущественно целебной горечи», о которой говорил Леонид Леонов в своем юбилейном «Слове». Без этого свойства Горький не был бы самим собой — не был бы тем дерзновенным и мудрым художником, чей голос вызвал отзвук во всем мире.

Т. МОТЫЛЕВА

ЖУРНАЛ «СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» — ЮБИЛЯР

Исполнилось 20 лет журналу «Советская литература», органу Союза писателей СССР. По этому случаю известный английский писатель Чарльз П. Сноу обратился в редакцию «Иностранной литературы» с нижеследующим письмом.

Я рад случаю воздать должное журналу «Советская литература».

Мне кажется, что среди моих советских друзей мало кто знает о его существовании. Это и не удивительно, ибо журнал издается на иностранных языках (английском, немецком, испанском, польском) для иностранных читателей. Но если советские читатели мало знакомы с «Советской литературой», то зато, поверьте мне, для нас этот журнал имеет огромное значение.

Следует помнить, что многие люди, глубоко интересующиеся русской и советской литературой, совсем не знают русского языка или знают его так мало, что не могут судить о достоинствах того или иного романа или стихотворения.

Мы много теряем из-за этого, потому что русский и английский — два величайших литературных языка современного мира. Наше поколение, как правило, не обучалось русскому смолоду. Наши дети все чаще обращаются к изучению этого языка, и это факт отрадный со всех точек зрения, однако подавляющее большинство из нас до конца своих дней будет нуждаться в помощи перевода. Это и делает «Советскую литературу» незаменимой. Приведу в пример хотя бы себя. У меня есть два источника, из которых я черпаю сведения о литературной жизни Советского Союза. Один из них — это, понятно, общение с советскими друзьями. Таким путем я, например, впервые услышал имена Булгакова (пользующегося ныне большим успехом в Англии) и Казакова (чьи произведения в настоящий момент переводятся на английский). Другой источник, которым я пользуюсь уже долгие годы, это журнал «Советская литература». Каждый месяц я прочитываю его от корки до корки, как и большинство моих знакомых, интересующихся литературной жизнью Советского Союза. Этот журнал помог мне впервые узнать и оценить Паустовского и Аксенова, познакомил меня с «Травой забвенья» Катаева. Публикация этой повести в журнале «Советская литература» привела к еще одному практическому результату: она будет теперь издана в Англии отдельной книгой, при этом будет использован журнальный перевод.

Благодаря «Советской литературе» мы узнали многих советских прозаиков и поэтов, до того совсем нам не известных, и смогли своевременно познакомиться с новейшими произведениями таких крупных писателей, как, например, Симонов.

Мне хочется отметить еще одно важное обстоятельство. До сих пор я говорил о русских писателях. Известно, что русско-английские взаимосвязи имеют давнюю историю, но связи нашей литературы с многочисленными национальными литературами Советского Союза были слабы, а иной раз и вовсе отсутствовали. И в этом отношении роль «Советской литературы» ни с чем не сравнима. Она познакомила нас с Чингизом Айтматовым и многими другими писателями национальных республик. Могу сказать, что только благодаря «Советской литературе» у меня лично возник интерес к литературе республик Советской Прибалтики.

С чувством глубокой благодарности приветствуем мы «Советскую литературу». Мы все искренне заинтересованы в том, чтобы журнал и впредь продолжал свое замечательное дело.

ЧАРЛЬЗ П. СНОУ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Государственное издательство Монгольской Народной Республики выпустило к столетию со дня рождения М. Горького двухтомник его избранных произведений.

Там же изданы: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Чапаев» Д. Фурманова, «Кровь людская — не водица» М. Стельмаха, «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Герои Брестской крепости» С. Смирнова, «Ниссо» П. Лукницкого.

В честь столетия со дня рождения М. Горького драматический театр им. Марии Герреро показал в Мадриде пьесу «На дне» в постановке режиссера Хосе Луиса Алонсо. Спектакль был тепло принят зрителями; театральная критика дала ему высокую оценку.

Книга воспоминаний маршала Советского Союза В. И. Чуйкова выпущена в США издательством «Холт, Райнхарт энд Уинстон» под названием «Падение Берлина».

На сцене муниципального театра г. Лозанны (Швейцария) состоялась премьера пьесы В. Маяковского «Баня» в переводе на французский язык Э. Триоле; режиссеры постановки — Вите и Раффаэли. Критик газеты «Трибюн де Лозанн» назвал этот спектакль «настоящим событием в театральной жизни». До сих пор, писал критик, мы знали Маяковского как поэта, теперь мы познакомились с ним как с драматургом.

„Баню» В. Маяковского в постановке С. Стренгель показало финское телевидение. Рецензент газеты «Нюа прессен» писал, что этот телеспектакль — один из самых значительных за последние несколько месяцев.

Рассказ М. Шолохова «Судьба человека», повесть Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» и сборник произведений И. Грековой под названием «Дамский мастер» и другие рассказы» выпущены варшавским Государственным Издательским Институтом (ПИВ).

Пьеса Е. Шварца «Дракон» поставлена во Франции театром «Комеди де Сент-Этьен».

Сборник стихотворений А. Ахматовой выпущен румынским молодежным издательством «Эдитура тинеретулуй». Переводы выполнены Мадлен Фортунеску.

Как сообщает печать Румынии, в текущем году румынские издательства осуществляют выпуск произведений более 200 зарубежных авторов и среди них — М. Горького, М. Шолохова, И. Эренбурга.

Драматический театр г. Вратца (Болгария) поставил пьесу А. Арбузова «Иркутская история».

Еженедельник «Литературен фронт» напечатал рассказ М. Булгакова «Сорок сороков».

Повесть В. Кетлинской «Мужество» вышла в болгарском издательстве «Народна младеж».

Рассказы Миколаса Слуцкиса «Как разбилось солнце» выпущены издательством «Ауфбау» (ГДР).

В издательстве «Культур унд фортшритт — Фольк унд вельт» вышел сборник «Советские драмы». В сборник включены пять пьес: «Разлом» Б. Лавренева, «Таня» А. Арбузова, «Аристократы» Н. Погодина, «Бег» М. Булгакова, «Список благодеяний» Ю. Олеши. Там же издан роман Б. Полевого «Доктор Вера».

Пьеса Юхана Смуула «Дикий капитан» поставлена берлинским Театром имени Максима Горького.

Пьеса А. Арбузова «Мой бедный Марат» идет в Австрии в «Театер дер кураже» под названием «Обещание».

АВСТРАЛИЯ

Гари Макдональд, Хелен Морс, Дженни Уэст и Питер Роули (на снимке) — молодые актеры, создавшие свой театр, где под руководством режиссера Джима Шармэна они поставили остросполитический спектакль «Ужас Австралии» (по пьесе Дина Летчера). В нем содержится призыв к социальным преобразованиям в нынешней Австралии, протест против внешнеполитической зависимости от США и участия Австралии во вьетнамской войне.

В интервью, опубликованном еженедельником «Трибюн», молодые актеры осудили войну во Вьетнаме. Хелен Морс заявила: «Мы должны заставить людей задуматься над тем, что происходит во Вьетнаме, и решиться выступить против этой войны».

(Еженедельник «Трибюн»)

АНГЛИЯ

СНОВА ДЖЕЙМС БОНД

Как уже сообщала «Иностранная литература» (№ 10, 1967), Кингсли Эмис решил выступить в сомнительной роли продолжателя писаний небезызвестного Яна Флеминга, создателя «агента 007», антисоветчика Джеймса Бонда. Теперь, как сообщает печать, книга Эмиса уже вышла: это детективный роман под названием «Полковник Сан». Главный герой романа — Джеймс Бонд, который с тем же упорством борется против коммунизма. Автор укрылся под псевдонимом Роберт Маркхэм.

Появление книги Эмиса было встречено едкими замечаниями критики по поводу как самого ее замысла, так и его осуществления.

Рецензент еженедельника «Обзёрвер» иронически сочувствует поклонникам «подлинного» Джеймса Бонда и, анализируя качества эмисовского героя, пишет: «Едва ли он сможет утешить кого-нибудь, кроме разве самых примитивно мыслящих читателей, все еще оплакивающих его исчезновение...»

Обозреватель еженедельника «Санди таймс» хвалит Эмиса за то, что тот не старается быть оригинальным и не стремится «переплюнуть» Флеминга в изображении насилия, жестокости, секса и т. д.

«Плачьте, музы! Теперь Джеймс Бонд действительно умер»,— так суммировал от-

зывы на роман «Полковник Сан» лондонский корреспондент американской газеты «Интернэшнл геральд трибюн».

А в «Таймс литерари сапплмент» появилось такое резюме: «Все это вовсе не похоже на тот случай, когда один писатель, восхищаясь другим, создает как бы памятник его творческой фантазии. Получается, что «продолжатель» довольно-таки неуклюже пытается подработать на плодах фантазии умершего коллеги...» А также, добавим мы, на запросах тех кругов, которые вдохновляют антисоветскую пропаганду во всех ее формах, в том числе и в форме детективного чтива.

ПОД ЗНАКОМ «ИКС»

В течение нескольких последних месяцев английские подростки не могут попасть примерно на половину фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах. На рекламах жирно выведена буква «Х» («икс»), означающая, что молодые люди до 16 лет на них не допускаются.

Эти меры станут понятны, если ознакомиться с репертуаром демонстрируемых фильмов. У киноцензоров нет другого выхода: они запрещают подросткам смотреть фильмы об убийцах, развратниках, наркоманах. На этих фильмах стоит незримое, но отчетливое американское клеймо. По оценкам английских деятелей кино, в настоящее время выпуск почти 90 процентов фильмов на Британских островах контролируется американским капиталом.

Представители английских прокатных фирм говорят, что им хотелось бы разнообразить репертуар фильмов, но они целиком зависят от поставщиков и вынуждены показывать зрителю то, что им предлагают.

Американские кинодельцы, все более подчиняющие себе английскую кинопромышленность, стремятся к расширению выпуска фильмов, дающих максимальные прибыли при минимуме затрат на их производство. В английской печати все чаще высказываются опасения, что скоро может наступить день, когда Англия вообще утратит контроль над своим национальным кинематографом.

Лондонская улица Оксфорд-стрит стала недавно свидетельницей необычного театрализованного представления. Как сообщает газета «Морнинг стар», группа, состоявшая из молодых ученых, студентов и служащих, разыгрывала на мостовой символическую сцену борьбы вьетнамского народа против американских агрессоров. Центральной в представлении была фигура с автоматом (см. воспроизводимый нами снимок). На лице этого человека — маска с инициалами Л. Б. Дж. (Линдон Б. Джонсон). У его ног — «убитый» вьетнамский патриот, а на втором плане виднеется плакат с официальными американскими данными о числе убитых ими «вьетконговцев». Слева человек с английским флагом... Так молодые англичане выражают свой протест против преступлений американских агрессоров во Вьетнаме и против той поддержки, которую им оказывает Англия.

ВЕНГРИЯ

ПИСАТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛАУРЕАТОВ

Присуждены ежегодные литературные премии имени Аттилы Йожефа. Премий удостоены восемь венгерских писателей за литературную деятельность в целом. Среди награжденных — ветеран венгерской литературы Мозеш Кахана, поэт Ласло Беньямин, поэт, литературовед и критик Деже Керестури, прозаики Геза Молнар, известный советским читателям по роману «Марта», Ласло Дюрко, Габор Мочар, поэтесса Маргит Сечи и недавно вступившая в литературу Шарлота Раффаи.

Редакция еженедельника «Элет эш иродалом» поме-

стила приветствие лауреатам и предоставила слово коллегам награжденных — видным венгерским писателям.

«Прекрасной судьбой» назвал критик Е. Пал Фехер жизненный и творческий путь одного из старейших деятелей венгерской революционной литературы Мозеша Каханы. Коммунист, ветеран рабочего движения, автор талантливого романа «Тактика», высоко оцененного Бела Куном, и нескольких других произведений, активный участник современной литературной жизни — таков Мозеш Кахана.

Достойно представляет гвардию писателей-коммунистов прозаик Геза Молнар, побывавший в Демократической Республике Вьетнам, пишет о своем собрате по перу Иштван Галл. «Молнар уехал в страну, где народ борется за свободу, в страну, где земля перепахана бомбами; он талантливо описал происходящие там события, выражая уверенность в победе вьетнамского народа. Поэтому мы особенно радуемся его награждению».

Поэтессу Маргит Сечи поздравляет поэт Андраш Мезеи. «Ее поэзия,— пишет он,— проникнута глубоким психологизмом, отточена с мастерством ювелира, очаровывает читателя, как лопающиеся весной почки».

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ

В издательстве «Африканская пресса» в столице Верхней Вольты Уагадугу вышел первый роман «Совсем другое намерение» молодого вольтийского писателя Роже Никьемы. Рецензент еженедельника «Жён Африк» пишет, что этот роман — первый важный шаг молодой вольтийской литературы.

В романе, выдержанном в истинно национальных традициях, рассказывается о любви прекрасной девушки Геды из глухой вольтийской деревушки к юноше Катину. Подобно тому как это происходит в вольтийских сказках, Геда обещана в жены старому и злому колдуну Зукуго. Катин и его мать отравлены, Геда кончает жизнь самоубийством на могиле возлюбленного. Старый Зукуго остается один и заключает эту мелодраму сентенцией: «Каждый стремится к своему счастью».

Рецензент отмечает, что эта история рассказана свежо и поэтично, в то же время она затрагивает актуальные проблемы современности. Роже Никьема непринужденно повествует о жизни вольтийской деревни, рисует повседневный быт: рыночную площадь, освещенную лучами утреннего солнца, похороны, празднества. Но самое главное — он говорит о судьбе деревенских девушек, чья свобода задушена суровыми обычаями.

Автор, по мнению рецензента «Жён Африк», создал подлинно национальное произведение литературы.

ГВИНЕЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАКАРИ УЛЭНА

Гвинейская национальная кинематография начала свой путь с создания хроникальных фильмов. Теперь на экраны страны вышел первый художественный фильм «Сержант Бакари Улэн», снятый гвинейской студией. Фильм поставлен режиссером Луи Акэном.

Герой картины, сержант колониальной армии Бакари Улэн, счастлив — его родина получила независимость. Он возвращается домой, исполненный патриотических чувств. Но он слишком долго отсутствовал и теперь многого не понимает: почему, например, солдаты занимаются полевыми работами? Почему предназначенная ему с детства невеста и не думает выходить за него замуж? Бакари Улэн в полной растерянности. Чтобы как-то разобраться во всем происходящем, он отправляется... к колдуну. Но никакой колдун ему помочь не в силах — новое берет верх во всех сферах жизни.

По отзывам гвинейских критиков, фильм «Сержант Бакари Улэн», сразу же завоевавший симпатии зрителей, — несомненная удача молодого национального кино.

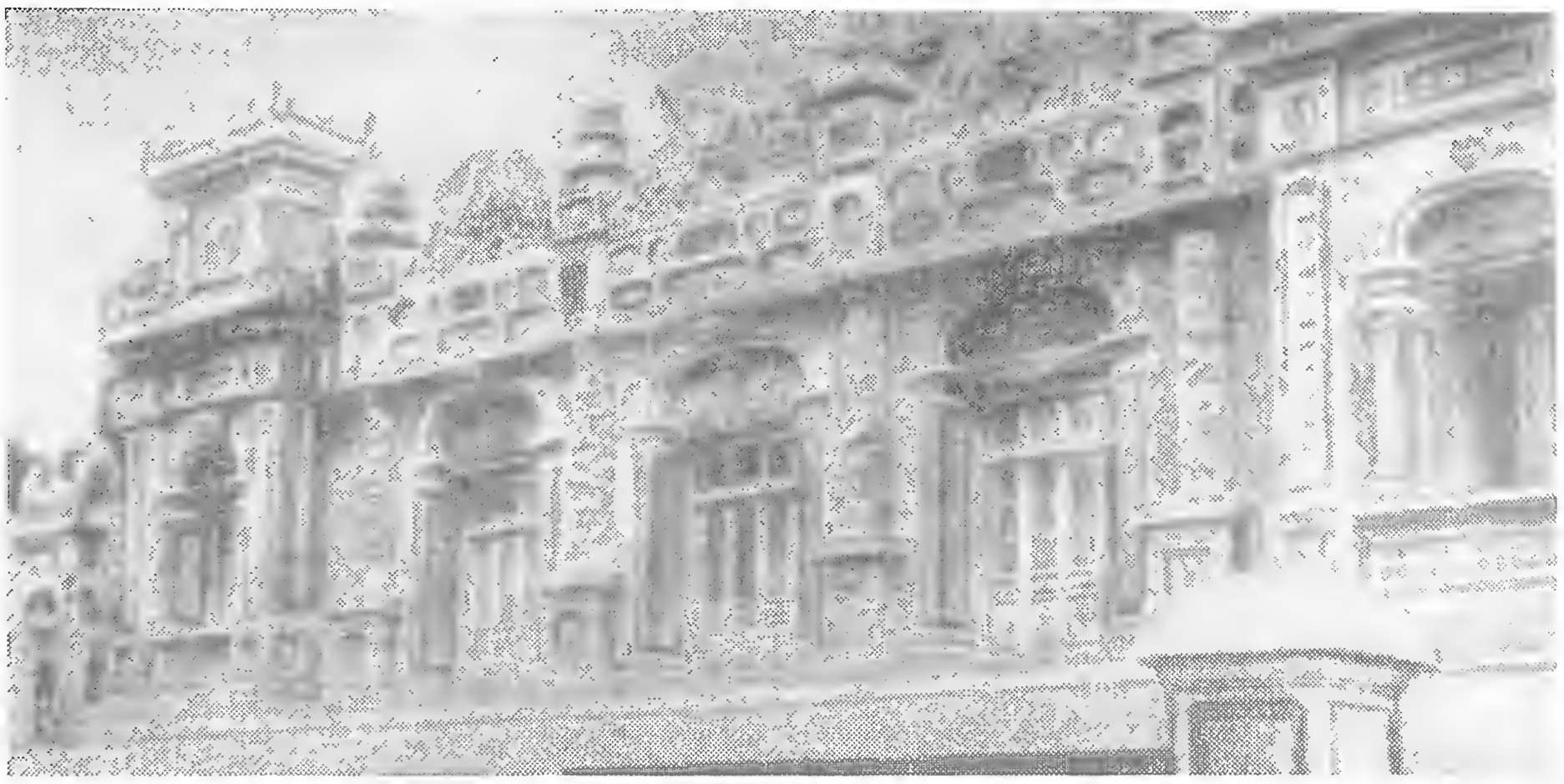
ГДР

ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Эта книга под сугубо академическим названием — «Лексикон писателей немецкого языка от истоков до наших дней» выдержала шесть изданий в течение семи лет. Об успехе ее свидетельствует и многотысячный тираж — необычно большой для подобных работ,— и многочисленные отклики в печати не только Германской Демократической Республики, но и Западной Германии и самых разных стран — Чехословакии, Австрии, Канады и многих других. В недавно вышедшем новом, значительно расширенном и переработанном издании «Лексикона» — около 1400 статей, освещающих творчество писателей прошлого, писавших на немецком языке, и сегодняшнее состояние немецкой литературы в Германской Демократической Республике и других странах.

«Лексикон» соединяет в себе достоверность и научность. Создателям его пришлось заново — а во многих случаях и впервые — оценить самых разных писателей прошлого и настоящего. Огромная работа, проделанная научным коллективом под руководством Курта Бётхера, принесла свои плоды. Рецензент газеты «Нейес Дейчланд» называет «Лексикон» «национальным достижением». «В первый раз,— пишет в связи с недавним очередным изданием «Лексикона» известный чешский ученый Пауль Рейман,— предпринята попытка — пусть даже в форме словаря — дать совокупную картину развития немецкой литературы с точки зрения марксистской ее оценки. «Лексикон» — это действи-

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ



Крепостная стена длиною в 11 километров, окружающая цитадель, великолепные дворцы и усыпальницы императоров, особняки вельмож, музеи и библиотеки, тенистые парки, роскошные сады, водоемы и каналы — таким был город Гуэ, древняя столица Вьетнама, пока на вьетнамскую землю не вторглись американские «защитники цивилизации», оставившие далеко позади войска французского генерала Курси, которые в 1885 г. захватили и разграбили город.

Ныне Гуэ — в развалинах. Публикуемые снимки замечательных памятников архитектуры, которые американские бандиты обратили в руины, — красноречивые свидетельства богатейших культурных традиций вьетнамского народа и высокого искусства вьетнамских зодчих, но вместе с тем и свидетельства беспримерного варварства империализма США.

(Газета «Унита»)

тельно новаторская работа, и поэтому авторам можно быть только благодарным».

В ЗАЩИТУ ГРЕЦИИ

«Мы собрались здесь, чтобы выразить чувства, овладевающие нами, когда произносится дорогое для нас слово «Греция»: горячую симпатию и острую ненависть, восхищение и презрение и прежде всего чувство глубокой солидарности», — так начал свою речь известный писатель ГДР Франц Фюман на вечере солидарности с Грецией, организованном Союзом немецких писателей.

«Мы хотим во всеуслышание заявить, что мы всеми доступными писателям, художникам и ученым средствами будем бойкотировать фашистскую клику, узурпировавшую власть в Греции»,— сказал далее оратор.

Фашистам не удастся сломить народ Софокла и Яниса Рицоса, продолжал Фюман: «Мы знаем, что огонь святой греческой свободы не погаснет... Коллеги и друзья, все, кто в нашем социалистическом государстве ведет непреклонную борьбу с фашизмом, должны присоединить свои голоса к голосам греческих патриотов. Свобода Греции — это и наше дело, муки Греции — это и наши муки. Давайте сделаем все, что в наших силах, давайте выполним наш долг дружбы!»

ГОЛЛАНДИЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПЬЕСА ОБ ОКТЯБРЕ

На протяжении нескольких последних месяцев на сцене театра в голландском городе Арнеме идет пьеса об Октябрьской революции. Это документальная композиция, составленная актерами театра Лизелот Бейкмэйер и ее мужем Робом Рооземондом.

Авторы пьесы об Октябре работали над ней в течение нескольких месяцев. Постановка пьесы была приурочена к 50-летию Октябрьской революции. «Когда я ознакомился с обширным факти-

ческим материалом об Октябрьской революции, подобранным моей женой, где содержались доводы как в поддержку, так и против революции, то я понял, что все эти годы меня обманывали, дурачили,— сказал Роб Рооземонд в беседе с представителями печати.— Только теперь я узнал истинное историческое значение Октября...»

Документальная композиция, повествующая об Октябрьской революции, включает обширный фактический материал, стихи и песни революционных лет; в ней использованы отрывки из книг о революции, а также выступления В. И. Ленина и других деятелей большевистской партии. На стенах зала — плакаты и лозунги времен революции. В ходе спектакля используются кино- и фотодокументы. Действие длится полтора часа.

К сожалению, сказал Роб Рооземонд, пьеса до сих пор ставилась примерно лишь раз в месяц. А интерес зрителя к ней большой. «Главное в том, что люди начинают интересоваться этой темой,— продолжал Роб Рооземонд.— Может быть, им захочется почитать об этом, чтобы больше узнать. Если мы этого достигли, то, значит, находимся на правильном пути».

Рецензент ежемесячника общества «Нидерланды — СССР» писал, что в пьесе освещается «период истории, почти незнакомый, например, учащимся голландской средней школы». Он выразил пожелание, чтобы ее ставили чаще и обязательно показывали школьникам.

ИТАЛИЯ

«ХОЗЯЙКА, КОТОРУЮ НАДО ПРОГНАТЬ»

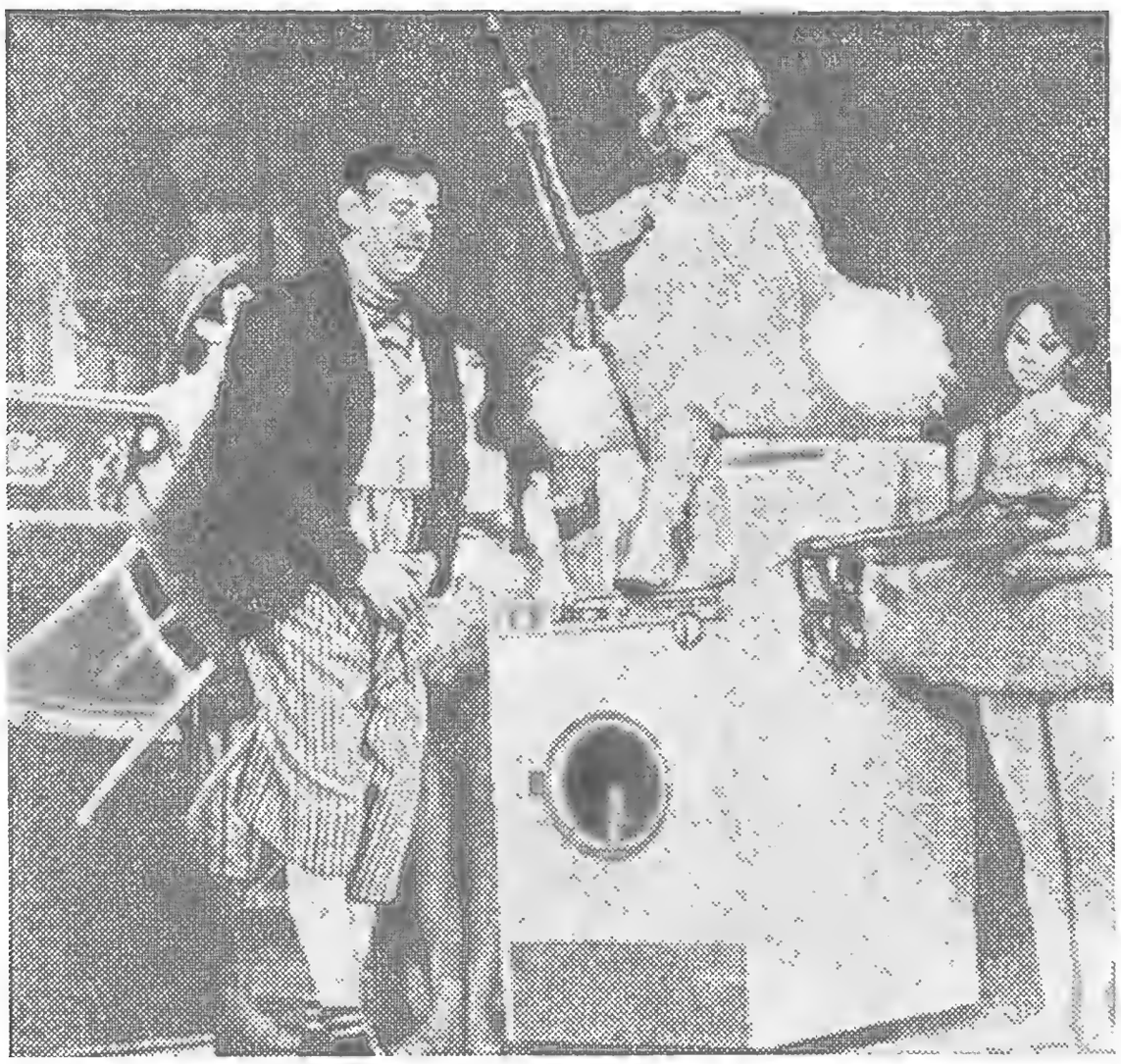
Имя театрального режиссера и актера Дарио Фо хорошо известно в Риме. Сам Дарио Фо называет себя клоуном. Однако этот клоун не заполняет паузы между номерами. Он — автор и постановщик своеобразных эстрадных представлений, которые пользуются неизменным успехом у публики. Однако его вот уже несколько лет не допускают в свои студии радио и телевидение, против него ополчилась буржуазная пресса всех направлений. Причина такого бойкота состоит в том, что все без исключения спектакли Дарио Фо характеризуются острой социальной и политической направленностью.

Правда, за последние два года Дарио Фо не показал ни одного спектакля. Правая печать уже начала намекать, что наконец-то, мол, удалось заставить замолчать Дарио Фо. Но прогрессивный артист не сдался: все это время он работал над новым спектаклем «Хозяйка, которую надо прогнать». И вот в заполненном до отказа зале римского театра «Систина» состоялась премьера.

Перед зрителями проходит вереница сатирических персонажей. Вот хозяйка большого, оборудованного по последнему слову техники «цирка великого общества». Она стоит в позе, которая вызывает дружный смех зала: все узнают американскую статую Свободы; разница состоит лишь в том, что под ногами у нее вместо постамента — холодильник и стиральная машина, а в руке не факел, а бутылка кока-колы. Хозяйка мечтает подчинить себе все другие, малые, слаборазвитые «цирки». Укротитель блох предлагает ей план «мирового масштаба»: разослать во все страны дрессированных блох, чтобы те проводили нужную политику... Внезапно раздается выстрел — и акробат падает с трапеции: это Даллас, убийство президента... Мать сидит у телевизора, смотрит прямую передачу из Вьетнама и видит, как умирает ее сын, которого послали убивать мирных жителей. «Генерал» отдает приказ: посылать во Вьетнам не только сыновей, но и их матерей. Теперь матери должны убивать чужих сыновей и сами погибать на чужой земле...

Дарио Фо не обошел и чисто национальные проблемы Италии. Большим успехом пользуется интермедия,

Лизелот Бейкмэйер и Роб Рооземонд.
(Журнал «Нидерланды—СССР»)



Сцена из спектакля Дарио Фо «Хозяйка, которую надо прогнать».

(Газета «Унита»)

разоблачающая «суд», который оправдывает генерала Де Лоренцо, готовившего государственный переворот, и осуждает журналистов, рассказавших об этом правду...

«Смысл моей новой работы ясен,— заявил Дарио Фо в беседе с корреспондентами.— Это протест против капитализма, извращающего человеческую личность».

Критик газеты «Унита» Савиоли дал следующую оценку новой работе талантливого артиста: «Это лучший спектакль, созданный Дарио Фо за все время... Политическая сатира достигает в нем необыкновенной выразительности».

«ЖИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ»

Вышел из печати новый сборник рассказов Чезиры Фьоре — 80-летней писательницы-коммунистки, видной деятельницы демократического движения — «Жить запрещается». Итальянские фашисты в 1928 г. отстранили ее от преподавания, а в 1933 г.— сослали. Гитлеровцы в 1943 г. приговорили ее к смерти за участие в Сопротивлении. Литературную известность ей принесла вышедшая три года назад книга «Женщина в фашистской тюрьме», сразу обратившая на себя внимание читателей и критики. В новый сборник входит 25 рассказов — все они повествуют о различных событиях, происходивших в течение 60 лет — с 1902 по 1962 г.— в небольшом городке в горах Центральной Италии. Рассказы очень разнообразны по сюжетам, по масштабности, по своему тону, но все одинаково искренни. Основанные на более или менее давних воспоминаниях автора, они обращены к современному читателю и перекликаются с сегодняшней итальянской действительностью. Сборнику предпослано теплое предисловие Чезаре Дзаваттини, который подчеркивает, что вся долгая жизнь Чезиры Фьоре посвящена одной высокой цели — борьбе за достоинство человека.

Писательница отдает много сил переводу произведений советской литературы — ей, в частности, принадлежат переводы книг Фадеева и Бабеля. В настоящее время Чезира Фьоре работает над двумя своими новыми романами.

«ЗОЛОТЫЕ СПАГЕТТИ»

Так необычно называется новая литературная премия, учрежденная в Италии научно - исследовательским центром по производству макаронных изделий. Писателям, представившим свои произведения на соискание этой премии и победившим на конкурсе, премию будет вручать министр промышленности. В числе членов жюри новой премии — видные буржуазные журналисты и писатели: Марио Миссироли, Итало Де Фео, Луиджи Вольпичелли и другие.

Иронически комментируя учреждение столь своеобразной литературной премии — одной из тех, что ныне растут в Италии, как грибы, обозреватель газеты «Унита» пишет: «Это сообщение имеет важное значение не только потому, что проливает свет на деятельность многих авторитетных представителей нашей интеллигенции, которые заняты призывами к молодежи быть серьезной, мечтая тем временем о спагетти (золотых), но также и потому, что новая премия будет способствовать развитию трудов специалистов по жареным молодым барашкам и исследователей отбивных котлет... Премия «Золотые спагетти» явится мощным стимулом к созданию нового министерства пищеварения... Перечитайте вновь имена столь авторитетных членов жюри. Речь идет о людях с утонченными духовными интересами, которые руководствуются отнюдь не боязнью уремии или диабета. Они действуют, как это всем ясно, во имя демократии, дабы юношество на примере их строгой воздержанности усвоило, что путь культуры и искусства хоть и тернист, но питателен».

КЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРЕ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Вышел специальный номер издающегося в Найроби журнала «Ист Африка джорнэл», посвященный художественной литературе Восточ-

ной Африки. В нем опубликованы произведения прозы, поэзии, литературно-критические обзоры.

Номер открывается вступительным словом редактора Джеймса Нгуги, который пишет: «Еще совсем недавно понятие «Восточная Африка» мало у кого ассоциировалось с понятием «художественная литература». О восточноафриканской литературе говорилось как о скучной и бесплодной; она была объектом жалости. К ней относились снисходительно-покровительственно. Некоторые доброжелатели предлагали взять над ней шефство. Я думаю, что именно такое желание было основным стимулом организаторов Первой конференции африканских писателей в Макерере в 1962 г. Мы чувствовали себя униженно, даже виновато.

И все же у нас не было причин для упаднических настроений. Художественное творчество для нас не внове. Мы всегда пели о своих радостях и горестях... И именно на эту традицию — песен и поэзии, вдохновляющих людей на коллективную борьбу и определяющих коллективное сознание,— должна опираться и, как видно по творческой деятельности наших писателей за последние годы, опирается современная литература Восточной Африки».

В ходе подготовки этого номера, пишет далее Нгуги, редакция получила много интересных художественных произведений африканских авторов. Правда, добавляет журналист, не все они еще достаточно требовательны к своему творчеству, но общий довольно высокий уровень этих произведений настраивает оптимистически.

дения: поэма «Коммунист» и новые стихи Ц. Гайтава, киносценарий «Он находит друга» Б. Няма и роман «Родные мелодии» Ж. Пурэва.

ОАР

ПИСАТЕЛИ ПРИВЕТСТВУЮТ ПОЛЬСКОГО КОЛЛЕГУ

В Объединенной Арабской Республике побывал директор польского Авторского агентства писатель Михал Русинек, который вел переговоры по вопросам культурных связей между Польшей и ОАР.

Русинек встретился с директором издательства «Дар аль-Катиб аль-Араби». Были намечены планы взаимных переводов польской и арабской литературы, а также решено, что в ближайшее время арабское издательство выпустит антологию современной польской прозы и поэзии, а одно из польских издательств — антологию арабской прозы.

Польский писатель встретился со своими арабскими коллегами. «Мы обсудили с ними многие проблемы,— рассказал Русинек корреспонденту Польского агентства печати.— Среди них — необходимость взаимной информации о новых достижениях в различных областях творчества, вопрос об учреждении стипендии для молодых поэтов или прозаиков, которые смогли бы в дальнейшем заниматься переводами художественных произведений с польского языка на арабский и наоборот. Эти переговоры явились развитием одного из пунктов договора о научном и культурном обмене между Польшей и ОАР».

«Во время пребывания в Каире и Александрии,— продолжал Михал Русинек,— я на каждом шагу встречал оборонительные укрепления, которые были сооружены в связи с агрессией Израиля против ОАР... В такой обстановке внимание властей к развитию культуры в стране особенно впечатляет.

Деятели культуры ОАР с энтузиазмом приветствовали всякую инициативу, направленную на укрепление культурных контактов с Польшей, и неоднократно выражали благодарность польскому народу, осуждающему агрессию Израиля против арабских стран».

ПОЛЬША

ТВОРЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ ЮЗЕФА МОРТОНА

История литературы знает немногих писателей, которые на протяжении десятилетий сохраняли бы верность одной избранной теме, пишет в еженедельнике «Культура» критик Ежи Плюта. Именно таков польский писатель Юзеф Мортон, тридцатилетие творческой деятельности которого отмечает польская литературная общественность.

«Исповедь» — так называлась первая повесть Мортона, опубликованная в 1937 году. Героем ее был Стефан Окола — сын крестьянина-середняка, которого отец решил «вывести в люди». История эта окончилась печально: студент Стефан заболел от недоедания и других лишений, вернулся, не доучившись, в отчий дом и умер. Его предсмертная исповедь и составляет сюжетный стержень повести.

Дебют Мортона был одним из самых значительных в тридцатые годы, пишет далее Плюта. «Следует напомнить, что это было в тот период, когда так называемая крестьянская литература составляла одно из самых значительных направлений литературы, боровшейся в тех условиях за новые порядки в санационной Польше и являвшейся важным оружием в политической борьбе...»

С тех пор вышло восемь повестей, а также несколько сборников рассказов Юзефа Мортона, которые целиком посвящены жизни польской деревни на разных исторических этапах.

Большой удачей Мортона критики считают повесть «Моя вторая женитьба», появившуюся в 1961 году. В прошлом году вышли две повести писателя — «Побег из

МОНГОЛИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ЗА 1967 ГОД

Секретариат правления Союза монгольских писателей подвел итоги литературного 1967 года. Признаны лучшими и отмечены премиями следующие произве-

рая» и «Камилла, или Девичья исповедь».

Все книги Юзефа Мортона, пишет в заключение Плюта, свидетельствуют о его писательском таланте, позволяющем подметить и донести до читателя характерные особенности крестьянского быта, а также верно и тонко передать суть общественно-политических преобразований в польской деревне.

«ГОД ФРАНЕКА В.»

Так называется новый фильм известного режиссера-документалиста Казимежа Карабаша. Его герой — реальная личность, подросток по имени Франек, который приехал из деревни в город, чтобы найти себе работу на одном из многочисленных предприятий Силезии. Этот человек, ищущий свое место в жизни, и оказался в центре внимания Карабаша. Шаг за шагом авторы фильма прослеживают становление Франека в новых для него условиях...

Еженедельник «Культура» опубликовал интервью с режиссером Карабашем, который рассказал, почему и как он снял этот фильм: «Меня всегда интересовала проблема выходцев из деревни, которых как бы «всасывает» современный, насыщенный техникой город.

Я объездил всю Силезию, много месяцев искал героя. Из трехсот подростков я выбрал Франека, хотя встречались люди с более интересными биографиями. Но я хотел выбрать такого, у которого не было еще жизненного опыта, определенной профессии, который никогда не бывал в городе, словом, был «неиспорченным». Мне хотелось, чтобы мой герой был обыкновенным парнем, каких большинство, и Франек Врубель именно таков».

Карабаш рассказал, как трудна работа с подобным «героем с улицы», особенно когда постановщик хочет добиться впечатления максимальной правдоподобности происходящего. «Натурщик», как называет его Карабаш, как правило, довольно скоро перестает быть самим собой, начинает «играть» или, наоборот, чувствовать себя очень стесненным. Франек в этом смысле оказался личностью совершенно исключительной: съемочная камера для него как бы не существовала. Поэтому, сказал режиссер, не было необходимости во время съемок прибегать к инсценированию каких-то эпизодов.

По отзывам критики, фильм Карабаша «Год Франека В».— значительное достижение польского документального кино.

Известный польский скульптор Мариан Конечный, один из авторов памятника «Варшавская Ника», создал скульптуру «Материнство», которая воспроизводится на нашем снимке.

(Еженедельник «Жицс литерацке»)

ЗАДАЧИ ПОЛЬСКОГО ТЕАТРА

Обозреватель газеты «Трибуна люду» Роман Шидловский выступил с обширной статьей, посвященной творческим задачам польского театра.

Автор статьи констатировал большие изменения в театральном репертуаре в минувшем сезоне. Почти полностью со сцен польских театров исчезли пьесы так называемой «черной серии», пишет Шидловский. Возрос интерес зрителя к современной проблематике, к пьесам о сегодняшней польской действительности, а также к национальной классике.

Наибольшей популярностью пользуются произведения классиков польской драматургии: Александра Фредро и Юлиуса Словацкого, Габриели Запольской и Станислава Игнацы Виткевича, а также современных писателей: Леона Кручковского, Славомира Мрожека, Тадеуша Ружевича, Ярослава Ивашкевича, Здислава Сковронского и других. Значительно возросло в репертуаре количество пьес драматургов социалистических стран. Среди мировых классиков наиболее популярны Шекспир и Мольер, а также Горький, Чехов, Островский.

По мнению автора статьи, за пределами театрального репертуара неоправданно остались пьесы Кручковского «Смерть губернатора» и «Юлиус и Этель», а также опубликованная недавно ежемесячником «Диалог» пьеса Эрнеста Брылля «Ноябрьская повесть» и опубликованная в молодежном издании «Вспулчесность» пьеса Юзефа Ленарта «Перелом». Первоочередную задачу польских драматургов Роман Шидловский видит в создании произведений о современной действительности.

В заключение автор статьи призывает деятелей польского театра начать широкую творческую дискуссию, с привлечением общественности и зрителей, о насущных проблемах театрального репертуара.

РУМЫНИЯ

ХОРИЯ ЛОВИНЕСКУ О ПРОБЛЕМАХ ТЕАТРА

Еженедельник «Газета литерарэ» опубликовал интервью с известным драматургом, директором Бухарестского театра им. К. Нотарра Хорией Ловинеску.

Корреспондент еженедельника спросил Ловинеску, как ему видится проблема взаимоотношений между режиссером и драматургом.

«Скептицизм в отношении режиссерской концепции пьесы означает не что иное, как желание унифицировать различные постановки, причесать их под одну гребенку»,— ответил Ловинеску.

«В таком случае, как следует поступать с классикой? Модернизировать ее?» — спросил корреспондент.

«Мне кажется,— ответил драматург,— что классическое произведение не все целиком способно противостоять разрушительному течению времени. Отдельные его части, в первую очередь те, что в свое время звучали особенно злободневно, сегодня устарели. Но уважение к классике обязывает нас бережно относиться и к этим «устаревшим» элементам. Думаю, что в спектакле они должны быть интерпретированы «обособленно», чтобы дать возможность зрителю оценить с исторической дистанции события, пережитые человечеством. Напротив, живое, актуальное содержание классического произведения должно быть подчинено обратному процессу — процессу приближения к способу мышления и чувствам современного человека».

«В связи с этим какова, по-вашему, судьба эксперимента сегодня?»

«Эксперимент — закон творческой жизни. У нас часто говорят о «стимулировании творчества», забывая, что главное условие «стимулирования» заключается в поддержке и оперативном продвижении созданных произведений на сцену. Жалобы на бедность национальной драматургии, оправданные еще года два назад, сегодня, пожалуй, звучат как анахронизм. Наша драматургия богата и разнообразна. Она развивается синхронно с развитием мировой драматургии. Но вот путь ее к зрителю порой еще затруднен. Отсюда, во-первых, возникает ошибочное мнение о бедности нашей драматургии, во-вторых, пьеса, поставленная на сцене с опозданием в несколько месяцев или лет, не только теряет свою злободневность, но и задерживает ритмический процесс развития национальной драматургии».

Хория Ловинеску выразил надежду, что эти трудности удастся преодолеть в ближайшее время.

США

РОБЕРТ БЛАЙ БРОСАЕТ ВЫЗОВ

Американскому поэту Роберту Блаю за сборник стихов «Свет вокруг тела» была присуждена премия «Нэшнл бук эворд».

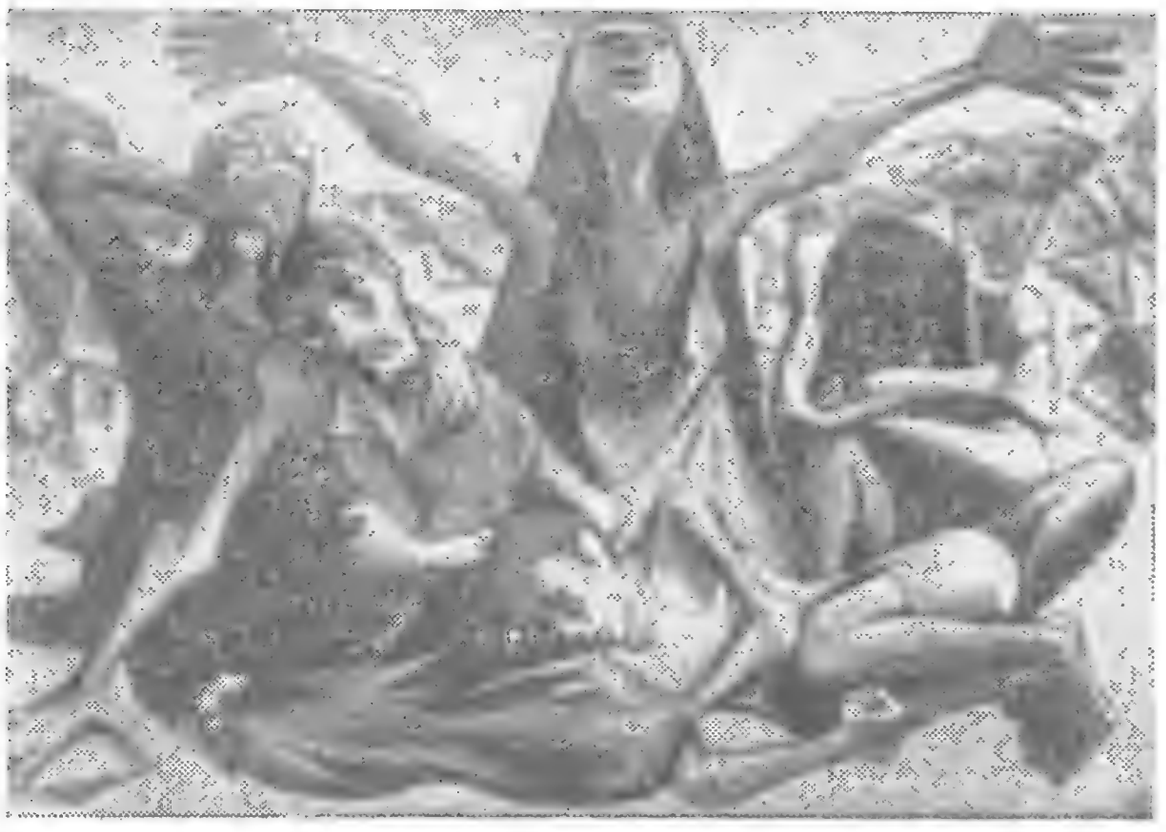
Вручение премии происходило в торжественной обстановке в присутствии тысячи двухсот американских издателей и писателей. Принимая премию, Роберт Блай произнес страстную речь, направленную против политики США в Юго-Восточной Азии.

Вот как описывает известный публицист Джозеф Норт на страницах газеты «Уоркер» то, что происходило на этой церемонии: «Не успела стихнуть бурная овация, которую вызвало выступление Блая (были, разумеется, и недовольные, выразившие свое несогласие громким улюлюканием), как произошла новая сенсация. Блай, не сходя с эстрады, подозвал к себе представителя молодежной организации «Сопротивление» (агитирующей молодежь за отказ вступать в армию и воевать во Вьетнаме), вручил ему полученный чек на тысячу долларов и заявил: «Одновременно я советую вам, как молодому человеку призывного возраста, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не вступать сейчас в ряды армии США. Скажите всем молодым людям призывного возраста, чтобы они не подчинялись военным властям и не участвовали в ведущейся сей-

СИРИЯ

Художник Махмуд Кашлан создал выразительную картину «Палестинские арабы» — об арабских беженцах, которые не могут вернуться к родному очагу в результате захватнической политики Израиля. В числе пятидесяти полотен сирийских художников эта картина недавно экспонировалась в столице Болгарии.

(Журнал «Изкуство»)



час войне, так как это опустошит их духовно». Тем самым Роберт Блай на виду у всех издателей Америки нарушил федеральный закон».

«Речь Блая,— пишет далес Джозеф Норт,— прозвучала как оглушительный взрыв. Я убежден, что деятель культуры, обладающий чувством гражданской ответственности, всегда отражает занятую им позицию и в своей творческой работе. Нужно всячески поддерживать писателей, артистов, мастеров культуры, когда они выступают за правое дело и заявляют об этом публично».

В знак протеста против недавнего убийства негритянского лидера доктора Мартина Лютера Кинга известный американский киноактер Марлон Брандо (на снимке) заявил, что он намерен посвятить все свое время и силы движению за гражданские права негров в США. «Для меня это сейчас главное, и я временно покидаю кино,— заявил Марлон Брандо.— Перед всеми нами стоят в высшей степени важные задачи, которыми следует заниматься в первую очередь. Я не могу успешно заниматься двумя делами сразу».

(Газета «Морнинг стар»)

КОММЕРЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Какой роман пользовался наибольшим спросом на литературном рынке США начиная с 1895 года?

Специализирующаяся в области американской «бестселлерологии» Алиса Пэйн Хэкетт утверждает, что таковым оказался роман «Местечко Пейтон» Грейс Метальес. Он стоит первым в длинном перечне книг, который Алиса Хэкетт приводит и анализирует на 280 страницах своей монографии, составленной на основании статистических данных журнала «Паблишерс уикли» и названной «70 лет бестселлеров: 1895—1965».

К 1965 году «Местечко Пейтон» было распродано в количестве более чем 9 миллионов экземпляров. Но в свой уникальный список сотен названий Алиса Хэкетт включила не одну только беллетристику. Среди перечисляемых нехудожественных бестселлеров — «Карманная книга ухода за ребенком» мужественного общественного деятеля США доктора Бенджамена Спока: 19 миллионов распроданных экземпляров.

За романом Г. Метальес в списках художественных бестселлеров, приводимых Алисой Хэкетт, следуют такие широкоизвестные книги, как «Главная улица» и «Бэббит» Синклера Льюиса (период наибольшей читательской популярности—20-е годы), «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (30-е годы), «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя (1940 год), «Обыкновенное убийство» Трумэна Капоте (1966 год).

Прослеживая некоторые тенденции американской литературной жизни за последние семь десятилетий, Алиса Хэкетт констатирует, что до 20-х годов в Америке были особенно популярны произведения сентиментально-романтического жанра; сразу после второй мировой войны в ежегодных списках бестселлеров превалировали исторические романы, а в 50-е годы «документальные» бестселлеры постепенно начали «обгонять» беллетристические по той причине, что, по словам автора книги, «драма реальной жизни стала вытеснять художественный вымысел».

Но, пожалуй, самое привлекательное в рассуждениях Алисы Хэкетт — то, что сама она не пытается как-то защитить или оправдать идею «бестселлеровского бизнеса». Списки «самых ходких» романов, признает она, притягивая внимание читателя лишь к нескольким отдельным названиям, «отодвигают на второй план произведения, возможно, более того заслуживающие».

Обозреватель журнала «Ньюсуик», называет уникальное исследование Алисы Хэкетт «точной статистикой несправедливостей», царящих в литературном мире Соединенных Штатов.

ТУРЦИЯ

В ПОЛИЦЕЙСКОМ ПОДВАЛЕ

В солнечный день растворились железные двери одного из подвалов стамбульской полиции и вместе с полицейским вошел в подвал критик, писатель и владелец издательства «Герчек» Фетхи Наджи. В одном из углов подвала находились два сундука и двадцать пакетов. На каждом — сургучная печать и этикетка: «Стамбульское управление безопасности. Конфисковано 2 марта 1966 года». В сундуках и пакетах были книги. Вернее, весь тираж одной-единственной книги «В. И. Ленин. Избранные статьи», которая была переведена на турецкий язык поэтом и публицистом Атиллой Токатлы, вышла в феврале 1966 года и через шесть дней конфискована полицией.

В нее вошли «Три источника и три составных части марксизма», «О государстве», «Лев Толстой как зеркало русской революции», «Письма А. М. Горькому», «Партийная организация и партийная литература» и другие впервые переведенные в Турции работы Ленина.

Издатель и переводчик были преданы суду по обвинению в подрывной пропаганде. Судебный процесс продолжался двадцать один месяц. И лишь после того как эксперты сделали заключение, что ленинские работы не угрожают непосредственно нынешнему политическому режиму в Турции,

Фетхи Наджи и Атилла Токатлы были оправданы и книга Ленина, наконец, увидела свет.

Стамбульский литературный журнал «Май» в связи с освобождением книги из-под ареста поместил отрывки из нее. По мнению обозревателя журнала, «вопросы, затронутые Лениным, имеют важное значение и для наших дней. Турецкая интеллигенция должна хорошенько подумать над идеями, высказанными в этой книге».

УРУГВАЙ

ПЬЕСА ОБ УБИЙСТВЕ НЕГРИТЯНСКОГО ЛИДЕРА

На международном литературном конкурсе «Каса де лас Американас» (Гавана) 1967 года была отмечена премией пьеса молодого уругвайского драматурга Ибера Контериса «Убийство Малкольма X». Основой сюжета драмы послужило реальное историческое событие недавних лет — трагическая смерть одного из виднейших лидеров североамериканских негров, Малкольма X, застреленного расистами.

Пьеса заканчивается речью Малкольма X на митинге незадолго до его гибели. В этой речи выделяются знаменательные слова, особенно актуально звучащие теперь, после нового преступления североамериканских расистов, убивших недавно доктора Мартина Лютера Кинга:

«...Белый человек от рождения неплохой человек; его побуждает совершать гнусные преступления американское расистское общество, которое способствует развитию самых низменных, самых страшных инстинктов... Мои методы борьбы значительно отличаются от методов доктора Мартина Лютера Кинга. Но в той атмосфере, которая царит в настоящее время в США, я постоянно задаю себе вопрос, кто из двух столь разнохарактерных вожаков — бунтарь Малкольм X или сторонник ненасильственных действий доктор Кинг — будет убит первым... Слава богу, если моя смерть будет хотя бы слабой вспышкой во мраке, если она озарит истину и поможет уничтожить расистскую раковую опухоль, которая разъедает тело Америки...»

ФРАНЦИЯ

«ЛЕНИН В ПАРИЖЕ»

В издательстве «Эдисьон сосьяль» вышла книга Жана Фревиля «Ленин в Париже», рассказывающая о пребывании Ленина во Франции. В газете «Юманите» напечатано интервью корреспондента газеты с автором книги:

Корр.: Почему вы избрали эту тему?

Фревиль: Я нахожусь под влиянием образа Ленина с 1917 года. Я жил в сфере его идей. Я бесконечно читал и перечитывал его произведения, находя для себя все новую пищу для размышлений. Ленин не только величайший из революционеров, каких знала история, но и один из величайших политических гениев всех времен.

Корр.: Писали ли вы о нем прежде?

Фревиль: Да, но я не решался написать его биографию. Для этого, мне кажется, понадобилась бы целая жизнь, этот труд занял бы множество томов.

Корр.: Как у вас возникла мысль заняться изучением периода, когда Ленин жил в Париже?

Фревиль: Издательство «Сёркль д'ар» еще в 1963 году предложило мне редактировать тексты к иллюстрациям о пребывании Ленина в Париже. Вскоре я убедился в половинчатости этого замысла, ведь комментарии должны были лишь пояснять изображения. К 50-летию Октябрьской революции вышел иллюстрированный альбом «Когда Ленин жил в Париже», составленный Шарлем Фельдом, с великолепным вступлением Жоржа Коньо. Мне кажется, что этот альбом и моя книга как бы дополняют друг друга.

Корр.: Были ли у вас затруднения при создании книги?

Фревиль: Да, и много. Эта работа требовала, кроме тщательного изучения многочисленных материалов, бесконечных поисков, иногда очень трудных и длительных. Ценные указания я получил от ИМЭЛа в Москве. Многое почерпнул во время интересных встреч с советскими кинематографистами, приезжавшими снимать фильм о жизни Ленина во Франции. Помогли и сведения, собранные в Париже Музеем Ленина и специалистом в этой области Антуаном Лежандром. Меня поддержали в этой работе многие товарищи, что значительно облегчило мои собственные исследования, и я всем им выражаю благодарность. Таким образом мне посчастливилось собрать кое-какие точные сведения и заполнить некоторые пробелы. Но все это требовало времени. А надо было торопиться, ведь годы идут, свидетели исчезают, места меняются...

«ДЕЛО АНРИ ЛАНГЛУА»

Объявленное недавно увольнение основателя французской фильмотеки Анри Ланглуа с поста ее директора вызвало бурный протест прогрессивной общественности во Франции и за рубежом. Отстранение Ланглуа от дел было мотивировано двойственностью руководства (наличие директора и административного совета), нерентабельностью фильмотеки и необходимостью ее реорганизации.

Французская фильмотека—подлинная сокровищница мирового киноискусства, в которой собраны тысячи фильмов из разных стран,— была основана на средства Анри Ланглуа более тридцати лет назад. Во время войны он, рискуя жизнью, спас множество произведений кино. В поисках забытых, старых фильмов Ланглуа объездил много стран. Средств не хватало, и Ланглуа создал частное предприятие, в которое входило 780 членов; руководил фильмотекой административный

совет. Лишь в 1963 г. руководство фильмотеки обратилось за дотацией к государству. Она была получена, при этом одна треть административного совета стала назначаться государством.

Недавно представитель властей объявил о намерении преобразовать фильмотеку в «национальную библиотеку фильмов, из которой будут изъяты фильмы, не представляющие интереса». Ланглуа придерживается другого принципа: сохранять все произведения, независимо от существующих направлений в кино и мнения критики.

В защиту Анри Ланглуа и его точки зрения на то, каким должен быть «музей кино», выступили сто шестьдесят пять французских кинорежиссеров, и среди них Андре Кайатт, Клод Шаброль, Жак Деми, Жан-Луи Годар, Крис Маркер, Ренэ Клер, Жан Ренуар, Ален Ренэ, Аньес Варда. К ним присоединили свои голоса девяносто зарубежных кинорежиссеров, в том числе Чарли Чаплин, Куросава, Йорис Ивенс, Роберто Росселини, Орсон Уэллес, Самюэль Фуллер.

Телеграмму протеста прислали советские кинематографисты.

В защиту французской фильмотеки выступили восемнадцать продюсеров, семьдесят шесть актеров, сорок шесть критиков, сорок писателей, органы печати («Кайе дю синема», «Позитиф»), организации (киноклубы, швейцарская, ирландская, британская фильмотеки) и т. д. В правительство поступили запросы от федерации кинематографистов и от компартии с требованием объяснений.

Шестьдесят французских писателей, артистов и критиков в резолюции солидарности с Ланглуа заявили: «Мы горячо протестуем против отставки Ланглуа, создателя и руководителя французской фильмотеки... Мы не только требуем восстановить Ланглуа, но и предлагаем, чтобы перед ним извинились и тем исправили нанесенное ему бессмысленное оскорбление. Мы призываем всех друзей кино солидаризироваться с нами».

Был создан комитет действия, который выпустил манифест, призывавший не допустить реорганизации фильмотеки и превращения ее в хранилище фильмов.

Власти вынуждены были пойти на уступки: Анри Ланглуа восстановлен в должности директора фильмотеки, а сам «музей кино» будет сохранен в его нынешнем виде. Однако фильмотеке отказано в государственной дотации, впредь она будет функционировать как частное предприятие.

Прогрессивные художники Франции вносят свой вклад в борьбу за прекращение агрессии США во Вьетнаме. Недавно лучшие антивоенные рисунки были объединены в серию «Мир Вьетнаму!» и распространены в виде открыток по всей стране. Сбор от продажи открыток пошел в фонд помощи Национального фронта освобождения. На снимке: рисунок художника Дофена.

(Еженедельник «Ринашита»)

ИНДЕКС ПЕРЕВОДОВ

ЮНЕСКО опубликовала очередной «Международный справочник по переводной литературе». В справочнике учтены 39 267 переводов, сделанных в 1966 году в 70 странах мира.

Первое место — 3 968 названий — по количеству переводов занимает СССР. На втором месте — Югославия (3 452), занимавшая в 1964 году восьмое место. За минувшие годы количество переводов в этой стране удвоилось, оставив позади выпуск переводной литературы в таких странах, как США, Италия, Франция.

Среди авторов, чьи произведения переводятся больше других, первое место попрежнему занимает В. И. Ленин.

Труды К. Маркса были переведены 60 раз и Ф. Энгельса — 75 раз.

Судя по справочнику ЮНЕСКО, наиболее издаваемыми художниками прошлого являются Шекспир, Лев Толстой, Жюль Верн.

Среди наиболее популярных русских и советских писателей — Достоевский, Чехов, Горький, Шолохов, Гоголь, Пушкин, Тургенев.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КРАСНОЕ И СЕРОЕ

Женщина — ее зовут Люция Геранова — пыталась покончить с собой. Как это могло случиться? В чем тут причины? Этот вопрос ставит перед собой Соукуп, герой нового романа Ярослава Путика «Смертельное воскресенье». Он ученый, специалист по кибернетике, убежденный в том, что сумеет, собрав и обработав информацию о Люции Герановой, найти ответ. Его убеждение, как подчеркивается в рецензии, напечатанной еженедельником «Литерарни листы», оказывается ложным. Он понимает, что человек — не машина, которую можно запрограммировать. Человеку присущи собственный, иной раз непредвиденный ход мыслей, собственная логика чувства. Вот почему поступки человека нельзя автоматически рассчитать.

Люция участвовала в движении Сопротивления. Ее любимый, молодой художник Юрай погиб в борьбе с фашизмом. Люция поклялась уличить человека, который его предал. И вдруг оказывается, что следы преступления ведут к Герану, который после гибели Юрая стал ее мужем,

отцом ее ребенка. Не оттого ли она захотела уйти из жизни? Рецензент добавляет к этому, что Геран — делец, спекулирующий тем, что свято для других: он как будто участвует в построении нового общества, но делает это не для всех, а только в собственных интересах.

Люция, одаренная журналистка, внезапно уходит из редакции. Очевидно, в той редакции, где сотрудничала Геранова, сложилась обстановка, не отвечавшая моральным нормам нового общества. Однако ее уход из редакции, по мнению рецензента, чья статья напечатана в журнале «Словенске погляды», не мог стать и не стал для нее выходом из положения. Может быть, тут и надо искать причину ее попытки лишить себя жизни?

Соукуп, познакомившийся с нею и полюбивший ее, так и не разгадывает тайны ее трагического поступка, но понимает, что настоящий человек — она, а не он, всю жизнь шедший по линии наименьшего сопротивления. Люция становится для него «мерилом всех ценностей»— так же, как для Люции «мерилом всех ценностей» остается Юрай.

Для художника Юрая любимым цветом был красный. Он не любил серый цвет, ассоциируемый им с трусостью, безразличием, равнодушием. Соукуп с горечью осознает, что его портрет Юрай написал бы в серых тонах, потому что он всю жизнь был равнодушным к людям и к жизни.

Оба рецензента считают, что роман Путика — один из лучших, созданных в Чехословакии за последнее время. В нем ставится вопрос о том, «ради чего человек должен жить на земле».

ЮГОСЛАВИЯ

«БИТВА НА НЕРЕТВЕ»

Зимой 1942—1943 гг. в ходе освободительной войны югославского народа против гитлеровских захватчиков на реке Неретве произошло большое сражение между частями югославских партизан и несколькими немецко-фашистскими дивизиями. Силы были неравными: гитлеровцы располагали 80 тыс. человек, а партизаны—лишь 20 тыс. Кроме того, у партизаи было 4 тыс. раненых бойцов, которых нужно было спасти. Партизаны выиграли эту битву.

Сражение на реке Неретве положено в основу сюжета цветного широкоформатного художественного фильма, который снимается в настоящее время известным югославским режиссером Велько Булаичем. Он — автор таких фильмов, как «Козара» (демонстрировался в Советском Союзе), «Поезд вне расписания», «Скопле 1963», которые неоднократно получали премии на национальных и международных кинофестивалях.

Подготовительная работа, предшествовавшая началу съемок нового фильма, заняла у режиссера четыре года. По словам Булаича, его вдохновила на этот труд антивоенная идея фильма. «Битва на Неретве» должна стать самым большим югославским фильмом о войне и вообще одним из самых больших и дорогих югославских фильмов. В фильме будет занято более ста актеров — югославских и зарубежных,— а также около 50 тысяч статистов.

Одну из основных ролей в фильме будет исполнять Сергей Бондарчук. Среди других зарубежных деятелей кино, принимающих участие в создании фильма, — Орсон Уэллес, Кирк Дуглас, Курт Юргенс, Сильва Кощина и другие.

Фильм «Битва на Неретве» уже на стадии съемок привлек к себе внимание кинематографистов и журналистов разных стран. На его съемочной площадке, по свидетельству корреспондента ежемесячника «Югославские новости», побывало уже свыше пятидесяти зарубежных журналистов и репортеров телевидения.

Режиссер Велько Булаич заявил представителям печати, что он рассчитывает закончить съемки фильма к концу 1968 года.

Режиссер Велько Булаич беседует с Сергеем Бондарчуком и Орсоном Уэллесом во время съемок фильма «Битва на Неретве». *(Журнал «Югославские новости»)*

Авторы этого номера

ЯННИС РИЦОС (род. в 1909 г.).

Выдающийся греческий поэт, произведения которого получили признание далеко за пределами Греции. В последние годы вышли сборник его стихов «Свидетельства» (1964) и поэмы «Силоптет» и «Орест» (1966). Я Рицосу принадлежит много переводов из русской и советской поэзии.

На русском языке отдельной книгой вышли его избранные произведения — «Стихи» (1959). Стихотворения Я. Рицоса печатались также в нашем журнале (см. № 11, 1959 г., № 3, 1965 г.).

■

ДЖОН КВИРК — JOHN QUIRK.

Американский писатель. В 1942 году закончил военно-морскую академию США, после чего служил летчиком на авианосце. Начиная с 1950 г. работал в ряде фирм по производству и продаже автомобилей. В настоящее время бизнесмен в Детройте.

Первый роман Дж. Квирка «Без красных нашивок» («No Red Ribbons»), посвященный жизни морских летчиков, вышел в 1962 году и вскоре стал бестселлером. Второй роман «Победители без лавров» («The Hard Winners»), главы из которого мы предлагаем вниманию читателей в этом номере, вышел в 1965 году. В основе его лежит личный опыт писателя, хорошо знающего жизнь американских деловых кругов.

■

ИШТВАН ШИМОН — SIMON ISTVAN (род. в 1926 г.).

Известный венгерский поэт, лауреат литературных премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. Стихотворения его составили около пятнадцати сборников. Наибольшую популярность получили: «Недостаточно» («Nem elég», 1955), «Песни жаворонка» («Pacsirtaszó», 1958), «Яблони» («Almafák», 1962), «Плоды» («Gyümölcsolto», 1964) и др.

Иштван Шимон часто выступает в печати как публицист и переводчик; много лет редактирует литературно-художественный журнал «Кортарш», является депутатом Государственного собрания от своего родного края.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Виноград и каштаны» («Szölo és gesztenye», 1966).

■

МУХАММЕД АДИЛЬ СУЛЕЙМАН — египетский поэт.

САЛАХ АБДЕЛЬ САБУР (род. в 1932 г.).

Египетский поэт, представитель течения «новая арабская поэзия», выступающего против канонизации классического стихосложения. Стихотворения поэта составили сборники: «Мечты старого рыцаря», «Я скажу вам», «Люди моей страны».

АХМАД ХИГАЗИ (род в 1935 г.).

Египетский поэт, представитель направления «новая арабская поэзия». Наиболее популярные сборники его стихов: «Город, лишенный сердца» и «Осталось лишь признанье».

■

ПЕТЕР ВЕЙС — PETER WEISS (род. в в 1916 г.).

Немецкий писатель и драматург, эмигрировавший из фашистской Германии в 1934 году и поныне живущий в Швеции. Автор нескольких повестей и романов, в том числе автобиографических «Прощание с родителями» («Abschied fon den Eltern», 1961) и «Побег» («Fluchtpunkt», 1962).

Широкую известность получил благодаря своей пьесе «Преследование и убийство Жан-Поля Марата...» («Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de

Sade», 1964), поставленной в театрах ГДР и ФРГ и других европейских стран. Острая антифашистская пьеса «Судебное разбирательство» сделала имя П. Вейса всемирно известным. Его новая пьеса «Диспут» («Discurs...», 1967), построенная так же, как и «Судебное разбирательство», на документальном материале, посвящена разоблачению американской агрессии во Вьетнаме.

Статья П. Вейса «Заметки о документальном театре» публикуется в переводе с немецкой рукописи. В этом же номере см. статью Л. Гинзбурга «Информация, ставшая прокламацией».

О П. Вейсе на страницах нашего журнала см. в статьях Е. Книпович «Художник и история» (№ 8, 1965) и «Свидетели» (№ 5, 1966). В № 5 за 1966 г. опубликована пьеса «Судебное разбирательство».

■

ЛИЛИАМ ХИМЕНЕС — LILIAM JIMENEZ (род. в 1917 г.).

Сальвадорская поэтесса и литературный критик, автор сборников стихов «Твое имя, Гватемала» («Tu nombre Guatemala», 1955), «Народная симфония» («Sinfonía popular», 1959) и др.; эссе «Положение женщины в Сальвадоре» («Condiciones de la mujer en El Salvador», 1962), «Социально-политический образ Сальвадора» («Imagen socio-política de El Salvador», 1966).

Публикуемая в этом номере статья получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 00814. Сдано в производство 25/IV-68 г. Подписано к печати 13/VI-68 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) + 1 вкл. Уч.-изд. л. 36,28. Зак. 1362.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394